ФЕДОР СОЛОГУБЪ

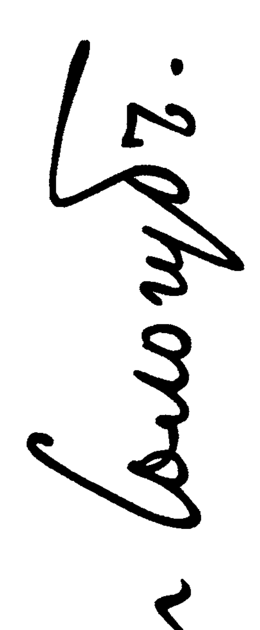
5

Федоръ Сологубъ.

Федоръ Сологубъ.

ЛИТУРГИЯ МНЕ

ИВ



Собрание сочинений в шести томах

том пятый

ФЕДОР СОЛОГУБ

Собрание сочинений

ЛИТУРГИЯ МНЕ

5

Мистерии
Драмы
Повести
Рассказы

Москва
НПК «Интелвак»
2002

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*

Художник *В.М. Мельников*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-036-7 (т. 5)

МИСТЕРИИ

ЛИТУРГИЯ МНЕ
Мистерия

Посвящаю моей сестре

Участники таинства:

Отрок.
Хранитель преданий.
Хранитель алтаря.
Дева, принесшая нож.
Дева, принесшая вино.
Дева, принесшая хлеб.
Дева, принесшая венец.
Дева обреченная.
Дева избранная.
Жена первого поклонения.
Юноша, принесший чашу.
Юноша, наточивший нож.
Юноши, носящие светочи.
Жены с ароматными курениями.
Странники, носящие посохи.
Строители.
Юноши.
Девы.
Мужи.
Жены.
Старцы.

Наступает ночь. В пустынной долине собираются желающие совершить литургию. Они приносят дары, хранимые до времени в покровах. Все приходящие снимают обувь и обычное платье, облекаются в белые одежды и увенчиваются цветами. Ждут Отрока-жреца. Светочи, еще не все зажженные, мерцают слабо; их держат юноши. Некоторые из юношей принесли флейты, бубен, лиры, тимпан. Ожидающие, приготовляясь к совершению литургии, поют гимны предначинательных воспоминаний. В то же время воздвигают алтарь из каменных плит и возлагают на него сучки и ветки деревьев.

Юноши и девы

Мы рано вышли на дорогу,
Когда Дракон еще дремал
И лучезарную тревогу
Из темных скал не поднимал.
Поля дымилися росою,
И улыбалась нам заря,
Над нерассеянною мглою
Надеждой милою горя.
И все окрест предстало новым,
Как первозданный вешний день,
Являя холодом суровым
Нежданных воплощений тень.
Дивились мы окрестным долам,
Привет слагали их красе,
И в ожидании веселом
Замедлили до ночи все.
И день прошел, и перед нами
Румяный вечер промелькнул,
И замолкает за горами
Веселый и тревожный гул.
И, ночь отрадную встречая,
Поем хвалу и ночи мы,
Надеждой детскою венчая
Восстанье тьмы.

Мужи

Мы труд свершали неистомный,
Мы созидали крепость стен.
Пред грозным ликом ночи темной
Не убоимся мы измен.
Приют наш радостно основан,

Закован в прочную броню
И силой Змия зачарован
Как дар сияющему дню.
Все стало прочно и обычно
За нерушимостью оград,
И мы пришли сюда привычно
Свершать уставленный обряд.

Старцы

Не мы уставили обряды,
Но мы устали их свершать.
Из-за ветшающей ограды
Идем к служению опять.
Во всем, что солнце обещало,
Двоякий лик узрели мы.
Двойное нас терзало жало
Лучей неправых, зыбкой тьмы.
Познанье истин невозможно
На этой суетной земле,
Но обещание неложно, —
Святое кроется во мгле.
И вот без радостной надежды,
Но покоряясь, мы пришли
Готовить светлые одежды
Царю тоскующей земли.

Девы

Затихни, гнев! Умолкни, битва!
Вещай, вещай нам, тишина.
Когда меж нами есть молитва,
Она не нами зажжена.

Юноши, носящие светочи

Приди, блаженный утешитель!
Сверши таинственный обряд.
Вот мы покинули обитель,
Ушли от прочности оград.
Сошлися мы в туманном доле,
Где мочит платье нам роса.
Сверши все то, что в дивной воле.
Земле да будут небеса.
Туман долинный вместе с нами
И светочей пустынный дым
Горят смиренными мольбами
И ожиданием святым.
И ожиданию ночному
Явить законы бытия
Сойдет к свершению святому
Для нас и жертва, и судья.

Странники, носящие посохи

К тому, что праведно и вечно,
Что созидает все окрест,
Мы устремлялись бесконечно
От ближних и от дальних мест.
Какими темными трудами
Нас долгий путь ни утомлял,
Мы здесь. Согласными мольбами
Наш круг зажегся, засиял.

Хранитель преданий

Я вспоминаю в час великий
Того, Кто есть, святую Мать,

Хвалящих неустанно лики
И вожделеющих восстать.
И вспоминаю Иного, —
И кто решит предвечный спор?
Я вспоминаю Кровь, Слово,
Голос тьмы и дивный взор.

Из-за горы доносится свирельно-нежный голос Отрока, сопровождаемый лирным звоном.

О т р о к

Вспоминая минувшее,
Невозвратно мелькнувшее,
Может быть, обманувшее,
Вспоминая, что сделали,
И заветное цело ли,
Вспоминая, гадая,
Обличая томления дня,
И обряды свершая,
И огни зажигая
От святого огня,
Где вы ни были, как вы ни жили,
Что бы вы ни открыли,
Вы забыли,
Забыли Меня.

Носящие светочи разжигают их. Светочи пылают.

Ю н о ш и и д е в ы

Мы ждем свершителя-жреца,
Идущего с огнем.
За ним пойдем мы до конца,

Без страха мы пойдем.
Безвестен путь, и темен дол, —
Куда бы путь нас ни привел,
Но мы пойдем, и темный страх
Погасим в трепетных сердцах.

О т р о к
(еще невидимый, говорит, и флейта сопровождает его речь)

Провели вы дороги
И воздвигли чертоги.
Для таинственной встречи
Вы пришли издалече,
И в мерцанье святого огня
Вы свершений торжественных ждете.
Но когда же ко Мне вы придете?
Иль совсем вы забыли Меня?

Ю н о ш и, н о с я щ и е с в е т о ч и
(зажигая огонь на алтаре)

Когда взошла заря,
Мы ждали светлого Царя,
Но мы увидели Дракона.
Был неразгадан дивный лик,
Был непонятен темный крик,
Сжигала сердце едкость стона.
Свернувшись в яркое кольцо,
Закрывши маскою лицо,
За сказкой созидал он сказку,
Но из глубин его двойник
В час торжества его возник
И нам открыл змеиный лик,

Сорвавши пламенную маску.
Тогда разгневанный Дракон
Вознес над миром свой закон,
Закон безумный произвола.
Он стрелы жаркие точил
И злобу яркую разлил
От высей гор до глубей дола.
И собирал нас бледный страх
Живить огни на алтарях
И убивать на жертву Змею.
И жертва, погасивши взор,
Сама под жреческий топор
Без воплей преклоняла шею.
Но вот затмился дикий день,
Взошла до гор немая тень, —
И мы пришли сюда все вместе,
Чтоб в единении возжечь
Огни святых венчальных свеч
Освобождающей Невесте.

Алтарь тихо дымится.

Строители
(в сопровождении тимпанов)

Друг другу руки подадим
И, как свечей венчальных дым,
Надежды мы соединим,
Свершим завещанное нам
И подвиг, сладостный сердцам,
Передадим
Векам.
Воздвигнем новый храм

И прочно стены утвердим.
Дракону злому время пасть, —
Мы утвердим
Иную власть.
Мы создадим
Блаженный строй
И над землей
Прострем довольство и покой.

Юноши

Зрела сила
И созрела,
И пора к свершенью дела
Наступила.

Жены

Серп над миром
Вознесен в томленье лунном.
Ветер вторит лирам,
Нежным лирам сладкострунным.

Мужи

Тяжкий молот
Занесен над ветхим домом.
Будет свод его расколот,
Разрушенье будет громом.

Девы

На озерах
Распустилися купавы,

И росятся в лунных взорах
Отуманенные травы.

Отрок
(уже близко, но еще не виден)

И в единении — забвенье,
И в братском подвиге — не-Я.
Куя связующие звенья,
Забыли вы, что цепь — Моя.
Соединившись ночью тайно,
Свершая грезы бытия,
Забыли вы, что все случайно,
Что неизменен только Я.
Грозя чарующему Змию,
Святыню злого дня кляня,
Как вы свершите Литургию,
Когда забыли вы Меня?
Везде, где преломлялось тело,
Везде, где проливалась кровь,
Там неизменно пламенела
Моя предвечная любовь.
Мое под звездной ризой тело,
Моя за бездной глубина,
И надо всем отяготела
Моя предвечная вина.
Среди распутий и раздолий
Мой лик являл повсюду Я.
Моею направлялась волей
Вся неизбежность бытия.

Девы

Приди, открой свой лик!
Тебе — цветы, Тебе — огни,

Тебе — согласный клик.
На подвиг нас соедини.

Хранитель алтаря

Кто Ты, светлый? Кто Ты, дивный?
Жрец ли, жертва или царь?
Ты услышал вопль призывный.
Для Тебя готов алтарь.

Жены с ароматными курениями

Кто же Ты? Скажи нам ныне
Имя дивное Твое.
Чем кадить Твоей святыне?
Как прославить бытие?

Приходит Отрок с белым тюльпаном в руке. На Нем только белый короткий хитон, опоясанный желтым шелком. Руки и ноги нагие. Грудь полуоткрыта.

Отрок

Я прихожу в тумане ночи.
Я приходил и в блеске дня, —
Вы отвращали очи,
Не узнавали Меня.
Во всем, что воля и дыханье,
На всех просторах бытия,
Струя деянья и желанья,
Являюсь вечно только Я.
Роса ли падает на землю,
Звучат ли птичьи голоса, —

Я все мгновенное объемлю,
Я — птичий голос, Я — роса.
Звеня волной иль тучкой тая,
Огонь иль замысел тая,
Превосходя иль ниспадая,
Все — Я. И все, что есть, то — Я.

Девы

Ты пришел в наш круг,
Ты в простой одежде.
Посреди подруг
Ты такой же, как и прежде.
Знаем мы Тебя,
Отрок непорочный.
Нас, как прежде, возлюбя,
Ты пришел к нам жертвой полуночной.

Одна из дев подает Отроку нож. Отрок подходит к алтарю и возлагает нож на алтарь.

Нежен Ты и мал.
Не закрыто тело.
Сам Ты нож священный взял,
К алтарю подходишь смело.
Если кровь Твоя
В час ночной прольется,
Тише ропота ручья
Стон Твой пронесется.
Отрок! Ты для нас.
Упадешь Ты скоро.
Для чего в полночный час
Ты вознес слова укора?

Отрок
(у алтаря)

Опять покорен Я,
Свершающий игру.
Открыта грудь Моя.
Живу. Иду. Умру.
Закон Моей игры
Исполню до конца.
Я создал все миры,
Но сам Я без венца.
Бессилен Я и мал.
Блаженная игра.
Кто тайну разгадал?
Пора. Прийти пора.

Дева, принесшая нож

Отрок нежный и прекрасный!
Ты ли агнец непорочный,
Под ножом безгласный,
Здесь в великий час полночный
Искупающий страданья
Омраченного созданья,
Зло и лживость бытия?

Отрок

Я.

Дева обреченная

Отрок милый и смиренный!
Ты ли жрец ночных служений?

И в дыму святых курений
Погрузишь ли нож священный
В боль трепещущего тела,
Приобщивши наше дело
К вечным мукам бытия?

Отрок

Я.

Жена первого поклонения

Ты беден, прост и мал.
Пред нами Ты смиренно стал.
Но взор Твой — власть.
И мы хотим
К ногам Твоим
Упасть.
Твой кроткий голос тих,
Роса блестит в кудрях Твоих,
Твоя жемчужная роса.
Слились алмазы в звездный строй.
Венец над дивной головой
Твои простерли небеса.
Цветок ночной в Твоей руке.
Туман клубится на реке.
Дымится жертвенный алтарь.
Туман соткал Тебе хитон.
Ты дивной ризой облачен.
Ты — Царь.
То не тюльпан в руке Твоей, —
Дрожит в ней чаша бытия.
Скажи нам, Ты ли — Царь царей?

Отрок

Я.

Жена первого поклонения целует ноги Отрока, и за нею — все остальные. Во время целования Его ног Отрок говорит.

Так, Я — Агнец, Жрец и Царь.
Все опять свершу Я ныне.
Сам на жертвенный алтарь
Я взойду к Моей святыне.
Забывали вы Меня
В тусклом свете злого дня.
Сам Я поднял ваше бремя.
Указал Я вам пути, —
И в огне Меня найти
Наступило время.
Перед вами Я стою,
Пламенеющий любовью,
Вашу кровь пролью
И смешаю кровь Мою
С вашей кровью.

Огонь на алтаре разгорается. Юноши со светочами образуют широкий эллиптический обвод, в фокусах которого — Отрок и алтарь.

Совьется мир, как дым.
Огонь покончит с ним.
Слова пророка вещи.
Но Я вовеки невредим.
Прикосновением Моим
Я освящаю вещи.
Несите же ко Мне,
Что надо для свершенья дела.

Мое святится святостию тела,
Чужое все сгорит в огне.

Четыре девы, обнажив свои невинные тела, подносят Отроку вино в фиале, хлеб неразрезанный, венец и нож. Отрок возлагает руки на обнаженных дев и на их приношения.

Я освящу Моим прикосновеньем
Вино и хлеб, венец и нож,
И зачарую тайной и забвеньем
Все, в чем порок и ложь.

Дева, принесшая нож, передает нож юноше, который точит его о камень.

Одежду пыльную вам надо
Совлечь с Меня.
Пылай вокруг Меня, ограда
Священного огня!

Юноши снимают с Отрока пояс и хитон и бросают их в алтарный огонь. Носители светочей приближаются к Отроку.

Огни небесные, торжественно горите,
Миры к мирам соединя!
А вы приблизьтесь, сестры, облеките
Одеждой светлою Меня.

Девы надевают на Отрока белую одежду, такую же как у всех участников таинства. И надевают одежды на дев приношения.

Благословляю легкость тканей.
В обычной ткани полотна
Основа тяжкая страданий
С надеждой переплетена.

Все поют песнь огня и обходят кругом алтаря, сплетясь руками. В это время носители светочей становятся в один ряд сзади алтаря, так что участники обряда дважды пересекают означенную ими черту, — от алтарного света в тьму долины и обратно к свету.

Песнь огня

Мы зажгли огни кругом.
Оградились мы огнем.
В небесах огни над нами, —
И в сплетенье дружных рук
В тесный мы сошлися круг,
Озаренные огнями.
Ты, огонь, сожжешь, сожжешь,
Все, что было пыль и ложь
Суетного дня.
Чрез огонь из зыбкой тьмы
Шли мы. Отрок милый, мы
Вышли из огня.

Дева, принесшая венец

Я принесла Тебе венец.
Его ковал златокузнец.
Он золотой. Он в камнях весь.
Ты тяжесть камней светлых взвесь.
Ты улыбнись на их игру.
Утешь улыбкою сестру.

Отрок
(возлагает венец на Свою голову)

Алмазный враг Дракона,
Гроза Драконовых очей,

В вещаньях вещего закона
Дробящий слитность злых лучей, —
Святыней дивного венчанья
Я вновь тебя благословил
И освятил твои мерцанья
И вечный трепет вражьих крыл.

В бездонно-голубом эфире
Шестиконечная звезда,
Ты на лазоревом сапфире
Отпечатлелась навсегда.
Я освятил твоих мерцаний
Двойную, сладостную весть, —
В лучах святых очарований
Число таинственное *шесть*.

Огонь и кровь в стекле рубина.
Ты — чудотворная хвала!
Тебя родная плоти глина
В огне плененном родила.
В кровавом пламени строенья
Запечатлев Мою любовь,
Благословляю в час хваленья
Твою пророческую кровь.

Горишь ты, светлый и зеленый,
Мой первозданный изумруд.
Мои пророческие стоны
В твоих надеждах не умрут.
Весенним чистым откровеньем
Ты твердость камня озарял.
Моим земным благословеньем
Светись, таинственный кристалл.

Юноша, наточивший нож

Наточил я острый нож.
Ты на сталь его дохнешь.
Рукоять его возьмешь
В освящающую руку, —
И кого ни изберешь
На пронзающую муку,
Будет свято острие,
И Твое иль не Твое
Нож пронижет тело, —
Будет свято дело.
(Отдает нож Отроку.)

Отрок

Острый нож в руке Моей.
Он Моей рукою сжат.
Он на весь избыток дней
Неизменно свят.
Тускло блещет сталь
В зареве огня, —
Острая печаль
Смотрит на Меня.
Разделять он вечно рад.
Разделенье — ложь.
Но, пронзив, ты сам поймешь,
Что, рукой невинной взят,
Непорочен нож.
Нож Моей рукою сжат.
Сталь ножа остра.
Ты пойми Меня, Мой брат,
Ты пойми, Моя сестра, —

Разделенные давно,
Я и ты — всегда одно.
Там, в зеркальности небес, —
Бесконечности чудес,
Но иных и многих лиц
Нет в обители родной.
Между Мною и Тобой
Нет преграды, нет границ.
В чаше — вечное вино.
Я и Ты — всегда одно.

Огонь на алтаре слабеет.

Юноша с чашею

Принес я чашу золотую.
В нее одну росу святую
С ночных цветов я собирал.
Соединимся мы над чашей.
Твоей ли кровью, кровью ль нашей
Ее наполни. Час настал.

Передает чашу Отроку. Дева, принесшая вино, открывает фиал и подносит его Отроку. Отрок наливает в чашу освященное вино и отдает деве опустевший фиал.

Отрок

В торжественном движенье
Руки протянутой Моей,
В дыханье трепетных огней
Святится чаша приношенья.
Движением сплетенных рук,
Гореньем дивного огня

Очерчен неразрывный круг.
Все свято вкруг Меня.

Отрок передает чашу избранной деве. Вонзает нож в Свою руку, протянутую над чашею. Кровь каплет в чашу. Отрок передает нож избранной деве и от нее берет чашу.

Нож возьми, сестра,
Сестра Моя.
Вот свершения пора.
Плоть Моя, и кровь Моя.
Здесь и вне — только Я.

Дева избранная первая соединяет свою кровь с Его кровью и передает нож одному из участников таинства. Каждый по очереди вонзает нож в свою руку, так чтобы капли крови падали в чашу. Медленно движутся вокруг чаши и поют.

Песнь крови

Тихо льется в чашу
Жертвенная кровь.
Звезды славят нашу
Кроткую любовь.
В жертвенной могиле,
Где Иной почил,
Мы соединили
Токи алых сил.
Нож священно-острый
В быстром круге рук.
Вы не бойтесь, сестры,
Острых, быстрых мук.
И не бойтесь, братья,
В чашу кровь струя,

Разрушать заклятья
Злого бытия.

О т р о к

Отрок непорочный,
Между вами — Я.
В чаше полуночной
Эта кровь — Моя.
Кто ж боится боли,
В чашу кровь струя?
Тайной вечной воли
Эта боль — Моя.

В с е

Сердце не трепещет.
Неразрывен круг.
Вкруг безмерность блещет
Лучезарных дуг.

О т р о к

Обольщенья тела —
Легкий сон ночной.
Нет нигде предела
Меж Тобой и Мной.
Вас, как мир, Я движу.
Только плоть Мою
В хороводе вижу.
Кровь Мою Я пью.

Отрок склонился над чашею. Прильнул губами к ее краям.

Жены

Круг закончен. Дело свершено.
Отрок милый, Ты поник.
Подними Твой дивный лик.
Дай нам, дай нам новое вино.

Отрок

Соединяйтеся над чашей.
Целуйте дивные края.
Здесь капли крови, крови вашей.
Но кровь — Моя, вся кровь — Моя.

Все по очереди пьют из чаши, из рук Отрока.

Хор
(поет)

Соединились мы над чашей.
Лобзаем дивные края.
Здесь вместе капли крови нашей,
Но кровь Твоя есть кровь моя.

Отрок

Из чаши, освященной ныне,
Вам в жертву кровь Мою даю.
Познайте путь к Моей святыне,
С любовью пейте кровь Мою.
Открыв пути к Моей святыне,
Над чашей вас соединя,
Один закон даю вам ныне:
Идти ко Мне, любить Меня.

Когда в лазоревом сапфире
Возник шестиконечный крест,
Благословив святыню в мире,
Соединил Я все окрест.
Моей грозой в чертог Змеиный
Огонь сапфировый проник, —
Вознес Я в правде триединой
Над миром отраженный лик.

Внимайте пламенного Змея
Несчетно повторенный стон, —
Над ним вознесся, пламенея,
Мой диамантовый закон.
И в мир идите, расторгая
Змеиный ненавистный плен.
Соединенья весть благая
Да сокрушит преграды стен.

Очарование рубина
Над славой Моего чела
Напомнит вам, что та же глина
И плоть и кровь произвела.
Ваш путь святым обетованьем
Мой очарует изумруд
И озарит благим сияньем
На ваших нивах дружный труд.

Лучи сапфира и рубина
И эта жертвенная кровь
Открыли вам, что все — едино,
И что во всем — Моя любовь.
Игрой державной мир колебля,
Я укрощаю злобу змей.

Как трепет зыблемого стебля,
И жизнь, и смерть в руке Моей.

Здесь, с вами, и в ином пределе,
Во всех просторах бытия,
И в каждом духе, в каждом теле,
Все — Я. И все лишь только Я.
Теперь, в рассветном утомленье,
Идите к бедным злобам дня,
Храня завет: в соединенье
Идти ко Мне, любить Меня.

Братья и сестры целуют друг друга и расходятся, храня безмолвие. Заботливые жены и девы убирают освященные предметы и литургийные одежды.

ТОМЛЕНИЕ К ИНЫМ БЫТИЯМ

Мистерия

Слова начинательные

Дню моему — сон и мечтание, ночи — томление.

Так начертано в книге судеб, и неизменно это начертание, неизменно до конца.

Когда для других восходит яростное солнце, призывающее к трудам и достижениям, тоска моя говорит мне хриплым голосом:

— Еще один день ненужного, бесцельного бытия. Но не бойся, — я с тобою. На всех путях твоих я с тобою.

Так утешает она меня: она думает, что я боюсь одиночества. Но приходят сны и мечтания и озаряют бесконечную пустыню ненужного дня.

И сны мои странные для людей, и кто из них не назвал бы их жестокими!

И мечтания мои еще страннее и жесточе. Ибо они совсем и во всем — мои, и я веду их в долину странного инобытия.

Созданная по образу и подобию земного мира, населена она вампирами и кошмарами, — самое, однако, миролюбивое население. Неба и солнца нет в долине инобытия, — свет исходит только от созерцающего и только для него. Никому не дается с принуждением созерцать образы чуждого мира.

Истинно, свобода обитает в долине инобытия.

Свобода и союз. Все вместе, и все по законам своей и моей свободы. И если проливается кровь, то это — только моя кровь, радостно пролитая.

Когда же наступает ночь, успокоивающая трудившихся человечков, приходит ко мне томление мое и говорит мне:

— Не бойся, я опять с тобою.

И оно думает, что я боюсь одиночества.

Боюсь ли я одиночества?

Если бы вампиры и кошмары оставили меня, я не был бы одинок. Из тьмы небытия извел бы я к свету истинного инобытия иные сны, иных вампиров извел бы я от небытия. Источающих мою кровь и пожирающих плоть мою. Ибо я не люблю жизни, бабищи румяной и дебелой.

1

В ожидании истязаний, задуманных мною, я томился тоскою и страхом, на узкой сидя скамье. Я был один, — пока еще один. Келья моя была мала, и тесна, и заперта извне на крепкий замок. Стены у нее были голые и мрачные, как стены темницы. А за стеною шептались и смеялись заглушенными голосами, чтобы я не слышал.

Но только я и мог слышать. И кто же иной мог здесь быть, и видеть, и слушать?

Окно кельи было высокое, под мрачным сводом моей темницы томилось оно, и как будто бы его и вовсе не было. И если был свет, то не из этого окна. А свет был. И при этом свете видел я и окно, высокое, узкое, загражденное решетками. И видел дверь, железную, тяжелую, холодную, с тонкою ржавостью широких скреп и темных петель.

И видел холодные, гладкие плиты каменного пола.

2

С визжанием и скрежетом зашевелилась ручка у двери, и это были звуки противные и страшные. Неизбежное приближалось, созданное мною же, но чего уже нельзя было отвратить или изменить. И насмешливый скрежет как бы говорил:

— Хочешь не хочешь, — все равно сбудется. Тебя не спросят.

В этом визгливом и все же хриплом голосе слышалось торжество гнусного победителя, тщеславящегося незаконною победою. Унижение для меня звучало в этих звуках, но никого не радовали они. Призраки не радуются. Они ранят, и убивают, и даже унижают, и сами бесстрастны, — они, приносящие отчаяние и стыд.

И пока медленно открывалась дверь, я смотрел на нее глазами, полными ужаса и тоски. И медленно открывалась дверь. А открывавшие ее тихо говорили о чем-то, торжествуя и не торопясь, и тихий смех слышался в звуках их шепота.

3

Уже когда дверь открылась наполовину, но входящие еще не показались, заметил я, что свойство освещения стало иным. Я отвел глаза от двери, в ту сторону, где почудилась мне перемена — и там было отраженное пламя. Тускло-красное, оно ширилось. И вот оно коснулось моих глаз. Я увидел светочи, с дымом горевшие и изливавшие тусклый и неверный свет. И потом увидел людей. И ужаснулся.

То были обнаженные, прекрасные и ужасные отроки. Их было семь, и в руках их было то, что сулило радость истязаний. Тела их краснели в дымном озарении светочей. Широкие груди их дышали медленно и спокойно, и все движения их казались исполненными страшной силы и непоколебимого спокойствия. По их медленным и неотразимым движениям понял я, что они — исполнители.

Лица их сияли невиданною на земле красотою, но глаза их сверкали такою свирепою радостью, точно это демоны вышли из ада. Но то были только люди, созданные мною по тому же плану, как и первозданная эдемская чета. И только человеческая радость трепетала в их раздувающихся ноздрях, — они предчувствовали радость тех мук, которыми они насладятся. О, они еще не знали, чем и как будет завершена их потеха! Они не знали, что они только рабы-исполнители, обреченные таким же мукам сами.

4

Первые два отрока держали в руках по светочу из черных листов пергамента, пропитанного смолою и еще каким-то составом, усиливающим горение и замедляющим сгорание. Пламя держалось на верхних концах высоких светочей, иногда даже оно как бы отрывалось от светочей и поднималось на краткий миг в воздух, словно стараясь убежать с этого смолистого и нечистого ложа, но потом снова возвращалось к обугленным вершинам светочей и с тихим треском тихонько сползало еще немного ниже. Дым от светочей подымался немного и затем легкою тучкою уносился назад, в отворенную теперь настежь дверь.

Эти два отрока смеялись, как веселые и добрые мальчики, и зубы их сверкали, белые, крепкие зубы хищного человека. В глазах у них сверкали искры, отраженные от светочей или от внутреннего огня.

Они подошли ко мне близко и стали по обе стороны рядом со мною. Улыбаясь жестокою и бесстыдною улыбкою, они заглядывали мне в лицо. От них пахло сладко и нежно, кожа на их телах умащена была благовониями, и смрад светочей смешивался с благоуханием, исходящим от их тел. Стопы их ног казались покрасневшими от холода каменных плит.

5

Другие два отрока держали в руках по связке веревок. Это были обыкновенные бечевки средней толщины, пеньковые, прочные, добросовестно сделанные. Такими бечевками связывают небольшие узлы и маленькие сундуки для недалеких путешествий.

Бечевки были сложены в несколько раз и почти доставали до полу. Они колебались в руках отроков и слегка ударяли их по бедрам и голеням.

Отроки улыбались закрытыми губами, и казалось, что их зубы слегка сжаты. Иногда они сами слегка похлопывали себя бечевками по бедрам и сладострастно вздрагивали.

Эти отроки были ростом больше первых двух, и мускулы их были более могучими. Они подошли ко мне тихо, словно крадучись, и стали за моею спиною. Они стали так близко, что я чувствовал на своей шее их сдержанное дыхание.

Беспокойство заставило меня обернуться назад, — беспокойство, одолевающее того, за кем стал некто враждебный. Но один из них посмотрел на меня с такою злобою, что я содрогнулся.

Он наклонился ко мне и гортанными звуками сказал мне что-то на языке незнакомом, грубом и странном, — что-то непонятное, но, очевидно, угрожающее. Я отвернулся от него и увидел подходящего ко мне пятого отрока.

6

Пятый отрок держал в правой руке длинный свиток пергамента. Он держал свиток ближе к верхнему краю. Свиток изгибался широкими изгибами, потому что пергамент был толстый и прочный и почти касался пола своим нижним концом.

Отрок со свитком стал передо мною и устремил на меня внимательный взор. Он не улыбался, прекрасное лицо его дышало спокойствием и равнодушием. И долго смотрел. И томительно было ожидание.

Потом он опустил глаза на свиток, и стал читать шепотом, останавливаясь часто, и при каждой остановке смотрел на меня внимательно и равнодушно, словно сличая мои приметы с тем, что было начертано на пергаменте. И ему было все равно, сбудется или не сбудется замышленное. Он следил лишь, чтобы предметы предметного мира сходствовали с тем, что предсказано по писанию, которое он держал в своей нетрепетной руке.

Он был самый покойный из всех семи отроков, — он был книжный и отвлеченный. Тело его нежно пламенело в дымном озарении светочей и казалось почти прозрачным. Члены его были тонки и стройны, и движения его медленны и исполнены необычайной и волнующей прелести.

7

Повинуясь обаянию его шепота и его переходящих со свитка на меня и обратно взоров, я посмотрел на себя с таким странным и спокойным любопытством, словно взирая на чужого и нового человека. И со спокойным удивлением я увидел свое тонкое тело, облеченное в старое и пыльное одеяние.

Это была та одежда, которую носят все горожане в Европе, — скучная, черная одежда, повседневная и обременительная, как вериги.

Твердые поручи и твердая кираса на груди стесняли движения, но не защищали ни от чего, — и твердость их была обманчивая и побеждалась простою и даже не теплою водою. Убогое золото блестело на груди в столь скудном количестве, что не соблазнило бы оно и голодного вора. Черная обувь когда-то зачем-то блестела, и кто-то другой в поте лица заботился о том, чтобы она с каждым восходом солнца воспринимала новый блеск, — но теперь она покрылась пылью. Далека и трудна была дорога, по которой пришел я в эту темницу.

Переводя глаза то на себя, то на читающего свой свиток отрока, я почувствовал, что в отроке есть нечто, смутно беспокоящее меня каким-то еще новым беспокойством, — не тем страхом, как от первых четырех, но чувством неизяснимо волнующим. И с усилием всматриваясь в его черты, я наконец понял, что это — я. Я сам стоял перед собою и читал свой приговор.

В стране инобытия свершаются иные возможности, неслыханные на земле.

И слова свитка зажглись передо мною тусклым пламенем, но я не стал их читать, ибо знал их наизусть.

Сколько раз в томительные дни, в тоскливые ночи читал я и перечитывал этот свиток, прежде чем отдал его исполнителям!

8

И тогда увидел я последних двух отроков. Они таились сначала сзади других, и шептались, и смеялись негромко, и теперь подошли, и стали рядом с отроком, читающим свиток.

Это были самые сильные и высокие из всех отроков. Их широкие и могучие плечи, их высокие груди, медленно и сильно дышащие, их слегка согнутые руки со вздутыми мускулами, — все это внушало страх. Истинно, это были исполнители, и лица их дышали жадным, веселым и беспощадным смехом и издевательством. В руках у каждого из них виднелось по связке длинных и крепких бичей, похожих на змей.

Эти отроки смеялись, прыгали от нетерпения, щекотали друг друга концами бичей и при этом повизгивали от нетерпения и восторга. Они жадно и насмешливо смотрели на меня и шептали что-то.

Отрок со свитком кончил читать и сказал спокойно:

— Верно. Это — он.

Остальные шесть отроков обрадовались и засмеялись громко. И громче всех смеялись отроки с бичами.

И сказал я отрокам:

— Чему вы смеетесь? Разве вы не знаете, что это — я?

Отроки замолчали, и испуг выразился на их лицах. Но отрок со свитком сказал медленно и спокойно:

— Не бойтесь. Это — только он. И даже больше того скажу вам. Это — тело, преданное нам на забаву. Ибо мы — дети и хотим играть.

Отроки опять обрадовались и засмеялись еще громче прежнего. И отрок со свитком сказал, обращаясь ко мне:

— Даже и правдою ты не соблазнишь нас, величайшим из соблазнов — правдою. Потому что мы только исполнители.

9

Возвысив голос, начал говорить он так, при наставшем внезапно молчании:

— Это тело, слабое и больное, отягощенное пороками и грехами всего мира, надлежит уничтожить. Как мастер мнет глину, когда изваяние не удалось, так и это порочное тело надлежит смять и уничтожить. И вот повеление повелителя.

Он развернул свиток и читал медленно и спокойно:

— Тело, которое вы найдете в темнице двигающимся, рассуждающим и чувствующим, предадите вы жесточайшим мучениям, истязаниям невыносимым, даже до смерти. Вы обнажите преданное вам тело и подвергнете его поруганиям по произволу вашему. И потом распрострете вы его на полу темничном и свяжете столь крепко, чтобы оно не могло избежать жестокости вашей. И будете бичевать его медленно и долго. Но не до смерти. И потом отрежете руки и ноги его и остальное ввергнете в медленно горящее пламя. И темница его да будет предана огню. И память о нем да истребится на земле.

Он окончил чтение, и отроки радостно засмеялись. И сказал он:

— Таково повеление повелителя.

И я сказал:

— Повелитель — я.

Отрок со свитком ответил мне:

— Нам все равно, кто повелитель. Мы — исполнители. И мы исполним повеление.

И, обратясь к другим отрокам, он сказал им:

— Утвердите светочи ваши в стене и начните.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПОБЕДА СМЕРТИ

Трагедия в трех действиях, с прологом

Посвящаю моей сестре.
Автор трагедии

Автор трагедии. Предисловие

Автор трагедии заменил маску полумаскою, но все еще не открывает своего лица. Он хочет, чтобы его узнали по улыбке, змеящейся в углах его губ.

Если же не узнают...

Всеми словами, какие находит, он говорит об одном и том же. К одному и тому же зовет он неутомимо.

Если же не слышат...

Разве стихи его не прекрасны? Разве проза его не благоуханна? Разве не обладает он чарами послушного ему слова?

Улыбается и проходит, закутавшись в темный плащ.

И она с ним, змеинокая.

ЗМЕИНООКАЯ В НАДМЕННОМ ЧЕРТОГЕ

Пролог трагедии «Победа смерти»

Действующие лица:

Король.
Альдонса, именуемая королевою Ортрудою.
Дульцинея, именуемая Альдонсою.
Дагоберт, паж.
Поэт, в сюртуке.
Дама, в шелковом платье.

Сени королевского замка. Стены сложены из громадных, грубо отесанных камней. В передней стене — огромная арка входа, через которую и видно зрителям сени. Спереди широкая и пологая лестница до партера, который соответствует внутреннему двору замка; посередине вышины лестницы — неширокая площадка, и от нее отделяются направо и налево две лестницы поуже, — они ведут под боковые стены к наружным дворам замка. В глубине и по бокам сеней массивные колонны. От сеней подымаются вверх три короткие лестницы: средняя широкая — в зал пиров и торжественных приемов, две боковые — узкие, из них правая ведет в королевскую опочивальню. Часть лестницы освещена луною. На ступенях сидит король. Всматривается в темноту неосвещенного двора и говорит тихо, словно разговаривая с каким-то незримым собеседником.

Король. Кто зовет меня, не знаю, и к чему зовет, не могу понять. Темный призрак, чего ты от меня хочешь? Невнятен твой голос, и темно лицо твое, словно туманною закрытое личиною. И не знаю, зачем я пришел сюда, в это темное и полное полуночных страхов пространство. Вещая, ширококрылая птица разбудила меня, и я ушел из моей опочивальни, оставив на моем ложе мою милую супругу, сладкому отдавшуюся сну. И вот я здесь, и мнится мне, что передо мною множество неведомых лиц. Словно весь двор моего наследственного

чертога наполнился, и изо всех окон, и с галерей, и с балконов смотрят на меня бледные тени давно почивших. Слушают — и молчат. Смотрят на меня — и ничего мне не скажут. Страшное равнодушие, томительное безучастие пришедших!

По боковой лестнице подымается Дульцинея. Она имеет облик крестьянской бедной девушки, и все здесь зовут ее Альдонсою. На ней бедная, в лохмотьях, одежда; волосы ее полуразвиты; руки у нее обнажены, и ноги босы. На плече несет она коромысло с двумя ведрами.

Дульцинея. Как я устала! Боже мой, как я устала! Они заставляют меня ходить к источникам мертвой и живой воды, и когда я приношу наполненные ведра, они говорят, что эта вода моя не годится для питья. Они заставляют меня мыть ею полы, а меня бьют за то, что я приношу им воду горькую и терпкую. И не знают, что полные ведра сладкой воды я приношу им. И я устала. *(Ставит ведра на нижнюю ступень. Садится на лестницу, близ короля, долго смотрит на него молча и наконец говорит ему тихо.)* Не ты ли король, обитающий в этом надменном чертоге и владеющий этою темною страною?

Король. Да, змеиноокая, я — король этой страны, но страна моя светлая. *(Всматривается в нее и говорит.)* Я узнаю тебя. Ты — крестьянская девка Альдонса, та самая, над которою смеются мальчишки за то, что безумец называл тебя сладким именем Дульцинеи, милой очаровательницы, прекраснейшей из дев на земле. Ты научилась колдовать и ворожить, змеиноокая, но не нашла себе жениха.

Дульцинея. Я жду короля и поэта, которые увенчают меня. Увенчают красоту и низвергнут безобразие. Отринут обычное и к невозможному устремятся.

Король. Ведра твои стоят пусты, пославшие тебя ждут воды и будут бить тебя, если ты замедлишь на дороге. Возьми свои ведра, положив коромысло на молодое, смуглое плечо, иди за водою, служи тому, кто тебя нанял за малую плату.

Дульцинея. За малую плату!

Король. Полновесного и звонкого золота не стоит твой рабский труд. Грубые объятия хозяйского сына в темных сенях, где пахнет козлом и собакой, — вот достойная тебя награда. Научилась ты ворожить, — но что же пользы в твоих волхвованиях!

Дульцинея. Сюда идет поэт, — и вместе с ним ты должен увенчать меня, Дульцинею.

Король. Иди за водою.

Дульцинея. Вот твоя милость, король! Усталую, посылаешь ты меня снова. Исполню твою волю, принесу воды живой и принесу воды мертвой. А теперь, король, возьми от меня этот малый дар. *(Дает ему амулет. Уходит с ведрами на коромысле.)*

Король. Что дала она мне, волшебница? Злые чары в этом амулете? или благое нечто? Но надену его на шею. *(Надевает амулет на шею.)* Все легко и все свободно становится вокруг меня. Легкая, такая легкая жизнь! Легкая, такая легкая смерть! И сладким сном становится все предстоящее. Золотым сном. *(Склоняется на ступени.)*

Входит паж Дагоберт.

Дагоберт. Король очарован змеиным взором Альдонсы и спит на ступенях. Королева Ортруда одна. Судьба благоприятствует мне. *(Тихо уходит в королевскую опочивальню.)*

Входят поэт и дама.

Поэт. Нам попался очень хороший извозчик.

Дама. Да, он ехал очень быстро. Ветер шумел в ушах, и замирало сердце. Но он странный. Точно мертвый сидел. Господин поэт, куда он нас завез? Здесь тихо, темно и неподвижно.

Поэт. Это — кабачок. Но извозчик мне нравится. В стихотворении, которое я напишу об этой поездке, я назову его тройкой.

Дама. На вашем месте, господин поэт, я назвала бы его автомобилем.

П о э т. Нет, моя госпожа, лучше «тройка». И я нашел к этому слову хорошие рифмы.

Д а м а. Какие, господин поэт?

П о э т. Чародейка и водка.

Д а м а. Это хорошие рифмы, господин поэт. Но мне нравится только первая.

П о э т. А к слову «автомобиль» нет таких хороших рифм.

Д а м а. А может быть, и есть.

П о э т. Какая рифма?

Слышен бесстрастный голос.

Г о л о с. Смерть.

Д а м а. Вы слышали?

П о э т. Слышал. Кто-то спрятался и шутит.

Д а м а. Кто-то сидит на ступеньках.

П о э т. Это — швейцар.

Д а м а. Господин поэт, вы близоруки. Посмотрите хорошенько, — это — король.

П о э т. Моя госпожа, вы ошибаетесь: короли не сидят на ступеньках.

Д а м а. Может быть, вы правы, господин поэт. Но здесь скучно и страшно.

П о э т. Мы выпьем вина и закусим. *(Обращаясь в пространство, к партеру, зовет.)* Человек!

Ждут. Всматриваются в темноту.

Д а м а. Как здесь темно!

П о э т. Так надо. Сейчас зажгут электричество. Человек!

Выходит Дульцинея, сгибаясь под тяжестью коромысла.

Милая девушка, вы здесь подаете на стол? Дайте нам карточку.

Дульцинея. Я принесла полные ведра живой и мертвой воды.

Поэт. В этом кабачке свой язык. Это — красное и белое вино. Моя госпожа, вы какого хотите?

Дама. Я хочу белого.

Поэт. Это здесь называется, очевидно, мертвою водою. Милая девушка, налейте нам мертвой воды.

Дульцинея подходит. Черпает ковшом, подает поэту. Тот слегка отстраняется.

Неужели вино подается здесь в ведрах? Неужели его надо пить только из ковша?

Дама. Мне кажется, это оригинально.

Поэт. Мне кажется, это противно.

Дама. Вы правы, господин поэт. Оригинально, но противно. Мы не будем пить этой грязной воды из этих неопрятных ведер, из этого ржавого ковша.

Дульцинея. Вы ошибаетесь, моя милая. Это живая и мертвая вода, и вам следовало бы ее выпить. Вы бы увидели себя в волшебном зеркале.

Дама *(капризно)*. Не хочу.

Дульцинея. Господин поэт, я ждала вас долго. Вы пришли сюда, в глубину времен...

Поэт *(даме)*. Этот кабачок называется «В глубине времен».

Дульцинея *(продолжает)*. ...для того чтобы воспеть меня, прекраснейшую из земных дев, очаровательницу Дульцинею, которую здесь, в этой темной стране, неправо называют Альдонсою.

Поэт. Я пришел сюда не для этого.

Дульцинея. Воспойте меня, господин поэт, и тогда король меня увенчает. Воспойте меня, милый поэт, и тогда юноша меня полюбит. Воспойте меня, милый и прекрасный поэт, и тогда для всех откроется мое настоящее имя.

Поэт. Вы самозванка. Настоящая Дульцинея живет в надменном чертоге. Она не таскает тяжелых ведер. На ее ногах — атласные башмаки, шитые жемчугом.

Дульцинея. Господин поэт, смотрите в мои глаза и слагайте мне стихи.

Поэт. Я боюсь твоих глаз, змеиноокая. Я уже напечатал все мои стихи, и у меня нет новых.

Дульцинея. Господин поэт, вы, однако, не уйдете от моих чар. И эта чужая вам не поможет. Сядьте на ступени и смотрите на то, что здесь произойдет

Поэт. Я чувствую странную усталость. Сядемте здесь, моя госпожа; эта странная девица обещает нам зрелище.

Дульцинея. От вас самих зависит, чтобы это было только зрелище или чтобы это стало мистериею.

Поэт. Она говорит об интимном театре. Посмотрим.

Король продолжает дремать посреди лестницы. Поэт и его дама садятся у колонны справа, прижимаясь друг к другу, и смотрят на зрелище, как на золотой сон.

Дульцинея. Тяжко дремлет король — и не хочет меня увенчать. Усталый склонился поэт на ступени чертога, прижимаясь плечом к плечу своей случайной спутницы, — и не хочет воспеть меня, и не узнает Дульцинеи. Призову юных и прекрасных, сладкие тайны любви вознесу к высокому блаженству.

Дульцинея обращается лицом к королевской опочивальне и зовет.

Альдонса, именуемая королевою Ортрудою! И ты, юный паж Дагоберт! Идите ко мне.

Наверху лестницы показываются королева Ортруда и паж Дагоберт.

Дагоберт. Милая госпожа моя Ортруда, зачем ты вышла сюда? Король, очарованный змеиными очами безумной Альдонсы, дремал бы долго и не помешал бы нам насладиться сладкою нашею любовью.

Ортруда. Кто-то звал меня, и так повелителен зов.

Дагоберт. И она здесь, змеиноокая!

Дульцинея. Милый Дагоберт, разве ты не знаешь, кого ты любишь?

Дагоберт. Я люблю королеву Ортруду. И она меня любит.

Дульцинея. Разве ты не видишь, что это — Альдонса? Глаза ее тусклы, и голос ее чрезмерно звонок. Люби меня, милый отрок, меня, прекрасную Дульцинею. Отвергни королеву, отдай ее супругу.

Ортруда. Она безумная. Не слушай ее, Дагоберт.

Дульцинея. Молчи!

Королева молча склоняется рядом с королем на ступени и зачарованным смотрит взором на зрелище.

Люби меня, милый Дагоберт.

Дагоберт. Ты красавица, милая Альдонса. И ты умеешь очаровать. Вот сидят на ступенях они, зачарованные тобою. Ты и меня зачаруешь, хитрая Альдонса?

Дульцинея. Не зови меня Альдонсою. Я — Дульцинея.

Дагоберт. Все знают, что ты — Альдонса. Но мне все равно. Я буду звать тебя, как ты хочешь. Меня от этого не убудет. *(Обнимает Дульцинею и хочет ее поцеловать.)*

Дульцинея. *(Отстраняется. Говорит тихо.)* И ты мне не веришь. И самая страшная насмешка надо мною в том, что ты назовешь меня именем, которое принадлежит мне, но которому ты не веришь. Такой любви мне не надо. Вернись к своей милой.

Дагоберт садится рядом с Ортрудою, обнимает ее и дремлет на ее плече.

Опять зрелище остается зрелищем и не становится мистериею. Опять не увенчана, не воспета, не полюблена истинная красота этого мира, очаровательница Дульцинея во образе змеиноокой Альдонсы. И ве-

ликая во мне усталость, и великая тоска. Но не хочу оставить моего замысла. Неутомимая, буду стремиться к тому, чтобы увенчана была красота и низвергнуто безобразие. Неустанно в разных образах явлюсь поэту, любовнику и королю. Воспой меня, — скажу, — полюби меня, увенчай меня. Иди ко мне, иди за мною. Только я жива в жизни и в смерти, только во мне жизнь, только мне последняя победа. Вот приму образ рабыни Мальгисты и дочь мою Альгисту пошлю на великий подвиг, на исполнение моего вечного замысла. С ее девственной свежестью сочетаю мои вечные чары. Победа ли жизни, победа ли смерти, но победа будет моя.

ПОБЕДА СМЕРТИ
Трагедия в трех действиях

Действующие лица:

Король Хлодовег.
Берта, его жена.
Альгиста, ее служанка.
Мальгиста, мать Альгисты.
Этельберт, брат Берты.
Лингард, паж.
Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки.

Действие первое

Сени слабо освещены факелами, вставленными в железные кольца у колонн. Из дверей в зал слышатся громкие голоса пирующих, песни, смех, звон бокалов.

Песня *(в зале)*

В чаше крепкое вино
Горько! горько! горько!
Королева под фатой —
За туманом зорька.
Но в фате для короля
Развернется складка.
Целовать жену в уста
Сладко! сладко! сладко!

Альгиста и Мальгиста стоят близ входа в столовую, таясь за колонною. Альгиста закрыла свое лицо серым покрывалом. Говорят тихо.

Мальгиста. Милая дочь моя Альгиста, ты не боишься?

Альгиста. Я не боюсь.

Мальгиста. Настало время совершить великий наш замысел, — увенчать красоту и низвергнуть безобразие.

Альгиста. Безобразная и злая, глупая и жадная, достойная дочь многих поколений жестоких и коварных, она веселится и торжествует. Она хочет быть королевою, — зачем?

Мальгиста. Нет, не Берта хромая, дочь кровожадного короля Коломана, — ты, моя прекрасная Альгиста, достойна быть королевою.

Альгиста. Я буду королевою. И не будет Альгисты, и забудется имя Альгисты, — а я буду королевою.

Мальгиста. Может быть, последний раз называю я тебя моею дочерью. Дай же мне еще раз поцеловать лицо моей Альгисты, цветущие розами уста моей милой дочери. Завтра я склонюсь пред тобой, как рабыня перед госпожою.

Альгиста быстро откидывает покрывало. Любуется ею мать и целует ее прекрасное лицо. Альгиста закрывается.

Альгиста. Я стояла здесь долго одна, прячась в темном углу за столпами. Здесь передо мною после венчального торжества с королем прощались рыцари, привезшие королевну нашу Берту. Ушли, уехали, и теперь только мы две остались при ней. Потом смотрела я, как здешний король, и Берта, и гости вошли в тот зал и сели за стол. Сидят и пируют, а я стою одна и смотрю. С моего места видно мне лицо короля, и рядом с ним Берта.

Мальгиста. Госпожа наша Берта, следуя древнему обыкновению, сидит, покрытая левантскою тканью, расшитою золотом.

Альгиста. Пусть Берта закрыта своею златотканною вуалью, — я знаю, я помню ее изрытое оспою лицо, я знаю, что одна нога госпожи

моей короче, чем другая, и хитро сделанными золотыми каблуками она скрывает это.

М а л ь г и с т а *(тихо смеется и говорит шепотом)*. Много пышных обрядов придумали владыки, чтобы возвеличить себя выше нас. Их тщеславие и нам иногда на пользу. Король Хлодовег еще не видел лица госпожи нашей.

А л ь г и с т а. Я знаю. Хотели обмануть здешнего короля. Увидел бы завтра утром, да уж поздно было бы. Не прогонишь разделившую ложе, хоть бы и противна она была.

М а л ь г и с т а. Нет, мы дадим ему жену прекрасную и мудрую. Он упился вином. Сейчас он не увидит ее лица во мраке опочивальни, а потом не поймет, кто чем его обманул.

А л ь г и с т а. Обман и коварство не нами начаты. Владыки увенчанные и сильные открыли путь коварства и зла.

М а л ь г и с т а. Пир кончается. Уйду. Не надо, чтобы меня увидели с тобою. *(Поспешно целует Альгисту и уходит.)*

Из столовой выходит паж Лингард.

Л и н г а р д. Устал. Хоть на пол сесть. Легко сказать, с утра на ногах. *(Идет в тот угол, где Альгиста.)* Да тут кто-то есть. Кто ты?

А л ь г и с т а *(притворно глухим голосом)*. Я служанка королевы Берты, Альгиста.

Л и н г а р д. Что ты тут делаешь впотьмах? Пировала бы с другими девушками. Они все пьяны. Или и ты устала? Отдохнем, посидим вместе. *(Обнимает Альгисту, хочет поцеловать.)*

А л ь г и с т а. Поди прочь, или я закричу.

Л и н г а р д. Недотрога! Разве я тебе противен?

А л ь г и с т а. Ты красив, но сегодня нам некогда целоваться. Да и нельзя. Сейчас пойдут из-за стола, и я должна буду раздеть госпожу нашу Берту и погасить огни в опочивальне, чтобы не разглядел король раньше времени, чего не надо.

Л и н г а р д. А чего не надо?

Альгиста. Чего не надо? Нехорошо будет, если новобрачный увидит раньше времени рябое лицо королевы. Пожалуй, прогонит, скажет, — уходи, пока ты еще дева. *(Притворно смеется.)*

Лингард. Так Берта, говоришь, рябая?

Альгиста. Как кукушка. И хромая.

Лингард *(смеется)*. Значит, короля обманули?

Альгиста. Да. Но ты пока молчи. *(Отходит, притворно хромая.)*

Лингард. А ты зачем закрылась? Да и ты, никак, хромая? По госпоже и служанка!

Альгиста. Что ты! Я никогда не хромала. *(Прислоняется к стене.)*

Лингард. Дай-ка я сам посмотрю. Уж и ты не рябая ли? *(Хватается за ее плащ.)*

Альгиста кричит пронзительно-громко.

Дура, с тобою в петлю попадешь. *(Убегает.)*

Из залы выходит король, Берта, рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки.

Король. Кто-то кричал здесь о помощи. Кто осмелился потревожить наш светлый и радостный пир? Найти и поставить дерзкого перед нами.

Альгиста вмешивается в толпу королевских служанок. Пажи и слуги с нестройным шумом и восклицаниями мечутся по сеням. Рыцари стоят в воинственных и несколько смешных позах, грозно вращая глазами; лица их красны от обильно выпитого вина.

Король. Ты испугана, милая моя супруга Берта? Ты дрожишь?

Берта. Нет, господин мой, рядом с тобою я ничего не боюсь.

Король. Кто-то с пьяных глаз поднял крик и, сам испуганный своею дерзостью, скрылся. Для нашей радости прощаем дерзкого. Верные слуги наши, оставьте ваши поиски. Женщины, проводите королеву в нашу опочивальню.

Берта, дамы и служанки уходят в опочивальню, и с ними Альгиста.

А мы, друзья, вернемся за стол и выпьем последнюю чашу.

Король, рыцари, пажи и слуги уходят в столовую. Дамы, проводившие королеву в опочивальню, возвращаются и уходят по боковой лестнице налево. Сени пустеют. Из столовой слышны громкие крики, нескромные песни, пьяный хохот. По боковой лестнице осторожно поднимается Мальгиста. Осматривается. Крадется к дверям опочивальни. Прислушивается. Быстро уходит, прячась за колоннами. Из опочивальни выходят служанки. Смеются. Говорят пьяными голосами.

Служанки

Какая скромная! Не хотела при нас раздеваться. Даже лица не открыла.

— Только свою молодую служанку оставила.

— Да и та странная — закрылась покрывалом и молчит.

— Старая Мальгиста шепнула мне потихоньку, что ее дочь — рябая.

— И хромая будто бы и потому носит башмаки с разными каблуками, — один высокий, другой низкий.

— Все равно увидим, — не век же им прятаться под своими длинными вуалями.

Уходят вниз по лестнице. Сцена пуста. Из опочивальни выходит Альгиста, босая, в сорочке, покрытая большим темным покрывалом. Разрезывает кинжалом кожу на своей груди. Отходит в темный угол и, полузакрывшись плащом, ложится. Из столовой выходит король, сопровождаемый шумною толпою. Короля провожают до опочивальни.

Король. Друзья, благодарю вас за то, что вы разделили мой торжественный пир и веселили меня и королеву веселыми песнями и благопристойными шутками. Теперь идите спать, оставив здесь стражу, и да благословит нас всех Бог.

Рыцари, пажи и слуги *(кричат громко и нестройно)*. Да хранит Бог короля и королеву на многие годы! Да пошлет он счастия

королю, и королеве, и наследнику! И наследника! Счастливой ночи, государь! И удачной!

Король уходит. Рыцари унимают шумливых и смешливых пажей. Уходят. У дверей опочивальни остаются два вооруженные рыцаря. Разговаривают шепотом. Потом дремлют, прислонясь к колоннам и опершись на свои копья. Некоторые факелы гаснут. В тишине слышатся шорохи и шелесты. Альгиста стонет. Рыцари встрепенулись.

П е р в ы й. Здесь кто-то есть.

В т о р о й. Помнишь, кто-то закричал, когда еще сидели за столом?

П е р в ы й. Здесь лежит женщина.

Оба нагибаются к Альгисте.

А л ь г и с т а *(со стоном)*. Помогите!

Рыцари освещают ее факелом.

П е р в ы й. Красавица!

В т о р о й. Кто-то полоснул ее ножом в грудь.

П е р в ы й. Слабый удар. Красавица испугана, но не опасно ранена. Плохой удар, — точно ребенок или женщина.

В т о р о й. Кто ты, красавица?

А л ь г и с т а. Берта.

В т о р о й. Она Берту зовет.

А л ь г и с т а. Я — Берта.

П е р в ы й. Королева?

А л ь г и с т а. Да.

П е р в ы й. Но королева с королем в опочивальне. Ты бредишь, красавица.

В т о р о й. Она опять закрыла глаза.

П е р в ы й. Что же нам с нею делать?

В т о р о й. Позовем сенешаля.

П е р в ы й. Хорошо ли будет, если все сразу узнают эту темную и странную историю?

В т о р о й. Что же делать?

П е р в ы й. Постучимся к королю. Он нас похвалит за скромность. Может быть, эту красавицу или кого другого понадобится убрать без шума, чтобы никто и не узнал, что тут было.

В т о р о й. Пожалуй, что и так.

Отходят от Альгисты. Альгиста громко стонет. По сцене пробегает Мальгиста, вопя.

М а л ь г и с т а. Где дочь моя Альгиста? Альгиста, Альгиста, где ты? *(Убегает.)*

За сценою слышны ее вопли. Вбегают рыцари, женщины и пажи. На шум выходит король.

К о р о л ь. Что здесь?

Восклицания, шум.

А л ь г и с т а. Господин мой Хлодовег, спаси меня!

К о р о л ь. Кто эта женщина?

П е р в ы й р ы ц а р ь. Она лежала здесь в темном углу, раненная кем-то. Мы спросили ее, она сказала нам, что она — королева Берта.

К о р о л ь. Что она говорит! Королева в опочивальне покоится на моем ложе.

А л ь г и с т а *(слабым голосом)*. Раздели, ушли. Одна осталась. Закрывала лицо. Но я ее узнала. Ударила меня кинжалом. Вытащила меня сюда. Рабыня моя Альгиста замыслила на меня злое.

К о р о л ь. Что ты говоришь, несчастная! Неужели с рабынею разделил я мое ложе!

А л ь г и с т а. Горе мне! Я умираю, я, дочь короля, я, супруга короля, я, юная и прекрасная, — а она, моя рабыня, рябая и хромая девка Альгиста будет королевою! Лежу на камнях, а рабыня моя на моем ложе!

К о р о л ь. Женщины, войдите в мою опочивальню, оденьте королеву и приведите ее сюда, — и здесь королева уличит обманщицу, и правда воссияет ярче солнца.

М а л ь г и с т а *(вбегая)*. Добрые люди, скажите, где моя дочь Альгиста?

К о р о л ь. Посмотри, не эта ли твоя дочь, раненная кем-то?

М а л ь г и с т а. Альгиста, дитя мое, кто тебя обидел? *(Бросается к Альгисте. Всматривается. Вскакивает с громким криком. Отходит. Опять бросается на колени перед Альгистою.)* Милая госпожа моя Берта, что с тобою? Зачем ты лежишь здесь, на холодных камнях, полунагая? За что твой супруг отторг тебя от своего ложа?

А л ь г и с т а. Верная моя Мальгиста, какое горе! Какой стыд! Твоя дочь, раздевая меня, ударила меня кинжалом. Как мертвая упала я к ее ногам. Она вытащила меня сюда, бросила в темный угол и сама ушла на мое ложе.

М а л ь г и с т а. О горе мне! Безумная Альгиста, что ты замыслила!

Берта выходит из опочивальни, и женщины с нею.

Несчастная дочь моя, безумная Альгиста! Зачем подняла ты руку на свою госпожу?

Л и н г а р д. Так вот зачем она уверяла меня, что королева рябая и хромая!

П е р в ы й р ы ц а р ь. Когда? Что ты говоришь?

Л и н г а р д. Подожди, я все расскажу королю.

Б е р т а. Мальгиста, что ты говоришь! Или горе помутило твой разум? Вот лежит дочь твоя Альгиста, раненная кем-то.

М а л ь г и с т а. О, коварная! Ты — Альгиста, ты — дочь моя, а здесь лежит госпожа наша Берта. Убить ее ты замыслила, но она еще жива и уличает тебя, преступница!

К о р о л ь. Кому же верить?

Б е р т а. Я — Берта, дочь короля Коломана.

А л ь г и с т а. Я — королева Берта.

Б е р т а. Я с тобою венчалась, король.

А л ь г и с т а. Я с тобою венчалась, Хлодовег.

Б е р т а. Я сидела с тобою за пиршественным столом.

А л ь г и с т а. Я, сидя за столом, просила: господин мой, поцелуй мои плечи.

Б е р т а. Я говорила эти слова.

А л ь г и с т а. Вслух?

Б е р т а. Я шептала их на ухо моему господину.

А л ь г и с т а. Как же я могла бы их услышать?

Б е р т а. Мальгиста научила тебя.

А л ь г и с т а. Никто меня не учил, я хотела, чтобы приласкал меня господин мой.

Б е р т а. Верните рыцарей, которые привезли меня, — они скажут...

А л ь г и с т а. Король, тебе рассказывали, конечно, послы моего отца, что я прекрасна?

К о р о л ь. Да. Разве взял бы я урода!

А л ь г и с т а. Король, смотри, какая я прекрасная, смотри, какая она рябая.

Б е р т а. Да, но я — королева, а ты, красавица Альгиста, — моя служанка.

А л ь г и с т а. Смотри, король, у нее одна нога короче другой.

Б е р т а. Я — хромая, но королева.

А л ь г и с т а. Король, разве послы отца моего говорили тебе, что Берта — рябая и хромая?

К о р о л ь. Нет. Я и не взял бы в жены хромую и рябую и не думал, что король Коломан меня обманет.

Альгиста притворяется потерявшею сознание.

М а л ь г и с т а *(склонясь над нею)*. Милая моя госпожа!

Б е р т а. Сеть обмана, широкая сеть обмана раскинута надо мною. Кто поможет мне разорвать вязкие петли обмана? Кому крикну: помогите? Оставили меня жертвою обмана.

К о р о л ь. Вижу, кто из двух — обманщица. Но скажите, бароны и рыцари, как по-вашему, кто королева?

Р ы ц а р и. Эта прекрасная раненая дама.

К о р о л ь. Кто обманщица?

Р ы ц а р и. Эта рябая и хромая женщина.

К о р о л ь. Что сделать с нею?

М а л ь г и с т а. Король, прости мою дочь! Враг человека помутил ее мысли. За мою верность королеве прости мою дочь.

К о р о л ь. Уведите ее далеко в лес, и да будет над нею воля Господня. А ее мать...

А л ь г и с т а. Король, оставь при мне эту верную женщину. Видишь, родную дочь уличила она — истинно верная душа!

К о р о л ь. Да будет, как ты хочешь, милая королева.

Б е р т а. Бедный король, ты поверил обману!

Берту уводят. Альгисту поднимают и несут в опочивальню. Люди уходят. Слышен бесстрастный голос.

Г о л о с. Проходит ночь. День. Ночь. День. Ночи и дни. Годы. Во мраке времен проходят быстро годы. Десять лет.

Действие второе

Те же сени. Из средних дверей стремительно выходит Альгиста. На ней торжественный наряд королевы. Она беспокойно мечется по сеням. Мальгиста выходит за нею. Слышен конец песни.

И вот король поверил
Седому колдуну
И выгнал он за двери
Любезную жену.
Обманутые славят
Отродье колдуна,
И королевством правят

Волшебник и она.
А где же королева?
Она в лесу глухом.
Вернется ль королева?
О том спою потом.

А л ь г и с т а. Король заметил?

М а л ь г и с т а. Нет, госпожа, — все заслушались песен захожего певца.

А л ь г и с т а. Ты узнала его?

Мальгиста молчит.

Что же нам делать?

М а л ь г и с т а. Он ничего не посмеет сказать. Не станет же он говорить, что король Коломан, отец Берты и его отец, — обманщик.

А л ь г и с т а. Мне страшно!

М а л ь г и с т а. Не бойся, милая дочь моя.

А л ь г и с т а. Нет, даже не страшно, — я устала. Я думала не то. Я верила, что люди хотят свободы и света. Как настойчиво, как хитро, ночью и днем, повторяла я королю одно и то же всеми словами, какие находила! Он мне верил, он наконец научился думать по-моему. Но он ничего не может сделать кроме того, что делали его предки: воевать, судить, награждать. Ничего дерзкого. Господа хотят властвовать, — это я понимаю. Но народ, — все эти простые люди, земледельцы и ремесленники, о, как они хотят быть рабами! Только рабами!

М а л ь г и с т а. Все говорят, что при тебе король стал милостив к народу, щедр к своим слугам, справедлив для всех, прибегающих к его суду. Народ благословляет имя твое, милая королева наша Берта.

А л ь г и с т а. Прославляют имя Берты! Но откроется правда, узнает король мое имя, — прославит ли он сладкое имя Альгисты?

М а л ь г и с т а. Король не узнает.

А л ь г и с т а. Узнает.

М а л ь г и с т а. И узнает, да не поверит.

А л ь г и с т а. Идут.

Мальгиста отходит от нее и становится за колонною. Альгиста становится впереди сеней, вполуоборот к средним дверям, так что ее лицо в тени. Из залы выходит король, принц Этельберт в одежде захожего певца, рыцари, дамы и пажи.

К о р о л ь. Милая Берта, свет моих очей, зачем ты ушла от нас? Он спел нам еще две песни, одну лучше другой.

А л ь г и с т а. Велико искусство захожего певца. Кто бы из людей мог петь так сладко и так коварно? Не силою ли нечистого беса внушены ему его хитрые напевы?

К о р о л ь. По всему видно, что он — человек благочестивый.

А л ь г и с т а. Враг человека и в рясе приходит. У меня от его злых песен закружилась голова.

К о р о л ь. Прости, милая Берта, — я думал, что тебе приятно. Певец, возьми это золото и иди отдыхать. Хороши твои песни, велико твое искусство, и боюсь, не чародейная ли в нем сила.

Э т е л ь б е р т. Моя сестра поет лучше, и если от моих песен ушла милостивая госпожа Берта с королевского светлого пира, то пение сестры моей утешит королеву.

К о р о л ь. Где же твоя сестра?

Э т е л ь б е р т. Здесь, ждет на дворе. Если позволишь, король, я приведу ее.

К о р о л ь. Приведи.

Э т е л ь б е р т *(проходя мимо Альгисты)*. И девка Альгиста в королевах.

А л ь г и с т а. Сын обманщика идет с обманом на обман.

Э т е л ь б е р т. Бичу и розгам предадут прекрасное тело и позорной смерти. *(Уходит.)*

К о р о л ь. Что бормотал тебе захожий певец?

А л ь г и с т а. Непонятные слова. Он одержим нечистым духом, и ум его охвачен злыми, жестокими видениями. Мерещатся ему из-

мены, обманы, кровь, муки и смерть. Напрасно велел ты ему позвать его сестру. Если и она такая же, наведут они на тебя, милый мой господин, и на меня, бедную, злые чары.

К о р о л ь. Так пусть им скажут, чтобы они не входили.

Но едва король начал говорить, по средней лестнице уже стремительно поднималась Берта, с мальчиком, и за ними Этельберт.

Милый певец, усладили наш слух твои песни. Верю, что еще искуснее и приятнее пение и голос твоей сестры, — но королева устала и не может слушать песен. А ты, искусница, не досадуй, что напрасно ожидала своей очереди петь. Возьми это золото и удались, — может быть, мы с королевою призовем тебя завтра.

Б е р т а. Устала и я, королева Берта. Изгнанная тобою, милый супруг, потому что обманщице Альгисте поверил ты больше, чем мне, скиталась я долго по дремучим лесам, по крутым горам, по широким долам. Рыскучие ветры меня обвевали, частые дожди меня мочили, красное солнце меня палило, колючие кустарники рвали мою одежду и царапали мое тело, о песок и о камни изранила я мои ноги. В поле под стогом родила я тебе, король, сына. Повила его нищая старуха, окрестила я его в бедной деревенской церкви, назвала его Карлом, и будет он королем великим. Возьми его, милый король, и меня не гони с твоего ложа.

А л ь г и с т а. Спела ты, певица, свою песню, хоть и не хотели тебя слушать. Ну что же, пой себе дальше, — о себе спела, обо мне пой.

Б е р т а. Ты — моя служанка Альгиста. Вон там, за столпом, прячется, бледная от злобы и от страха, твоя мать Мальгиста.

Э т е л ь б е р т. Милая Берта, не унижай себя спором с рабынею. Король, узнай, что я — Этельберт, сын короля Коломана, брат твоей несчастной супруги Берты, которую ты изгнал, обманутый злою Альгистою.

А л ь г и с т а. Он — безумный, и сестра его — такая же.

Э т е л ь б е р т. Со мною рыцари, привезшие тебе десять лет назад Берту. Ты их узнаешь, и они скажут тебе правду. *(Трубит в золотой рог.)*

По средней лестнице всходят двенадцать рыцарей.

И вот, король, грамота от короля Коломана. *(Подает королю грамоту.)*

Король берет ее.

К о р о л ь. Канцлер, распечатай эту грамоту, и мы прочтем ее, как надлежит читать королевские послания, стоя на королевском нашем месте. А теперь ты, захожий певец, называющий себя принцем Этельбертом, скажи нам еще раз, утверждаешь ли ты, что вот эта женщина, пришедшая с тобою, — она-то и есть прекрасная Берта, дочь короля Коломана.

Э т е л ь б е р т. Да, это — королева Берта, твоя жена и дочь моего отца, короля Коломана.

А л ь г и с т а *(смеется)*. Прекрасная Берта! Красавица! Смотри, король, какой у нее большой рот! Какая она рябая! И одна у нее нога длиннее другой.

Б е р т а. Ты все это хорошо помнишь, Альгиста, — да и тебе ли не помнить! Ты одевала и обувала меня.

Э т е л ь б е р т. Сестра моя была прекрасна, но злыми чарами по дороге сюда испортила ее Альгиста. Смотри, король, как сестра моя похожа на меня.

А л ь г и с т а. Такой же рыжий урод, как и она.

Э т е л ь б е р т. Однако девушки моей родины, да и в других странах, засматривались на меня, и любая из них...

А л ь г и с т а. Золотом брякнешь, — распутная девка виснет на шею.

Э т е л ь б е р т. Король, допроси моих спутников. Может быть, ты припомнишь их лица.

К о р о л ь. Вернемся в наш королевский чертог, прочтем эту грамоту, рассмотрим дело и решим его по совести. И грозен будет суд наш для замысливших обман. *(Уходит в среднюю дверь.)*

За ним все, кроме Альгисты и Мальгисты.

М а л ь г и с т а *(подходя к дочери)*. Милая госпожа, иди на свое место рядом с королем. Ничего не бойся. Не сознавайся. Король тебя любит и только тебе поверит.

А л ь г и с т а. Останусь здесь. Я устала. И не хочу быть Бертою.

М а л ь г и с т а. Что ты говоришь, безумная! И себя, и меня погубишь.

А л ь г и с т а. Разве я не прекрасна? Разве я не была ему верна? Разве у меня нет ему сына? Видела ты? Притащили сюда чахлого выродка, а мой сын, мой сын, — сильный, прекрасный, мой сын, о Хильперик!

М а л ь г и с т а. Видишь, все за тебя, милая дочь моя. Так не бойся, иди смело, займи свое место, — король только тебе поверит.

А л ь г и с т а. Настал час последнего испытания. Если он меня любит, если долгие дни и сладкие ночи нас навеки сковали, то он меня не отвергнет и увенчает Альгисту. Иду, открою мое имя.

М а л ь г и с т а. Безумная, невозможное ты замыслила.

А л ь г и с т а. Иду! *(Идет к дверям в зал.)*

Мальгиста ее удерживает. Краткая борьба.

(Кричит.) Король, я — Альгиста! *(Быстро входит в зал.)*

Мальгиста бежит за нею.

(За сценою.)

К о р о л ь. Альгиста?

Шум. Отдельные возгласы.

А л ь г и с т а. Я — Альгиста. Вот, Хлодовег, я перед тобою, суди меня, как хочешь, казни или милуй — но вспомни, вспомни, король, как была я тебе...

К о р о л ь. Молчи! Обманщица и рабыня опозорила мое ложе!

Р ы ц а р и   и   д а м ы. Обманщица! Рабыня! Смерть ей!

А л ь г и с т а. Милый король мой Хлодовег, я была тебе верною женою.

К о р о л ь. Молчи. Позорной смерти...

А л ь г и с т а. Хлодовег, милый супруг мой Хлодовег...

К о р о л ь. Женщины, заставьте ее молчать.

Альгиста глухо вскрикивает. Шум, восклицания. Выделяется один голос.

К а н ц л е р. Замолчите! Король произносит свой грозный приговор.

К о р о л ь. Снять с обманщицы венец, ожерелье и одежду королевы. Ты, любезная королева Берта, займи свое место. Обманщицу позорною и лютою казнить смертию перед народом, — бичу и розгам предать, обнажив, ее тело, и сечь до смерти, и тело бросить в ров на съедение собакам. И мальчишку бить и повесить. А мы с тобою, королева, пойдем, и с высокого будем смотреть балкона на ее муки, и слушать ее вопли. Бейте обманщицу!

Заглушенные возгласы Альгисты. Вопли Мальгисты. Смех. Шум. Крики. Шум постепенно возрастает. Слышен грубый хохот. Рыцари, дамы, пажи, слуги и служанки начинают выходить из зала. В их толпе крики.

Р ы ц а р и,   д а м ы,   п а ж и,   с л у г и   и   с л у ж а н к и

Обманщица уличена!

— Это — простая девка Альгиста.

— С нее сорвали все уборы и возложили на настоящую королеву.

— Где ее будут наказывать?

— Здесь на дворе, среди этого народа, который пришел смотреть на зрелище.

— Смотрите, ее уже раздевают.

— Обманщицу казнят сегодня же.

— Лютою и позорною смертью.

— Ее засекут до смерти розгами и бичами из воловьей кожи.
— И ее мальчишку повесят.
— Я плюнул ей прямо в глаза!
— Я надавал ей пощечин!
— На ней одна рубашка, но мы ее сейчас сорвем.
— Ведут, ведут!

Из дверей зала выводят Альгисту. Все толпятся вокруг нее, хохочут, кричат, издеваются. Ее ведут по широкой лестнице вниз, в партер, где дверь замка. Сени окутываются мраком. Слышен вопль Мальгисты.

М а л ь г и с т а. Добрые люди, добрые люди, спасите дочь мою Альгисту!

Действие третье

Те же сени. Ночь. Слышен вой собак. Полная луна бросает ясную полосу света на верхние ступени и на край площадки, оставляя остальное место в тени. Сени сначала пусты. Потом по боковой лестнице медленно поднимается Мальгиста. Несет на плечах тело Альгисты, полунагое, едва прикрытое окровавленною и изорванною одеждою. Положила Альгисту на место, озаренное луною, села над нею и плачет, тихо причитает.

М а л ь г и с т а. Дочь моя, дочь моя! Забили, замучили. Долго хлестали беспощадные бичи, и хохотали слуги и мальчишки. И умерла моя Альгиста. И бросили ее в ров замка на съедение собакам, — но псы не тронули ее и выли над ее телом, выли в тоске над телом ласковой госпожи. И поднималась луна, и выли псы, и тоска моя восходила к небу.

Плачет, точно воет. Слышен вой собак. Мальгиста поднимается тихо и уходит, причитая.

К холодной луне и к ясному небу восходит моя тоска. Воют псы, нюхая кровь ласковой госпожи, — и я завою на месте, где в землю впиталась ее обильно пролитая кровь. *(Ушла.)*

Альгиста поднимается, зовет.

Альгиста. Спящие, встаньте!

Все тихо. Альгиста падает. Мальгиста возвращается. Несет ребенка. Положила его рядом с Альгистою. Села над ними и плачет, причитает.

Мальгиста. И невинного не пощадили отрока. Избили, измучили, убили, бросили с матерью рядом. О Альгиста, Альгиста, дочь моя!

Альгиста приподнимается и вскрикивает.

Альгиста. Спящие, встаньте!

Мальгиста склоняется над нею, спрашивает ее тихо.

Мальгиста. Дочь моя, милая, ты жива?

Альгиста. В этот страшный час только мертвые живы.

За окном слышна перекличка часовых. Кто-то поднимается по лестнице сбоку и заглядывает в сени. Замок мало-помалу наполняется тихими, все возрастающими шорохами, шумами.

Мальгиста. Дочь моя, скажи мне, — ты не умерла? ты жива?

Альгиста. Близок час последнего испытания.

Мальгиста. Или из мертвых встала ты, разбуженная силами ворожащей в тихом небе или таинственным шепотом блуждающей около ночных распутий?

Альгиста. Смотри, — вот два пути, — он изберет один из них. Жива ли я, мертва ли я... *(Медленно поднимается и зовет.)* Жив ли ты, мертв ли ты, сын мой Хильперик, встань.

Мальчик поднимается. В свете луны видны бледные лица Альгисты и мальчика и окровавленные их одежды. Альгиста обращается лицом к дверям, ведущим в королевскую опочивальню, и кричит голосом громким и диким, наполняющим всю громаду здания.

Спящие, встаньте!

В замке слышен шум, смятение, крики, звон оружия. Через сени пробегают слуги, пажи, рыцари, женщины. Сени наполняются смятенным народом. Слышны восклицания.

Слуги и служанки, пажи, рыцари, дамы
Кто здесь так громко кричал?
— Что случилось?
— Враги напали?
— Не мертвые ли встали?
— Не трубу ли архангела мы слышали, зовущую на страшный суд?
— Страшно!
— Дивные дела здесь творятся.
— Пролитая кровь вопиет к небу.
— Темно.
— Где факелы?

Кто-то вносит факел, потом другой, еще и еще. Люди с факелами беспорядочно мечутся по сеням. Иные факелы вставлены в кольца. Люди кричат.

— Смотрите, здесь Альгиста!
— Замученная королева встала!
— И ее сын.
— Горе нам, — не злое ли совершили мы здесь дело?

Мальгиста. Горе вам, — злое вы совершили здесь дело, прекрасный вы разбили сосуд и многоценное пролили вино.

Возрастающим светом факелов все более освещаются сени.
Альгиста и ее сын у края лестницы, остальные теснятся к стенам и колоннам. Выходят король, Берта и Этельберт. Хлодовег и Берта едва одеты, но на головах их

короны. В руках у короля обнаженный меч. Шум затихает. Все, кроме короля, останавливаются неподвижно, молчат и смотрят на Альгисту.

Милая дочь моя Альгиста, скажи ему сладкие слова любви.

Альгиста. Король, злое ты совершил дело, но моя любовь тебя прощает. Оставь эту чужую, иди за мною, иди к жизни светлой и свободной.

Король. Кто ты? И зачем ты здесь? Если ты жива, сокройся от нашего праведного гнева. Если ты от мертвых встала, вернись к своему покою и живущих на земле не тревожь ночными явлениями.

Мальгиста. Милая дочь моя Альгиста, зови его, чтобы он шел за тобою.

Альгиста. Милый господин и супруг мой Хлодовег, я — твоя Альгиста. Я люблю тебя, я пришла к тебе призвать тебя ко мне. Иди ко мне, иди за мною.

Король. Ты меня обманула.

Альгиста. Я была верна тебе, я останусь верна тебе до конца.

Берта. Король, убей волшебницу.

Альгиста. Хлодовег, скажи мне, любил ли ты меня?

Король. Любил.

Альгиста. Скажи мне, любишь ли ты меня?

Король. Люблю.

Альгиста. Иди же за мною.

Король. Муки ли заслуженной тобою кары помрачили твой разум? Или воздвигнутая злыми чарами пришла ты к нам? Скажи нам, кто же ты? полночный призрак или живая Альгиста?

Берта. Король, зачем же в руке твоей меч? Вонзи его железо в злое сердце обманщицы.

Мальгиста. Милая дочь моя Альгиста, очаруй его сладкими словами любви, таинственные скажи ему заклинания.

Альгиста. Господин мой, к тебе пришла я, — возьми меня так, как ты сам хочешь, живою или мертвою. Властию моей безмерной любви, силою моих нестерпимых мучений, над жизнью и над смертью торжествующею моею волею купила я у земли, и у неба, и у темного

подземного мира твое тело, и твою душу, и твою полночную тень. Вот я перед тобою, едва жива, едва мертва, дыханием едва дышу, тлением едва тлею, на страшном колеблюсь перекрестке, кровь моя в сырой земле, и голос мой к луне ворожащей, — и я зову тебя: иди ко мне, избери наш путь к жизни или смерти по своей воле, иди со мною живою, люби меня — или останься здесь, но и здесь со мною, с мертвою мною. Люби меня, господин и супруг, навеки мой, люби меня.

Король. Обманом ты взошла на мое ложе, ты похитила имя и честь королевы.

Берта. Она — чаровница. Скорее пронзи ее мечом.

Альгиста. Когда ты меня любил, когда ты меня ласкал, когда ты нежные шептал мне слова, что нам были и блеск твоей короны, и твоя верховная власть! Не напоила ли я тебя всеми сладостями любви? Не всякую ли твою радость я прославила светлым моим веселием? Не всякую ли твою печаль я растворила в моих слезах? Не была ли я тебе ясным небом, и прохладною тенью, и птицей-щебетуньей, и звонко лепечущим ручьем? Мои белые, мои голые руки легче королевского ложились ожерелья на твои утомленные плечи. Слаще фалернского вина были тебе знойные поцелуи моих алых губ. Ярче многоцветных алмазов и рубинов твоей короны сияли тебе мои очи. Не была ли я прекраснее всех королев? И не ты ли говорил, что я мудрейшая из жен, что слова мои падают, как золото, на легкий пепел речей старейших твоих вельмож?

Король. Ты была прекрасна и мудра, и я тебя любил. Но минувшее невозвратно. Удались.

Берта. Пронзи мечом.

Альгиста. Я не уйду от тебя. Мы соединены навеки тайною силою моей любви.

Король. Вот жена моя, королева Берта, — под охраною верных в своей светлице почивает сын наш и наследник Карл, — тебе и твоему сыну нет места между нами.

Альгиста. А ты меня любишь?

Король. Люблю.

А л ь г и с т а. Так пусть останутся здесь королева Берта и юный Карл. Отдай ему свою корону, иди за мною. Я открою тебе счастливый и вольный мир, я уведу тебя в долину меж дальних гор, где нет владык и рабов, где легок и сладок воздух свободы.

К о р о л ь. Безумны твои речи. Я — король.

Б е р т а. Убей.

А л ь г и с т а. Хлодовег, твоя судьба в твоих руках. Смотри — гаснут факелы. Слушай, — за окном воют чуткие псы, обнюхивая на тонкой дорожной пыли неведомый след. Смотри, король, как все тихо, темно и неподвижно вокруг тебя. Слышишь, — они молчат, и только мои слова падают во тьму перед тобою.

К о р о л ь. Безумная, уйди. Пажи, уведите ее.

Все вокруг короля неподвижны и смотрят на Альгисту.

А л ь г и с т а. Здесь только я, вся жизнь и вся смерть во мне, — а выбор твой, Хлодовег, мой милый господин и супруг. Приближается последний миг. Судьба не ждет. В последний раз говорю тебе: иди за мною, со мною иди к жизни, только со мною жизнь, — а там, где цепенеешь ты, король, в безумии своей короны, в своей кровавой мантии, — там смерть. Иди за мною, сними свой венец.

К о р о л ь. Я не пойду за тобою. Я — король. Удались, безумная.

Из-за окон слышны удары церковного колокола.

А л ь г и с т а. Час настал. Хлодовег, твой выбор сделан. Ты не уйдешь? Нет?

К о р о л ь. Нет.

М а л ь г и с т а. Холодным камнем среди камней стоит он перед тобою, Альгиста. Альгиста, змеиноокая дочь моя, страшными очаруй его словами, вечной обреки его неподвижности.

А л ь г и с т а. Холодным камнем среди камней стоишь ты передо мною. Каменей, король, холодным камнем стой, пока не изгложет и тебя время.

Альгиста падает у ног короля. Ее сын падает на ее труп. Король и остальные стоят неподвижно. Слышен бесстрастный голос.

Голос. Смотрите, — умерла Альгиста, умер Хильперик. Неутешная навеки над ними мать. Смотрите, — окаменел Хлодовег и бывшие с ним. Смотрите, — они стоят, уподобясь иссеченному из камня изваянию. Смотрите, — плоскою картиною становится зрелище окаменевшей жизни, и меркнет луна, и всякий свет бежит от этого места, и черным облаком смерти закрывается громада надменного чертога. И верьте, — Смертию побеждает Любовь, — Любовь и Смерть — одно.

Примечание

Содержание этой трагедии заимствовано в общих чертах из предания о королеве Берте Длинноногой, матери Карла Великого. Имя короля изменено с намерением, чтобы оторвать эту трагедию от истории и даже от легенды, которая завязывается несколько иначе и кончается не совсем так, как у меня. Вот как изложена эта легенда в книге Г.Н. Потанина «Восточные мотивы», стр. 5—7: «Французский король Пепин хочет жениться; пэры едут в Венгрию, в город Буду, и просят у венгерского короля его дочь. Король очень польщен этим сватовством, но боится, что Пепин отвергнет невесту, потому что она уродлива: у нее одна нога больше другой. Однако пэры, хотя лично убедились в этом, остались при прежнем решении. Родители отпускают дочь с двумя служанками, старой и молодой; старая — Маргиста, молодая — ее дочь Альгиста. Невеста принята в Париже с почетом; наступает ночь, Берта должна идти на брачную постель. Маргиста высказывает опасение, как бы Пепин не убил ее; Берта смущена, Маргиста согласна послать вместо нее Альгисту, чтобы спасти принцессу. Берта проводит ночь в комнате Маргисты, а утром крадется в королевскую спальню, чтобы незаметно для короля сменить Альгисту. При ее входе Альгиста наносит себе рану ножом и обвиняет Берту в желании убить ее. Король, принимающий Альгисту за Берту, возмущен и велит казнить мнимую Альгисту. Берта отвезена в лес и заблудилась в нем... Она долго бродит по лесу, наконец выходит к дому мельника и поселяется у него. Король живет с Альгистой, не подозревая обмана, и приживает с ней двух сыновей. Родители Берты надумались посетить свою дочь, приезжают в Париж и видят на месте королевы Альгисту.

Венгерский король подозревает, что подмена сделана по воле самого Пепина, хочет вернуться в Венгрию, чтобы прийти вновь с войском и наказать Пепина, но Пепин уговаривает тестя перед отъездом съездить на охоту. На охоте Пепин заблудился и очутился в доме мельника, у которого жила Берта и у которого были две дочери. Вечером Пепин просит мельника, чтобы он прислал ему на ночь одну из трех своих девиц. Мельник предоставил ему Берту; он устроил королю ночное ложе в телеге, прикрытой листьями... Тут Берта рассказала королю, кто она и как очутилась у мельника. По большой ноге Пепин убедился, что это была настоящая Берта, а та, которую он принимал за Берту, фальшивая. Он берет Берту в Париж, делает ее королевой, казнит ложную Берту и примиряется с родителями настоящей. От настоящей Берты родится сын, который потому, что зачат в телеге, или потому, что родился в телеге, назван Charro mano, это Карл».

ДАР МУДРЫХ ПЧЕЛ

Трагедия в пяти действиях

От автора

Статья Ф.Ф. Зелинского «Античная Ленора» дала мне мысль написать эту трагедию. На ту же тему есть трагедия И.Ф. Анненского «Лаодамия» (сборник «Северная речь». СПб., 1906).

Действующие лица:

Л а о д а м и я, жена царя Протесилая.
М о й р а - А ф р о д и т а, богиня, движущая миры и волнующая сердца.
А и д, бог подземного мира.
П е р с е ф о н а, богиня, супруга его.
Г е р м е с, бог.
П р о т е с и л а й, царь фессалийского города Филаки.
А к а с т, отец Лаодамии, царь Иолка.
Л и с и п п, юноша-ваятель.
Н и с с а, рабыня.
А н т и м, раб.
В е с т н и к.
С а т и р.
Э о с, румяная заря.
Л е т а, адская река.
Н и м ф а реки Леты.
З м е я.
Э х о.
Х о р, дающий голос множеству и природе.
П о д р у г и царицы, жены вельмож.
Ж е н ы и д е в ы.

Народ.
Ночные колдуньи.
Тени умерших.
Оры, пролетающие мгновения.
Подземные боги.
Голоса волн, камышей, цветов в царстве Аида.

Действие первое

У темных, но широких ворот в царство Аида плещутся тяжелые волны Леты. Шелестит камыш, и шелест его иногда слагается в слова, и другие порою доносятся темные речи. Печальное место, лишенное ясного неба и светлой дали. Все туманно и мглисто, все кажется плоским и неподвижным, словно является тенью на экране.

Освещение пепельно-серое; изредка над говорящими вспыхивают яркие фиолетовые лучи, неколеблющийся, неживой свет закованной, заколдованной молнии. Из челна Харона на берег Леты выходит бледный рой вновь умерших. Тени предков встречают их. Те и другие движутся медленно, и движения их кажутся расчлененными на ряд неподвижных поз.

Тени предков. Привет вам, милые тени. В мире навеки законченных деяний и вам есть место, и ваша доля утешений ожидает вас.

Вновь пришедшие. Пройдя смертные томительные муки, покинув печальную землю, мы на челне молчаливого Харона тешили себя надеждою за мрачно-шумными волнами Леты найти на этих берегах вечное забвение скорби.

Шумные волны Леты. Забвение, забвение, в наших волнах вечное пейте забвение. Мы об одном, лишь об одном поем, плещась об адский берег, — о забвении, о вечном забвении шумная наша речь.

Становится темнее.

Вновь пришедшие. Как забыть? Слышим, тяжкие раздаются стоны из мрачной глубины нам навстречу. Неужели и здесь, как на земле, царствует горе?

Шелест камышей на берегах Леты. Мы смеемся, мы шумим, мы говорим о забвении, о забвении, о вечном забвении.

Вновь пришедшие. Мы слышим вопли и стоны, вещающие скорбь. Что даст нам Аид в замену утраченных нами радостей мгновенных переживаний? Чем утешат нас его широкопрохладные сени?

Тени предков. Персефона тоскует в многоколонном чертоге супруга своего, царя Аида, тоскует, и плачет, и не хочет утешиться. О невозвратном, о невозможном тоскует она, и нет для нее утешения. Только недолгое усмирение скорби приносит ей краткая и сладкая радость вешних восстановлений.

Цветы на берегах Леты. Мы цветем, отцветаем, зацветаем опять, опять, всегда, — цветы вечные, нерождающие, и аромат наш, томный, влажный, мертвый аромат наш, — забвение, забвение, вечное забвение.

Вспыхивают молнии.

Тени предков. От золотой осени до невинно зеленеющей весны тоскует Персефона, тоскует и плачет, пока не дойдет до ада благостная весть о пробуждении матери Деметры, о сладком, буйном восстании Диониса.

Лета. И сладчайшие имена тонут в моих шумных волнах, тонут в забвении, в забвении, в вечном забвении. Сладчайшее забудется имя, вожделеннейший погрузится образ в забвение, в забвение, в вечное забвение.

Мгновенные молнии.

Тени предков. Вопли менад низойдут к нам и усыпляют скорбь Персефоны, и тогда замирают стенания на ее устах. Гермес приносит ей белые, нежные, едва только раскрывшиеся первоцветы, и она плачет сладко, и смеется нежно и звонко, и недолгою радуется радостью. Но легким полетом быстро промчатся улыбающиеся, зла-

токудрому Фебу отрадные Оры, — и несет Гермес Персефоне осенние златоцветы, пышные, но поникльіе и печальные, — и затоскует опять Персефона, и утешные краткие миги тонут в шумной, мрачной Лете.

Темнеет еще более.

Нимфа в камышах Леты. Я ныряю, я играю зыбкими улыбками, ожемчуженными в мрачной глубине. Вечный шелест, бесконечный надо мною. Волны полны чем-то преходящим. Жемчуг тусклый, — были слезы. Я не знаю. Я играю.

Вновь пришедшие. Сколь многие годы промчались, и все еще Персефона не хочет утешиться! О великие боги! Или и вечность не истощает ваших мирообъемлющих печалей?

Мрак сгущается.

Тени предков. Познайте, вступающие в великое царство подземного бога Аида, — вы входите в мир, где все неизменно вовеки, — и радость, и скорбь.

Вновь пришедшие. Ужасное слово — *вовеки.*

Шелест камышей. Доколе не распадутся чары великой богини, равняющей горы и долы и низводящей тени в ад. Доколе не придет последний, и несокрушимый воздвигнется мост.

Мгновенные молнии.

Далекий вопль Прометея. Расторгну оковы, — и ты погибнешь, неправедный.

Вновь пришедшие. Чей вопль доносится к нам? Не голос ли это страдающего бога?

Шелест камышей. Прикованный Прометей грозит богам светлого Олимпа.

Змея. Боги трепещут, но смеются.

Тени умерших удаляются. Сцена тонет в непроглядном мраке. Слышен затихающий плеск Леты. Внезапная молния разрезывает мрак, — и черная завеса раздвигается, открывая темный чертог Аида. На престоле — Аид, и рядом с ним Персефона. Угрюмо и мрачно лицо Аида, и весь он туманный и еле зримый. Приготовлена трапеза. Подземные боги безмолвно предстоят царю и царице.

А и д. Тоскуешь и плачешь, милая супруга! Не осушая глаз, плачешь. Или сладки тебе слезы? Мне, познавшему конец всякого страдания и всякой радости и этим познанием утвердившему мою державу, мне, богу отжившего, забавны стоны скорби, — но тебя, возлюбленная супруга, мне жаль. Что может сравниться со скорбью богини?

П е р с е ф о н а. Только ад полон моими стонами, — не омрачен златокудрый метатель стрел. Только ад, озаренный безрадостными созвездиями неподвижных молний, рождаемых вечным трением янтарных смол, только ад слышит мои стенания.

А и д. О Персефона! ты, делящая со мною власть над всем, что было, что жило, что перешло в вечное «нет» для жизни, неизменной вовеки, — о чем ты можешь тосковать? Непонятна мне тоска твоя, — к зыбким, к неверным переживаниям обращены твои желания, к поспешным утверждениям над безднами мировой пустыни.

П е р с е ф о н а. Здесь, где в мертвом свете мертвых смол бледные проходят передо мною тени и ни единого не вижу милого лика, кого я встречу? Кому скажу привет и сладостное «да» жизни? Кому поличу: желанный, милый! явись мне ныне, сойди ко мне?

А и д. Неисчислимо население моего царства, призови кого хочешь, возведи к себе, утешь себя, как пожелаешь.

П е р с е ф о н а. Я ли утешусь призраками и бледными тенями? На то ли мне величие богини?

А и д. И, если хочешь, призови, кого хочешь, из Зевесова светлого мира, — к тебе придет всякий, чье имя скажет твой нежный и сладостный голос.

П е р с е ф о н а. Увы! мрачною скорбью овеяно мое смутное сердце, — только мертвые, только мертвые приходят к нам из-под

милого Зевесова полога, — с золотых полей, взлелеянных моею тоскующею матерью.

З м е я. Низойдет и *Он*.

П е р с е ф о н а. И если *Он* нисходит, желанный, нисходит *Он* без гиметского сладкого меда, — только воск — *Его* белые руки, и в померкших очах *Его* скорбь.

З м е я. Выпью свет очей.

А и д. К нам приходят все, — от нас же никто не найдет дороги.

Т и х и й ш е л е с т к а м ы ш е й. Восстанет, воскреснет.

А и д. Добром и злом взвешены и разделены человеческие деяния, добро и зло многие и разные строят дороги. Но все земные дороги приходят в нашу вечную область. Всякое сказывание жизни встречает свое окаменяющее «нет» и влечется им к берегам Леты. Всякий, кто в ответ первому искусителю сказал когда-то: «Да, хочу жить!» — кончает свой путь у того столба при входе в мои чертоги, на котором я начертал вечное слово: «Нет возврата».

Э х о. Нет возврата.

Т и х и й ш е л е с т к а м ы ш е й *(как отзвук эха)*. Возврата.

Д а л е к и й в о п л ь П р о м е т е я. Расторгну узы, — погибнешь, погибнешь, неправедный! Зажгу огни, которых ты не погасишь.

П е р с е ф о н а. Все к нам приходят... Как домой, приходят все... Но скроешь ли от меня скорбную истину? Приходят все неволею.

Э х о. Неволею.

Т и х и й ш е л е с т к а м ы ш е й *(как отзвук эха)*. Волею.

А и д. От берегов, где плещет Лета, я слышу хриплый, вещательный крик, — адские вороны кричат, вещая о том, что придут многие, герои и воины, падшие в славных боях за прекрасную Елену.

П е р с е ф о н а. За бедный призрак красоты, за изменчивую земную личину небесной очаровательницы. О счастие земного безумия! О счастливые! о неразумные! устремились за нею, а быстрый ветер умчал далеко, в страну иную, и похитителя, и его добычу. И не похитителя радует добыча.

А и д. Стремящийся творит сам свои цели. Стрела ранит, вонзаясь, хотя бы и ошибся глаз мечущего стрелы.

П е р с е ф о н а. Из-за призрака, из-за бледной тени стали призраками и под вечную сень сошли мужи, полные доблестей и силы. О злосчастный род людской! О безумное своеволие Айсы! Не истощив своей злобы над людьми, и над богами простерлась ты, страшная Тень! Над богами царящая Ананке, зачем, зачем навеки скорбию омрачила ты сердце мое?

А и д. Пойми, как противоречивы помыслы и желания твои, Персефона.

П е р с е ф о н а. О да! Иначе как бы не найти им воплощения? Увы! в зыбкое море изменчивости брошены земные утверждения.

А и д. Ныне, Персефона, как и прежде, согласно завету гостеприимства, достойного царского чертога, предложим доблестным пришельцам разделить нашу трапезу.

П е р с е ф о н а. Я встану с моего темного, с моего пышного ложа, я сниму мою тяжелую диадему и царскую мою багряницу, я пойду им навстречу, я омою усталые ноги бедным героям, я поклонюсь вечной муке высокого стремления к призрачной, недостижимой цели. Они хотели, они посмели.

А и д. Ты — богиня и царица. К чему твой труд и унижение? Уже и то им будет великою честью, что ты склонишь к ним божественный взор и они утешат тебя земною своею и грубою речью. Склониться же перед ними ты не можешь.

П е р с е ф о н а. Утешат. Увы! Они только расскажут, только вспомнят, только повторят. Они мертвые, как мое вечное в скорби сердце, — сладкое упоение предчувствий не взволнует их крови. Мертвы, и слова их — бледные тени свершенных и несвершенных дел.

В н о в ь п р и ш е д ш и е *(входя в чертог)*. Приветствуем тебя, великий обладатель и господин наш Аид. Отныне и вовеки мы в твоей власти. И тебе привет, гостеприимная богиня, опечаленная царица Персефона.

А и д. Подъявшие труды, свершившие подвиги, исполнившие тяжкие заветы жизни, пожелавшие, достигшие или отвергнутые и перешедшие летийские шумные волны, — приблизьтесь, займите места

за нашим царским столом, разделите с нами нашу святую и божественную трапезу.

Тени вновь пришедших заняли места за царским столом. Протесилай против Персефоны. Мертвое ликование.

Персефона *(Протесилаю)*. Милый гость, поведай нам, кто ты, и откуда, и почему ты печален.

Протесилай. Я — Протесилай, сын Ификла, царь Филаки. Через мрачную Лету принес я печаль о милой моей Лаодамии. На призыв доблестного царя Агамемнона поспешил я с моею ратью к стенам далекой Трои.

Персефона. Зачем?

Протесилай. Мы вознамерились отомстить дерзкому похитителю прекрасной Елены и возвратить ее в ее дом, ее мужу, царю Менелаю.

Персефона. Милый гость, тщетным желанием горело сердце ваше, за призраком устремились ваши доблестные рати. Похититель не сохранит своей добычи, но не вернут, никогда не вернут того, что похищено.

Протесилай. От живущих на земле сокрыты великие судьбы. Но долг царя и воина повелел мне идти туда, куда устремились и все ахейские рати. Оставив недостроенный мой дом, расставшись с милым другом моим Лисиппом и после первой брачной ночи покинув мою возлюбленную жену Лаодамию, я вверил мою жизнь ветрам, и морю, и жребию битв.

Персефона. И ты увидел стены Трои? поверг врага решительным ударом?

Протесилай. О царица! прельщенный громким зовом славы, я первый вышел из корабля на берег и первый был убит дарданцем. И не увижу моей Лаодамии.

Персефона. Милый герой, утешься питиями и яствами подземного мира.

Протесилай. Разлука с милою Лаодамиею омрачает мое сердце, — а ты, великая царица мира, в который сойдут все, насла-

дившиеся светом солнца, скажи мне, отчего скорбию омрачены твои взоры.

Персефона. Милый гость с милой земли, открою тебе печаль моего сердца, — грустно мне, о золотых тоскую я стрелах и о милом, вожделенном мне. Не веселит меня власть над этим великим миром, ни многообразие утешений, которые непрерывно предстают очам моим в образе переходящих в неизменную вечность сладостных мгновений жизни, — ничто не радует меня.

Протесилай. Славная царица, супруга великого и могущественного владыки, в чьей власти все мы, свершившие подвиги и труды жизни, — тебе ли печалиться? ты ли в чем чувствуешь ущерб или недостаток? Всегда получающая, все сохраняющая, ничего не отдающая, ты, и миродержавным Мойрам страшная, — ты ли тоскуешь?

Персефона. Взгляни перед собою, — что видишь?

Протесилай. Обильную вижу, взоры и обоняние услаждающую пищу и многие вина, источающие благоухания, манящие к себе жаждущие уста.

Персефона. Милый гость, познай истину, одну из многих, открываемых за завесами восторга силою обличающей противоречия мира Иронии, — познай эту истину: мертвое вино и мертвые яства на моем столе.

Протесилай. Царица, как понять мне тебя? Неужели ты хотела бы разрывать живую плоть и пить живую кровь из теплого тела? Дикие люди и великие боги одни ли и те же имеют вожделения?

Персефона. Улыбаешься, милый гость, и не понимаешь меня. А тебе ли меня не понимать? Или так быстро смерть отнимает память о сладких трепетах жизни? Но и ты вкушал нектар заревых рос с амврозиею созревших плодов.

Темнеет постепенно, и к концу действия ад окутывается мраком. Голоса звучат глуше, и вся сцена кажется исчезающим во мраке сном.

Протесилай. Никогда не забуду. О милая Лаодамия!

Змея. Нет забвения? нет забвения!

Э х о. Забвения.

П е р с е ф о н а. О живое вино человеческой жизни, проливаемое в изобилии!

Т е н и у м е р ш и х. Мы страдали.

П е р с е ф о н а. О живая снедь человеческой плоти!

Т е н и у м е р ш и х. Мы хотели.

П е р с е ф о н а. О тело, земное, пронизанное солнцем!

Т е н и у м е р ш и х. Мы любили.

П е р с е ф о н а. Мойры, жестокие, какую ткань вы мне ткете!

Т е н и у м е р ш и х. Мы свершили весь наш путь. Не ждем ни радости, ни печали.

П е р с е ф о н а. О златокудрый, рождающий мудрых пчел! Как золотые стрелы, жужжат золотые пчелы. И сладостный в земных цветениях для пчел благоухает мед.

П р о т е с и л а й. Вздыхая о златокудром метателе стрел и о золотых, его светлою мудростью упоенных пчелах, ты, великая царица, забыла тающий от огня дар мудрых пчел, — воск. Как воск, тают личины. Персефона, видишь ли ты Лик?

Три черные завесы мрака закрывают ад, означая конец первого действия.

Действие второе

В фессалийском городе Филаке, в царском чертоге, еще не совсем достроенном, царица Лаодамия тоскует в разлуке со своим мужем, царем Протесилаем, еще не зная об его смерти. Раннее утро. Царица только что пробудилась. Еще не одета. Рабыня Нисса убирает ее косы и говорит притворно-ласково утешные слова.

Н и с с а. Не плачь, госпожа, не плачь, милая. Смотри в окно, — как свежи и зелены платаны! какое ясное небо! какие цветы красуются перед царским чертогом! Слушай, как звонко стрекочут цикады, таясь в траве, как медленно и ровно жужжат золотые пчелы, вечные работницы, собирая сладкий мед и мягкий воск.

Л а о д а м и я *(глядит отуманенным взором и говорит, причитает).* Налетели на меня, окружили меня темные пчелы печали, изжалили они мое сердце, соты горького меда скопили в нем, злые, — и тает мое сердце, как тает воск.

Н и с с а. Милая царица, да посиди ты спокойно хоть немного. И мне-то с тобою горе, — не мешай ты мне заплести твои черные косы, убрать их осыпанными утреннею росою цветами, которые так сладко пахнут, а потом покрою твою голову золотым венцом на багряном пурпуре.

Л а о д а м и я. Тоскую о моем милом, о доблестном Протесилае. Горькою мукою полно мое бедное сердце, — горький мед злых пчел! — и помыслы мои черны, — вещие птицы кружат, и кричат, и пророчат, черными махая крыльями. И как же не плакать мне, злосчастной, жене одинокой, оставленной!

Н и с с а. Утешься, милая госпожа, — разлука перед свиданием, слезы перед смехом, горе перед счастием, — так установила судьба, так всегда бывает в жизни свободных и повелевающих.

Л а о д а м и я. Что же мне моя бедная свобода? Вот я и царица, — но что же мне? Какое мне в этом утешение? Мой милый далеко, а я одна. О, зачем я не последовала за ним!

Н и с с а. Уж так повелось, госпожа, — не идут жены воевать. Говорят, есть царство амазонок, да ведь то у варваров, — а у нас бы засмеяли воительниц.

Л а о д а м и я. Жестокая участь жены! сидеть дома, тосковать и печалиться, ветру поверять слова скорби.

Н и с с а. И подругам, госпожа.

Л а о д а м и я. Ветер, ветер перелетный, милый гость, всюду желанный, донеси к возлюбленному моему Протесилаю мои горькие воздыхания и слова мои нежные!

Н и с с а *(надевает на Лаодамию диадему и говорит).* Так всегда было, так и будет, воины сражаются далеко, жены устраивают дом, а рабы и рабыни им служат. Зато вернется милый из похода, — то-то у них будет радости!

Л а о д а м и я. А если его ранят? Он — самый храбрый, в самую жестокую бросится он сечу.

Н и с с а *(склонившись перед царицею, обувает ее и говорит).* Царя защитят его воины, да и на царе крепкие доспехи, — и шлем оперенный, далеко блещущий, и твердый щит, и латы, и поножи защищают все его тело.

Л а о д а м и я. А если свирепый враг обрушит на его щит жестокий удар, и разобьет щит и латы, и рассечет своим варварским мечом или проткнет своим ужасным копьем тело милого моего Протесилая? Или лукавая стрела, с тонким визгом, выбрав среди доспехов случайно не защищенное место, вонзит свое злое острие в тело милого моего Протесилая.

Н и с с а. Раны — честь герою.

Л а о д а м и я. О Протесилай! Раны твоего тела — раны в моем сердце. Не от того ли горит, горит мое сердце? Мое бедное сердце!

Н и с с а *(надевая на Лаодамию багряный хитон, говорит).* Каждому судьба дала свою долю печали. Но не надо предаваться скорби. Ты — царица. Вот придут подруги твои, филакийских вельмож почтенные жены, — с ними утешься, как пристойно, пением, играми, разумною беседою, изобильною трапезою.

Л а о д а м и я. Он, возлюбленный мой, терпит труды и лишения, а ты надела на меня, проворная, так, что я и не заметила, золотом шитую багряницу, и золотую диадему, и богато изукрашенные сандалии. Увы мне, жене оставленной, одинокой! одеждою скорби надлежит мне покрыться, совлечь, совлечь с себя все это, украшенное и блещущее.

Н и с с а. Ой, милая царица, печалью не накликать бы тебе на царя нашего беду! Как снимешь ты венец? ты — его супруга, и боги сочетали вас навеки. На тебе венец, а на нем — шелом. Если скорбь скинет с тебя венец, бойся, не сбросила бы завистливая, темная, вечно подстерегающая, шелом с его чела!

Л а о д а м и я. А и правду говоришь ты, Нисса. Вот ведь какая я глупая! Печаль отуманила мои мысли. Так нам, вступившим на высокий царский путь, не снять, не снять этой свернувшейся на голове золотой змеи.

Н и с с а. Да, царица, нельзя снять. Но это не змея, — этот венец обозначает стены ограждения. Увенчанный царь защищает свой город.

Л а о д а м и я. Так не сниму золотого обруча с головы — чешуйчатой змеи ограждения не трону. Жми, жги мою голову, золото, скованное молотом во знамение высокого пути, обольстительная золотая змея власти, — жги, жаль, пей мою кровь, пей свет моих очей! Но эту багряницу ты унеси, — она красная, на ней кровь. Кровь, кровь красит царские багряницы.

Н и с с а. Сильный в бранях — царь. Не убьет — не наденет венца. Так искони повелось, царица, и в далеких веках не будет иначе.

Л а о д а м и я *(сбрасывает багряный хитон)*. Не хочу крови. Унеси багряницу. Надену шерстяной хитон.

Н и с с а. Тело такое нежное, кожа такая тонкая, — неужели эту наденешь грубую одежду, царица?

Л а о д а м и я. Мой милый терпит труды и усталость, — пусть они падут и на мои плечи. И унеси эти сандалии. *(Наклоняясь, снимает сандалии.)*

Н и с с а. Хоть их оставь себе, госпожа.

Л а о д а м и я. Нет, брось, брось их в огонь. Не пойду на пути веселия, пока не вернется из страны далекой мой милый. С далекого востока привезет мне Протесилай царские одежды и богато вышитые башмаки. А ныне обнаженными приникну к земле стопами да услышу под ногами содрогание земли от далекого грохота колесниц.

Н и с с а *(надевая на Лаодамию шерстяной хитон)*. Хорошо, царица, исполню, что хочешь. Вы, могучие и свободные, в знак скорби можете принять и рабский облик, — только бы одно осталось знаменование власти, в диадеме золотой или хотя в мгновенных молниях потупленного взора. А нам, несущим легкий удел рабства, чем бы ознаменовать свою скорбь? Или и самое тело испепелить на костре?

Л а о д а м и я. Взошла бы я на костер, пеплом сбросила бы тяготеющую землю моего тела. Легкою, очищенною в пламени тенью скользнула бы к моему милому, обняла бы его, приникла бы к нему.

Н и с с а. Говорят, что македонские старухи-колдуньи умеют делать такие страшные дела.

Л а о д а м и я. Как пламенны поцелуи моего милого! Как пламенны и сладки! Как нежны его ласки! О, пусть бы иным героям оставила судьба битвы и славу, а моему Протесилаю — только любовь.

Н и с с а. Как не пожалеешь тебя, милая госпожа! Только одну ночь была ты в его объятиях. Едва минула сладкая брачная ночь, уже покинул тебя царь Протесилай, — спешил, чтобы не из последних быть ему на поле битвы.

Л а о д а м и я. Стыдно мне, Нисса, но скажу тебе, — раньше свадьбы, не свершив жертвоприношений, приходила я к моему милому, в его неоконченный дом, тайно ускоряя мое счастие, — потому что я ревновала Протесилая к сладкоречивому отроку Лисиппу, который изваял из воска так много дивных статуй.

Н и с с а. Не тужи об этом, милая царица, — пусть гнев Геры ты навлекла на себя, но зато заслужила ты милость Афродиты, и Афродита утешит тебя в печалях и защитит тебя от мстительной богини.

Л а о д а м и я. Боюсь, что и Афродита не сжалится надо мною. Гневаются на нас обе великие немилосердные богини, — раньше брачного обряда познала я, самовольная, сладкое счастие любви и прогневала этим Геру, а небесная Афродита гневается на Протесилая, на его былое влечение к черноокому, прекрасному другу его Лисиппу. Увы мне, жене одноночной, мгновенной, оставленной, неутешной!

Н и с с а. Госпожа, говорят в Филаке, что Лисипп вылепил из воска статую царя Протесилая. Дивно похож царь, точно живой. Говорят, что даже смотреть страшно. Не повелишь ли мне, госпожа, сказать Лисиппу, чтобы показал он тебе эту статую? Может быть, он и продаст ее тебе. Ты бы утешилась, глядя на изображение милого.

Лаодамия долго молчит.

Прости, милая царица.

Л а о д а м и я. Благодарю тебя, Нисса. Да, сходи к Лисиппу, скажи, что царица хочет увидеть его. Пусть придет ко мне Лисипп перед закатом докучного дневного светила.

К царице Лаодамии приходят ее подруги, жены филакских вельмож. Нисса уходит.

Подруги. Здравствуй, милая царица, госпожа Лаодамия. Мы встали рано утром, оделись поспешно, сошлись у водоема, над которым сидя, весело смеется изваянный юным Лисиппом молодой сатир, и пришли к тебе с благоуханными цветами, — видишь, еще вьется над этою розою золотая пчела и жужжит, — пришли с утешными речами, с веселыми песнями.

Лаодамия. Привет вам, дорогие подруги! Сколько цветов принесли вы для меня, неутешной!

Подруги. Но что же? Бедная одежда на тебе, и только диадема, высокий знак власти, на смоляно-черных кудрях твоих, Лаодамия. Или слишком рано мы пришли и помешали тебе облечься в одежды, приличные царице?

Лаодамия. Я рада, что вы пришли ко мне, мои милые подруги. Обнимите меня, поцелуйте меня.

Подруги *(целуя Лаодамию)*. Отчего же ты так печальна, так уныло смотришь и так тихо говоришь? Где твоя багряница, шитая золотом, и твои богато изукрашенные сандалии? Зачем эта смиренная одежда? Царице ли носить ее, хотя и во дни скорби и печали?

Лаодамия. Мой милый далеко, мой Протесилай.

Подруги. Не печалься, милая царица, не тужи, не затмевай ясного взора частыми слезами, не стесняй высокой груди глубокими вздохами. Минует тяжкое время разлуки с возлюбленным твоим супругом, вернется он, прославленный и светлый, ты радостно обнимешь героя, а мы будем громко и весело славить его и тебя и говорить: «Вот Лаодамия, царица наша, жена царя Протесилая, покрывшего себя великою славою в войне с троянцами».

Лаодамия. Милые мои подруги, благодарю вас за ваши утешные слова, — прямо от сердца идут они. Но не знаю, сможете ли вы, милые, утешить меня. А жажду я утешения. Мы, бедные женщины, как дети, — нас бы утешали да ласкали. Но кто и как меня утешит? Какой страшный сон приснился мне нынче ночью!

П о д р у г и. Расскажи нам, милая Лаодамия, расскажи твой сон. Мы любим слушать рассказы о снах и разгадывать любим, к добру они или к худу.

Л а о д а м и я. Слушайте, милые, я расскажу вам сон мой, — но что разгадывать его? Увы, ясен его страшный смысл!

П о д р у г и. Старые люди говорят, что и прозрачные воды бывают глубоки.

Л а о д а м и я. Нынче ночью видела я во сне моего Протесилая. Темны были очи его, и лицо его было покрыто мглою. Увы мне! оставил он меня, неутешную. *(Плачет.)*

Подруги обступили ее и ласкают.

П о д р у г и. Лаодамия, не плачь, милая, — доскажи нам твой сон. Что же сказал тебе царь Протесилай?

Л а о д а м и я. Видела я, что пришел ко мне мой Протесилай в окровавленной и изорванной одежде. «Прости, Лаодамия, — сказал он мне, — неумолимая увлекает меня в царство Аида. Оскорбленная мною некогда Афродита, — говорил мне Протесилай, — направила вражье копье в мою грудь и предала меня в руки неумолимой». Так говорил мне мой Протесилай, несносною терзая скорбию мое бедное сердце.

П о д р у г и. А ты, милая царица, что ты ответила ему?

Л а о д а м и я. Обливаясь горькими слезами, я сказала: «О Протесилай, мы будем вместе, всегда вместе, — сказала я, — повсюду за тобою, за тобою, Протесилай, и в самый ад, — так сказала я, — последует твоя Лаодамия». И я поспешно подошла к нему, чтобы обнять его, — но уже его не было, и только милый голос его прозвучал издалека: «Прости, Лаодамия», — услышала я и проснулась, обливаясь горячими слезами. Золотые пчелы жужжали за моим окном, жужжали, и золотые стрелы светлокудрого Феба упали на мое плечо, и пчелы темные, злые жалили мое сердце, и ныло от боли мое сердце, — соты горького меда, — и я плакала, плакала неутешно.

П о д р у г и. Теперь-то не плачь, милая, — а то и мы, глядя на тебя, заплачем, еще ничего не зная, — и как мы тогда тебя утешим? А может быть, еще и не о чем плакать. Может быть, мелкими и злыми демонами недостроенного дома внушен тебе этот сон. Бывают же, — говорят старые люди, — такие сны, которые и не могут сбыться, — только опечалить, только смутить человека хотят враждебные демоны, но не имеют силы исполнить свои темные угрозы.

Л а о д а м и я. Ах, милые! я слышала голос моего Протесилая. Мне ли не узнать его? Он сам приходил ко мне, он прощался со мною. Зачем он прощался? Когда тело его неподвижно лежало на сыром песке, зачем он приходил ко мне легкою тенью, ночным призраком? Зачем сказал мне: прости, Лаодамия? Может быть, его... может быть, он забыл меня для другой, которая понравилась ему больше?

П о д р у г и. О милая Лаодамия, как может молодой муж так скоро забыть свою жену, с которою он провел только одну ночь.

Л а о д а м и я. Одну ночь! Увы!

П о д р у г и. И на кого он тебя променяет? Ты прекрасна, как обитательница светлого Олимпа, и хорошо, что Парис миновал Филаку.

Л а о д а м и я. Там, на далеком востоке, цветут, может быть, розы пышнее и благоуханнее наших. Пышно одетые красавицы, в диамантовых диадемах, в жемчужных ожерельях, в золотых запястьях, обольстят его лукавыми своими улыбками, призывными своими речами, варварскою пышностью своих смуглых тел. Забыл он меня, забыл меня, оставленную здесь, и сам наслаждается любовью в краю далеком и отрадном. Злые разлучницы! их ласки бесстыдны, их глаза обманчиво-нежны. Из-за блудницы оставили воины родной край, за беглою женою устремились, — и чужие прелестницы обольстят их.

П о д р у г и. Не думай так, милая Лаодамия, — не забудет тебя Протесилай для заморской красавицы. Варварские лица не любы эллину, варварский обычай противен ему.

Л а о д а м и я. Ах, милые, говорю, — и сама не верю. Мой Протесилай меня не забудет, мне не изменит. А может быть, она, вещунья

сладкая, по ночам таинственно ворожащая под луною, увела его на свой темный луг, зачертила его в свой волшебный круг, опоила его полуночным зельем, обольстила его чародейным весельем... Увы мне, жене оставленной, неутешной!

Подруги. Утешься, милая наша царица, — сама придумываешь ты для себя скорби, которых нет, сама напрасною мукою терзаешь свое сердце.

Лаодамия. И зачем, из-за чего пошли они в такой далекий и трудный путь! Блудницу прославить и увенчать, призрак воплотить, медом жизни напоить беглую тень, — о безумные!

Подруги. Высокому безумию — слава.

Лаодамия. Зачем, зачем слава, омытая в крови? мне нужна любовь.

С шумом и плачем в чертог быстро входят жены, девы, дети, старцы, — вельможи и народ, и с ними Нисса.

Жены и девы. Царица Лаодамия! Вестник, посланный вождями нашего войска, пришел и принес тебе, царица, и городу вести. Одежда его в пыли, истомлен великою он усталостью, и нерадостен его мутный взор. Боимся, что многие печали возвестит он тебе, царица, и нам.

Лаодамия. Протесилая моего убили! Чуяло мое сердце!

Вестник *(входит и обращается к царице)*. Царица, Лаодамия, тебе и городу возвестить великую скорбь послан я ныне вождями.

Лаодамия. Протесилая моего убили!

Вестник. Царица, ты знаешь, что долго стояли мы в Авлиде и ветра не было. И знаешь ты про смерть Ифигении и про то, как мы покинули Авлиду. Путь был труден, и велики раздоры среди вождей, и море бурно. Но все корабли пришли к троянским берегам. Тогда мы вспомнили слова вещателя.

Лаодамия. Несносный вестник, не томи меня долгим рассказом. Протесилай мой, — что с ним? Скажи мне, что он жив.

Вестник. Царица, дело вестника — рассказать по порядку все, что ему велели передать вожди, и все, что он сам видел.

Лаодамия. Ни слова не дам сказать тебе ранее, чем возвестишь мне, жив ли Протесилай.

Вестник. Узнай же, царица, — царь Протесилай убит. Первый вышел он из корабля на берег вражеской земли, и сбылось предвещание, — царь Протесилай первый пал, пораженный копьем дарданца.

Жены и девы. О горе, великое горе! Бедная Лаодамия, плачь, плачь, подыми вопль до неба, — воплями и воздыханиями утоми черное горе, утешь своими слезами мстительных богинь.

Лаодамия. Первый пал! Так, злая, торопилась ты умертвить моего милого, с неумолимою поспешностью нанесла ты мне удар. Иди, злой вестник, я не хочу ни видеть, ни слышать тебя. Иди, иди, — говори другим о битве, о геройстве, о доблестях павших и о славе победивших, — мой Протесилай убит.

Вестник. Царица, царь Протесилай убит, но войско наше подошло к стенам Трои.

Лаодамия. Вестник и народ, — идите отсюда на городскую площадь, — ты, вестник, говори народу все, что надлежит, все, что ты знаешь, а я останусь одна с моим горем.

Подруги. О бедная царица! какую горькую долю дал тебе немилосердный рок! Мы узнаем от вестника о наших мужьях и сыновьях и потом придем к тебе утешать тебя или плакать вместе с тобою.

Вестник, жены и народ уходят.

Нисса. А меня, госпожа, не гони, — мне слушать не о ком, — посижу над тобою, распростертою на ложе, вея над тобою опахалом.

Лаодамия. О горе мне! Не самая ли я несчастная из жен? Едва обняла мужа, — и нет его, — мстительные, злые, чуждые человеку силы умертвили радость мою. О злая семья верховных!

Нисса. Боги требуют покорности от людей, как господа от рабов.

Л а о д а м и я. Обольстила его призрачная, призраком манила моего Протесилая, в царство теней легким призраком заманила его. Так поспешно, так страстно сорвали мы нежный цвет, между ласками отрока и ударом дарданца насладились мы его мгновенным благоуханием, — и где же ты, счастье наше? Увы мне, жене покинутой, неутешной! Вы, неправедные боги! Или и вовсе недоступны чертоги ваши? О, трепещите, — проклятия горячим пеплом упадут на головы ваши! Восстанет из земного праха муж, который ответит стрелой на стрелу, ударом на удар.

Н и с с а. Ударом на удар!

Стало темно, и неясными являются очертания предметов. Сонною мглою окутывается ложе Лаодамии. Нисса тихо отходит, и Лаодамия медленно исчезает во мгле. Афродита во образе старухи, — повторяя лицом и одеждою аспект рабыни Ниссы, — является и говорит Лисиппу, остановившемуся снаружи, за дверью.

А ф р о д и т а. Сюда иди за мною, Лисипп, — зачем ты колеблешься на пороге? Уже обещал ты мне, что отдашь эту статую бедной Лаодамии. Не жалей дивно изваянного воска, — Лаодамию пожалей, утешь ее дивным даром.

Входит Лисипп. Он несет завернутую в полотно статую, держа ее поперек тела. Афродита поддерживает. Ставят закутанного идола у порога.

Л и с и п п. Хитрая старуха, куда ты меня привела? И доныне я не пойму, зачем ты хочешь, чтобы я отдал Лаодамии статую друга моего Протесилая. Для себя лепил я из воска образ моего милого, — нежною памятью воссоздал я дорогие черты. Ей ли, жадной до счастья, очаровавшей друга моего, отдам я то, что великою радостью, растворенною в печали, волновало мое сердце!

А ф р о д и т а. Милый отрок, уже кончен спор наш. Лаодамии, Лаодамии дивный дар мудрых пчел, — я так хочу.

Л и с и п п. Жалостью отравила ты мое сердце, печаль мою о друге моем растворила ты в сожалении к жене Протесилая. Кто же ты, коварная?

А ф р о д и т а. Я — неустанно зовущая.

Светел становится облик дивной богини, — и под старческими чертами сквозит величие небесной красоты. И Лисипп, трепеща от внезапного восторга, склоняется к стопам богини.

Л и с и п п. Узнаю, узнаю тебя, великая богиня! Хотя ты и обличие старой рабыни приняла, но узнаю тебя, дивная, из морской пены рожденная Афродита, небесная очаровательница.

А ф р о д и т а. Чуждый мне облик я приняла, — но ты, милый отрок, исполнил мою волю, хотя и рабынею тебе возвещенную.

Л и с и п п. Хвалят меня за мои изваяния и в Филаке, и далече окрест, — но еще ни разу не удавалось мне вылепить такой прекрасной статуи, как эта, и так искусно ее раскрасить. Окончил я утешный мой труд, — и сам ужаснулся сходству ее с моим милым Протесилаем. И ныне понял я, дивная очаровательница, — твое в этом чародейство.

А ф р о д и т а. Так, милый отрок, — человек творит, но только боги чаруют.

Л и с и п п. Говорят в Филаке, что твоим гневом поражен царь.

А ф р о д и т а. Первые брачные ласки, святые объятия он прервал, — и навлек на себя мой гнев.

Л и с и п п. А ныне, богиня, что же ты замыслила? Уже умер царь, — или и царицу новою казнью ты хочешь поразить, чарами этого дивного изображения?

А ф р о д и т а. Не мщение и не награду замыслила я. Мы, боги, иные знаем вожделения, недоступные смертным, и высокие ставим себе цели, выше человека, выше бога, в ту область, где царит верховная Ананке-Айса. Воздвигну умершего, над смертию вознесу чары мои, обаянием моим расторгну плен Протесилая и власть незримого бога.

Л и с и п п. Он, друг мой, великою упоенный любовью, ныне покоится во владениях тихого Загрея.

А ф р о д и т а. Расторгну, расторгну я узы смерти. Мною движутся миры.

Л и с и п п. Богиня, говорят старцы, что миры не ты движешь, великая движет их мать Мойр, державная Ананке.

А ф р о д и т а. Смешно, когда отроки судят и рядят о богах. Я — любовь, я — роковая, я — Афродита-Мойра. Безрадостно и пустынно томился древний Хаос, и не было ничего в мире явлений, и вечные тосковали матери в довременной своей могиле, скованные ледяным сном. Но в холодном сердце Хаоса, которому дают мудрецы имя Логоса, возникла Я. И, умирая, умер бессильный, истлела безумно искаженная личина, и проснулись вечные, и зажглись неисчислимые молнии изволений и устремлений. И все, что было в творчестве божеском и человеческом, все из Моего изникло святого лона, все мною рождено, все во Мне только дышит, все устремляется Мною и ко Мне. Только Я, только Я, — люби Меня, милый юноша, — в каждом земном прельщении открывай Мои черты, в каждом очаровании сладостной жизни узнавай Мой зов. Люби Меня.

Лаодамия выходит из мрака, объявшего ее ложе, и тихим голосом говорит.

Л а о д а м и я. Ты пришел, Лисипп? Я ждала тебя. Нисса, уйди.

Афродита опять принимает образ старухи. Что-то бормочет и уходит.

Лисипп, говорят в Филаке, что ты и мертвые черты делаешь живыми, — чародей ты, милый ваятель! О, если бы ты взял меня, как воск, как мягкий воск и из воска, из мягкого воска изваял бы Иную!

Л и с и п п. Царица, — тебе невольный дар принес я ныне. Для себя лепил я статую, — но дивная, движущая мирами, повелела мне отдать ее тебе.

Снимает покров со статуи, — и видно изображение Протесилая, дивно изваянное из воска и раскрашенное искусно. Лаодамия молча смотрит. Заплакала.

Лаодамия, ты плачешь?

Л а о д а м и я. Как страшно! Точно живой.

Л и с и п п. Страшно! Как странно!

Л а о д а м и я. Если он так похож, — о Лисипп, что же он не молвит слова? А если он заговорит?

Л и с и п п. Оставлю тебе твоего Протесилая, а сам уйду. Утешься, царица, смотри на милые черты.

Лисипп уходит.

Л а о д а м и я. Увы, слабые руки человека, бессильное искусство земного творца! Этот воск — милый дар, так страшно похожий на моего Протесилая. Но у моего Протесилая сладкая речь, — ты, милый кумир, молчишь. У моего Протесилая пламенный взор, — а ты, милый кумир, глядишь, и не видишь. Не видишь, не слышишь. А может быть! О безумная надежда! Умолить, умолить незримого бога ты, милый кумир, помоги мне. Или я безумна? Или благим ко мне демоном внушена мне надежда и неложные чары в тебе, о милый дар мудрых пчел?

Входит Афродита в образе старухи. Лаодамия принимает ее за Ниссу.

Подойди ко мне, посмотри на этот милый кумир.

А ф р о д и т а. Это — Протесилай.

Л а о д а м и я. Из воска вылепил его Лисипп. Смотри, как искусно он вылепил этот милый кумир.

А ф р о д и т а. Для всех — воск, для тебя — утешительный дар, твой Протесилай. Долгие ночи он будет твой. И насладишься, насладишься ласками и негой. Долгие ночи он будет в твоих объятиях, как живой, и как живого ты будешь ласкать его.

Л а о д а м и я. Воск растает.

А ф р о д и т а. И с воском, в блаженном восторге забвения, истает твое тело, и непорочная Психея придет в объятия Небесного Жениха.

Л а о д а м и я. В мире мертвых, в царстве Аида Протесилай.

А ф р о д и т а. В царстве Аида только тень Протесилая, — а он, светлокудрый, правит путь в небесах, и светлые навстречу ему, и Ты.

Л а о д а м и я. Утешительна, утешительна твоя сладкая речь. За Ниссу приняла я тебя, — но горькие тихие речи моей Ниссы, а твоя речь — гиметский мед, и дар твой — милый воск, — а кто же ты?

А ф р о д и т а. Мирами владеющая, первая из верховных Мойр, тебя, Лаодамия, обрекла я на великий восторг любви, побеждающей Смерть. Сожгу тебя, сожгу в блаженном пламени страдания и Любви.

Л а о д а м и я. Вся душа моя в этом воске. И душа моя — твоя, Протесилай.

Сцена закрывается завесою ночного мрака.

Действие третье

Сад перед чертогом Лаодамии. Вечереет. Входит Акаст. Останавливается у порога.

А к а с т. Приди ко мне, Лаодамия, выслушай утешные мои слова.

Выходит Лаодамия, в одежде печальной и бедной, босая. Лицо ее бледно, она истомлена горем и страстью, на губах ее странная улыбка, и глаза ее смотрят, словно не видят предметов.

Милая дочь моя, Лаодамия, да будет краткою твоя скорбь. Настало время тебе утешиться, а мне опять на тебя радоваться. Вот пришел я возвестить тебе великую радость.

Л а о д а м и я. Нет уже для меня радости на земле. Кровожадный Оместес пожрал мою радость, похитил для своей забавы свет моих очей. Нет мне радости на земле, доколе не вернет мне Аид моего Протесилая. Но неумолимы, неумолимы подземные великие боги,

и всякое божество навеки враждебно самовольной радости человека, дерзко взятому им счастию. Не радоваться нам, доколе царит над миром жестокая верховная семья.

А к а с т. Не говори о божестве слов нечестивых. Каждый день Гелиос восходит в торжественный, высокий путь, — каждый день расточает он земле нашей новые радости. Нового мужа нашел я для тебя, моя красавица.

Л а о д а м и я. Зачем?

А к а с т. Разве ты сама не понимаешь, что надлежит нам смирить гнев оскорбленной тобою Геры?

Л а о д а м и я. Не сжалится, жестокая. И от нее мне ничего не надо. Не ее стану я молить, склоняясь к ногам милого моего кумира.

А к а с т. Детей у тебя нет, недостроен стоит дом Протесилая, ничто не связывает тебя с памятью царя-героя. Протагору отдам я тебя в жены.

Л а о д а м и я. Отец, зачем ты это замыслил?

А к а с т. Почтенный Протагор, муж опытный и разумный, достроит дом Протесилая и будет царем в Филаке, потому что угоден он богам, старейшинам и народу.

Л а о д а м и я. Меня бы спросили!

А к а с т. Завтра быть свадьбе. Такова моя воля, — а ты, милая моя дочь, должна хорошо знать свойство моей воли, — ей надо покориться, хочешь или не хочешь.

Л а о д а м и я. Знаю я, отец, непреклонность твоей воли. А ты знаешь ли силу моей любви? Любовь моя сильнее всякой земной силы. Не буду женой Протагора, ничьею женою не могу быть, не хочу быть ничьею женою.

А к а с т. Удивляюсь, Лаодамия, твоему упрямству. Впрочем, женщины и все таковы. Они хотят, чтобы их долго уговаривали и потом повлекли силою. И тогда они сами довольны. Скажи мне, почему ты не хочешь быть женою Протагора.

Л а о д а м и я. Люблю Протесилая, Протесилая моего.

А к а с т. Нет в мире живых твоего Протесилая.

Л а о д а м и я. Люблю Протесилая.

А к а с т. Безумная! Пойми, что его нет.

Л а о д а м и я. Нет? Кто это знает! Есть, нет, — не все ли равно! Я хочу.

А к а с т. Вижу, что не переспорить мне тебя. Уйду, а ты готовься к свадьбе. Не пойдешь сама, повлекут силою.

Л а о д а м и я. Подожди, отец. Злое ты замыслил. Как мне уговорить тебя? Да и не надо. Пусть свершится воля твоя. Моя воля — только моя воля. Или ты думаешь, что моя воля — ничто? Но пусть... Дай мне только три дня, — свершить таинственные обряды и последние очистительные принести жертвы, да умилостивлю темного Загрея.

А к а с т. Три дня, так и быть, еще помедлю. А потом быть свадьбе. Уже агора шумными голосами множества приветствовала возвещенное ей мною избрание твое, и на вопрос старейшин «быть ли царем второму супругу царицы Лаодамии, почтенному Протагору?» возгласила громоподобным криком «да».

Л а о д а м и я *(грустно улыбаясь)*. Боги отняли моего милого, люди ведут ко мне другого, — а я? Аида и Персефону сладкими умолю мольбами, непреодолимою силою небесной очаровательницы. И восстанет мой милый. *(Уходит.)*

Жены филакских вельмож, подруги Лаодамии, в праздничных нарядах, радостно-шумною толпою пришли и говорят Акасту.

П о д р у г и. Радуйся, милый царь Акаст. Твоя дочь, наша возлюбленная царица, после краткой скорби вдовства снова вкусит удел брачного счастья. Долго плакала бедная Лаодамия, целые дни ее тяжкие стоны и пронзительные вопли томили нас великою печалью, и многие проливали мы слезы, глядя, как тоскует царица. И только с приближением ночи милая Лаодамия затихала, и улыбалась сквозь слезы, и утешительного ждала сна, — словно милого ее супруга, — а наутро опять вставала бледная и усталая, точно сон и не смыкал ее очей, и снова рыдала неутешно. Но ты подумал о том, чтобы Лаодамию утешить, да и нам дать царя, и скоро мы на светлом возликуем празднике. Надлежит по-

чтить печалью умерших, — но не любят светлые боги долгих рыданий. Сладки утехи брачных ночей, — и угодны они олимпийским богиням.

А к а с т. Красно говорите вы, милые, а вот мне с моею глупою горе: не радует ее весть о свадьбе, плачет, не осушая глаз, не хочет утешиться. Боюсь, что силою придется влечь ее к алтарю. Уж вы побеседуйте с нею. Уговорите вы ее, неразумную.

П о д р у г и. Ты не печалься ни о чем, благородный Акаст, — мы скажем ей все, какие знаем, утешные слова. Нельзя же ей не поплакать о первом ее милом. И второй муж за это еще крепче ее полюбит, — скажет: привязчива. Скажет: так-то и по мне будет Лаодамия тосковать, если я раньше ее умру.

Акаст уходит. Одна из подруг подходит к двери. Зовет.

П о д р у г а. Милая Лаодамия, выйди к нам, побеседуй с нами. Оставь темный и скучный терем.

Л а о д а м и я. Грустно мне.

П о д р у г и. Идет.

Стали безмолвно и с любопытством смотрят на дверь. И выходит к ним Лаодамия, в одежде печальной и бедной, босая, склоняя туманные взоры, не глядя на милых подруг. Они расступаются, и она тихо входит в их нарядно-пестрый круг. Слушает их речи. Молчит. И утешают ее подруги. Говорят ей ласково.

П о д р у г и. Не плачь, милая Лаодамия, не плачь. Довольно плакать. Уже не одну глубокую наполнил чашу Собирающий слезы, уже немало оросил он ими цветников на туманных полях во владениях Аида. Не вернешь рыданиями и воплями почившего героя, — только сердце томишь, только свет от очей твоих черных слезами застишь, — милые щеки горькою влагою мочишь.

Л а о д а м и я. Как не плакать мне о моем Протесилае!

П о д р у г и. Вечною венчанный славою, он умер смертью героя. В далеких веках не изгладится из памяти потомков его славное имя. Тебе ли о нем печалиться?

Лаодамия. Пустая слава, призрак жизни, сказка, сладкая для буйных мальчишек, любящих драку, — что мне в ней?

Подруги. Не услышит твоих стонов Протесилай. А если и перенесет какой-нибудь шаловливый неведомый маленький бог через летийские волны твои свирельные вздохи, улыбнется им Протесилай, обитающий ныне в царстве успокоенных теней и свершенных деяний.

Лаодамия. О, если бы он услышал!

Подруги. Подумай, Лаодамия, какое счастье посылают боги тебе взамен утраченного. Новый муж утешит тебя, неутешную, — по тебе он станет у нас царем, — какая тебе честь будет от царя и от народа!

Лаодамия *(улыбаясь)*. Милые подруги, воистину мудры ваши речи, сладостны ваши утешения, и советов ваших нельзя отвергнуть. Так, милые, забуду всю скорбь мою, сброшу все, что было моим, стану совсем иною. И уже не будет, не будет стонущей о герое Протесилае Лаодамии, будет царица, правящая домом и хозяйством благоразумного Протагора.

Подруги. Благо решение твое, милая царица, и слова твои радуют нас. И если ты сама так решила, то уже близка свадьба. Сними же траур, надень наряд приличный.

Лаодамия. А ныне жду ночи. О как нетерпеливо жду ночи! И когда настанет она, — хочу очиститься от погребальных воздыханий обрядом таинственным и утешным. Восторга хочу, уносящего душу.

Подруги. И мы будем с тобою, милая царица, и сделаем все, чего ты захочешь.

Темнеет. Становится прохладно.

Лаодамия. Ты, ночь, слаще дня и радостнее. Когда приходит с тобою чарующая, та, которой боятся глупые дети, та, имени которой не назову, — и, может быть, не знаю, — уже давно заснули шумные пчелы, и на горней дороге улеглась наконец последняя мерцающая пыль, яркими брызгами взлетавшая из-под копыт дивных коней, из-под колес быстро бегущей колесницы, на которой мчался он, златокудрый, далеко разящий и смеющийся бог.

Небо синеет. Зажигаются звезды.

И такая утешительная пришла она, блуждающая около распутий, — тихая? безмолвная? да? нет? Тихая, тихая, прильнула, смеется, и сбросила легкотканную одежду, и мчится в чародейной пляске, и буйным воплем будит ожидающих ночного восторга. *(Уходит в дом.)*

За нею идут подруги. Входящие в чертог, одна за другою, однообразным и привычным движением, опираясь одною рукою о притолку двери, снимают другою рукою сандалии. Несколько женщин замедлили на пороге. Беседуют меж собою. Засмотрелись в двери, сблизились, положили руки на плечи подруг.

Одна. Что там делает Лаодамия?

Другая. Тяжелый занавес полуоткрыт, и за ним видна крытая зеленью беседка.

Третья. Восковой в ней стоит кумир, венчанный плющом.

Четвертая. Этот восковой кумир, очертания лица которого нам смутно видны из-под осенения плюща, скажи, кто он? Не Диониса ли он изображает?

Снимают сандалии, входят в чертог. В саду одна Нисса. В чертоге зажигаются огни. Слышно пение, шум пляски, звуки флейты, кифары, кимвалов, бубна. Дали темнеют и туманятся. Ночная мгла медленно надвигается.

Лаодамия *(в доме)*

Строфа I

Ночь за ночью пролетала.
Много было их иль мало,—
Бога, друга я искала,
Я нашла и обнимала
Милый воск высоких плеч.
И от сладостных лобзаний,

От ночных очарований
Я ль должна мечты отвлечь?

Хор подруг

Антистрофа I

Оры быстро пролетают,
Тени меркнут, тени тают,
Взоры странные сверкают, —
Боги тайное свершают, —
И таинственную речь
Я в смущенье услыхала.
С кем царица почивала?
С кем опять должна возлечь?

Строфа II

Гостя ждет царица наша,
Ждет она.
Вот наполненная чаша
Сладкопенного вина.
Встречу радостным желаньям
Пред царицей станет он,
С ней полночным заклинаньем
Обручен.

Антистрофа II

Гость ночной тихонько станет
На порог.
Он на плачущую глянет.
Кто же он? герой иль бог?
Или силою заклятья

Воск недвижный оживет
И в царицыны объятья
Упадет?

Н и с с а. Для госпожи мой флейты играют, кимвалы гудят, тайно венчается она с восставшим Загреем.

Из ночного тумана выходят, справа и слева, ночные колдуньи, в светло-серых одеждах, босые. В саду сплетаются в хоровод, поют и пляшут, сначала медленно, потом ускоряя темп.

Ночные колдуньи

На перекрестках мы ворожим.
Там стелется туман, как дым.
Все зыблемо, и все нам явлено,
Что дивною навек предуставлено.
Мы знаем и не знаем, что явит день, —
Мы гадаем и видим только тень.
Но когда восходит ворожащая,
В туманную полночь не спящая,
Мы радостно мчимся вокруг темных могил, —
Мы знаем восторг неведомых сил.

Некоторые из подруг выходят в сад; ночные колдуньи разбивают свой круг; то входят в чертог, то выходят из него; смешиваются с подругами, поют и пляшут вместе.

Хор подруг и ночных колдуний

Строфа III

Сходят мертвые к Аиду.
Их приемлет Персефона.

В полночь на распутье выйду,
Кличу, кличу: Персефона!
Ты, царица с темным ликом,
Плачешь, сердце к нам склоняя.
Мы ночные,
Молим в таинстве великом:
Дай Лаодамии,
Дай Протесилая.

Антистрофа III

Невозвратно то, что было, —
Но печальна Персефона.
Я над воском ворожила,
Тихо клича: Персефона!
Ты, предел земных желаний,
Плачешь, сердцем холодея.
Мы, ночные,
Молим в час очарований:
Дай Лаодамии
Обнимать Загрея.

Нисса. Пламенные очи менад, их пляска и пение восторгом, восторгом напоили госпожу. Что же я одна стою? Пойду, вмешаюсь в безумный круг, — о, если бы умереть в легком и свободном беге!

Нисса входит в чертог.

Хор в чертоге

Строфа IV

Сам сковал Загрей
Чары адского порога.

Но сковать ли бога?
Сам расторгший чары
У дверей.
Звон кифары
Славит бога, —
Дионис — Загрей!

Хор в саду

Антистрофа IV

Дионис воскрес!
Вот стоит он у порога.
Слышим голос бога.
Пар восходит тонкий
До небес.
Песней звонкой
Славим бога, —
Дионис воскрес!

Пляшущие жены шумною толпою выбегают в сад. Между ними Лаодамия. Образуют хоровод, сплетаясь в широкий круг.

Хор

Строфа V

Круг свивайте, развивайте,
Становитесь, сестры, в круг,
Заплетайте, заплетайте
Круг прекрасных рук!
Умер кто-то или ожил,
Засиял или померк,
Ликованья ли умножил,

Воплем сердце ль растревожил,
Утешенья ли отверг, —
Надо всем колеблют боги
Песню бурную отрад,
Окрыляя пляской ноги
С воплем мчащихся менад.

Хоровод разрывается в двух местах; пляшущие движутся двумя змееобразными лентами, от которых сначала одна обегает вкруг чертога, потом другая скрывается в туманном поле и опять выбегает.

Антистрофа V

Торжествующий над страхом,
Одолевший ярость мук,
О, пускай внезапным взмахом
Разорвется круг!
Мир дневной в восторге тонет,
Зачарован твой чертог, —
Тени злые милый гонит,
Он придет и взоры склонит,
Тихо ступит на порог.
Тихий, кроткий, но мятежный,
Победивший смерть и ад,
Усладит он песней нежной
Вопли буйные менад.

Хоровод сплетается в один быстро мчащийся круг.

Эпод

Руки легкие сплетайте,
Сестры милые, вставайте
В тесный круг, —

Быстро, быстро мчатся ноги,
С нами демоны и боги.
Сестры, сестры! не разнимайте
Тесно сжатых рук.

Ночные колдуньи образуют внешний хоровод. Поют протяжно, и под их пение замедляется пляска замкнутых в их кругу подруг.

Хор ночных колдуний

Мы ворожили
Над могилой
Диониса.
Мы собирали
Злые зелья.
Мы вызывали
Из вечных мраков, —
Мы вызывали,
И дожидались
Гостей загробных,
И зыбким смехом
Смеялись
Вместе с ними.

Медленно движутся оба круга, внешний и внутренний, слышен печальный напев. Ночь все темнее.

Хор

Строфа VI

Плачьте, жены!
Плачьте, девы!
Мы увидели могилу

Диониса.
Гибель бога возвестили
Нам ночные голоса.
Соком жизни наливались
Травы,
Соком жизни стали полны
Жилы зверя,
Ядом жизни дышит ветер,
Ядом жизни напитались
Стрелы Змия золотого, —
Только он, источник жизни,
Пестро оцветивший поле,
Напоивший зверя,
Взволновавший море,
Отравивший стрелы,
Только он в сырой могиле,
Сам своим упившись ядом,
Мертвый спит.

Свет из чертога все ярче, а ночь все темнее. Вдруг помчались в буйной пляске. Одежды зыблются, обнажая плечи и ноги и почти спадая с иных. Бубен громок. Пение звучит дивным восторгом. К концу антистрофы круг разрывается. В руках пляшущих появляются сорванные с деревьев ветви.

Хор подруг

Антистрофа VI

Смейтесь, жены!
Смейтесь, девы!
Мы увидели восстанье
Диониса.
Радость, радость возвестили
Нам ночные голоса.

Радость жизни напоила
Травы,
Мудрость жизни озарила
Человека,
Стал душою быстрый ветер,
Сладкий мед несут Гимету
Стрелы Феба золотого, —
Дионис, источник жизни,
Семенам дающий волю,
Возводящий зверя,
Укротивший море,
Мед и воск дающий, —
Он упился виноградным,
Веселящим, сладким соком
И поет.

Сад наполнен пляшущими женами, подругами Лаодамии и чужими. Их неистовые движения разрывают ткани одежд. Мелькают все чаще обнаженные тела, смуглые или темные от загара; в полумраке все они кажутся белыми. Всходит луна. Свет ее часто закрыт тучами, — то прояснеет, то опять совсем темно. Видны взмахи ветвей в руках жен.

Хор

Строфа VII

Повинуясь лунным чарам,
Мы помчимся,
Закружимся
И в безумстве бурно-яром
Пламенеющее тело
Обнажая смело,
Предадим ударам.
Кличем, мчимся
И кружимся,
Повинуясь лунным чарам.

Все чаще и чаще взмахи рук, держащих ветви. Слышны удары веток о нагие тела, вскрики, визги и стоны внезапной боли.

Антистрофа VII

В час полночного раденья
Быстро мчимся,
И кружимся,
И в восторге исступленья
Пламенеющее тело
Обнажаем смело,
Вольного мученья
Не боимся,
Мчимся, мчимся
В час полночного раденья.

Хоровод сближается тесно. Объятия и поцелуи перемежаются с неистовыми ударами ветвей.

Строфа VIII

Руки смелые мелькают.
Боль внезапна и остра.
Поцелуи чьи-то тают.
Сладко, больно мне, сестра.
Стон и визг от острой боли,
Брызжет кровь, —
Не боюсь внезапной боли!
Все в моей безумной воле, —
Кровь, и слезы, и любовь.

Хоровод сливается на короткое время в широкий круг жен, которые мчатся одна за другою, ударяя одна другую ветвями. Все обнажены, кроме двух, которые отходят в сторону.

Антистрофа VIII

Звонко-тонкие удары,
Визг менад и тонкий свист.
Боль, восторг, и кровь, и чары.
Круг мелькающий лучист.
Быстры ноги, быстры руки,
Брызжет кровь.
Вы быстрей мелькайте, руки!
Все мое: восторг и муки,
Пляска ночи и любовь.

К концу антистрофы хоровод развертывается и мчится в туманное поле. Звуки пения и пляски постепенно удаляются. Две женщины, отделившиеся от пляшущих, заботливо оправляют одежды и говорят тихо.

Первая. Мне страшно. Не уйти ли?

Вторая. И я боюсь. Они обезумели.

Первая. Рвут на себе дорогие и нарядные одежды, — а в чем потом будут ходит на собрания? Купцы из Тира когда еще приедут, а наши рабыни такие ленивые и неискусные.

Вторая. Великая скорбь отуманила разум царицы. Жалко смотреть мне было на нее, как она пляшет, неистовая, с пламенными взорами, безумные выкрикивает слова, и последние куски одежды упадают с ее прекрасного тела.

Первая. Да, горюет, а сама хитрая, — шерстяной надела хитон, да и то не свой, а рабыни своей Ниссы, — его и не жаль ей разорвать. А на подругах дорогие сидонские ткани. Такие глупые.

Слышно, что пляшущие приближаются. Пение и бубен ближе и громче, хотя слова еще невнятны.

Вторая. И боли не чувствуют, а уже кровь проступила на их телах.

Первая. Что тело! Была бы цела одежда, а пролить сколько-нибудь крови для очистительного обряда хорошо, — угодно богам и царице и полезно для здоровья. Но этого наряда мне жалко, я пойду домой.

Вторая. И я. А царица не обидится?

Первая. Ей не до нас. Да и без нас много. Какие-то чужие набежали, бесстыдные и неистовые. О нас и не вспомнят. Надо бы только поискать сандалии, — они у меня совсем мало ношенные и очень красивые, — да где их найдешь в такой суматохе.

Вторая. Придем за ними завтра.

Уходят.

Хор в туманном поле

Строфа IX

Смейтесь, пляшите.
Жив или умер,
Воскрес или спит
В области мрачной,
Где Лета шумит,
Да или нет,
Возвестите,
Это — одно.

Луна за тучами. На сцене почти совсем темно. К концу пения строфы в сад вбегают пляшущие; во мраке слабо мерцают их нагие, смуглые тела.

Антистрофа IX

Смелые, смейте!
Днем или ночью,
Видит весь народ

Или только стены
Буйный хоровод, —
Честь или стыд,
Разумейте:
Так я хочу.

Черная ночь окутывает сцену. Голоса смолкают. Огни чертога тускнеют, — исчезают. Глухой шум. Плеск воды.

Действие четвертое

Раскрывается царство Аида. Еще темнее, чем в первом действии. Боги и тени почивших слабо видны, и только по временам вспыхивают неживым огнем янтарные светочи адского свода. Аид почивает на престоле. Лицо его угрюмо и туманно, — и печален лик Персефоны.

П е р с е ф о н а. Передо мною предстоишь ты, милый герой, с печалью во взорах и с желанием в сердце. Увы! никакое желание не властно открыть путь, проходимый только в одну сторону, — путь безвозвратный.

П р о т е с и л а й. Великая богиня, прежде чем я начал говорить, ты уже знаешь, что я скажу. Докучна тебе речь моя, — но дай мне словами излить скорбь мою и тем облегчить мое сердце.

П е р с е ф о н а. Говори, милый герой, — если ты еще не забыл слова живой страсти, утешны будут они мне, неутешной.

Доносится сверху пронзительный вопль Лаодамии, сопровождаемый далекими отзвуками флейты и кимвал.

Л а о д а м и я. Заклинаю воском, даром мудрых пчел, — вы, невидимые боги, дайте мне Протесилая моего.

П р о т е с и л а й. Я слышу призывный стон Лаодамии, — небесная Афродита сладким голосом кличет меня. Из земных пределов донесся ко мне призывный стон Лаодамии, и непреодолимая власть в нем, и он зовет меня.

Персефона. Зовет меня!

Протесилай. Не могу противиться этому зову, — в царстве свершенных деяний коснеть не могу. Я должен вернуться в мой недостроенный дом, — я должен, — никогда еще полуночные чары небесной очаровательницы не были так могущественны.

Опять доносится вопль Лаодамии, сопровождаемый слабым звоном кифары и короткими гулами бубна.

Лаодамия. Протесилая, Протесилая моего отдайте мне, подземные боги! Даром мудрых пчел заклинаю вашу свирепость, умоляю вас, подземные боги, отдайте мне Протесилая!

Персефона. Аид, отпусти Протесилая на землю. О себе никогда не молила и теперь не молю, — долг супруги, царицы и богини запрещает мне мольбы о недолжном, провидение, свойственное богам, заграждает мои уста для речей безумных. Но его отпусти.

Аид. Как хочешь ты, Персефона, чтобы я вернул ему жизнь? Великое колесо мира повернуть в обратную сторону я не хочу. И разве ты не знаешь, что минувшее невозвратно?

Свирельный вопль царицы Лаодамии явственнее слышен, — к земле приникла она и вопит, — и жалобный звон кифары вторит ее воплю.

Лаодамия

Один час — приветить,
Второй час — насладиться,
Третий час — расстаться,
И после плакать
И умереть.
Только три часа
Дайте мне, неумолимые
Боги, —
Аид и Персефона.

Персефона. Не о невозвратном говорю, — верни его на землю хотя на краткие сроки, дай ему хотя недолгие радости соединения с милою.

Вопли тоскующей Лаодамии сопровождаются ударами бубна и короткими звонами.

Лаодамия

Строфа I

О Персефона!
Ты знаешь, ты знаешь
Путь невозможный
Из-за Леты.
Ты знаешь, ты помнишь
Золотокудрого бога.
Ты знаешь, ты знаешь,
Чья сила
В тающем воске.

Антистрофа I

О Персефона!
Ты помнишь, ты хочешь
Тихой услады
Поцелуя.
Ты знаешь, ты помнишь
Смерть победившего бога.
Ты хочешь, ты хочешь
Веселья,
Сладкого меда.

Аид. Страшным призраком предстанет он живым, — холодом обвеет трепещущие от вожделения груди.

Персефона. Утешающий призрак! Если призраком утешено сердце, все же оно утешено. И холод, веющий от милого пришельца, — холод великого утешения.

Аид. У меня утешен холод, — моя темная область утешительна страдающему сердцу. Низведи к нам Лаодамию, — и утешены будут оба.

Лаодамия

Эпод

Я пришлю тебе чашу
Сладкого меда
С моим Протесилаем.
Я смешаю
Вино и мед
В глубокой чаше
Из воска.
За вино, и за мед, и за восковую чашу
Дай мне, дай мне
Хоть на три часа Протесилая.

Персефона. Красота милого героя и скорбь его о разлуке с милою наполнили мое сердце неизъяснимою жалостью.

Аид. Жалость? Подумай, кого ты жалеешь! Не тень ли, скользнувшую по стене!

Персефона. Тень!

Протесилай. Молю тебя, Аид, отпусти меня.

Подземные Боги

Строфа II

Сочетать живую с мертвым
Может только царь Аид.

Только раз придет обратно
Успокоенный к жене.
Он вернется, и живое
Принесет вино,
И утешит, засмеется
Здесь, у летских вод, Загрей.

Антистрофа II

Отпусти Протесилая
К Лаодамии, Аид.
Приведет его обратно
В час назначенный Гермес.
То, что было волей к жизни,
Вечная любовь,
Сочетает жизнь со смертью,
Но твоя победа, царь.

Эпод

Жизнь и смерть,
Пронзенные любовью,
Айса взвешивает ныне
И вещает:
— Жизнь и смерть,
Да и нет —
Одно!

Персефона. Он — только человек. Красотою подобный богу, он — только человек.

Аид. Из мира вечного и святого стремишься ты, Протесилай, в мир преходящего бытия. Ты хочешь вернуть невозвратное, не думая о том, что неустанные Оры умчали земную жизнь к иным достижениям.

Персефона. О Аид, отпусти его!

А и д. Лаодамия, которую ты зовешь своею, обручена другому. Знаешь ли ты это, Протесилай?

П р о т е с и л а й. От ненавистного ей брака спасти ее, вот зачем она зовет меня свирельным стоном.

А и д. С того дня, когда воцарился я здесь, только дважды покидал я мое царство. За Персефоною — первый раз, и второй раз — к небесному врачевателю. Тягостен земной воздух для ступившего на мой берег Леты. Так исполню ради молений Персефоны мольбу твою, великодушный герой. Три часа на земле дам тебе, — и знаю, второй раз ты не придешь докучать мне безумными жалобами. Гермес, три часа дарованы Протесилаю и Лаодамии. Поспеши.

Опять смыкаются тройные стены мрака. Слышен гулкий плеск Леты. Затихает. Проясняются слегка очертания царского чертога. В темный сад тихо входят Протесилай и Гермес.

Г е р м е с. Дверь не замкнута, но тебе не переступить порога, если не впустит тебя Лаодамия. Стучись. Проси приюта.

Гермес отошел и скрылся. Протесилай стучится в дверь. Из-за двери слышен взывающий вопль Лаодамии.

Л а о д а м и я. Кто-то стучится. Страшно мне. Как темно! Все ушли. Я одна у ног моего Протесилая. Кто-то стучится в мою дверь. Холодные повосковели ноги, и моим губам их не согреть.

П р о т е с и л а й. Лаодамия, впусти меня.

Л а о д а м и я. Чей-то голос зовет меня. Чей голос? Или, приколдованный чарами воска, вернулся он? Боюсь верить. Чье же это чародейство, пагубное и злое, из ночной тьмы воздвигающее зовучий вопль?

П р о т е с и л а й. Лаодамия!

Л а о д а м и я. Обманчивый призрак, уйди, не пугай меня! Мой милый, Протесилай мой, со мною. Из воска я воздвигла его, в него перелила я душу мою, душу мою сочетала я с душою Протесилая. Ночной, неведомый, сокройся! Стал воском возлюбленный мой.

Протесилай. О Лаодамия, это — я! Ночной пришелец — я. Взывающему за оградой в ночи, кто бы он ни был, надлежит открыть дверь. Ночью к тебе прихожу я. Я — Протесилай, мне ли не откроет дверей Лаодамия! О Лаодамия, это — я!

Лаодамия. Он, мой милый, здесь, — он был в моих объятиях. А ты, пришелец...

Протесилай. Встань, Лаодамия, открой свою дверь, впусти меня скорее! Мал срок, данный мне, — впусти меня скорее! Взывающего за оградою, в холоде ночи, под ворожащею луною, впусти меня скорее!

Лаодамия. Милый мой со мною, — со мною мой милый, мой неизменный, мой.

Протесилай. Ласки расточаешь ты моему восковому идолу, моему идолу повторяешь ты страстные и нежные слова. Так много любви и вожделения вложено в этот воск, что не мог я и во владениях Аида не почувствовать твоих ласк, твоего нежного и сладкого зова. Широкие ворота Аидова дома разверзлись для меня, — пламенная сила твоих заклятий победила ад. Отвори мне, Лаодамия, — я — твой Протесилай. О Лаодамия, это — я! Открой, открой мне дверь, не сокращай сладких минут любви! Только три часа даровал нам Аид.

Лаодамия. Не смею не слушаться, боюсь открыть мою дверь, — что же мне делать? Темно. Едва мерцает последняя лампада. Холодно. Одежды чьи-то. Разбросали. Ушли нагие. Мы звали? Чаровали? Доклик-кались, дозвались, и он пришел!

Стремительно открыла дверь. Выбежала в сад. На ней белая одежда, едва надета, — чья-то чужая, спешно поднятая. Бросилась к Протесилаю, свирельным воплем окликнула его.

Протесилай, мой милый!

Протесилай молча обнимает Лаодамию. Она дрожит. Отходит. Одежда скользит с ее тела, падает к ее ногам, обнажая вздрагивающее прекрасное тело.

Ты холодный, холодный, — землею сырою пахнет от тебя.

Протесилай. Из земли сырой возник я снова, из области покоя и неподвижных снов пришел я к тебе, Лаодамия, в твою милую область, в страну вечного сгорания. Трудный путь свершил я, Лаодамия, движимый зовущею силою Любви. Тебя люблю, Лаодамия, и пришел к тебе возвестить закон небесной Афродиты: Люби Меня.

Лаодамия. О Протесилай! Мой бедный герой! Как холодны твои руки! Иди ко мне, насладись моею любовью, — я отогрею тебя на моей груди, и, когда пройдет данный богами срок, я не отдам, не отдам тебя Аиду! С тобою, за тобою пойду я повсюду, — за тобою, с тобою, мой Протесилай!

Лаодамия уводит Протесилая в свой чертог. Завесою черного мрака закрывается мир.

Действие пятое

Сад становится светлым. Тихо встает кроткая Эос. От тихого и темного чертога ложится тень на прохладу дремлющего сада.

Эос. Ночь проходит. Моя пора. Встречу ясного, ненаглядного, — и уйду. *(Разгорается, сияет веселыми улыбками, ждет.)*

Оры *(пролетая)*. Здесь выходец из Аидова царства, очарован весь дом чарами тайны и молчания. Все хранит безмолвие, и даже ветер пробегает стороною, не шевельнет занавесою двери.

К терему подходит Антим с цветами для жертвоприношения.

Антим. Госпожа моя, встань, отгони от себя очарование утреннего сна. Уже поздно, — хотя и молчит таинственно весь дом, — уже поздно, и я принес тебе цветы.

Змея. А ты не боишься?

А н т и м. Царица Лаодамия, в тот самый час, как ты велела, вот видишь, я пришел к твоему терему, я принес тебе все цветы, которые ты велела мне принести.

В кустах кто-то смеется тихо, и от утренней прохлады вздрогнул старик. Серебристый слышен плеск воды в водоеме.

Эти цветы, они для жертвоприношения нужны тебе, — боги их примут благосклонно, — свежи и благоуханны эти цветы.

З м е я. Царица молчит. Что твои цветы для милой Лаодамии!

А н т и м. Всегда Лаодамия в это время выходила из своей опочивальни и шла в сад, наслаждаться прохладой утра, запахом роз и нежным стрекотаньем цикад. Сегодня в ее терему так тихо, — и все в доме молчит. Что это значит? Боюсь, не случилось ли чего.

С а т и р *(высовывая из-за куста косматую голову)*. Приятель, дверь-то приоткрыта. На твоем месте я бы посмотрел в щель, что там делает Лаодамия.

А н т и м *(заглядывая в дверь)*. Лаодамия! Царица! Да она не слышит. Эге!

С а т и р. Приятель, что там делает твоя госпожа?

А н т и м. Что я увидел, о том и сказать страшно.

С а т и р. Ну, говори, что ты там увидел. Я бы и сам посмотрел, да чую, что там есть кто-то, с кем не следует мне встречаться.

А н т и м. Да что! Тебе-то можно сказать, — ты не наш. Лаодамия, забывши всякий стыд, обнимает на своем ложе тайком забравшегося к ней гостя. Нагая прильнула к нему и ничего не слышит, знай себе целует и ласкает.

С а т и р. А ты знаешь, кто там?

А н т и м. Не видно — темно. Вот она, прославленная верность! Вот почему не хочет Лаодамия нового мужа! Видно, все женщины одинаковы. Еще царица! На то ли дано ей носить золотом шитую багряницу!

С а т и р. Что же ты теперь сделаешь? Войди к Лаодамии, прогони любовника, — Лаодамия тебя обнимет так же крепко, только бы ты никому не говорил о том, что видел.

А н т и м. Что ты говоришь! Какие глупости! Разве это можно? Стар я стал для таких дел и уж очень противен был бы царице.

С а т и р. Я старше тебя, но будь я на твоем месте, уж я бы зацеловал прекрасную Лаодамию.

А н т и м. Я верен моим господам. Надо идти скорее, рассказать Акасту об этом нечестивом и позорном деле, — поскорее, пока не узнали другие, чтобы никто не проболтался. Уж я-то верен, а другие...

Входит Акаст. Сатир прячется.

А к а с т. С кем ты тут говорил, Антим? А где же Лаодамия?

А н т и м. Горе мне, господин мой! Верен я тебе, как собака, — а какую скорбную должен я сказать тебе весть! Поспеши, господин, пока не узнали другие, — в чертог Лаодамии иди поспешно, как только можешь, пока он, ночной гость, не успел уйти.

Акаст подходит к чертогу. Заглядывает в дверь. Смеется.

А к а с т. Так-то, Лаодамия, хранишь ты верность! Утешилась скоро. Таковы-то вы все. Падки на мужские ласки. Что теперь нам делать? Хоть бы никто не узнал.

А н т и м. Уж я-то не проболтаюсь.

А к а с т. Надо поскорее прогнать этого дерзкого. *(Подходит к двери. Хочет ее открыть.)*

Дверь отворяется. Выходит отуманенным призраком Протесилай. Акаст в ужасе отступает. Антим с воплем бежит, потом прячется за кусты и оттуда слушает.

Протесилай, ты жив? Лживы были рассказы о твоей смерти?

П р о т е с и л а й. Из Аидова царства вышел я, — Аид сжалился над моею любовью и стонами Лаодамии и отпустил меня к моей милой.

А к а с т. Так ты — мертвец!

П р о т е с и л а й. Акаст, не бойся меня.

А к а с т. Ужасен вид пришельца из-за Леты, но я — воин и царь. Не мне бояться бледной тени. Зачем ты здесь? Зачем простираешь из адского мрака руки к той, которой еще долго быть среди живых? До брака ты взял ее, — и после смерти хочешь овладеть ею, ненасытный!

П р о т е с и л а й. Она — моя. Неразрывными узами любви и верности связана она со мною. Спроси, о чем ее мечты. О моих ласках, о моих поцелуях. Спроси, чем она утешена. Долгие ночи она сгорала, тая, как воск.

А к а с т. Что ты говоришь! Противны богам и нечестивы речи твои. Лаодамия — невеста Протагора, ты же — пленник Аида. Твои возвращения к нам не нужны людям и страшны им.

П р о т е с и л а й. Старик, разве ты еще не знаешь прав неумолимой смерти? Или неведома тебе власть отживших?

А к а с т. Жизнь-то, говорят, посильнее. Вот ты умер, а мы делаем, как хотим, не спрашиваем, любо ли это тебе. И Лаодамию твою отдадим другому, а с нею и твое царство. Что прошло, того не воротишь. Тень и останется тенью. И уже легким призраком ты стоишь, и уже с туманом свивается одежда твоя, и сквозь тебя уже я различаю очертания деревьев.

П р о т е с и л а й. Акаст, умрешь и ты. Смертный путь неизбежен, все пройдут им, и моя Лаодамия со мною. Навеки связало нас обещание любви, и нам нельзя разорвать нашего неизменного союза.

А к а с т. Кто ты, чтобы из-за гроба простирать над нами свою пагубную власть? Власть иная над нами, знай, нечестивый, воля к жизни влечет нас путями жизни.

П р о т е с и л а й. Уйди, старик, не мешай мне и Лаодамии моей почивать, нежно обнимая друг друга.

А к а с т. Хорошо ли, подумай сам, ты делаешь, являясь Лаодамии, обманчивыми грезами смущая бедную? Филаке нужен царь, и Лаодамии — муж. Тебе-то что, — никакой ты не имеешь ныне нужды, тебе бы только обниматься с милою на досуге, — а нам, живым, надо подумать о доме и о городе.

Гермес приходит от востока и обращается к Протесилаю.

Г е р м е с. Протесилай, пора нам идти. Близок час, когда над землею вознесется светлокудрый бог.

П р о т е с и л а й. Милый спутник трудного и дальнего пути, как рано пришел ты!

Г е р м е с. Пора. Срок, данный Аидом, прошел. Долог наш путь к тройным стенам мрака, которыми оградил незримый свое тихое царство.

П р о т е с и л а й. О Гермес, помедли еще хотя немного. Дай мне побыть в сладкой предутренней прохладе и еще хоть раз взглянуть на мою Лаодамию, озаренную снова первым сиянием дня.

Г е р м е с. Пойдем. Минул наш срок. Если ты еще замедлишь, навеки бесприютною и тоскующею тенью будешь ты скитаться здесь, пугая чутких псов и неразумных детей.

О р ы *(пролетая)*. Гелиос! Гелиос!

Восходящее солнце не видно из-за чертога, но ликующие лучи его озаряют сад и сверкают на утренней росе. Протесилай и Гермес исчезают, сливаясь с резкими дневными тенями.

А к а с т. Дивные и ужасные дела творят великие и малые боги под покровом ночной тьмы. Но вот возносится сребролукий, далеко разящий бог. Он один хочет царить ныне на земле и на небе и, благий к почитающим его, гонит полуночные страхи, злых демонов и блуждающих по дорогам мертвецов. И теперь я поспешу силою светоносного бога отогнать непрошеного пришельца и заклясть его следы, чтобы многие ночи протекали для нас спокойно. Антим!

Антим робко вылезает из-за кустов. Становится на ноги. Молча, боязливо озирается.

Не бойся, Антим, гость ушел, и мы позаботимся, чтобы он и не возвращался никогда. Созови скорее всех рабов и рабынь, — пусть зажгут здесь, против порога, костер очищения. Сгорит в очищающем пламени костра ложе, где почивал полуночный страшный гость, и снова чистым явится дом.

Антим проворно уходит. Слышны голоса и растущий шум. Акаст отворяет дверь чертога и останавливается на пороге.

Да там и другой! Кто же это еще? Кого еще обнимает безумная Лаодамия? Какое еще горе, какой стыд она готовит мне и городу? *(Входит в чертог.)*

В это время рабы поспешно раскладывают костер. Он медленно разгорается. Его пламя бледно в ликующих лучах восходящего солнца. Из чертога слышен шум, гневные крики Акаста и пронзительный вопль Лаодамии.

Л а о д а м и я. Не тронь, не тронь моего милого!

Акаст выносит из дому статую Протесилая. Лаодамия выбегает за ним. Хватается за руки Акаста и вопит.

Не дам, не дам! Оставь, оставь его мне! Не гляди, что он так недвижен, — только днем повосковел он, — ночью он опять придет ласкать меня и шептать мне слова нежной любви.

А к а с т *(гневно кричит)*. Рабы, что же вы смотрите! Неистовая вцепилась в мои руки, не справиться мне с нею. Отнимите от нее восковой кумир!

Рабы несмелою толпою окружают Лаодамию и отнимают от нее статую.

Л а о д а м и я. Рабы, не смейте! Не дам, не дам моего милого!

Антим охватил Лаодамию сзади и тащит ее к порогу дома. Статуя в руках Акаста. В это время, привлеченные молвою и шумом, начинают приходить по одной, по две подруги Лаодамии в простых домашних одеждах.

Горе мне! Отняли моего милого!

П о д р у г и. Что здесь? Что это отняли у Лаодамии?

Окружают Лаодамию и Акаста. Во время последующих речей рассматривают статую, обнимают Лаодамию. Тихо говорят с вновь приходящими женами.

А к а с т. О Лаодамия, теперь я понял причину твоего упрямства!

П о д р у г и. Это — статуя, которую изваял Лисипп. Какой он искусный! Воск точно живой. Только не дышит.

А к а с т. Не знаю, кем создан этот кумир, но я видел, — как живого, обнимала его Лаодамия.

П о д р у г и. Несчастная Лаодамия! Бездушным кумиром утешалась ты, и того у тебя отнимают.

А к а с т. Да как же не отнять! Не хочу я, чтобы она так мучилась. Ведь она — царица, ей надо выходить замуж, а вот она так изводится!

П о д р у г и. Несчастная Лаодамия, — не забыть ей Протесилая!

А к а с т. Так вот они, очистительные обряды! Это — чары, преступные, нечестивые. Придумал их тот, кто замыслил нарушить волю богов, разорвать преграду между жизнью и смертью, распространить власть мертвых над миром живых. Мертвого гостя Лаодамия призвала к себе из Аидова темного царства, — вот зачем ей этот идол! Поймите, что его надо сжечь.

П о д р у г и. О страшных делах вещаешь ты нам, Акаст.

Костер на дворе разгорается.

А к а с т. Смотрите сами, — вот, это не более, как воск, а она его обнимала, обольщенная каким-то неведомым демоном, враждебным

жизни, обнимала, — и разжимались восковые руки для нечестивых страшных объятий.

Слуги выносят из чертога венки, кимвалы, тирсы, бубны, одежды и все складывают в разгорающийся костер.

Лаодамия *(шепчет)*. Милый воск.

Акаст. И этот восковой идол, так дивно изваянный, — вот чем ворожила ты, нечестивая! Пора, пора нам разрушить это злое очарование!

Венки и одежды пылают. Акаст несет статую к огню. Лаодамия, — до этого времени она неподвижно стояла у порога, удерживаемая подругами и рабынями, — вдруг метнулась к Акасту. Обвила руками статую. Сопротивляется Акасту и слугам, которые опять отнимают у нее милый кумир.

Лаодамия. Не отдам моего друга! В этом воске — душа моя, душа Протесилая. Не отдам, не отдам!

Подруги *(плачут и восклицают)*. Бедная Лаодамия! Как нам жалко тебя! Но мы не можем помочь тебе. Не одолеть, не одолеть, милая, тебе сильных! Отнимут у тебя твое утешение. Покорись, Лаодамия, милая, не спорь тщетно с ними!

Кто-то из слуг сильно толкнул Лаодамию. Она шатается. Подруги поддерживают ее. Статуя сломана. Акаст поспешно бросает ее в огонь.

Акаст. Гори, гори, проклятый кумир!

Лаодамия. О неразумная я! Не сама ли я вымолила только три часа!

Пылает костер. Воск тает. Поспешно входит Лисипп.

Лисипп. Поздно прихожу я. Свершилось безумное дело. Милый лик друга моего сожгли.

Лаодамия. Милый отрок, и ты плачешь. Взяли моего друга. Сожгли. Власть воздвигли над нашею любовью люди!

Лисипп *(у костра)*. Они все смеют.

Л а о д а м и я. Сожгли. Но я пойду за ним. Огонь, сладкою мукою сожги земное мое и темное тело, — и пойду за милым моим к широким воротам Аидова чертога! *(Бросается к огню.)*

А к а с т. Держите, держите безумную!

П о д р у г и. Милая царица, что ты замыслила!

Подруги и рабыни удерживают Лаодамию. Она вырывается. И вдруг ослабела, как тающий воск. Бессильно отдается милым подругам, и они отводят ее к порогу.

Л а о д а м и я. Как тает воск.

П о д р у г и. Лаодамия, милая, что с тобою? Лицо твое бледно, и глаза не смотрят, и ты шепчешь тихо.

Л а о д а м и я. Как тает воск.

А к а с т. Утешайте, утешайте ее, милые подруги, — тяжела ей потеря милого и последняя разлука с ним. Но вот сгорит проклятый чародейный идол, — и утешится моя Лаодамия.

Лаодамия падает.

П о д р у г и. Помогите царице, ей тяжко! Поддержите ее, она падает. Она вся стала желтая, как воск. Повосковелые губы так страшно шевелятся, и она шепчет тихо.

Л а о д а м и я. Где мой кумир? Где мой венок?

П о д р у г и. Все в огне.

Л а о д а м и я. Милый мой!

П о д р у г и. Царица умирает. Тело ее бессильно и недвижно. Осторожно, осторожно опустим ее на траву, дальше от костра. Царица умирает. Милая Лаодамия, что ты шепчешь? В последний твой час что ты нам скажешь?

Л а о д а м и я. Как тает воск.

И умерла Лаодамия на пороге недостроенного дома. Акаст молча плачет. Подруги с воплями окружают тело.

П о д р у г и. Умерла, умерла Лаодамия. О дивная смерть! Плачьте, плачьте о милой Лаодамии, но с плачем соедините и великую радость и славьте, славьте небесную очаровательницу, роковую Афродиту! Слава, слава тебе, Афродита! Над смертью торжествуешь ты, небесная, и в пламенном дыхании твоем тает земная жизнь, как тает воск.

Ликующие лучи восшедшего над землею солнца заливают всю сцену. Пламя костра пылает, подымаясь прямо кверху, яркое, но бледное. Светлою завесою от востока закрывается сцена, — завеса чистая и белая, — ясная смерть.

ЛЮБВИ

Драма в двух действиях

Действующие лица:

Р е а т о в, 44 лет.
А л е к с а н д р а, 20 лет.
Д у н а е в, 26 лет.

Действие первое

Комната в доме Реатовых. Александра в трауре, с фотографическим портретом в руках. Входит Реатов.

Р е а т о в. Моя дочь в приятном обществе.

А л е к с а н д р а *(вздрогнула, уронила портрет)*. Ах, папа! Ты меня испугал, — я задумалась.

Р е а т о в. И жених на полу, — славно! Дай мне еще на тебя поглядеть. Ты похорошела.

А л е к с а н д р а. Ах, папа!..

Р е а т о в. А глаза красные, это нехорошо. Ты все плачешь. Давай-ка лучше подымем жениха и поставим его на стол.

А л е к с а н д р а. Отец, такое горе, такое горе!

Р е а т о в. Ну полно, деточка, не плачь. Мама счастливее нас: у нее нет желаний, неисполнимых, безумных... Но как же ты похорошела! Как давно мы не виделись с тобой! Шесть лет. Ты девочкой была, таким нескладным подростком, а теперь — смотрите, жених какой-то уже нашелся.

А л е к с а н д р а. Какой-то! Он — милый и добрый.

Р е а т о в. Милые письма ты ко мне присылала раньше, до него.

А л е к с а н д р а. Я думала, тебе неинтересно и некогда читать мою болтовню.

Р е а т о в. Нет, Санечка. Присядем здесь, вот в этом уголке, и будем говорить много и долго. Расскажи мне о себе. Все попрежнему, не правда ли? Трепетные огоньки перед иконами, и мольбы кому-то о чем-то, и странные жесты, — и эти долгие молитвы на коленях.

А л е к с а н д р а. Мы здесь живем в глуши. Что сказать? Вот мой жених, — не правда ли, он милый? Зачем ты бледный такой и хмурый? Он тебе не нравится разве? Ты знал его когда-то... Ты видел много, побывал далеко... Ну что же ты молчишь? Скажи мне сказочку, как сказывал ты девочке-дочке, давно, — ты помнишь? — в старые годы... О чем ты так задумался?

Р е а т о в. Прости, дочка. Я отдыхаю... Кончились мои странствованья, — и я начинаю жить. Я любуюсь тобою, смотрю на твое прекрасное лицо, и меня берет досада...

А л е к с а н д р а. На что?

Р е а т о в. Александра, неужели ты выбрала его себе в мужья?

А л е к с а н д р а. Что ж странного? Он добрый.

Р е а т о в. Кому охота быть злым!

А л е к с а н д р а. Мы будем счастливы... Вот ты увидишь его, узнаешь его поближе, — и ты его полюбишь. Правда, полюбишь?

Р е а т о в. Полюблю? Нет, дочка, я тебя люблю, это так, а его не намерен заключать в родственные объятия. Разве у него есть такие белые руки? Разве умеет он так прятать свою голову на моей груди, и разве у него есть такие глаза? И досадно мне, что возьмет он тебя, мое сокровище. Не стоит он твоей любви.

А л е к с а н д р а. Ах, нет!

Р е а т о в. А впрочем... Он добрый, да, не правда ли?

А л е к с а н д р а. Конечно, добрый, не то что ты.

Р е а т о в. Да, это хорошо. Я рад за тебя. Он ведь носит тебя на руках, вот так, как я тебя несу? И носит, и подкидывает, и лелеет? Поцелует губы и щеки, и снова подкинет, вот так! Да?

Александра. Ну довольно, довольно, пусти меня. Какой ты сильный! Ты спокойно дышишь, а я точно версту пробежала... Что это мы, как дети, шалим и смеемся в такое время?

Реатов. В какое время?

Александра. Давно ли я потеряла маму!

Реатов. Ну, деточка, что о том тужить, чего не воротить! Так он в эти траурные дни ведет себя скромно и не покачает мою дочку?

Александра. Вот еще, — он не смеет.

Реатов. Любит и не смеет! Любит и не знает, какое блаженство держать в своих объятиях трепещущее тело возлюбленной!

Александра. Да и не у всех ведь такая силища, чтоб играть человеком, как мячиком.

Реатов. Понимаю, дитя, понимаю. Ценю твой нежный вкус: он, твой жених, не груб, как я, — он изящен, тонок. Он обожает тебя по-рыцарски: он приляжет у твоих ног, вот так, и поет тебе про любовь свою, и сказывает тебе чудные легенды о том, как любили наши дедушки наших бабушек.

Александра. Он не умеет петь, и он не профессор истории.

Реатов. Разве? Ну, опять не так! Да, я знаю, он ведет в твоей гостиной только приличные разговоры и говорит о своей любви не иначе, как по учебнику хорошего тона.

Александра. Я не знаю такого учебника.

Реатов. Оставим это. Иль нет, скажи мне, ты сама... сильно любишь его?

Александра. О да!

Реатов. Счастливые! А знаешь ли ты, как горят его поцелуи?

Александра. Горят? О да, он целует мне руки, но это вовсе не горячо.

Реатов. Только руки?

Александра. И только раз, — но это я тебе по секрету, — он поцеловал меня вот в это место.

Реатов. В эту бледную щеку, которая так очаровательно вспыхнула теперь?

А л е к с а н д р а. Но я очень рассердилась и простила его только тогда, когда он сказал, что этого больше не будет...

Р е а т о в. До свадьбы! Дети! Ромео, не дерзающий напоить свою Юлию сладчайшим нектаром любви, пока его не повенчают с нею!

А л е к с а н д р а. Что ты говоришь, папа!

Р е а т о в. Я рад, дитя мое, я рад. Ты сберегла невинность, и ты не знаешь любви. Я рад, дитя, тому, что вы не любите друг друга.

А л е к с а н д р а. О нет, я люблю его, и он меня любит.

Р е а т о в. Дитя, знай, что любовь, не запечатленная последними жертвами, — это облачко, которое растает под поцелуями могучего светила. Любовь не знает преград и запрещений, любовь на все дерзает, все смеет. Кто любит, тот силен, как Геркулес, — он рад нести на своих плечах мир, заключенный для него в возлюбленной. Кто любит, тот гениален, как Шекспир, и дело любви — творческое дело. Кто любит, тот безумец, маньяк и бешеный в одно и то же время: одна мысль сжигает его мозг, один образ царит над его душою, и все сокрушает непреодолимый ураган его неистовых желаний. Он берет возлюбленную, как законную добычу, в свои могучие руки...

А л е к с а н д р а. Ах, ты уронишь меня! Пусти меня. У тебя глаза горят. Я не понимаю твоих слов.

Р е а т о в. Когда стремится он к обладанию красотою, каменные стены падают перед ним, и нет преграды, которая не разорвалась бы под напором его исступленной воли, как разрывается хрупкая ткань твоего траурного платья.

А л е к с а н д р а. Отец! что ты делаешь! Безумный, ты разорвал мое платье! Ну к чему это?

Р е а т о в. Не он научит тебя любить. Прости, дитя. Я так давно тебя не видел, и мне жаль твоего сердца, которое ты хочешь снести в сырой ледник семейного счастья.

А л е к с а н д р а. Вот надо идти, переодеться, а то еще увидит кто-нибудь это разорванное...

Р е а т о в. Подожди. Дай мне обнять тебя... Молнии в твоих глазах, черных, как ночь... Скажи, видел ли когда-нибудь он, твой жених

скромненький, вот эту прекрасную грудь и вот это место под золотым амулетом?

Александра. Ну конечно, не видел. Пусти меня. *(Уходит.)*

Действие второе

Там же. Через несколько дней. Александра и Дунаев тихо разговаривают. Реатов входит.

Реатов. Вот два голубка, неразлучные. Воркуете?

Александра. Воркуем.

Реатов. Ну здравствуйте, дети мои, воркуйте и будьте счастливы.

Дунаев. О да, я постараюсь, чтоб Александра была счастлива.

Реатов. Постарайтесь, мой друг, но только поберегите ваше здоровье, не расточайте безрасчетливо ваших сил, как тот итальянский мальчишка, безумец Ромео, который в одну ночь готов был излить на свою супругу весь Эдем наслаждений. Будьте благоразумны, как гоголевский Шиллер, и вы будете пользоваться патентованным и непромокаемым счастием.

Дунаев. Мы будем счастливы, конечно.

Реатов. «Как боги на недоступных небесах?»

Дунаев. Как боги? О нет! Все мы люди, все человеки. И зачем недоступные небеса? Мы хотим быть счастливы на миру, на людей посмотреть и себя показать. Наш рай будет доступен для наших друзей.

Реатов. Для друзей? Мило сказано.

Дунаев. А вы сегодня чем-то словно недовольны?

Реатов. Нет.

Дунаев. Вы так бледны. Вы, может быть, не совсем здоровы? Послать бы за доктором.

Реатов. Нет, мой друг, благодарю вас, я совсем здоров. Но только я расстроен. Дела такие... Словом, я нашел, чего не ожидал.

А л е к с а н д р а. Он все больше сидит и читает. Какие страшные и очаровательные есть книги!

Р е а т о в. Хотел бы я, Алексей Сергеич, вам два слова сказать наедине, если вы позволите.

Д у н а е в. Я готов слушать.

Р е а т о в. Это наша тайна, Санечка, строжайшая тайна.

А л е к с а н д р а. Я никому ее не выдам.

Р е а т о в. Да и мы ее тебе не выдадим.

А л е к с а н д р а. Он не должен иметь тайн от меня.

Р е а т о в. А все-таки это наша тайна.

А л е к с а н д р а. Так я, значит, лишняя! Вот мило!

Р е а т о в. Не сердись, мой друг: через короткое время я верну его тебе, а теперь ты нас оставь.

А л е к с а н д р а. Хорошо, что ж делать! Это как тогда, когда я была девочкой, и ты занимался, а я приходила тебе мешать, ты меня и выпроваживал, как теперь.

Р е а т о в. Да, а ты сердилась и объявляла, что больше ко мне не придешь.

А л е к с а н д р а. До свиданья, Алексей Сергеич, — секретничайте себе.

Р е а т о в. Только смотри, деточка, не вздумай подслушивать.

А л е к с а н д р а. Ну конечно, не буду. Я не такая любопытная. *(Уходит.)*

Р е а т о в. Садитесь, Алексей Сергеич, и поговорим. Прямо к делу. Вы знаете, что имеет ваша невеста?

Д у н а е в. Аполлон Максимович! это меня нисколько не интересует.

Р е а т о в. Решительно нисколько?

Д у н а е в. Конечно, мои средства невелики, а привычки Александры...

Р е а т о в. Одним словом, приданое не мешает?

Д у н а е в. Я за деньгами не гонюсь, но если Александра имеет деньги, то тем лучше для нее. Я осмелился искать ее руки только потому, что искренно люблю ее, и для меня все равно, хоть бы она ничего не имела.

Р е а т о в. Друг мой, позвольте мне обнять вас. Теперь я спокоен за Александру. Слава Богу, теперь я вижу, что ее судьба в добрых и верных руках. А если б вы знали, как я мучился последние дни, когда познакомился с состоянием наших дел!

Д у н а е в. Но разве?..

Р е а т о в. Дорогой мой, мы совершенно разорены.

Д у н а е в. Но неужели?..

Р е а т о в. Да, моя благоверная жила не по средствам. Я плавал, а здесь... Были сделаны рискованные нововведения в хозяйстве. Еще старые долги, которые надо выплатить.

Д у н а е в. Вот как!

Р е а т о в. Но это бы еще с полбеды. А вот беда: весь капитал был отдан в руки спекулянта, который внезапно обанкротился.

Д у н а е в. Все это очень неприятно. Я не смогу доставить Александре Аполлоновне всего того, что она привыкла иметь.

Р е а т о в. Что делать! Я отдам Александре все, что могу, но боюсь, что вряд ли уцелеют от нашего состояния и малые крохи. Александра, быть может, избалована жизнью. Любовь — дело хорошее, с милым рай и в шалаше, да только иногда браки по любви кончаются потасовками супругов. Лучше подавить в себе нежные чувства, чем потом всю жизнь плакаться на судьбу. Так и вы лучше подумайте, не отказаться ли вам от этого брака, пока не поздно.

Д у н а е в. Нет, Аполлон Максимович, если Александра Аполлоновна согласится делить мою бедность, то я буду счастлив назвать ее своей женой. Бог с ним, с этим богатством! Все это, пожалуй, и к лучшему.

Р е а т о в. Даже к лучшему?

Д у н а е в. Да, конечно: по крайней мере, ни люди не осудят, что из-за денег женился, да и жена будет знать, что я не за приданое ее беру, а по любви.

Р е а т о в. Так! нечто вроде благодеяния делаете?

Д у н а е в. Помилуйте, Аполлон Максимович, это, напротив, я буду считать себя осчастливленным, если Александра Аполлоновна согласится...

Р е а т о в. Да, да, я верю вашим благородным чувствам. А все-таки, мой друг, без денег плохо. Тем более, что и в будущем, как оказывается, нет ни малейшей надежды.

Д у н а е в. Буду надеяться на себя, на свои силы, с нас и достаточно.

Р е а т о в. Был дядя у моей жены, вы знаете?

Д у н а е в. Разве уж скончался?

Р е а т о в. Нет, еще жив. Но я говорю: был, потому что если б он раньше умер, то жена была бы его наследницей, а теперь...

Д у н а е в. А теперь Александра Аполлоновна — наследница.

Р е а т о в. Александра — наследница? С чего вы это взяли?

Д у н а е в. Но как же? Ведь ваша супруга получила бы, если б не скончалась, — так почему же Санечка не может?

Р е а т о в. Почему не может?.. Ах, вот что, — так вы до сих пор ничего не знали... А я думал...

Д у н а е в. Но в чем же дело? Я, право, ничего не понимаю.

Р е а т о в. Так вам жена-покойница ничего не открыла?

Д у н а е в. Ничего.

Р е а т о в. Странно. А впрочем, это на нее так похоже. Всегда фантазии, тайны, неожиданности, капризы... Да Александра и сама не знает... Она выросла в нашей семье в таких мыслях...

Д у н а е в. Так неужели Александра Аполлоновна?..

Р е а т о в. Да, друг мой, — ведь вы все равно скоро узнали бы истину... Жена хотела непременно иметь девочку, — и вот...

Д у н а е в. Так вот в чем дело! А я ничего не знал. Мне почему-то не сказали.

Р е а т о в. Вы так любите ее, что вам все равно, как бы она ни называлась.

Д у н а е в. Да, конечно, но...

Р е а т о в. Не все ли равно, Реатова ли она или Александра Трофимовна Глаздырина, крестьянская девица? Конечно, фамилия немножко вульгарная...

Д у н а е в. Да, но...

Р е а т о в. Но она покроется фамилией мужа, не так ли? Деревенская родня не очень нам надоедала.

Д у н а е в. А бывали-таки?

Р е а т о в. Нельзя же, знаете, без того. Родственные чувства...

Д у н а е в. Да, да, конечно...

Р е а т о в. Эти деревенские гостинцы, кокорки, калитки из черного теста с кислым творогом... Точно Александра может их съесть! Конечно, уписывала бы за обе щеки, но воспитание, вы знаете.

Д у н а е в. Да, конечно.

Р е а т о в. Вот только то досадно, что это обстоятельство лишает ее, как видите, права получать наследства от родственников моей покойной жены.

Д у н а е в. Ну что ж, и не надо.

Р е а т о в. Так не лучше ли вам, голубчик, отказаться? А? Пока не поздно. Вы найдете себе легко и богатую невесту. Право, лучше будет, а?

Д у н а е в. Нет, да отчего же! Я, право, не знаю.

Р е а т о в. Вы бы подумали, мой друг, прежде чем связывать себя.

Д у н а е в. Да, конечно, я подумаю...

Р е а т о в. Ну вот и отлично.

Д у н а е в. Да нет, впрочем, отчего же! мне все равно, а вот как Александра Аполлоновна, это от Александры Аполлоновны зависит.

Р е а т о в. Так вот, я вам высказал. Теперь, если угодно, я пошлю в вам Александру.

Д у н а е в. Да, да, конечно, Александра Трофимовна...

Р е а т о в. Только, знаете что, друг мой, вы ее пока Александрой Трофимовной не называйте, — пусть она пока Аполлоновной останется. Она, видите ли, привыкла, — а так, сразу, пожалуй, обидно покажется.

Д у н а е в. Да, да, я понимаю, это совершенно нечаянно, с языка сорвалось. Так я уж тут подожду.

Р е а т о в. Сейчас я вам ее пришлю. *(Уходит.)*

Дунаев мнется на месте. Берет шляпу. Очень расстроен. Прохаживается. Заглянул в зеркало. Подошел к двери направо. Постоял. Пожал плечами.

Быстро пошел к выходной двери, в глубине. Взялся за ручку двери. Не отворит. Возится с ручкою, толкает дверь. Отходит красный, раздосадованный. Бормочет.

Д у н а е в. Черт знает, что такое! *(Подходит к окну. Лезет на подоконник.)*

Входит Александра.

А л е к с а н д р а. Что вы там делаете? Зачем вы на подоконник влезли?

Д у н а е в *(спрыгнул с подоконника)*. Ах, это вы, Александра Аполлоновна!.. Я, видите ли, я... так... то есть я уронил платок за окошко.

А л е к с а н д р а. Так вы за платком! Какой вы смешной! Да вы бы послали кого-нибудь.

Д у н а е в. Да мне, видите ли, здесь ближе...

А л е к с а н д р а. Побоялись, чтобы не унесли вашего платка? Какой вы скупой! Покажите же мне этот драгоценный платок. *(Смотрит в окно.)* Что-то я его не вижу.

Д у н а е в. Ветер унес, ветер, Александра Аполлоновна.

А л е к с а н д р а. Полноте, какой теперь ветер!

Д у н а е в. То есть нет, это вот сейчас, когда я с вами говорил, мальчишка пробежал, подхватил платок да и был таков. Теперь я вспомнил, что тут вертелся мальчишка, белоголовый такой мальчишка, оборвыш, дыра на коленке.

А л е к с а н д р а. Белоголовый оборвыш похитил ваш платок, а вы за ним в погоню через окошко устремились? Похвально!

Д у н а е в *(мямлит)*. Да, ну что ж.

А л е к с а н д р а. Положите вашу шляпу и садитесь. И вперед не роняйте платков за окошко и не убегайте через окно, — на то двери есть.

Д у н а е в. Извините, Александра Аполлоновна, но мне надо идти. Если позволите, я приду вечером, а пока...

А л е к с а н д р а. Подождите. Тут дело неспроста. Объясните мне, что это значит. О чем вы говорили с отцом? Что с вами? Отчего вы так смущены?

Д у н а е в. Право, ничего, Александра Аполлоновна, ничего, — все это разъяснится своевременно, разъяснится к общему удовольствию.

А л е к с а н д р а. Да что разъяснится? Что случилось? Отчего вы хотели прыгать из окна? Кажется, про платок вы сфантазировали зачем-то.

Д у н а е в. Право, я не знаю, как сказать...

А л е к с а н д р а. И если вы хотели уйти, не встретившись со мной, отчего вы не прошли через эту дверь?

Д у н а е в. Но эта дверь заперта на ключ.

А л е к с а н д р а. Заперта? Вот странно! А вы разве уже пробовали там пройти? Да, в самом деле, заперта. *(Нажимает кнопку электрического звонка. Медленно подходит к двери направо. Тихо говорит что-то, приоткрыв дверь. Возвращается.)* Что это за шутки, объясните ли вы мне это, наконец?

Д у н а е в. Хорошо, Александра Аполлоновна, если вы непременно требуете, я буду откровенен. Я думал, что нам сегодня лучше было бы не встречаться. Аполлон Максимович разъяснит вам, что ваше положение оказывается теперь другим, то есть в имущественном отношении... то есть... что средства ваши теперь уж не те... то есть нельзя сказать, что разорение...

А л е к с а н д р а. То есть, то есть! Как вы тянете! Сказали бы прямо, что моих денег для вас мало...

Д у н а е в. Нет, я не то имел в виду. Но мои средства так ограниченны, я не могу доставить вам того, что вы привыкли иметь, и я думал, что вы, узнав настоящее положение дел, сами откажетесь...

А л е к с а н д р а. От чести быть вашей женою? Вы этого хотите?

Д у н а е в. Поверьте...

А л е к с а н д р а. Довольно. Я поняла. Вы свободны. Идите.

Д у н а е в. Поверьте, Александра Трофимовна...

А л е к с а н д р а. Как?

Д у н а е в. Виноват, совершенно нечаянно.

А л е к с а н д р а. Вам хочется показать, что вы уже забываете, как меня зовут? Это забавно. Придумал, — Трофимовна!

Д у н а е в. Виноват, я думал... мне послышалось... Аполлон Максимович сказал...

А л е к с а н д р а. Вы думали, вам послышалось, вам сказали, — ничего не пойму.

Д у н а е в. Но я думал, что вы знаете. Виноват, я, кажется, смешал.

А л е к с а н д р а. Смешали меня с какой-то Трофимовной? Это — ваша новая невеста? Да? Прощайте. *(Быстро уходит в дверь направо.)*

Дунаев в нерешительности ходит по комнате — тихонько, словно крадучись, подбирается к выходной двери, — исчезает в нее.

(Возвращаясь). Ушел... *(Молча стоит у окна.)*

Входит Реатов.

Р е а т о в. Ушел? Александра, какие у тебя холодные руки. Дай мне обнять тебя. Скажи мне свое горе...

А л е к с а н д р а. Жалкий такой... Ушел... Назвал меня Трофимовной...

Р е а т о в. Тебе жаль его?

А л е к с а н д р а. Любви моей жалко! Любить такого! Стыд!

Р е а т о в. Прости меня, дитя, за то, что я сделал. Я заставил его снять перед тобою маску, чтоб рассеять твои иллюзии. Я знаю тебя: у тебя гордое сердце, и ты выберешь лучше смертную муку, чем сладкую ложь.

А л е к с а н д р а. Да... Благодарю тебя... Но это жестоко — то, что ты сделал.

Р е а т о в. Только жестокая воля — воля.

А л е к с а н д р а. Что ты ему сказал?

Р е а т о в. Немногое. Я сказал, что мы разорены, что наследства ты не получишь, потому что ты — наш приемыш, крестьянская девочка.

А л е к с а н д р а. Разве это правда?

Р е а т о в. Мы богаты. Он это скоро узнает и вернется к тебе.

А л е к с а н д р а. Да я к нему уж не вернусь. Но зачем ты это сказал?

Р е а т о в. Затем, чтобы разом сорвать с него маску. Я не хочу, чтоб ты ему досталась, потому что я тебя люблю, я сам тебя люблю, люблю не так, как любят дочь, люблю тебя пламенною, непобедимою любовью. Не гляди на меня в ужасе своими молниями-глазами. Любовь — не грех, любовь — закон природы. Не мы сами распалили ее в себе, — неотразимая сила вложила ее в нас, — и мы должны быть счастливы, хотя бы пришлось за это счастье заплатить ценою всей жизни. Мы уедем с тобой далеко, в чужие края, где нас не знают, — мы будем счастливы бурным и жгучим счастьем, сестра души моей, надменная и кроткая... Кто захочет отнять от нас наше счастье, доколе мы, пресыщенные им, не отбросим его от себя вместе с ненужной жизнью?

А л е к с а н д р а. Ужасно то, что ты говоришь. Это грех.

Р е а т о в. Любовь — не грех.

А л е к с а н д р а. Ты сказал ему, что я приемыш, что я не дочь тебе. Может быть, это правда? Скажи мне, дочь я тебе или нет?

Реатов молчит.

Если б я не была твоей дочерью!

Р е а т о в. Хорошо, Александра, я скажу тебе правду, но раньше ответь мне на два мои вопроса. Обещай, что скажешь мне правду.

А л е к с а н д р а. Хорошо, я скажу тебе правду.

Р е а т о в. Как бы это ни было тяжело?

А л е к с а н д р а. Как бы мне ни было тяжело, я скажу тебе правду. Я скажу тебе правду даже и тогда, если и сама еще этой правды не знаю теперь. Я обнажу свое сердце и из самой глубины его выну правду. И тогда ты мне скажешь, дочь я тебе или нет.

Р е а т о в. Да. Скажи мне: отец я тебе или не отец, — это сейчас ты узнаешь наверное, — но и в том и в другом случае чувство твое

останется то же? Сердце твое не перегорит же от одного моего слова, которое притом будет слово о прошлом, далеком прошлом?

Александра. Да, сердцу моему все равно, отец ты мне или не отец.

Реатов. Теперь скажи, любишь ли ты меня? Хочешь ли быть моею? Ты побледнела и молчишь, — но ты обещала сказать мне правду. Я жду... Какое долгое молчание! Да, не торопись ответом, испытай свое сердце, — ты скажешь правду.

Долгое молчание. Александра отошла. Стоит. Возвращается.

Какую тайну ты несешь мне? Тебе страшно сказать ее. Скажи только одно слово: если ты любишь меня, если ты хочешь быть моею, скажи мне: да. А если не так, скажи: нет.

Александра *(поспешно)*. Да.

Реатов. Я достиг цели. Но как тяжело! Это почти не радует меня. Да, теперь мой черед сказать последнее, роковое слово.

Александра. Скажи, я дочь твоя или нет.

Реатов. Я люблю тебя.

Александра. Я не дочь тебе? да? Не дочь?

Реатов. Нет, не дочь. Я сказал ему правду, которой еще никто не знает. А узнают — не поверят.

Александра. Мой милый! Что мне до них, злых, лживых, не верящих правде людей. Мы знаем, — мы счастливы.

ВАНЬКА КЛЮЧНИК И ПАЖ ЖЕАН

Драма в тринадцати двойных картинах

От автора

Эта драма, в русской ее части, написана по песням, собранным в книге «Великорусские народные песни, изд. проф. А.И. Соболевским», том I, СПб. 1895 г. (первые 47 вариантов, стр. 1—84).

Действующие лица:

Князь.
Княгиня.
Ванька.
Старый слуга.
Девка-чернавка.
Кабацкие женки.
Пьяницы.
Княжеские слуги.
Палачи.
Поганый татарин.

Граф.
Графиня.
Жеан.
Агобард, дворецкий.
Раймонда, служанка.
Скворец.
Веселые девицы.
Пажи.
Графские слуги.

Первая картина

Широкий княжеский двор. Толпится всякая челядь княжеская, — князя ждут. Князь выходит на крыльцо, с ним княгиня. Все им низко кланяются, а они величаются. Из толпы проталкивается Ванька. Кланяется князю в ноги и говорит.

В а н ь к а. Здравствуй, князь с молодой княгинею, на многая лета!

К н я з ь. Откуль тебя, молодец, к нам занесло?

В а н ь к а. Жил был я у батюшки единый сын; во дрокушке был у матушки и во люби был у батюшки. Охвоч то я был, молодец, гулять-загуливать, долгие вечеры прохаживать, темные ноченьки проезживать. Стрелял гусей, лебедей, стрелял сероплавных утушек. Да женил меня батюшка неволею, неохотою. Приданого много, человек худой.

К н я з ь. Вестимо, — приданое большое на грядке висит, худая жена на кроватке лежит.

В а н ь к а. Пошел я, молодец, от худой жены да неудачливой из земли в землю, попал я, молодец, к тебе на княжеский дворец. Бью челом да поклоняюсь, сам тебе, князю, да во служение даваюсь. *(Кланяется в ноги.)*

К н я з ь. А служить-то верно ли станешь?

В а н ь к а. Служить я стану верою-правдою, в очью, заочью неизменною.

К н я з ь. А и живи ты у меня, молодец, в конюхах.

В а н ь к а. На том бью челом. Много доволен твоею княжескою милостью. Дай Бог тебе доброго здоровья и с молодою княгинею на многая лета. *(Кланяется в ноги.)*

Двор графского замка. На дворе слуги и пажи. Выходят на крыльцо граф и графиня. Все им низко кланяются, а они милостиво отвечают на поклоны. Из толпы выступает Жеан. Склоняет колени перед графом и говорит.

Ж е а н. Милостивый господин мой граф и милостивая графиня, будьте благосклонны ко мне, бедному отроку, сыну благородных и благочестивых родителей.

Граф. Прекрасный отрок, кто ты и откуда?

Жеан. Имя мое Жеан, прозвище Милый. Родом я из Гогенау. Отец мой — старый воин и верный ваш вассал, Роберт Сокол. Отец научил меня владеть оружием, от матери выучился я играть на лютне и петь забавные и приятные для дам и девиц песни, а добрый монах обители в Гогенау, брат Фома, не жалел трудов и розог, чтобы обучить меня чтению и письму. Родители послали меня в свет, чтобы я поступил на службу к одному из знатных господ, — и вот я склоняюсь к ногам вашим, милостивейший господин мой граф, и умоляю вас принять меня на службу. Обещаю служить вам верно и усердно, всею крепостью моих сил и моего разумения, и даже не жалея самой моей жизни для пользы и выгод моего господина и его любезной и прекрасной супруги, прелести которой сияют, подобно солнцу, если возможно одному солнцу сиять при другом, еще более блистательном.

Граф. Мальчишка болтает неплохо и кланяется-таки усердно.

Графиня. Мне кажется, что из него выйдет хороший паж.

Граф. Посмотрим. А пока пусть послужит под рукою нашего конюшего Адальберта.

Жеан. Да благословит вас Господь победами и славою, милостивый граф. Да благословит вас Господь счастьем и любовью, милостивая графиня. *(Кланяется низко и целует полу графского плаща и край графинина платья.)*

Вторая картина

Светлица в княжеском доме. Князь и княгиня сидят одни.

Князь. Свет моя княгинюшка, душа Аннушка, а кто тебе хорош, кто пригож?

Княгиня. Ты хорош, ты пригож. Ты мне милей красна солнышка, ясна месяца. Из князей, из бояр, из торговых гостей, из простых людей никто с тобой, свет мой, не сравняется силой-удалью молодецкою. А и очи у тебя соколиные, а и брови у тебя соболиные, а и кудри

твои черней темной ноченьки рассыпаются. А и мудрее тебя никто не сыщется, — слово скажешь, рублем подаришь.

Князь *(самодовольно)*. Да уж я, вестимо. Уж меня взять.

Целуются.

А из дворни кто хорош, кого жаловать?

Княгиня. А из дворни хорош Ванька-конюх. И он год у нас жил, вина горького не пивал, сладким медом не закусывал.

Князь. А и быть Ваньке ключником. *(Кричит.)* Ванька!

За сценою слышны крики.

Крики

Ванька, Ванька!

— Где Ванька?

— Князь Ваньку кличет.

— Беги, пострел, за Ванькой скореича.

— Ванька!

— И где он, леший, запропал?

— Ванька, черт, леший, шевелись, колода дубовая, князь тебя зовет.

— Иди, пентюх неоколоченный, — князь дожидается, шибко гневается.

— Дай ему туза, чтобы шибче бежал.

— Беги, беги, Ванька, закатывай, — князь тебя из собственных рук пожалует.

— Ну чего мнешься, — иди!

— Иди, иди!

Кто-то вталкивает Ваньку в светлицу. Ванька влетает, бухает в ноги. Поднимается, встряхивает волосами и вторично кланяется в ноги степенно.

Ванька. Я, значит, тутотки, Ванька, значит.

К н я з ь. А и гладок ты, Ванька. Бог тебя, молодца, милует, а я, князь, тебя крепко жалую: вынимаю тебя из конюхов, кладываю тебя, добра молодца, в ключники.

В а н ь к а. На том тебе, князь с молодою княгинею, много благодарствую. *(Кланяется в ноги.)* Пожалуйте ручку. *(Целует князю руку.)* Государыня княгиня, пожалуйте ручку. *(Целует княгине руку.)*

К н я з ь. Ты, Ванька, смотри, не своруй, береги наше добро пуще своего живота.

В а н ь к а. Уж это как есть, на том стоим. *(Кланяется в ноги.)*

К н я з ь. А и своруешь ты, Ванька, велю драть без милосердия, а потом нещадно повешу.

В а н ь к а. Уж это как есть, такое дело. *(Кланяется в ноги.)*

К н я з ь. А и будешь ты верен, Ванька, я тебя много пожалую.

В а н ь к а. Твоей милости, князь, рад служить, это что и говорить. *(Кланяется в ноги.)*

К н я з ь. А теперь, Ванька, иди.

В а н ь к а. Будь здоров, князь с молодою княгинею, на многие лета, а я тебе верный слуга. *(Кланяется в ноги, уходит и сплевывает.)*

К н я г и н я. Обходительный молодец.

К н я з ь. Я на него в надежде, что не сворует.

К н я г и н я. Он не такой, не сворует.

Князь и княгиня целуются.

Комната в графском замке. Граф и графиня сидят одни.

Г р а ф. Свет моих очей, душа моей души, милая моя Жеанна, кто люб тебе на этом свете?

Г р а ф и н я. Возлюбленный мой господин, когда я жила дома, милее всех на свете были мне мои милые родители. Но ведь тебя тогда я еще не знала.

Граф *(улыбаясь)*. А потом?

Графиня *(кокетливо)*. А также моя старенькая няня. Но ведь тебя тогда я не знала.

Граф. А потом?

Графиня. Я видела много прекрасных и доблестных рыцарей, но ты, мой возлюбленный повелитель, всех прекраснее и всех доблестнее. Твоя грудь шире, чем грудь рыцаря Ромуальда из Нормандии, победителя на одиннадцати турнирах. Твой голос звучнее, чем голос руанского соборного пономаря. А твои ласки пламеннее и слаще... *(Краснеет и умолкает.)*

Граф самодовольно крутит ус. Графиня робко смотрит на него и радостно улыбается. Они целуются.

Граф. Хочу твоим именем наградить того из слуг, кто усердием заслужил твою милость.

Графиня. Мальчишка Жеан, который служит на конюшне, так усерден, что забавно смотреть на него. Дует и плюет на мое стремя и трет его рукавом, чтобы оно блестело, как червонное золото.

Граф. Быть Жеану пажом. *(Звенит кинжалом о подножие канделябра.)*

Входит старый дворецкий Агобард.

Граф. Старый хрен Агобард, призови-ка ты к нам Жеана, мальчишку с конюшни, того, смазливого, что кличут Милым. Да пусть приоденется и помоется, чтобы не пахло от него здесь тем, чем не надо.

Агобард. А мальчишка Жеан тут как тут, — сам пришел принаряженный и свои светлые кудри расчесал волос к волосу.

Граф. А! Что ему надо?

Агобард. Да так, глупости! Милостивая госпожа и смотреть не захочет.

Графиня. А что такое, милый Агобард?

Граф. Любопытная дочь Евы!

Агобард. Сущие глупости! Уж я его гнал, да просится очень жалобно. Скворца, слышь, поймал, посадил в клетку да научил его кое-какие слова болтать, хочет поднести милостивой госпоже. Право, такие глупости!

Графиня *(радостно)*. Это презабавно! Агобард, милый старый хрен, зови его сюда скорее, и пусть несет скворца.

Агобард *(ворча, открывает дверь и кричит)*. Эй ты, мальчишка, иди-ка сюда. Да кланяйся ниже, неотесанный неуч!

Жеан входит, низко кланяется, подходит к графу и графине и становится перед графинею на колени. В руке его клетка, в клетке скворец.

Скворец *(кричит)*. Многая лета!

Граф хохочет громоподобно, графиня залнвается детски веселым смехом. Смеются и Жеан, и Агобард.

Жеан *(когда смех несколько затих)*. Милостивая госпожа...

Скворец *(кричит)*. Граф грозен врагам!

Опять смеются все, граф и графиня, сидя на своих высокнх креслах, Агобард, стоя у дверей, и Жеан на коленях перед графинею. Смеются долго. Когда смех затихает, опять говорит.

Жеан. Милостивая госпожа, соблаговолите принять эту ничтожную дань от усерднейшего, хотя и меньшего из слуг ваших.

Скворец *(кричит)*. Прекрасная графиня!

Все опять смеются по-прежнему.

Графиня. Спасибо, Жеан Милый, твой подарок очень мне нравится. Скворец будет висеть в той комнате, где я вышиваю.

Граф. Ты ловок, Жеан Милый. Из тебя будет, вижу, толк. Увольняю тебя от службы под рукою конюшего нашего Адальберта и став-

лю тебя нашим пажом. Паж Бернар из мальчишек вырос и уже стал бегать за девчонками. Пора ему быть оруженосцем. А ты вместо него будешь служить за столом возлюбленной моей супруге, графине Жеанне.

Жеан радостно кланяется графу в ноги.

А г о б а р д *(ворчит)*. Большая, большая честь мальчишке! Мог бы и пониже за столом стоять, — много и постарше его есть пажей.

Г р а ф *(смеется)*. Старый хрен разворчался. Ну а ты, мальчишка, смотри у меня, служи усердно.

Ж е а н. Милостивый граф, верность моя не знает предела, и мое усердие спорит с моею верностью о том, кто из двух пламеннее и сильнее. *(Целует протянутые ему милостиво руки графа и графини.)*

Г р а ф. Смотри, чтобы графинины тарелки были еще чище, чем ее золоченое стремя. Только не дуй и не плюй на них.

Граф и графиня смеются. Жеан краснеет.

Старый хрен Агобард научит тебя всем порядкам, как и что. Ты его слушайся, да держи ухо востро, а то у меня расправа коротка.

Ж е а н. Где гнев, там и милость. А если в чем провинюсь, милостивый господин, то ведь порядок всем нам ведом. Наш брат без того не живет, чтобы когда не побили.

Г р а ф. А за верность и усердие будешь награждаем.

Г р а ф и н я *(ласково)*. Много награждаем.

Ж е а н. Не для наград, за честь и за совесть служить буду. *(Кланяется низко.)*

Г р а ф. А теперь, мальчуган, иди.

Жеан кланяется низко, поднимается и отходит. Графиня нежно смотрит на мужа, положив руку на его колено. Говорит ласково.

Графиня. Жеан, подойди-ка. *(Графу.)* Можно?

Граф молча кивает головою. Жеан подходит и кланяется.

Жеан, от тебя не очень пахнет конюшнею?

Жеан. Милостивая госпожа, я выкупался в речке. Потом твоя служанка, которая очень красива, хотя обладает только сотою долею твоей красоты, юная Раймонда, плеснула в ковш сколько-то капель розового масла и этой водою вытерла все мое тело, от шеи до пяток.

Графиня. Добрая Раймонда! *(Смеется.)*

Граф хохочет. Жеан краснеет.

Агобард *(ворчит)*. Эту Раймонду и мальчишку обоих бы плетьми.

Графиня. Ну, ну, старый хрен, не ворчи. Жеан, если ты такой душистый, так подойди ко мне совсем близко. За скворца я хочу поцеловать тебя в твои алые губы. *(Графу.)* Можно, милый мой господин?

Граф. Тебе-то можно, милая моя Жеанна. Ты — моя верная женка.

Агобард *(ворчит)*. Большая, большая честь такому мальчишке! Я бы его и с Раймондою вместе...

Жеан *(низко кланяясь)*. Милостивая графиня награждает меня выше заслуг. *(Подходит близко.)*

Графиня берет его левой рукой за шею, правою за подбородок, смеется и целует его в губы так нежно, что Жеан багряно краснеет. Граф хохочет.

Графиня *(нежно)*. За скворца.

Скворец *(кричит)*. Многая лета!

Жеан кланяется низко, стыдливо закрывается рукавом и убегает. Граф хохочет.

Граф. Мальчишка услужливый и ловкий.

Графиня. Говорят, он поет искусно.

Граф. Старый хрен, смотри за ним построже. Толк из него выйдет. Да смотри, чтобы он обучался биться, как надлежит воину, и крепко знал все, что к конному и пешему бою принадлежит.

Графиня *(вздыхая, шепчет)*. Битвы да раны. Кого убьют, кого искалечат.

Граф. Долгий мир люб лишь бабам да трусам.

Агобард уходит. Граф и графиня целуются.

Третья картина

Сад при княжеском доме. Княгиня ходит, цветы нюхает, на Ваньку поглядывает. Ванька похаживает близко, охорашивается и посвистывает.

Княгиня. Ванька, а Ванька!

Ванька *(подходит)*. Чего изволишь, княгиня?

Княгиня смеется и заигрывает. Ванька кобянится.

Княгиня. Ванька, а Ванька!

Ванька. Чего изволишь, княгиня?

Княгиня. Что-то мне нонича жарко, Ванька.

Ванька. Скинь сарафан, княгиня.

Княгиня. Гы-ы!

Ванька заигрывает. Княгиня кобянится.

Да ну тя к лешему!

Ванька. Гы-ы! *(Отходит и кобянится.)*

Княгиня. Ванька, а Ванька!

Ванька. Чего изволишь, княгиня?

Княгиня. Что-то у меня, Ванька, на закукорках чешется, промежду лопаток зудит.

Ванька. Стань, княгиня, к березе, почешись, княгиня, о березу спиной.

Княгиня смеется и заигрывает. Ванька кобянится.

Княгиня, а княгиня!

Княгиня. Чего тебе, Ванька?

Ванька. Стань ко мне поближе, я тебя по спине кулаком огрею, чтобы не чесалось.

Княгиня смеется и ломается. Ванька похаживает около нее и поплевывает.

Княгиня. Ванька, а Ванька!

Ванька. Чего изволишь, княгиня?

Княгиня смеется. Ванька изловчается и бьет княгиню ладонью по спине.

Княгиня *(пронзительно визжит)*. И-и-их! Черт, леший, этак саданул!

Ванька *(хохоча)*. Уж больно ты гладкая!

Княгиня. Как саданул, аж мне еще жарче стало.

Ванька. Скидай сарафан, да и вся недолга.

Княгиня *(смеясь и закрываясь кисейным рукавом)*. Увидят.

Ванька. Видеть здесь некому.

Княгиня. Ванька, а Ванька!

Ванька. Чего изволишь, княгиня?

Княгиня. Уж больно ты глядок, Ванька. Гы-ы!

Ванька хохочет. Княгиня заигрывает.

Чего тут на солнце преть! Уж мне невтерпеж. Пойдем, Ванька, в мои покои во особые.

Ванька *(смеясь)*. А зеленого вина поставишь?

Княгиня. Да уж поставлю.

Ванька. А сладкого меда дашь?

Княгиня. Да уж дам.

Ванька. А печатным пряником угостишь?

Княгиня. Да уж угощу.

Ванька. А в сахарные уста поцелуешь?

Княгиня. Да уж так и быть, поцелую.

Ванька. А сарафан скинешь?

Княгиня. Да ну тя к ляду, скину.

Ванька. И все прочее по тому же?

Княгиня. Подлипало ты, Ванька, — да уж скину, потому как очень мне жарко и совсем даже невтерпеж!

Смеются оба.

Ванька. А голая спляшешь?

Княгиня. Ну ин спляшу, была не была.

Ванька. Бери меня, добра молодца, за ручку за правую, веди в свои покои во особые.

Уходят вместе.

Сад при графском замке. Графиня, держа в руке белый веер, проходит мимо розовых кустов. Жеан стоит за кустами и смотрит на графиню нежно и скромно.

Графиня. Жеан!

Жеан. Я здесь, графиня, неизменно готовый служить вам и графу.

Графиня. Граф охотится, мы одни. *(Бросает на Жеана томный взгляд.)*

Жеан краснеет.

Милый Жеан!

Жеан. Что прикажете, милостивая госпожа?

Г р а ф и н я. Солнце такое высокое и знойное, небо безоблачное, сыновья Эола спят, и даже ветреный Зефир притаился в кустах у речки. Так мне душно и жарко, глаза мои туманятся, и беспокойное сердце шепчет, — знаешь, что оно шепчет?

Ж е а н. Милостивая графиня, темен, но внятен юному слуху язык сердца.

Г р а ф и н я. Противный Жеан, ты, кажется, вообразил что-то.

Жеан улыбается нежно и лукаво. Графиня краснеет.

Жеан, зачем ты смотришь на мою грудь? Я открыла ее не для тебя, а для сладких вздохов моего белого веера.

Ж е а н. Простите, милостивая графиня. *(Отходит в сторону и бросает на графиню украдкою страстные взгляды.)*

Г р а ф и н я. Жеан, что же ты мне не поможешь? Ты забыл, что должен служить мне?

Ж е а н. Что прикажете, милостивая госпожа?

Г р а ф и н я. Застежки моего пояса колют мои пальцы, — расстегни мой душный пояс, сними его с меня.

Ж е а н *(исполняя это, целует графинины руки и говорит со вздохом)*. Этот пояс имел свои минуты счастья. Жестокий! его объятия слишком утомили милостивую госпожу.

Г р а ф и н я. Дерзкий Жеан, не мечтаешь ли ты заменить его тесным поясом своих сплетенных рук? О, какой ты! *(Треплет его по щеке.)*

Жеан краснеет и улыбается нежно.

Ж е а н. Милая графиня Жеанна!..

Г р а ф и н я. Что скажешь, Жеан? Говори, говори, не бойся. Если и лишнее скажешь, я, так и быть, рассержусь не очень.

Ж е а н. Я ваш верный слуга, милая госпожа Жеанна. Моими руками я готов заменить ваш пояс, моим телом — ваше платье.

Г р а ф и н я. О, какой ты! *(Краснеет и смеется.)*

Жеан смотрит на нее смелым и вожделеющим взором.

Противный мальчишка, Жеан!

Ж е а н *(тихо)*. Милая Жеанна!

Г р а ф и н я. О, вот ты какой!

Жеан становится на одно колено и целует графинины руки.

Очень жарко, когда целуют одно и то же место.

Ж е а н. Милая Жеанна, ваше тело благоухает, как райский крин. *(Целует ее плечи.)*

Г р а ф и н я. О, мальчишка, да ты умеешь целовать!

Ж е а н *(вздыхая)*. Несносные преграды одежд!

Г р а ф и н я *(смеется)*. А ты бы хотел?

Ж е а н. Здесь никто не увидит, кроме высокого солнца и верного пажа Жеана.

Г р а ф и н я. Жеан, знаешь, ведь ты — красавец. Правда!

Ж е а н. Говорят, госпожа. *(Смеется.)*

Графиня щекочет его и щиплет. Жеан извиваясь в ее руках, нежными движениями рук и плеч ласкает ее груди. При каждом его прикосновении графиня краснеет и тихонько вскрикивает.

Г р а ф и н я. Совсем истомилась я на солнце, в этом саду, где и тень деревьев пронизана змеиными лобзаниями царящего на небе чудовища. Какой он злой, этот дракон! Говорят, что он весь покрыт золотою чешуею. Жеан, проводи меня в мою спальню и побудь там со мною.

Ж е а н. Я рад служить милостивой госпоже.

Г р а ф и н я. Ты споешь мне песенку.

Ж е а н. Хотя бы и две, и сколько прикажете, графиня. А вы, милая Жеанна, сыграете мне на лютне?

Г р а ф и н я. Как же тебе отказать, милый Жеан! Я сыграю тебе на лютне.

Ж е а н *(вздыхая)*. Несносные преграды одежд!

Г р а ф и н я *(простодушно)*. Но ведь их же там не будет!

Ж е а н. Милостивая госпожа, извольте опереться на мою руку. Так вы не устанете, — лестница близка, — а по ее темным и прохладным переходам в тишину вашего покоя я снесу вас на руках, милая Жеанна!

Уходят вместе.

Четвертая картина

Княгинина спальня. Ванька важно сидит за столом, величается; княгиня за ним ухаживает, ставит на стол меда сладкие и закусочки вкусные.

К н я г и н я. Сама-то я, княгиня, стольничаю, сама-то я, княгиня, чашничаю, сама-то я, княгиня, постельничаю. Кормлю-пою добра молодца, кормлю-пою, низко кланяюсь; ешь, пей, Ванька, досыту, сам ешь, меня тешь. *(Низко кланяется.)*

В а н ь к а *(равнодушно)*. Кланяйся в ноги, Перекраса очень красивая, перекрасивая, — княгиня Аннушка.

К н я г и н я *(кланяясь Ваньке в ноги)*. Не могу я наглядеться на твою красоту молодецкую.

В а н ь к а. Стели перину пуховую на кровать на тесовую, складай круто-складно сголовьице, натягай одеяло соболиное.

Княгиня ловко и проворно исполняет сказанное. Стоит и ждет. Ванька ест, громко чавкает, пьет, громко чмокает; наевшись, напившись, громко рыгает и крестит рот.

К н я г и н я *(вкрадчиво)*. Душенька с Богом беседует.

В а н ь к а *(сонно)*. Чего?

К н я г и н я. Душенька, говорю, с Богом беседует.

В а н ь к а. А и выходишь ты дура, княгиня, — ты меня сладко напоила, накормила, я тебе вежливенько отрыгиваю, а душенька тут ни при чем. Ну, что ль, готова коровать?

Княгиня. Готова, Ванька, готова. *(Низко кланяется.)*

Ванька. Бери меня за белые руки, веди меня к тесовой коровати, ложи меня, удала добра молодца, на пуховую перину.

Княгиня все исполняет.

Дура, сапоги с меня снять забыла.

Княгиня низко кланяется и разувает Ваньку.

Скидай сарафан.

Княгиня снимает сарафан и низко кланяется.

Раздевай тело белое, разувай ноги резвые.

Княгиня раздевается совсем и низко кланяется.

Пляши.

Княгиня низко кланяется и пляшет.

Пой.

Княгиня пляшет и поет.

Будет. Ложись подле меня.

Княгиня низко кланяется и лезет на кровать.

(Кричит.) Ай да баба! Сахар, а не баба!

Княгиня. Гы-ы, желанненький мой! Сокол мой ясный! Харя твоя поганая, чем ты меня взял?

Ванька *(важно)*. Естеством.

Графинина спальня. Жеан внес графиню на руках и посадил ее в кресло.

Графиня. Да ты сильный, Жеан! По темным и прохладным переходам высокой лестницы ты взнес меня на руках, как легкое перо. Чего же хочешь в награду за твое усердие?

Жеан. Держать вас, графиня Жеанна, держать на своих руках, у своего сердца слышать нежный трепет вашей белой груди, — о, милая Жеанна, это уже такое высокое блаженство, с которым не сравняются и утехи того сада, который был насажден самим Богом.

Графиня. Между двумя реками, Жеан, не правда ли?

Жеан. Между двумя руками, как между двумя реками, охватив мой рай, я насладился кратким, хотя и неполным блаженством. Веянием быстрого бега приподнималась иногда завеса райских обитателей, завеса легко колеблемая и уже не утверженная на жесткой ограде строгого пояса. И стою теперь я, бедный паж, перед легкою, но опущенною завесою, и несносная воздвигнута опять преграда между трепетом моих желаний и отрадою моего рая.

Графиня. Что же преграды для смелого! А знаешь, Жеан, хотя здесь и не так жарко, как в саду, а все-таки душно. Мальчишка, сядь ко мне на колени.

Жеан прижимается к графине. Графиня медленно снимает с него кафтан.

Графиня. Видишь, мальчишка, я сама служу тебе. Хочешь, я налью тебе вина и подам его тебе?

Жеан. Если милостивую графиню это забавляет, то я, верный слуга ее, готов быть на час господином милой Жеанны.

Графиня. Добрым господином?

Жеан. Если захочешь, милостивая Жеанна, то и жестоким.

Графиня. О, мальчишка, ты дерзкий! Но посмеешь ли ты?

Жеан. Если захочет милостивая графиня, то и посмею.

Графиня сталкивает с колен полураздетого Жеана. Наливает два кубка вина. Один подает Жеану.

За здоровье милостивого графа.

Пьют.

Г р а ф и н я. Что же ты стоишь? Здесь никто не увидит, — вот мягкое ложе, ляг на него, а я на тебя полюбуюсь.

Ж е а н *(садясь)*. Такие пыльные башмаки, и подошвы в песке.

Г р а ф и н я. О, мальчишка, ты уже требуешь услуг! *(Нагибается и стаскивает с него обувь.)* Теперь ляг.

Жеан ложится, графиня смотрит на него и смеется. Жеан краснеет. Графиня быстро обнажает его.

Г р а ф и н я. Пей, милый Жеан.

Пьют.

Ты раскраснелся от вина.

Ж е а н. Не от вина, милая Жеанна, а от желаний.

Г р а ф и н я. Чего ты хочешь?

Ж е а н. Твоих поцелуев.

Графиня смеется и целует его.

Г р а ф и н я. Ты глупый, Жеан, — разве ты больше ничего не хочешь?

Ж е а н. Хочу.

Г р а ф и н я. Чего же ты хочешь?

Ж е а н. Падения несносных преград.

Графиня смеется и раздевается.

Графиня. Мы с тобою глупые, Жеан, как Адам и Ева. Не позвать ли нам мудрого змия?

Жеан. Жеанна, змий уж здесь. Вот он смотрит в окошко. Разве ты не слышишь, что он шепчет?

Графиня *(смеется)*. Слышу. Он соблазняет меня попробовать это яблоко. *(Слегка кусает его за щеку.)*

Жеан. О, Жеанна, это — моя щека! Он шутит, злой змий. Мне он не то шепчет.

Графиня. А что, Жеан?

Жеан. Он шепчет мне: возьми ее за ее черные косы, повергни ее на ложе и делай с нею что хочешь. *(Легонько берет графиню за волосы и тянет ее вниз.)*

Графиня притворилась испуганною.

Графиня *(кричит)*. Жеан, Жеан, не тащи так сильно, я сама лягу, я сама... *(Падает рядом с Жеаном на ложе.)*

Жеан смеется и обнимает ее.

Противный, ты меня напугал.

Жеан. Милая Жеанна, но ведь это совет змия, а он знает, как это делается.

Графиня. Милый Жеан, брать женщин силою умеет и поганый татарин, и дикий московит. Любовь хочет дерзновения, но ненавидит насилие.

Жеан. О моя милая нагая проповедница! Ты столь же мудра, как и прекрасна.

Графиня. Возлюбленный мой! Ясный мой сокол! О негодный мальчишка, чем ты меня пленил, Жеан?

Жеан. Любовью, о милая Жеанна, любовью. Жеанна! Жеанна! возлюбленная моя! Жеанна! *(Обнимает и ласкает ее страстно.)*

Графиня. Жеан, Жеан, Жеан!

Пятая картина

Сад. Княгиня из окна глядит. Ванька под окном похаживает, поплевывает и посвистывает.

К н я г и н я. Ванька ты Ванька, подлец, что ты со мною изделал? Как была я мужу верная жена, а нонича, как я ему погляжу в очи?

В а н ь к а *(сплевывая)*. Так и поглядишь. Все вы, бабы, до нашего брата охочи.

Сад. Графиня из окна роняет платок. Жеан его поднимает, целует и прячет.

Г р а ф и н я. Жеан, Жеан, противный! Что ты со мною сделал! Я графу была верною женою, — а теперь, как я ему погляжу в очи?

Ж е а н. Гляди ему смело в глаза, милая Жеанна. Разве ты единственная, которую он ласкает?

Г р а ф и н я. Жеан, но ведь я же — его жена.

Ж е а н. Ты и останешься его верною женою.

Г р а ф и н я. Изменять мужу очень грешно.

Ж е а н. Помолись, покайся и молчи. Бог простит, поп разрешит, граф не узнает.

Г р а ф и н я. А и правда, Жеан. Поцелуемся лучше, — уж заодно.

Шестая картина

Княгинин терем. Ванька с княгинею за столом сидят, угощаются, беседуют.

К н я г и н я. Ванька ты Ванька, удалый добрый молодец, не ходи-ка ты во царев кабак.

В а н ь к а. Эка вывезла! В кабак да не ходить. Дура ты дура, а еще княгиня!

К н я г и н я. Я дура, а ты умный, меня послушай. У тебя, умного, одна дума, у меня, дуры бабы, семьдесят семь думок.

Ванька. Ври!

Княгиня. Как ты зайдешь, удалый, во царев кабак...

Ванька. И зайду.

Княгиня. Напьешься ты, Ванька, зелена вина.

Ванька. И напьюсь.

Княгиня. Будешь ты, удалый, в хмельном разуме.

Ванька. Ну и буду.

Княгиня. Тут ты, удалый, раскуражишься и поразбракаешься...

Ванька. Это как есть, такое дело. Богатый хвалится богачеством, бедный хвалится своею бедностью, сильный хвалится своею силою.

Княгиня. А ты мною, Аннушкою, порасхвастаешься.

Ванька. Да неужто ж я такой свиньей буду! Да тебя, мою голубушку, нешто позорить стану! Да ни в жизть! Да лопни мои оченьки! Да тресни моя утроба! Да провалиться мне на этом месте! Да будь я, анафема, проклят!

Княгиня. Ой, Ванька ты Ванька, станешь ты, молодец, упиватися, буйными словесами похвалятися, порасхвастаешься ты по пьяному делу.

Ванька долго чешется, крепко думает, сплевывает и говорит.

Ванька. По пьяному делу, оно, конечно, это как есть, уж не без того, что порасхвастаюсь.

Княгиня. Тут тебе, удалому, живу не бывать.

Ванька. Пошто?

Княгиня. Князь узнает.

Ванька. Нешто?

Княгиня. Да уж узнает.

Ванька. Ишь ты!

Княгиня. Как вскричит тогда князь громким голосом, по-звериному: «Уж вы слуги мои, слуги верные! Вы подите в чисто поле, копайте две ямы глубокие, становите два столба еловые, кладите перекладины дубовые, вешайте петельку шелковую, вы возьмите-приведите добра молодца, вы повесьте-ка моего верного слугу Ванюшку!» Молодец в петельке закачается; княгиня Аннушка в терему скончается.

Ванька долго чешется, крепко думает, сплевывает далекохонько и говорит.

В а н ь к а. Ай же ты Аннушка, моя голубушка, княжецкая жена, моя милая полюбовница! Не пойду я во царев кабак, не стану пить зелена вина, запивать медами застоялыми!

Графинина светлица. Графиня и Жеан сидят за столом. Перед ними два кубка вина и фрукты.

Г р а ф и н я. Милый Жеан, не води дружбы с молодыми повесами, не ходи с ними в трактиры, не пей с ними вина.

Ж е а н. Милая Жеанна, как же я могу чуждаться моих товарищей! Меня назовут гордым и станут надо мною смеяться. И как вина не пить! Оно веселит душу.

Г р а ф и н я. Глупый мальчишка! Не слушаешься и даже не хочешь спросить, почему я тебя прошу об этом.

Ж е а н. Прихоти дам неисчислимы.

Г р а ф и н я. Напьешься ты, Жеан, пьяный.

Ж е а н. И начну куролесить, дело известное.

Г р а ф и н я. И начнешь болтать всякий вздор.

Ж е а н. Правда, милая Жеанна, — напьемся, так чего-чего не придумаем. Да, вино много дает человеку, — смех, шутки, и слезы, и шалости, и выдумки, и песни.

Г р а ф и н я. Станешь хвастаться.

Ж е а н. А разве я не красив? Разве мне нечем похвастаться? Уж если взоры милостивой госпожи упали на меня...

Г р а ф и н я. Вот, глупый мальчишка, этим-то ты и будешь хвастаться. Мною похвалишься. *(Плачет.)*

Ж е а н. Милая Жеанна, как ты могла это подумать! Неужели я такой бесчестный! Неужели я предам позору твое сладчайшее имя! Лучше мне умереть, чем совершить такой низкий поступок!

Г р а ф и н я. Правда, Жеан, милый? О, я хочу тебе верить, но я все-таки боюсь. Мы, женщины, так робки, а вы, мужчины, так необузданно смелы: вы говорите, не успевши подумать. Вы, мужчины...

Ж е а н. О, милая Жеанна, ты права. Осторожность — не свойство молодого воина.

Г р а ф и н я. И тогда мы с тобою погибнем.

Ж е а н. Почему?

Г р а ф и н я. Граф узнает.

Ж е а н. Как он может узнать? Ведь он с нами не бражничает.

Г р а ф и н я. Ему донесут.

Ж е а н. Друзья?

Г р а ф и н я. Дружба легко переходит во вражду. Да и что дружба! И в поэмах говорится немало про измену друзей.

Ж е а н *(задумчиво)*. Да, друзья! Знаю я их! Ты — умная, Жеанна! Ты все знаешь и все понимаешь.

Г р а ф и н я. Граф прикажет повесить тебя, а мне отрубит голову, — а то еще и хуже: накажут меня розгами и постригут в монахини, словно живую заколотят в гроб. А граф женится на другой.

Ж е а н. Милая Жеанна, возлюбленная моя! Отныне уж не стану я водить дружбы с молодыми повесами, ходить с ними в веселые места, пить с ними не стану вина.

Седьмая картина

Ранним утром у калитки княжеского сада стоит Девка-чернавка. Из калитки вышел Ванька, светел и радостен, — и он громко посвистывал, далекохонько сплевывал. А как Девку-чернавку увидал, — принахмурился.

Д е в к а - ч е р н а в к а *(жалостно)*. Передрогла — перезябла я, красна девица, Девка-чернавка, за стеною стоючи белокаменною, добра молодца дожидаючи, что удалого Ваньку, ключника княжеского.

В а н ь к а *(важно)*. Ни по што стояла, ни для ча ожидала, даром резвы ноженьки топтала, иди себе ни с чем, пока не бита.

Д е в к а - ч е р н а в к а *(умильно)*. Ванька, а Ванька, жаланный, подь ко мне, Ванька!

В а н ь к а *(грубо)*. Отстань, постылая!

Д е в к а - ч е р н а в к а *(укоризненно)*. Прежде со мною любовь имел, а нонича рыло в сторону воротишь.

В а н ь к а *(со злостью)*. Отвяжись, подлая!

Д е в к а - ч е р н а в к а *(с угрозою)*. Ты у меня попомнишь. Спокаешься, да поздно будет.

Расходятся в разные стороны.

У калитки графского сада утром Раймонда ждет. Из калитки выходит Жеан.

Р а й м о н д а. Утро холодное, а я жду тебя, милый Жеан.

Ж е а н. Зачем ты встала так рано? На росистой траве стоишь ты босая, — смотри, захвораешь от простуды. Иди домой, в теплую горницу.

Р а й м о н д а. Милый Жеан, согрей меня нежным поцелуем.

Ж е а н. Раймонда, мне не хочется целоваться.

Р а й м о н д а. Жеан Милый, приди ко мне сегодня ночью.

Ж е а н. Раймонда, сегодня ночью я не могу прийти.

Р а й м о н д а. Где же твоя былая любовь? Или забыл ты мои ласки?

Ж е а н. Снег тает, воды бегут, вчерашнее забыто.

Р а й м о н д а. Но ты вспомнишь!

Расходятся в разные стороны.

Восьмая картина

Улица. Ванька один. Стоит невесел, голову повесил, задумался крепко, говорит сам с собою.

В а н ь к а. Ой неволя, неволя — княжеский двор! Что-то мне да захотелось с отцом да с матушкою да повидатися, со худою женою

да неудачливою, — ведь и плакала она, как река лилась, слезы катятся, как ручьи текут, возрыдалася, что погоды бьют.

Входит первая кабацкая женка. Подкрадывается к Ваньке и хлопает его по плечу. Ванька вздрагивает и вскрикивает.

О, чтоб тебе пусто было!

П е р в а я к а б а ц к а я ж е н к а. Ванька ключник, верный слуга княжеский, что стоишь невесел, буйну голову повесил? Еще что у тебя за несчастье? Ай целовать некого? *(Хохочет, прижимается к Ваньке и говорит.)* Пойдем, пойдем, удал добрый молодец, зайдем да во царев кабак за гульбой.

В а н ь к а *(отталкивая ее)*. Ну тя к лешему.

Она хохочет и уходит. Ванька смотрит за нею, ухмыляется весело, сплевывает, — и опять крепко думает. Входит вторая кабацкая женка. Подкрадывается к Ваньке и хлопает его по спине. Ванька вздрагивает и вскрикивает.

О, чтоб тебя разорвало!

В т о р а я к а б а ц к а я ж е н к а. Ванька, а Ванька! Что ты скис? Ай тебе обнимать некого? Так ты об этом не горюй. *(Хохочет, пляшет и кричит.)* Эй, Ванька, прими меня за белые руки, пойдем во царев кабак, пить-заедать белым зелено вино, запивать медом пьяным, сахаром.

В а н ь к а *(угрюмо)*. Ну тя к ляду!

Она хохочет и уходит. Ванька смотрит за нею, ухмыляется, бормочет.

Ишь ты, тварь!

И задумывается. Входит третья кабацкая женка, подкрадывается к Ваньке и толкает его в спину, так что он бежит, спотыкается и падает. Она хохочет, он поднимается и ругается.

О, чтоб тебе провалиться! Чтобы тебе ни дна ни покрышки!

Третья кабацкая женка. Ванька, Ванюшка, удалой молодец, что ты голову-то вешаешь! Ай милой нет? *(Прижимается к нему, обнимает его, шепчет что-то.)*

Ванька хохочет, но ее отталкивает.

Ванька. Пошла ты, анафема, ко всем чертям!

Она уходит. Ванька хохочет, смотрит за нею и вскрикивает.

Ишь ты! Поди ж ты! Ай да ну! Ну и женка! Разлюли-малина! *(Потом задумывается. Долго чешет затылок. Вскрикивает вдруг.)* Пойду в кабак *(Убегает.)*

Улица. Жеан один. Задумался, опустил голову.
Говорит сам с собою.

Жеан. Скучно! Хочется мне погулять с товарищами. Они пошли все в тот веселый трактир, под вывескою «Золотого оленя», где такие веселые девицы. Как они поют! Как они играют!

Входит первая веселая девица. Подкрадывается к Жеану и вдруг щекочет его.
Жеан вздрагивает и вскрикивает.

О, глупая, ты меня напугала!

Первая веселая девица. Жеан Милый, паж славного графа, что ты не весел? У тебя несчастие? Или не с кем целоваться? Пойдем к «Золотому оленю». Там очень весело.

Жеан. Не хочу.

Первая веселая девица. Не хочешь? Ну и без тебя обойдемся.

Она уходит. Жеан смотрит за нею, улыбается и опять задумывается. Входит вторая веселая девица. Подкрадывается к Жеану, закрывает его глаза ладонями и смеется. Жеан ловко освобождается.

Ж е а н. И ты, шалунья!

В т о р а я в е с е л а я д е в и ц а. Милый Жеан! Да что ты такой кислый? Или тебя приласкать некому? *(Приподнимает край юбки, поправляет подвязку и говорит.)* Дай мне руку, пойдем к «Золотому оленю», будем пить, петь и любить.

Ж е а н. Иди одна, я не хочу.

В т о р а я в е с е л а я д е в и ц а. Ну не хочешь, и не надо. А то приходи. *(Она уходит.)*

Ж е а н *(смотрит на нее, улыбается и шепчет)*. Веселая!

И задумывается. Входит третья веселая девица. Становится перед Жеаном и смотрит на него. Жеан вздрогнул.

И третья! И что вам всем от меня надо?

Т р е т ь я в е с е л а я д е в и ц а. Жеан, Жеан, прекрасный паж, что ты так низко опустил голову? Не изменила ли тебе твоя милая? Полно, ревновать и печалиться не стоит. *(Кокетничает и шепчет Жеану на ухо что-то.)*

Ж е а н. Иди, иди, не хочу тебя слушать.

Т р е т ь я в е с е л а я д е в и ц а. А, не хочешь! Ну и оставайся один, косней в своем индивидуализме. А у нас — веселая с о б о р н о с т ь!

Она уходит. Жеан смеется и смотрит за нею.

Ж е а н. Эти милые девицы развеселят самого угрюмого в мире человека. *(Долго стоит в задумчивости. Вдруг вскрикивает.)* Пойду к «Золотому оленю»! *(И убегает.)*

Девятая картина

Кабак. Всякие есть тут люди по пьяному делу: и пьяницы-пропоицы, и княжеские слуги в сторонке особенно, и заезжие гости. Все еще вполпьяна. Кабацкие женки у окна сидят, на улицу смотрят, надеются, что Ванька придет.

Кабацкие женки

Идет Ванька ключник во царев кабак.
— Зелен кафтан на плечах надет.
— На нем шапочка рытого бархата.
— Сафьяны-сапожки натянуты.
— Золот перстень ровно жар горит.
— В правой руке тонка палочка.
— А на палочке ала ленточка.
— Его русые кудри по плечам лежат.
— Его ясные очи огнем горят.
— Идет ключник, что сокол летит.

Пьяницы

Эй вы, женки, что вы там в окно засмотрелись?
— Ванька ключник на вас и не взглянет.
— Он на вас и плюнуть не захочет.

Ванька вошел в кабак, сел за стол особенно, куражится. Кабацкие женки все к нему пошли, на других и глядеть не хотят.

Первая кабацкая женка. Ванька ты Ванька, удалой добрый молодец, налила я тебе чару зелена вина, подлила меду сладкого, — ай же ты, княжеский служитель есть! выпей, выкушай чару зелена вина. *(Низко кланяется.)*

Ванька пьет и кобянится.

Вторая кабацкая женка. Уж я налью Ваньке Ключнику, удалому добру молодцу, другой након вина пьяного; ай же ты Ванька, верный ключник, выпей, выкушай пива пьяного. *(Низко кланяется.)*

Ванька пьет и кобянится.

Третья кабацкая женка. Уж и я, удалая кабацкая женка, лью-налью в третий након чару меду сладкого, поднесу, низко

кланяясь, — ай же ты, удалой Ванька ключник, выпей-выкушай меду сладкого. *(Низко кланяется.)*

Ванька пьет и куражится.

Кабацкие женки

Забрала молодца хмелинушка кабацкая.

— Хорошо винцо кабацкое.

Пьяницы

А и крепка хмелина кабацкая.

— А и веселые женки кабацкие.

— А и кто чем похвастается?

Первая женка. А и ночевала я, удалая кабацкая женка, с подъячим; принимала я, удалая, ласковое слово; попросила я денег, проводили меня ярыжки с великою честью.

Все смеются весело.

Вторая. А и ночевала я, удалая кабацкая женка, с ганзейским гостем; а и принимала я, удалая, мыла кусок; попросила я денег, немчура говорит, — по-вашему не разумею.

Все смеются очень весело, по лавкам от смеха валяются.

Третья. А и ночевала я, удалая кабацкая женка, с воеводою; а и воевода у нас нехорош, дал мне ломаный грош; попросила я, удалая, прибавочки, проводили меня, удалую, шелепами.

Все хохочут, по полу от хохота катаются.

Кабацкие женки. А чем ты, Ванька, похвастаешься?

Ванька *(куражась)*. Бог-то меня, добра молодца, милует, князь-то меня, удалого молодца, жалует. С князем я за одним столом сижу, да ведь пью я, ем с одной ложечки, с одного стаканца да водочку кушаю.

Кабацкие женки *(льстиво)*

Ай да Ванька!

— Ванька-то наш каков!

— Слышь, с князем-то из одного стаканца да водочку кушает!

— А и удал ты, Ванька ключничек!

— В такого молодца кто не влюбится!

Ванька *(умиляясь и плача)*. А и есть у меня полюбовница, — она меня называет милыим, она меня величает мил сердечный друг.

Пьяницы. Ванька ты Ванька, ты миленький ли наш братец, ты удалый Ванька, ключник княжеский, а кто твоя полюбовница?

Ванька. А нельзя того и выговорить.

Кабацкие женки. Ванька ты Ванька, ты желанненький мужчинка-дружок, ты удалый Ванька, ключник княжеский, тебя кто называет милыим? Тебя кто величает мил сердечный друг?

Ванька *(плача от умиления)*. Княгиня душка Аннушка во люби меня держит у сердечушка, и живу я с Аннушкою, будто муж с женой.

Княжеские слуги

Речи эти неумные, басни неразумные.

— То не сон ли тебе, молодец, виделся?

— Дойти бы, донести самому князю.

— Негоже мизирный похваляется.

Ванька *(плача)*. Уж попито, братцы, поедено, в красне, в хороше похожено, с княженецкого плеча платья поношено, княгиню за ручку повожено, с княгинею на перинушке полежано!

Княжеские слуги

Такие речи похвальные донести бы князю в уши.

— Не с убавочком, а с прибавочком.

— За досаду бы это князю показалося.

— Берите его за желты кудри, за белы руки.

Хватают Ваньку и ведут. Ванька пьяный в руках у них мотается; иногда вдруг начнет отбиваться, бормоча что-то невнятное.

Кабацкие женки

Смилуйтесь, княжеские слуги верные, не ведите вы Ваньку на княжий двор, положите его проспаться к нам в избу.

— То не Ванька бахвалится, — то хмелина кабацкая в нем раскуражилась.

— А и того на себя наплел, чего и не было.

— Чему и быть нельзя.

Княжеские слуги

Нет, попался, дружок, не уйдет.

— Он перед нами куражился, — теперь мы над ним натешимся.

Кабацкие женки у княжеских слуг в ногах валяются, Ваньке прощения просят, жалобно плачут.

Кабацкие женки. Ой вы гой еси, княжеские слуги верные! вы простите Ваньку, помилуйте, — расказнит его князь без милосердия, живота лишит без жалости.

Княжеские слуги

Так ему, собаке, и надо.

— Такому Ироду и казни нет.

— Живого в землю зарыть, и то ему мало. *(Отталкивают кабацких женок и уводят Ваньку.)*

Кабацкие женки плачут.

Кабацкие женки

А и надо же было быть беде!

— А и надо же было добру молодцу порасплакаться, порасхвастаться!

— А и случились тут палачи да немилостивы!

— Схватили добра молодца скорешенько.

— Еще лихи на молодца друзья-братья!

Трактир «Золотой олень». Всякие люди сидят и бражничают, горожане, проезжие, школяры. Отдельно за столом у окна графские пажи. Веселые девицы сидят с пажами, а сами вполглаза в окно посматривают.

Веселые девицы

А вот и Жеан идет.

— Мимо?

— Нет, кажется, сюда.

— Нарядный какой!

— Зеленый кафтан из тонкого сукна!

Пажи *(завистливо)*

Хорошо ему наряжаться!

— Граф к нему милостив.

— Самой графине за столом Жеан служит.

Веселые девицы

Бархатная красная шапка!

— И по всем швам бубенчики нашиты, звенят приятно очень!

— Как длинны и остры загнутые концы его башмаков!

Пажи. Модничает, — а в замок пришел в рваной одежде, босой, с парой изношенных башмаков за плечами.

Веселые девицы

У него чулки черные с красными полосами.

— Как они гладко обтягивают его стройные ноги!

— А кто ему подарил эти золотые пряжки?

— Говорят...

Пажи

А что говорят?

— Что говорят?

Веселые девицы

Пустое!

— Вздор!

— Мало ли кто что скажет!

— Как из под бархата его шапки красиво выбиваются русые кудри Жеана!

— Как блистают его глаза!

— Какой он красавец!

— Недаром...

— Ну, брось!

П а ж и

Красив, да не для вас.

— Подумаешь, один только и есть красавец!

— Есть и покрасивее, чем он.

Жеан вошел в трактир, идет к пажам, весело улыбается.

Ж е а н. Вот и я, друзья мои! Привет вам, милые товарищи! И вам, веселые красотки!

П а ж и

Добро пожаловать, Жеан Милый!

— Как хорошо, что ты пришел!

— Мы так рады тебя видеть!

— То-то мы теперь попируем!

В е с е л ы е д е в и ц ы

Здравствуй, милый Жеан!

— Садись вот здесь, между нами!

— Мы позаботимся, чтобы тебе не было скучно.

Ж е а н. Ну я и сам не из таких, которые скучают. *(Садится среди веселых девиц.)*

П е р в а я в е с е л а я д е в и ц а. Жеан, милый и прекрасный, я налила тебе чашу белого вина, — выпей его во славу веселой и беззаботной юности. *(Подносит Жеану чашу, улыбается и приседает низко.)*

Жеан целует девицу и берет от нее чашу.

Ж е а н. Друзья, да здравствует наша веселая и беззаботная юность! *(Пьет.)*

Пажи повторяют его возглас и пьют.

В т о р а я в е с е л а я д е в и ц а. Налила и я милому и возлюбленному Жеану вторую чашу красного вина. Пей ее, верный графский паж, за светлую безоблачную веселость, соединяющую молодых друзей. *(Улыбаясь и делая очень глубокий реверанс, подносит Жеану чашу.)*

Жеан чашу берет и девицу нежно целует.

Ж е а н. Друзья, за светлую и безоблачную веселость, соединяющую нас в тесный союз.

Пажи повторяют его возглас. Все пьют.

Т р е т ь я в е с е л а я д е в и ц а. Ну уж и я, веселая из веселых девиц, налью тебе третью чашу сладкого и крепкого вина и поднесу ее, стоя на коленях, — пей ее за то, что слаще меда, светлее света, милее жизни и сильнее смерти, пей ее за владычицу Любовь! *(Становится перед Жеаном на колени и подносит ему чашу.)*

Жеан чашу берет, девицу нежно обнимает и крепко целует.

Ж е а н. Друзья, выпьем эту чашу за то, что слаще меда, светлее света, милее жизни и сильнее смерти, за владычицу нашу Любовь!

Пажи повторяют его возглас. Все пьют.

В е с е л ы е д е в и ц ы

Жеан опьянел.

— Он склонился головою на стол.

— Он выпил сразу слишком много вина.

Ж е а н *(встрепенулся)*. Кто говорит, что я пьян? Неправда! Я готов пить еще столько же, и еще, и еще, и без конца!

П а ж и

Здешний хозяин держит хорошее вино.

— И очень хмельное.

— Эти девицы очень веселые.

— Друзья, поступим, как все пьяные, — будем хвастаться один перед другим. Кто сможет похвалиться наиболее, тот будет у нас за старшего.

— Идет!

— Кому начинать?

— Пусть начнут девочки.

— Ну, девицы, начинайте.

Первая веселая девица. Я провела недавно целую ночь с господином бургомистром. Он требовал от меня не слишком многого, а утром подарил мне серебряную гривну и красного бархата на платье.

Все смеются весело.

Вторая веселая девица. Я провела эту ночь с рыцарем Генрихом. Он был очень ласков и нежен, а утром дал мне золотой и подарил прекрасный плащ, отнятый вчера у проезжего купца.

Все смеются очень весело.

Третья веселая девица. Позапрошлую ночь я провела с аббатом, отцом Иеронимом. Вот-то я намучилась! Только монахи ласкают так страстно. Под утро он вспомнил, что мы согрешили и принялся бичевать ременною плетью себя и меня, — себя легонько по своей черной рясе, а меня изо всей силы по голому телу. Потом он дал мне отпущение грехов и больше ничего. И пришла я домой без грехов, но и без денег, и без подарков, с одними синяками.

Все хохочут.

Веселые девицы. Теперь ты, Жеан, — чем ты похвастаешься?

Жеан *(коснеющим языком)*. Бог меня милует, граф меня жалует. Я стою во время графского обеда за стулом милостивой графини. Граф приказал делать мне одежду лучшего покроя и из самого хорошего материала.

Веселые девицы *(льстиво)*

О, Жеан!

— Каков Жеан!

— Служить за столом самой графине!

— Молодец Жеан!

— В такого молодца кто не влюбится!

Ж е а н *(плача от умиления)*. У меня есть возлюбленная, — она меня называет миленьким, сердечным дружком.

П а ж и. Жеан, миленький наш друг, а кто твоя возлюбленная?

Ж е а н. Этого я не могу сказать вам, милые друзья. Этого никому нельзя сказать. Великая тайна!

В е с е л ы е д е в и ц ы. Жеан, желанный, миленький, красавец, тебя кто называет милым сердечным дружком? Скажи нам, похвастайся! Мы знаем, ты всех перехвастаешь.

Ж е а н *(плача от умиления)*. Графиня Жеанна, душа моей души, прижимает меня к своему жаркому сердцу.

П а ж и

Какие глупости!

— Неразумные сказки!

— Не во сне ли ты это, Жеан, видел?

— Сказать бы графу, — мы ведь его верные слуги.

— Своею похвальбою Жеан оскорбляет нашего господина.

Ж е а н *(плача)*. Как радостна моя жизнь! Как сладки поцелуи милой Жеанны! Как упоительны ее объятия и ласки в тишине ее опочивальни! О, если бы вы могли видеть, как восхитительно ее белое тело!

П а ж и

Нельзя стерпеть такого поношения!

— Это надо сказать нашему господину.

— Мы не можем дозволить, чтобы при народе бесчестилось имя милостивой графини.

— Надо взять его и увести на суд к нашему графу.

Хватают Жеана и ведут.

В е с е л ы е д е в и ц ы

Сжальтесь над Жеаном, милые пажи, не ведите его к вашему графу, отдайте его нам, мы уложим его спать.

— Ведь это не Жеан хвалился, — пьяный хмель бродил в нем.

— Он наговорил на себя, чего не было.
— Чего и не могло быть.

П а ж и

Нет, мы его не пустим.
— Мы должны отвести его к нашему графу на суд.
— Здесь были и чужие.
— Они могли слышать его похвальбу.
— До графа дойдет слух о том, что здесь было.
— Тогда и нас казнят, — зачем слушали и не донесли.

Веселые девицы с плачем становятся на колени и целуют руки у пажей, прося за Жеана.

В е с е л ы е д е в и ц ы. Сжальтесь над Жеаном, не губите его, пожалейте его молодость! Повесит его граф, не помилует.

Пажи отталкивают веселых девиц и уводят Жеана. Веселые девицы плачут.

В е с е л ы е д е в и ц ы

Надо же было случиться такой беде!
— Глупый Жеан, чем вздумал расхвастаться!
— Говорил бы только нам, а то при ком сказал!
— Схватили Жеана, повели!
— Свои же товарищи предают его!

Десятая картина

Князь сидит, мед пьет. Старый слуга перед ним стоит, а у дверей Девка-чернавка трется.

С т а р ы й с л у г а. Сказано: волос долог, ум короток. Баба умна не живет.

К н я з ь. А у меня княгиня умная, она умная, разумная, она тихая, смиренная; до рабов она милостива, передо мной она очестлива.

Девка-чернавка *(стоя у дверей)*. Уж ты батюшка наш князь! Не приказывай меня казнить, вешати; прикажи ты мне слово молвити. Я на Ваньку ключника с докладом иду.

Князь. Говори ты мне, слуга верная! Ты скажи мне правду-истину. Если ты мне правду скажешь, я тебя пожалываю; если ты мне ложно скажешь, я тебя расказнию.

Девка-чернавка. Ох ты сгой еси, наш батюшка князь! Пьешь ты, ешь, забавляешься, своею княгинею похваляешься, ничего ты не знаешь, не ведаешь! Твоя ли княгинюшка не честная, твоя ли княгинюшка не верная! Что живет она с младым ключником, с Ванькою, во любви живет.

Князь. Врешь, дура! *(Пихает ее ногою.)*

Девка-чернавка летит кубарем вон.

Граф один, осматривает оружие предков. Раймонда входит и низко кланяется.

Граф. Что тебе надо, Раймонда?

Раймонда подходит близко и опять кланяется.

(Нетерпеливо.) Говори же.

Раймонда *(шепотом)*. Жеан и я, — чем же мы не пара?

Граф. Пожалуй, что и так.

Раймонда. Целовать да ласкать они охочи, а потом...

Граф. А ты сама бы смотрела.

Раймонда. Но зачем же он изменил мне для замужней? Зачем он поднял глаза на знатную даму?

Граф. Вздыхать о дамской красоте не запрещено пажам.

Раймонда. Да он-то не вздыхает. Он — счастлив.

Граф *(гневно)*. А кто эта дама?

Раймонда. Милостивый граф, смею ли я сказать?

Молчат. Граф делает знак. Раймонда уходит.

Одиннадцатая картина

В палате княжеской князь на дубовом резном стульце сидит, гневно хмурится. По стенам слуги стоят, на князя со страхом глядят. Старый слуга ко князю подходит, земно кланяется, вежливенько покашливает.

К н я з ь. Верный наш слуга преданный, а и что тебе надобно? А и не в добрый час ты ко мне пришел.

С т а р ы й с л у г а. Ай же ты батюшка князь, княжеское твое благородие! Твой-то служитель княжеский, Ванька ключник, которого ты любишь да жалуешь, сидит в кабаке государевом, пьет зелено вино, запивает медами застоялыми, хвастает прекрасною Анною княгинею, твоим-то княжеским благородием: живу-то я с Анною княгинею, будто муж с женою; Бог меня милует, а Аннушка меня крепко жалует; я с нею творю любовь ведь третий год!

К н я з ь *(гаркает громким голосом)*. Еще есть ли у меня таки мастеры, а по-нашему, по-русскому, — грозен палач! Ставил бы он плаху бело-дубову, точил бы он острый топор. Еще есть ли у меня слуги верные! Брали бы они Ваньку ключника, молодой моей княгини верного любовника, вели бы его на грозный суд!

На дворе кричат.

— Ведут, ведут!

В палате шепчут.

— Эти были князю речи не понравились.

— Князь-то на молодца прогневался.

— Тои речи князю не к лицу пришли.

— Воспылался княжеское благородие на удалого добродня добра молодца.

— У князя разгорелось ретиво сердце.

— У него раскипелась кровь горячая.

Ваньку вводят. Дворня шепчется.

— Ведут Ваньку ключника на новые сени.

— Зелен кафтан поизорванный.

— Сафьяны-сапожки опущены.

— Его русы кудри растрепаны.

— Его ясны очи заплаканы.

В а н ь к а *(низко кланяясь).* Уж ты здравствуй, наш батюшка князь! Ты по что меня требовал? Уж чем хочешь меня дарить, жаловать?

К н я з ь. Подарю я тебя хоромами высокими немощеными, несвершенными. Ты скажи мне только правду-истину: ты живешь ли с моею княгинею?

В а н ь к а. Уж ты батюшка наш князь! Я скажу тебе всю правду истинную, — живу я с твоею княгинею, со свет душенькою Аннушкою. Много было попито, поедено, на пуховых перинах полежано!

К н я з ь *(громко).* Ванька ты Ванька, подлая твоя душа, да как ты смел это сделать?

В а н ь к а *(сплевывая).* По взаимному согласию. Служил я тебе цело три года, верой жил, не изменою жил. Нешто мне с бабою целоваться нельзя? На то она и баба.

К н я з ь. Ой вы, слуги мои, слуги верные! Истребите вы Ванюшу прелестника!

В а н ь к а. Было бы за что истреблять! Вышла на меня, добра молодца, вышла на меня напраслина.

К н я з ь. Слуги мои верные, палачи вы немилостивые, бурзы-гетманы! Свяжите удалому ручки белые в тые пута шелковые, закуйте удалому ноги резвые во тые во железа во немецкие, завесьте ему очи ясные черной тафтой, возьмите добра молодца да за желты кудри, поведите молодца на поле на чистое, да на то ли поле кровавое, да на то ли место на лобное, на тую на плаху белодубову, отрубите ему буйна голова и придайте ему смерть напрасная, — выньте ему сердце с печенью. Пусть молодая-то княгиня на него показнится.

Ваньку уводят. Он громко ревет.

В палате графского замка граф сидит на резном дубовом кресле, глубоко задумался. Входит старый дворецкий Агобард. Низко кланяется графу.

Граф. Ну что тебе, старый хрен? Не до тебя. Коли есть что важное, говори, а если с пустяками пришел, лучше прочь уходи.

Агобард. Милостивый граф, дошли до меня злые слухи. По долгу верности не могу их скрыть. Паж Жеан, к которому вы столь милостивы, даже и не по заслугам, сидит в трактире «Золотого оленя», пьет и хвастается, будто милостивая госпожа наша, графиня Жеанна, забыв свой долг...

Граф. Довольно. Пусть поставят виселицу за рвом, там, у кривой березы, над болотом. Жеана привести ко мне...

Агобард низко кланяется и уходит. На дворе слышен шум. Доносятся голоса.

Голоса

Жеана ведут!
— Что он сделал?
— Его ведут к графу.
— Граф прогневался на Жеана.
— Граф очень гневен.
— Да что случилось?
— Жеана ведут, — он пьян.
— Одежда на Жеане изорвана.
— Глаза у Жеана заплаканы.
— Бедный Жеан!

Пажи вводят Жеана. Дворня заглядывает в двери.

Жеан *(низко кланяясь)*. Милостивый граф, меня привели к вам на суд. Я не знаю за собою иной вины, кроме той, что выпил много. Но зачем же они меня тащат? Дали бы выспаться.

Граф. Жеан, отвечай мне правду: любишь ли ты графиню Жеанну?

Жеан. Люблю. И можно ли не любить милостивой и доброй госпожи? все слуги любят графиню за ее милостивое обращение.

Г р а ф. Я не о том тебя спрашиваю. Осмелился ли ты поднимать с вожделением глаза на графиню Жеанну?

Ж е а н. Милостивый граф, никогда! Никогда не забыл я моих обязанностей к госпоже моей.

Г р а ф. В трактире ты говорил, что моя супруга изменяет мне с тобою.

Ж е а н *(кланяясь в ноги графу)*. Говорил то, чего не было никогда.

Г р а ф. Как ты смел это сделать?

Ж е а н *(кланяясь вновь)*. Спьяна и по глупости. Вздумали хвастаться друг перед другом, я и принялся нести всякий вздор небывалый.

Г р а ф. Что же мне с тобою сделать?

Ж е а н. За мою верную службу простите меня, милостивый граф.

Г р а ф. Агобард, повесить мальчишку!

Ж е а н. Сжальтесь надо мною, милостивый граф! Погибаю невинный! *(Бросается к ногам графа и целует его ботфорты.)*

Г р а ф. Агобард, возьми его. Связать ему руки и повесить живее. Так будет поступлено со всяким, кто дерзнет оскорбить нашу честь и оклеветать нашу возлюбленную супругу.

Жеана уводят. Он плачет.

Двенадцатая картина

Подхватили ключника за белы руки, повели молодца по задворкам.

В а н ь к а. Ай вы, злы палачи, бурзы-гетманы! Не ведите молодца вы по задворкам, да мимо ту ли палату княжескую. Да вы ведите меня, молодца, по подоконью, мимо тот ли сад, мимо зеленый, да мимо эту светленьку светлицу княгинину, да мимо эту спальню ту теплую, где-ка мы спали с княгинею. А и дам я вам пятьдесят рублей с полтиною.

П а л а ч и. Послушаем молодца, нам все равно.

В а н ь к а. Ой ты гой еси, наш батюшка грозен палач! Дай ты мне, молодцу, звончаты гусли перед смертью молодцу наигратися!

П а л а ч и. Ой ты гой еси, добрый молодец! Ты бери, молодец, гусли звончаты, наиграйся ты, молодец, перед смертью, — да играй ты не полный звон, ты наигрышки наигрывай.

В а н ь к а *(наигрышки наигрывает, поет, сам плачет).*

Да хорошо у меня, молодца, было пожито,
Да хорошо было цветное платье изношено,
Да приупимо было у молодца, приуедено,
Да и в красне, в хороше приухожено,
Да и в зеленом-то саду приугуляно,
Да под яблонью на кроваточке было приуспано,
Да и у княгини у Аннушки
На белой груди было у милой улежано!

П а л а ч и

Спел-ка молодец песню новую, да все умильную.
— Сам поет, сам слезьми горючими заливается.
— Смерть придет, — не обрадуешься.

В а н ь к а.

Прости, прости, мой отец и мать!
Прости, прости, весь род-племя!
Прости, мой свет княгинюшка!
Бывало, меня князь любил, жаловал,
А нынче на меня скоро прогневался,
Ведут молодца на лютую казнь!

Княгиня услышала, по пояс в окошко бросилась.

П а л а ч и

Ах, услышала княгиня песню новую.
— Сама отворяла красно окошко косевчато.

— Да никак у нее в руках булатный острый ножичек!

— Как бы она сама себя не зарезала!

В а н ь к а. Прости-ка, Аннушка, милая княгинюшка! Ведут меня, добра молодца, срубить мне буйну голову.

К н я г и н я *(в окне)*. А вы злы палачи, бурзы-гетманы, не ведите молодца во чисто поле, не рубите молодцу да буйной головы, по локоть возьмите золотой казны.

П а л а ч и. Мы его спустим, а князь нам голову срубит, так на что нам золотая казна?

К н я г и н я *(в окне)*. Спустите-ка этого молодца, возьмите поганого татарина, хоть мертвого его, мерзлого, отрубите ему буйну голову, а донесите князю, что отрублена буйна голова за его поступки неумильные.

П о г а н ы й т а т а р и н *(входит и кричит)*. Халат, халат!

П а л а ч и. Вот его и возьмем.

Взяли татарина, а Ваньку отпустили.

К н я г и н я. Палачи смилосердились, тебя, Ванька, отпустили. Бери кошель с золотом, иди скоро домой. А вы, злы палачи, берите казны сколько надобно.

П а л а ч и. Пойдем, поганый татарин, мы тебе башка срубим.

П о г а н ы й т а т а р и н. Зачем башка рубить? Без башки мне и жить нельзя.

П а л а ч и. А и подохнешь. *(Волокут поганого татарина.)*

Жеана ведут слуги на задний двор к мосту через ров, за которым уже готовая стоит виселица.

Ж е а н *(слугам)*. Друзья, не тащите меня так скоро. Виселица не уйдет, и ангел смерти никуда не торопится. Проведите меня по графскому саду, чтобы я мог в последний раз надышаться ароматом графининых роз. Проведите меня под окнами нашей милостивой госпожи, может быть, на мое счастье, графиня Жеанна выглянет из окна, и в последний раз я увижу ее светлые очи.

С л у г и. Что же, нам все равно. Поведем тебя, где ты хочешь, в твой последний путь.

Ж е а н. Милый Агобард! Дай мне мою лютню, перед смертью сыграю, спою, с белым светом прощусь грустною песенкою.

А г о б а р д. Принеси, Клод, ему его лютню, — пусть потешится. Перед смертью играй и пой, весело встреть неизбежный удел. Только не ори во все горло и не колоти по струнам всею пятернею, — играй тихо и пой вполголоса.

Ж е а н *(наигрывает на лютне и поет, сначала тихо, потом громче).*

Все непрочно в жизни нашей,
И любовь бывает зла.
Счастье пил я полной чашей,
Жизнь моя была светла,

Я любил графиню больше,
Чем позволено пажу, —
И за то не жить мне дольше,
В смертный путь я ухожу.

Часто губит нас безделица.
Пьешь ли, душу веселя,
И уж ждет тебя виселица
И позорная петля.

Хоть на миг бы мне с желанною
Повидаться пред концом
И с графинею Жеанною
Перекинуться словцом!

С л у г и

Умильную песенку спел Жеан Милый.
— Поет, а сам плачет, как девушка.

— Смерти никто не рад.
— И еще так молод Жеан!
— Заплачешь!
Ж е а н *(поет).*

Перед тем как закачаться
В тесной петле роковой,
Дай к руке твоей прижаться
Мне кудрявой головой,

Дай узреть очарованье
Белой шеи, нежных плеч
И услышать на прощанье
Звонко-сладостную речь.

Дай лобзание разлуки
И немножечко поплачь
В час, когда мне свяжет руки
Мой безжалостный палач.

И потом склони колени,
Матерь Божию моля,
Чтобы лишних мне томлений
Не наделала петля.

Графиня выглядывает из окна. Слушает песню. На ее лице — испуг и печаль.

С л у г и

Госпожа смотрит в окно.
— Графиня услышала песню.
— Она плачет.
— Ей жаль Жеана.
— Уж и вправду, не любит ли она Жеана?
— Что это в ее руках?

— Графиня играет своим кинжалом.

— Как бы она не зарезалась!

— Этим-то шилом! Им и кошки не убить.

— Ну, не скажи.

Графиня *(из окна)*. Милый Жеан, что случилось? На лице твоем слезы, одежда твоя изорвана. Куда тебя ведут эти добрые люди?

Жеан. Прости, милостивая госпожа моя Жеанна. Мудры были твои советы, но я их не послушался и вот погибаю. «Золотой олень» поднял меня на свои широко разветвленные рога и бросил меня на роковой перекресток. *(Плачет.)*

Агобард *(с низким поклоном)*. Это он вспоминает трактир под вывескою «Золотого оленя». Там он с пьяных глаз сплел небывальщину, чтобы похвалиться, а граф узнал и оскорбился. Вот и ведем мальчишку.

Жеан. За рвом, над болотом, стоит черная виселица. На ней меня повесят.

Графиня. Бедный Жеан, да что же ты сказал? за что тебя ведут на казнь?

Жеан. Тремя упившийся глубокими чашами, в похвальбу себя наговорил я о том, что для всех должно оставаться в области несбыточных мечтаний: я хвалился твоею любовью ко мне, милая Жеанна. Мой сладкий сон я безумно предал неистовству буйного бреда.

Графиня. О безумный Жеан! Ты достоин наказания, но не столь ужасного, однако. В твоем возрасте так простительно мечтать о ласках прекрасной дамы. Добрые люди, не ведите его на виселицу, спасите жизнь моего верного пажа. Я щедро награжу вас за это.

Слуги

А если граф узнает?

— Он казнит нас за такое непослушание.

— На что нам тогда щедрые дары милостивой госпожи!

Графиня. Помедлите немного, я пойду к моему милому супругу и вымолю у него жизнь этого юного безумца. Казнить его вы всегда успеете, если граф его не помилует, — а для холодного трупа на черной виселице тщетною будет запоздалая милость.

Агобард. Исполним ваше повеление, госпожа, подождем. И правда, торопиться не к чему. Недаром старые люди говорят: поспешишь, — людей насмешишь.

Тринадцатая картина

Княжеская спальня. Князь княгиню долго бил, упарился, сидит, пыхтит, платком утирается. Княгиня на полу валяется, прощенья просит.

Княгиня. Враг попутал, не сама согрешила. Нешто бы я своею волею тебя, ясна сокола, на экое чучело огородное променяла! Враг силен, горами качает, а людьми, как вениками, трясет.

Князь. Я тебя потрясу!

Княгиня. Смилуйся, князь, никогда больше не буду, на весь век закаюсь.

Князь. Как мне тебя, жена, ни бить, а все мне с тобою жить. Вставай, поцелуемся.

Палата в графском замке. Графиня, стоя иа коленях, просит графа за Жеана. Агобард у дверей.

Граф. Встань, милая Жеанна! Для твоих слез дарую жизнь дерзкому. Агобард, — отвести Жеана на задний двор, собрать пажей и всех слуг и наказать мальчишку плетьми. А потом выгнать его из замка, и чтобы не смел вперед никогда показываться ближе трех дней пути от замка.

Агобард уходит.

Графиня. Благодарю тебя, милый мой господин.

Граф. А ты, Жеанна, помолись усердно и долго, чтобы вперед очарование твоей красоты не соблазняло слабых. К данной Богом красоте Сатана прилепляет свои соблазны, угнездившись в прекрасном теле. Умолим всеблагого Создателя, чтобы не дал он злому вра-

гу, творцу соблазнов, победы, — изгоним из прекрасного тела Сатану. Сатана же изгоняется ты знаешь чем, милая Жеанна?

Графиня. Знаю.

Граф. Чем?

Графиня. Молитвою.

Граф. А еще чем?

Графиня. Постом.

Граф. И еще?

Графиня. Бичеванием.

Граф. Пройдут дни печали, и будет изгнан Сатана.

Конец

НОЧНЫЕ ПЛЯСКИ

Драматическая сказка в трех действиях

От автора

Тема этой пьесы заимствована из сказки «Ночные пляски», которая помещена в книге «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева (М., 1897, изд. И.Д. Сытина, том II, стр. 223—225).

Действующие лица:

Король Политовский.
Королевны, его дочери, их двенадцать.
Юный поэт.
Короли:
  Свейский.
  Фряжский.
  Басурманский.
  Зельтерский.
  Татарский хан.
Королевичи:
  Дацкий.
  Эфиопский.
  Американский.
Шут.
Скоморох и прочие скоморохи.
Генерал.
Старый боярин.
Другой боярин и прочие бояре и дворяне.
Архиерей и прочие архиереи.
Попы.
Дьяконы.
Игумны.
Пономари.

Богатый купец и прочие купцы.
Приказчик богатого купца
Сухопарый лекарь.
Ярышка.
Юрист.
Хулиган.
Ласковая старушка и прочие старые старухи.
Знаток искусства.
Критик.
Человек с книжкою под мышкою.
Трудовик.
Намалеванный старик.
Молодые жены.
Гусляры.
Поэты.
Бабы-веселухи.
Простые люди.
Слуги короля Политовского.
Малявинские бабы.
Печаль юного поэта.
Сны.

Действие первое

Во дворце короля Политовского пир. Пиршественный покой изукрашен. В глубине покоя пять ступеней, во весь покой шириною, ведут на высокое место, где длинный стол; за ним еще пять ступеней таких же — на высочайшее место, где стол такой же. Внизу перед высоким местом направо и налево по длинному столу, одним концом к высокому месту, другим к стороне сеней, а середина покоя пустая, где бы входить. Перед покоем, где бывает оркестр, там сени, изукрашенные весьма, а где партер, там словно бы двор. За высочайшим местом дверь дубовая, красною медью кованная, к Политовскому королю в опочивальню. Над дверью полати неширокие, за перильцами на точеных столбиках, а входить на полати с двух сторон из сеней потайными лесенками; по той одной лесенке ход в королевнины светлицы, вверху, в тереме.

Сидят хозяева и гости. На высочайшем месте за столом король Политовский, по бокам его высокие гости, по три короля и по три королевича с каждого боку, все тринадцать в ряд, лицом к покою. На высоком месте за столом двенадцать королевен, все в ряд, лицом к королю и высоким гостям, а к почтенной публике спиною, — и почтенной публике то бы не в обиду сталось. За столами внизу сидят

гости и гостьи, за каждым столом только с одной стороны, лицом к середине покоя; почетные гости к высокому месту поближе, а у кого чести меньше, те от высокого места подалее. В сенях стоят челядь дворцовая и также гусляры, гудошники, свирельщики, вопленники, плясуны, бабы-веселухи и всякие другие забавники и забавницы. Им дают, что останется. Во дворе народ пришел на пир смотреть на своих харчах.

Король. Короли и королевичи, отцы духовные, дворяне, и купцы, и простые люди! Я пригласил вас, чтобы вы дали мне совет или делом помогли в великом нашем горе.

Короли и Королевичи *(дружески)*

Это мы можем.

— По дружбе охотно.

— Только бы нам не было убытка.

— Со всем удовольствием.

— Мы вам, а вы нам.

— Взаимно, значит, и для политики.

Дворяне *(гордо)*

Мы недаром носим наши шпаги.

— Мы рады обнажить меч во славу короля.

— Только укажи, кого повоевать.

Архиереи *(смиренномудренно)*. Господу помолимся.

Попы *(благоговейно)*. Господи, помилуй.

Дьяконы *(елейно)*. Подай, Господи.

Игумны *(с вожделением)*. Рука дающего да не оскудеет.

Пономари *(с упованием)*. Всякое даяние благо.

Купцы *(себе на уме, с расчетцем)*

Раскошелимся, это что говорить.

— На покупателя накинем, а тебе дадим.

— А ежели торговать повелишь безданно, беспошлинно сибирскими соболями и заморскою бакалеею, так мы, Господи, благослови, и еще понатужимся.

— Да Господи, да мы ли не дадим!

— Мы от чистого сердца!

— Как перед Истинным.

Простые люди *(смиренно)*. Сиротским делом, сколько животов хватит.

Молодые жены *(с воздыханием)*. Охо-хо-хошеньки!

Старые старухи *(с сокрушением)*. Грехи тяжкие!

Гусляры и поэты *(с радостью)*. А мы споем. *(Поют, что хотят.)*

Скоморохи *(с весельем)*. А мы сыграем. *(Играют кто во что горазд.)*

Бабы-веселухи *(с удалью)*. А мы спляшем. *(Пляшут по-всякому.)*

Король. Все рады, все готовы. Хорошо быть королем. Только горе-то у меня больно великое. Разве что только всем миром обмозгуем.

Свейский король. Говори, не сомневайся, врагов тебе здесь нету, все соседы тебе други.

Фряжский король. Мы-ста дальны, да вы-ста нам любы. Говори, ништо.

Дацкий король. А мы послушаем.

Все *(с поклоном)*. Послушаем.

Король. Горе мое в дочках. Вот их у меня двенадцать, все здесь перед вами, горят, как свечки, горе, говорю, мне с ними, горькое горе. *(Пригорюнился.)*

Королевны смеются, точно тростиночки по ветру шелестят.

(С негодованием.) Горе, говорю, горькое с ними, а они, слышь, смеются. Я — слезы проливать, а они — руками махать.

Королевны

(смеются, точно птички в роще заливаются, и говорят чинно и по порядку)

Како тако горе!

— Горе у нас и не ночевывало!

— Горе к нам и в окны не заглядывало!

— Горе и мимо наш дворец не хаживало!

— Разве мы не пригожи? — говорит самая красивая.

— Разве мы не хороши? — говорит самая добрая.

— Разве мы не румяны? — говорит самая здоровая.

— Разве мы не белы? — говорит самая тонкая.

— Разве мы батюшком не холены? — говорит самая нежная.

— Разве мы матушкою не ласканы? — говорит самая ласковая.

— Разве мы нянюшками не лелеяны? — говорит самая милая.

— Разве мы не послушливы? — говорит самая послушная.

— Разве мы не забавницы? — говорит самая веселая.

— Разве мы в ятях ошибаемся? — говорит самая грамотная.

— Разве мы не разумницы? — говорит самая мудрая.

— Разве мы не рукодельницы? — говорит самая искусная.

К о р о л ь *(с укоризною).* Нет у меня жены, а у вас матери. Вам бы надо, милые дочери, меня веселить да радовать.

К о р о л е в н ы *(скромнехонько)*

Мы рады тебя веселить.

— Разве мы не угождаем тебе?

— Мы и пригожи, мы и хороши, мы и румяны, мы и белы, мы и батюшком холены, мы и матушкой ласканы, мы и нянюшками лелеяны, мы и послушливы, мы и забавливы, мы и в ятях не ошибаемся, мы и разумницы, мы и рукодельницы.

— Мы ли тебя не радуем?

К о р о л ь *(нахмурившись, точно бор перед грозою).* Радовали прежде, а теперь мне с вами горе.

К о р о л е в н ы *(плача, будто горлинки).* Государь ты наш батюшка, король Политовский, чем же мы тебя прогневали?

Как заплакали королевны, так и все женщины за столами и в сенях пригорюнились, плачут, горько рыдают, слезами обливаются. Короли и королевичи усами моргают, в красные шелковые платки сморкаются, а прочие гости воздыхают и сморкаются вежливенько кто во что.

К о р о л ь *(гневно).* Замуж не идете, молодых людей гоните, никого не любите, все вас стали бояться.

К о р о л е в н ы *(рыдая, будто морские белые белуги)*

Мы любим только тебя.

— Все другие в этой стране люди нам противны.

— Они — злые.

— Жестокие.

— Издеваются друг над другом.

— Живут насилием.

— Каждый о себе заботится.

— И каждый хочет быть лучше другого.

Король *(горестно).* Люди везде таковы. И вы такие же будете.

Королевны *(все враз).* Никогда.

Шут *(бубном машет, гостей смешит, сам выговаривает).* Девушки хороши, красные пригожи, а откуда же берутся злые жены?

Королевны *(с упрямством)*

Мы и не хотим быть женами.

— Мы останемся девами.

— Мудрыми, — говорит мудрейшая.

— Прекрасными, — говорит прекраснейшая.

— Веселыми, — говорит самая веселая.

— Добрыми, — говорит самая добрая.

— Кроткими, — говорит самая кроткая.

— Непорочными, — говорит самая непорочная.

— Девами, — говорят все враз.

Король. И еще горе мне с вами. Каждую ночь вы уходите, а куда? неведомо.

Королевны

(зардевшись, кисейным рукавом закрываются, тихо говорят)

По ночам мы спим.

— Сладко.

— Крепко.

— Видим сны.

Король *(грозно).* Но я знаю, что вы уходите что ни ночь.

Королевны *(не испугавшись)*

Приди в нашу опочивальню в любую ночь.

— Ты увидишь нас тихо спящими.

Король. Приходил не раз и видел на ваших постелях неживые ваши подобия.

Королевны

Это мы спали.

— Разве ты, отец, не заметил нашего дыхания?

— Не видел наших улыбок мирному сну?

— Не различил наших лиц?

— Это были мы.

— Разве здесь есть похожие на нас?

К о р о л ь. Какими чарами вы это сделали, не знаю. Но страх стоял над этими изголовьями и торопил уйти.

Королевны

Это — воображаемый страх.

— Он зародился от рассказов суеверных старух.

— Отвергнутые женихи слагают небылицы.

К о р о л ь. Отчего же каждую ночь изнашиваются ваши покрывала? Изорванные, лежат они утром, — и каждый день шьют вам новые.

Королевны

Непрочная ткань рвется, — что жалеть о ней?

— Мы носим тонкие покрывала, — как им не изнашиваться скоро!

— И разве людям дано знать, кто изнашивает их покровы?

К о р о л ь. Дороги эти покрывала, и не след расточать казну на такое излишество.

Королевны

Твоя казна не истощится.

— Вся страна несет тебе деньги.

— Бедные женщины, которые ткут наши покрывала, кормятся этою работою.

— А также и те, кто их вышивает.

Ш у т. В рваных одеждах и босые, а вокруг них тощие дети.

Ч е л о в е к с к н и ж к о ю п о д м ы ш к о ю. Оставили бы себе прибавочную ценность или на себя потратили бы прибавочный труд...

С л у г и. Пошел, пошел!..

Человека с книжкою выгоняют.

Ш у т. В холодных хатах спят, а сами ткут багряницы.

К о р о л е в н ы

Глупый шут! уж если мы живем во дворцах, а они в лачугах, то у людей и не может быть иначе.

— Ведь мы не собираем подати.

— Не мы учредили строй и законы.

— Мы только подчиняемся пышным обычаям.

— Но в простых одеждах и босые ходили бы и мы охотно.

— Охотнее, чем в наших диадемах.

— Весело быть простыми и свободными.

— Плясать и горланить песни на простонародных базарах.

— Наш дворец — крепкий затвор.

— Вы, затворившие нас в затворы, золотите кольца наших цепей!

— Осыпайте диамантами наши оковы!

К о р о л ь *(грозно).* Замолчите и отвечайте. Здесь, перед всеми, я вас спрашиваю, и отвечайте передо всеми. Хочу я узнать, куда вы по ночам уходите и что там делаете!

К о р о л е в н ы *(упрямо)*

Мы никуда не уходим.

— Мы спим по ночам.

К о р о л ь *(печально).* Так они всегда отвечают мне, упрямые. Что же мне делать? Дочки непослушные, но милые, уйдите к себе, а мы будем вести мудрые речи о вас. Правду говорят за глаза, — в глаза только льстят или злословят.

Королевны одна за другою встают со своих мест, вереницею проходят перед королем, кланяясь ему низко и так, чтобы это выходило красиво и с покорностью Кланяясь, королевны говорят отцу.

К о р о л е в н ы. Прости, государь наш батюшка, да хранит тебя Господь многие лета!

Король целует каждую в уста сахарные и каждой отвечает в особину, румяную щечку родительной дланью треплючи.

Король. Ступай себе с Богом, милая дочка, да будет над тобою наше родительское благословение отныне и до века нерушимое.

Потом, одна за другою, королевны кланяются гостям направо и налево, так, чтобы это выходило приветливо и с достоинством. Кланяясь, королевны говорят гостям.

Королевны. Простите, дорогие гости и гостьи, в чем что мы не так, нас не корите, добром поминайте, живы-здоровы бывайте, лиха избывайте, добра прибывайте и нас не забывайте!

Каждой отдельно гости направо и гости налево отвечают поклонами, все более глубокими по мере отдаления от короля, — от наклонения головы королями до земного поклона простых людей.

Гости и гостьи *(отвечают каждой в особину)*. Прости, милая королевна, в чем мы тебе согрубили, и то ты нам не попомни, держи нас в добром вспоминаньице, сама словно красная ягодка во темном бору красуючись, да хранит тебя Бог на многие лета, а мы твои гости, верные слуги и усердные богомольцы.

Королевны, выйдя в сени, перемигиваются. Бегут на полати, прячутся за точеными столбиками и подслушивают. Король же молчит ровно столько времени, сколько надобно, чтобы королевны дошли до своих светлиц в терему, а наверх поглядеть не догадается. Гости в ту пору пьют, едят, прохлаждаются, наверх потому же не взглянут.

Король *(кряхтит)*. Эх-эхе-хех!

Шут *(бренчит позвонками колпака)*. Милостивые государыни и милостивые государи, помолчите, король говорить хочет.

Все замолчали и стали смотреть на короля. Один скоморох по верхам глядит.

Король. Друзья мои, короли и королевичи многих стран, отцы духовные, дворяне, и купцы, и простые люди, не сумеет ли кто из вас разгадать мне эту мудреную загадку насчет того, куда мои дочки по ночам ходят и что они там, шальные, делают? Что покрывала-то рвут,

казне-то убыток чинят немалый ведь! Кто разгадает, за того отдам любую дочь замуж да полцарства за приданое.

Пока король говорит, самая веселая королевна, смеючись, из-за столбика точеного столь много высунулась, что скоморох, по верхам глядючи, ее увидел. Началась у них, во время последующих речей, очами переглядка и руками перемашка, словно бы так они разговаривали.

С к о м о р о х. А я тебя вижу.

К о р о л е в н а. Врешь, не видишь.

С к о м о р о х. Ан, вижу.

К о р о л е в н а. И видеть нечего, — нас тут нет.

С к о м о р о х. А и врешь, — все вы за точеными столбиками прячетесь, вся дюжина *(показал пальцами).*

К о р о л е в н а. У, глазастый! противный!

С к о м о р о х. Один я вижу, все другие уши развесили.

К о р о л е в н а. Миленький, не выдавай!

С к о м о р о х. Ничего, будь спокойна, не выдам.

К о р о л е в н а. Ей-Богу, не выдашь?

С к о м о р о х. Вот те крест честной!

К о р о л е в н а. Я тебя поцелую в переносицу.

С к о м о р о х. Подари лучше синь кафтан, — мой-то поизносился.

К о р о л е в н а. Ладно.

С к о м о р о х. Да сапожки сафьяновые, — мои-то поистоптались.

К о р о л е в н а. Ладно.

С к о м о р о х. Да шапочку, — моя-то поистрепалась.

К о р о л е в н а. Ладно, — и будет с тебя, больше не проси.

С к о м о р о х. Ну-к что ж! с меня и будет! много ли скомороху надо! Я не хулиган, я человек хороший.

Меж тем на вопрос короля гости чинно отвечают.

Б а с у р м а н с к и й к о р о л ь. Запереть их покрепче да приставить к ним евнухов побольше. Если хочешь, брат и друг, я пришлю тебе евнухов очень искусных.

К о р о л ь. Безобразие противно будет моим дочерям.

Э ф и о п с к и й к о р о л е в и ч. Бей их плетью, пока не признаются.

К о р о л ь. Бил бы, да то не в нашем обычае.

Т а т а р с к и й х а н. Припусти к ним шпионов.

К о р о л ь. Не хочу заводить в моей земле гнуса.

А м е р и к а н с к и й к о р о л е в и ч. Выдай их замуж.

К о р о л ь. Да не идут.

З е л ь т е р с к и й к о р о л ь. Это у них от глистов, — дай им слабительного.

К о р о л ь. Глистов у них и в заводе не было.

А р х и е р е й. Отпеть бы в терему молебен, окропить бы опочивальни их высочеств святою водою, окадить бы постели королевен росным ладаном.

К о р о л ь. На Бога надейся, а сам не плошай. Бог нам не скажет, куда мои дочки ходят, тут надобен человеческий разум.

Г е н е р а л. Так как, по моему рассуждению, у их высочеств есть сообщники, то я полагал бы этих злодеев военным судом повесить.

Ш у т. Судом повесить, веревкой рассудить, генералы наши умны, годятся в игумны.

С у х о п а р ы й л е к а р ь. Дай мне осмотреть королевен, государь, — может быть, я сумею вылечить их от ночных прогулок и лунатизма.

К о р о л ь. Дочки мои здоровенькие, а тебе, клистирная трубка, смотреть их нечего, да еще как бы не сглазил.

Я р ы ш к а *(таинственно)*. Обыскать.

Т р у д о в и к *(меланхолично)*. Только заснешь, а они тут как тут.

К о р о л ь. Резон, но не политика.

Б о г а т ы й к у п е ц. Я так полагаю *(поглаживая бороду)*, что дело это, значит, денежное, и оно, то есть, требует расхода и, например того, издержек. Оно бы, я так полагаю *(поглаживая бороду)*, можно бы с укциону подряд сдать, то есть, на поставку, значит, тех и прочих, к кому и куда, значится, оные персоны ходят. Но дабы избежать огласки, то я так полагаю *(поглаживая бороду)*, что оно бы под рукою поспрошать сподручнее, и, значится, с вольного торга я бы взялся, можно сказать, себе в убыток, только для королевского удо-

вольствия, за полтора миллионта, значится *(поглаживая бороду)*, со всем удовольствием.

Ш у т. У этого дяди пошехонская поговорка, да зато американская складка.

К о р о л ь. Смотри, купец, кабы у тебя с этих денег мошна не лопнула. Больно ты лаком на мою казну.

Б о г а т ы й к у п е ц. Два процента скостим *(поглаживая бороду)*, — это мы можем.

К о р о л ь. Скости сто два процента, тогда подумаем.

Богатый купец считает на пальцах и думает.

Ю р и с т. В ночных прогулках их высочеств я не усматриваю состава преступления, а потому полагал бы оставить дело без последствий.

К о р о л ь. Твоими бы устами да мед пить.

Х у л и г а н. Наплевать!

К о р о л ь. Ась?

Х у л и г а н. Да ты, король, на это дело плюнь, — пусть ходят куда хотят.

К о р о л ь. Проплюешься. Тут что ни плев — сто рублев, а то и более.

Богатый купец надумался. Ему кажется, что и за уступкою ста двух процентов подряд выгоден. Он крякает, поглаживая бороду, и хочет согласиться. Но его одергивает.

П р и к а з ч и к *(шепчет)*. Брось, дядя, окромя убытков других прибытков не предвидится.

Б о г а т ы й к у п е ц. Врешь?

П р и к а з ч и к. Как перед Истинным!

Л а с к о в а я с т а р у ш к а. И я их выспрошу, и я их вымолю, и они мне скажут.

К о р о л ь. Больно ты ласкова, бабушка, да ин беда, — не скажут они тебе, не таковские.

Ю н ы й п о э т. Все диалоги, которые мы выслушали, являют собою точный символ извечной антиномии.

Ш у т. А ты антимоний не разводи, говори прямо.

Ю н ы й п о э т. Скажу кратко, — никто не берется узнать, где бывают в таинственные ночные часы королевны, — я это узнаю.

К о р о л ь. Ладно, узнай. Не узнаешь в три ночи, на третье утро повешу. А узнаешь, твое счастье, — любую королевну бери замуж, а приданое дам, как обещал, от своего слова не попячусь. Только смотри, парень, не сдуру ли ты расхвастался? Лучше откажись, пока не поздно.

Ш у т. У нас петли мягкие, пеньковые, а вешальщики опытные.

Ю н ы й п о э т. Мы, мудрецы и поэты, хранители и провозвестники древнего обетования о преображении святой плоти, мы не даем пустых обещаний. Я сказал, — я сделаю.

К о р о л ь. Ну сам смотри. В петле невесело будет, так на меня не пеняй. Милые гости, не обессудьте на моей хлеб-соли, а потчевать больше нечем.

Гости и гостьи вылезают из-за столов, кланяются королю и благодарят его. Король Политовский уходит, после него и все, кто куда, по чинам. Юный поэт остался один и размышляет.

Ю н ы й п о э т. Тщетно гордость, хулиган ума, говорит мне: «Наплевать!» — благоразумие покачивает своим вязаным колпаком и спрашивает: «Что ты наделал?» И печаль моей души проснулась в своем алькове, — ах, милые альковы! — и, зевая, рыдает: «Увы, увы, увы!» — свинья — печаль!

П е ч а л ь ю н о г о п о э т а *(внезапно являясь, свирепо).* Сам свинья! И никакого нет алькова, а вот ты попляши. *(Исчезла так же внезапно, как и появилась.)*

Ю н ы й п о э т. Что я наделал? взялся узнать, а сам ничего не ведаю. Если не узнаю, ведь король меня повесит. А это — очень неприятное положение. Или состояние? Положение — горизонтальное, состояние — вертикальное, а висеть? Не знаю. В моем мозгу, — кажется, это точно? — сложились два стиха:

Когда меня повесят,
То чем меня утешат?

Виселицу украсят?
Но я не буду видеть.
Все девушки заплачут?
Но я не буду слышать.

Вот даже шесть стихов. Кажется, это не плагиат? Впрочем, ведь я живу в доисторические времена, сказочные, когда, по меткому выражению Некрасова,

Свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо.

Все поэты, которым я мог бы подражать, будут жить после меня. Неприятное положение. Или состояние? *(Стоит — раскручинился, пригорюнился.)*

Намалеванный старик. Не сойти ли мне с картины? Не утешить ли мне малого? *(Кряхтит и лезет из рамы.)*

Юный поэт *(в восторге)*. Вот — торжество искусства.

Знаток искусства *(вдруг явившись)*. Это — фотография. Искусства здесь нет.

Впрочем, его уже и нет на сцене.

Малявинские бабы. А мы споем, пока старик вылезает. *(Поют громко и пляшут шибко.)*

Горка ты горка,
Горушка крутая,
Травка шелковая!
Да по той ли горке
Мил удалый ходит,
Во скрипку играет,
Короля потешает.
Послушайте, люди,

Что в городе бают:
Парней продавают.
Купцы закупают,
Девять на денежку,
Десятого в придачу.

Н а м а л е в а н н ы й с т а р и к. О чем, добрый молодец, призадумался?

Ю н ы й п о э т. Как мне, дедушка, не призадуматься? взялся я для короля проведать, куда его дочери по ночам уходят; я сам ничего не ведаю.

Н а м а л е в а н н ы й с т а р и к. Да, это дело трудное! только узнать можно. Вот тебе шапка-невидимка, с нею чего не высмотришь! Да помни: как будешь спать ложиться, королевны подадут тебе сонных капель испить; а ты повернись к стене и вылей в постель, а пить не моги.

Ю н ы й п о э т. Да ведь они увидят.

Н а м а л е в а н н ы й с т а р и к. А ты им глаза отведи.

Ю н ы й п о э т. А как же отвести им глаза?

Н а м а л е в а н н ы й с т а р и к. А ты посмотри на потолок, да и зачитай грустным голосом стихи:

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно.
Спит земля в сиянье голубом.

Девки — дуры, тоже засмотрятся, на потолке звезды увидят.

Ю н ы й п о э т. Да увидят ли?

Н а м а л е в а н н ы й с т а р и к. Верь в магию слов, и они поверят словам.

Ю н ы й п о э т. Спасибо тебе, дедушка.

Старик лезет на прежнее место, юный поэт его подсаживает, и тут первому действию конец.

Действие второе

В терему опочивальни двенадцати королевен, одна за другою, разделенные арками; рядом, за стеною, малая каморка с одною кроватью для юного поэта. В стене между каморкою и королевниными опочивальнями — дырка малая, проверчена буравчиком. Королевны, в длинных ночных одеждах, смотрят в окно.

Королевны

Вот идет наш страж.

Смеются, словно колокольчики звенят.

— И он ничего не узнает.

— А не открыться ли ему?

— Он — прекрасный, — говорит самая прекрасная.

— Он — белый, — говорит самая тонкая.

— Он — румяный, — говорит самая здоровая.

— Он — стройный, — говорит самая стройная.

— Он — мудрый, — говорит самая умная.

— Он — хитрый, — говорит самая искусная.

— Он — добрый, — говорит самая добрая.

— Он — ласковый, — говорит самая нежная.

— Он — веселый, — говорит самая смешливая.

— Он — смелый, — говорит самая бойкая.

— Он — сильный, — говорит самая сильная.

— Он — гордый, — говорит самая надменная.

— Хорош-то он хорош, но и он как все.

— Выберет одну из нас в жены.

— Будет царить в своем уделе.

— Будет угождать людям.

— Будет славить земные очарования.

— Не пустит избранницы своей ни к другому человеку, ни к заклятому царю.

— Нет, утаимся от него.

— Опоим его сонным зелием.

Смеются, как бубенчики бренчат.

Юный поэт *(входит в каморку малую)*. Время к ночи подходит *(бормочет он)*, летит на серых крыльях. Летучая мышь, взмахами мягких крыльев отсчитывая миги, — о миги! миги! — мечется туда и сюда и засыпает вниз головою. Но я не засну. Вот моя кровать, и над нею скважина, — я провертел ее буравчиком. И мой взор острее буравчика:

Взоры, как у мальчика,
Острее буравчика.

Королевны в начале его речи ушли за сонным зелием. Осталась одна, — сидит на кровати и, улыбаясь, прислушивается.

Потом остальные королевны вернулись. У одной в руках кубок. Идут одна за другою в дверь к юному поэту, та, что с кубком, сзади всех. Каждая королевна, входя, кланяется поэту и говорит, каждая со свойственною ее характеру интонациею.

Королевны

Здравствуй, милый поэт.
— Здравствуй, прекрасный поэт.
— Здравствуй, синеокий поэт.
— Здравствуй, русокудрый поэт.
— Здравствуй, мудрый поэт.
— Здравствуй, хитрый поэт.
— Здравствуй, добрый поэт.
— Здравствуй, веселый поэт.
— Здравствуй, ласковый поэт.
— Здравствуй, отважный поэт.
— Здравствуй, могучий поэт.
— Здравствуй, надменный поэт.

Юный поэт *(кланяется каждой отдельно и отвечает каждой)*
Здравствуй, милая королевна.
— Здравствуй, прекрасная королевна.

— Здравствуй, черноокая королевна.
— Здравствуй, чернокудрая королевна.
— Здравствуй, мудрая королевна.
— Здравствуй, хитрая королевна.
— Здравствуй, милостивая королевна.
— Здравствуй, веселая королевна.
— Здравствуй, нежная королевна.
— Здравствуй, смелая королевна.
— Здравствуй, могучая королевна.
— Здравствуй, гордая королевна.

Королевны встали в ряд и смеются, словно гусельки гудят. Юный поэт стоит перед ними и делает улыбку за улыбкою, перемежая их спокойным выражением лица.

Королевны *(переглядываются и говорят одна другой)*
Угостим поэта вином!
— Угостим.
— Пусть выпьет за наше здоровье.

Приближается к юному поэту одна королевна с бокалом и говорит.

Королевна. Милый поэт, выпей это вино за наше здоровье и пожелай нам, чего сумеешь и как сумеешь.

Юный поэт *(берет бокал)*. Охотно выпью за ваше здоровье, милостивые и ласковые королевны. И от всей души желаю вам счастья столько же полного и широкого, сколь полон и широк дивный круг ваших совершенств, и столь же высокого, как эти звезды *(поднимает бокал)* — там, в недостижимом небе, там, смотрите, где звезда с звездою говорит, где в небесах торжественно и чудно.

Королевны смотрят вверх и повторяют в тихом восторге все вместе.

Королевны

Звезда с звездою говорит!

— В небесах торжественно и чудно.

В это время юный поэт выливает вино в свою постель.

К о р о л е в н ы *(уходя одна за другою, говорят)*. Покойной ночи, поэт!
Ю н ы й п о э т *(отвечает каждой)*. Покойной ночи, королевна.

К о р о л е в н ы *(вернулись к себе. Говорят тихо)*

Мы смотрели на звезды, которых не было видно.
— Над нами был только потолок.
— Но мы видели, как в небесах торжественно и чудно.
— Мы слышали, как звезда с звездою говорит.
— Поэт очаровал нас только словами.
— Магиею слов.
— А разве мы не учили этих слов в нашей хрестоматии?
— Но хорошо, что он выпил вино.
— А если не выпил?
— Нет, выпил.
— Он спит.
— Подождем, пока он заснет совсем крепко.

Королевны ложатся в свои постели. Поэт тоже. Тихо и темно. Юный поэт подсматривает. По опочивальням ходят Сны и навязываются королевнам и юному поэту.

С н ы

Возьми меня на эту ночь.
— А ты меня.
— Или меня.
— Я — мирный сон.
— Я — безмятежный сон.
— Я — веселый сон.
— Я — страшный.
— Я — вещий.
— Я — крепкий.
— Я — глубокий.

— А я — кошмар, — хорошенький, цепкий уродец.

Королевны и Юный поэт
(отгоняют сны и говорят им тихо)

Не надо.
— Не хочу.
— Уйди.
— Не пущу.
— Иди к больным.
— Иди к усталым.
— Иди к печальным.
— Иди к умирающим.

Одна королевна *(встала, тихо говорит)*. Сестры, пора.

Королевны

Пора.
— А он?
— Надо войти к нему.
— Не всем.
— Пусть одна.
— Кто пойдет?
— Я, — говорит самая бойкая.

И пошла к Юному поэту, тихохонько. У двери постояла, послушала, отворила дверь медленно и вошла к поэту. Юный поэт лег спокойно.

Королевна *(тихо шепчет ему)*. Милый поэт, ты спишь? Ты спишь в такую прекрасную ночь? Ты спишь в тот час, когда я пришла к тебе? Взгляни, — я красивая девушка, у меня голые, стройные руки. Все спят, только я одна не сплю, потому что я хочу, чтобы ты сказал мне ласковые слова. Я молодая и красивая девушка, у меня голые, белые плечи, и стопы ног моих обнажены, я печальна, я томлюсь странною тоскою. Многие говорили мне, что они меня любят, и они были молодые, прекрасные и знатные, но я не верю их любви. И сердце говорит мне, что еще никто меня не любил... Или я много сказала? Ты все-таки спишь? О глупый поэт! *(Слушает.)*

Юный поэт лежит молча и неподвижно.

К о р о л е в н а *(возвращается к сестрам).* Он спит, — говорит она им тихо, — спит крепко.

— Он не скоро проснется, — говорят другие королевны и смеются тихо, как былинки шелестят.

— Пора, сестрицы, пора!

— Заклятой царь ждет нас!

— И его милые гости.

— И его милые гостьи.

— Надо взглянуть.

Юный поэт подсматривает. Королевны надевают шитые покрывала. На постелях оставляют свои подобия. Мудрейшая из королевен отодвинула высокое изголовье своей кровати. Открылся ход. Королевны уходят одна за другою.

Юный поэт надевает шапку-невидимку и крадется за ними. Все ушли, и только на королевниных кроватях остались неживые подобия спящих девушек. Становится темно. Потом сцена преображается в освещенную лунным светом палату в подземном царстве заклятого царя. Слышен голос.

Г о л о с.

Все цветы раскрыли глазки.
Рейте, вейте в легкой пляске,
Зачинайте ласки-сказки,
Забывайте сон дневной.
Там, под солнцем, только маски,
Здесь развязаны завязки,
Святы лики, сняты маски,
Все святое предо мной.
Рейте, сестры, в легкой пляске,
С нами вместе пляшут сказки
Под волшебницей луной.

Царевны пляшут. Тем второе действие и кончается.

Действие третье

Та же палата, что в первом действии. На высочайшем месте за столом король Политовский, от сна восстав, вкушает пития прохладные. Позади его стоят слуги ближние, про дела домашние докладывают с усердием. А внизу за столами бояре сидят, мед, пиво пьют и о чем-то думают, и у всех большие бороды. А у дверей стоят шут и слуги. Входит из сеней Юный поэт, останавливается перед высоким местом, королю челом бьет.

Юный поэт. Здравствуй, король.

Вид у поэта очень гордый, и он кажется именинником.

Король. Уследил ты моих дочерей?

Юный поэт. Обещал — и сделал. Король, я уследил прекрасных королевен.

Король. Куда же они ходят?

Юный поэт. Прекрасные королевны ходят в подземное царство к заклятому королю, всю ночь там танцуют, исполняют танцы в стиле знаменитой Айседоры Дункан под музыку великих композиторов разных времен и народов.

Король. Верные слуги, позовите моих дочерей!

Слуги. Королевны сами идут.

Король ждет, пьет мед и поэта потчует. Королевны вошли в сени. Засматривают в чертог и тихо переговариваются.

Королевны

А Юный поэт уже там.

— С нашим отцом сидит.

— Батюшка наш с ним ласков.

— Но он же не был с нами!

— Мы его там не видели!

— Когда мы спускались по лестнице, мне показалось, что кто-то наступил на мое платье, — говорит самая хитрая, — это примета была плохая, она вещала нам беду.

— Полно, ничего не будет, — говорит самая смелая, — просто ты зацепила платьем за какой-нибудь гвоздь.

— Когда мы шли по той роще, где цветут золотые цветы, — говорит самая чуткая, — послышалось мне, что вся роща зашумела.

— Так бывает в той роще, — говорит самая зоркая, — когда сломят один цветок.

— В царстве заклятого царя все едино, — говорит самая мудрая, — страдание и ущерб в одном чувствуется всем живым в этом царстве.

— Ах, сестрицы, — говорит самая робкая, — это что-то недоброе нам сулило.

— Не бойтесь, — говорит самая беззаботная, — это у заклятого царя в чертогах музыка гремела, а не роща шумела.

Входят одна за другою в чертог.

Каждая королевна *(отдельно низко кланяется королю, целует его руку и говорит).* Здравствуй, милый батюшка наш король, с добрым утром... Как почивать изволил, какие сны тебе, батюшка, снились, и изволишь ли ты быть в добром здоровье?

Король целует каждую нежно в уста сахарные, треплет ласково по румяной щечке и милостиво отвечает каждой в особину.

Король. Здравствуй, милая дочка, прекрасная моя королевна. Почивал я крепко, сны видел хорошие, как ты, моя красная ягодка, с могучим и славным королевичем венчалася. Встал я весел, и радостен, и здоровьем, по Божьей милости, крепок. А ты, ясочка моя ненаглядная, как почивать изволила, какие сны тебе, моей голубушке, снилися, да и встала ли ты веселехонька, да и живешь ли ты здоровехонька?

Королевна *(каждая королю так ответ держит, низко кланяючись и отцову руку во второй раз целуючи).* Благодарствую тебя, милый батюшка, на добром слове. Спала я крепко, на котором боку заснула, на том и проснулась, во всю долгую ноченьку ни разу не ворохнулась. А сны я видела все веселые, как тебе, батюшка, Бог

дал победу над супостатами, королями чужими и над здешними крамольниками, как по улицам флаги развесили, народ бежит, ура кричит, в ладоши хлопает. А встала я, млада красна девица, веселехонька, а живу я, млада красна девица, по Божьей милости и для твоей родительской радости, здоровехонька.

Так одна по одной отходят от короля, садятся на свои места и пьют китайский чай со сладким сахаром внакладку, выборгским кренделем закусывают.

Король *(пьет мед и дочерей допрашивает)*. А куда вы, дочки, нонче ночью ходили? а где вы, богоданные дочки, ночью нонче были?

Королевны

Мы никуда не ходили, — говорят враз шестеро.

— Нонче ночью, — прибавляет одна из них.

— Мы нигде не были, — говорят враз другие шестеро.

— Ночью нонче, — прибавляет одна из них.

Король. А у заклятого царя не были? Вот юный поэт на вас показывает, уличить вас хочет, говорит, — всю ночь вы плясали очень весело, и вприсядку, и по-всякому.

Королевны

Где же ему, батюшка, уличить нас, когда он всю ночь мертвым сном проспал!

— Он все это во сне видел.

— Рядом с молодыми девушками снятся веселые сны.

— Как не присниться веселым пляскам, когда за стенкой девушки о своих секретах шепчутся!

Смеются, словно стеклышки звенят.

Король *(с удивлением)*. Вот так девушки у меня выросли! Смеются, им и горюшка мало.

Юный поэт. Фряжская пословица в русском переводе говорит: смеется хорошо, кто смеется последний.

Старый боярин. Пословица не мимо молвится.

Другой. Пословица до веку не сломится.

Ш у т. Глупая речь не пословица.

К о р о л ь. Однако, поэт, чем же ты докажешь, что они там были?

Ю н ы й п о э т. Королевны хотели опоить меня сонным зелием, но я отвел им глаза и вылил сонное зелие в мою постель.

К о р о л е в н ы

Он нас обманул!

— И поэты лгут!

— Поэты лгут, как все!

— Тьмы низких истин им дороже их возвышающий обман.

Ю н ы й п о э т. Я шел за ними, а они меня не видели, — на мне была шапка-невидимка. *(Вынимает шапку-невидимку и демонстрирует ее, надевая и опять снимая.)*

Слышны возгласы удивления.

Ш у т *(завистливо)*. Фокус!

П о э т *(презрительно)*. Шут, в этой драме ты играешь самую скучную роль. Никто не смеется твоим шутовствам.

Ш у т *(сердито)*. Я не шучу. Я — королевский шут и говорю серьезно.

К о р о л е в н ы

Какое искусство — сделаться ничтожным!

— Искусство, полезное для шпиона!

— Поэт, воображающий, что ты — тайновидец, ты — только шпион.

— Ты — тема для юмористического стихотворения.

— И для пародии.

— И для самой неприятной пародии, — дружеской.

Ю н ы й п о э т. Я шел за королевнами. Куда они, туда и я, как нитка за иголкою.

К о р о л е в н ы *(смеючись, точно птенчики щебечучи)*

Старо!

— Неостроумно!

Ю н ы й п о э т. Мы вошли в потайной ход за кроватью мудрейшей из королевен. Когда мы проходили в той роще подземного царства,

где растут золотые цветы, я сорвал один цветок. Вот он. *(Вынимает из кармана золотой цветок.)*

Цветок благоухает.

Юный поэт. Вот и улика налицо, — цветок, вынесенный из подземного царства заклятого царя, — золотой цветок.

Бояре и слуги. Золотой цветок!

Юный поэт. Благоуханный цветок!

Бояре и слуги. Как хорошо пахнет этот цветок!

Юный поэт. Виданы ли на земле такие цветы?

Бояре и слуги

На земле нет таких цветов.

— И не может быть.

Королевны

Злой поэт! — он погубил одно из прекраснейших цветений в царстве заклятого царя.

— Он оторвал этот цветок от родной почвы таинственного края.

— Из мира сладкой сказки он вынес его в свет земного дня!

— Чтобы любовались им равнодушные люди.

— И скучные эстеты.

Критик. Да, цветок этот представляет творение высокого искусства. Лепестки его отчеканены так строго, что кажется, что он благоухает. Вечный аромат творимой красоты исходит от него.

Юный поэт. Вслед за королевнами пришел я во дворец заклятого царя. Пышность и красота этих чертогов превосходят все, что может дать самое изысканное и богатое воображение. Я еще не успел найти всех слов, достаточно великолепных и редких, которыми можно было бы передать обаяние этих чертогов. Описание их составит тему моей особой поэмы. Теперь же буду краток.

Король. Да, друг, говори покороче, будет лучше.

Королевны печально смеются, словно в речке струйки плещутся.

Юный поэт. Сам заклятой царь со своими придворными, — о великолепие одежд! о красота лиц! о прелесть движений! — встретил прекрасных королевен. И казалось мне, что красота и прелесть их умножились весьма, — не дивно ли это?

Бояре и слуги

Дивно!

— Уж и так они красивы.

— Куда еще краше!

— Глазам не вынести такой красоты.

Юный поэт. Заиграла музыка, — о дивное очарование звуков! — и все широким и свободным кругом понеслись в легком танце, и я со всеми, невидимый, прекрасный, стройный и легкий.

Королевны смеются, словно жемчужинки раскатились.

Велел царь вино разливать и гостям разносить. Я, юный, и прекрасный, и невидимый вами, смеющиеся, чем бы плакать, королевны, взял с подноса один бокал, вино выпил, а бокал в карман сунул. Вот и другая улика. *(Вынимает из кармана золотой кубок.)*

Бояре и слуги

Сияющий бокал!

— Что написано на нем?

— Буквы сияют, как пожары!

Королевны

Взял бокал, а знаешь ли его повеление?

— Прочитал ли его начертание?

— Или только теперь разберешь, по складам, его сияющую надпись?

Юный поэт. Вы опять устремились в пляшущий круг, после слов заклятого царя:

Все цветы раскрыли глазки.
Рейте, вейте в легкой пляске,
Зачинайте ласки-сказки,
Забывайте сон дневной.

Там, под солнцем, только маски,
Здесь развязаны завязки,
Святы лики, сняты маски,
Все святое предо мной.
Рейте, сестры, в легкой пляске,
С нами вместе пляшут сказки
Под волшебницей луной.

Вы плясали, а я стоял. Мне казалось, что царь еще не кончил и хочет говорить. Я стоял перед ним под серой шапкой-невидимкой и глядел прямо в его неизъяснимо-глубокие очи, и он сказал мне:

А ты, пришедший невидимо,
Земные возлюбивший дни,
Ищи меня неутомимо
И в сердце грусть мою замкни.
И если память позабудет
(Цветы земные — из тафты),
Тебе цветок мой вечно будет
Напоминать, что видел ты.
И если б сердце замолчало
(Там диадемы — только жесть),
Напомнят блеск и звон бокала
Тебе таинственную весть.
Покинув царство заклятое,
Не верь святыне злого дня,
И начертанье золотое
Читай всегда: Люби Меня!

Королевны *(повторяют)*

Люби Меня! *(Смотрят одна на другую и говорят.)* Что же нам делать?

— Сознаемся?

— Да, сознаемся.

— Теперь уже нельзя не сознаться.

— *(Отцу.)* Поэт сказал правду. *(Поэту.)* Ты прочитал начертание золотого кубка.

— Но, поэт, понял ли ты его? — спрашивает самая добрая.

— Поймешь ли его когда-нибудь? — спрашивает самая мудрая.

— Но сохрани его, поэт!

— Передай новым поколениям этот золотой цветок и этот кубок с начертанием вечной заповеди.

К о р о л ь. Повелеваю вам, верные слуги, засыпать потайный ход в подземное царство заклятого царя.

С л у г и. Исполним, ваше величество.

К о р о л ь. А ты, поэт, выбирай из моих дочерей себе в жены, какая полюбится. Вот они проходят перед тобою.

Королевны послушны, идут одна за другою перед юным поэтом.

К о р о л ь *(приговаривает)*

Вот эта — самая красивая.
— А эта — самая румяная.
— А эта — самая белая.
— А эта — самая добрая.
— А эта — самая нежная.
— А эта — самая ласковая.
— А эта — самая милая.
— А эта — самая послушная.
— А эта — самая веселая.
— А эта — самая грамотная.
— А эта — самая мудрая.
— А эта — самая хитрая.

Все королевны прошли и сели допивать свой чай внакладку.

К о р о л ь *(юного поэта спрашивает)*. Которую же выберешь себе в жены?

Юный поэт. Я выбираю себе в жены ту, которая по нраву поэтам наших дней. *(Выбирает, какую хочет.)*

Король. У меня не вино курить, не пиво варить, не приданое шить, — все готово. Сейчас же честным пирком да и за свадебку.

Начинается великое ликование, а всей сказке тут пришел конец.

ЗАЛОЖНИКИ ЖИЗНИ

Драма в пяти действиях

Посвящается Анастасии Чеботаревской

Действующие лица:

М и х а и л.
К а т я.
Л и л и т (Елена Лунагорская).
Алексей Иванович Ч е р н е ц о в. | родители Михаила
Мария Петровна Ч е р н е ц о в а. |
Константин Федорович Р о г а ч е в. | Катины родители
Клавдия Григорьевна Р о г а ч е в а. |
Владимир Павлович С у х о в.
М у ж и к.
Д е т и, мальчик и девочка.

Действие первое

I

Жаркий летний день клонится к вечеру. От речки не веет прохладою, — она так мелка, что ее можно легко перейти вброд.
Дворянская усадьба близ деревни. Сразу видно, что ее хозяева — хозяева плохие и что средств и возможностей у них мало. Сад когда-то был красив, — красив он и теперь, но запущен. Видны углы оранжереи и парников, — но все это имеет довольно жалкий вид. В саду малина и крыжовник, яблони и груши. Из-за зеленеющих деревьев виден помещичий дом, в котором живут Катя и ее родители. Перед домом — большая открытая терраса.
На террасе сидят подростки, — Катя и Михаил, влюбленные друг в друга.
Катя — девушка лет шестнадцати. Очень милая на вид. Щеки у нее румяные, глаза голубые. Она очень загорелая. Шея, плечи и руки у нее открытые, ноги босые. Платье на ней светлое, легкое, недлинное и простое покроем, но очень красивое, и сидит оно на ней так, словно все складки его расположены мудрым художником, творящим красоту из простой ткани. Она здоровая и очень веселая.

Любит посмеяться и несложно пошутить, подразнить кого-нибудь. Она любит свой дом, усадьбу, деревню, поля и леса и, видимо, наслаждается близостью к природе. Движения ее уверенны и легки, — чувствуется, что она умеет упорствовать и стремиться к достижениям и что вместе с тем в ней много приспособляемости и гибкости. В каждом движении ее сказывается, что ее безотчетно радует ощущение жизни, молодости и наивной красоты, разлитое в природе и в ней самой, — и видно, что все впечатления бытия для нее свежи и первоначальны. Потому вся она производит впечатление чистоты и наивной детской мудрости.

Михаил — мальчик лет восемнадцати. Перешел в последний класс гимназии. Учится хорошо. У него ясный и холодный ум и сильная воля. Он упрямо держится раз избранного пути. Случайное в жизни мало его отвлекает, — он настроен скорее трагически. В отношениях к людям он мягок, уступчив и добр. Манеры у него неловкие, угловатые, как у очень самолюбивого подростка; иногда он кажется грубым и дерзким, но грубость эта только внешняя. В нем еще очень много детской наивности и ребячества, самого зеленого. Он не только прилежно учится, но и сам читает много и выработал себе определенное мировоззрение. Он наклонен к мечтательности и считает это своим недостатком; эта мечтательность и в самом деле стоит в некотором противоречии со свойствами его трезвого ума. Его влюбленность в Катю и радует его, и смущает. Ему досадно и то, что он, плебей, пролетарий, влюбился в эту красивую представительницу иного класса, которому он никак не может симпатизировать. Но он надеется, что из Кати выработается хорошая пролетарка и полезная работница.

Михаил высок, тонок и строен. Лицо у него худощавое, загорелое и смуглое. Глаза черные, смотрят пристально и упорно, с напряженным выражением. Брови густые, черные, почти сросшиеся. Одет он в светло-серую коломянковую блузу и вообще имеет вид обыкновенного провинциального гимназиста. Теперь он заметно взволнован и нервен.

Любуясь друг другом с веселою детскою нежностью, сквозь которую просвечивает почему-то грусть, они сидят у стола, покрытого скатертью кустарной работы с наивным, но очень милым рисунком вышивки. На столе перед ними тарелка с малиною, блюдечко с мелким сахаром и два пустые блюдечка, на одном из которых две чайные ложки. Старуха, лица которой не видно, но в которой нет ничего таинственного и символического, потому что это — только старая ворчунья няня, только что поставила на стол кувшин с молоком и уходит в дверь, ведущую в дом.

К а т я *(заглядывает в кувшин, делает недовольную гримасу и говорит)*. Ой, как мало молока! Точно кот наплакал.

Слышен ворчливый голос уходящей.

Г о л о с. Будет с тебя, баловница.

Катя накладывает ягоды на блюдечко Михаилу, потом себе. Наливает молока, и они принимаются есть ягоды, весело разговаривая.

Катя. Я малину страсть как люблю! Как сестру родную. *(Смеется.)*

Михаил. Малина хороша. Но я больше люблю крыжовник.

Катя. И я люблю крыжовник.

Катя быстро срывается с места и бежит куда-то через сад. Легкий бег ее как полет, и песок дорожек весело смеется под ее ногами.

Михаил. Катя, куда ты помчалась?

Катя *(издали звонко кричит)*. Сейчас я тебе крыжовнику принесу.

Михаил, оставшись один, задумчиво помешивает ложечкою в блюдце. Лицо его становится мрачным и решительным. Издали доносится снова Катин голос.

(За сценою кричит нараспев.) Вот и крыжовник, вот и крыжовник, жовник, жовник, жовник!

Михаил вздрагивает, выпрямляется и принимает беспечный и веселый вид, что ему, однако, плохо удается. Катя бежит обратно. В ее руках деревянная лакированная чашечка с крыжовником. На бегу Катя кладет в рот несколько ягод крыжовника.

Вот тебе, ешь, наслаждайся. Великолепный крыжовник!

И она с удовольствием ест крупные ягоды.

Михаил *(строго)*. А зачем ты его с кожицей ешь? Это — гадость.

Катя. Ничего не гадость. С кожицей гораздо вкуснее.

Михаил. Этого не может быть.

Катя. Попробуй, если твои принципы тебе позволяют. Сам увидишь.

Она говорит насмешливые слова необидным тоном и весело смеется. Ее смех звонок, но не громок, и когда слушаешь его, вспоминаются золотые легкие колокольчики. Михаил хочет нахмуриться, но неожиданно для себя смеется. Быстро целует Катю.

(Быстрым полушепотом.) А зачем ты меня целуешь?

Михаил *(так же)*. Вкусно!

Катя. Еще увидят.

Притворяется испуганною и с комическим ужасом оглядывается, но не выдерживает этой роли и смеется.

Михаил *(весело)*. Ну, ты, кажется, не очень-то боишься. *(Ест крыжовник, по ее примеру, с кожицею.)* А и правда, с кожицею вкуснее. А над принципами смеяться нельзя.

Катя. О! Нельзя! Вот еще! Смеяться не грешно над тем, что кажется смешно.

Михаил. Мало ли что кажется!

Катя *(скороговоркою)*. Хочу и смеюсь. Хочу и смеюсь. Кому какое дело!

Михаил. Все-таки с кожицею крыжовник есть вредно.

Катя. А мне полезно. Что в рот полезло, то и полезно.

Михаил. Кожица ягоды может засесть в червеобразном отростке слепой кишки, и от этого может случиться аппендицит. Болезнь неприятная и опасная.

Катя. Может, может! Страсти какие! Мало ли что может! Вот пойду в лес, а меня змейка-скоропейка может ужалить.

Михаил. А зачем ты все лето босиком ходишь?

Катя. Мне нравится, вот зачем.

Михаил *(смотрит на Катю задумчиво и меланхолически улыбается. Говорит с искусственной веселостью)*. Это ты у Лилит научилась босиком ходить.

Катя. О, у Лилит! Нет, у деревенских баб, а не у Лилит.

Лицо ее хмурится на минуту, и эти слова звучат ревниво. Вдруг она обнимает Михаила и говорит страстно.

Я тебя так люблю, как еще никогда нигде никто никого не любил.

Целуются торопливо.

Михаил *(вздрагивая)*. Кто-то идет.

Катя. Папа идет.

Оба замолкают в чувстве неловкости и отодвигаются друг от друга.

II

Через сад на террасу входит Рогачев. За ним идет мужик, без шапки, очень грязный и лохматый; останавливается в саду перед террасою.

Рогачев почему-то с первого взгляда производит впечатление прогорающего помещика, каков он и есть. Манеры у него барские, и разговор как у провинциального сеньора, с оттяжкою, а движения суетливые, в глазах беспокойная ласковость, и в мыслях путаница и суета. Он любит приятности жизни и на всякую работу смотрит как на докуку. Он обладает тою степенью приспособляемости, которая помогает людям его типа держаться кое-как на поверхности жизни и при случае играть кое-какую роль в обществе. На свою судьбу и на свои дела он смотрит легкомысленно и всегда находится в обаянии сладких надежд.

Роста он выше среднего. Тонок, прям и ловок. Борода, полуседая, расчесана надвое. Он одет в светло-серый летний костюм. На голове соломенная шляпа, в руке тросточка, слишком тонкая для деревни.

В чертах Катина лица много сходства с отцом, — но у Кати все живее, сильнее и красивее выражено.

Михаил *(вставая)*. Здравствуйте, Константин Федорович.

Рогачев *(сухо)*. Здравствуйте, Миша.

Мужик. Явите божескую милость.

По его тусклым глазам и по унылой фигуре видно, что он уже несчетное число раз повторил эту нудную фразу и готов еще повторять ее без конца. Но лицо его злое, и в тягучем звуке голоса порою прорываются злобные нотки.

Рогачев *(досадливо отмахиваясь от мужика)*. Ну подожди до будущей недели. Получу и отдам.

М у ж и к. Да я уж сколько раз приходил к вашей милости!

Р о г а ч е в. Ну иди, иди. Не до тебя.

М у ж и к *(повторяет тупо и упрямо)*. Явите божескую милость.

Р о г а ч е в *(ворчит)*. Какой грязный мужик! *(Уходит в дом.)*

III

М у ж и к *(поднимается на нижнюю ступеньку перед входом на террасу и говорит Кате)*. Барышня, скажите папеньке, что как до зарезу нужно.

К а т я. Хорошо, скажу. Ты бы, голубчик, пришел завтра.

М у ж и к. Главная причина, никак не способно. То есть так нужно, такая нужда!

К а т я. Ты бы на кухню пошел.

М у ж и к. Может быть, будет милость какая? Уж я тут подожду. *(Стоит и тупо смотрит на окна помещичьего дома.)*

М и х а и л *(негромко)*. Он своих денег просит, потому и стоит без шапки.

Детям обоим неловко. Они едят ягоды и говорят вполголоса.

К а т я. У нас денег мало, а ягод много. Ешь — не хочу.

М и х а и л. Вы можете продавать ягоды.

К а т я. Да неужели?

М и х а и л. Правда, можете.

К а т я. Представь себе, мы так и делаем! Мы даже грибы продаем. Да толку мало, и денег мало. Только, по-моему, лучше много ягод, чем много денег.

Мих а и л *(с улыбкою)*. Ну, едва ли!

К а т я *(убежденно)*. Правда! Ты сам подумай: если у тебя много ягод, ты их можешь есть когда хочешь и сколько хочешь.

М и х а и л *(улыбаясь)*. Мило!

К а т я. А если у тебя много денег, а хочется просто-напросто ягод, простых, лесных, садовых, так их не всегда и на деньги купишь.

Оба смеются, так, просто, не ее словам, а тому, что весело.

М у ж и к *(угрюмо и негромко)*. Смейся, смейся!

Катя хмурится и смотрит на мужика сердито. Мужик пятится в сад.

IV

Из дома выходит суетливою и взволнованною походкою Рогачев и досадливо говорит мужику.

Р о г а ч е в. Ты все еще здесь?

М у ж и к. Куда ж мне идти! Я за своими деньгами пришел. Идти мне некуда.

Р о г а ч е в *(растерянно повторяет)*. Он все еще здесь! Нет, вы на него поглядите!

М у ж и к. Явите божескую милость.

Р о г а ч е в. Экземпляр! Чудовище обло, огромно, озорно, стозевно и вояй.

М у ж и к. Явите божескую милость.

Р о г а ч е в. Удивительно бедный лексикон у этих людей! Твердит одно и то же с упорством, достойным лучшего применения.

М и х а и л *(насмешливо)*. Элоквенции не обучался. Не пожелал пройти полного курса гуманитарных наук.

Р о г а ч е в *(смотрит на Михаила досадливо и говорит)*. Что-то вы к нам уж очень зачастили, Миша.

М и х а и л. Что ж, вам жалко малины? Или крыжовника?

Катя смотрит на Михаила укоризненно и качает головою.

Р о г а ч е в. Удивительный у вас вкус к резкостям, Миша!

М и х а и л *(густо краснея)*. Извините.

Рогачев. Не можете же вы серьезно думать, что мне жалко какой-то там малины! Какие глупости! А кстати, Миша, не найдется ли у вас три рубля? Сумма, из-за которой меня преследует этот настойчивый гражданин.

Катя *(краснея, с укором)*. Папа!

Михаил. Я с удовольствием. *(Хочет вытащить кошелек.)*

V

В это время из дома стремительно выходит Рогачева. Это — невысокого роста дама, наклонная к полноте. Чопорная, важная и трогательная. Лучеобразные морщинки в углах ее глаз и весь склад ее лица говорят о доброте бестолковой и бесполезной. А все ее движения, связанно-величественные и совсем не идущие к ее коротенькой и благодушной фигуре, показывают, что она заряжена большим количеством самомнения и что она очень уверена в своем дворянском превосходстве над людьми иных положений. Но так как она одета с большим вкусом, то ее претензии кажутся оправданными и вся она производит впечатление любезной и серьезной барыни. Она любит и умеет занимать деньги, — делает она это с истинно барскою непринужденностью. Вообще, когда она просит чего-нибудь, то кажется вполне естественным и несомненным ее право на то, чтобы все ей помогали и услуживали.

Михаил *(вставая и кланяясь)*. Здравствуйте, Клавдия Григорьевна.

Рогачева *(очень сухо)*. Здравствуйте, молодой человек. Давно не видались. *(Мужику.)* Ты все еще здесь?

Мужик. Явите...

Рогачева. Нахал!

Мужик. Божескую милость.

Рогачева *(стремительно подходя к Михаилу)*. Нет ли, Миша, у вас трех рублей, заплатить этому нахалу?

Михаил *(сконфуженно вынимает кошелек и говорит)*. Да, вот у меня есть как раз одна трехрублевка.

Рогачева *(любезно)*. Пожалуйста. Ну вот, большое вам спасибо, Миша. Завтра я вам непременно отдам. Константин Федорович, вот возьми, отдай этому субъекту. *(Уходит так же стремительно, как и пришла.)*

VI

Рогачев рассматривает трехрублевку с некоторым сожалением: надо отдать.

К а т я. Давно ли, папа, ты получил сто двадцать рублей, а уж опять у тебя нет денег.

Р о г а ч е в. Сто рублей — не деньги. Это — маленькие деньги. Вот три рубля, когда их нет, вот это — большие деньги. Ну, гражданин Аким, получай, твое счастье.

М у ж и к *(благоговейно принимая деньги негнущимися, корявыми пальцами, бормочет).* Спаси тебя Господь! Дай тебе Господи доброго здоровья!

Рогачев, посвистывая и помахивая тросточкою, уходит в дом.

(Кланяясь Кате.) Спаси тебя Христос, барышня! Дай тебе Господи доброго здоровьица и женишка хорошего. *(Неторопливо уходя, бормочет.)* Жрет ягоды с лоботрясом.

VII

К а т я *(спрашивает Михаила).* Ты последние деньги отдал?

М и х а и л. Да мне сейчас не нужно

К а т я *(ласкаясь к Михаилу, говорит).* Миша, скажи, что ты во мне любишь? Что ты больше всего любишь?

М и х а и л. Твой смех. Он точно золотой колокольчик.

К а т я *(тихо).* А еще что?

М и х а и л. Твою радость. Ты рада жизни, и солнцу, и ветру, и дождику рада, — ну всему, всему. И когда ты приходишь, все вокруг звенит и смеется от радости.

К а т я *(еще тише).* А еще что?

М и х а и л. А еще твои босые ножки. Они такие загорелые и такие тонкие, как у лесной царевны, летающей по воздуху на легких-легких

крыльях. А когда она идет по земле, былинки и песчинки приникают к ее ногам, и целуют ее босые ноги, и шепчут ей с кроткою, нежною любовью: «Ты — наша, ты — земная, но когда ты с нами, земля наша превращается в земной рай, невинный и счастливый».

Катя улыбается мечтательно и весело.
Михаил тихо привлекает ее к себе. Они целуются долго и нежно.

Михаил *(спрашивает)*. А ты, Катя, что во мне любишь?

Катя *(отвечает весело)*. Я? Что люблю? Вот придумал. Да я все люблю.

Михаил. А что-нибудь особенно любишь?

Катя *(улыбаясь)*. Люблю.

Михаил. А что?

Катя. А вот то. Это самое.

Михаил. Ну скажи, не шали.

Катя *(смотрит на Михаила внимательно и говорит серьезно)*. Я люблю в тебе то, что ты — такой серьезный. И у тебя этот вихор упрямый такой милый. Ни за что его не пригладишь. Ты — серьезный и забавный такой.

Михаил *(улыбаясь)*. Что же тут забавного?

Катя. Ты иногда вот так нахохлишься и думаешь, как Марий на развалинах Карфагена. *(Смеется.)*

Михаил. Вот, вот. Так меня и нарисовала Лилит.

Михаил вынимает из бокового кармана в блузе записную книжку, достает из нее небольшой рисунок на листке бумаги и показывает его Кате.

Катя *(всматривается, весело смеется и говорит)*. Похож, похож, как две капли воды. *(Но вдруг она сердито хмурится и досадливо кричит.)* Противная Лилит! Как она смеет! *(Плачет.)*

Михаил *(лаская и утешая Катю, говорит)*. Ну полно, что ты! Что ж тут обидного!

К а т я. Как она смеет! Я никому не позволю тебя обижать. *(И вдруг опять смеется.)*

М и х а и л. Стрекоза!

К а т я. Пожалуйста! Я уж не стрекоза, мне уже шестнадцать лет.

М и х а и л *(улыбаясь, передразнивает).* Шешнадцать лет!

К а т я. Противненький, не смей смеяться надо мною!

М и х а и л. Если бы я был поэтом, я написал бы о тебе такую поэму, каких еще никто не писал.

К а т я. О, такую скучную? *(Смеется.)*

М и х а и л. Ах ты, стрекоза!

К а т я *(напевает).* Стрекоза, стрекоза, коза, коза! Стрекоза, рикоза, коза, аза! *(Кружится по террасе, легкая и веселая, и потом садится рядом с Михаилом и обнимает его.)*

М и х а и л. Как хорошо нам будет вместе с тобою, Катя! Я буду работать. Я буду строить, — мосты, дороги, высокие башни. Из железа, камня и стали я буду строить, как не строили раньше. Новая красота будет в том, что я построю, — красота линий таких легких и таких простых. Очарование взоров повиснет на паутине стальных канатов, и люди прославят имя мое, и я приду к тебе увенчанный и славный, — потому что все это я сделаю для тебя, сильный силою моей любви к тебе. Только моим ремеслом будет все это, что я построю из камня, железа и стали, — а призванием моим будет вместе с тобою строить жизнь новую, счастливую, свободную, не такую, как эта. Легкую жизнь и простую, как мост, повисший над бездною на паутине стальных канатов.

К а т я *(с восторгом).* Жизнь новую, счастливую, свободную! О, и я буду строить ее с тобою вместе! Как хорошо ты говоришь, Михаил! Да, это — правда, жизнь надо строить, как строят дома и храмы.

М и х а и л *(взволнованно ходит по террасе, потом останавливается перед Катею и говорит).* По закону мы уже могли бы повенчаться.

К а т я *(грустно).* Они смеются.

М и х а и л. Катя, ты еще поговори со своими родителями...

К а т я. Говорила.

М и х а и л *(продолжает)*. И, как только я поступлю в институт, так мы и повенчаемся.

К а т я. Говорила. Они только смеются. Да ведь и твои родители против.

Они оба грустны. Проходит краткий миг печального молчания.

М и х а и л *(задумчиво смотрит на аллеи сада и говорит)*. Сегодня я сам скажу. Будь что будет. А если откажут, мы умрем. Да?

К а т я *(отвечает ему тихо)*. Да. А ты принес яд?

М и х а и л. Да, принес.

К а т я *(боязливо и задумчиво)*. Мне кажется, что я никогда не умру.

М и х а и л. Нет, уж, верно, придется нам умереть.

К а т я. Скорее умру, чем тебя разлюблю. А он хорошо действует, твой яд?

М и х а и л. Действует моментально. Не успеешь проглотить, и уж готово.

К а т я. О! Это не хорошо!

М и х а и л. А ты бы хотела долго мучиться?

К а т я. А вдруг они увидят, что мы умираем, и раскаются, и согласятся! Тогда можно принять противоядие и живо-живо повенчаться, чтобы они и опомниться не успели. А если моментально, так это неудобно.

М и х а и л. Одно из двух, — или умирать, так уж серьезно, или так только слова говорить.

Катя молча плачет.

Что же ты плачешь?

Катя молчит.

(Ревниво.) Тебе жалко расстаться с Суховым?

К а т я. Миша, ты на меня не сердись. Ведь умирать-то всякому страшно, так как же не поплакать!

Катя плачет. Михаилу жалко ее. Утешает, лаская тихо и молча.

VIII

Внезапно входит Рогачева. Михаил вздрагивает, вскакивает, отходит от Кати, задевает за стул и роняет его.

Р о г а ч е в а. Миша, у вас невозможные манеры.

М и х а и л. Я не очень об этом сожалею. Я не готовлюсь быть светским шаркуном, как этот развязный и глуповатый Сухов.

Р о г а ч е в а *(неприязненно)*. Кем же вы хотите быть? Охотником в американских прериях? как у Майн-Рида или у Купера?

М и х а и л *(сухо)*. Нет, я просто хочу быть полезным и дорогим работником. Я буду инженером.

Р о г а ч е в а. Ну что ж, это выгодно. Только до этого вам еще далеко. Учиться много надо. А Сухов наверное будет предводителем дворянства. Он очень милый, и вам не следует бранить его.

IX

Входит Рогачев. Он смотрит на Мишу с притворным выражением удивления, и говорит.

Р о г а ч е в. А я думал, Миша, что уж вы ушли.

М и х а и л. Мне надо с вами поговорить.

Р о г а ч е в. Послушаем. *(Садится и закуривает папиросу.)*

Вид у него легкомысленный и веселый.

М и х а и л. Я люблю Катю.

Р о г а ч е в. Утешил!

К а т я *(решительно)*. И я люблю Михаила.

Р о г а ч е в а *(укоризненно)*. Очень хорошо, нечего сказать! Есть чем похвастаться!

Р о г а ч е в. А сколько вам лет, Миша?

М и х а и л. Восемнадцать. Я, правда, еще очень молод. Но это ничего не значит. Я уже и теперь зарабатываю уроками. Через год я буду студентом. Студенты многие женатые. Одним словом, я прошу Катиной руки. Мы подождем год, и когда я буду студентом, мы повенчаемся.

Р о г а ч е в а. Восхитительно!

Рогачев и Рогачева смеются.

Р о г а ч е в. Ромео и Юлия, трогательная драма!

Р о г а ч е в а. Вы, Миша, доучитесь сначала, а уж потом думайте о таких глупостях. Вы еще мальчик и ничего не имеете.

М и х а и л. Я люблю Катю и не могу без нее жить.

Р о г а ч е в а. Она еще совсем девочка, и вам не следует кружить ей голову. А тебе, Катя, стыдно!

К а т я. А тебе, мама, не стыдно было, когда ты полюбила папу?

Р о г а ч е в а. Так ведь мне тогда не шестнадцать лет было!

М и х а и л. Значит, вы мне отказываете?

Р о г а ч е в. А вы что думали? И вы уж лучше бы к нам не ходили. Хорошего мало.

К а т я. А три рубля у него взяли!

Р о г а ч е в а *(строго)*. Катя, не говори глупостей! Его деньги не пропадут. Ну пойдем, Константин Федорович. С ним нечего разговаривать, надо сказать его родителям.

Рогачев и Рогачева уходят.

X

Катя и Михаил смущенно смотрят друг на друга. Заря пылает на небе и бросает пламенеющий отсвет на их смущенные лица.

К а т я *(растерянно)*. Ну вот, конечно. Что же нам теперь делать? Да уж, видно, одно остается.

Из-за сцены слышен голос Чернецова.

Ч е р н е ц о в. Михаил здесь?

XI

Входят Чернецов и Чернецова

Чернецов — земский врач Ростом мал. Худощавый и весь серенький. Его крылатка слишком широка. В руках у него толстая суковатая палка. Он носит синие очки. Курит очень много. Угрюм, вдумчив и принципиален. Любит играть в шахматы. Веселенькие стишки, которые он любит цитировать, странно противоречат угрюмости его лица. Говорит низким голосом, а стихи читает искусственным басом.

Чернецова — тоже, как и муж, мала и суха. Волосы, уже начинающие седеть, у нее острижены довольно коротко и вьются. Она носит светло-синие очки. Курит еще больше, чем муж, и еще принципиальнее его. Одета всегда в черном. На голове — канотьерка с черною лентою. Смотрит серьезно и вдумчиво, и когда она слушает кого-нибудь молча, то кажется, что она не одобряет того, что слышит.

Катя и Михаил смущенно молчат.

Ч е р н е ц о в. Ну вот и я. Здравствуйте, Катя. Ваш папа дома?

К а т я. Здравствуйте, Алексей Иванович. Папа дома. Здравствуйте, Мария Петровна.

Ч е р н е ц о в а. Мой Алексей Иваныч дня без шахматов прожить не может.

Ч е р н е ц о в.

Жар свалил, повеяла прохлада.
Длинный день покончил ряд забот,
По дворам давно загнали стадо,
И косцы вернулися с работ.

Ч е р н е ц о в а. Я удивляюсь, Алексей Иваныч, что ты так любишь цитировать буржуазные стишонки. Точно ты не знаешь настоящих, хороших стихов.

Ч е р н е ц о в. Иду я сегодня утром мимо речки и вижу очень живописную картину: Екатерина Константиновна, приподнявши юбочки, переходит речку вброд. Коленки открытые, на лице блаженство, в руке большой букет цветов, и вообще очень живописно.

Ч е р н е ц о в а. Алексей Иванович, ты должен был отвернуться.

Ч е р н е ц о в. Принципиально ты права. Я и отвернулся. Сначала я думал, что это — глупенькая Лилит. Гляжу, — а это — наша умненькая Катя.

Катя убегает, смеясь.

XII

Ч е р н е ц о в а. А ты, Михаил, все с Катею?

М и х а и л. Я ее люблю.

Ч е р н е ц о в. Напрасно. Ты — мальчик умный, а она — девочка пустенькая, малоразвитая и буржуазная.

М и х а и л. Она — прелесть и один восторг! И какая же она буржуазка! Она не похожа на кисейную барышню, и из нее выйдет хорошая пролетарка.

Ч е р н е ц о в. Из чего ты это заключаешь?

М и х а и л. Да вот, например, она босая все лето ходит.

Ч е р н е ц о в. Ты, Михаил, очень наивен.

Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть,
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.

М и х а и л. Она посмотрит, — и все словно радуется. Да нет, вы не можете этого понять.

Ч е р н е ц о в. Где уж нам!

О мечтатель! Наслаждайся
Блеском красоты,

Но остерегайся
Углекислоты.

Михаил. Почему же углекислота?

Чернецов. Да уж так написано. Из песни слова не выкинешь.

Михаил. Я ее люблю.

Чернецов. Углекислоту? Напрасно.

Михаил. Я люблю Катю.

XIII

Катя возвращается и несет цветы в двух зеленых вазах из обожженной глины.

Чернецова. Откуда у вас эти цветы? У вас таких, кажется, не было.

Катя. Я стащила у Лунагорских.

Чернецова. Стащили! Разве это можно!

Катя. Ну, они не рассердятся.

Чернецова. А вы признаете частную собственность на продукты труда?

Катя. Да ведь и вы, Мария Петровна, против частной собственности. Ведь вы — марксистка.

Чернецова. Я отрицаю частную собственность только на орудия производства, а не на продукты труда.

Катя. Все равно.

Чернецова. Далеко не все равно.

Чернецов.

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Чернецова. Меня возмущает эта беспринципность.

К а т я. Лунагорские очень богаты. Что им сколько-нибудь цветочков!

Ч е р н е ц о в а. Легкомыслие и полнейшая беспринципность. И зачем вы всегда заставляете Михаила быть с вами?

К а т я. Он сам.

М и х а и л. Я сам.

Ч е р н е ц о в а. Видите, как он повторяет ваши слова.

К а т я. У него и своих слов много.

Ч е р н е ц о в а. Он еще совсем мальчик, и вы напрасно кокетничаете с ним.

К а т я *(с реверансом).* Я еще тоже девочка. Мне где же еще кокетничать! Я едва умею лепетать.

Ч е р н е ц о в а. Вы, Катя, ужасно легкомысленны, и в вашем возрасте это даже странно. Можно не удивляться вашей беспринципности, — это не от вас зависит, — но такое легкомыслие!

К а т я *(делает реверанс и уходит через сад. Проходя за куртинами, говорит, как цыплят скликая).* Принцып, цып, цып, цып!

М и х а и л. Катя, что ты делаешь?

К а т я. Мои принципы зову, — может быть, они найдутся. Цып, цып, цып, принцип! Цып, цып, цып! *(Приплясывая и напевая эти слова, убегает в глубину сада.)*

Ч е р н е ц о в а. Она плохо воспитана.

М и х а и л. Мама, я с тобою не согласен. Воспитана-то она не плохо, — только совсем не по-нашему.

XIV

Из дому выходят Рогачевы. Здороваются с Чернецовыми. Слышны обычные фразы приветствий.

— Здравствуйте, Мария Петровна.

— ...Клавдия Григорьевна.

— ...Алексей Иваныч.

— ...Константин Федорович.

— Как поживаете?

— Как ваше здоровье?

— Благодарю вас, ничего.

— Отлично, благодарю вас.

— Что новенького?

— Ну, что у нас может случиться нового!

XV

Возвращается и Катя. Улучив минуту, когда старшие, занятые обрядом приветствий, на них не смотрят, Михаил и Катя торопливо целуются. Эти беглые поцелуи особенно заманчивы для них, потому что в них есть элемент опасности.

Теперь, когда родители Михаила и Кати сошлись вместе, ясно выступает разница между этими двумя по-разному интеллигентными семьями, семьею помещиков и семьею интеллигентных пролетариев. Все легко и даже легкомысленно у Рогачевых, — все тяжеловесно, даже веселость, у Чернецовых.

Рогачева *(язвительно)*. Покорно вас благодарю, Мария Петровна.

Чернецова. За что же это?

Рогачева. За сынка.

Рогачев. Ваш сынок обнаруживает легкомысленные поступки.

Чернецов. Это прискорбно. А в чем дело?

Рогачев. Да вот, молодой человек просит руки нашей Кати.

Чернецовы и Рогачевы смеются и укоризненно смотрят на Михаила и Катю. Говорят все вместе.

Чернецов. Принципиально я против ранних браков.

Чернецова. Вы меня простите, Клавдия Григорьевна, я вас уважаю, но я думаю, что моему сыну надо искать невесту из пролетарской семьи.

Рогачева. Семья тут ни при чем, Мария Петровна.

Чернецов. Рано, рано, Михаил.

Р о г а ч е в. У него ни кола ни двора, — вы меня извините, Алексей Иванович, — а за нею что? земля заложена и перезаложена.

Р о г а ч е в а. Нынче уж нет детей. Такой мальчик, — и вдруг! Извольте радоваться!

Ч е р н е ц о в а. Совсем еще девочка, — и вдруг!

Р о г а ч е в *(примирительно)*. Это — детское. Не стоит об этом спорить. Сыграемте лучше в шахматы, Алексей Иванович.

XVI

Смеясь и разговаривая все вместе, Рогачевы и Чернецовы уходят в дом.
Катя плачет. Михаил что-то шепчет ей.
По дорожкам сада медленно проходит Лилит, девочка лет пятнадцати, высокая и тонкая. Лицо у нее смуглое, худое, некрасивое. Глаза очень большие, черные, с длинными ресницами; брови черные, лежат красивыми дугами. На голове цветы, белые и желтые, полукругом положенные спереди. Пестрая и странная, но очень красивая одежда, короткая, до колен открывающая стройные, босые, загорелые ноги. Движения у Лилит медленные и странные. Она почти никогда не смеется.

Л и л и т *(подходит к террасе, всматривается и говорит без выражения)*. Здесь плачут.

К а т я. Лилит пришла.

Отирает слезы и сходит в сад. Целуется с Лилит. Они тихо разговаривают.

XVII

На террасу выходит Чернецов и говорит Михаилу.

Ч е р н е ц о в. Нет ли у тебя, Михаил, трех рублей?

М и х а и л *(в замешательстве)*. Трех рублей?

Ч е р н е ц о в *(смущенно)*. Видишь ли, принципиально я, конечно, против того, чтобы брать у тебя деньги, заработанные тобою. Но,

видишь ли, вышло так, что мне до зарезу надо где-нибудь достать три рубля. Такой случай. Нет ли у тебя трех рублей?

Пренебрегая капиталом,
Искал сокровищ для души,
Всю жизнь стремился к идеалам,
А увидал одни шиши.

Так-то вот, — и не хочешь, да попросишь.

Михаил *(смущенно вынимает кошелек и говорит).* Нет ничего. Вот, пусто.

Чернецов. На нет, конечно, и суда нет. Но только я не понимаю, куда ты тратишь. У тебя вчера еще были деньги.

Михаил. Папа, ты забываешь, что у меня могут быть свои потребности.

Чернецов. Потребности! Довольно странно. Тебе еще рано. И ты бы мог со мною посоветоваться, прежде чем иметь потребности. Если не доверяешь мне как отцу, то посоветовался бы со мною как с врачом.

Михаил *(краснеет багряно и говорит звенящим голосом).* Папа, ты меня не так понял. Это — цинично, то, что ты говоришь.

Чернецов. Ну, ну, не кипятись, пожалуйста. Так нет? Этакая досада! *(Идет к двери, бормоча.)*

Ах, иной у неба
Просит только хлеба,
А другому нужен
И обед, и ужин.

(В дверях останавливается и говорит.) А там Сухов приехал. Не люблю этого жирного франтика. Зубы скалит, все принципиальное осмеивает, а у самого только два принципа, — не зевай и угождай сильным мира сего. Карман себе набьет и карьеру сделает. Ловкач! *(Уходит.)*

XVIII

К а т я *(проходя с Лилит мимо террасы, услышала эти слова и опечалилась. Говорит тихо)*. Опять Сухов.

Михаил на террасе один задумчиво следит за Катею.

Л и л и т *(спокойно отвечает Кате)*. Веселый и любезный Сухов.

К а т я. Он веселый и умеет рассмешить, а мне с ним невесело. Он милый, но я его не люблю.

Л и л и т. Сухов — милый? Нет, он — злой хищник. У него уши мохнатые, глаза зеленые, а когти он прячет.

К а т я. И так ты его нарисовала?

Л и л и т. Да.

К а т я. Покажи.

Л и л и т. Хорошо. У меня дома. Приди. Я покажу.

К а т я. Ты и на меня нарисуешь карикатуру? Я тебя боюсь.

Л и л и т. Я не страшная.

К а т я. А зачем ты карикатуры рисуешь на Михаила?

Л и л и т *(останавливается перед Катею, становится перед нею на колени и говорит просительно)*. Прости! *(Смотрит на Катю снизу вверх пристально и стоит в позе молящей.)*

К а т я *(испугана; говорит)*. Что ты делаешь, Лилит! Зачем это! Встань!

Л и л и т. Прости.

К а т я *(со страхом)*. А ты не будешь на Михаила карикатур рисовать?

Л и л и т. Не буду. Прости.

К а т я *(торопливо и с волнением говорит)*. На меня можно, на всех можно, на него нельзя.

Л и л и т. Не буду. Прости.

К а т я. Я тебя прощаю, Лилит.

Л и л и т. Благодарю. *(Поднимается медленно и целует Катю.)*

К а т я. Ты странная. Ты меня испугала. У меня сердце бьется. Зачем ты стала на колени?

Л и л и т. Я не знаю. Ты не сердись.

XIX

За дверью на террасу слышен в доме веселый и шумный разговор. Выходят на террасу, продолжая разговаривать, Рогачева и Сухов.

Сухов — невысокого роста молодой человек, довольно полный, жизнерадостный. Лицо красивое, веселое и невыразительное. Одет элегантно. У него большое и доходное имение в этой губернии. Где-то служит; служба у него очень необременительная, но видная. Имеет все шансы на то, что на ближайших выборах пройдет в предводители дворянства.

С у х о в *(продолжая).* Ну и можете себе представить, окатило буквально с головы до ног. *(Хохочет.)*

Р о г а ч е в а *(со смехом, ласково).* Какой кретин! Боже мой, какая глупость!

Видно, что она сама влюблена в Сухова, — так нежно смотрит на него. Михаил, выходя из своей задумчивости, смотрит на Сухова мрачно.

С у х о в *(здороваясь с Михаилом).* А, строитель Сольнес! Серьезен и строг, как всегда.

М и х а и л. Вы, должно быть, любите дразнить глупых птиц. Но я вам не индюк.

С у х о в. Охотно верю вам на слово. Нет людей серьезнее гимназистов. Жаль, жаль, что вы еще не целый инженер.

М и х а и л. Почему вы об этом жалеете?

С у х о в. Кое-что строю. Так, пустячок, больше для забавы и для извода денег.

Р о г а ч е в а. Ну, это вы так только говорите. Вы хоть и молодой, а отличный хозяин.

Сухов и за ним Рогачева спускаются с террасы в сад. Лилит отходит в глубину сада и останавливается в тени большого дерева. Катя идет навстречу Сухову.

С у х о в. А вот и Катя. А мы вас ищем, ищем. Ну, дайте ваши лапки. Можно поцеловать?

К а т я. Нельзя.

С у х о в. Нет, мне-то можно. *(Целует ее руки.)*

К а т я. Вы дерзкий. Я вам говорю, нельзя.

С у х о в. А я говорю, можно. Вы, Катя, моя невеста, а я — ваш жених. Это решено и подписано, правда?

К а т я. Смотрите, не ошибитесь.

С у х о в. А вы смотрите, не занозите ножки.

Р о г а ч е в а. Она у меня еще такой наивный ребенок.

С у х о в *(глядя на Лилит)*. Откуда ты, прелестное дитя?

Р о г а ч е в а. Это — наша соседка, Лилечка Лунагорская. Славная девочка, хотя немножко избалованная.

С у х о в. А, Лилит! Да мы с вами знакомы.

Л и л и т *(стоя в отдалении, говорит очень спокойно)*. Я вовсе не девочка.

С у х о в *(со смехом)*. Не девочка? А кто же ты? Мальчик в юбочке?

Л и л и т. Я — сказка. Смотри, какие у меня широкие глаза. Я — сказка лесная, лунная.

С у х о в. Иди к нам.

Л и л и т. Нет, я уйду в лес. Я тебя боюсь. *(Убегает.)*

XX

С у х о в. Очаровательная дикая девочка. Такая некрасивая, но интересная очень! Странная.

Р о г а ч е в а. Она очень мило рисует.

М и х а и л *(говорит с тихим злорадством, притворно-любезным голосом)*. Лилит и на вас, Владимир Павлович, карикатуру нарисовала: глаза зеленые, уши острые и мохнатые, зубы острые, а когти спрятаны.

С у х о в *(хохочет и весело говорит)*. Вот так красавец!

Р о г а ч е в а *(досадливо краснея)*. Какая дерзкая, избалованная девочка! Я бы ее... Да вы, Миша, сочинили?

М и х а и л. Нет, я сказал правду. Я — плебей и не усвоил благовоспитанной манеры лгать.

С у х о в *(наконец почувствовал яд насмешки и рассердился, но не показывает этого и говорит спокойно и любезно)*. Все это мило в малом количестве и на большом расстоянии. Смотрите, Катя, не подражайте очень этой дикарке. Не стоит, милая Катя.

К а т я *(с досадою)*. О, милая! Я не хочу быть для вас милою.

С у х о в *(говорит тоном легкой шутки)*. Милые бранятся, только тешатся. А не стоит, Катя, потому, что вас-то я не отпущу в лес.

М и х а и л. Вы испугали милую сказку Лилит, и жизнь моя, Катя, боится вас, потому что вы — хищник.

Рогачева строго смотрит на Михаила.

С у х о в. Какое красноречие! Вы, молодой человек, слишком трагически смотрите на вещи.

М и х а и л. А вы, зрелый человек, смотрите на них драматически.

С у х о в. Ого, драматически! Я думал, вы скажете, — комически. Я, мой друг, и драмам, и трагедиям предпочитаю оперетку. Я хочу быть лет через двадцать министром и потому всего усерднее хожу в балет. Дррраму предоставляю вам, серьезнейший из гимназистов.

М и х а и л. Теперь вы ломаете фарс, а драма ваша еще впереди.

С у х о в *(притворяясь испуганным)*. Ой, ой, ой, не пугайте! Какие страсти!

Р о г а ч е в а *(любуясь Суховым)*. Вас не испугаешь.

С у х о в. Боюсь очень огорчить вас, Катя, но должен все-таки вам сказать, что сегодня я никак не могу пробыть у вас долго. Лучше и не просите...

К а т я. Да я и не прошу.

С у х о в. ...Сейчас уезжаю.

К а т я. Я очень рада. Приезжайте поскорее туда, куда-нибудь от нас подальше. *(Показывает рукою вдаль и смеется.)*

Р о г а ч е в а. Катя, как это грубо! Как тебе не стыдно!

К а т я *(досадливо)*. Очень стыдно, — только того, что я никак не могу его отвадить. Он ни на что не обидится. Что ему ни скажи, он притворится, что услышал любезность. Дипломат! Быть ему послом в Париже!

Сухов хохочет.

Р о г а ч е в а *(говорит укоризненно и строго)*. Катя! Ты себе очень много позволяешь.

С у х о в. Не будем ссориться, Катя. Ведь мы друзья. И вы угадали, что меня вам не обидеть. Очаровательные дерзости идут к вашей сельской простоте и к загорелым, как у крестьяночки, ручкам и ножкам. А будет время, и к вам так же пойдут любезные слова, которые будет мило говорить жена предводителя.

К а т я *(запальчиво)*. Мой, он не будет предводителем!

С у х о в. Или, по крайней мере, не долго останется им. Нет, Катя, будущее мы оставим в покое, а теперь лучше скажите мне, что вы хотите, чтобы я вам привез. Ведь и маленькие деревенские девочки с босыми ножками любят маленькие подарочки. Я приеду послезавтра.

XXI

Тихо разговаривая, на террасу выходят Рогачев и Чернецов.

К а т я *(смотрит на Сухова, угрюмо хмуря брови, и после недолгого молчания говорит быстро и невесело)*. Привезите мне какую-нибудь очень веселую книжку. Такую, которую можно дать даже умирающему, чтобы он смеялся.

Сухов смотрит на нее, не понимая, и не знает, что сказать.

Р о г а ч е в а *(говорит строго)*. Катя, не говори глупостей.

Ч е р н е ц о в *(вполголоса)*.

Вынимает новое
Он серебрецо,
Но она суровое
Делает лицо.

С у х о в. Стишки собственного сочинения?

Ч е р н е ц о в. Нет, я этим не занимаюсь.

Искать по старым книжкам
Веселеньких стишков.
Из папки ребятишкам
Вырезывать коньков,
Плясать, да так, чтоб скука
Бежала с чердака, —
Ой-ли, вот вся наука
Бедняги чудака.

(Произносит и эти стихи таким унылым басом, что все улыбаются.)

С у х о в. Веселенькие стишки, правда! Ну что ж, Катя, я поищу вам такую книжку. Клавдия Григорьевна, позвольте откланяться. Мне пора.

Р о г а ч е в. Нет, нет, как хотите, без ужина я вас не отпущу. Чем Бог послал.

Р о г а ч е в а. Пожалуйста, Владимир Павлович! Когда еще вы домой попадете! У нас уж накрыто. Пожалуйста!

Ч е р н е ц о в. А мы к домам.

Рогачев и Рогачева, увиваясь около Сухова и вместе с ним уходя в дом, не замечают Чернецова.

XXII

На террасе остаются Чернецов и Михаил.

Ч е р н е ц о в. Пора, пора, Михаил, пора домой.

М и х а и л. Я ухожу.

Ч е р н е ц о в *(идет к двери в дом и говорит)*. Попрощаться надо с хозяевами. Видишь, и Катя ушла.

И она, надев мантилью,
Затворила свой балкон;
Закурив свою манилью,
Спать уходит нежный дон.

Так-то, братец, пора.

Уходит в дом, и за ним уходит туда же Михаил.

XXIII

Холодеющий воздух тих и ясен.
Через сад медленно проходит Лилит. В догорающих лучах зари лицо ее пламенеет. Капельки росы дрожат на ее ногах. Лилит останавливается у террасы за липою. Из дому выходят Чернецов, Чернецова и Михаил и идут через сад.

Чернецов *(говорит тихо)*. Не люблю этого франта. Не люблю. И ты его не любишь, Михаил. Ты из ревности, а я принципиально не люблю.

Чернецова. Принципиально говоря, этот субъект и не может быть иным. Это — естественный продукт своей среды.

Чернецов. Ты не совсем права. Из этой среды все ж таки выходили...

Лилит тихо подходит к Михаилу, — он идет позади своих родителей; Лилит дотрагивается до его руки. Михаил останавливается. Чернецов и Чернецова уходят; они, увлеченные своим разговором, не заметили, как подошла Лилит, и не видели, как отстал от них Михаил.

XXIV

Тихо спрашивает Лилит.

Лилит. Михаил, ты ее любишь?

Михаил *(отвечает)*. Люблю.

Лилит. Ты ее любишь. Я сегодня стояла перед нею на коленях. Я поцелую, склонясь до земли, ее ноги. Не бойся, Михаил, я не убью ее. Я не ревную. Все, что ты любишь, для меня свято. *(Тихо уходит.)*

Михаил *(зовет негромко)*. Лилит!

Лилит не отвечает и уходит.

Лилит! Какая ты странная!

XXV

Заря догорела. Сумерки сгущаются.
Из дому выходит Катя.
В прохладе и прозрачности ясного вечера отчетливо слышит Михаил, как скрипнула ступенька террасы, как на дорожке шелестят песчинки под босыми Катиными ногами. Сладостно холодея от восторга и печали, Михаил улыбается Кате.

Катя *(молча обнимает Михаила, плачет и говорит)*. Я не разлюблю тебя никогда, никогда. На жизнь и на смерть мы с тобою вместе.

Михаил. Вместе. Умрем вместе. Я не могу жить без тебя. Лучше умереть. Все в этой жизни так противно.

Катя. Я не хочу умирать, Миша!

Михаил. Что же нам делать?

Катя. Я еще так мало жила. Я еще хочу жить. Не надо смерти. Брось тот яд, который ты принес.

Михаил. Катя, разве страшно умереть вместе? Как умер этот день, и мы умрем. Разве тебе страшно умереть со мною?

Катя. Я хочу жить. Счастья хочу и победы над жизнью. Мы молоды, и сильны, и победим. Разве не мы хозяева жизни? Разве не нам принадлежит завтрашний день, когда мы будем сильны и свободны?

Михаил. Катя, ты же сама говорила, что нам надо умереть! Соглашалась со мною. А как до дела дошло, так ты и на попятный двор. Трусиха!

Катя. Я не трусиха. Умереть не страшно. Никакой храбрости не надо. Для жизни больше надо храбрости.

Видно, что Михаил обиделся. Тяжелая пауза. Катя в замешательстве. Порывается сказать что-то и не знает, как начать.

Михаил *(долго и сурово молчит. Наконец говорит угрюмо)*. Я могу и один.

Катя *(плача)*. Глупый, не надо! Не надо умирать. Разве для того пришли мы на эту землю, чтобы умереть так рано? А где же та красота, которую ты должен повесить над безднами на паутине из стальных канатов? А где та жизнь, новая, прекрасная, свободная, счастливая, которую мы с тобою должны создать? Михаил, прекрасный мой, мы должны жить. *(Склоняется к его коленям и целует его руки.)*

На сцене совсем стемнело.

Михаил. Тогда уйдем отсюда вместе.

Катя. Нам еще учиться надо. Куда же мы пойдем? Я тебе только мешать буду. В годы борьбы и достижений ты должен быть один и работать, а я буду ждать. Тридцать лет готова ждать, как в английском романе. *(Плачет и смеется.)*

Михаил. Я поступлю в институт, ты на курсы.

Катя. Я — маленькая глупая девочка. Книги — хорошо. Ах, как много в них хорошего! Учиться, узнавать — какая в этом радость! Но это и такой большой, большой труд. Если я буду сидеть у тебя на коленях, как же ты будешь учиться? Мы будем ждать.

Михаил. Чего ждать?

Катя. Пока мы будем сильными.

За сценою слышен голос Чернецова.

Чернецов. Михаил, где же ты?

Михаил. Я буду сильным. Я буду сильным. Я вернусь к тебе победителем. Если мы не сумели умереть, мы будем жить — и победим. *(Порывисто целует ее и убегает.)*

XXVI

Катя *(плачет долго и напевает тихо, сидя на ступеньке террасы и покачиваясь).*

Если б, сердце, ты лежало
На руках моих,
Все качала бы, качала
Я тебя на них,
Словно мать дитя родное
С тихою мольбой, —
И затихло б, ретивое,
Ты передо мной.
Но в груди моей сокрыто,
Заперто в тюрьму,
Ты доступно, ты открыто
Одному ему.

XXVII

Входит Лилит. Говорит негромко.

Лилит. Катя, не плачь. Не стоит плакать. Хочешь, я тебя утешу?

Поднимается луна. Катя быстро встала со ступеньки и прислушивается. Тихий голос Лилит кажется ей чужим и незнакомым.
Робко и тихо спрашивает Катя.

Катя. Кто это? Кто здесь?

Л и л и т. Это я, Лилит.

К а т я. Ах, Лилечка! Я тебя не узнала.

Л и л и т. Ты подремли, я тебя утешать буду, песенку спою.

К а т я. Чем ты меня утешишь?

Л и л и т. Смотри, какие у меня большие глаза, какие у меня тонкие руки. Смотри, какая сказка я, тихая, лесная. Сядь здесь на ступени и дремли. *(Усаживает Катю на ступеньки террасы, сама садится у ее ног и нежно гладит ее руки. Напевает тихо.)*

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы.
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй,
Рана не смертельна, вылечишься к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана, —
Лишь больное сердце не залечит раны.

(Склоняется тихо и целует Катины ноги.)

К а т я *(сидит неподвижно, как зачарованная, и говорит, — и страх слышен в ее голосе)*. Лилит, что ты делаешь? Не пугай меня, сказка моя милая, мечта моя лунная. Зачем ты целуешь мои босые ноги? Они в пыли.

Л и л и т. Ведь и я его люблю.

К а т я. Ты? Михаила? *(Быстро встает.)*

Л и л и т *(осталась у Катиных ног и отвечает ей)*. Да. А он на меня и смотреть не хочет. А ведь я же не плачу!

К а т я. О, ты его любишь! Ты смеешь его любить!

Л и л и т. Глупая, чего же ты сердишься? Ведь я тебе не мешаю. Люби его, люби моего милого.

К а т я. Ты не смеешь его любить! Он мой.

Л и л и т. И пусть будет твой. И возьми его. Я ведь ничего не требую. Я только люблю.

К а т я. Никому его не отдам.

Конец первого действия

Действие второе

I

Прошло четыре с половиною года. Конец декабря. Зимний день, морозный, белый, ясный. Рогачевы живут в городе, и Катя еще у родителей, хотя им и хочется поскорее выдать ее замуж.

Рогачевы влачат странное существование людей, проживающих последнее. Рогачев служит по выборам. Получает жалованье, которое кажется ему ничтожным. К службе он относится небрежно, да и ладить с людьми не умеет. Им недовольны и вторично не выберут.

Имение, конечно, в упадке, — обременено долгами, не раз назначалось к продаже, но пока Рогачевым удавалось кое-как спасать имение. Теперь окончательное разорение близко, и Рогачевы мечтают выдать Катю замуж за Сухова, надеясь, что он поможет им освободить имение хоть от части долгов.

Городская квартира Рогачевых обставлена старыми вещами, вывезенными из имения, дорогими и интересными. Нет нагромождения вещей, и вся обстановка обличает хороший, строгий вкус.

Катя выросла, похорошела. Ей уже двадцать лет. Она — сильная и здоровая девушка. Теперь она обвеяна мечтами и все время находится в мечтательно-эротическом настроении. Она уже не такая смешливая, как прежде, но все еще веселая и жизнерадостная. Ей жалко родителей и хочется спасти имение, но она верит в победу свою над жизнью.

Михаила она любит по-прежнему нежно. Темная страстность томит ее, но сближения с Михаилом она боится, — боится помешать ему стать сильным и свободным, истинным господином жизни.

Посредине комнаты Катя стоит одна. В ее руках красиво переплетенная книга, — собрание стихов Зинаиды Гиппиус. Стоя лицом к только что раздвинувшемуся занавесу, Катя говорит, читая название стихотворения.

К а т я. Любовь — одна. *(Прижимает открытую книгу к груди и смотрит прямо перед собою.)*

Мечтательная и немного испуганная улыбка на ее губах, и кажется, что стена перед нею развеялась и что она глядит в глаза многих, в темноте широкого театра ожидающих ее слов. Потом она опять поднимает раскрытую книгу и медленно, громко читает волнующие ее слова.

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,

Измены нет: любовь — одна.
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем, — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна, — любовь одна.
Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна,
Проходит жизнь... И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.
Лишь в неизменном — бесконечность,
Лишь в постоянном — глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И все ясней: любовь — одна.
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа верна,
И любим мы одной любовью...
Любовь одна, как смерть одна.

II

Р о г а ч е в а *(ничуть не изменившаяся за эти годы, выходит и говорит Кате).* Я думала, Катя, ты с кем-нибудь разговариваешь. А это ты стенкам стихи читаешь. Нашла занятие!

К а т я *(смотрит на мать, словно разбуженная, и говорит).* Каким стенкам? Разве там стена?

Р о г а ч е в а. А что же там?

К а т я *(мимо стен комнаты всматривается во что-то, чего не видит ее мать, делает широкий жест и говорит).* Там люди, там жизнь!

Р о г а ч е в а. Ну пусть там, за стеною, люди, — нам-то что до них! Много их, всяких людишек.

Катя рассеянно улыбается и опять стоит молча, не глядя на мать, всматриваясь во что-то далекое, — и кажется, что раскрываются перед нею неизмеримые дали жизни.

Рогачева бестолково и взволнованно мечется вокруг нее, заходит то с одной стороны, то с другой, старается заглянуть в Катино лицо сбоку, но почему-то не решается стать перед нею, между ее неподвижным взором и темными ее видениями. Наконец она говорит досадливо и робко.

Катя! Катя! Ну куда ты смотришь? Что ты в стену-то уставилась? Что мать пугаешь?

К а т я *(поворачивается к матери и говорит)*. А здесь мама, папа, милая старушка няня, — маленький мир. Маленький мир, но липкий. Глупое сердце привязчиво. Свой домик, свои вещицы, старые, милые, своя землица, — какое глупое сердце! Тропинки, по которым я босиком ходила, земля родная. Ах, маленький мир! Милый, тесный, замкнутый в себе. И для тебя, маленький, я должна что-то сделать, успокоить их, которые ждать не могут. Ты взял меня в плен и не выпускаешь.

Р о г а ч е в а. Стихов начиталась. Ах, Катя, Катя!

К а т я. Что, мама?

Р о г а ч е в а. Ты, Катя, похорошела, выровнялась. Тебе замуж пора выходить.

К а т я. Скучно, скучно, мама! И ты, мама, и отец, оба вы теперь только об этом со мною и говорите.

Услышав, что Катя говорит понятными ей словами, Рогачева успокоилась, села и говорит.

Р о г а ч е в а. Да как же не говорить-то, если это — правда! Конечно, пора! И есть за кого, слава Богу.

К а т я. Ах, старички мои милые, скучно мне с вами!

Во все время разговора с матерью Катя беспокойно переходит с места на место, то сядет, то опять встанет. Книгу она положила на стол, но иногда возвращается к ней, рассеянно перелистывает ее и опять оставляет. То вещь какую-нибудь переставит с места на место, то в зеркало посмотрится.

Р о г а ч е в а. Что ты, Катя, все твердишь, — скучно да скучно! Почему же тебе, Катенька, милая моя, с нами скучно уж так?

Катя. Да вот потому, что однообразные вы очень и слабые.

Рогачева *(начиная кипятиться, горячо говорит).* Что значит слабые? Чего же ты от нас хочешь? Что нам делать? Горы ворочать? Гор никто не ворочает.

Катя. Да, гор никто не ворочает. Вы — милые, но уж очень слабые.

Рогачева. Заладила одно — слабые! Вот обвинение странное!

Катя. Да я, мама, не обвиняю.

Рогачева. Не может же твой отец омужичиться и гроши из земли выколачивать, точно какой-нибудь кулак деревенский! У него не такой характер. Да он, наконец, не так и воспитан.

Катя *(рассеянно улыбаясь, говорит тихо).* Да, совсем не так.

Рогачева *(помолчавши немного и пытливо глядя на Катю, говорит мягким, убеждающим тоном).* Выходила бы ты, Катя, за Владимира Павловича. Человек он хороший, добрый, простой, сердечный. Стоит на хорошей дороге. Молод, богат. Тебя он любит.

Катя. Любит, любит! Ах, мама!

Рогачева. Всякое твое желание он исполнит. И отцу поможет обернуться. Сама знаешь, какие наши дела плохие. Того и гляди, продадут с молотка наше имение.

Катя. Захочу, выйду, захочу, нет. Зачем мне Сухов? Я Михаила люблю.

Рогачева *(наставительно).* А ты и об отце подумай.

Катя. Папа служит.

Рогачева. Что его служба! Гроши дает. Имение не сегодня-завтра за долги продадут.

Катя. Продадут! Милые старички мои, плохие вы хозяева! Что мне делать с вами!

Рогачева. Из твоего Михаила еще невесть что будет, — какой-то он, прости Господи, блаженный. А Сухов тут вот весь перед глазами.

Катя. Да, на десятки лет заведен прочно.

Рогачева. И тебе, Катя, над ним смеяться грешно. Он тебя любит.

К а т я. Любит! Мне-то что?

Единый раз вскипает пеной
И разбивается волна.
Не может сердце жить изменой.
Измены нет, — любовь одна.

Стихи приводят Рогачеву в нервное настроение. Она говорит испуганно.

Р о г а ч е в а. Катя, ты опять видела Михаила?

К а т я. Да, я видела его у Лунагорских. Я говорила с ним долго-долго. *(Вздыхает счастливо, улыбается и говорит радостно.)* Он сегодня обещал прийти к нам.

Р о г а ч е в а. Зачем?

К а т я. Такие редкие встречи и такие сладкие!

Р о г а ч е в а *(сердито)*. Зачем он придет? По-моему, нечего ему у нас делать.

К а т я *(решительно)*. Я его пригласила.

Р о г а ч е в а. Напрасно.

К а т я. Я люблю, я хочу, — ах, мама, ты этого не понимаешь!

Р о г а ч е в а. Ты много понимаешь! Ничего хорошего из этого не выйдет.

К а т я. Мой милый, мой прекрасный Михаил! Он никогда не сделал ничего недолжного. Он — благородный, чистый. Он слишком благородный. Он лучше меня.

Р о г а ч е в а *(с досадою)*. Ну еще бы!

К а т я. Я люблю, люблю его! Когда он будет сильным, я приду к нему, и ничто меня не удержит. Посадите меня в темницу, — двери железные сломаю. Снимите с меня одежды, — голая пойду к нему по шумным улицам.

Р о г а ч е в а *(укоризненно)*. Постыдись, Катя! Что ты говоришь! Какие порочные у тебя мечты!

К а т я. Не называйте нашу любовь порочною. Она чище, чем то, что вы мне готовите с этим Суховым.

Р о г а ч е в а. Катя, Катя, ведь только на тебя все наши надежды.

В ее руках появляется платок, и она делает с его помощью демонстрацию плача

К а т я. Ах, все то же, то же, то же. Надоело!

Р о г а ч е в а. Хорошо тебе так говорить, а нам-то каково! На старости лет своего угла лишиться и остаться без куска хлеба.

К а т я. Но ведь я не люблю Сухова. Я люблю Михаила.

Р о г а ч е в а. Любовь до гроба, — с милым рай и в шалаше, — ах, все эти глупости давно пора забыть. Какая там любовь! В жизни не о любви думать приходится, а о том, как семью устроить.

К а т я. Какой злой демон придумал семью, это подлое учреждение, где все у всех в рабстве! И не на кого пенять, — так издавна повелось, все это, глупое, но все же трогательное, жестокое, но милое.

III

Входит Рогачев. Он не изменился почти нисколько. Имеет такой же легкомысленно-бодрящийся вид потертого судьбою, но ничему не научившегося человека Только в бороде прибавилось несколько седых волос, но борода подстрижена и причесана волосок к волоску. Одет очень тщательно и модно.

Р о г а ч е в. Мама с дочкой, а тему разговора угадываю.

К а т я. Да, папа, все о том же.

Р о г а ч е в. И мы все капризничаем.

Катя молча подходит к окну и останавливается, полуотвернувшись от родителей.

Делай как знаешь, Катя, но помни, что только на тебя вся наша надежда.

К а т я *(улыбаясь)*. И ты, папа, хочешь, чтобы я сделала хорошую партию.

Р о г а ч е в. Я хочу тебе добра, Катя.

Катя. А если мне еще с вами хочется жить, дома, с тобою и с мамой?

Рогачев. Живи, конечно. Разве же мы тебя вынуждаем? Только скоро у нас у самих ничего не останется.

Катя. Ты так уверен, папа, что на выборах твоя партия провалится?

Рогачев. Какая там партия! Это мне все равно, я — не партийный человек. А только второй раз меня не выберут.

Катя. Зачем же ты, папа, держишься этих людей?

Рогачев. Не могу же я быть со всякими радикальными болтунами! Мы должны поддерживать добрые дворянские традиции. А не выберут меня потому, что я горяч и ладить со всякою дрянью не умею. Если я вижу, что он — прохвост, я это ему прямо и говорю. Не выберут, знаю. Да если бы и выбрали, все равно, — на земле так много долгов, что долго нам ее за собою не удержать.

Катя. Ты, папочка, слишком барин. В тебе мало делового человека.

Рогачев *(говорит легкомысленным и веселым тоном)*. Нельзя ли без критики? Молоды еще вы, милая барышня, для того, чтобы делать наставления убеленному сединою отцу!

Катя *(нежно обнимает его и говорит с улыбкою)*. Извините, не буду! Только я совсем уж не так молода. Я все знаю.

Рогачева. Катя, можно Бог знает что подумать!

Рогачев. Что же ты, например, знаешь?

Катя. Я знаю, что муж, за которого выходят без любви, это ведь то же, что для мужчины, для юноши — проституция. Да еще первый муж!

Рогачев. Что за глупости!

Рогачева. Катя, как тебе не стыдно говорить такие гадкие слова!

Катя *(танцуя, кружится по комнате и напевает)*.

Единый раз вскипает пеной
И разбивается волна.

(Убегает.)

IV

Р о г а ч е в а. Не уговорить мне ее! Уж очень она влюблена в Михаила. Не выйдет она за Сухова.

Р о г а ч е в. Ну как не выйти! Выйдет. Сухов богат, молод, красив, любезен. Всякая вышла бы за него. Студиозус ему не соперник, хоть его маменька и уверяет, что учащаяся молодежь — гордость и надежда страны. Ну, Клавдия, я ухожу. Надо у Нелениных побывать.

Уходит, и за ним идет Рогачева. Комната некоторое время пуста. Доносятся веселые молодые голоса.

V

Входят Катя и Михаил.

Он в форме студента одного из высших технических учебных заведений. Красивый, стройный молодой человек двадцати двух лет. Держится спокойно и более уверенно, чем в первом действии. На лице, холодном и спокойном, явственно выражение твердой воли. Но видно, что еще он не собрал всех своих сил и не достиг совершенного самообладания. Иногда маска холодного спокойствия спадает с его лица, и под нею открывается лик волнующегося, невинного и страстного юноши.

На жизнь Михаил смотрит как на борьбу и на подвиг. Катю любит он неизменно; для нее он сберег свою чистоту, и она для него является залогом великих обещаний. Мечта о ней манит его к трудным достижениям, и для нее он хочет строить новую жизнь, как строят мосты и храмы.

В своей обычной жизни Михаил и Катя далеки один от другого, — он учится в столице, она живет здесь, в губернском городе. Встречаются они нечасто. Их поцелуи и объятия еще невинны по-детски.

К а т я. Я так редко тебя вижу. Ты уже несколько дней в городе, а встречаться с тобою приходится то в гостях, то в театре. Наконец-то собрался прийти! Отчего ты не приходишь к нам чаще?

М и х а и л. Милая моя Катя, твои родители и так смотрят на меня косо. А если я поважусь ходить к вам часто, так они, пожалуй, попросят и совсем не ходить.

К а т я. О, посмели бы они это сделать!

Михаил и Катя сели рядом, смотрят друг на друга с грустною нежностью и говорят.

М и х а и л. Вот они предсказывали, что наша детская любовь исчезнет. Но проходят годы, и каждый прожитый день расширяет и углубляет мою любовь.

К а т я. Нашу любовь! Наша любовь — святыня, и мы будем ее хранить всегда.

М и х а и л. Я люблю только тебя. Я и весь мир только через тебя понимаю. И что хочу делать, все для тебя. Строить легко и дерзко, в простоте соединений и линий открыть высокую красоту, железную сквозную мечту поставить над безднами, мечту о тебе, единственная моя!

К а т я. Ты — счастливый! Живешь, мечтаешь, а мы... живем, не живем. Как тени на стене... Михаил, а что я тебя спрошу, ты мне скажешь?

М и х а и л. Конечно, скажу, все, что ты спросишь. Если, конечно, сам знаю.

К а т я. Ты, Миша, не сердись.

М и х а и л. Да на что же?

К а т я *(волнуясь)*. Видишь, как бы это тебе сказать... ну я знаю, ты меня любишь. Ну конечно, ты мне не изменишь. Но я же знаю, ну ведь это у всех бывает, это, это, такое нечистое, грубое. Миша, Миша, скажи...

М и х а и л *(словно заражаясь ее волнением, говорит страстно)*. Нет, Катя, нет, нет. Этого не было, не было. Милая Катя, верь мне, этого не было.

К а т я. Михаил, прости. *(Плачет.)* Я знаю, ты — чистый, благородный, а я — гадкая. У меня скверные мысли.

М и х а и л. Мы должны быть чистыми.

К а т я. Темная сила влечет меня, — и я как слепая бабочка. Я не понимаю, что во мне, что со мною.

М и х а и л. Милая моя, жизнь моя, Катя!

К а т я. Так люблю! Могу ли быть женою? Смею ли? Твоею женою. Мне кажется иногда, что я не стою тебя. Ты лучше меня, чище меня, ненаглядный мой!

М и х а и л. Поверь мне, Катя, обуздывать мою страстность, подавлять в себе все эти дикие желания, — чего мне это стоит! Иногда

я спрашиваю себя, — да во имя чего я это делаю? Но я гоню от себя эти искусительные мысли. Я хочу быть чистым, я не хочу осквернить моей любви к тебе неистовыми порывами, потому что я так люблю тебя! Все нежнее с каждым днем. И нежность моя к тебе так велика, что она гасит во мне жгучее пламя чувственности.

К а т я *(мечтательно смотрит в даль, опять раскрывшуюся перед нею, и говорит).* Да, вот ты опять уедешь, и опять я не увижу тебя долго-долго! И только мечтать о тебе буду, — днем и ночью сладко мечтать. И ждать!

М и х а и л. Зачем же ты остаешься здесь? Сколько раз я звал тебя с собою.

К а т я. Мои старички с такою надеждою смотрят на меня.

М и х а и л. Для отживающих отдавать свои лучшие годы, — Катя, милая моя Катя, не ошибаешься ли ты?

К а т я. Нет, не только для них. Правда, мне жаль их и нашего имения жаль, моей земли родной, — но не то, не то! Не это главное.

М и х а и л. А что же?

К а т я. Расточать в серые будни то, что зацветет праздничным цветом? Нет, этого я не хочу. Бегать по грошовым урокам, чтобы кое-как прожить, и из-за этого кое-как учиться, и сделаться заурядным строителем, — к этому тебя тащить? Нет, этого я не хочу.

М и х а и л. Обо мне ты не думай. Я силен, здоров и настойчив. Я многое могу.

К а т я. О тебе не думать? Хорошо, так обо мне подумай. Ты должен вести меня к победе, к жизни свободной, светлой, счастливой, к жизни, которую мы радостно сотворим из грубого материала этого косного бытия, — так радостно, что она вся засияет и заблещет, преображенная нашею волею.

М и х а и л. Так, милая Катя, так, — не забывай этой нашей задачи.

К а т я. К этому празднику должен ты меня вести. Но куда же ты поведешь меня теперь? На чердак на двадцатой линии Васильевского острова или в жалкую конуру где-нибудь в грязном переулке на Песках?

Михаил *(смотрит на Катю с удивлением и укоризненно спрашивает).* Что ты говоришь, Катя?

Катя. Милый, я боюсь этой жизни. Я боюсь, что все мечты наши поблекнут под пылью мелких ссор, и смех мой, — помнишь? золотые колокольчики, ты так называл мой смех, — мой легкий смех перевьется, опутается хриплым, простуженным кашлем.

Михаил. Нет, Катя, это не так. Все лишения легко преодолеет гордая, молодая воля.

Катя *(говорит рассеянно).* Сначала труд жизни, потом радость ее.

Михаил. Ах, Катя, радость нельзя отложить до завтра.

Катя. Милый, милый! *(Подходит к роялю, рассеянно берет несколько аккордов из Периколы и поет.)*

Навеки твоя Перикола,
Но больше страдать не могу.

Михаил. Какие циничные слова! Певичка бросает своего милого, потому что ее подпоили и обольстили хорошим обедом!

Катя. А мне, ты думаешь, легко? Но ты, Михаил, должен мне все простить, что бы я ни сделала, потому что я люблю только тебя.

Михаил. Что ты хочешь сделать, Катя?

Катя *(со слезами на глазах повторяет стихи).*

Единый раз вскипает пеной
И разбивается волна.
Не может сердце жить изменой.
Измены нет — любовь одна.

Михаил *(тревожно спрашивает).* Катя, ты замышляешь что-то?

Катя. Милый, милый! *(Целует и ласкает Михаила. Потом, заслышав шаги в соседней комнате, отходит к окну, задумчиво глядит на улицу и тихо говорит.)*

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!

VI

Р о г а ч е в а *(входит с озабоченным видом и говорит).* Ищу, ищу... А, здравствуйте, голубчик.

Михаил подходит к Рогачевой и целует ее руку.

Не могу найти моего кошелька. Не в твоей ли, Катя, комнате я его оставила? Поищи, милая.

Катя выходит.

VII

Р о г а ч е в а. Сколько расходов в городе, не приведи Бог! Уж я очень экономная хозяйка, а все-таки концы с концами трудно сводить. Сегодня Константин Федорович достанет денег, а пока... Кстати, Миша, если вы при деньгах, не можете ли вы мне дать до завтра десять рублей?

М и х а и л. С удовольствием.

Совершенно так же, как в первом действии, Михаил вынимает из кошелька десятирублевку и подает ее Рогачевой.

Р о г а ч е в а *(берет ее с такими же, как тогда, словами).* Пожалуйста! Ну вот, большое вам спасибо, Миша. Я вам непременно завтра отдам.

Михаил. Пожалуйста, не беспокойтесь. Мне так скоро эти деньги не понадобятся.

Рогачева *(садится на диван, принимает доверчивый вид и говорит Михаилу)*. Голубчик, скажу вам откровенно, — мы в долгу, как в шелку. Одна надежда на Катю.

Михаил *(садится близ нее и говорит невесело)*. Вам хочется выдать ее за богатого.

Рогачева. Владимир Павлович в нее влюблен, и это для нее во всех отношениях превосходная партия. А вы, Миша, никогда богатым не будете.

Михаил *(улыбается и спрашивает)*. Почему вы так думаете, Клавдия Григорьевна?

Рогачева. У вас кто ни попроси, вы всем даете. А зачем? Я-то вам отдам, непременно отдам из первых же хозяйских денег, а вот мужу моему вы не давайте. Он ни за что не отдаст. Не любит он платить долги.

Михаил. Глуп ваш Сухов, и Катя его не любит.

Рогачева. Она еще так молода. Полюбит, когда привыкнет.

Михаил. Если захочет привыкать.

Рогачева. Послушайте, Миша, я так давно вас знаю, я ведь вас еще совсем мальчиком помню, так что я имею право, надеюсь, говорить с вами откровенно.

Михаил. Конечно. И я это очень ценю.

Рогачева. Вы милый, хоть и угловатый немного.

Михаил. Благодарю.

Рогачева. Не за что. Уж вы меня, старуху, извините. Я, поверьте мне, душевно была бы рада, если бы Катя вышла за вас. Но ведь вы, голубчик, сами понимаете, что это невозможно.

Михаил *(с внезапною, простодушно-юношескою грубоватостью говорит)*. Ну, все одна и та же песня, которую и слушать досадно!

Рогачева. Вы, Миша, очень раздражительны, и это, право, нехорошо.

Михаил. Извините. Но я не понимаю, право...

Рогачева. Да ведь у вас, голубчик, ни кола ни двора. Родители помогать вам не могут, — не из чего. Чем же вы жить будете, если повенчаетесь?

Михаил. Надеюсь, что я способен работать.

Рогачева. Голубчик, я же в этом не сомневаюсь. Но подумайте о своей будущности. Вам надо курс кончать. А теперь много ли вы уроками достанете! А потом вам надо делать карьеру. И кто знает, какие перед вами откроются возможности! Слишком ранняя женитьба может связать вам руки.

Михаил. Я не понимаю, на что вы намекаете, Клавдия Григорьевна.

Рогачева. Да прямо сказать, вам может представиться другая партия. Да и вообще жена вас во всех отношениях свяжет. Вам только лет тридцати пора будет жениться. А ведь вы с Катей почти погодки. Ей тогда уже двадцать восемь лет стукнет. Не может же она до таких лет сидеть в девицах.

Михаил. И старше выходят замуж.

Рогачева. Да ей-то какая крайность! У нее хороший жених есть. Неужели вы ей счастья не желаете?

Михаил. А в чем, по-вашему, счастье?

Рогачева. Голубчик, не будемте философствовать. Ей пора замуж. Смотрите, она как ошалелая ходит да стихи читает. А если, замуж выйдя, над каждым грошем трястись придется, так уж плохое это счастье!

Услышав знакомые в соседней комнате голоса, Рогачева суетливо встает с дивана и говорит

Рогачева. Миша, пройдемте в столовую, — там подали чай.

Уходят.

VIII

Комната несколько времени пуста. Все слышнее за другою дверью голоса, и наконец оттуда входят Катя и Сухов.

Сухов почти такой же, как в первом действии, только чуть-чуть пополнел. У Сухова в руках небольшой футляр.

К а т я. Могли бы, Владимир Павлович, и не являться так часто.

С у х о в. Если бы не дела, поверьте, Катя, я бы всю жизнь рад был сидеть у ваших ног.

К а т я. Покорно благодарю! По-моему, это очень скучно.

С у х о в. А главное, невозможно. Дела. Так вот, за невозможностью быть самому всегда с вами, позвольте мне вручить вам этот простенький браслетик. *(Раскрывает футляр.)*

Что-то многоцветное переливается в нем радужными огнями.

К а т я. О! Это очаровательно! Но с чего вы вздумали, что я это возьму? Отдайте это вашей невесте.

С у х о в. Слушаю-с! Ваше желание для меня закон. А так как моя невеста — вы, Катя, то я и подношу вам эту ничтожную вещицу. Она мала, но да будет она залогом моего большого и искреннего чувства к вам.

К а т я. Какой вы странный, Владимир Павлович! Зачем вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж? Ведь вы же знаете, что я вас не люблю!

С у х о в. Я вас люблю, Катя.

К а т я. Этого мало.

С у х о в. Дитя, что вы понимаете в этом? Я вас люблю, — а меня вы полюбите.

К а т я *(говорит задумчиво)*. А если никогда не полюблю?

С у х о в. Что ж, сердцу не закажешь! Не полюбите, тогда я силою держать вас около не стану. Вы свободны.

В голосе Сухова звучит заносчивая самоуверенность.

К а т я *(усмехается невесело, смотрит, любуясь, на браслет с какою-то задумчивою грустью кладет его на стол, оставив футляр открытым, и говорит невесело)*. Какая же это будет свобода, если я буду вашею женою! Вот уже и наручник вы для меня принесли, — цепь золотая, осыпанная драгоценными, сверкающими камнями, но все же цепь.

С у х о в. Такую цепь нетрудно разорвать. Время теремов миновало. Если бы вам вздумалось вернуть себе свободу, я не сделаю вам никаких затруднений, поверьте мне. Я смиренно прошу от вас теперь только того, что вы можете мне дать сейчас: вашей руки. А ваше сердце я сам завоюю, и в этом уж моя ответственность, если все старания мои окажутся неудачными.

И опять тот же заносчиво-самоуверенный и легкий тон, граничащий с тоном легкой шутки.

К а т я *(смотрит мечтательно перед собою, в милые дали былого, и говорит тихо)*. Земля моя родная, милая, — мать земля сырая, — тропинки по которым я босоногая ходила, — невинные полевые цветочки, — портреты дедов и певучая рояль, — и старички мои усталые... *(Вздыхает глубоко, и, как разбуженная от милого сна, обращается опять к Сухову.)* Так вот, как только я захочу от вас уйти, вы меня отпустите, да? Обещаете?

С у х о в. Обещаю. Самое торжественное обещание даю.

К а т я *(протягивает руку Сухову и спрашивает)*. Честное слово?

С у х о в *(говорит радостным и уверенным тоном)*. Честное слово! Оставляю вам все права, а на себя беру только обязанность быть вашим верным и преданным другом и слугою. *(Улыбается, радостно смотрит Кате в глаза и целует ее руку.)*

К а т я. Смотрите же, вы дали честное слово. Потом не пеняйте на меня, если я воспользуюсь вашим обещанием.

С у х о в *(шутливо)*. Моим торжественным обещанием! Вот поистине странный договор!

К а т я. Странный, не странный, но вы дали слово.

С у х о в. И я его сдержу, можете быть уверены.

Катя задумчиво подходит к окну. Невесело смотрит на улицу.

(Подходит к Кате, осторожно заглядывает ей в лицо и спрашивает.) Милая Катя, что же вы мне скажете?

К а т я. Пока ничего, Владимир Павлович. Вы не должны меня так торопить. Скажу потом. Скоро скажу. Может быть, скажу «да», может быть, «нет».

IX

Входят, тихо разговаривая, Рогачева и Михаил. Слышны слова.

Р о г а ч е в а. Поверьте моей опытности, Миша.

М и х а и л. Опыт, опыт! Не далеко ушли бы мы с опытом прежних поколений. Мы создадим новую жизнь.

Р о г а ч е в а. И все это переменим, не так ли? А, Владимир Павлович. Как я вам рада!

С у х о в *(целует руку Рогачевой и говорит с притворною скромностью самоуверенности)*. Если я вам еще не надоел.

Р о г а ч е в а. О, что вы говорите! Как вы можете это думать! А это что? Какая прелесть! *(Берет со стола браслет и любуется им.)*

Сухов не может удержать самодовольной улыбки.

К а т я *(отвечает невесело)*. Это — подарок Владимира Павловича. Цепочка мне на руку.

Р о г а ч е в а. О, какой вы милый, Владимир Павлович! Вы ее балуете. Она, право, не стоит таких дорогих подарков, моя девочка капризная. Она еще молода для такой роскоши.

С у х о в. Молодость и красота не нуждаются в уборах, конечно, — и этот маленький подарочек, мне кажется, достаточно скромен.

Р о г а ч е в а. Милый Владимир Павлович, право, я не знаю, как и благодарить вас за то внимание, которое вы оказываете моей дочурке.

С у х о в. Это я благодарен Екатерине Константиновне за то, что она была так милостива и не отвергла моего подарка.

Михаил стоит в стороне и смотрит хмуро. Катя подходит к Рогачевой, говорит с нею тихо, и обе они уходят, меж тем как Сухов подходит к Михаилу поздороваться.

X

С у х о в. Михаил Алексеевич! Какая приятная встреча!

Михаил молча пожимает ему руку.

Вчера я видел вас в театре, но не удалось подойти. Не правда ли, было очень мило в общем?

М и х а и л. Вы сегодня, Владимир Павлович, в очень хорошем настроении.

С у х о в. По обыкновению.

М и х а и л. Сегодня вы чему-то особенно радуетесь. Можно полюбопытствовать чему?

С у х о в. Если хотите, да, я радуюсь.

М и х а и л. Чему же?

С у х о в. Моему счастию.

М и х а и л. Вас назначили вице-губернатором.

С у х о в. О, да вы — злой! Нет, до этого еще далеко. Мое счастие ближе.

М и х а и л *(ревниво)*. В этом доме?

С у х о в. Да.

М и х а и л. Вы уверены?

С у х о в. Екатерина Константиновна почти обещала мне.

М и х а и л. Почти! Вот вы чему радуетесь! И вас ничто не останавливает?

С у х о в. Не сердитесь на меня, голубчик. Я вас очень уважаю. Но ее я люблю и уступить не могу.

М и х а и л. А я могу вам уступить? Я ее люблю, и она меня любит.

С у х о в. В этом, как и всегда в жизни, кто силен, тот и прав. Да и что такое первая любовь? Она как первый снег — растает, забудется. Впрочем, что же нам спорить? Решение зависит от Екатерины Константиновны.

Так разговаривая, они отходят в глубину сцены.

XI

В это время, продолжая начатый разговор, выходят Катя и Лилит.
Лилит еще выросла, и потому кажется тоньше, чем прежде. На ее смуглом лице ярок румянец от мороза. Глаза блестят радостно и немного дико. Ее движения, как и прежде, медленны, но теперь они красивы и изысканы. Одета в темное, очень красивое платье, простое покроем, без украшений.
Слышны слова.

Катя. Чтобы не омрачить нашей любви неизбежностью этих прозаических вздоров, я готова принести эту жертву, отдать эти годы.

Лилит. Эти годы пройдут...

Сухов *(подходит к Лилит и говорит ей)*. Милая художница, когда же вы нам покажете вашу новую картину?

Лилит *(пожимает руку ему и Михаилу и говорит)*. Я еще только учусь. Здравствуй, Михаил.

Сухов. Ученица, подающая большие надежды. Но отчего так непонятно то, что вы рисуете?

Лилит *(спокойно отвечает)*. Мне самой понятно.

Сухов. Ну, этого мало.

Разговаривая, Сухов и Лилит выходят.

XII

Катя медленно подходит к Михаилу. Лицо ее грустно, но спокойно.
День вечереет. Сумеречные тени возникают в углах и ширятся понемногу.

Михаил. Ты так решила, Катя? Ты будешь женою Сухова?

Катя. Да, Михаил.

Михаил. Разве ты его полюбила?

Катя. Нет, Михаил. Я люблю только тебя. Любила и буду любить только тебя. Только тебя.

Михаил. Катя, Катя, подумай, что ты делаешь!

К а т я. Михаил, не осуждай меня. Так надо.

М и х а и л. Зачем?

К а т я *(говорит волнуясь, почти плача)*. Мне тяжело, Михаил, но я на верном пути. Я не могу иначе. Верь мне, я верна только тебе. Иду к другому, но верная душа верна. Мы никогда не изменяем. Душа одна, — любовь одна. Пламя, горящее в моем теле, тобою зажжено. Что-то темное, чувственное увлекает меня. Я как слепая бабочка. Но через слабость мою, через падение мое иду к силе, к победе, к тебе! А ты для меня — единственный. Милый мой, прекрасный мой Михаил, верь мне!

М и х а и л. Катя, я тебе верю.

К а т я. Теперь мы расстанемся. Мы сделаем все, чего хотят от нас люди, милые и страшные люди этого дня, наши случайные владыки. Как оброк, как дань, отдадим им эти наши годы, мы, еще слабые, еще пленные, еще бедные заложники жизни. Сегодня мы еще в плену, а завтра, завтра мы победим, мы будем сильны, мы будем господами жизни. И тогда легко, легко я стряхну эти глупые цепи и приду к тебе, мой милый, прекрасный мой Михаил.

М и х а и л. Я тебе верю. Хочу верить. В душе моей отчаяние. Но отчаяние мое светлое. Оно светлее радости.

Катя, обняв Михаила, плачет.
За окнами сгущаются сумерки.

М и х а и л. Жизнь моя, ты отходишь от меня! За темную даль тяжелых лет отходишь ты от меня. Мое отчаяние велико, но и радостно оно, как счастие. Бог срастил вершины счастия и горя, — вот теперь, в горький час разлуки, я понял это мудрое древнее слово.

К а т я. Михаил, будь сильным! Милый мой, прекрасный Михаил!

М и х а и л. Да, Катя, я буду сильным.

К а т я. Мы победим, Михаил. Верь, что мы победим. Будущее — наше.

М и х а и л. Я буду беспощадно-сильным.

К а т я. Теперь пора. Расстанемся. Пора, пора.

Катя обнимает Михаила и, плача, долго целует его. Михаил молча ласкает ее, проводя рукою по ее волосам и спине, и шепчет ей нежные слова утешения. Наконец Катя отрывается от этих горьких лобзаний и быстро идет к двери. Навстречу ей выходит Лилит.

К а т я. Лилит, милая Лилит, утешь его, как меня утешала. *(Порывисто обнимает и целует Лилит и уходит.)*

XIII

В комнате становится все темнее. За окном на улице зажгли фонарь. Свет от него, слабый и странный, падает в комнату, — и из открытых направо и налево дверей тянутся полосы света.

Л и л и т *(подходит к Михаилу и говорит ему тихо и спокойно).* Михаил, так надо.

М и х а и л. Что тебе, Лилит?

Л и л и т. Михаил, глупый, что же ты тоскуешь?

М и х а и л. Я не тоскую, Лилит. Во мне радость, потому что я люблю Катю и она от меня ушла. Но ты этого не поймешь.

Л и л и т. О, не пойму! Глупый! Я тебя люблю, сегодня и всегда, когда ты захочешь, а она любит тебя в далеком, в победе над жизнью. А мне и жизни не надо. Так, живу немножко, вечерняя, ночная. Луну люблю, и свет фонарей электрических на улице, и кабачки, где музыка. Рисовать люблю, — и тебя люблю, потому что ты любишь другую.

М и х а и л. Ты — странная и милая, Лилит.

Л и л и т. Я — радостная нынче, мечта светлая и тихая.

М и х а и л. Отчего же ты не смеешься, не улыбаешься?

Л и л и т. Моя радость — тихая и грустная, как те царевны мечтательного рая, которых я пишу, — светлые, в черных хитонах.

М и х а и л. В твоей радости — безумие и забвение. И на твоих картинах лунный свет, а не солнечный, — но картины твои все-таки прекрасны.

Л и л и т. Я не люблю солнца, я люблю луну. Я — лунная Лилит, как та, которая была создана раньше Евы, та, которая первая любила Адама. И вот теперь...

М и х а и л. Ты все мечтаешь, Лилит.

Л и л и т *(продолжает)*. ...Опять тихо, опять темно, опять я тебя люблю.

М и х а и л. Хочешь, Лилит, я провожу тебя до твоего дома?

Л и л и т. Пойдем вместе, Михаил.

М и х а и л. Куда?

Л и л и т. Сначала пойдем в кабачок. Там весело.

М и х а и л. Нет, Лилит, сегодня я не хочу веселья.

Л и л и т. Мы сядем в сторонке, пивка немножко выпьем, музыку послушаем, погрустим и посмеемся. А потом пойдем вместе.

М и х а и л. Куда?

Л и л и т. Михаил, возьми меня с собою.

М и х а и л. Милая, добрая Лилит, я не тебя люблю. Бесконечная нежность к тебе в моем сердце, но я не тебя люблю, милая, безумная Лилит!

Прячась за портьерою, Катя слушает их разговор.

Л и л и т. А я люблю тебя, Михаил. Дай мне быть около тебя эти годы. А когда ты скажешь мне, — уйди, Лилит, — я уйду.

М и х а и л. Если ты, Лилит, так хочешь, — что ж, приди ко мне, живи со мною. Но помни, я ее люблю и всегда буду любить, а тебя не полюблю.

Л и л и т. Я буду помнить, Михаил. И в безнадежности есть счастие.

М и х а и л. И когда я скажу тебе, — уйди, Лилит, — ты уйдешь.

Л и л и т. Да, я только пока у тебя побуду.

М и х а и л. Милая, безумная Лилит, какая печаль тебя ждет!

Л и л и т. Печаль — хорошо.

М и х а и л. Ты будешь плакать?

Л и л и т. Лилит никогда не плачет. У Лилит нет слез. Ну что ж, идем в кабачок? Там хорошо, там музыка играет. Или у тебя денежков нет? Ты им последние отдал? Да ведь мы немножко. Я тебе своих дам. *(Вынимает маленький кошелечек, высыпает на ладонь*

несколько серебряных монеток, подает их Михаилу и говорит.) Пойдем в кабачок, пропьем пятачок.

М и х а и л *(улыбаясь)*. Немного у тебя денежек, Лилит. Ну ничего, у меня еще осталось достаточно. Пойдем, Лилит, моя милая лунная мечта. Погрустим, помечтаем с тобою, пока не придет за мною жизнь моя. Пойдем, милая Лилит.

Л и л и т. Купи мне розу. За гривенник. Купишь, милый?

М и х а и л. Куплю, Лилит.

Михаил и Лилит уходят.

XIV

Выходит Катя. Тихо идет по комнате. Дойдя до выходной двери, опускается на колени, опирается на стул рукою, плачет и, не отводя глаз от двери, за которою скрылся Михаил, говорит те же стихи.

К а т я.

Единый раз вскипает пеной
И разбивается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет, — любовь одна.

(Склоняется головою на стул и плачет по-детски неудержимо.)

Конец второго действия

Действие третье

I

Прошло еще восемь лет. Михаил стяжал себе своими постройками известность и состояние. Он много работает. Только что кончил постройку своего дома.

С Михаилом живет Лилит, — доживает последние дни своего грустного счастия, лунного, мечтательного, таинственного.

Дом Михаила прост и прекрасен, как и все, что он делает. В доме нет лишних вещей, и те, которые есть, производят впечатление мудрой согласованности и красоты.

Перед зрителями открывается комната, очень высокая. Задняя стена этой комнаты закрыта большим зеленовато-белым занавесом на бронзовом толстом пруте. Занавес слегка просвечивает, словно за ним скрыта широкая арка в ярко освещенный покой; оттуда доносятся легкие звуки грустной музыки, — кто-то искусный играет на рояле Лунную сонату Бетховена.

С правой стороны комнаты — одно, очень широкое, окно, из которого льются потоки ясного лунного света. На левой стороне — камин, в котором пылают угли. На левой же стороне, у занавеса, стоит высокий бронзовый семисвечник.

В комнате трое: Михаил, Чернецов и Лилит.

Михаил сидит у камина. Михаилу теперь тридцать лет. Он очень красивый, сильный и спокойный; это его спокойствие даже кажется иногда чрезмерным У него небольшая борода, черная, подстриженная ровно. На нем домашний, красивый и удобный наряд несовременного покроя.

Рядом с Михаилом сидит Чернецов. Постарел, но не изменился. Курит папиросу за папиросою.

В глубине комнаты, направо, у занавеса, там, где он яснее всего освещен смешением лунного света и света просвечивающего, Лилит, в черном хитоне, босая. Ее тонкие руки обнажены. Она очень бледна и тонка и в лунном свете кажется неживою. На лице ее лежат тусклые тени утомления и печали.

Она пляшет медленно и грустно, — и, когда она пляшет, кажется, что луна светит только на ее пляску, что только для нее певучая плачет рояль. Когда ее пляска уносит ее от окна к мерцанию желтых семи свеч, она останавливается и говорит о том, что мечтается ей. Она говорит тихо, без внешнего пафоса и без замедления слов. И тогда ярко-раскаленные угли камина бросают на ее лицо, и на ее спокойные руки, и на ее легкие ноги, и на длинные складки ее черного хитона красноватый, зловещий отблеск. Все ее движения сдержанны и спокойны, и голос ее холоден и тих.

Во время ее пляски Михаил и Чернецов тихо разговаривают. Только иногда отдельные фразы их разговора слышны.

М и х а и л. Так-то, отец, жестокая жизнь!

Ч е р н е ц о в. Жестокая, Михаил.

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
А не было подлей».

Л и л и т *(останавливается перед семисвечником и говорит)*. Я — первозданная Лилит, первая жена человека, та, которую он отверг. *(Пляшет.)*

М и х а и л. Самая большая грусть моей жизни — то, что я расстаюсь с Лилит.

Л и л и т. Я была создана в предрассветных сумерках. Весь день томилась я жаждою встречи. Мечтою и тайною обвитая, под луною тихою и грустною пришла я к моему милому, в его наглядеться глаза, с его душою мою слить душу, лунные рассказать ему сказки, с ним вместе погрузиться в забвение грубого бытия. *(Пляшет.)*

М и х а и л. Лилит — моя сказка. А от сказки уходят к жизни.

Л и л и т. Но восстали на меня буйные земные силы, и возникла иная, и прогнал меня милый мой. *(Пляшет.)*

Ч е р н е ц о в. Я отдаю тебе справедливость, Михаил, но принципиально не могу согласиться. Нет, не могу, как хочешь.

Л и л и т. Но не забыл он меня и не забудет. В томные часы изнеможения и печали я легкою тенью проходила перед ним, недостижимая и желанная. *(Пляшет.)*

М и х а и л. Я никогда не забуду Лилит.

Л и л и т. И, когда пришел его смертный час, душу его я вынула и отнесла ее в царство теней. *(Пляшет.)*

М и х а и л. Нет, отец, Катя должна уйти от Сухова. Она — моя, и теперь уже навсегда.

Л и л и т. И вот я живу нескончаемые века, и прихожу к нему в часы мечтаний сладостных и лунных и в темные минуты смертной истомы. *(Пляшет.)*

М и х а и л. Так надо, отец.

Л и л и т. И когда восходит луна, к ней мои простираю руки и о ней говорю и мечтаю. *(Пляшет.)*

Музыка замолкла. Лилит подходит к Михаилу и спокойно смотрит на него.

М и х а и л. Милая мечтательница! Как ты хорошо танцуешь! Благодарю тебя за твой радостный труд, за это очарование нашим взо-

рам. Отдохни, посиди здесь, у камина. *(Отходит к окну, стоит задумчивый, освещенный луною и потом уходит)*

II

Лилит садится у камина и молча глядит на пылание его углей. Чернецов тихо берет ее руку. Лилит поднимает на него грустный взгляд.

Чернецов.

Я скажу тебе всю правду,
Дай лишь на руку взглянуть.
Берегись, тебя твой милый
Замышляет обмануть.

Лилит. Нет, меня он не обманет.

Чернецов. Почему ты все про эту древнюю Лилит вспоминаешь?

Лилит *(опять смотрит на огонь и говорит тихо)*. Я о себе вспоминаю, о своем далеком и вечном. Когда Катя ушла от Михаила и Михаил взял меня к себе, я молилась, чтобы дал мне Бог только хоть семь лет счастия. И он услышал меня, и дал мне семь лет и еще один год из милости. И вот прошли все мои сроки, и я должна уйти.

Чернецов. Зачем же тебе уходить, Лилит?

Лилит. Зачем? Ах, недаром называют меня безумною! Я только семь лет вымолила. Вот они и прошли, и прошел лишний год, данный мне из милости.

Чернецов. Что же Михаил тебе сказал?

Лилит. Он сказал: скоро она, жизнь моя, придет ко мне, и тогда ты, Лилит, уйди. Тогда уйди. Так же это и было решено с самого начала.

Чернецов. Это нехорошо с его стороны. Очень нехорошо.

Лилит *(с умоляющим жестом обращается к Чернецову и говорит)*. Нет, не вините его. Не надо. Сердцу не прикажешь. Любовь свободна, как ветер, пустынный и холодный одним и благодатный для других.

Чернецов. Все-таки Михаил очень виноват перед тобою.

Лилит. Никто не виноват. Разве есть виноватые?

III

Разговаривая, входят Михаил и Чернецова. Лилит опять молча смотрит на огонь камина. Чернецов так же молча курит.

Чернецова. Михаил, я тебе удивляюсь.

Михаил. Напрасно, мама.

Чернецова. Я не понимаю, Михаил, как можно в наши тяжелые дни тратить время на любовь и на красоту!

Михаил. А на что же и тратить время? На вражду и на уродство?

Чернецова. Все время следует целиком посвятить созидательной общественной работе.

Михаил. Работе время, потехе час.

Чернецова. И, во всяком случае, к чему же эти твои безумные траты на обстановку?

Михаил. Мама, я люблю вещи. Плохой бы я был строитель, если бы я сам не любил вещей. И я достаточно много работал, так что могу позволить себе это невинное удовольствие — окружить себя вещами.

Чернецова. Ты еще не уплатил своего долга народу, — это раз. А второе, — на стоимость этих вещей можно было бы основать общеполезное предприятие, причем, конечно, форма и условия этого предприятия могли бы быть определены тобою в соответствии с назревшими потребностями той или другой местности.

Михаил. Ах, мама, потребности той или другой местности всегда будут назревать, а я владею только немногими годами для личного счастия.

Чернецова. Как можно думать о личном счастии, когда вокруг так много всякого горя!

Михаил. Милая мама, первый общественный долг всякого человека — быть счастливым и сильным. Только сильные и счастливые построят счастливый и разумный мир.

Чернецова. По моему мнению, ставка на сильных — не лучший способ выигрывать. А куда же деваться слабым и несчастным?

Чернецов. Ну не ворчи, старуха. Пойдем-ка лучше чай пить с сухарями. Это нам по зубам.

Чернецовы уходят.

IV

Михаил. Лилит, ты всегда любила черный цвет?

Лилит. Всегда. *(Отходит от камина и останавливается перед Михаилом, спокойная и покорная.)*

Михаил. Он к тебе почему-то идет, этот цвет печали.

Лилит. Это — цвет последней свободы.

Слышен легкий стук в дверь.

Лилит *(вопросительно взглядывает на Михаила и потом говорит)*. Войдите.

V

Входит Катя, в светлом городском платье, красивом, сшитом по моде завтрашнего дня. Катя уже восемь лет замужем за Суховым. У них двое детей, мальчик и девочка. Катя прекрасна, весела и сильна. Все в том городе, где живет Михаил и где Сухов занимает видное положение, считают ее примерною женою и нежною матерью.

После нескольких лет разлуки встретилась она недавно с Михаилом и отдалась ему спокойно, легко и радостно, как счастию обещанному, хотя еще тайному и потому неполному. И вот ныне достигло своего зенита ее двойное бытие, — бытие жены одного и страстной любовницы другого. Она часто приходит к Михаилу, — и все сильней

томит их обоих то, что еще скрывают они свою любовь. Открыто порвать с мужем она еще колеблется, хотя Михаил настаивает на этом.

Когда Михаил и Катя вместе, они кажутся достигшими полного возможного на земле совершенства, образцами красоты человеческой в ее наиболее общем выражении.

Отношения между Катею и Лилит, как и прежде, представляют смешение дружбы и вражды, и обе они как жизнь и мечта. Теперь, когда одна из них нарядно одета, и другая в черном хитоне для танца, эта противоположность между ними совершенно ясна.

Катя смотрит на Лилит с боязливою злостью и потом принуждает себя к любезной и дружеской улыбке. Лилит идет навстречу Кате и смотрит на нее с обычным, простодушным спокойствием. Они целуются.

К а т я. У вас никого нет?

М и х а и л. Никого чужих. *(Целует Катину руку.)*

Лилит идет к двери.

К а т я. Куда же ты, Лилит?

Л и л и т. Там его родители. Я к ним пойду.

К а т я. Когда я прихожу к Михаилу, ты, Лилит, всегда уходишь.

Л и л и т. Это тебя и сердит, и радует.

К а т я. Зачем же ты уходишь?

Л и л и т. Мы занимаем его по очереди. Когда-нибудь будет иначе. *(Уходит.)*

VI

Катя и Михаил, оставшись одни, страстно целуются.

К а т я. Мой милый, мой гениальный строитель!

М и х а и л. Катя, что же, говорила ты наконец с Владимиром Павловичем?

К а т я. Нет еще.

М и х а и л. Почему? Чего ты ждешь?

К а т я. Он так любит своих детей.

М и х а и л. Это — не причина. Пусть они ему и остаются. Я не хочу больше скрывать нашу связь.

К а т я. Мне жаль его.

М и х а и л. Ты, может быть, успела его полюбить?

К а т я. Нет... *(Грусть ложится на Катино лицо, и тихо говорит она.)* Мне почти страшно, когда я думаю, что все эти годы могли бы и не быть и что это мое двойное бытие — только ошибка. Как будто я поступила по какому-то старому и уже обветшалому обряду. Зачем-то вошла я в царство призраков и вывела оттуда живых детей. Я их люблю, а иногда боюсь их как чего-то недолжного.

М и х а и л *(говорит решительно и настойчиво)*. Я хочу, чтобы все это было кончено.

К а т я. Но ты, Михаил, должен сделать еще один шаг, самый трудный.

М и х а и л. Какой?

К а т я. Достроить свой дом.

Эти слова Катя произносит медленно и значительно, словно означает ими что-то большое.

М и х а и л. Мой дом достроен. Для тебя строил я его. Только для тебя. Он светел и прекрасен, и теперь он достроен.

К а т я. Достроен! *(Смотрит на Михаила с выражением тревоги и нерешительности и говорит.)* Я боюсь, Михаил, что ты слишком привязался к Лилит.

М и х а и л. Не будем говорить о ней. Она уйдет.

К а т я. Когда же?

М и х а и л. Ты ревнуешь?

К а т я. Да. Отпустил бы ты её поскорее.

М и х а и л. Она сама уйдет. Не заботься об этом, Катя. Я всегда верил твоей любви, — веришь и ты. Сквозь долгие годы пронесли мы нашу любовь, — и теперь ничто не омрачит ее.

К а т я. Я не люблю картин, которые пишет Лилит. Такая грусть в них, и так они далеки от жизни! Смотришь на них, и такое ощущение,

словно не можешь вздохнуть. Неживая луна и странные, неживые женские фигуры. И земля на этих картинах — не наша родная земля, не та, которая так нежна и так сурова под ногами, и небо — не наше небо.

М и х а и л. Как знать! Может быть, земля Лилит и небо Лилит лучше нашей земли и нашего неба.

К а т я. Может быть. Но мне никакого нет дела до ее мечтательных стран. Я люблю эту нашу землю, это небо и эту жизнь.

М и х а и л. Лилит думает, что недостойна любви эта жизнь.

К а т я. Разве не от нас зависит сделать эту жизнь достойною любви? Послушай, Михаил, я хочу говорить с Лилит. Говорить откровенно.

М и х а и л. Зачем?

Не удивление звучит в этом вопросе, а словно какой-то укор. Словно хочет Михаил сказать: не надо.

К а т я *(отвечает ему решительно и настойчиво)*. Я хочу сказать Лилит, что люблю тебя, всегда люблю, как прежде.

М и х а и л *(говорит спокойно)*. Она это знает.

К а т я *(с выражением упрямства говорит)*. И все-таки я хочу сказать ей об этом. Я хочу знать, что она мне скажет.

М и х а и л. Хорошо, делай, как знаешь.

К а т я. Позови ее, Михаил, и оставь нас одних.

М и х а и л. Подожди ее здесь. *(Уходит.)*

VII

Катя подходит к камину и задумчиво останавливается перед ним. Совсем так же, как незадолго до этого Лилит, она смотрит на угли. Цвет ее лица, рук и платья пламенеет в пылании углей, и глаза ее блестят.

К а т я *(говорит тихо)*. Какая странная жизнь! Какая странная!

VIII

Входит неторопливо Лилит. Тихи шаги ее необутых ног, а складки ее черного хитона колеблются величественно, и вся она похожа на безумную царицу полночной, таинственной страны.

Катя, почувствовав за своею спиною приближение Лилит, быстро идет к ней навстречу. Странно различные, как будто бы ни в чем не похожие одна на другую, они сходятся молча.

Лилит спокойно ожидает, что скажет ей Катя.

Катя словно не находит слов, и движение рук ее выдает волнение. Тогда начинает говорить Лилит.

Лилит. Ты любишь Михаила. Ты опять любишь его.

Катя *(отвечает ей нетерпеливо)*. Да, люблю, люблю.

Лилит. Он победил, — и ты возвращаешься к нему.

Холоден, спокоен, почти безвыразителен тон ее слов, — и тем больнее жалят они Катю.

Катя *(говорит быстро и гневно)*. Он не мог не победить.

Лилит. Ты уже дала Михаилу минуты счастия.

Катя. Тебе-то что, безумная Лилит!

Гневом и тоскою дышат быстрые Катины речи, и мрачен блеск ее взоров.

Лилит *(смотрит на нее пристально и говорит)*. Поэтому теперь тебе надо уйти от мужа.

Катя. О, Лилит, ты слишком много заботишься обо мне и о Михаиле. Мы сами сумеем устроить свою судьбу. Но ты зачем остаешься здесь? Он тебя не любит.

Лилит. Я это знаю. Он меня не обманывал никогда. Я никогда не думала, что моя жизнь с Михаилом будет долгою. Я знала, что он меня оставит, когда придешь ты. Оставит для тебя.

Катя. Тебе разве трудно уйти от Михаила? Детей у тебя нет.

Лилит. Какие же дети! Я — не женщина, я — сказка.

Катя. Годы прошли, такие длинные для меня, такие ненужные и докучные, — и каждый прожитый день только распалял мою любовь к Михаилу.

Л и л и т. Да, ты любишь Михаила.

К а т я. Я знаю, он любит меня. Но еще не знаю, что для него лучше, остаться ли с тобою или со мною жить. Если так для него и для тебя будет лучше, я готова опять уйти от него.

Л и л и т. Михаил всегда и во всем верен. Он любит только тебя.

К а т я. А иногда мне кажется, что ты, Лилит, вредно влияешь на Михаила. Эта мечтательность, эта экзальтация! Хоть бы эта комната! Какой траурный вид! Точно взято с одной из твоих картин. Недостает только гроба и катафалка. Я думаю, для него это вредно.

Л и л и т. Все мы в жизни вредны друг для друга. Но ты не бойся, — я уйду.

К а т я. Ты говоришь, — уйду. Однако ты не уходишь! Почему же ты не уходишь? Чего же ты ждешь?

Л и л и т. Я уйду от Михаила в тот самый день, когда ты уйдешь от своего мужа и вернешься к Михаилу.

К а т я. Ты должна уйти раньше, Лилит.

Л и л и т. Зачем? Эти несколько дней отчего не пробыть мне с ним? Я беру только то, что ты бросаешь. Я ничего ни от кого не отнимаю.

К а т я *(угрюмо)*. Какое смирение!

Л и л и т. Не сердись, Катя. Не стоит.

К а т я. Ты хочешь показать Михаилу, что приносишь себя в жертву. Но это неправда. Я принесла в жертву эти восемь лет, а не ты. Моя измена Михаилу была только внешняя, и он знает это. Чтобы в тяжелые годы борьбы он был свободен и спокоен, я ушла от него. Но он верил в меня и знал, что я вернусь к нему, как только он позовет меня. Я притворствовала эти годы, чужою жила жизнью, подобием жизни, и была как неживая, — ласкала нелюбимого мужа, улыбалась постылым людям, немилому рождала мужу детей и носила личину нежной матери, верной жены, любезной хозяйки, очаровательной дамы. И все это я делала только для Михаила. Только его любя, я совершала этот обряд пустой жизни. В этом был подвиг мой, моя жертва, мое двойное бытие. И оно приходит к концу.

Л и л и т. Не надо говорить о жертвах. И ты, Катя, не будь такою гордою. Не стоит.

К а т я *(смотрит на Лилит угрюмо, смеется тихо и потом говорит).* Я знаю, на что ты надеялась.

Л и л и т. Знаешь? Так скажи мне. Я сама не знала этого и не знаю. На что же я надеялась?

К а т я. Ты надеялась, что Михаил привяжется к тебе, что он тебя полюбит и оставит у себя, а меня отвергнет.

Л и л и т. Может быть. Мало ли на что мы надеемся! Мало ли о чем мечтаем! Жаждем чуда, — и нет для нас чуда. Бедные мы!

Острою жалостью к себе и к Лилит пронизано Катино сердце. И говорит Катя.

К а т я. Лилит, правда, бедные мы. *(Обнимает Лилит и плачет.)*

Л и л и т. Не плачь, Катя, не надо. Ты придешь к нему, веселая и счастливая, а я уйду. Не плачь, утешься, верь.

К а т я. Будет, будет счастливая жизнь!

Конец третьего действия

Действие четвертое

I

Прошел один день.

Комната в доме Сухова. Обстановка безукоризненная. Ни один предмет не оскорбляет строгого вкуса, но кажется, что и любимых предметов здесь нет. Ничего индивидуального, особенного, обличающего пристрастие к чему-нибудь. Как будто хозяева этого дома живут здесь только временно, — правда, тратя большие деньги на обстановку и на приличный образ жизни, но совсем не заботясь о завтрашнем дне. И потому многие предметы кажутся неупотребляемыми, поставленными только потому, что так принято и красиво.

Катя одна. Стоит посреди комнаты, словно ждет чего-то. Потом медленно и спокойно идет к столу, садится и раскрывает книгу.

Р о г а ч е в а *(осторожно входит и вкрадчиво говорит).* Катя, ты одна?

К а т я. Как видишь, мама, одна. *(Закрывает книгу.)*

Р о г а ч е в а. Ну вот и превосходно. Катя, я должна поговорить с тобою серьезно. Надеюсь, ты выслушаешь меня внимательно.

К а т я. Мама, этот разговор, может быть, не так уж необходим.

Р о г а ч е в а. Нет, Катя, это очень важно.

К а т я *(говорит со скучающим видом)*. Я слушаю, мама.

Р о г а ч е в а. Катя, опомнись, пожалей себя! Что ты делаешь?

К а т я *(принужденно улыбается и говорит)*. Что же я особенного делаю?

Р о г а ч е в а. Твое поведение занимает весь город.

К а т я. Весь город всегда занимается чужими делами.

Р о г а ч е в а. Только Владимир Павлович еще ничего не знает. Но каково ему будет узнать это! Ведь это же скандал!

К а т я. Ах, мама! Что ты называешь скандалом?

Р о г а ч е в а. Ты каждый день бываешь у Михаила Алексеевича. Наконец, уж ни для кого не секрет, что ты им увлечена. Только бедный Владимир Павлович ни о чем не догадывается. Он так доверчив!

К а т я. Он узнает.

Р о г а ч е в а. Подумай, Катя, ведь ты замужем, ты — мать. Твой муж занимает такое положение в обществе...

К а т я. На что мне это положение?

Р о г а ч е в а *(не слушая, продолжает)*. ...При положении твоего мужа, если ты не порвешь с Михаилом немедленно, ведь это же будет скандал на весь свет!

К а т я *(отвечает равнодушно)*. Пусть говорят что хотят, — мне-то что!

Р о г а ч е в а. Катя, неужели тебе не жаль бедного Владимира Павловича?

К а т я. Мама, ведь вы все знали, что я люблю Михаила. Вам захотелось очень, чтобы я вышла за Владимира Павловича. Вот я сделала по-вашему. Но я и его не обманывала. Я тогда же сказала ему, что уйду от него, когда захочу.

Р о г а ч е в а. Но вы с ним так хорошо жили! Все думали, что ты любишь своего мужа.

К а т я. За что ж мне было его ненавидеть? Но любить! Нет, я его не любила, никогда не любила.

Р о г а ч е в а. Ты была с ним так ласкова!

К а т я *(говорит с досадою и раздражением)*. Да, да, была. О, темная страстность, какою дорогою ценою мы за нее расплачиваемся! Но это наконец пора кончить.

Р о г а ч е в а. А твои дети, Катя! Подумай о твоих несчастных детях. Неужели тебе их не жаль!

К а т я. Несчастные! Чем они несчастны, эти маленькие? Вздор какой! Я уйду из этого дома к Михаилу. Уж не могу я больше терпеть этого притворства.

Р о г а ч е в а *(восклицает с пафосом)*. Катя, ты этого не сделаешь! Нет, не сделаешь! Я этого не допущу! Пока я жива, ты этого не сделаешь!

К а т я. Милая мама, как можешь ты мне в этом помешать?

Р о г а ч е в а *(говорит повышенным голосом, делая забавно-торжественные жесты)*. Я лягу перед тобою на пороге этого дома, и только через мой труп ты уйдешь отсюда!

II

Крадущеюся походкою входит боина. Она высокая, костлявая, сухая девица лет тридцати, из обруселых немок, «вполне приличная», как говорится в газетных объявлениях. Лицо у бонны длинное, сухое, желтое, постное, но сладкое. Глаза рыбьи, с застывшим выражением тупого любопытства. Уши торчат. Нос длинный и острый. Светлые, жиденькие волосы причесаны гладко. На плоском лбу совершенно явственно написано: сплетница. И даже все боннино платье шумит сплетнею.

Рогачева вздрагивает и застывает в неловко-торжественной позе.

Б о н н а *(говорит кисло-сладким голосом)*. Извините, пожалуйста, Екатерина Константиновна.

К а т я *(спрашивает досадливо)*. Что такое? Что вам надо?

Б о н н а. Простите, Екатерина Константиновна, я думала, вы одни. Я хотела насчет Павлушиных башмаков. Но это не к спеху. Извините. *(Уходит.)*

III

К а т я. Эта дура за мною подсматривает и подслушивает.

Р о г а ч е в а. Женщина в твоем положении должна вести себя так, чтобы за нею нечего было подсмотреть и подслушать. *(Она сбита с высокого тона и переходит на слезливый.)* Катя, хоть родителей своих пожалей, меня и своего бедного отца.

К а т я *(смеясь и плача, обнимает мать и говорит ей укоризненно и нежно)*. Милая мама, смешная моя старушка, скучно мне говорить с тобою.

Р о г а ч е в а *(говорит слезливо)*. Владимир Павлович так много для нас сделал!

Катя быстро уходит. На пороге встречается с Суховым, но не останавливается.

IV

Сухов очень располнел. Имеет вид любезного, деятельного, счастливого и самодовольного человека. Любит выражаться красноречиво и кругло, — думает, что искусство произносить речи скоро может ему пригодиться. Иногда он даже увлекается своим красноречием. На службе он поставлен очень хорошо, и его всегда имеют в виду, когда думают о замещении какой-нибудь высшей должности. Он по-прежнему совершенно уверен во всем своем, — в своем положении, в своем богатстве, в своей жене. Когда ему осторожно намекают на ухаживания Михаила за Катею, он не обращает на это внимания. И только в последние дни начинает смутно беспокоиться.

С у х о в *(говорит, останавливаясь на пороге)*. Катя, куда ты? У меня Михаил Алексеевич... Ушла. *(Входит и спрашивает Рогачеву.)* Что это с нею, Клавдия Григорьевна?

Р о г а ч е в а *(отвечает тихо, с таинственным видом)*. Владимир Павлович, вы не находите, что Михаил Алексеевич слишком зачастил? *(Уходит за Катею.)*

С у х о в *(говорит, растерянно разводя руками)*. Да? Вы думаете? Разве...

V

Входит Михаил.

Сухов. Михаил Алексеевич, отчего вы не купите автомобиля?

У Сухова на лице растерянность и недоумение. Но скоро он овладевает собою и опять берет спокойный и любезный тон.

Михаил. Нет, я не люблю автомобилей. Вообще не люблю ничего автоматического.

Сухов. А вот граммофон — очень хорошо.

Михаил. Нет, не нахожу, Владимир Павлович. Механизм вместо живого голоса — это очень нехорошо. Мертвое подобие жизни, безжизненное повторение одного и того же.

Сухов. Я думал, что вы, как инженер, наоборот, все это любите.

Михаил. Я люблю только рабочие машины.

Сухов. Я слышал, — вас, Михаил Алексеевич, можно поздравить с назначением?

Михаил. Это еще не совсем решено.

Сухов. Толкуйте! Напрасно вы так скромничаете. Я очень рад за вас. Разопьем шампанского.

Михаил. Я хочу сказать, что у меня совсем нет желания взять это место. Вернее, что я откажусь.

Сухов *(спрашивает с легкою насмешкою)*. По принципу?

Михаил *(отвечает спокойно)*. У меня так много дела. Не стоит мне брать на себя занятая административные. Мне канцелярская деятельность не по вкусу. Я только люблю строить.

Сухов *(смотрит на него, снисходительно усмехаясь, и говорит)*. Право, позавидуешь вам, Михаил Алексеевич. Все у вас еще впереди, и в то же время вы на вершине силы. Все возможности открыты перед вами.

Михаил *(рассеянно)*. А вы, Владимир Павлович?

С у х о в. А я? Что ж, я счастлив. Но моя жизнь уже сделана, уже я собираю осенние плоды, мирно и успокоенно, и почти механически подвигаюсь вперед.

М и х а и л. И этим вы счастливы?

С у х о в. Да. Я счастлив так, что даже побаиваться начинаю.

М и х а и л. Чего же вам бояться?

С у х о в. Как Поликрат, я бы перстень выбросил судьбе в жадную пасть моря, да боюсь, отдаст, вернет. Но я утешен тем, что со мною рука об руку идет верная подруга жизни. Пора и вам избрать себе жену по сердцу.

М и х а и л *(отвечает, загадочно улыбаясь)*. Мой выбор уже сделан.

С у х о в. Лилит? Мы как-то несерьезно смотрим на эту связь. Она к вам не подходит. Вы — человек живого дела и трезвого ума, она — экзальтированная мечтательница. Все равно рано или поздно вам придется с нею расстаться.

М и х а и л. Так вы советуете мне теперь же оставить Лилит?

С у х о в. Она слишком странная. Она молчит, когда надо что-нибудь сказать, или говорит что-то непонятное. Когда все вокруг нее смеются, она даже не улыбнется. Это хорошо было в детские годы, а теперь дико очень.

М и х а и л. Теперь она не рисует карикатур.

С у х о в. Да, но ведь я не потому.

М и х а и л. А если я все еще люблю Екатерину Константиновну?

С у х о в *(смеется и говорит)*. А вы, Михаил Алексеевич, еще не забыли этой юношеской истории?

М и х а и л. Иногда мы все возвращаемся к прежним годам и вспоминаем. Верное же сердце и не забывает первой любви. Я не забыл. *(Встает, протягивает руку Сухову и говорит.)* Теперь мне пора. Прощайте, Владимир Павлович.

С у х о в. Вы очень торопитесь, Михаил Алексеевич. Посидели бы. Катя сейчас выйдет.

М и х а и л. Простите, не могу. Мой привет Екатерине Константиновне.

С у х о в. Буду рад навестить вас на днях.

Михаил уходит. Сухов провожает его.

VI

Катя возвращается. Прислушивается к их голосам. Стоит неподвижная посредине комнаты, и опять только бледность лица и движение рук выдают ее волнение. Входит Сухов и говорит ей, улыбаясь.

Сухов. Загордился наш строитель Сольнес.

Катя *(вспыхивая, говорит с неожиданною страстностью).* Ему есть чем гордиться!

Сухов *(внимательно смотрит на нее и говорит).* Я не понимаю, Катя, — ты стала какою-то нервною и беспокойною.

Катя. Да? Ты находишь?

Она говорит это очень рассеянно, и кажется, что она думает о чем-то другом, что не выходит у нее из головы.

Сухов. Меня это беспокоит очень, Катя. Может быть, тебе сегодня...

Он хочет сказать: нездоровится, но Катя нервно перебивает его и говорит быстро и сухо.

Катя. Чем же ты недоволен? Чего я не сделала? Я родила тебе мальчика и девочку. Я продолжила твой род.

Сухов. Катя, отчего ты говоришь со мной так холодно?

Катя *(старается подавить свое волнение и принужденно-спокойным голосом говорит).* Так холодно? Нет, я этого не хотела. Я не хотела сказать тебе неприятное.

Сухов. Не хотела, конечно. Я тебе верю. А остальное, — я знаю, что моя славная, милая женушка любит пофилософствовать. Но это не мешает ей быть превосходною хозяйкою.

Катя. Конечно, я это и хотела сказать.

Сухов. Ты — моя милая, славная женка.

Он подходит к ией и хочет поцеловать ее руку.

Катя *(быстро отходит от него и говорит решительно)*. Все это кончилось, и я напоминаю тебе наш договор, тогда, перед свадьбою.

Сухов *(останавливается, ошеломленный, посредине комнаты и говорит)*. Что ты говоришь, Катя?

Катя. Я была тебе верною женою. Теперь довольно с меня. Я люблю Михаила и ухожу к нему.

Сухов. Катя, Катя, что же ты со мною делаешь?

Катя. Я тебя не люблю. Как же я могу жить с тобою!

Сухов. А эти восемь лет? Ведь ты же меня любила?

Катя. Что же я в этом понимаю? Что я могла понять?

Сухов. Кажется, непонятного мало.

Катя. Как слепая бабочка... Ах, да я же вам говорила, что не люблю вас.

Сухов. Катя, мне больно.

Катя. Зачем же вы меня брали? Я вас не обманывала.

Сухов. Я думал, что это было только детское увлечение. Я думал, что с годами это пройдет.

Катя. Любовь одна, как смерть одна.

Сухов. Притом же он сошелся с другою.

Катя. Он любит только меня.

Сухов *(спрашивает гневно)*. А эта несчастная дурочка Лилит была для вас только ширмою?

Катя. Удел слабых — обманывать и таиться. У каждого есть своя пора слабости и своя пора силы.

Сухов. Так внезапно... Я совсем подавлен всем этим, что ты мне сказала.

Катя. Ты знал, что я тебя не люблю. Я не скрывала.

Сухов. Ты — подлая. Ты ограбила мою душу!

Катя. Ты сам этого захотел. Я тебе говорила...

Сухов. Долгие годы ты играла комедию. Подлая, подлая! Ты взяла у меня все, а когда твой любовник разбогател, ты идешь к нему. Подлая, подлая!

Катя. Ты дал мне слово, что отпустишь меня.

С у х о в. Я так верил в тебя!

К а т я. Вернее, в себя. В свою силу, в свою власть. Верил во власть традиционных слов и понятий.

С у х о в. Я верил в тебя, потому что восемь лет подряд ты обманывала меня. Так искусно ты притворялась любящею женою! Какая низость!

К а т я. Ты прав, я виновата, — пусть так, но ведь это же ровно ничего не меняет в нашем положении.

С у х о в. Где же у вас правда, где совесть? Где ваши принципы?

К а т я. Не ты ли сам любил повторять: кто силен тот и прав? О какой же правде теперь ты говоришь? Не ты ли сам смеялся над принципами Чернецовых? О каких же принципах теперь ты заботишься? Ты пожинаешь то, что сеял.

С у х о в. Как злобно, как язвительно говоришь ты со мною!

К а т я. Прости. Нет, я не хочу говорить злые слова. Но я должна от тебя уйти. Прощай. *(Уходит.)*

Конец четвертого действия

Действие пятое

I

Комната третьего действия. Ясный день. Торжественно и печально. Лилит, одетая, как в третьем действии, и Чернецов Дым его папиросы как-то странно соответствует черному хитону Лилит.

Ч е р н е ц о в. Куда же ты теперь пойдешь, Лилит?

Л и л и т *(не слушая его и словно продолжая, говорит).* Вот и пришло время, когда мне надо отойти, уйти. Здесь, около человека, я, лунная сказка, веселая немножко, но больше грустная, тихо и редко смеющаяся и вовсе не проливающая слез, я, бедная Лилит, провела мои восемь лет и ухожу в лазурную тишину моей пустыни.

Ч е р н е ц о в. Куда же ты пойдешь, Лилит?

Л и л и т. Куда-нибудь. Что же, мой срок прошел. Ах, опять для меня повторилась моя старая, старая история любви! В раю первозданном к первому человеку, созданному Богом, пришла, из ночных его грез возникшая, прекрасная, тихая Лилит, я. Дни первой, лунной Лилит проходят скоро, — и приходит вторая, законная, вечная жена Ева к своему Адаму.

Ч е р н е ц о в. Дал ли он тебе денег, Лилит?

Л и л и т. Конечно. Он дал мне много денег. Ему ничего не жаль. Он — великодушный и сильный. *(Обходит комнату и говорит.)* Прощайте, прощайте, милые предметы, любимые моим милым! Прощайте, прощайте! Да будет счастие и радость в этом доме! Пусть никто здесь никогда не заплачет, как и я не пролила здесь ни одной слезы.

II

Входят Катя и Михаил.

Катя озарена радостью освобождения. Ее движения легки и быстры, как движения юной девушки, и кажется, что счастьем сожжены эти восемь лет заложничества. Лицо пылает румянцем, глаза блестят. Ее платье похоже на то, которое было на ней в первом действии, и опять, как тогда, она босая.

Увидев Лилит, Катя слегка отуманилась. Медленно подходит она к Лилит, становится перед нею на колени, целует ее руки и говорит.

К а т я. Ты сохранила мне его, милая Лилит! Милая Лилит!

Л и л и т. Ты меня благодаришь? За что же? *(Поднимает Катю и целует ее.)*

К а т я. За эти годы, когда мы были заложниками жизни и ты, всегда свободная, утешала его.

Л и л и т. Я его люблю. А он меня не любит. Так надо. Мы были на верном пути. Прощай, Михаил. Вот, я ухожу.

М и х а и л. Милая Лилит, прощай! *(Целует ее.)*

Лилит и Катя смотрят одна на другую.

Л и л и т. Не жалей меня, Катя. Я жила с тем, кого любила. И сколько раз я готова была тебя жалеть: ведь ты жила с нелюбимым человеком!

К а т я. Готова была меня жалеть?

Л и л и т. Да, — но не жалела. Зачем жалеть! В свободе всегда есть жестокость. Потому кроткие всегда несут ярмо. Прощай, Катя.

Катя, плача, обнимает Лилит. Лилит уходит, и, провожая ее, уходит Чернецов.

М и х а и л. Она уходит из моей жизни, оставляя в ней незабываемую печаль.

Катя смотрит на него, улыбаясь, и опять вся сияет радостью.

III

Дверь отворяется, и входят Катины дети: мальчик и девочка. Они румяные, здоровые, спокойные. Одеты нарядно и красиво. Идут и кажутся заведенными куклами. За ними идет бонна. На ее лице жадное любопытство, от которого нос ее кажется длиннее, острее и желтее обычного; он, точно из крашеного свинца, тяжелый и тянет ее голову вперед. Глаза моргают часто. В руках, странно сжатых, колышется ридикюльчик, — и кажется, что там копошится грязненькая сплетнишка. Михаил уходит и через несколько времени возвращается с двумя коробками, в которых, по-видимому, положено что-то сладкое. Ставит эти коробки на стол близ Кати.

К а т я. Дети, зачем вы сюда пришли?

Д е т и *(говорят довольно безвыразительно)*. Мамочка, мамочка, пойдем поскорее домой. Нам без тебя скучно.

К а т я. Милые мои, я здесь останусь навсегда. А вы должны жить с папочкой.

Д е т и. Мамочка, мамочка, иди к нам. Мы хотим поиграть с тобою, а без тебя мы скучаем.

К а т я *(укоризненно смотрит на бонну и говорит)*. Зачем вы привели сюда детей?

Б о н н а. Простите, Екатерина Константиновна. Мы гуляли. Дети очень просились.

Видно, что лжет.

К а т я. Нет, милые дети, я не пойду к вам. Идите скорее, папе скучно вас ждать.

Д е т и *(говорят наивно)*. Нет, мама, ему не скучно, он сидит в кофейне Жакмино, где такие вкусные пирожные. Нет, ему не скучно.

К а т я. Милые дети, я никогда не вернусь к вам.

Д е т и. Милая мама, отчего ты не хочешь к нам вернуться?

К а т я. Потом вы узнаете, а теперь вам этого не понять.

Д е т и. Мы и теперь поймем, скажи нам, милая мама.

К а т я. Милые дети, я нашла моего старого друга, которого я всегда любила. Я буду жить с ним всегда. Что же вы в этом поймете?

Д е т и. Твой друг — этот господин с черною бородою?

К а т я. Да, дети, это он. *(Берет со стола коробки, на которые дети давно уже поглядывали.)*

Глаза у детей оживились.

Д е т и *(спрашивают)*. У него много сладких конфеток?

К а т я. Вот, он вам дарит это. *(Дает детям по коробке.)*

Д е т и *(захватив коробки забавно-неловким жестом, поворачиваются к Михаилу и благодарят его: девочка делает реверанс, мальчик шаркает ножкою, и оба говорят вместе)*. Благодарю вас.

К а т я. Теперь, милые дети, идите. Слушайтесь папочку во всем, будьте добрыми и умными, и да благословит вас Бог. Прощайте, дети. *(Целует детей.)*

Дети прощаются и уходят.
За ними уходит бонна, дрожа от любопытства, повертывая во все стороны остренькую мордочку и порывисто нюхая воздух.

IV

К а т я. Мне кажется, что это были какие-то ненастоящие, стилизованные дети. Что они говорили! Какой вздор! Бедные, глупые! Он их научил этой ерунде, а сам сидит в кофейне Жакмино и ждет.

М и х а и л. Я видел его из окна. Он вышел из кофейни и ходил по тротуару, потом быстро перешел на эту сторону. Он ждет своих детей у подъезда.

К а т я. Сейчас он сам придет сюда.

V

Раздается где-то не близко резкий звонок, за ним другой, третий, все яростнее.

М и х а и л. Это — он. Ты бы ушла, Катя.

К а т я. Я не боюсь. Я не хочу прятаться.

Доносится бешеный крик. Слова не слышны. Катя и Михаил молча прислушиваются. Врывается Сухов. Он взбешен. Михаил идет ему навстречу. Вслед за Суховым входит Чернецов.

С у х о в *(кричит)*. А, гениальный строитель! Набили себе карман на постройках, теперь есть на что содержать любовниц!

М и х а и л. Успокойтесь, Владимир Павлович.

С у х о в. Влюбленная парочка! Нет, господин инженер, ваш расчет на этот раз неверен. Хапуга, тебе не удастся это воровство!

В руке у Сухова револьвер, которым он бестолково размахивает. Михаил смотрит на Сухова спокойно.

Ч е р н е ц о в *(бросается между ними и кричит)*. Остановитесь! Принципиально я не могу допустить, чтобы спор между интеллигентными людьми разрешался выстрелами.

С у х о в *(говорит злобно)*. Старый шут! *(Бросает револьвер на стол. Садится в кресло у стола, закрывает лицо руками и рыдает)*

К а т я *(подходя к нему, говорит тихо)* Владимир Павлович, простите меня. К вам я никогда не вернусь.

С у х о в *(овладевая собою, быстро встает и говорит)* Меня извините, Екатерина Константиновна. Нервы не выдержали. Прощайте. *(Идет к выходу. В дверях останавливается и говорит.)* Мстить вам я не стану. Я презираю вас обоих. *(Уходит.)*

Ч е р н е ц о в. Я провожу его. *(Идет за Суховым.)*

VI

Катя подходит к Михаилу и целует его.

М и х а и л *(спрашивает)*. Катя, мы счастливы?

К а т я. Да, мы счастливы. Бесконечность жизни перед нами, и мы победили.

М и х а и л *(говорит задумчиво и невесело)*. Мы счастливы.

К а т я *(с удивлением спрашивает)*. А ты сомневаешься?

М и х а и л. Нет, но счастье мое обвеяно грустью.

К а т я. Но мы все-таки победили! К чему же ты поведешь меня теперь?

М и х а и л. К жизни свободной и радостной, к творчеству жизни новой и счастливой, такой жизни, какой не было до нас.

К а т я. А был день, ты звал меня к смерти.

Ми х а и л. Я — господин жизни. Но мое господство куплено ценою утомления и печали.

К а т я. Как сон, прошли эти годы.

М и х а и л. Как сон.

К а т я. Мы снова юны. Мы снова дети.

М и х а и л. А Лилит?

К а т я. Лилит? Эта грустная, большеглазая сказка? Мечта ночная, Лилит, ушла. Ушла к тому, кто мечтает.

VII

В комнате темнеет. Отодвигается медленно занавес в глубине комнаты. Открывается залитая ярким светом широкая лестница в семь ступеней, а за нею обширный, высокий, белый зал. Передний план сцены в тени, и лиц Михаила и Кати не видно. На верху лестницы стоит Лилит, в черном хитоне. Но теперь голова ее увенчана золотою диадемою и торжественным светом облито ее лицо.

Л и л и т. Устала я, устала смертельно. Многие века прошли надо мною, — ко мне зову я человека, — и, свершив подвиг мой, ухожу. И все не увенчана Дульцинея, и путь мой далек предо мною.

Конец

ЛЮБОВЬ НАД БЕЗДНАМИ

Драма в четырех действиях

Действующие лица:

Он.
Она.
Человек земли.
Другая.
Слуга.
Журналист.
Делец.
Банкир.
Железнодорожник.
Торгаш.
Адвокат.
Пьяный художник.
Дамы: | в желтом.
в голубом.
в красном.
в зеленом.
в лиловом.
Лакей.

Действие первое

Тихий лунный вечер. Площадка на высокой горе, обнесенная легкой изгородью, в которой калитка. От калитки вниз идет тропинка. Слева небольшой домик.
Он и Она.

Она. Уже поздно, а наш слуга все еще не возвращается. Это меня беспокоит.

Он. Он придет.

О н а. Мне кажется, сегодня кто-то чужой придет к нам и нарушит эту сладкую тишину… милую тишину.

О н. Кто же вздумает к нам прийти? Кто еще помнит о нас?

О н а. А помнишь, — друг наш?

О н. Но когда же это было, припомни!

О н а. Когда? Да, правда, то было еще в прошлом году, весною. Больше года прошло с тех пор.

О н. Вот здесь, наверху, высоко над морем и над селениями, мы живем в полном уединении, — я, вечно мечтающий и работающий, и ты, моя прекрасная, моя златокудрая, моя любовь. Я изучаю глубины вселенной, я думаю о том, что наша земля переродится в планету более утонченной природы и с нею вместе переменятся люди, — сила искусства и жизни превратит их в более совершенные существа, и у них будет возвышенная душа и прекрасный строй жизни. Там, на одной из этих далеких звезд, быть может, такая жизнь.

О н а. Что же можем мы сделать для этого?

О н. Очень многое. Все. Правда, долог и труден путь, — но что время? что жизнь одного человека? Задача наша в том и состоит, чтобы воспитать в себе духовную силу и научить людей. Силою нашего духа мы преобразим мир.

О н а. Когда-нибудь... Когда я смотрю на звезды, так светло горящие над нами, мне кажется иногда, что они говорят нам что-то, о любви высокой и совершенной.

О н. Где-нибудь в это время на планете, более совершенной, чем наша, кто-то смотрит на далекую звезду, наше солнце.

О н а. Он посылает нам привет, томящимся в земной темнице.

О н. А мы его привета понять пока еще не умеем. Ах, если бы мы умели! Какие бы тайны перед нами раскрылись! Более совершенные, чем мы, существа помогли бы нам подняться на высокие ступени духовного могущества.

О н а. Неужели теперь мы еще ничего не умеем?

О н. Было время, когда на земле царили дикие, не сознавшие себя силы. Тогда земля наша была еще грубее и беднее, чем ныне. Но возник творящий дух человека, и каждый проживший на земле взле-

леял в себе и отдал земному миру свою духовную силу. Шли годы за годами, тысячи лет сменялись. Изливаемая в воздух земной жизни сила человеческого духа умножалась, и вот земля наша становится духовнее, и самый воздух наш способнее для передачи мыслей, чем в отдаленные времена. Настало время, когда дух человека должен ускорить этот творческий процесс и пронизать нашу атмосферу голубыми молниями высоких мыслей.

О н а. О, как мудры твои речи, как мудры! Когда ты говоришь так, мне кажется, что эти скалы внимательны к твоим словам, и что самый воздух заслушался, и лунные тени дрожат от восторга. Как я тогда люблю тебя! Люблю твой ясный взор, люблю твой глубокий голос, подобный голосу божества!

О н. То, что я познаю мыслью, ты постигаешь чувством. Может быть, в тебе уже возникает та высокая способность, интуиция, которая нашим потомкам заменит медленно ползущий разум. Она поможет им познавать совершеннее и быстрее. Поэтому ты и ушла со мною из того мира, где люди думают только о полезном.

О н а. Я люблю тебя и с тобою буду всегда и везде.

О н. Там, внизу на земле, люди без конца умножают богатства и практические знания, но жажда души остается без утоления, и скоро людям нечем станет жить. Никто не насытит их душевного голода, не утолит их жажды.

О н а. И тогда они придут к нам, — к тебе.

О н *(улыбаясь)*. Ты думаешь, придут?

О н а. Люди всегда приходят к тому, кто умеет ждать.

О н. Тогда над жизнью восторжествует искусство.

О н а. Искусство и красота.

О н. Да, искусство со всеми его чарами. Музыка, живопись, театр пышно расцветут и вновь очаруют и преобразят человека. Но, когда я жил среди людей, они издевались над моими словами, и слово «мечтатель» было равносильно слову «глупец». Они меня ненавидели! Как странно! За что?

О н а. Они тебя не понимали. Не могли понять!

О н. Им совсем не нужно было того, чему я их пытался учить. Они не слушали меня, и запрещали мне говорить, и не хотели дать мне

приюта в своей среде. Помнишь эту свирепую старуху, которая потребовала, чтобы мы оставили ее дом?

О н а. Она была злая и глупая.

О н. И я удалился от них в горы.

О н а. Но рано или поздно они тебя все-таки поймут. Они пойдут за тобою.

О н. Поймут ли? А и поймут, так пойдут ли? Не разумом же направляется их жизнь!

О н а. Ведь я же пошла за тобою.

О н. Ты — единственная из женщин. Ты меня полюбила, а любовь делает чудеса.

О н а *(улыбаясь)*. Разве я одна пошла за тобою? А твой верный слуга, и твоя верная собака? Или ты о них позабыл?

О н. Наш старый слуга — вернейший из людей. Он хочет понять, но есть области, для него навсегда недоступные. Ему остается только верность, неизменная, неподкупная, немного даже страшная, такая она железная.

О н а. Страшная? Почему?

О н. Из любви он ни перед чем не остановится.

О н а. Нет, верность никогда не бывает страшною. Так сладко знать, что есть верность, что наш союз ничем не будет нарушен. Ничем!

О н. И собака моя более верна, чем могут быть верными люди, но не так, как люди. Вот почему я не называю их, когда говорю, что ты одна пошла за мною. Тебя вела ко мне не только верность, — ты пришла сама, своею волею движимая и только по воле своей остаешься со мною.

О н а. И всегда останусь с тобою, — потому что люблю, люблю, люблю!

О н. Милая, я знаю. Любовь за любовь, жизнь за жизнь, — может ли быть иначе!

О н а. Ты хочешь сделать мир иным, — но разве и в этом мире ты недостаточно счастлив?

О н. Благодарю тебя, возлюбленная моя! Здесь, с тобою, иного счастья мне не надобно. Твоя любовь — как многозвездное, тихое

небо надо мною. Ничто не нарушает здесь мирного течения моих трудов.

О н а. Ты даже слишком усердно погружаешься в них. Я хотела бы больше видеть тебя.

О н. Но и работая, я всегда чувствую твое присутствие. Когда я один там, наверху, я знаю, что любовь моя со мною, здесь, близко. И мне хорошо. Уединение, красота и небо окружают меня, и в душе моей — великий покой.

О н а. А тебе никогда не хочется сойти на землю?

О н. Нет. Зачем же?

О н а. Земля — родная. Она глупая, но все же милая. К ней тянет.

О н. Ты скучаешь здесь?

О н а. Скучаю? О нет! Как ты мог подумать это! Когда я с тобою, мне хорошо. Когда ты уходишь, я думаю о твоих словах, душа моя хочет проникнуть в сокровенный смысл их. И душа моя полна, так полна... Мне иногда кажется, что мысли и мечты твои стремятся слишком бурным потоком и переливаются через берега моей души. Эти мечты, более высокие, чем я! О, какая женщина там, на земле, была так насыщена высокими мечтами! Там, на земле, где весело, шумно и почти совсем некогда думать.

О н. Да, вспоминай иногда о земле.

О н а. Когда птица устанет парить в небесной лазури, она опускается вниз. Душа знает минуты падения, а падаем все мы на родную землю.

О н. Я бы хотел упасть на далекую звезду!

О н а. Как тихо, о, как тихо все вокруг! Неужели где-то есть люди, есть иная, шумная, человеческая жизнь! Порою мне кажется, что все умерли, что мы одни уцелели от какой-то охватившей всех болезни... от какой-нибудь ужасной чумы...Что, если бы я теперь вошла в театр или в кафе? Мне стало бы страшно, и люди сказали бы: «Какая дикарка!»

О н *(привлекая ее к себе)*. Жизнь наша останется в памяти людей. Имя единой моей возлюбленной неразрывно сольется с моим именем.

О н а *(задумчиво)*. Века должны признать тебя. Век — так много, так долго! Утешает ли тебя слово «вечность»? Мог бы ты любить вечно?

О н. Разве я не полюбил тебя навеки?

О н а. Ничто не может разлучить нас. Забрались мы сюда одни, живем под облаками и беспечно смеемся над житейскими невзгодами.

О н. Разве не учил я тебя, — еще там, на земле, — что человек — верховный властелин, вершитель своей судьбы и жизни? Вот мы устроили жизнь нашу по воле нашей. И разве не райский сад насадили нам любовь, творчество и красота?

Входит Слуга.

О н а. Наконец-то! Уж я боялась, не случилось ли с тобою чего-нибудь!

С л у г а. Я обошел внизу все селения, — нигде не удалось достать пищи. Люди убирают хлеб, и в их домах даже детей нет.

О н а. Как же мы обойдемся?

С л у г а. Только двух диких голубей подстрелил я на горе.

О н а. Ну и довольно! Там, внизу, в городе, я боялась бы голода, а здесь не хочется и думать о завтрашнем дне.

С л у г а. Вслед за мною шел какой-то человек, не здешний. Должно быть, из большого города. Не знаю, чего он здесь ищет. Может быть, заблудился в горах. Да вот и он.

На площадку входит Человек земли и останавливается у калитки.

Ч е л о в е к з е м л и. Уж и не думал я добраться до жилья. Надеюсь, здесь обитают добрые люди и не прогонят меня опять на эти мрачные тропы над безднами.

О н а. Войдите, милости просим. Мы рады гостю.

О н. Войдите, будьте здесь как дома.

Ч е л о в е к з е м л и. Простите, моя одежда в пыли, и я сам...

О н. Сейчас вас проводят.

Делает знак Слуге, который уводит Человека земли в дом. Собака выражает беспокойство.

О н а. Пришел зачем-то. Как досадно! Надо говорить с ним, — не быть только с тобою.

Он. У него энергичное лицо охотника или дельца. Там, в городе, мы нередко встречали таких людей, как он. Странно, что он пришел к нам. Что ему здесь может быть надобно?

О н а. Он, должно быть, проголодался. Но у нас нет ничего, кроме этой пары голубей. Пойду, посмотрю, что можно сделать. *(Уходит напевая.)*

О н. Как странно! Как странно! Везде люди найдут. Что манит на эти высоты, — мудрость или красота?

Собака ласкается к Нему и смотрит так выразительно, что Ему кажется, что Он понимает ее.

Верный друг, отчего ты так беспокоен? Ты озабочен тем, кто пришел к нам? Да. Ты не понимаешь, чего он здесь ищет? Нет, ты знаешь, зачем он сюда пришел? Ты думаешь, что его приход повлечет что-нибудь злое? Полно, друг мой, не бойся, нам здесь бояться нечего. Ни людей, ни судьбы не боится тот, кто ушел от людей на эти высокие горы. Нет, ты думаешь, что его надобно бояться? Но что же он может сделать нам? Ведь он скоро уйдет. Или ты думаешь, что он не уйдет?

Он сидит в глубокой задумчивости, говорит порою отрывочные слова.

Земля милая. Земля зовет. *(Встает, и лицо его светлое.)*

Почти одновременно возвращаются Она и Человек земли.

Дорогой наш гость, как сумели вы в этих неприветливых для чужого горах найти наш дом? Давно уже к нам никто не приходил.

Человек земли. Там, внизу, пройдет скоро железная дорога. Мы осматриваем местность. Дикий край, но как он оживет, когда здесь будет железная дорога!

Она *(тревожно)*. Здесь? Железная дорога?

Человек земли. О, конечно, далеко внизу. Ваше уединение останется ненарушенным. Нынче утром я вышел прогуляться в горы и незаметно для себя поднимался все выше и выше. Я никак не мог найти удобного спуска вниз. И вот уже ночь. Не правда ли, как странно!

Она. Вы у нас отдохнете, переночуете. Потом наш слуга покажет вам дорогу.

Он. Да, удобный спуск вниз не так-то легко найти. На эти высоты трудно подниматься, но кто уже раз поднялся, тому так же трудно спуститься.

Человек земли. Трудно найти дорогу, но спускаться, — не думаю, что трудно. Там, внизу, так много такого, что зовет к себе, что спускаться будет нетрудно. Мне, по крайней мере. Мне так радостно смотреть на эти места, в которые мы внесем культуру.

Он отходит в сторону и во время последующего разговора незаметно уходит в дом. Луна бледнеет, ночь приближается к концу. Слышны отдаленные звуки пастушеской свирели, возвещающей приближение рассвета.

Она *(с выражением невольного и страстного любопытства)*. Вы оттуда? оттуда, с земли?

Человек земли. Да, из большого города. Мои друзья остались внизу, в долине, а меня повлекло на вершину. Как будто казалось, что здесь можно найти отдых на несколько часов или дней. Мы там так много работаем, что иногда нам хочется уйти. Конечно, скоро этот отдых нам надоедает, и опять тянет к привычным трудам и заботам.

Она. Расскажите мне, что нового там у вас. Все так же, как и прежде, — ссорятся, завидуют, ненавидят друг друга? Не научились ли люди чему-нибудь новому, прекрасному?

Человек земли. Да, научились кое-чему. Научились летать.

О н а. Как! Неужели люди летают? Какие же у них крылья? Как это должно быть красиво! Расскажите мне об этом, расскажите! И обо всем, обо всем!

Человек земли. Да, я расскажу вам о крыльях и о многом еще прекрасном, что придумали мы там, на земле. Ведь мы все на земле хотим изменить и переделать самое лицо нашей планеты.

О н а. Как это хорошо! Он говорит то же! Только другими средствами...

Человек земли. Но неужели сама земля с ее шумом, волнением, со всеми ее радостями и даже с ее огорчениями не манит вас к себе? Неужели вы не хотели бы видеть, как жители городов побеждают дикую природу?

О н а. Все это, что вы говорите, так интересно! Но он любит уединение. Он может работать только здесь.

Человек земли. Почему?

О н а. Люди не понимают его и оскорбляют.

Человек земли. Люди поймут все, что для них полезно.

О н а. Его учение говорит не о том, чем теперь заняты люди. Он к ним не пойдет.

Человек земли. Он! Ну а вы-то? Разве вы не можете хоть иногда прийти в город?

О н а. Если бы я уходила от него по временам, то это, я думаю, очень развлекало бы его и мешало бы ему работать. Он беспокоился бы обо мне. Он говорит, что мое присутствие помогает ему познавать и ощущать истину.

Человек земли. Вы говорите только о нем. Все здесь для него. А что же для вас? Вы молоды и прекрасны, — разве не хотите вы наслаждаться всеми благами жизни, как наслаждаются другие молодые и красивые женщины? И еще многие из них не так прекрасны, как вы.

О н а. Моя красота радует его, такого мудрого и великого, — разве этого для меня мало!

Человек земли. А вы сами не хотите радоваться? Разве вы не любите веселья?

О н а. Мне и здесь хорошо. Правда, уверяю вас, я вполне довольна моею жизнью здесь. Я полюбила эти горы, я отвыкла от иной жизни. Здесь так хорошо, спокойно, красиво.

Человек земли. Что в этой дикой пустыне может быть красиво?

О н а. Эти горы, небо, закаты и восходы, этот вечный снег на горах, эта далекая свирель пастуха.

Человек земли. И так целые дни, месяцы, годы! Вы всегда одни, одни! Среди этих холодных камней! И давно вы здесь?

О н а. Но ведь мы вдвоем, — это не то, что одни. Быть вдвоем с любимым — такое счастье!

Человек земли *(повторяет свой вопрос)*. И давно?

О н а. Уже целых шесть лет.

Человек земли. Шесть лет! На шесть лет были вы моложе, когда пришли сюда, — и где же эти годы? Что они вам дали? Чем вы их вспомните?

О н а *(смущенно)*. Я была с ним счастлива.

Человек земли. Он был счастлив, — а вы? Шесть раз уже весна заставала вас здесь среди этих угрюмых скал, среди этой вечной, гнетущей тишины, без единого звука радости, без живой жизни! Да, правду говорят, что ко всему можно привыкнуть, — вот, можно привыкнуть даже и к этому ужасному молчанию гор.

О н а. Молчание гор! Какое же молчание! Вот свирель слышна. Как сладко дрожат в тихом воздухе ее нежные звуки!

Человек земли. Свирель! Да, эти звуки очаровательны. Но знаете ли вы, о чем поет свирель?

О н а. О чем?

Человек земли. Она поет о любви.

О н а. О да, о любви.

Человек земли. О любви человека к своей земле и к своей любви, о том, что человек приходит за любовью, а не любовь за человеком. Человек приходит к любви, ну хоть бы вот так, как я к вам пришел.

О н а. Нет, не будем об этом говорить.

Человек земли. Почему не говорить? Нас, горожан, упрекают в том, что мы будто бы неискренни. В пустыню бегут не только от городского шума, но и от городской лжи. Ведь и он, ваш повелитель, удалился сюда от этой лживости, не правда ли?

Она. Да, конечно.

Человек земли. Отчего же вы не хотите позволить мне говорить с вами искренно и откровенно? Разве этот торжественный час всемирной тишины не зовет вас открыть душу тому, кто готов и свою открыть? Поверьте, мы, горожане, очень чутки к этим минутам всемирного молчания.

Она. Вы, кажется, думаете, что и я в душе горожанка.

Человек земли. Вот именно это.

Она. Но вы очень ошибаетесь. Я не люблю города.

Человек земли. Так вам кажется.

Она. Правда, я люблю тишину, природу.

Человек земли. Мы все любим природу, но зачем же уходить от людей! Меня не удивляет, что он, уже усталый от деятельной жизни, ушел сюда мечтать и работать в тишине над тем, что никого не интересует у нас на земле, — ведь мы живем в мире великих практических достижений. Но вы, такая молодая, такая прекрасная, вся полная сил. Вы жаждете иной жизни. Вы тоскуете здесь!

Она. Что вы говорите!

Человек земли. Зачем вы здесь?

Она. Откуда вы все это можете знать? Почему вы думаете, что я тоскую? Ведь это же неверно?

Человек земли. Я прочел это в ваших глазах. Мы, горожане, словам не верим. Мы привыкли читать мысли в глазах, в движениях губ. И потому скрывать свои мысли — это уже у нас не принято, — бесполезно и потому даже смешно.

Она. И все-таки вы ошибаетесь, когда так думаете обо мне. Но что говорить обо мне! Смотрите, какая дивная ночь!

Человек земли. В такую ночь очень хорошо на берегу моря. Но и здесь ночь очаровательна.

О н а. Смотрите, как никнет побледневшая луна. Слышите? опять свирель.

Человек земли. Этот мальчуган умеет сливать свою душу с воплями своей свирели. Хорошо, правда, очень хорошо. А вокруг нас, — как тихо, как прекрасно! Словно мы одни на всем земном пространстве, словно заворожены этою ночью, этою тишиною. Отчего вы так вздрогнули? Вам холодно?

О н а *(тихо)*. Нет.

Человек земли. Отчего же вы так побледнели?

О н а. Какая тоска в моем сердце! Отчего она, эта тоска, — вы не знаете?

Человек земли. Знаю и радуюсь.

О н а. Тоске моей рады? Вы шутите, — вы не злой, у вас такой мягкий и глубокий голос.

Человек земли. Я радуюсь потому, что ваша тоска — призывный голос жизни. Это жизнь зовет вас. Слышите вы голоса земной, жаркой жизни?

О н а. Как сердце у меня бьется! Эти голоса, о которых вы говорите, — они поют в моем сердце, они зовут меня.

Человек земли. В свете этой луны вы так прекрасны!

О н а. Зачем вы говорите это! И я, зачем я вас слушаю! В этом есть что-то недолжное.

Человек земли. Я восхищаюсь вашею преданностью и покорностью. Ваша преданность ему так трогательна и красива, но она вне жизни, она против нашей, живой жизни, а этой жизни на земле все служит. Все должно ей служить.

Собака пробегает встревоженная, — чует недоброе. Где-то наверху дома стукнуло окно. В глубине сцены проходит Слуга.

О н а. Пойдемте в дом, — наш слуга делает мне знак, что ужин готов. К сожалению, сегодня я могу угостить вас только дикими голубями. Ничего другого в нашем доме сегодня нет. Там, внизу, вы, верно, не привыкли к таким лакомствам, как пара диких голубей.

Человек земли *(глядя на нее с удивлением)*. Как! Вы здесь терпите лишения! Вы, прекрасная!

Она. Зато завтра я поведу вас на дикий утес, где растут дивные горные фиалки, покажу вам, как играет заря на обагренных ею снегах, возведу вас на такие высоты, от которых голова закружится.

Человек земли. Да, покажите мне все это, — весь ваш мир, которого вам довольно и который должен быть очаровательным, чтобы быть достойным вашей любви.

Она. О, вы смеетесь надо мною!

Человек земли. Как вы можете это думать! Я восхищен вами, и для меня будет счастием увидеть, что вас держит на этих диких высотах, вдалеке от света и от людей. А он, ваш господин, отпустит вас со мною?

Она. Когда я одна ухожу далеко от дома, он боится немного, как бы я не сбилась с пути или не упала в пропасть. Но я знаю здесь все тропинки.

Человек земли. А если вы пойдете со мною?

Она. Тогда он будет меньше беспокоиться. Он любит меня, — и верит мне.

Человек земли. А вы как могли его полюбить?

Она. Мудрость его и страданья покорили меня. Когда вы с ним поговорите, вы сами полюбите его. Его нельзя не любить.

Слуга опять подходит.

Слуга. Хозяин ждет.

Она. Пойдемте.

Действие второе

Ясный день. Там же. Она, Он и Человек земли.

Человек земли. Вы только мечтаете о преображении жизни, мы ее преображаем. Вы мечтаете о человеке, который еще не родил-

ся, а мы... Да вот, когда в будущем году осенью вы спуститесь в ту долину, вон там, вы ее не узнаете, такая там будет жизнь, такое движение.

Он. Нет, вы только умножаете вещи и потребности, а человек, водимый вами, идет назад.

Человек земли. Вперед! Мы ведем человека путем материального прогресса. Это — единственно верный путь. А то, что вы называете духовными ценностями, это нередко только болтовня, порою даже вредная для общества.

Он. Дикарь, управляющий машинами, — вот ваш современный человек.

Она. Но разве наш гость похож на дикаря?

Он. Милая, ты права. Не следует так много спорить с гостем. И к чему? Ни в чем нельзя убедить. Работа ждет меня, я ухожу к себе. Вечером будем снова беседовать. *(Уходит.)*

Человек земли. Пора. Так незаметно прошла эта неделя! Я совсем забыл о том, что меня ждут, что обо мне беспокоятся и меня ищут.

Она. Мне грустно, что вы уже уходите. Я всегда буду вспоминать эти дни, когда вы были с нами.

Человек земли. Неужели я не мог вас убедить и все мои слова были тщетны? Неужели я уйду один, а вы останетесь здесь, на этой угрюмой и ужасной высоте?

Она. Я не должна слушать вас. И все же слушаю, хотя вы говорите о том, чего презреннее нет в человеческих делах, — об измене.

Человек земли. Измена! Что вы называете изменою?

Она *(смущенно)*. Измена — это когда обманывают доверие, нарушают долг верности. Кто-нибудь в тебя верит так сильно, так безмерно, и вдруг ты его обманешь.

Человек земли. Каждый должен быть верен прежде всего себе самому. Только на себя надеешься, на себя полагаешься с достаточною уверенностью, и вот если сам себя обманываешь — это горшая измена.

Она. Но если отдаешь себя добровольно и радостно?

Человек земли. Измена в том, что вы томитесь здесь. Это — измена против вас самой, против вашей молодости, против вашей красоты, против всего того прекрасного, что в вас заложено. Всем этим вы сами могли бы наслаждаться, всем этим наслаждались бы другие. Но вы и от себя, и от других скупо прячете все данные вам судьбою сокровища. Вот эта измена...

Она. Умоляю вас, оставимте этот разговор.

Человек земли. Когда я вижу вас, я не могу говорить ни о чем ином. Я люблю вас, — могу ли я не говорить об этом! Вся душа моя истекает любовью к вам, и я чувствую, что не могу оставить вас здесь.

Она. Зачем вы говорите мне об этом? Ведь это же бесполезно!

Человек земли. Почему бесполезно?

Она. Я не могу уйти отсюда, я должна быть с ним.

Человек земли. Должна, должна! Кто научил вас этому скучному, лицемерному слову?

Она. Мне с детства внушили понятия чести и долга.

Человек земли. И напрасно вы всему этому поверили! Человек никому ничего не должен. Если у человека и есть обязанности, то перед самим собою, только. Больше ни перед кем, ни на земле, ни на небе. Сам человек созидает свое счастие, сам и для себя.

Она. Но ведь в душе заложены эти благородные чувства долга, обязанности, благодарности!

Человек земли. Благодарности за что? За этот плен? За скудость и скуку этой жизни?

Она. За любовь, мудрую и светлую, за это прекрасное стремление вперед и вверх.

Человек земли. Все эти прекрасные и бесплодные чувства, — чем они лучше первоначального, верного, единого неложного чувства, — любви к себе самому? Подумайте о себе.

Она. Только о себе? Но ведь его я так любила!

Человек земли. Он, мудрый и справедливый, должен радоваться вашему счастью. Ваша радость должна его веселить. Подумайте о том, что там, внизу, нас ждет деятельная, прекрасная жизнь. Все богатства

земли я брошу к вашим ногам, чтобы украсить и достойно увенчать жизнь прекрасной моей царицы. Венцом моей деятельности и суровой жизни будет ваша радость, ваше счастье.

Она. Мое счастие! Но ведь я была так счастлива здесь!

Человек земли. Разве это — счастие?

Она. Я была так спокойна!

Человек земли. Вот это, пожалуй, верно. Но здесь вас окружал покой могилы. Я рад, если мне удалось разрушить эти могильные чары, это лживое обаяние мертвенной мечты.

Она. О, зачем вы пришли к нам! У вас так много жизни и счастья там, на земле, — сюда зачем вы пришли? Чтобы нарушить наш покой?

Человек земли. Да, для этого. Я пришел к вам, как Орфей к Евридике, чтобы вывести вас из этого неживого мира.

Она. Евридика была счастлива в стране блаженных. Орфей напрасно потревожил ее. И не удалось же ему вывести Евридику.

Человек земли. Люди нашего времени отважнее и удачливее этих сказочных героев. Но вы не рады моему приходу? Так я сейчас же уйду.

Она. Нет, не уходите. Или да, лучше уйдите. Нет, нет, останьтесь! Боже мой, я ничего не понимаю, что со мною, что во мне!

Человек земли. И вы меня любите?

Она. Зачем вы меня об этом спрашиваете? Что я могу вам сказать?

Человек земли. Любите?

Она. Не надо спрашивать. Не надо говорить.

Из ее глаз льются слезы, но глаза ее радостны, и все лицо ее светлое.

Человек земли. Да, не надо говорить. Я знаю, вы меня любите. Ваши глаза не умеют лгать.

Она. Я ничего не умею, только любить.

Человек земли. Милая, вы меня любите?

Она *(смущенно улыбаясь)*. Если вы сами знаете, зачем спрашивать?

Человек земли. Хочу от вас услышать сладкое слово. Хочу.

Она. Вы умеете хотеть. Ваша воля подавляет мою. Мне тяжело, но и сладко. Зачем, зачем заставили вы меня полюбить вас?

Человек земли. Ты любишь меня! О милая моя, пойдем со мною. Мы должны быть вместе. Этого требует правда нашего чувства и свобода наших душ. Иди за мною, со мною!

Она. Как могу я решиться на это? Над безднами вознесена моя любовь, — и я боюсь, боюсь! Я знаю эти бездны, я смотрела в них часто.

Человек земли. Со мною ты ничего не должна бояться.

Она. Какая радость — любить! И какая печаль!

Человек земли. Люби меня, люби, моя милая! Ничего не бойся. Радостно любить, это ты хорошо сказала. Но откуда же в тебе эта печаль?

Она. Мне жаль его. Как я его оставлю? Возможно ли это?

Человек земли. Он не станет тебя удерживать. Он сам поймет.

Она. Такая печаль! Но почему-то мне легко. Так странно легко, точно я переживаю дивный сон. В груди моей радостно трепещут жаркие надежды!

Человек земли. Как же может быть иначе! Разве ты не знаешь, что только любовь должна царить на земле? Где любовь, там радость, там надежды.

Она. Мне тяжело и страшно, когда я вспомню, что надо сказать ему.

Человек земли. Не будем откладывать этого, пойдем к нему и скажем.

Она. Нет. Я еще не готова к этому разговору.

Человек земли. Тогда я пойду к нему один.

Она. Нет, нет! Я сама должна сказать ему все.

Человек земли. Мне надо торопиться. Я и так пробыл здесь слишком долго. Я не могу дольше медлить здесь. Пойдем к нему.

Она. Тише! Кто-то идет... Это он сам идет сюда.

Они отходят друг от друга и останавливаются в неловких позах, глядя на дом.
Из двери дома показывается Он. Смотрит на них, и лицо его становится печальным.

О н а *(подходя к нему, с волнением)*. Я должна сказать тебе...

Волнение мешает Ей говорить. Он смотрит на Нее с печалью и с сожалением.
Человек земли стоит в стороне и смотрит мрачно и решительно.

О н. Что с тобою? Ты чем-то взволнована. Что-нибудь случилось?

О н а. Не знаю, как сказать. Не знаю... Теперь, когда я стою перед тобою, мне кажется, что я забыла все слова, которыми хотела сказать тебе это.

О н. Что же ты хотела сказать мне, дорогая? Говори, ничего не бойся.

О н а. Ты меня так любишь. А я уже почувствовала, что недостойна тебя!

О н. Возлюбленная моя, зачем ты это говоришь! Наш гость может подумать, что ты и вправду так думаешь.

О н а. Он это знает.

О н. Разве ты не знаешь, как я люблю тебя? Ты для меня единая и вечная, воплощение запредельной истины. Вся правда мира покоится в твоей чистой груди и в твоих непорочных глазах. Как же ты можешь быть недостойна меня!

О н а. Я не могу больше. Это сильнее меня. Я не знаю, что со мною. О Боже мой!

Ч е л о в е к з е м л и. Позвольте мне говорить за вас.

О н а. Нет, нет, не надо. Я сама. Дорогой мой друг, единственный, прости меня, — я люблю его, того человека, пришедшего с земли.

После этих слов полминуты тягостного молчания. Она рыдает почти беззвучно, закрыв лицо руками, стоя одинаково далеко от обоих. Он стоит пораженный. На лице Человека земли выражение гордой победы.
Он подходит к Ней, отводит ее руки от лица, смотрит на Нее проницательно, словно что-то в Ней видя первый раз, и начинает говорить с горестным недоумением.

О н. Так ли я тебя понял? Из своего сердца вынула ты одну любовь, как ожерелье из ларчика, и вложила туда другую? Ты его полюбила?

О н а. Да, я люблю его.

О н. Ты? Чистая? Единственная? Моя? Воплощение всемирной истины! Или я перестал понимать? Или основы мира поколебались?

О н а. Я ведь только маленькая, слабая женщина, одна из многих. Ты ошибся во мне. Не мне устоять на высотах, на которые вознесся ты.

О н. Тогда кто же из людей устоит? Кто же из них не мал и не слаб?

Человек земли. Вы — мудрый и справедливый. Вы привыкли к размышлениям, истина человеческих отношений открыта перед вами, как развернутая книга. Подумайте, — и вы сами признаете, что ей лучше уйти отсюда, уйти со мною.

О н. Куда же она пойдет? Пути отсюда ведут в бездну.

Человек земли. Она пойдет со мною в город. В город, который люди построили для того, чтобы трудиться, наслаждаться жизнью и неустанно двигать ее вперед.

О н. Вы говорите о грубом материалистическом прогрессе.

Человек земли. Другого на земле и нет. Дух зависит от материи. Или от энергии, если хотите, — но ведь это все равно. Наш век — век быстрых, механических устремлений. Мы не мечтаем о вселенской истине, которая для человека недоступна и непонятна, — мы просто строим дороги. Впрочем, простите, я не хотел спорить с вами об отвлеченных вопросах. Перед нами более сложная и трудная задача, чем вопрос о прогрессе. Дело идет о живой человеческой жизни.

О н а. Вот я полюбила его. К нему влечет меня. И все-таки ты прав, — отсюда уже нет путей иных, как в бездну. Недаром мы так долго жили над безднами. Да, я должна остаться с тобою.

Человек земли. Что вы говорите!

О н. Должна? Нет, ты свободна. Ничто не удерживает тебя здесь. Иди с ним, если ты его полюбила. Ты знаешь дорогу, и эти бездны не поглотят тебя. А от того гибельного, что ждет тебя в городе, тебя защитит твой новый друг.

О н а. Ты говоришь так холодно. Ты говоришь со мною так, словно о ком-то другом.

О н. Милая, возлюбленная моя, если я говорю, что ты свободна, то я говорю это не потому, что я таю горькие мысли.

О н а. Но слова твои так горьки.

О н. Бесконечная нежность к тебе в моем сердце, ты же должна сама решать свою судьбу, как велит тебе твое сердце. Душа человека так свободна, — уж не слишком ли свободна?

О н а. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Пойду ли, останусь ли, что же я знаю? Вы, двое сильных, зачем вы меня, слабую, заставляете решать ваш спор?

О н. Спор не между нами, — спор в твоем сердце. И этот спор уже решен. Ты полюбила другого, твоя любовь ко мне умерла, ты пойдешь с этим другим.

О н а. Я останусь здесь, если ты этого захочешь.

О н. Чтобы плакать украдкой!

О н а. Скажи: «Останься», — и я останусь.

О н. Кого же из нас ты любишь?

О н а. Его.

О н. Иди к нему, если ты его любишь.

О н а. А если бы и ты пошел с нами на землю? Как ты здесь останешься? Так невыразимо больно расстаться с тобою!

О н. Зачем же мне идти с вами?

О н а. Подумай, как было бы хорошо, если бы ты жил с нами, друг мудрый и добрый! Мы бы заботились о тебе. Нашлись бы последователи, и ты бы учил их.

О н. Нет, я не пойду с вами. Здесь я бесстрастно наблюдаю течение звезд. А там? Наблюдать шум толпы, следить за тем, как растет и крепнет любовь ваша друг к другу?

О н а. Милый, милый! Быть может, и с счастьем своим я рассталась навеки! *(Обнимает Его и плачет на его груди.)*

О н. Как вы, женщины, счастливы. Вам дан сладостный дар слез.

Человек земли. Пора. Мы должны идти теперь же, иначе будет темно в горах.

О н а *(Ему)*. Прости. Прости, милый. Никогда не забуду тебя. Никогда не вырву из моего сердца образа твоего...

Он. Не надо плакать. Должно быть, есть высокая справедливость в том, что с нами совершается. Благодарю тебя за все, что ты мне дала. Ведь того, что было, никто от нас не отнимет. Пусть этим озарится отныне печальная моя жизнь.

Она. Теперь я вижу, какой ты большой и прекрасный и как я слаба и мала. Но сила сильнее моей воли увлекает меня, сильнее жизни, сильнее смерти. Прощай.

Человек земли. Мне прискорбно, что я причинил вам горе. Но что же делать? Сердце свободно, и человек должен жить так, как ему приказывает его свободная душа.

Он. Ошибаетесь, — свобода здесь, со мною, а не там, не с вами. Но не будем спорить, это бесполезно. Еще долго будет человек, жаждущий истины, обнимать ее лживый призрак. Милая, единственная и последняя моя любовь, да благословит тебя небо. Тяжелый венец высокого призвания, который ты с себя сбрасываешь, да заменит тебе Господь легким венцом счастливой и радостной жизни. *(Обнимает Ее и целует.)*

Она плачет.

Он *(Человеку земли)*. А вам я благодарен.

Человек земли. За что же? Я причина таких страданий. Я разрушил счастие ваше.

Он. Вы рассеяли призрак, вы привели с собою правду, которой я не знал. Я возносился слишком высоко, — вы доказали мне, что я еще не победитель, что земля не созрела и сроки не исполнились.

Человек земли. Побеждает живая жизнь. Простите.

Она и Человек земли уходят. Он долго смотрит вслед за ними. Собака ласкается к Нему, Слуга стоит в стороне и смотрит на Него с жалостью и любовью.

Он. Как радостно было ее лицо, когда она уходила с этим человеком! Как легко идет она с ним! Заботливо показывает ему дорогу, как

будто для того только она и узнавала изгибы высоких путей, чтобы так легко уйти с этих высот.

С л у г а. Женщина ушла от тебя, господин, — только женщина.

О н. Вся моя жизнь ушла с нею.

С л у г а. Ты сам остался, великий и мудрый, и с тобою остались мы, верные, слуга и собака. Не грусти, так бывает в жизни. Сердце женщины изменчиво и непостоянно.

О н. Во что же я верил как в истину жизни и любви? Достаточно было прийти другому, и любовь моя открыла иной свой лик!

С л у г а. Работай над тем же, над чем ты работал и прежде, а мы так же верно будем служить тебе и оберегать тебя.

О н. Прекрасное, далекое небо, неизмеримое пространство одушевленных единою волею миров, ты, вечный символ единой воли, движущей миры, ты простираешь надо мною свой величавый, умиротворяющий покров. Ты мне поможешь, ты укрепишь меня. Снова буду работать, снова искать вечной истины, искать пути к познанию истины. Дай мне силы, дай мне силы быть одному!

Собака ласкается к Нему. Слуга мрачен. Слышна жалобная песня вечерней свирели.

Действие третье

Внизу, на земле, в роскошном доме Человека земли. Кабинет, через открытые двери которого видна столовая. Убранство пышное и богатое, обличающее вкус слишком общий и банальный, — все как в фешенебельных ресторанах.

Только что окончился завтрак. Гости переходят то из столовой в кабинет, то обратно. Все очень веселы, вся эта собравшаяся здесь разношерстная компания, — дельцы, журналисты, торгаши, дамы слишком эффектные. Слышен смутный гул веселого разговора, в котором иногда выделяются несколько фраз, когда говорящие подходят к зрителю.

Человек земли в своем кабинете полулежит в кресле и курит сигару. У него вид человека уже успевшего привыкнуть к своему богатству, но еще не успевшего или не сумевшего отвыкнуть от тщеславных замашек. К нему подходит то один, то другой и говорят что-то, по большей части, с видом почтительности или даже подобострастия.

Она иногда появляется, тихо разговаривая с кем-нибудь из гостей. Очень хороша

в своем элегантном наряде. Видно, что здешние дамы внушают ей некоторый страх, Она обращается к ним с видом принуждения.

Несколько разноцветно одетых дам собрались в кабинете около круглого стола, на котором лежат спортивные журналы. Они курят тоненькие папиросы, пьют кофе и ликер. Раскраска их лиц соответствует кричащим тонам их платий, и в общем все это дает довольно колоритное, хотя и грубое сочетание цветных пятен. Голоса и жесты свободны, но вульгарны.

В начале действия одна из этих дам, в красном платье, стоит отдельно, в дверях, и говорит довольно приятным голосом, под аккомпанемент игры на рояле:

Дама в красном.

Две проститутки и два поэта,
Екатерина и Генриета,
Иван Петрович Неразумовский
И Петр Степаныч Полутаковский,
Две проститутки и два поэта
Сошлись однажды, — не странно ль это? —
У богомолки княжны Хохловой
В ее уютной квартире новой.
Две проститутки и два поэта
Мечтали выпить бокал Моэта,
Но богомолка их поит чаем,
И ведь не скажут: «Ах, мы скучаем!»
Две проститутки и два поэта,
Как вам противна диета эта!
Но что же делать? Княжна вам рада,
В ее гостиной скучать вам надо.
Две проститутки и два поэта,
Чего вы ждете? Зачем вам это?
Зачем в гостиной у доброй княжны
Вы так приличны и тошно-важны?
Две проститутки и два поэта,
И тот и этот, и та и эта,
Вновь согрешите в стихах и в прозе,
И в ресторане, и на морозе.

Пьяный художник. Ерунда! Декаденство!

Адвокат. Ничего, забавно.

Биржевик. Я признаю только классическое искусство. Ну и Оффенбаха.

Слышны и другие подобные восклицания. Дама в красном отходит к другим разноцветным дамам.

Дама в желтом. Очень мило. А слышали вы новость? Маленькая Берта бросила своего дохлого дипломата.

Дама в голубом. Давно пора. Он скучен и глуп. С кем же она теперь?

Дама в желтом. С толстым бароном.

Дама в голубом. Нашла сокровище!

Дама в красном. Этот толстяк — дурак ужасный, но забавен и не скуп.

Дама в зеленом. Но это все — прошлогодний снег. А вот самая свежая новость, — гусар Додо застал свою Рыженькую, можете представить с кем? С новым художником, Фиолетовым Чертом!

Дама в желтом. Да не может быть! Ай да Рыженькая!

Дама в зеленом. Можете себе представить, какая физиономия была у гусара!

Дама в голубом. Бедняжка Рыженькая!

Дама в красном. Фиолетовый Черт еще беден, а Рыженькая привыкла.

Дама в зеленом. Везде измены. И у нашего амфитриона, — его прежняя страсть рвет и мечет.

Дамы оглядываются на Человека земли и начинают говорить тише.

Дама в желтом. Это и понятно, — они так долго были вместе.

Дама в зеленом. А что ее особенно злит, вы знаете?

Дама в красном. А что?

Дама в зеленом. Да ведь наш любезный амфитрион через нее получил эту концессию, которая его обогатит.

Дама в голубом. И сейчас же ее бросил! Хорош!

Дама в зеленом *(уверенно)*. Она ему будет мстить. Пожалуй, и концессию от него отнимут.

Дама в желтом. Тише, — он смотрит сюда.

Смеются. Уходят. Человек земли, словно догадываясь, что о нем была речь, встает и делает несколько шагов по кабинету.

Торгаш *(подходя к Человеку земли)*. Как же насчет картины?

Человек земли. Я уже вам сказал, — это дорого. Столько я не дам.

Торгаш. Дайте же и мне сколько-нибудь нажить.

Человек земли. Много нажить хотите.

Торгаш. Тем живем. Не могу же я уступить за свою цену. Помилуйте, какой же расчет!

Человек земли. Вы заплатили художнику за эту картину всего только шестьдесят рублей, а с меня хотите взять шестьсот. Это уж слишком!

Торгаш. Клянусь вам, я заплатил гораздо больше. Да еще присчитайте мои расходы, — разъезды, потраченное время.

Человек земли. Художнику нужны были деньги до зарезу. Его любовница уже начала скучать, и он продавал направо и налево все, что только мог продать. Вот тогда-то вы к нему и пришли. Вы умеете пользоваться моментом.

Торгаш. Откуда вы это можете знать? Не верьте тому, кто вам рассказывает это.

Человек земли. Полно, неужели вы думаете, что я интересуюсь сплетнями! Уж если я говорю, значит, я знаю это верно, поверьте.

Торгаш. И правда, вы все знаете. Вас не обманешь.

Человек земли. И не пытайтесь обманывать, — ничего из этого не выйдет.

Торгаш. Хорошо, я вам пришлю картину, но вы должны что-нибудь прибавить.

Человек земли. Хорошо. Сойдемся. У меня к вам есть более интересное дело.

Отходят в сторону и говорят тихо.

Банкир. Наш хозяин на этом деле заработает миллионы.

Железнодорожник. Ну, это зависит...

Банкир. Да? Вы думаете?

Железнодорожник. Он не брезгает никакими средствами, но на этот раз против него ведут интригу.

Банкир. Да? Скажите! И не секрет кто?

Железнодорожник. Cherchez la femme *.

Банкир. O-là-là!

Смеются и проходят.

Адвокат. Не понимаю, почему на меня так нападают за это дело.

Пьяный художник. Милый, да ведь он — прохвост, и его нельзя защищать.

Адвокат. Почему же нельзя?

Пьяный художник. Да ведь пакостное дело, грязное, такого прохвоста нельзя защищать, гадко, пойми, свинья ты этакая.

Адвокат. Я понимаю твою экспансивность, но согласись, что с такою прямолинейностью далеко не уедешь.

Отходят. Человек земли и Торгаш смеются.

Человек земли. О подробностях мы с вами поговорим после. Вы знаете, со мною выгодно иметь дела.

Торгаш. Кто же этого не знает! Вы — человек широкого размаха, сами славно живете и другим жить даете. Притом же и в средствах вы не стесняетесь.

---

* Ищите женщину (*фр*.)

Человек земли. Двусмысленная похвала!

Смеются и отходят

Делец *(Журналисту)*. Наш милейший хозяин — очень талантливый деятель.

Журналист. Да, я не знаю более талантливого дельца.

Делец. Это — человек большой инициативы и обширного ума. Но иногда он бывает чересчур смел.

Журналист. Пока его смелость постоянно оправдывалась.

Делец. Пока. Скажу вам по секрету, против него готовится очень хитрая интрига.

Журналист. Да? В самом деле? Это — очень интересно. Но в чем же дело?

Делец. Как всегда, ищите женщину. *(Озираясь кругом, наклоняется к уху Журналиста и шепчет.)*

Журналист *(смеется)*. Это презабавно.

Делец. Не правда ли, хитро придумано? Наш амфитрион может взлететь.

Журналист. Да еще как!

Делец. Если от него отнимут концессии... Только смотрите, никому ни слова.

Журналист. Конечно, само собою. За кого же вы меня принимаете? Мне не надо повторять этого.

Журналист отходит. Делец подходит к Человеку земли.

Делец. Хоть это и против моих правил, но единственно только из сочувствия к вам я хочу вас предостеречь.

Человек земли. От чего?

Делец. Напрасно вы вмешиваетесь в это дело о железной дороге. В этом заинтересованы многие, и вы рискуете очень многих вооружить против себя.

Человек земли. Ну, этого я не боюсь. Волка бояться — в лес не ходить.

Делец. Право, вам бы лучше было от этого дела воздержаться.

Человек земли. Вы всегда становитесь мне поперек дороги. Надо же и мне зарабатывать.

Делец. Но вы врываетесь в нашу сферу.

Человек земли. А мне кажется, вы в мою.

Делец. Что ж, хотите побороться? А не лучше ли было бы нам прийти к соглашению?

Человек земли. Да о чем же и я говорю с самого начала!

Отходят.

Дама в желтом. Душенька, да это же все знают.

Она. Я этим совсем не интересовалась.

Дама в желтом. Это же так понятно. Конечно, какое же вам дело до того, что было до вас! Мужчины без этого не могут. Но я вам говорю это потому, что она ужасно раздражена, и я не знаю, на что она способна.

Она. Он меня любит, до остального мне нет никакого дела.

Дама в желтом. Ах, душенька, я только хотела вас предостеречь.

Отходят.

Журналист *(Человеку земли)*. Нет, вы не скажите, — поддержка нашей газеты чего-нибудь стоит.

Человек земли. Однако, говорят, ваша газета дышит на ладан.

Журналист. Ну вот, что за вздор!

Человек земли. Говорят, подписка упала, да и розница уже не прежняя, да и объявлений не так богато, как раньше.

Журналист. Ну мало ли что говорят! Вы только послушайте людей, так они скажут, что и вы накануне банкротства.

Человек земли. Ну уж это слишком.

Журналист. Газета пойдет хорошо, об этом что и говорить. Нам надо только теперь перехватить денег.

Человек земли. Вот то-то!

Журналист. Поверьте, вы не прогадаете, если возьмете наш вексель.

Человек земли. Что ж, подумать можно.

Отходят. Гости понемногу начинают расходиться.

Дама в голубом. На кого же мне играть?

Человек земли. На Апаша и на Монгола.

Журналист. Обманет Апаш. Он уже и в прошлом году брал с трудом.

Делец. Что касается меня, я предпочитаю Алгвазила.

Дама в желтом. Ну нет, на эту лошадь я не ставлю.

Дама в лиловом *(улыбаясь приятно и не смешиваясь с веселыми дамами, ласково говорит с Нею)*. Я так сочувствую вашей тоске, так понимаю это состояние, когда любишь одного, но все еще так больно вспоминать прежнюю любовь.

Она. Не могу не вспоминать.

Дама в лиловом. Он вас очень любил?

Она. О да!

Дама в лиловом. Но ведь он был гораздо старше вас. Как вы могли быть вместе?

Она. Он жил в волшебном царстве мечты, и я была обвеяна чарами вдохновения и восторга. Я никогда не думала о том, что он немолод. Сердце его было молодо и до смерти останется таким.

Дама в лиловом. Да, но вот приходит другая любовь, и все меняется. Как это странно! Мы должны всегда жить только настоящею минутою. Как горько ошибается тот, кто мечтает о вечной любви! Да что о вечной! Хоть бы долгая! Но теперь вы счастливы?

Она. Не сумею сказать, как я счастлива. Я чувствовала бы себя счастливейшею из женщин, если бы не печаль о том, кого я оставила, и о том, что я потеряла. Мы звали его с собой, но он не захотел.

Дама в лиловом. Это понятно, — он уже привык к своему уединению. В его возрасте трудно менять привычки.

Все гости ушли. Остались Она и Человек земли.

Она. Кажется, все ушли наконец.

Человек земли. Ушли. Ты устала? Они тебя утомили.

Она. Ах, эти ужасные люди! Эти слишком бойкие дамы! И эти вечные разговоры о деньгах! Неужели без них нельзя?

Человек земли. Не думай об этом. Все это мои заботы. А с тобою я только счастлив, только люблю. С тобою я отдыхаю от всей этой суеты, утомительной, но не бесполезной.

Она *(обнимая его, страстно)*. Люблю, люблю! И весь бы день хотела быть с тобою! Только с тобою.

Человек земли. Пожалуй, я бы тебе скоро надоел, если бы мы ни на минуту не расставались.

Она *(подходя и обнимая)*. Нет, нет! Я все в тебе люблю, все, — и этот гордый лоб, и эти зубы, слишком белые, и эти волосы, чересчур непокорные. И ненавижу всех этих ужасных людей, которые отнимают тебя от меня. Даже к сну тебя ревную, — несносный сон так укорачивает нашу жизнь. Я хотела бы две, три жизни прожить с тобою, не разлучаясь ни на минуту. Так вот, — глаза в глаза, и в сердце безмерное упоение любви.

Человек земли. Жизнь моя, как я тебя люблю! Как я рад твоей любви! Душа моя всегда с тобою, чем бы я ни был занят. И во сне я с тобою, всегда нераздельно твой.

Она. Все эти люди отнимают у тебя так много времени, так много вниманья. Всего, что дорого мне.

Человек земли. Все это — нужные люди, без них нельзя.

Она *(мечтательно)*. Когда он там, на горе, уходил на свою башню наблюдать звезды, я знала, что он все же со мною, что в звездных

неизмеримых пространствах он видит мой бездонный взор, и я сама чувствовала мою душу слитою с душой пространств.

Человек земли *(надменно улыбаясь)*. А я блеск звезд заковал в бриллианты, рубины и яхонты и пролил его на твою грудь и на твои волосы, потому что я люблю тебя так, как не умеют любить мечтатели.

Она. Да, ты радуешь меня и балуешь, как ребенка, но, когда ты уходишь от меня, я не знаю, не забываешь ли ты меня в то время. Я тогда думаю, что земля холодеет, что любовь оскудевает, и мне вдруг делается страшно.

Человек земли. Не бойся, моя златокудрая, — солнце наше еще не скоро погаснет.

Она. А иногда — другой страх. Может быть, эти веселые, развязные дамы...

Человек земли. Какой вздор! Как можешь ты сравнивать себя со всеми этими дамами! Да из них лучшая недостойна служить у тебя в горничных!

Она. И как деньги могут напомнить тебе мое лицо, мои глаза?

Человек земли. Напомнить?

Она. Да. Он смотрел на звезды и мои глаза видел в них.

Человек земли. Ах да, ты об этом! Ну что ж, — у тебя волосы такого же цвета, как золото в монете.

Она. Какое сравнение!

Человек земли. Разве неверное?

Она. Не то что неверное... Да и мои волосы значительно темнее. Ведь я же не рыжая.

Человек земли. Золото — благородный металл. Среди вещей нет ничего лучше и красивее золота. И голос твой звонок, как звук червонцев один о другой, — знаешь, этот волшебный, благородный звон золотых монет.

Она. Меня это не радует.

Человек земли. Почему, маленькая капризница?

Она. Волосы мои и мой голос тебе напоминают золото, а не золото меня.

Человек земли. Пожалуй, что и так.

Она. Чему ж мне радоваться?

Человек земли. Как погрузишься во все эти увлекательные дела, так о любви и не думаешь. Весь бываешь захвачен упоением и радостью созидания. Подумай только, — ведь это мы, техники и строители, — хозяева жизни. Что захотим, то и сделаем с миром. В пустыню проведем каналы, океаны соединим, воздвигнем города среди лесов, проведем дороги через горы, повесим мосты над безднами. Весь лик мира изменим. Построим плотину в океане и растопим полярные льды. Голова кружится, когда думаешь обо всем, что мы можем. До любви ли! Любовь — только отдых.

Она. Только отдых?

Человек земли. Сладкий отдых, надо отдать ей справедливость.

Она. А там, наверху, любовь была для нас жизнью.

Человек земли. Ну это понятно. О чем же еще там можно было думать? Ведь он жил мечтою.

Она. Но это было так хорошо, так наполняло жизнь! Я была его любовью и его жизнью.

Человек земли. Однако ты оттуда ушла.

Она. Да, я полюбила тебя и к тебе ушла.

Человек земли. А теперь ты тоскуешь?

Она. Бесконечная жалость к нему в моем сердце. Любовь ушла от него, — но я знаю теперь, что для него любовь — жизнь. Подумай, как печален он и одинок!

Человек земли. Да, теперь, я думаю, там скучновато. Волшебница-фея умчалась...

Она. Ты не должен так говорить!

Человек земли. Прости, милая. Я понимаю твои возвышенные чувства. Но что же делать! Человек не должен отказываться от счастья из-за жалости.

Слышен стук в дверь. Она вздрагивает и смотрит на дверь тревожно и боязливо. Человек земли хмурится.

О н а. Войдите.

Входит лакей и подает карточку. Человек земли читает карточку; лицо его выражает досаду и смущение. Нерешительно смотрит на Нее.

Опять какое-нибудь неприятное посещение?

Ч е л о в е к   з е м л и *(нерешительно).* Да. Знаешь, дорогая...

О н а. Мне уйти?

Ч е л о в е к   з е м л и. Да, видишь ли...

О н а. Хорошо, я уйду, если хочешь, — хоть и печально уходить, едва только мы остались одни.

Ч е л о в е к   з е м л и. Милая, разве я рад этим посещениям? Если хочешь, я велю не принимать.

Она всматривается в его лицо, чтобы не сказать того, что ему будет неприятно. Задумывается на минуту, наконец решается и, подавляя вздох досадливой печали, говорит.

О н а. Нет, зачем же! Не можешь же ты замкнуться от всех. Да мне и самой надо отдохнуть. Не сердись милый, — эти люди меня утомили, может быть, потому, что они мне совсем чужие. Мне кажется, я к ним никогда не привыкну!

Ч е л о в е к   з е м л и. Пустое! Привыкнешь скоро, и тебе будет легко. Иди же, моя милая. *(Целует Ее нежно и как бы слегка смущенно.)*

Она уходит, на пороге задерживается немного и бросает на него нежный взгляд.

(Лакею.) Проси.

Лакей уходит. Человек земли досадливо ходит по кабинету. Лицо у него хмурое и даже злое. Быстро входит нарядно и с большим вкусом одетая Другая. Она очень красива. Лицо ее выдает смятение, печаль, ревность. Когда она видит Человека земли, ее глаза становятся вдруг радостными и влюбленными. Человек земли делает любезное и веселое лицо и с ласково протянутыми руками идет ей навстречу.

Милая, это очень любезно, что ты захотела ко мне заглянуть! Хотя я и анафемски занят, но с удовольствием поболтаю с тобою четверть часика. Не хочешь ли вина?

Другая. У тебя был пир. Нет, я не хочу вина.

Нервно-порывистыми движениями снимает перчатки. Бросает быстрый взгляд на отражение свое в зеркале, что над камином.

Человек земли. Какой там пир! Пришлось позвать кое-кого из нужных людей.

Другая. Ну еще бы! Тебе многие нужны, и ты всегда с людьми, которые тебе полезны. Ты и со мною был, когда еще не был сильным, потому что я часто помогала тебе.

Человек земли. Не потому, вовсе не потому. Ты знаешь...

Другая. Знаю, знаю все, что ты можешь мне сказать. Однако что ж это, серьезно?

Человек земли. Что, милая? О чем ты говоришь?

Другая. Он не понимает! Ты решился бросить меня для этой простушки, которую вывез из какой-то Аркадии? Для нее, которую ты отбил от мужа, наговоривши ей всего того, что и мне в свое время?

Человек земли. Потише, милая, не надо сердиться, — что было, то прошло. Сердцу не прикажешь, — не нам менять его законы.

Другая. Разве я тебя не любила? Разве ты меня не любил? Разве ты забыл все, что было? Забыл всю мою нежность, все мои заботы, мои труды и унижения из-за тебя? Забыл, как я делила твою бедность, как я помогала тебе во всем?

Человек земли. Право, милая, я у тебя не в долгу! Если ты делила со мною свое время, то ведь и я делил с тобою что мог. Из маленькой звездочки я тебя сделал блестящею звездою, — не я ли вывел тебя в люди?

Другая. Вот как ты разговариваешь со мною! Не так, как прежде, когда ты смотрел на меня, как на богиню, сошедшую к тебе с Олимпа.

Человек земли. Будь благоразумна. Жаловаться тебе не на что, — я поставил тебя на хорошую дорогу, без меня бы ты...

Д р у г а я. Не беспокойся, не пропала бы и без тебя. Но разве я пришла к тебе счеты сводить? Не хочу и говорить с тобою о том, что и последнюю концессию ты получил через меня. А ведь она тебе даст миллионы.

Ч е л о в е к з е м л и. Я этого не забуду. Ты получишь свою долю.

Д р у г а я. Молчи! Мне этого не надо. Разве я этим дорожу! Я тебя люблю, понимаешь ты это? Понимаешь ты, что не все покупается и продается?

Ч е л о в е к з е м л и. В моих руках ты приобрела такой блеск, такую репутацию, — не можешь же ты это отрицать!

Д р у г а я. Слушай, я не шутить с тобой пришла! Значит, все эти твои слова, все эти клятвы, который ты так щедро расточал мне...

Ч е л о в е к з е м л и. Брось! Скучно!

Д р у г а я. И ласки твои, и безумие, в котором мы с тобою утопали... Значит, все — обман, и все твои уверения — пустые, лживые слова! А я так в верила, так верила! Нет такой святыни, в которую люди верят больше, чем я в тебя верила. Безумие моей любви, безумие моей жизни было моею радостью, всем, чем я жила, и теперь в душе моей ничего нет.

Ч е л о в е к з е м л и. Ну, ну, успокойся.

Д р у г а я. Скажи, — ты ее любишь?

Ч е л о в е к з е м л и. Люблю.

Д р у г а я. Но ведь ты и меня любил! Люби же меня и теперь! Ты — прекрасный, ты — сильный, у тебя душа широкая, как мир, как твои орлиные замыслы. Разве в твоей душе не вместятся две любви, две жизни? Разве ты такой же, как все эти маленькие, презренные людишки?

Ч е л о в е к з е м л и. Что ты говоришь, безумная? Души нельзя разделить пополам. Уйди от меня.

Д р у г а я. Слушай, — ты дорого за это заплатишь! Ты не долго будешь блаженствовать с твоею аркадскою пастушкою.

Ч е л о в е к з е м л и *(мгновенно раздражаясь и бешено хватая ее за руку)*. Молчи! Не смей говорить о ней.

Другая. Тише, грубый варвар! Ты делаешь мне больно. Ты одичал там, в горах. Пусть она святая, а я грешная, но разве у человека не могут быть две жены? Скажи, разве не могут?

Человек земли. Но разве же это будет любовь?

Другая. О, любовь! Что ты знаешь о могуществе любви? Видишь, я даже не ревную, так я тебя люблю. Пусть, пусть и она будет, если ты ее любишь, — но люби и меня, люби, мой милый! *(Плачет и становится перед ним на колени.)*

Человек земли *(поднимая ее)*. Пойми, — я ее люблю!

Другая. Когда уста к устам приникнут, разве есть иная? О, люби меня, люби! Сохрани нашу любовь!

Человек земли *(отходя от нее)*. Разве ты не понимаешь, что возврат к прошлому невозможен?

Другая. Невозможен? Так ты меня отталкиваешь? О, я этого не забуду! Разве не знаешь ты, что любовь — сестра ненависти? Не знаешь? Отомщу тебе за все мои страдания!

Человек земли. Что за вздор ты говоришь? И чем ты можешь мне отомстить?

Другая. Не хочешь ли ты, чтобы я тебе рассказала все наперед? Нет, прекрасный изменник, я нанесу тебе удар там, где ты не ожидаешь. *(Хохочет.)*

Человек земли. Ты, право, забавна! *(Смеется.)*

Другая перестала хохотать и смотрит на него глазами, вдруг заблиставшими по-змеиному. Она подходит к нему близко, дрожит и говорит очень тихо и очень внятно.

Другая. Подожди, тебе будет не до смеха. А что ты скажешь, если я оболью твою новую любовь серною кислотою? Будешь смеяться? Забавна тебе будет эта безобразная маска на ее лице?

Человек земли *(с яростью)*. Не смей говорить этого! Не смей даже и думать ни о чем подобном! Я тебя так скручу, что ты...

Другая быстро овладевает собою. Она отходит в сторону, смотрит на него холодными глазами и говорит почти спокойным голосом.

Другая. О, как страшно! Как это любезно, — топать ногами и кричать на меня! На меня, которая только что стояла перед тобою на коленях и целовала твои руки.

Человек земли. Но как же ты смеешь грозить мне! И чем грозить!

Другая. Но ведь я страдаю!

Человек земли. Если даже допустить глупую мысль, что я в чем-то виноват перед тобою, то в чем же перед тобою виновата она, которой ты грозишь таким ужасом? Или сердце у тебя звериное?

Другая. Ты не понимаешь шуток! Что ж, ты и в самом деле думаешь, что я пойду на такое гнусное дело, — обливать кого-то серною кислотою? Я не так зла и не так глупа!

Человек земли. Зачем же ты говоришь?

Другая. Я сама не знаю, что говорю. Я несчастна! Я так страдаю! Но я была более высокого мнения о твоей проницательности! Ах, у меня голова кругом идет, я ничего не понимаю, мне так тяжело, так горько! Умереть бы, умереть! *(Порывисто садится, почти падает в кресло и нервически рыдает.)*

Человек земли нетерпеливо ходит по кабинету, потом подходит к Другой.

Человек земли. Успокойся, милая. Что было, то прошло, а прошлого не воротишь.

Другая. Не надо, не надо, чтобы проходила любовь! Такая любовь, как моя!

Человек земли. Что же мне делать! Я снова влюблен, и не менее страстно, чем тогда, когда я тебя встретил.

Другая. Можно влюбляться сотни раз, но разлюбить нельзя. Пойми, жестокий!

Человек земли. Если бы ты знала, как она прекрасна, как умна, как нежна! Какие у нее золотые волосы! Как она улыбается!

Другая. Хоть бы из милосердия ко мне не говорил об этом! Да, так ты улыбаешься другой, ты целуешь другую! О, твоя улыбка! О, я слишком хорошо ее знаю, слишком изучила поцелуй этих

уст, похожих на спелую гранату! А улыбка твоя! От нее сердце во мне задрожит и словно выпрыгнуть хочет.

Человек земли. Ты мне льстишь. Я ведь не златокудрый поэт, не превыспренний мечтатель. Я не улыбаюсь, — я строю дороги и мосты.

Другая. О, вспомни, вспомни, что за блаженные часы мы проводили там, в нашем благословенном уголке, где теперь без тебя так мертво, так пусто! *(Становится перед ним на колени.)* Сжалься надо мною, сжалься!

Человек земли *(стараясь ее поднять)*. Ну полно, полно. Встань. Могут войти.

Другая. Я бросила для тебя человека, который так меня любил! Он ветерку не давал до меня коснуться. А ты, — ты растоптал меня и отшвырнул, как ненужную тряпку. О, ты — жестокий! Какой жестокий!

Человек земли *(досадливо)*. Встань, милая, прошу тебя. Право, все это совершенно ни к чему! Упрекать нам друг друга не в чем. Любовь — это живой цветок. Она или растет с каждым днем, или отцветает.

Другая. Жестокий! О, какой ты жестокий! Ведь ты для меня — последний и единственный. После тебя никого не полюблю, никого, никогда! Вся моя жизнь была в тебе. Без тебя — смерть.

Человек земли. Ну полно, без трагедий!

Другая *(порывисто встает)*. Не надо трагедий! Зачем трагедии! Вся жизнь наша — забавный фарс. *(Вытирает слезы. Подходит к зеркалу, долго смотрит на себя. Берет перчатки и опять их бросает.)*

Человек земли. Жизнь — не трагедия и не фарс.

Другая. Ты все знаешь, ты знаешь жизнь. Что же такое эта жестокая жизнь?

Человек земли. Жизнь — труд, созидание. Радость жизни — творить то, чего не было, творить из упрямого материала, побеждать сопротивление.

Д р у г а я. Побеждай! А мои слезы... Да нет, что о них говорить! Так ты хочешь, чтоб я утешилась?

Ч е л о в е к з е м л и. Ну конечно! Будь же благоразумна! Мир широк, утешений в нем много.

Д р у г а я. Хорошо, если ты этого хочешь! Как мне ни трудно, но что ж делать! *(Смеется, опять смотрит на себя в зеркало и намеренно делает спокойное, почти веселое лицо, как искусная актриса, привыкшая перевоплощаться.)*

Ч е л о в е к з е м л и. Ну вот, так-то лучше.

Другая подходит к окну, смотрит на улицу, молчит Говорит медленно, как бы нерешительно.

Д р у г а я. Но нельзя, чтобы мы так расстались. В память всего того, что между нами было, я прошу тебя об одном, — ты это исполнишь?

Ч е л о в е к з е м л и. А что такое? *(Смотрит на нее внимательно и недоверчиво.)*

Другая подходит к нему, кладет руку на его рукав и говорит нежно, вкрадчиво.

Д р у г а я. Нет, ты обещай сначала, что исполнишь то, о чем я буду тебя просить.

Ч е л о в е к з е м л и *(пожимая плечами)*. Как же я могу обещать, когда я не знаю, что ты придумала!

Д р у г а я *(насмешливо)*. Ты боишься? Ты думаешь, что я замышляю что-то коварное! Ты боишься слабой женщины! О вы, храбрые мужчины!

Ч е л о в е к з е м л и. Я ничего не боюсь, но согласись сама, что очень странно соглашаться на что-то, а на что, неизвестно.

Д р у г а я. Так ты исполнишь то, о чем я тебя попрошу?

Ч е л о в е к з е м л и. Если это в моих силах, то, конечно, исполню.

Другая. Ну вот, обещал, и спасибо. Не бойся, — ничего страшного и коварного. Я только хочу тебя просить, чтобы ты еще один раз, — последний раз, — провел со мною несколько часов. Мы поедем куда-нибудь за город и покутим немного, — справим по нашей любви тризну. Хорошо? Согласен?

Человек земли *(улыбаясь несколько принужденно)*. Я обещал и исполню.

Другая. Скрепя сердце?

Человек земли. Нет, с большим удовольствием. Если бы мне это было неприятно, я бы отказался. Когда же ты хочешь?

Другая. Ты заедешь ко мне в среду утром, — хорошо?

Человек земли. Лучше в четверг.

Другая. Четверг так четверг. Заезжай, а потом поедем в автомобиле. Я покажу тебе одно живописное место, где мы с тобою еще ни разу не были. Ты не боишься?

Человек земли. Какой вздор! Чего же мне бояться?

Другая. А может быть, я застрелю тебя по дороге.

Человек земли *(с презрительным, почти обидным смехом)*. Оружие смерти в руках женщины не страшно. Если бы ты и захотела, со мною тебе бы это не удалось. Трусом я никогда не был.

Другая. Разве ты не боишься смерти?

Человек земли. Умирать не имею ни малейшего желания, но и бледное лицо смерти меня устрашить не может. Не раз уж заглядывал я в ее пустые глаза.

Другая. А если мой шофер мрачно смотрит на жизнь и мечтает о самоубийстве? Что ты на это скажешь, мой милый? Ты, кажется, побледнел? Ты вспомнил мрачное лицо моего Германа?

Человек земли. Ты говоришь глупости, и мне досадно тебя слушать. Если он мечтает о самоубийстве, то при чем же мы тут?

Другая *(смеется)*. Ну мало ли при чем? Да он, может быть, спрыгнет вовремя и спасется.

Человек земли. Мечтающий о самоубийстве? Нет, милая, ты окончательно запуталась. Я не боюсь твоих угроз, и твои намеки оставляют меня равнодушным. Решено, я еду.

Другая. Спасибо, милый! Вот таким тебя полюбила и таким люблю, — бесстрашным, прекрасным, сильным!

Бросается к нему на шею и рыдает. Порывисто целует его, вырывается из его объятий, уходит. Человек земли мрачно смотрит вслед за нею.

Действие четвертое

Вечер. Тот же кабинет, двери в другие комнаты закрыты. Человек земли и Она. Человек земли лежит на диване. Он укутан пледом, рука на перевязке, очень бледен. Она встревожена. Лицо ее заплакано.

Человек земли. Бедная! Что-то с нею теперь?

Она. Ты не волнуйся. Она поправится.

Человек земли. Ты скрываешь от меня. Я по твоим глазам вижу, что ей очень плохо. Может быть, она уже умерла. Так тяжело, — она меня любила. Она много сделала для меня, — и захотела отнять у меня все разом.

Она. Как это все ужасно!

Человек земли. Бедная! Она мне говорила, что отомстит, а я думал, что она только дразнит меня.

Она. За меня она хотела тебе мстить. О милый, милый, как я тебя люблю! Зачем ты поехал с нею?

Человек земли. Она просила. Последний раз. Жалко стало. А эти люди, эти глупые люди! Они воспользовались днями моей болезни, чтобы нанести мне удар исподтишка, чтобы отнять мою концессию. Какая гнусность! Ведь я знаю, что без меня дорогу построят скверно.

Она. Успокойся, не думай об этом.

Человек земли. О, не думать! Теперь я вижу, что все это — нити одной сложной интриги, в которой участвовала и эта безумная

женщина. Но что за ужас, что за безумие то было! Темная ночь, мы одни в автомобиле, вдруг я чувствую, что мы мчимся стремительно куда-то вниз, автомобиль клонится на сторону, мы падаем, треск, звон, я теряю сознание. Какой ужас! До сих пор не могу опомниться, не могу понять, что это было, — сон, призрак, кошмар?

Она. Милый мой, не падай духом.

Человек земли. С чего ты взяла, что я падаю духом? Что за вздор! Я спокоен, как всегда. Мне только досадно на всех этих людей. О, какие мерзавцы!

Она. Они завидуют тебе.

Человек земли. Они все были бы очень рады, если бы я сломал себе шею при этом крушении. Вот почему она хотела, чтобы я ехал не на своем автомобиле, а на ее. До сих пор не могу понять, как удалось шоферу вовремя выпрыгнуть. А впрочем, если он был подкуплен и сам устроил это крушение, то что ж тут удивительного.

Она *(тревожно)*. Кто же его мог подкупить?

Человек земли. Кто? Да она же, женщина, которую я любил.

Она. Не может быть.

Человек земли. Я это понял из ее намека, когда она звала меня на эту роковую прогулку.

Она. Милый, зачем же ты поехал с нею?

Человек земли. Да, может быть, мне надо было бы просто-напросто распрощаться с нею и не принимать ее приглашения. Но что было, то было, что жалеть!

Она. Страшно подумать, какая злоба живет в нежном сердце женщины!

Человек земли. Она любила — и не пожалела себя, чтобы отомстить покинувшему ее любовнику!

Она. Бедная! Она слишком дорого заплатила за свой злодейский замысел!

Человек земли. Она умерла? Что же ты молчишь? Ведь я это и без тебя узнаю. Странно, — теперь я почти уверен, что она умерла, но в душе моей нет ни сожаления, ни страха. Я больше спосо-

бен был бы жалеть совсем чужую мне и незнакомую женщину. Странно! Мне как будто бы все равно, что бы с кем ни случилось.

Она. Ты еще так слаб, — не думай об этом.

Человек земли. Воображаю, как все они были раздосадованы, когда узнали, что я не разбился насмерть.

Она. Многие рады тому, что ты спасся.

Человек земли. Что мне многие! Ты одна для меня дорога, твои слезы и твои улыбки. О, они утешались затеею разорить меня. Они думали, что если им удастся нанести мне такой крупный убыток, то я уже не сумею стать опять на ноги. И правда, убыток велик! Как некстати, что я столько дней должен был лежать и ничего не мог делать!

Она. Ты победишь, не отчаивайся.

Человек земли. Я же тебе говорю, что я совершенно спокоен. Недостает только того, чтобы ты еще расстраивала меня своими утешениями.

Она. Прости, милый! Ведь я так люблю тебя! Так люблю!

Человек земли. Пора бы тебе знать, что я силен и не нуждаюсь в этих бабьих глупостях, в каких-то утешениях.

Она. Я знаю, что ты — сильный и гордый, что никакая сила тебя не сломит. Но ведь я так люблю тебя! Люблю тебя в твоей силе и гордости, люблю и в те минуты, когда ты утомлен и огорчен, когда должен отдыхать, как слабый и маленький. Нет на земле человека, который не искупал бы своей силы и гордости минутами усталости и слабости. Ведь для того и приходит к нам любовь, чтобы в ее сладостных объятиях покоилась утомленная сила и в них находила новые источники своей крепости.

Человек земли. Вижу, что тебе непременно хочется утешать меня. Ну что ж, утешай, милая.

Она. Не утешать, нет, — ты в утешениях не нуждаешься, — а быть для тебя единственною, перед которою ты можешь сбросить маску. Все знают тебя сильным, одна я имею право знать тебя иногда и слабым.

Человек земли. Если бы и в самом деле в моей душе таилось чувство неуверенности в себе самом, или утомление, или слабость,

я не мог бы даже и перед тобою так распуститься, чтобы это было заметно. Настоящий мужчина с таким же лицом заплатит проигрыш, с каким получал выигрыши, хотя бы на ставке стояла жизнь. Я же привык платить проигрыши. Жизнь долго была ко мне сурова. Я привык преодолевать.

Она. Милый мой! Перед мною не надобно так гордиться. Будь ко мне ближе, открой мне свою душу, и никакое горе не будет нам страшно.

Человек земли. Да, тебе я так верю, что перед тобою и в самом деле маску носить не стану. Ты тоже сильная, — я это понял в последние дни.

Она. Любовь сделает нас еще сильнее.

Человек земли. Кажется, я был с тобою нелюбезен, почти груб. Любовь моя милая, прости! Я знаю, что все устроится и моя удача опять вернется ко мне. Но я взбешен всеми этими людьми. Если бы еще они прямо, открыто боролись со мною! А это удары из-за угла, — какая гнусность!

Она. Милый мой, не думай о них. Что нам до этих людей! Они так ничтожны, что о них не стоит и думать. Я с тобою, я никогда не оставлю тебя. Моя любовь не погаснет, хотя бы и земля охладела. *(Поправляет подушку под его головою.)*

Он смотрит на Нее нежно.

Может быть, ты заснешь? Не уйти ли мне?

Человек земли. Милая, будь со мною, мне легче, когда ты здесь. Да, ты права, — я хочу забыть об этих ничтожных людях.

Она. Возлюбленный мой! Только меня люби, и все будет хорошо.

Человек земли вздрагивает и прислушивается.

(Тревожно.) Что с тобою?

Человек земли. Мне послышались сейчас чьи-то шаги.

Она *(прислушиваясь)*. Нет, никого нет.

Человек земли. Может быть, это от моей Звездочки? Или она сама?

Она. Туда, где жизнь и любовь, мертвые не приходят. Забудь обо всем на свете, думай только о моей любви. *(Приникает к нему и целует его долго и нежно.)*

В это время дверь тихо открывается. Человек земли и Она, занятые собою, не замечают этого. Входит Слуга. Лицо его мрачно и значительно. На его руке повязка. Он вошел тихо и остановился у двери, и кажется, что уже он давно стоит там. Наконец его замечают. И Человек земли, и Она с полминуты смотрят на Слугу с недоумением и страхом. Человек земли с усилием приподнимается.

Человек земли. Кто это? Как ты сюда попал?

Она бросается к Слуге. Берет его за руку, боязливо оглядываясь на Человека земли, и хочет вывести из комнаты. Но Слуга остается неподвижным.

Она *(тихо)*. Зачем ты сюда пришел? Господин болен, ему вредно всякое волнение.

Слуга. Я должен был прийти, к тебе и к твоему господину.

Она. Ты оттуда? Ты принес от него письмо?

Слуга. Вот перстень моего господина. Больше я ничего не принес.

Она. А он где? Что с ним? Отчего ты оставил его? С ним кто-нибудь есть?

Слуга. Ему теперь хорошо. Вот нам всем без него плохо.

Она. Да скажи же, наконец, что случилось! Он болен?

Слуга. Я принес вам злые вести.

Человек земли все это время стоит в стороне и мрачно смотрит на Слугу. При последних словах он порывисто, хотя и с трудом, опираясь на мебель и на стены, подходит к Слуге.

Человек земли. Говори скорее, что случилось!

Слуга. Мой господин упал со скалы в море.

Человек земли садится на кресло, опирается локтями о круглый стол, закрывает лицо руками, шепчет

Ч е л о в е к з е м л и. Погибли! Оба погибли!

О н а. Но ты его спас?

С л у г а. Господин погиб. Кто хочет смерти, того нельзя спасти.

О н а *(в отчаянии)*. Он погиб! Он умер! Я никогда его не увижу, никогда не услышу его голоса, не взгляну в его глаза! Он погиб!

С л у г а. Госпожа, он перестал жить в тот же час, когда ты ушла от него. Там, с нами, оставалась только его земная оболочка, — душа его была безжалостно убита. Ты знала, госпожа, что без тебя он не мог жить.

О н а. Нет, нет, я не могла знать это!

С л у г а. Дни его были томлением, и ночи не приносили ему кратковременных утешений. Уже он не восходил на башню, не следил за течением светил небесных и не прибавил ни одной строки к тому, что было им написано раньше. Он смотрел на дорогу, по которой ты ушла, когда покидала его. Ему незачем было жить.

Человек Земли поднимает голову и пристально смотрит. На короткое время взоры их встречаются в поединке. Слуга отводит свои глаза и смотрит на Нее.

О н а *(плача)*. Он любил меня, любил, любил!

С л у г а. Госпожа, разве ты не знала, что он любил тебя? Жить без тебя он не мог, и смерть пришла, избавительница.

Человек земли подходит к Слуге и всматривается в него. Слуга угрюмо опускает глаза. Человек земли смотрит внимательно на повязку на руке Слуги.

Ч е л о в е к з е м л и. А это что у тебя на руке?

С л у г а. Собака искусала. Когда господин умер...

Ч е л о в е к з е м л и *(перебивая его)*. Она защищала своего господина? Ты его убил?

С л у г а *(решительно и мрачно)*. Ты его убил. Ты и она, любовь, оставившая моего господина, унесшая душу его.

Человек земли. Как ты смеешь говорить это! Ты, убийца!

Она. Оставь его, не упрекай. Он говорит правду.

Человек земли. Правду? Разве ты не догадываешься, что этот человек, из ложного сострадания к своему господину, убил его и потом труп его сбросил со скалы в море.

Она. Не может быть!

Человек земли *(Слуге)*. Ты не посмеешь сказать, что я говорю неправду. Но ты не понял того, что тоска его прошла бы с годами и он опять вернулся бы к своей работе. И вот ты самовольно распорядился тем, что тебе не принадлежало, чужою жизнью, и дерзко погасил ее.

Слуга. Ты проницателен, но ты не можешь понять того, что мой господин не мог бы утешиться и позабыть. Он был не из тех, которые забывают и переживают. У него была одна душа, одна любовь, одна истина и одна жизнь. Любовь ему изменила, истина его обманула, и великая, прекрасная душа его умерла. Жить ему было незачем, а это, последнее, — это было только падение тела в воду, и больше ничего. Не все ли равно телу, лишенному души, в каком положении и в каком месте ему находиться!

Человек земли. Ты слышишь, он и не пытается отрицать, что убил его! Он еще пытается оправдываться! Пустыми софизмами он хочет доказать, что был прав!

Она. Оставь его. Он говорит правду. Я виновна в этой смерти.

Человек земли. Ты хочешь сказать, что считаешь и меня в чем-то виновным?

Она. Нет, нет. У тебя есть другая, умершая оттого, что ты ей изменил. Я не должна была уходить от него! Я должна была остаться! Должна, — вот я чувствую теперь, что это — не пустое слово! Совесть говорит мне об этом. *(Горько плачет.)*

Человек земли стоит в тягостном раздумье. Слуга неподвижен и холоден, как неживой.

Человек земли *(Слуге)*. Расскажи, как это случилось.

Слуга. С тех пор, как госпожа ушла, господин все время тосковал. Иногда он уходил вниз, к морю, и смотрел на волны, которые унесли госпожу в далекий путь.

Она. О, лучше бы мне было потонуть в этом море!

Слуга. В тот вечер он долго стоял на вершине скалы. Солнце только что опустилось в воду, заря пылала, и в лучах зари так прекрасно было лицо моего господина. Я видел, что вся душа у господина изникла из его тела. Мне стало жаль его. Я отвернулся.

Человек земли. Ты столкнул его со скалы?

Слуга. Он упал в море. Рыбаки поспешили на помощь, привлеченные моими громкими криками и яростным воем собаки. Господина вытащили. Но он уже был мертв, — разбился о камни. Мы его похоронили у подножия этой скалы. Собака издохла от тоски на могиле господина, я пришел сюда рассказать.

Человек земли. Благодарю. Отдай госпоже этот перстень и иди. Ты устал и голоден, — там тебя накормят и успокоят.

Слуга тихо уходит. Кажется, как будто его и не было, как будто это было явление из мира призраков.

Она. Что же это? Что же это? Боги мстят?

Человек земли. Мужественно встретим и это новое испытание. Мы почерпнем силу в нашей любви. Любовь сплетет нам новые сети, которыми привяжет нас к жизни, и увенчает нас новыми радостями.

Она. Как пережить эту смерть! Он умер! Он, самый мудрый, самый кроткий! Он, которому жалко было сломать стебелек цветка! Он, который бережно расправлял крылышки упавшей из гнезда ласточки! А его никто не пожалел, когда я, ослепленная, покинула его и он остался один над мрачными безднами. И одну только услугу мог оказать ему его последний верный, это — столкнуть его в море!

Человек земли. Мы поедем на его могилу, мы будем свято чтить его память.

О н а. Как он молился, как страдал, один, один, всеми забытый и оставленный! А в это время я, его единственная, утопала в безумной и ненужной роскоши, упивалась грешными твоими поцелуями!

Человек земли. Зачем ты говоришь так! Ты остановила свой взор на покойном и терзаешь своими словами сердце того, кто жив, кто любит. Я не могу слушать этих твоих укоров.

О н а. Разве я тебя укоряю? Я сама во всем виновата, одна виновата во всем.

Человек земли. Умирающий нередко находит счастие в самой смерти своей. Он умер с мечтою о тебе и, умирая, был счастлив. Если он тебя действительно любил, он должен благословлять твое счастие, а чрезмерное отчаяние твое ему должно быть тягостно и за гробом, как доказательство того, что и смерть его была жертвою непринятою.

О н а. Зачем жертвы?

Человек земли. Разве ты не знаешь, что благородное сердце любит приносить себя в жертву и радуется, если жертва его принята? Мы снова упьемся безумием счастья нашего, и в блаженстве потонет для нас вся вселенная. Что в ней значит еще один погибший?

О н а. Днем и ночью этот погибший будет стоять передо мною! Днем и ночью! О, как мне страшно! *(Обнимая его.)* Защити меня, спаси меня! Вот я вижу его! Вот там, где стоял его слуга! Его скорбное лицо, его кроткие глаза!

Человек земли. Дорогая моя, успокойся. Ты со мною, ничего не бойся, ни людей, ни призраков. Я защищу тебя от всякой здешней и нездешней силы.

О н а. Он напоминает мне, как счастливо текла жизнь моя с ним там, наверху.

Человек земли. Разве любовь моя не дала тебе ничего? Ты много оставила там, на этой мрачной горе, где нельзя жить человеку, но разве моя любовь ничего не дала тебе взамен?

О н а. Ах, что со мною! Мрачный призрак, рассейся! Я люблю тебя, только тебя. Люблю вот этот лоб, эти губы! Люблю, люблю!

Она страстно целует Человека земли.

Человек земли. Мы будем счастливы. Мы живы, мы на этой милой земле, под этим ясным солнцем.

Она. Мы будем счастливы! Тени умерших отойдут от нас.

Человек земли. Их двое, — моя Звездочка и он, твой мудрый друг. Легкомысленная актриса и ученый мудрец. Какое странное соединение! В любви и в смерти! *(Глубоко задумывается.)*

Она. Что ты хотел сказать? О чем ты думаешь?

Человек земли. Как просветляет смерть! Теперь я вспомнил вдруг ее последний взгляд, когда она падала из бешено мчавшегося под откос экипажа. Какой любви был полон этот взгляд! Странно! Так жестоко мстящая должна была бы ненавидеть. Она меня, значит, любила истинною, верною любовью, такою же любовью, какою тебя любил твой мудрец. И смерть сняла пелену злобы с ее внезапно открывшихся глаз.

Она смотрит на него пристально, прислушиваясь к его словам с необычайным волнением.

Она. Ты все еще ее любишь?

Человек земли. Я люблю только тебя.

Она. Зачем же ты так говоришь о ней?

Человек земли *(говорит словно в беспамятстве, как бы бредя)*. В каком блаженном озарении предстоят мне эти две тени! Кто бы мог это подумать! Моя маленькая Звездочка в стране блаженных! Преступная и порочная душа, какие ангелы дали тебе твою белую одежду?

Она в страхе и отчаянии приникает к нему. Кричит громко, словно хочет разбудить его

Она. Я с тобою, люби меня!

Человек земли. Когда я хочу сказать тебе: «Люблю!» — она становится передо мною и говорит: «Я любила и умерла, потому что любила!»

Она. Отгони эти мрачные мысли!

Человек земли, как бы очнувшись от сна, озирается. Говорит в странной задумчивости, и взгляд его блуждает рассеянно.

Человек земли. Да, мы должны победить это темное уныние. Жизнь перед нами.

Звук его голоса пугает Ее. Она тревожно мечется по комнате.

Она. Боже мой, Боже мой, что же мне делать!

Человек земли. Тяжело, но это пройдет. Надо отвлечься, надо забыться. Когда я поправлюсь, мы с тобой уедем в прекрасную, лазурную страну.

Она. Лазурная, прекрасная страна! Разве есть на земле такой край, где бы можно было позабыть, не чувствовать, не видеть? Быть может, только там, где теперь он, мой любимый.

Человек земли. Милая, я хочу отвлечься от этих ужасных мыслей. Сыграй мне что-нибудь светлое и торжественное. В минуты печали душа поднимается на вершины, где торжественная грусть сплетается с высокою радостью.

Она уходит в дверь направо. Скоро оттуда раздаются звуки музыки. Гармоничные аккорды все чаще сменяются неразрешенными диссонансами. Музыка становится все более отрывочною и дисгармоничною, прорываются аккорды глубокого расстройства.

Человек земли ходит по комнате, прислушиваясь к музыке. Его лицо выражает сначала надежду, потом глубокую печаль, переходящую в уныние и отчаяние. Музыка обрывается резким диссонансом. Слышен подавленный крик тоски и страха. Она быстро входит в комнату. Очень бледна.

Человек земли. Милая, любовь моя, что с тобою? Отчего ты так бледна?

Она. Они опять передо мною. Они всегда будут между нами.

Человек земли. Милая, успокойся. Не возвращаются из могил.

Она. О, если бы возвращались! Они бы нас простили. Но они во мне, они в тебе, и теперь жизнь их бесконечна, они бессмертны, мстители милые наши. Не будет нам счастия уж никогда больше. Они зовут нас, они требуют от нас...

Человек земли. Что они могут требовать? Пустая мечта!

Она. Разве ты можешь забыть?

Человек земли. Пройдет время, все забудется.

Она. Нет, нет, — мы будем презирать друг друга, если позабудем. Если бы они не умерли, — разве не все равно? Их опустошенные жизни так же лежали бы гнетом на нашей совести.

Человек земли молча отходит к окну. Стоит в глубоком раздумье. Она тревожно ходит.

Она. Все началось с того, что ты пришел к нам и начал мне говорить о твоей любви ко мне, о радостях жизни, о твоем строительстве, о твоих мечтах оживить дикий край. Вот с этих разговоров все и началось. Ты говорил, а я слушала.

Человек земли. Да? Так что же?

Она. Я тебя полюбила. Я тебя люблю, потому что ты этого захотел.

Человек земли смотрит на Нее умоляющими глазами.

Человек земли. Жизнь моя, не отходи от меня. Мы уедем в безмятежный, лазурный край, и снова райские видения навеет тебе любовь моя.

Она. Нет, никогда! и ты сам себе не веришь, — ты говоришь так неуверенно, как никогда не говорил. Разве можем мы теперь мечтать о счастии, о райских видениях? Мы забрызганы кровью.

Человек земли. Что же, разве я виноват в этой крови?

О н а. Я не хотела тебя упрекать. Разве есть виноватые? Я полюбила тебя, и если бы еще раз надо было сделать то, что я сделала, то я снова поступила бы так же. О, какою жестокою ценою куплено это безумие! Да и как же иначе? Все в мире связано, все сковано пламенным кольцом любви и страдания, неразрывным, вечным. Не уйти из него, не вырваться из этих оков, — и все мы вместе, все, живые и мертвые, любящие и любившие, все отвечаем друг за друга.

Человек земли. Милая, помни одно, что мы любим друг друга. Верь нашей любви, верь жизни, которая вся еще перед нами.

О н а. Люблю, люблю! Но отчего же такая смертная печаль? Значит, одной любви мало.

Человек земли. Но разве его ты не любила?

О н а. Зачем ты это говоришь? Что ты говоришь! Нет, нет, нет, его я любила! Я была ему верна, я делила с ним все горести жизни. Но я перестаю понимать. Нет, нет, не говори ничего. Я не могу, — слова твои меня убивают.

Человек земли. Милая, милая, успокойся! Тебе одной на земле я верю. Ты для меня — единственная и последняя.

О н а. Верь и ты мне, верь, дорогой мой! Я люблю его, люблю тебя, душа моя разрывается. О, что же делать нам с любовью нашею? Душа моя умирает! Я не могу, не могу!

Человек земли. Милая, не плачь так, не плачь. Кто дал нам душу, тот дал нам и любовь.

О н а. А что мы делаем с любовью, что делаем! Сколько горя, сколько крови!

Человек земли. Любовь поможет нам пережить.

О н а. Люблю тебя, люблю в жизни и в смерти. Но эти призраки, эти мертвые! Сердце мое разрывается. *(Падает в изнеможении и рыдает.)*

Человек земли. Плачь, если ты можешь плакать. А вот у меня и слез нет.

Она поднимается, вдруг спокойная. Смотрит на него, и в глазах ее ожидание.

Человек земли. Тяжелая колесница счастия! С нее прогнал я женщину, которая казалась мне такою же пустою и легкомысленною, как и многие другие, — и колеса моей колесницы раздавили ее грудь. Может быть, я слишком неосторожно сбросил ее. Но вот она мертва, и на лице моем брызги ее крови.

Она *(спокойно)*. Что же ты хочешь делать?

Человек земли. Ты чего-то ждешь от меня?

Она. Ты знаешь, чего я жду.

Человек земли. Я знаю. Я привык честно расплачиваться по своим обязательствам. Я — сын оклеветанного, но мужественного века. Но ты готова ли?

Она. Милый, с тобою вместе, к ним, которые погибли, потому что мы изменили.

Человек земли. Дыхание Смерти надо мною, — вдруг так ясно в душе моей. Никогда душа моя не была так светла, как теперь.

Она. Милый, милый, ты это знаешь, нельзя пережить! Нельзя строить на трупах.

Человек земли. Когда же ты хочешь?

Она. Сейчас. У тебя есть?

Человек земли *(подходит к столу, вынимает револьвер)*. Верный друг, он всегда со мною, всегда готов служить.

Она *(радостно)*. Вместе умрем.

Человек земли наводит на Нее револьвер. Лицо ее светлое и радостное. Занавес опускается. Слышны два выстрела.

МЕЧТА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Драма в трех действиях

Действующие лица:

М а р и я (Марья Павловна), молодая, красивая; идеалистически настроена; восторженно любит новое искусство. В первом действии она готовится поступить на сцену. Во втором действии она — актриса, в короткое время обратившая на себя внимание публики. В третьем действии — замужем.

К у р г а н о в, Григорий Андреевич, молодой, очень талантливый художник, еще без имени и без денег.

К р а с н о в с к и й, Алексей Николаевич, молодой адвокат, уже с именем и с хорошею практикою.

Л и д и я, молодая танцовщица, маленькая, с виду неловкая. На ее некрасивом лице хороши только глаза, похожие на глаза заклинательницы змей.

З о я, молодая актриса, веселая, жизнерадостная.

М о р е в, драматург, старик небольшого роста, с длинными белыми волосами и с седою бородою, спокойный, молчаливый. Кажется, что он всегда только созерцает, только пристально наблюдает жизнь, не принимая в ней никакого участия. Режиссер должен придать Мореву несколько отвлеченный образ, символизирующий вообще авторское творческое начало, душу новатора.

Б и р к и н, Иван Кирилыч, антрепренер, человек практической складки.

З и н к а, горничная, очень молоденькая, миловидная, старающаяся подражать своей госпоже, Марии, в манерах и в одежде.

М о л о д е ж ь обоего пола, без особых речей, но с большим запасом веселости.

Первое действие

Комната в квартире Марии. Подробности обстановки выдают учащуюся молодость и девический, безукоризненно чистый вкус. На стенах фотографические снимки с картин Боттичелли и Луини. Пианино. Вечеринка. При открытии занавеса слышен гул молодых голосов, смех. Мария, Красновский, одетый, как на балу,

пиджаке и в цветном жилете, оба влюбленные в Марию. Зоя. Лидия. Морев спокойно сидит в кресле в углу, не двигаясь во все время действия и упорно глядя перед собою в пространство. Молодые люди и девушки сидят, ходят. Слышны голоса.

Голоса

Ну что же, мы ждем.
— Начинайте, Курганов.
— Зоя, где же вы?
— Да вы не ту книжку взяли, дайте я вам найду.
— Валяйте на память, я суфлировать буду.

Чей-то солидный голос говорит.

Голос. Ему не верьте. Он все исказит.

Все смеются. Морев сдержанно улыбается. За пианино садится Курганов, играет.

Зоя *(становится рядом, читает стихи).*

Водой спокойной отражены,
Они бесстрастно обнажены
При свете тихом ночной луны.

Два отрока, две девы творят ночной обряд,
И тихие напевы таинственно звучат.
Стопами белых ног едва колеблют струи,
И волны, зыбляся у ног, звучат как поцелуи.

Сияет месяц с горы небес,
Внимает гимнам безмолвный лес,
Пора настала ночных чудес.

Оставлены одежды у темного пути.
Свершаются надежды, — обратно не идти.

Таинственный порог, заветная ограда, —
Переступить порог, переступить им надо.

Их отраженья в воде видны,
И все движенья повторены
В завороженных лучах луны.

Огонь, пылавший в теле, томительно погас, —
В торжественном пределе настал последний час.
Стопами белых ног, омытыми от пыли,
Таинственный порог они переступили.

Курганов. Какой торжественно-прекрасный миг! Моя мечта — изобразить это на картине. Сияет месяц. Два отрока, две девы, юные, прекрасные. Тихо, безмолвно готовятся свершить последний обряд.

Лидия. Таинственный порог переступить разве не радостно? И разве не страшно?

Зоя. Не мы это сделаем, потому что на одеждах наших слишком много пыли и души наши темные.

Мария. Надежды наши свершатся, мечта преобразит нас и жизнь нашу, и мы радостно войдем в прекрасную новую жизнь.

Зоя. Ты милая мечтательница, Мария, и за это я тебя люблю.

Курганов. Мария, когда я на тебя смотрю, я вспоминаю почему-то юность человечества и прекрасную царевну Навзикаю.

Лидия. А мне что ты скажешь?

Курганов. Ты знаешь больше, чем мы знаем. Хотя и не скажешь этого словами. Разве только глазами скажешь, глазами заклинательницы змей.

Лидия *(подходя к Мореву)*. Дорогой учитель, отчего люди нас не понимают и не хотят слушать нас? Они — злые!

Морев. Не осуждай, милая Лидия. Будем делать наше дело, верить и ждать.

Лидия. Так грустно! Я прочла одну за другою все ваши драмы. Страшно подумать, что ни одна из них не шла на большой сцене, и только одну мы поставили сами.

Морев *(говорит тихо, глядя перед собою в пространство)*. Я верю, я жду. Наше искусство — завтрашний день. Мы пришли в жизнь слишком рано, — нам приходится подождать.

Лидия. Мне грустно.

Красновский. Итак, скоро мы увидим вас, Марья Павловна, на сцене?

Мария. Да, скоро. Через месяц. Я так волнуюсь. Боюсь. И так мечтаю.

Красновский. Вам все еще не надоело мечтать? Вы — счастливая.

Мария. А вы, Алексей Николаевич, разве никогда не мечтаете?

Красновский. Предоставляю это занятие вам, артистам, художникам. А мы, юристы, народ положительный. Не очень размечтаешься, имея дело с сухими статьями законов и с разными запутанными казусами.

Мария. А я мечтаю, мечтаю.

Красновский. Все о ваших будущих победах?

Мария. Да, и о будущих победах. О завоеваниях нового искусства, о работе в новом театре. И все будущее представляется мне таким ярким и радостным.

Красновский. Однако мечты — мечтами, а дело — делом. Мечтая о новом театре, вы все-таки идете в старый, хороший, реалистический театр.

Зоя. Мы его преобразим, когда в него войдут молодые силы, художники, артисты, поэты.

Курганов. Мария еще нигде по-настоящему не играла, но уже ее заметили так же, как и Лидию. Ее уже везде охотно приглашают.

Красновский. А по-моему, Марья Павловна совершенно напрасно участвовала в этой пьесе с плясками. Показываться добрым людям в таком виде, по-моему, не следовало. Очень извиняюсь перед присутствующим автором, но, при всем уважении к его таланту, не могу восхищаться этою пьесою.

М а р и я. Нет, я очень рада, что в ней участвовала. Остался ряд таких милых воспоминаний.

К р а с н о в с к и й. А вы забыли, что о вас тогда писали в газетах? А как ловко и вас, и Морева прохватил Инфантерский? Целые реки злословия и клеветы.

М а р и я. О, это все нас не смущает. Прохватить, как вы выражаетесь, всякий сумеет, тем более что толпе это нравится. Мы дорожим мнением только тех, кто думает и чувствует свежо и молодо.

К р а с н о в с к и й. Лучше играйте Островского, Марья Павловна. Что вам еще надо? Зачем искать лучшего, когда у нас есть хороший театр с такими прекрасными традициями?

М а р и я. Что надо нам? Преобразить игру и зрелище в таинство, мистерию осуществить, слить все в театре в одно, в одно. Мы хотим, чтобы зритель не оставался холодным наблюдателем, хотим и его вовлечь в действие, заставить его вместе с нами соучаствовать в трагедии.

К р а с н о в с к и й. Нет уж, благодарю покорно! Не желаю! Как в суде помыкаешься, так отдохнуть хочется, позабавиться в театре, а не участвовать в ваших действах.

З о я. Да, вы все приходите такие скучные, вялые, и хотите, чтобы вас забавляли.

К у р г а н о в. Лидия, теперь твоя очередь. Мы ждем твоего танца.

Л и д и я. Я боюсь, боюсь. *(Уходит.)*

М о р е в. Искусство — это и есть отдых от жизни. И оно же — источник новой жизни. Играли, пока были детьми. Потом залюбовались на зрелище. Потом придем к единению в таинственном обряде.

К р а с н о в с к и й *(выслушав эти слова с видом скучающего человека, обращается к Марии)*. Я не спорю, конечно, — у вас, Марья Павловна, есть несомненный талант, есть прекрасная сценическая внешность, хотя пока еще младенческая техника. Я не сомневаюсь, что из вас выйдет, если вы не перестанете работать над собою, хорошая драматическая инженю.

М а р и я *(смеется)*. Какие ужасные слова вы говорите, Алексей Николаевич!

Красновский. Отчего же? Разве я не верно определил ваше амплуа? Тогда извините, Марья Павловна. Я ведь не профессиональный театрал.

Мария. Нет, не то что неверно. Но когда я мечтаю о том, что буду делать на сцене, меня коробит от таких слов, как «амплуа», «инженю», «героиня». Зачем все это? Ведь каждый раз так индивидуально то, что делаешь!

Красновский. Ну да, я знаю, вы мечтаете о том, чего не бывает, как говорится в стихах Зинаиды Гиппиус, и чего никому из нас не надобно.

Курганов. Всем нам надобно только то, чего не бывает. Для того только мы и в театр ходим. Для того и сами работаем в театре.

Красновский. Ну, этого я что-то уже и не понимаю. Что-то уж слишком мудреное!

Курганов. Ходить в театр, чтобы смотреть, как мои знакомые пьют чай или водку, сплетничают и ссорятся? Это я и без театра вижу.

Красновский. А я люблю, когда актер загримируется под известное лицо. Чем известнее оригинал, тем любопытнее посмотреть его на сцене. Особенно если автор и актер сумеют его хорошенько высмеять.

Курганов. Нет, в театре я хочу другого. Хочу пламенного восторга, уносящего меня из оков этого бледного существования.

Морев. В театре мы хотим не быта, а преображения быта силою искусства.

Красновский. Не лучше ли заботу о преображении быта предоставить Государственной думе? Пусть она совершает это силою хороших законов.

Мария. Вы все шутите, Алексей Николаевич. А мы говорим серьезно.

Зоя. Алексей Николаевич думает, что с нами не стоит говорить серьезно.

Красновский. Помилуйте, Зоя Аркадьевна! Я — серьезнейший из здешних присяжных поверенных.

М а р и я. Вот вы увидите сейчас пример преображения властью искусства. Можно это сказать, потому что она ушла одеваться для танца.

К р а с н о в с к и й. Кто это она?

М а р и я. Лидия.

К р а с н о в с к и й. Тоже, конечно, жрица новой красоты и нового искусства?

М а р и я. О, какой тон! Ну да, жрица, если хотите. Жрица, потому что она самоотверженно служит своему высокому искусству.

К р а с н о в с к и й. Это маленькое, неграциозное существо? Воображаю, как она танцует!

М а р и я. Да, она кажется неловкою в своей глупой блузке и в этой своей скромной юбчонке. У нее нет денег на роскошные туалеты. Свои костюмы для танца она шьет себе сама по рисункам Курганова. В ее комнате нет даже большого зеркала.

К р а с н о в с к и й. Это и видно.

М а р и я. Когда она танцует при свете бедной свечки, она смотрит на свою тень на пустой стене и так учится. Нет, вы не должны, вы не смеете смеяться над нею! И вот вы сейчас сами увидите в танце эту заклинательницу, — тогда вы скажете другое.

К р а с н о в с к и й. Посмотрим. «На свете чудеса рассеяны повсюду».

З и н к а *(Зое вполголоса)*. Они уже оделись. Совсем стали хорошенькая. Велели мне к господину Мореву ковер поближе подвинуть. *(Громко.)* Лидия Николаевна оделись, сейчас танцевать выйдут. Просят всех сесть поближе к стенкам. *(Оправляет ковер.)*

Зоя играет. Курганов и Мария отходят в сторону.

К у р г а н о в. Этот краснобай Красновский — ходячий трафарет. Говорит готовыми словами и думает готовыми мыслями.

М а р и я. Он — милый. В нем все-таки есть что-то искреннее.

К у р г а н о в. Добродетельный уж очень. Отчего он к тебе так льнет? О чем вы с ним шептались?

Мария. Вовсе не шептались. Ты ревнуешь! Как тебе не стыдно! Я больше могла бы тебя ревновать, если бы на это была способна.

Курганов. Как же мне не ревновать, если ты не говоришь ни да ни нет!

Мария. Милый, — не время теперь. У меня сердце горит в груди, и я не знаю, не знаю, ничего не знаю. Пока не осуществила я свою мечту, что могу сказать! Ты всегда увлечен кем-нибудь, у тебя всегда есть другая, или прекрасная дама, или твоя модель. Я думаю, что ты любишь Лидию. А я, — я пока люблю только искусство.

Курганов. Как ты не понимаешь, Мария! Лидия волнует меня как художника, а ты... ты — несравненная. Лидия преображается только в танце. Для нее танец как священнодействие.

Мария. Вот видишь, ты ею очарован.

Курганов. Ее танцем. Только танцем. В танце вся ее душа. Когда я зарисовываю самые трудные позы ее, она позирует с терпением факира. А в жизни она маленькая и слабая. Ты же, Мария, — ты всегда горишь.

Зоя играет.

Мария. Лидия, тебе пора выходить.

Голоса

Лидия, мы ждем!

— Выходите!

— Лидочка, поскорее!

Лидия *(из соседней комнаты)*. Я боюсь, боюсь. Ни за что не выйду.

Курганов. Лидия, мы ждем. Отчего же ты не выходишь?

Лидия. Мне страшно. Я боюсь, что надо мною будут смеяться.

Голоса

Никто не будет смеяться!

— Как можно!

— Что вы придумали, вздор какой, Лидия!

— Мы — не такие, Лидочка, чтобы над этим смеяться!

— Право, не бойтесь!

Л и д и я. Скажите Красновскому, чтобы он не смеялся. Или пусть он уйдет.

М а р и я. Она уже оделась и не решается выйти.

З о я. Иди же, Лидия, скорее. Я уж два раза начинала играть. Никто не будет смеяться, уверяю тебя.

Л и д и я *(выглядывая из двери)*. Слишком светло. Погасите вот эти свечи, на стене. Зинка, милая, погаси, пожалуйста.

Зинка выбегает из той комнаты, где Лидия, и гасит свечи. Комната теперь освещена только свечами на пианино.

К у р г а н о в. Я пойду за нею. Иначе она так и не выйдет. *(Уходит.)*

К р а с н о в с к и й. Жрица нового искусства желает поломаться.

М а р и я. Вы несносны, Алексей Николаевич.

К р а с н о в с к и й. Я только справедлив, Марья Павловна. И я не сомневаюсь, что наш милый художник быстро уговорит ее. Да вот уж они идут.

Курганов выводит Лидию, одетую в тунику. В дверях она слегка упирается, схватившись за косяк двери. Курганов ее увлекает, Лидия вдруг быстро и легко выбегает на середину комнаты и останавливается.

Это вы называете — оделась? Ну, такая одежда не по нашему климату, хотя и делает честь вкусу художника.

М а р и я. Молчите. Не смущайте ее. Здесь нет рампы, и наши замечания доходят до исполнителей. Мы должны участвовать сочувствием в действии, а не мешать ему.

Л и д и я. Ничего, пусть говорит что хочет, теперь уж мне все равно. Я никого не вижу. Нет стен. Вокруг меня ночь. Я стою в поле. Под моими ногами трава. Месяц встал. И душа моя вся — музыка.

Зоя играет. Лидия танцует.

К у р г а н о в *(читает стихи Александра Блока)*

Я не звал тебя, — сама ты
Подошла.
Каждый вечер — запах мяты.
Месяц узкий и щербатый.
Тишь и мгла.
Словно месяц встал из далей,
Ты пришла
В ткани легкой, без сандалий,
За плечами трепетали
Два крыла.
На траве, едва примятой,
Легкий след.
Свежий запах дикой мяты,
Неживой, голубоватый
Ночи свет.
И живу с тобою рядом,
Как во сне,
И живу под бледным взглядом
Долгой ночи,
Словно месяц там, над садом,
Смотрит в очи
Тишине.

Лидия кончила танец. Убегает. Похвалы и рукоплескания, если танец и чтение одобрены публикою.

М а р и я. Какие стихи, какая музыка! О, на что можно променять такие мгновения! Как радостно, что мы не одни, что с нами прекрасные, вдохновенные поэты наши в тоске и в мечтах своих! О дивная музыка дивных строк! Дивно поющее тело человека!

Зинка вносит вино, все берут стаканы.

Курганов. Друзья мои, мы все любим искусство и живем для него. Я поднимаю мой стакан за тесную дружбу всех искусств, за их объединение в театре, — пью за новый театр!

Слышны приветственные и сочувственные восклицания. Лидия бежит к Мореву, во время действия неподвижно сидящему на одном месте, и чокается с ним. За нею и все чокаются с ним.

Морев *(чокаясь)*. Я верю, я жду.

Застенчивый юноша. Позвольте, товарищи. Если за театр, то я хочу тоже прибавить... выпить за русское искусство, потому что хотя там, за границей... но вообще, у нас свои художники и поэты и своя старина, — я пью за русское искусство.

Сочувственные возгласы. С ним чокаются.

Красновский. Не понимаю, что хорошего в этом танце. Какие-то странные, ничего не выражающие движения. По-моему, уж если вальс, — так вальс, мазурка, — так мазурка.

Мария. Инженю, — так инженю? Все в готовых формах, застывших раз навсегда?

Красновский. Все в определенных формах. И зачем танцевать без башмаков, — тоже не понимаю.

Лидия. Танец — это радость свободного движения. Экстаз освобождения от всего, от всех земных, условных пут...

Красновский. Мы понимаем освобождение иначе. Освобождение — от чего? Вот свобода слова...

Зоя. Знаем, знаем. Конституция? А я думаю, что гражданской свободы достоин только тот, кто свободен во всем и во всем правдив.

Красновский. Какая же здесь правда, в этом танце? Разве радость и веселость надобно изображать непременно только этими движениями и в этой одежде? Разве я во фраке, танцуя вальс, не могу радоваться так же, как эта барышня в хитоне, слишком легком, «рас-

судку вопреки, наперекор стихиям»? Правда, я охотно признаю, что этот хитон к ней очень идет и что она в нем очень мила. Но и мой фрак имеет, надеюсь, свои достоинства.

З о я. Ваша страсть к цитатам заставила вас самого осудить ваш фрак. «Рассудку вопреки, наперекор стихиям» — ведь это о фраке сказано.

К р а с н о в с к и й. Позволю себе в данном вопросе не согласиться с Грибоедовым.

М а р и я. Радость поет во всем моем теле, и каждым моим движением я говорю о ней. Где соблазны, где нечистые мысли, там нет радости и не может ее быть. Только беспорочная нестыдливость радует сердце человека. Мы должны быть, как дети, невинны, чисты и нестыдливы.

М о р е в. Так, дитя мое.

К р а с н о в с к и й. Ну, если бы мы все...

М а р и я. Вы все делайте как это у вас повелось. Но не мешайте искусству быть выше жизни и чище жизни.

К р а с н о в с к и й. Ну я допускаю, когда мы в маленькой компании. Но выходить так на забаву толпе праздных людей — это, помоему, не дело.

К у р г а н о в. Довольно мы замыкались в подполье, в домах, тесных и душных. Искусство должно быть всенародным, должно выйти через театр на площадь, на улицу, — всех убедить, всех утешить, — всем облегчить бремя тусклых, безрадостных будней. Великие судьбы ждут искусство будущего.

Зоя играет. Молодежь танцует.

К р а с н о в с к и й *(отводя Марию в сторону)*. Марья Павловна, предоставим, как это говорится, астрономам доказывать, что земля движется вокруг солнца, а мне позвольте сказать вам о том, что меня наиболее занимает. Пока эта шумная молодежь веселится, а господин Морев с философическим спокойствием наблюдает коловращение света, я бы хотел сказать вам, что называется, пару искренних слов.

М а р и я. Говорите, Алексей Николаевич, я слушаю.

К р а с н о в с к и й. Вы меня извините, Мария Павловна, если мое красноречие мне изменяет. В некотором роде я выступаю новичком, и потому вы не осудите меня за это волнение, неизбежное при произнесении первой, в некотором роде, речи.

М а р и я. А вы бы, Алексей Николаевич, прямо перешли к делу, без всяких ораторских приемов.

К р а с н о в с к и й. Вы так приказываете? Слушаю-с! Ваша воля — для меня закон. Итак, позвольте сказать прямо — Марья Павловна, я вас люблю.

М а р и я. Не говорите, не говорите мне об этом. Я занята одною своею мечтою. Я стремлюсь только к ней. Я вся поглощена этим, вне этого меня нет, — все мои силы должна я отдать дорогому для меня искусству.

К р а с н о в с к и й. Вот потому-то я и говорю вам теперь то, что хочу сказать. Я хочу отвести вас от той ужасной и гибельной бездны, по краю которой вы так беспечно и неосторожно ходите. Вы не будете иметь успеха. Хуже того, — вы погибнете в этом омуте.

М а р и я. Почему? И какую вы видите под ногами моими бездну? Я вижу сияющие высоты и радужный мост к ним.

К р а с н о в с к и й. А мост над чем?

М а р и я. Если есть под этим мостом бездна, я не хочу глядеть в нее, чтобы у меня голова не закружилась.

К р а с н о в с к и й. Самообман!

М а р и я *(не слушая его)*. Я счастлива, я молода, в груди моей радость, в сердце моем источник великих сил. В душе моей, как в Эдеме, поет райская птица.

К р а с н о в с к и й. Не верьте этой коварной птице.

М а р и я *(не слушая)*. Когда я утром проосыпаюсь и вдруг вспомню о моей мечте, мое сердце бьется, бьется и вся душа моя теснится в груди. О жизнь, молодость, мечта, — какое счастие, какое опьянение!

К р а с н о в с к и й. Вы хотите чего-то странного, что, поверьте, никому не нужно. Нам всем надобно не то, о чем вы мечтаете. Мы

хотим искусства, изображающего нам реальную жизнь, научающего нас добру, отвращающего от зла.

Мария. Искусство — это и есть то, что, на ваш взгляд, никому не нужно. Но потому-то оно и дорого всем. Оно говорит не о добре и не о зле, оно говорит о верховной красоте, потому что только в прекрасном — истинная мера добра.

Красновский. Не будем спорить, Марья Павловна, о предметах отвлеченных. Это — материя сухая и скучная. Выходите за меня замуж. Мне жаль думать, что ваш юный энтузиазм будет потрачен на пустую погоню за призраками, на борьбу с ветряными мельницами.

Мария. Да как же, Алексей Николаевич, я выйду за вас замуж? Ведь вы не пустите меня на сцену? А без сцены я не могу жить.

Красновский. Да, Марья Павловна, теперь не пущу. Для вашего же собственного блага не пущу. Потом — может быть.

Мария. Когда же потом?

Красновский. Потом, когда вы успокоитесь. Потом, когда вы поймете, что любимое вами искусство — буржуазное искусство.

Мария. Это — неправда!

Красновский. Что ваш художественный символизм и анархизм — утеха и услада благополучных и сытых людей.

Мария. Подобных вам?

Красновский *(словно не слыша)*. И что единственное хорошее, настоящее искусство — честный реализм. Только этим реализмом и сильны русская литература и русское искусство. Только этим честным реализмом они и прославились на весь мир.

Мария. Всегда люди, подобные вам, говорили, что хорош только вчерашний день. Мы вчерашнего дня не забываем, но хотим и завтрашнего!

Красновский. Не верю я в ваш завтрашний день. Не верю и этому сумасбродному фантазеру Мореву.

Мария. Не говорите так о нем. Вам не понять его беззаветного служения искусству. Я преклоняюсь пред этим человеком, след его ноги готова целовать. Вся жизнь его — один идейный подвиг. А вы — недобрый. Я вас не люблю.

Красновский. Полюбите.

Мария. Нет, никогда не полюблю. Мы с вами совсем по-разному смотрим на вещи.

Красновский. Разве это так важно? Вы сами скоро увидите, что ошибались.

Мария. Нет, я вас никогда не полюблю.

Красновский. Вы говорите как маленькая девочка. Что вы понимаете во всем этом? Вы еще никого не любили?

Мария *(улыбаясь)*. Любила, — маму, папу, няню.

Красновский. Вы еще не знаете, Марья Павловна, что такое любовь. Любовь — заразительна, как оспа.

Мария. О, избавьте меня от опасности заразиться ею от вас!

Красновский. Только поверьте, что я вас люблю, как никто вас полюбить не может, и вы непременно полюбите меня.

Мария. Вы очень самоуверенны, Алексей Николаевич. Почему вы думаете, что никто не может полюбить меня так, как вы?

Красновский. Потому, что я люблю вас за вас самих, а другой полюбит вас за ваши приятные слова о каких-то исканиях и настроениях, за вашу счастливую сценическую наружность, за ваши очаровательные плечи и жемчужную грудь, за ваши стройные ноги, — наконец, может быть, за ваше бесстыдство, за все то, за что я готов был бы порою убить вас.

Мария. О, как грозно!

Красновский. Как они смеют смотреть на вас! Как они смеют подходить к вам!

Мария. Кто же дал вам право говорить так со мною! О, какой вы недобрый! Я вас начинаю бояться.

Красновский. Простите. Да, я увлекся. Мне лучше уйти. Прощайте, Марья Павловна. *(Жмет ей руку и печально уходит.)*

Мария. Никогда.

Лидия *(Курганову)*. Ты, милый художник, меня никогда не полюбишь?

Курганов. Я тебя люблю, Лидия.

Л и д и я. Ты любишь Марию. Мне иногда становится грустно, когда я позирую тебе и вдруг замечаю, что ты не смотришь на меня и думаешь о ней. Ты любишь Марию.

К у р г а н о в. Люблю Марию. Я люблю Марию навсегда. Она — моя роковая.

Л и д и я. А она тебя любит, как ты думаешь? Любит? Жить без тебя не может?

К у р г а н о в. Она меня томит и мучит. Любить, — быть может, не любит.

Л и д и я. Полюби меня. Полюби, мой милый.

К у р г а н о в. Когда я думаю о Марии, я не могу тебя любить.

Л и д и я. Ты всегда о ней думаешь. Никогда не думаешь обо мне.

К у р г а н о в. Когда я гляжу на тебя, я забываю о ней. Когда же я вижу твои мелькающие в танце ноги, я забываю обо всем в мире, забываю даже о себе.

Л и д и я. Отчего же, когда я тебе позирую, ты иногда вспоминаешь о ней?

К у р г а н о в. Но ведь она же моя госпожа, возлюбленная. Когда я пишу, я озабочен не тем, что передаю полотну, а тем, как это сделать, — и тогда чары твоих глаз, милая заклинательница, теряют надо мною власть.

Л и д и я. Ты любишь меня немножко, иногда. Но мне и этого довольно. Я, может быть, и так любить не могу. Никого не люблю и только хочу, чтобы меня полюбили хоть немножко, чтобы хоть как-нибудь приласкал меня мой милый.

К у р г а н о в. Бедная Лидия! А я, — мне кажется иногда, что в моей груди две души, что одной любви мне мало.

Л и д и я. Вот Мария подходит к тебе. Я люблю ее, за то что ты ее любишь, и боюсь ее. Я пойду к другим. Я не смею спорить с Мариею.

К у р г а н о в. Скажи, Мария, отчего Красновский ушел так рано и был так взволнован.

М а р и я *(мечтательно)*. Он сказал, что любит меня.

К у р г а н о в. А ты?

Молодежь собирается танцевать. Шум, — двигают стулья. Зоя садится за пианино. Слышны возгласы.

Возгласы

У меня две дамы.

— Танцуй с Зинкою.

— Зинка, иди к нам.

— Художник, осторожнее! Руку свернул!

— Приходите завтра на вернисаж.

— Увидимся, милый?

— Господа, не напирайте!

— Пощадите предметы искусства!

Мария. Он сказал, что любит меня так, как никто полюбить меня не может.

Курганов. Как сорок тысяч братьев любить не могут? О, как ненавистны мне эти люди, всегда говорящие чужими, готовыми словами! Самые пламенные и чистые слова они превращают в истертые двугривенные!

Мария. Он говорит чужие слова, как свои. Он думает и чувствует чужими мыслями и чувствами так искренно, как будто бы сам нашел все это.

Курганов. И ты ему веришь?

Мария. Кто повторяет чужие слова, повторит когда-нибудь и мои.

Курганов *(повторяет настойчиво)*. И ты ему веришь?

Мария. Я хотела бы всегда верить себе самой.

Курганов. Только себе?

Мария. И тебе. Но как же я тебе поверю? Ты любишь другую. Вот, она все время сидела там в уголке и не спускала с тебя внимательных глаз. И глаза у нее странные, полные очарования, как у заклинательницы, которой послушны змеи. И мне было жутко. Слава Богу, Качаев повел ее танцевать.

Курганов. Верь мне, Мария, верь. Верь моей любви и не верь моим изменам. Я непостоянен, я как ребенок, перебегающий от одной игрушки к другой. Но ты для меня больше, выше, чище

всего, что я знаю. Никогда, никогда я не разлюблю тебя. Всегда, всегда, в мечтах и в жизни, я буду с тобою. Ты для меня — единственная и роковая.

Мария смотрит на него нежно и молчит. Музыка и танцы. Морев сидит в углу все на том же месте и пристально смотрит перед собою в пространство.

Действие второе

Прошло два года.
Квартира Марии. Мария и Курганов.

Курганов. Вчерашний спектакль был настоящим торжеством искусства.

Мария. Торжество!

Курганов. Никогда еще в театре я не испытывал такого восторга. Наконец ваш театр вступил на настоящей путь. И как хороша была ты, Мария.

Мария. И все-таки провал! И какой жестокий! Как они ужасно свистали!

Курганов. Это было подстроено. Все это безобразие — кашель, смех, шиканье, свистки всегда начинались с одного и того же места в партере, где сидел этот господин, — я его знаю в лицо, но всегда забываю его фамилию. Я уверен, что все это — интрига Левиной. Зачем не ей дали эту роль.

Мария. Она сама высказывалась против пьесы Морева.

Курганов. Да, а вот когда мы с такими усилиями добились ее постановки, так и Левина не прочь была сыграть твою роль. И вот теперь мстит, и ее друзья нападают на тебя за твою игру, на меня за мои декорации и костюмы.

Мария. Нет, этому я не верю. Просто мы разошлись с общим вкусом.

Курганов. Ну ведь это только публика первых представлений.

М а р и я. Вот два года я на сцене. И все не так, не так, как я хочу, все мечта моя светлая рушится. Как все это было тяжело, — уступать беспощадным требованиям жизни, публики, дирекции театра, работать среди постоянных интриг, считаться с рецензентами, с авторами ходких пьес, с антрепренером! Какой ужас, — постоянно играть в пьесах, слишком приспособленных ко вкусам толпы! А толпе нет никакого дела до искусства, ей нужна только прописная мораль или то, что щекочет ее нервы. Когда наконец добьешься своего, — провал.

К у р г а н о в. Мария, не унывай, не грусти. Я не могу тебя видеть такою. Вот и у меня тоже неудачи, — до сих пор меня отвергают, картин моих не берут на выставку. Но я не хочу сдаваться, — пусть останусь один, пусть меня никто, кроме тебя, не признает. А Морев! Всю жизнь он работает, упорно идет к великим своим делам и не обращает внимания на брань, на издевательства, на травлю, на общественное равнодушие. Как он стоял вчера под градом свистков, — такой же спокойный и даже менее печальный, чем всегда. Мне было его нестерпимо жалко, и в то же время я был горд за него.

М а р и я. Говорят, что его пьеса больше не пойдет, — Биркин боится повторения скандалов.

К у р г а н о в. Этого не может быть.

М а р и я. Говорят, все в труппе это говорят. И злорадствуют многие.

К у р г а н о в. Вчера провал, завтра будет торжество. Не надо падать духом. Мы победим. Верь в это, Мария. Настаивай, чтобы пьеса шла во что бы то ни стало.

М а р и я. Я так устала, так измучена. Где же новые горизонты, где эта идеальная работа? Почему меня хвалят, когда я играю ненужные, чуждые мне роли? Почему меня любят те, кто от меня так далеки? И почему меня не любит тот, кого я люблю?

К у р г а н о в. Мария, ты ко мне несправедлива. Я люблю тебя.

М а р и я. То же самое ты говоришь Лидии.

К у р г а н о в. Ты ревнуешь, Мария. Когда я говорю, что люблю тебя, и говорю, что люблю Лидию, я каждый раз говорю искренно, хотя это два совершенно различные чувства. Но что же мне делать,

если так бедно человеческое слово и если так богата и широка душа человека! И если ты ревнуешь, Мария, ты ревнуешь напрасно.

М а р и я. Нет, я не ревную. Но я печальна. И это отнимает от меня все мои силы. Нас так мало! Подумай, вспомни, — вчера, в театре, какое беспощадное злорадство! Какие чужие, убийственно-равнодушные лица! Ни одного сочувствующего взгляда! Твои декорации назвали вываренной синькой. Вчера я в первый раз усомнилась, — не одни ли мы, сможем ли мы когда-нибудь пробить это стену, увлечь их, заставить нам поверить.

К у р г а н о в. Но ты-то поверишь когда-нибудь мне, Мария! Ведь это жестоко, наконец! Два года я прошу твоей любви, я измучен, теряю веру. Полюби меня, — я найду силы гору сдвинуть. Но ты только ревнуешь меня, — а сама отталкиваешь. Ревнуешь меня, а сама поощряешь ухаживания Красновского. Вот и теперь я вижу на твоем столе письмо от него. Он был вчера в театре и поспешил написать тебе. Знает, в каком ужасном состоянии ты должна теперь быть и спешит этим воспользоваться.

М а р и я. Ты прочитал письмо?

К у р г а н о в. Не имею привычки читать чужие письма. Да и когда же бы я успел? Но его почерк бросается в глаза.

М а р и я. Обыкновенный почерк.

К у р г а н о в *(язвительно)*. Как у всех! И все же я научился его различать, и он меня волнует и бесит.

М а р и я. Красновский опять предлагает мне руку.

К у р г а н о в. Что ж, Мария, тебя прельщают его деньги? Или его «честный реализм»?

М а р и я. Его возможности.

К у р г а н о в. Сколько бы у него ни было денет, он не сделает того, что ты хочешь, Мария. Он не устроит для тебя театра, если ты не уверуешь в дорогой его сердцу честный реализм.

М а р и я. Я верю в чудо. Верю в чудо, потому что в себя верю. Несмотря на всю мою печаль, вопреки всей моей слабости, все-таки верю в себя. Ведь я, как и всякий человек, пришла в мир для того, чтобы пройти путем единственным, еще никем не пройденным, свер-

шить то, что еще не бывало, чего не бывает. Стоит только захотеть, сильно захотеть. Он создаст для меня театр. Я хочу, хочу, хочу! Ах, да нет, что же это я говорю! Я люблю тебя. И все же, все же... Нет, я не пойду за тобою. Не победив, ничего еще не сделав, нет, нет! Ни в себе, ни вкруг себя ничего не понимаю. Только хочу, хочу, хочу! Ах, какая тоска! *(Падает на диван и плачет.)*

Курганов. Мария, успокойся. У тебя нервы расходились.

Мария *(вдруг вскакивает и смеется)*. Нервы, нервы, нервы! Нервочки, матушка Марья Павловна, — как говорит Биркин. *(Смеется и плачет.)*

Зинка. Господин Морев пришли. Цветы принесли и сами очень веселы.

Мария. Проси, проси! бедный автор! Как мне тяжело на него смотреть! Чем я его утешу! *(Быстро идет навстречу Мореву.)*

Входит Морев, с букетом белых роз, сосредоточенный, но взволнованный.

Милый, дорогой учитель! Простите меня!

Морев. Прекрасной воплотительнице моей мечты хочу принести этот смиренный дар любви и преклонения. *(Целует руку.)* Благодарю! Благодарю!

Мария *(беря цветы)*. Дорогой друг! Если бы не ваша ясная вера, не ваше мудрое терпение, мы бы совсем пали духом!

Морев *(растроганно)*. Не думал никогда при жизни дождаться постановки хоть одной из моих пьес на большой сцене. И вот настал день. Вчерашний день был для меня большим, радостным праздником. Вы, Мария, и милый художник, — вы доставили мне эту радость.

Мария. Но как ужасно вела себя публика!

Морев. Вы сделали свое дело прекрасно, а все остальное — суета.

Курганов. Слышишь, Мария! Настоящий взгляд мудреца на вещи.

Зинка. Господин Биркин пришли. Очень сердиты, пыхтят с ожесточением и меня даже не ущипнули.

М а р и я. Проси. И не болтай глупостей.

К у р г а н о в. Может быть, мне лучше уйти? Я боюсь, что скажу ему лишнее. Я так взволнован тем, что ты говоришь.

М а р и я. Останься. Или нет, уйди. Пошли ко мне Лидию. Хочу поговорить с нею. Хочу взглянуть в глаза моей судьбе.

М о р е в. Позвольте и мне проститься с вами.

М а р и я. Милый, дорогой учитель! Как тяжело, и как радостно! *(Целует его.)*

Входит Биркин. Целует руку Марии, пожимает руку Курганову и Мореву.

Б и р к и н. Художнику наше почтение! Господину автору! Много благодарен, уж истинно могу сказать! Удружили!

М а р и я. Автор заслужил благодарность и не такую сердитую. И художника работа немалая и прекрасная.

Б и р к и н. Матушка, Марья Павловна, что ж вы со мною сделали?

М а р и я *(устало)*. Что я с вами сделала?

Б и р к и н. Голову вы с меня, матушка, сняли. Так подвели, так подвели, — мочи нет. Прямо в калошу посадили и мокрым лаптем накрыли.

М а р и я. Вот, послушайте его. *(Смеется, точно плачет.)*

К у р г а н о в. Напрасно, Иван Кирилыч, вы так волнуетесь. И сами волнуетесь, и Марию Павловну обескураживаете. Наше дело правое. И пьеса, и постановка...

Б и р к и н. Голубчик, Григорий Андреевич, что вы! Полный провал. Продажи никакой, а расходов-то сколько было! Одни ваши, Григорий Андреевич, декорации, посчитайте-ка, во сколько мне влетели! Разорили, не в обиду вам будь сказано. Говорил я вам, матушка Марья Павловна, что такая пьеска не пойдет. Я — старый воробей, меня на мякине не обманешь.

К у р г а н о в. Кто же вас обманывал? Мы вас честно и откровенно предупреждали, что рассчитываем только на литературный и художественный успех, а не на кассовый.

Б и р к и н. То-то вот я, старый дурак, поверил вам да и влетел.

М о р е в. Вы, Иван Кирилыч, очень раздражены и говорите слова, о которых потом сами пожалеете.

Б и р к и н. Это почему же-с?

М о р е в. Потому, что это — нехорошие и несправедливые слова. Моя пьеса поставлена очень хорошо, и вы можете этим гордиться.

Б и р к и н. Нечем гордиться-то, господин автор! Свисту что было, забыли?

М о р е в. Это ничего не доказыеает. Вы — опытный театральный деятель. Ведь если вы взяли мою пьесу, значит, она вам понравилась.

Б и р к и н. Навязали, батенька, навязали! Турусы на колесах подпустили, облапошили меня, старого дурака.

К у р г а н о в. Иван Кирилыч...

М а р и я *(перебивая)*. Вы забыли, Григорий Андреевич, о чем я вас просила. Пришлите мне Лидию, я хочу ее видеть, сейчас же, непременно хочу. *(Тихо.)* Теперь вы берите пример с Морева, не становитесь на одну доску с этим торгашом.

К у р г а н о в. Иду. Я только хочу сказать, что вот вы сами увидите, Иван Кирилыч, на втором представлении будет другая публика и другой прием. *(Прощается и уходит.)*

М о р е в *(уходя и целуя Марии руку)*. Я верю, я жду.

М а р и я. Все-таки, Иван Кирилыч, эта пьеса должна идти. Прекрасная пьеса, достойная высоких задач театра! Она должна идти, хотя бы и при пустом зале. Да и не так же безнадежно отношение к ней публики. Поймут. Критика объяснит.

Б и р к и н. Матушка, Марья Павловна, да уж все газеты изругали, — хуже не надо. Стыдно глаза в люди показать, вот как облаяли. Никогда в моем театре такого скандала не было, и такой пустоты в кассе не бывало.

М а р и я. Мы должны продолжать во что бы то ни стало. Не может быть, чтобы в этом городе, таком большом и прекрасном, таком фантастическом, в городе, где так много чуткой, милой молодежи, в городе, где рождаются идеи, где живет дух великой страны, в городе, который и сам создан творческою мечтою венчанного пре-

образователя, чтобы в этом городе мы не нашли друзей истинного искусства. Вы это увидите. Они придут к нам, милые, чуткие друзья! Они скажут нам свое искреннее, верное слово! Для них мы должны играть эту пьесу.

Биркин. Матушка, Марья Павловна, что вы говорите! Никак нельзя! Убытки! Да никак нельзя! Нет, уж я распорядился снять пьеску, уж как вы хотите. Для кармана уж очень обидно. Да и самолюбие страдает.

Мария. Это невозможно! Я хочу играть! Я должна играть!

Биркин. Матушка, Марья Павловна, не беспокойтесь! Вы и будете играть. Вот я вам рольку принес. Вот так ролька, — пальчики оближете! Без всякой стилизации, без символизма, без модернизма, без всего такого ядовитого, — все, как следует по христианскому обыкновению.

Мария *(берет тетрадку, смотрит ее, бросает на стол)*. Это играть! Ни за что!

Биркин. Матушка, Марья Павловна, играли же вы раньше этого автора! Что же вы теперь на него так взъелись?

Мария. Раньше! Да, я уступала вам, я ждала. Я играла, чтобы ваша касса делала сборы. Разве я не поправила дела вашего театра? Разве публика не ходила смотреть мою игру? Как я работала для вас прошлые два года! В огне горела, в смоле кипела.

Биркин. Что и говорить, все больше с аншлагом пьески шли. Играли вы, матушка, Марья Павловна, концертно. Битковые сборы делали. Да и не одна вы постарались. Подобралась у меня труппочка, не стану Бога гневить, на редкость хорошая.

Мария. Если я играла все это, такое чужое мне, играла для вашей кассы, то и вы должны что-нибудь сделать для меня. Иван Кирилыч, миленький, Христом Богом прошу вас, не снимайте этой пьесы.

Биркин. Матушка, Марья Павловна, никак нельзя. Не могу торговать себе в убыток. Опять же и товарищи ваши пить-есть хотят. Хоть разорвись, первое число придет, всем жалованье подай. А из чего я буду платить, если сборов не будет?

М а р и я. Ставьте ее хоть два раза в неделю. Хоть один раз! Только не снимайте.

Б и р к и н. Это нам несподручно, канитель такая. Это, что называется, игра свеч не стоит, — за электричество больше заплатишь, чем касса выручит.

М а р и я. Ради Бога! Иван Кирилыч! Ну хотите, я на колени перед вами стану!

Б и р к и н. Что вы, матушка, Марья Павловна! Стою ли я, старый дурак, такой чести! Дайте я ручки ваши атласные расцелую! Раскрасавица вы моя, Марья Павловна! Да стоит вам захотеть только, ведь вы из меня, старого дурака, веревки вить станете.

М а р и я. Что вы говорите, Иван Кирилыч!

Б и р к и н. Несравненная вы моя, божественная! Так я вами очарован, сказать не могу. Все для вас сделаю, только будьте со мною поласковее. Стар, глуп, а сладенького хочется.

М а р и я. Иван Кирилыч, что вы хотите сказать?

Б и р к и н. Матушка, Марья Павловна, осчастливьте меня, хрена старого, — а и стар, да заборист, — катнем ко мне сейчас завтракать. У меня способнее, — прохладно до делов договорим. Конечно, если не погнушаетесь мною, — автомобиль у подъезда...

М а р и я. Нет, нет, вы меня не поняли. *(В волнении идет к окну и говорит сама себе, не замечая, что говорит вслух.)* Боже мой, и это перенести, и это! Или в самом деле согласиться? Нет, что я, — искусству только чистыми средствами можно служить.

Б и р к и н. Человек я одинокий. Денег у меня не то чтобы куры не клевали, — не держу кур, — но все-таки могу предоставить. Вы меня, старого дурака, потешите, я вас, голубушку, раскрасавицу мою, уважу, и пьеска пойдет, куда ни шло, все будет по-хорошему.

М а р и я. Перестаньте!

Б и р к и н *(войдя в азарт)*. Матушка, Марья Павловна, яхонтовая, пользуйся, пока я в азарте, лупи с меня, старого дурака. Ну, по рукам?

М а р и я. Подите прочь! Что за гнусность!

Б и р к и н. Это к чему же такие слова? Как будто я по-хорошему, с моим уважением и с ласкою.

М а р и я. Спасибо за ласку. Хороша ласка! Форменный торг: чтобы вы не снимали пьесы, я должна... должна... как это поется:

Перед мальчиками
Ходит пальчиками,
А пред зрелыми людьми
Ходит белыми грудьми.

(Хохочет, едва сдерживая слезы.)

Б и р к и н. Хе-хе, вот оно самое! В точку потрафили. Вот именно, — перед зрелыми людьми, — хе-хе-хе! Шутница вы, матушка, Марья Павловна! Ну что ж, по рукам?

М а р и я *(строго)*. Этот торг не состоится. Нет, я не поеду к вам завтракать. И уйдите вы от меня, прошу вас.

Б и р к и н. Как желаете. А рольку эту я вам оставлю. Уж потрудитесь поучить.

М а р и я. Ни за что не возьму. Не буду играть этого. Не могу, не могу, поймите, не могу!

Б и р к и н. Обязаны играть, матушка, Марья Павловна.

М а р и я. Не хочу.

Б и р к и н. Уволить в таком случае придется. Неиграющих актрис театру не требуется. Не столь богаты.

М а р и я. Как хотите.

Б и р к и н *(дрожа от злости)*. В театр на порог не пущу. Жалованье платить буду, контракта не нарушу, а играть ничего не дам. И мазню эту синюю вашего дружка сегодня же на чердак велю вынести.

М а р и я. Не надобно мне ваших денег. Не надобно мне вашего балаганного театра. Вот ваш договор, — не нужен он мне больше.

Дрожащими руками Мария выдвигает ящик стола, роется там, вынимает бумагу и рвет ее. Бросает ее на пол и бессильно опускается на стул.

Б и р к и н. Ну, это еще мы подумаем. Имеете ли вы право? Копию разорвали-с, а подлинник в конторе сохраняется. Посмотреть, — велика ли у вас неустоечка.

М а р и я. Как я была слепа, когда шла к вам, надеясь на что-то! На что я могла надеяться, имея дело с таким человеком, как вы! Вы вашим театром не ведете людей вперед, вы не подымаете общества к высоким идеалам правды и красоты, вы только угождаете грубым вкусам толпы, вы заботитесь только о сборах.

Б и р к и н. Дело коммерческое.

М а р и я. Только о деньгах. Интересы искусства — вам ничто. Битком набитый театр — только это вас влечет. Вы не смеете стать выше толпы, — и становитесь ниже ее. Да, ниже, ниже! Вы клевещете на публику, когда говорите, что она требует того, что вы ей даете! Если публика плохо разбирается в вопросах искусства, то это потому только, что вы развращаете ее вкус!

Б и р к и н. Да вы ножками-то не топайте, матушка, — не испугаемся.

М а р и я. Вы обманываете сами себя, когда унижаете ваш театр до самого низменного уровня, чтобы завлечь самую большую толпу. Это — неправда, что люди хотят зрелищ, грубых и банальных! Если бы вы были смелы, если бы вы до конца полюбили искусство, толпа пошла бы за вами, толпа поверила бы вам, увенчала бы вас.

Б и р к и н. Слышали мы эти сказки, достаточно учены.

М а р и я. Любой помещик, у которого были крепостные актеры, был выше вас, — потому что он знал, чего хотел, он служил музам, он приносил жертвы на алтарь чистого искусства.

Б и р к и н. Меценаты в наше время вывелись. Теперь, матушка, изволь-ка угодить публике. Это потруднее будет. Бывало, сказывают, помещик своих актерок за провинку на конюшню посылал посечься, а нонче публика вашего брата рублем бьет. Оно небось побольней розог будет. Ну-с, прощенья просим. Счастливо оставаться. *(Уходит.)*

Оставшись одна, Мария в чрезвычайном волнении бегает по комнате, хватается за вещи, судорожно рвет платок.

М а р и я. Боже мой, что ж мне делать! Что я могу! *(Опускается на пол, подбирает обрывки контракта, бормочет.)* Неустойка! Неустойка! А, вот она! Шесть тысяч! *(Смеется.)* Друзья мои, Курганов, Морев, у вас есть шесть тысяч? О, проклятые торгаши, как вы любите закабалить человека! *(Звонит.)*

Входит Зинка.

(С волнением.) Зинка, беги скорее к Красновскому. Чтобы сейчас приходил. Сейчас, сию минуту! Слышишь, сейчас же, пока я не передумала! Не смей стоять. Не смей смеяться! Лети, беги!

З и н к а. Бегу бегом. Только я хотела сказать, что там Лидия Николаевна ждут. Сидят смирнехонько на стуле и пальчиками перебирают.

М а р и я. Проси.

Зинка убегает.

(Плача.) Не люблю, не люблю. Только верю в чудо.

Входит Лидия.

Л и д и я. Милая Мария, ты плачешь.

М а р и я. Нет, смеюсь, смеюсь до слез.

Л и д и я. Милая Мария, не стоит плакать. Вот я, — как надо мною смеются, а я все танцую! Учусь, мечтаю. А сколько насмешек, сколько злости, грубой, оскорбляющей!

М а р и я. Лидия, скажи мне правду, ты любишь Курганова? Смотри мне прямо в глаза и говори.

Л и д и я. Мария, ты уже много раз меня спрашивала об этом. Я тебе говорю всегда одно и то же. Никого я не люблю и не могу любить.

М а р и я. Зачем же ты с ним? Зачем?

Л и д и я. Я — холодная и печальная. Смотрю на жизнь и не люблю ее. И людей не люблю. На что мне люди? Они надо мною

смеются... Только люблю мой танец, дикий и странный для людей, люблю мои руки, и ноги, и все мое тело. Когда выхожу из танца, словно перестаю жить, и мне холодно и печально. И я хочу прижаться к чьему-нибудь сердцу, которое молодо бьется и любит, и погреться теплом, хотя бы и чужим. Хочу, чтобы меня немножко пожалели, шутя приласкали бы и отпустили бы. Вот он пришел к тебе, я слышу его голос и ухожу. *(Целует Марию и уходит.)*

Входит Курганов.

К у р г а н о в. Мария, ты плачешь? Что же, Биркин отказал?

М а р и я. Да.

К у р г а н о в. Мария, в эти тяжелые дни мы должны быть вместе.

М а р и я. Вместе ныть и жаловаться на судьбу. Благодарю! Не хочу я этого! Нет, я совсем ухожу из театра. Если я ему не нужна, — не надо. Вот он, мой контракт, на полу, разорван. Зинка подберет его и выбросит.

К у р г а н о в. Я помогу тебе. Будем вместе, Мария.

М а р и я. Ты великодушен. Слишком великодушен. Для меня ты оставил Лидию.

К у р г а н о в. Мария, ты знаешь, это было мимолетное увлечение.

М а р и я. Пусть так. Но мне больно было его пережить. И оно не последнее.

К у р г а н о в. Мария, не все ли равно? Кого бы я ни любил, — тебе я не изменю, к тебе вернусь. Пойми, что роковою, единственною любовью я люблю только тебя.

М а р и я. Я устала верить и ждать. Не знаю, можешь ли ты любить. Не знаю, можно ли меня любить. Я слишком увлечена искусством, и все мои чары расточены для всех, и для моей личной жизни не осталось ничего. Меня любит только тот, кто сам хочет меня любить, — а я бессильна победить разлучницу и в сердце милого сжечь все иные образы. Так, должно быть, и следует

мне. Но не хочу, не хочу половинного счастия, не хочу делиться ни с кем. Уйди. Я повторяю тебе твои же слова, — кого бы я ни любила, я приду к тебе, когда ты позовешь меня с великою силою и с великою властью. А теперь нет в тебе этой силы, нет власти, и я тебе не могу верить.

Курганов. Жестокая! Хорошо, я уйду, но знай, что мой день настанет! Я позову тебя, я уведу тебя, и ты пойдешь за мною, где бы ты ни была! *(Уходит.)*

Мария. Милый, милый! Люблю тебя, люблю — и прогоняю. Люблю, — и верю, и не верю. Чудо, чудо, — на каком же пути я тебя встречу? Какая жестокая судьба моя!

Зинка *(входя, шепчет таинственно)*. Привела.

Мария. Кого?

Зинка. Застала дома. Как только услышали, что вы их ждете, так очень даже обрадовались. Сейчас меня с собою в экипаж посадили, прямо в цветочный магазин. Цветы — одно очарование, поставлены в гостиной. И в таком забвении чувств всю дорогу были, что даже ни разу не ущипнули.

Мария. Не болтай. Проси его сюда.

Зинка уходит. Мария ждет, волнуясь.

Красновский *(входя)*. Милая, вспомнила меня!

Мария. Я получила ваше письмо. Я согласна быть вашею женою. Театр я оставляю.

Красновский. И отлично делаешь, милая Маша. После таких провалов...

Мария. Ни слова об этом! Скажу вам откровенно, — я все еще вас не люблю.

Красновский. Полюбишь, дорогая.

Мария. Не знаю.

Красновский хочет ее обнять. Мария падает в кресло и громко рыдает.

Действие третье

Прошло еще три года.
Гостиная в богатой квартире Красновского. Мария и Красновский.

Красновский. Опять ты хандришь, Маша.

Мария. Неужели ты сам доволен нашей жизнью?

Красновский. Я-то доволен. И не понимаю причин твоей хандры.

Мария. Скучно у нас очень, серо.

Красновский. Слава Тебе, Господи! Скучно! Серо! Да у нас сколько людей бывает!

Мария. Какие же это люди, наши знакомые! Как они мне чужды, — равнодушные, ничем не горящие, ничего не созидающие обыватели!

Красновский. Люди как люди! У нас бывает два бала в сезон, маскарад, обеды, мы сами постоянно куда-нибудь званы, — и это серо!

Мария. Да, жизнь наша тусклая, без просвета, без борьбы, без всяких устремлений. И я в ней как камбала в аквариуме. Мечусь среди таких же глупых пленниц, и нет мне ни света, ни радости.

Красновский. Кроме того, мы занимаемся благотворительностью, и, надеюсь, с толком. Или тебе и это надоело?

Мария. Ну да, надоело. Все это мне смертельно надоело. Поменяться бы с кем-нибудь своею долею. Хоть хуже, да по-иному!

Красновский. Не понимаю, чего тебе недостает. Слава Богу, дом — полная чаша.

Мария. Молчи, молчи! Не смей мне говорить этих мещанских благополучных слов! У меня от этих слов изжога делается.

Красновский. Туалеты у тебя всегда дорогие и самые модные. Вот и это домашнее платье стоит триста рублей.

Мария с апатичным видом нагибается и рвет свое платье.

Я не понимаю, Маша, право, не понимаю. Ты нервничаешь. Занялась бы хозяйством.

М а р и я. Благонравные домашние заботы! Кому они нужны!

К р а с н о в с к и й. Или хоть устроила бы какой-нибудь благотворительный вечер, маскарад, что ли. Ты — такая мастерица на всякие выдумки.

М а р и я. Ты ничего не понимаешь! Пойми, мне противны эти стены, эти картины, все, все.

К р а с н о в с к и й. Картины! Не понимаю! Картины этого художника я видел у князя Гусева, у графа Рубанковского, вообще в самых лучших домах. Его картины есть во всех хороших музеях. Он в один год на двести тысяч продал.

М а р и я. Он мне противен, гладкий, сладкий. Он мне ничего не говорит, ничего не дает. Для искусства он не откажется от жизни и от ее благ, благополучный, благопристойный, чистенький господин в ловко сшитом фраке. Он не любит искусства, — он любит только крупные заказы. О мои милые, бедные товарищи, как могла я вас оставить! Уйти от вас!

К р а с н о в с к и й *(досадливо)*. Ну уж как ты хочешь, Матисса или Сарьяна я не повешу в своей квартире. Я не хочу, чтобы все мои знакомые смеялись надо мною. Наконец, я принципиально не могу этого допустить.

М а р и я *(смеется и комкает платок)*. Пожалуйста, вешай кого хочешь, покупай что тебе нравится. Не обращай никакого внимания на мои вкусы, на мои желания. Говори своим друзьям, что я — гадкая, что я капризничаю, ссорюсь с тобою из-за картин.

К р а с н о в с к и й. Ничего такого я никому не говорю. Ты, Маша, в этом не можешь меня упрекнуть.

М а р и я. Твои деньги меня не утешают, твоя любовь никуда не двигает тебя. Я надеялась, что твоя любовь совершит чудо, зажжет, преобразит тебя! Но чуда в нашей жизни, как видишь, нет. Все попрежнему серо, скучно, однообразно. Да и какая твоя любовь! Тебе начинает нравиться Берта.

К р а с н о в с к и й. Ну, Маша, разве можно принимать серьезно ресторанные встречи!

М а р и я. Вам все — только шутки. Если бы ты меня любил, ты бы устроил для меня театр.

К р а с н о в с к и й. Послушай, Маша, ты же знаешь, что театр для тебя я охотно устроил бы. Правда, моих денег не хватило бы, да я и не хочу вкладывать все, что имею, в предприятие рискованное. Но легко было бы найти компаньонов и устроить это сообща.

М а р и я. Милый, милый, сделай же это для меня! Если ты это сделаешь, я словно из мертвых воскресну.

К р а с н о в с к и й. Да я не могу покровительствовать этой чепухе, это — вашему «новому» искусству!

М а р и я. Милый мой, отчего же ты не хочешь, чтобы это мое дело я вела по-своему? Где же твоя любовь ко мне? Разве нельзя думать по-разному, и все-таки любить друг друга, и помогать один другому?

К р а с н о в с к и й. Принципиально не могу.

М а р и я. Ты меня любишь?

К р а с н о в с к и й. Конечно, люблю, ты же это видишь.

М а р и я. Если ты меня любишь, отчего же ты не сделаешь для меня этого? Ведь это сводится только к тому, что ты достанешь для меня денег. Дал же ты мне денег внести неустойку Биркину.

К р а с н о в с к и й. Ты рассуждаешь как девочка.

М а р и я. Ну вот! Стена!

К р а с н о в с к и й. Пойми, я не могу способствовать тому, что считаю вредным.

М а р и я. Если бы ты меня любил, ты бы для меня преступление совершил охотно.

К р а с н о в с к и й. Совершенно дамская логика! Пойми, что мне, как человеку сложившемуся и серьезно относящемуся к жизни, дороги мои убеждения. Если на одной чашке весов лежат убеждения, а на другой — каприз скучающей, хотя и очаровательной деточки, то ясно, которая чашка перетянет. В миллионный раз повторяю тебе, что в области искусства я принимаю только честный, прогрессивный реализм.

М а р и я. То, что ты называешь прогрессивным, очень отстало. Ты называешь мое искусство буржуазным. Ты ненавидишь буржуазное, не правда ли? Это доказываешь ты всем образом своей жизни. *(Смеется.)*

К р а с н о в с к и й. Я — убежденный народник, это тебе хорошо известно. А свои деньги я трачу как нахожу это нужным. Я вижу, что

разговор со мною только раздражает тебя. Да и мне это действует на нервы. Лучше я уйду. *(Целует ее руку и уходит.)*

М а р и я. Чуда нет. Нет. Стоят себе стенки и не сдвинутся. Клетка, клетка, золотая клетка! Хоть бы ребенка дал мне Бог! Тоска, тоска смертная!

З и н к а. Зоя Аркадьевна. Вид у них очень веселый. Меня по щеке похлопали.

М а р и я. Проси.

Входит Зоя.

З о я. Здравствуй, Мария. Я с целым ворохом новостей.

М а р и я. Милая Зоя, как я рада! Как давно тебя не видно! Хочешь чаю?

З о я. Хочу.

Мария звонит. Зинка выглядывает из двери. Мария делает ей знак.

Встретила твоего мужа в гостиной. Он сегодня очень мрачен.

М а р и я. Да? Заметно?

З о я. Он любезен, как всегда, и хорошо скрывает свое настроение. Но у кого музыкальная душа, как у меня, того не обманешь. Он сегодня сбит с ритма, — это ясно чувствуется.

М а р и я. Он меня еще любит. Но он скучный, не даровитый, серый. Надоел он мне, — все надоело. Бежать надо, но куда? скажи, куда?

З о я. Он такой светский, любезный. Ты, Мария, к нему слишком строга.

М а р и я. Весь этот лоск — мишура. У него нет таланта к жизни. Он ничего не способен создать. Такие люди только держатся за принятое, за условное, за признанное, только старое повторяют. Никогда я его не любила! Потому, должно быть, и детей у нас нет.

Зинка приносит чай.

З о я. Вот свежая новость! Катя Кривцова выходит замуж за Бетхера.

М а р и я. Как за Бетхера? Говорили, что она помолвлена с Крайним.

З о я. Нет, это разошлось. Катя с Крайним из-за чего-то поссорились, — ты знаешь, Катя такая легкомысленная, а Крайний оказался очень ревнив.

М а р и я. Бетхер, кажется, был женат?

З о я. Да, представь, это был, по-видимому, такой счастливый брак, и вдруг, совершенно неожиданно, они разводятся, и говорят, что Сонечка Бетхер выходит за графа Сиверского. Крайний очень мрачен был, но вдруг, должно быть, с досады, стал ухаживать за Варварою Гранцовою.

М а р и я. Что ты говоришь?

З о я. И говорят, имеет успех.

Смеются.

А с Лидией что, ты слышала? Ей запретили выступать.

М а р и я. Что ты? Кто ж мог запретить?

З о я. Полиция. Явились на вечер, — протокол составили, и милую нашу заклинательницу теперь судить будут за оскорбление чего-то...

М а р и я. Городовой в делах искусства! Бедная милая Лидия! Такая нежная, тихая! Кого она оскорбить могла! Бедные мы, бедные все, — разбиты, разъединены, слабы. Ничего достигнуть не сможем! А я, — я хуже всех.

З о я. Я хотела тебе еще рассказать. Да боюсь, еще больше расстрою. Вижу, ты сегодня не в духе.

М а р и я. Говори. Ты, Зоя, мне точно из другого, — моего мира, — вестник. Того мира, из которого я сама ушла. Я люблю тебя слушать, даже когда ты о пустяках рассказываешь. Когда ты говоришь, у меня в груди словно птичка поет. Если бы я была не женщиною, я бы влюбилась в тебя. Говори, говори, какие у тебя еще новости.

З о я. Да ведь все равно ты к нам не пойдешь. Только будешь волноваться.

М а р и я *(взволнованно хватает ее за руку)*. Ты о чем? Неужели! Я уже знаю, о чем ты хочешь сказать. Сердцем чую. Ты о театре, о новом театре!

З о я. Курганов каким-то чудом достал денег.

М а р и я. Неужели? Зоя? И много?

З о я. На год хватит. А там видно будет. Репертуар у нас, как ты знаешь, есть, молодых актерских сил немало, мы призовем всех друзей наших и начнем свое дело. Подробнее расскажет тебе все Курганов. Он сейчас у Морева. К нему полетел к первому.

М а р и я. Зоя, если ты шутишь, это так жестоко! Зоя, это — правда? У вас будет свой театр?

З о я. Мария, не волнуйся. Еще неизвестно, выйдет ли что-нибудь из нашей затеи.

М а р и я. Выйдет, выйдет. Не может быть, чтобы опять рухнула мечта! Это было бы слишком жестоко!

З о я. Мария, ты будешь с нами? Пойдешь к нам?

М а р и я. О, как бы я была счастлива, если бы я могла быть с вами! Он будет удерживать меня. Что же мне делать? Он все еще меня любит!

З о я. Разве он купил тебя? Разве ты не свободна?

М а р и я. Если бы я была свободна! Впрочем, что же связывает меня? Я так хотела ребенка, — но детей у нас нет. Правда, он меня любит.

З о я. Но ведь ты его не любишь?

М а р и я. Знаешь, Зоя, когда я вспомню, как он заботился обо мне, у меня сжимается сердце. Правда, он не хочет, да и не может устроить мне театр. Он смотрел на это мое желание как на детский каприз. Но все-таки, Зоя, жизнь связывает.

З о я. Милая Мария, для искусства, которое ты любишь, ты победишь это чувство, эту сентиментальность.

М а р и я. Искусство! Да, я хочу, хочу так, как еще никогда не хотела. Во мне опять так много веры! Так внезапно чувствую воскресающие во мне силы! Так жаль этих лет, которые отдала я нерасчетливо этой позолоченной жизни, потому что ждала чуда. Не было мне чуда, потому что я ушла с моей настоящей дороги. Но чудо будет, будет, — я опять верю в чудо, в победу. В новом, в нашем театре свершится это чудо, которого я жажду всем моим сердцем, всей моей душой! Я так рада! Мне так легко! С моих плеч словно соскочили эти годы.

З о я. Ну, не очень много лет ты здесь провела.

М а р и я. Эти три года были мне за целую вечность. А вот теперь опять я чувствую себя молодою и сильною и с тем же детским восторгом готова начинать сначала. Мечта опять создает новый мир, юный и прекрасный.

З о я. А если твой муж не пустит тебя на сцену?

М а р и я. Тогда я совсем уйду от него. Если смогу. Зоя, мне страшно! Смогу ли я это сделать?

З о я. Захочешь — сможешь.

М а р и я. Мне жаль его! Бедный, ведь он не виноват, что так узок.

З о я. Мария, будь смелее! Помни, что для искусства ты это делаешь, для высокой нашей мечты. Или наши разговоры останутся только пустой болтовнею?

М а р и я. Нет, нет! О Господи, помоги мне! А Лидия?

З о я. Лидия будет с нами.

М а р и я. Я боюсь ее жутких глаз.

З о я. Нет, Мария, она только странная. Мария, ты к ней не ревнуй. Она любит и не любит. У нее не такая душа, как у нас. Она каждую минуту готова уйти от него, как уже не раз уходила.

М а р и я. И возвращалась.

З о я. Если бы ты была с ним, она бы не вернулась. Если ты будешь с ним, она к нему не придет. Уверяю тебя, она совсем не такая, как все. Поверь мне, — у меня музыкальная душа, и я чувствую верно строй каждой души.

З и н к а. Господин Курганов и господин Морев пришли. С цветами. И не знают, куда поставить.

М а р и я. Проси.

Входят Курганов, радостно взволнованный, и Морев, спокойный и бледный, как всегда.

М а р и я. Здравствуйте, дорогие друзья! Зоя мне все рассказала. Поздравляю! Если бы вы знали, как я рада!

М о р е в. Радуйтесь, дитя мое! Перед вами встает то, о чем я только мечтал всю долгую жизнь.

К у р г а н о в. Помнишь, Мария, — любовь сдвинет гору. Вот я и сдвинул гору из любви к тебе!

М а р и я. Ты мне все расскажешь?

К у р г а н о в. Милая Мария, если бы ты знала, сколько людей перевидал я за это время, сколько слов расточил! Какие типы встречались! Мне бы не художником, а беллетристом надо сделаться.

М а р и я. Но зато — театр осуществится? Мечта наша!

К у р г а н о в. Театр будет. Пока мечты, планы, — работа кипит. Но, кажется, наш день уже близок!

З о я. Покажи ей, что ты принес.

К у р г а н о в. Спасибо, Зоя, что напомнила. *«Презренной прозой говоря»*, это — программа нашего театра.

Мария читает молча.

М о р е в. То, о чем так много мы думали и говорили.

З о я. А там, на обороте, список участников.

К у р г а н о в. Вписать твое имя, Мария?

З о я. Зачем же ты ее спрашиваешь? Конечно, да.

М а р и я. Конечно, да, мой милый.

Слышен стук в дверь.

Войдите.

К р а с н о в с к и й *(входя)*. Я вам не помешал? *(Холодно здоровается с Зоею, с Кургановым и с Моревым.)*

М а р и я. Напротив, ты пришел очень кстати. Вот прочти.

К р а с н о в с к и й. Что это? *(Читает. Говорит резко.)* Вздор. Ерунда. Я на это не согласен.

М а р и я. На что ты не согласен?

К р а с н о в с к и й. Я решительно запрещаю тебе участвовать в этом нелепом предприятии.

М а р и я. Запрещаю! Какое деспотическое слово! Где же твои убеждения?

Красновский. Вот во имя моих убждений я тебе и запрещаю.

Мария. Слушай, жалкий человек. Я — свободная женщина, запрещать мне бесполезно. Я ошиблась, идя к тебе, но никакие ошибки не могут сковать человека навсегда. Я ухожу к людям, которые делают желанное мне, к людям, которые жизнь обращают в сладостную и прекрасную мечту, чтобы чарами искусства преобразить и самую жизнь, и из данной нам обычности сотворить очаровательную легенду.

Красновский. Пока ты живешь в моем доме, пока ты носишь мое имя, я не могу этого допустить.

Мария. Ты гонишь меня из своего дома?

Красновский. Нет, Маша, но этого я тебе не позволю.

Мария. Но это я должна сделать. Выбирай сам. Я должна быть свободна делать что хочу. Или ты согласишься, чтобы я была с ними, или я уйду из твоего дома. Выбирай сам.

Красновский. Помешать тебе безумствовать я, к сожалению, не в силах. Но не в моем доме. И не под моим именем.

Мария. Какой ты упрямый! Послушай меня последний раз. Пойми, это сильнее меня. Милый Алексей Николаевич, не принуждай меня. Вот я на колени перед тобой стала, прошу тебя.

Красновский. Что за комедия! Встань.

Мария. Алексей Николаевич, во имя всего того, что было между нами, умоляю тебя, дай мне твое согласие. Только одно слово скажи мне, скажи «да».

Красновский. Нет.

Мария. Нет? Только одно «нет» я слышу на все мои мольбы. Пусть будет так. Я ухожу из твоего дома. А твоим именем не собираюсь пользоваться. У меня есть свое, которое еще не всеми забыто. Я ухожу из этого постылого дома!

Красновский *(язвительно)*. Скатертью дорога! Но я уверен, что ты скоро вернешься. Ваша затея рухнет скоро, и тогда этот дом опять покажется тебе приятным приютом от житейских бурь. Только смотри, не будет ли тогда поздно!

Мария. Нет, я никогда не вернусь. Другой раз я этого безумия не повторю. И зачем ты мне грозишь? Я и сама знаю, что ты

найдешь себе утешение. С Бертою или с иною ты не будешь скучать.

Красновский. Вы уходите с господином Кургановым? Так, так. Посмотрю, долго ли это протянется. Господин Курганов человек увлекающийся. *(Делает общий поклон и сердито уходит.)*

Курганов. Мария, скажи, любишь ли ты меня теперь?

Мария. Ты знаешь, я люблю тебя. Я всегда любила тебя. Ушла от тебя, глупая, какого-то чуда искала на чужой дороге и не нашла. И вот возвращаюсь к тебе, и вижу теперь огонь в твоих глазах, и слышу райскую музыку в твоей душе. И уже нет в этой музыке голосов, мне враждебных. Испытанные жизнью, теперь мы воистину будем вместе. Осуществим чудо, — чудо любви нашей и силою ее создадим новый, дивный мир, искусством преображенный! И теперь ты, милый, любишь только меня. Правда, только меня?

Курганов. Я всегда тебя одну любил, Мария.

Мария. Я заблудилась и ощупью возвращаюсь домой. Но не досадую на себя. Я слишком актриса, — не могу разделять театр и дом. Я люблю тебя, как мечту мою, победившую, и хочу быть с тобою в труде и в торжестве. Вместе работать, вместе побеждать или падать.

Курганов. Да, мы с тобою, Мария, идем к новой работе, к новой любви.

Мария. Любовь горы двигает, любовь чудеса делает. С тобою, милый, пойду, хочу служить новому искусству, хочу увидеть новое солнце, испытать новое счастье.

Курганов. Работы ты не боишься? Очень будет трудно.

Мария. Пусть! Хочу и новых страданий, новых мук, новой борьбы. Эти годы тупого прозябания как могла я прожить, ослепленная! Хочу вступить снова на тернистый путь искусства, хотя бы для него надо было умереть, отказаться от жизни. От жизни не творческой, серой и тусклой, такой тусклой под своею яркою позолотою.

Морев *(подходя к ним)*. Дети мои, мечта победительница будет вести вас от трудов к трудам, и на самые беды набросит она яркоцветное покрывало очарований, и даст вам силы войти в новую, прекрасную жизнь, творимую по воле вашей.

ПОВЕСТИ

Барышня Лиза

Над вымыслом слезами обольюсь.
А.С. Пушкин

Глава первая

Барышня Лиза была девушка высокая, тоненькая, стройная. У нее были очень черные, пламенные, веселые глаза, — черные, как вороново крыло, слегка вьющиеся волосы, — и густые, черные брови, которые сходились вместе, когда она хмурилась.

— Всю родню наша Лизанька свела, — говорили тогда про ее забавно нахмуренные бровки.

Нравом барышня Лиза была живая, веселая. Она была единственное дитя у своих родителей, отставного майора Николая Степановича Ворожбинина и его жены Надежды Сергеевны, урожденной Ремницыной. К Лизе должны были отойти их имения, — большое село Ворожбинино, где они постоянно жили, и еще две деревни, Ремницы и Сухой Плес, в смежных уездах той же губернии. Богатая наследница, завидная невеста была поэтому барышня Лиза.

Так как Лиза была единственная дочка, то родители в ней души не чаяли. Потому они баловали ее, хотя и не слишком. И выросла Лиза своевольная девушка, шалунья.

— Характерная барышня, — говорили про нее в дворне, — никому не уважит.

Правда, Лизино своеволие не выходило за пределы приличного дворянской девице, и шалости ее были невинными детскими забавами и резвостями. Да и как могло быть иначе? И отец и мать ее были добрые, почтенные люди, всеми в окружности уважаемые не только за их любезность и радушие, но и за семейственные их добродетели.

Радуясь на свою дочку, они думали, что у Лизаньки золотое сердечко, и еще и поэтому не строжили ее.

Барышне Лизе шел семнадцатый год, — самое счастливое время жизни. Была весна, и эта весна сулила Лизе счастье и любовь. Потому Лизины мысли были беспокойны и сны тревожны.

Однажды в начале мая барышня Лиза с вечера долго не могла заснуть, сладостно и невинно мечтая. Поэтому она проснулась утром не так рано, как всегда. В ушах ее еще звучал смех приснившихся ей черных арапов, и вся картина странного сна еще была ясна перед нею, — а в саду за окном было по-утреннему свежо и светло. Лиза открыла глаза, очутилась в своей постели и с удивлением припоминала наполненный пасмурно-фиолетовым светом чертог ее сна.

В Лизиной кровати за кисейным пологом было с вечера уютно, мило и радостно, и так приятно было повернуться на правый бок, закрыть глаза и предаться мечтаниям, неприметно переходящим в сон и вновь из краткого сна возникающим. А теперь, к утру, сбились и слишком потеплели белые простыни, и складки хотя и очень тонкой ткани были томны. За окном ранний, словно обмытый росою, свет еще невысокого солнца и птичьи чириканья звали к холодной воде. И уже веселая, краснощекая Лушка стояла у порога с кувшином холодной ключевой воды, которою умывались господа для свежести и для здоровья.

— Что ты, Лушка? — спросила Лиза.

— Воду принесла, барышня, — сказала Лушка, — будто кликали?

— Никто тебя не кликал, — сказала Лиза. — Погода хороша ли сегодня? Да нет ли ветра?

Получив от Лушки ответ, что погода ясная и теплая и что ветриночки не веет, Лиза приказала Лушке раскрыть окно, а сама опять повернулась смуглым личиком к стене и еще с минуту помечтала в постели.

Отгоняя темное очарование тусклого сна, что-то невыразимо сладостное встало в ее еще смутной памяти, такое сладкое, что Лиза вся затрепетала и, быстро откинув одеяло, вскочила с постели.

Лиза вспомнила, что сегодня опять приедет молодой Алексей Львицын. Она обрадовалась и почему-то застыдилась. От этого Лизино смуглое лицо стало очень милым и черные Лизины глаза так радостно засияли, что и Лушка зарадовалась, — барышня встала веселенькая.

Почему-то вспомнились теперь Лизе слова ее милого:

— Рано или поздно взойдет день внезапный.

Непонятные слова! Лиза уже не первый раз над ними призадумывалась, не зная, в каком смысле следует их понимать. И теперь опять, глядя на ясный день, подумала Лиза: «А разве теперь ночь?»

И, улыбаясь, подумала: «А если ночь и впрямь, то где же над нами звезды? Ведь сами-то мы ничем не блестим. Живем себе смирно. Он был в чужих странах, — думала об Алексее Лиза, — а там живут не по-нашему».

Из раскрытого Лушкою окна доносилось благоухание ранней весны. Забилось Лизино сердце. Засмеялась Лиза. Выглянула в окно.

Высокое окно Лизиной спаленки выходило в сад. Упругое качание веток, росинки на траве, гомон птичий, — все радовало Лизу. Окинув быстрым взглядом веселых черных глаз деревья, лужайки и цветники сада, Лиза принялась проворно умываться.

— Папенька с маменькою встали? — спросила она.

Лушка широко усмехнулась, — забавная, красная, круглолицая, как полный месяц, — и отвечала простодушно:

— Эвоси! Давно уже встали, чай кушают. Уж барыня хотели посылать будить вас, да барин заступились, — пусть, мол, понежится.

Лиза опять засмеялась, — от утренней радости, от домашнего уюта. Она сказала самой себе вслух:

— Что же это я так заспалась нынче?

Лушка ответила ей с тем же простодушием:

— Видно, хороши сны снились, барышня.

Лиза вспомнила свой странный сон, вспомнила, что Лушка ей приснилась. Лушкины слова показались ей странно соответствующими ее сну. Лиза свела свои брови и сказала строго:

— Тебя видела. А вот ты, Лушка, болтаешь много. И в поварню бегаешь не за делом. Елевферий хоть и читает Евангелие, а все же знать никак не может того, что кому на том свете будет.

Лушка замолчала. Вдруг вспомнила Лиза, что ее ждут. Она покраснела и заспешила одеваться. Обыкновенно она просыпалась рано, и теперь ей стало стыдно, что она после родителей придет в столовую. Лиза оделась торопливо, но все же внимательно оглядела себя в зеркало. Тонкий, стройный стан, весело смеющиеся глаза и мило вьющиеся вкруг смуглого лица локоны глянувшей на нее из-за зеркала красавицы понравились ей чрезвычайно. Послав тоненькими пальчиками воздушный поцелуй своему отражению, ответившему ей тем же, Лиза поспешила в столовую.

Быстро и легко постукивая каблучками своих маленьких башмачков, Лиза вошла в столовую, вся светлая и свежая. Мать улыбнулась ей, отец посмотрел одобрительно, и у обоих было такое чувство, как будто вошло к ним некое неземное существо, вея счастием, радостью и светом. Поцеловав руки отцу и матери, Лиза села за стол и, улыбаясь, смотрела в окно, словно забыв, что на столе стоят столь любимые ею густые, превкусные сливки и не менее любимый ею мед. Нежная улыбка на Лизином нежном лице переливалась многоцветным сиянием радости. Надежда Сергеевна обратилась к дочери с несколькими вопросами. Лиза отвечала ей с приметною рассеянностью.

— Да что ты все во двор смотришь, Лизанька? — спросила Надежда Сергеевна. — Что ты там занятного нашла?

Лиза вздрогнула от неожиданного вопроса, смешалась и сказала:

— Так точно, маменька.

Надежда Сергеевна посмотрела на нее с удивлением и спросила:

— Что с тобою, Лизанька? Отвечаешь невпопад, как сонная.

Николай Степанович, нюхая табак из серебряной табакерки, глядел на Лизу посмеиваясь, отчего Лиза еще более смутилась. Краснея, она призналась:

— Я сегодня странный сон видела, маменька. А к чему он, не знаю.

И она засмеялась.

— Что за сон? — недовольным голосом, но с немалым любопытством спросила Надежда Сергеевна.

Ей весьма не нравилось, что Лиза в последнее время стала часто видеть странные сны. Странность этих снов казалась Надежде Сергеевне чрезмерною и даже неприличною для барышни. И даже трудно было по соннику разгадывать их значение, так что никак нельзя было понять, к чему они и радоваться ли им или печалиться. Снам Надежда Сергеевна верила, и потому неразгаданность их причиняла ей немало огорчений. Николай Степанович с неудовольствием сказал:

— Пошли сны свои рассказывать да разгадывать. Сколько лет я тебе, мать моя, твержу одно и то же, все в толк взять не можешь, что никакого предвещательного значения сон не имеет. О чем днем думаешь, то ночью и снится, а разгадывать сны пристойно деревенским бабам.

— Что ты, Николай Степанович! — возражала Надежда Сергеевна, — иной раз то увидишь во сне, о чем и думать-то давно позабыла, а то так никогда и в голову не приходило.

— Да вот, позабыла, не думала, — спокойно отвечал Николай Степанович, — а тут вот взяла да и подумала, засыпая.

— Ну, батюшка, — с досадою сказала Надежда Сергеевна, — понес свое. Знаю я тебя, — ведомый вольнодумец. Сказывай, Лизанька, какой же ты сон видела!

Лиза, краснея, сказала:

— Ах, маменька, право, глупости. И говорить не стоит.

— Изволь рассказывать, сударыня, — уже построже сказала Надежда Сергеевна.

Лиза слегка смутилась от этой строгой нотки в материном голосе и принялась рассказывать:

— Сначала снилось мне что-то совсем непонятное. Я уж даже и позабыла. Потом пришел арап, сам черный весь с головы до ног, как гуща кофейная, а губы красные-красные, на голове пунцовый тюрбан. И говорит мне громко: «Собирайся бесперечь, Лизавета Николаевна, к славному и великому королю Крысиному».

— Такого и короля нет, — с неудовольствием сказала Надежда Сергеевна.

— Ах, маменька, да ведь это во сне! — возразила Лиза.

Николай Степанович нюхал табак и неодобрительно покачивал головою, ворча:

— Обеих бы вас послать к королю Крысиному на выучку.

Нянька, старушка старая, из девичьей, где выговаривала она девкам за леность, заслышав, что речь о снах идет, пришла в столовую и стала у дверей. Стояла, слушала, головою качала, бормотала что-то невнятное. Ничего, господа на нее не сердились, многое ей позволяли, — она и барыню вынянчила, и барышню Лизу. Лиза продолжала:

— Ну вот, иду я будто бы в королевский чертог. Дорога гладкая, как скатерть, синелью вышита и бисером, а идти по ней страх как трудно. По сторонам дороги ученые медведи пляшут, а передо мною арап идет. Идет, а сам все оборачивается, страшный такой, за красными губами зубы белые сверкают. В чертоге богато и пышно, колонны высокие, много свеч горит, свечи желтые, как медь, а свет от них лиловый и дымный. У дверей арапы стоят и придворные кавалеры. Вот вошла я в тронный зал, смотрю, а на троне сидит Лушка. На ней корона, и порфира, и башмаки, золотом шитые. А сама румяная, смеется во весь рот. На себя смотрю, — я в сарафане, как простая девка. Да и сарафанишко-то совсем плохенький, рваный.

— Ну и сон! — сердито сказала Надежда Сергеевна.

— Лушка мне говорит, — продолжала Лиза: — «Здесь первые станут последними, как в Евангелии сказано, а ты, барышня, целуй мою ручку, а потом воду носить будешь».

— Ах она подлянка! — воскликнула Надежда Сергеевна и руками всплеснула. — Да как же это она осмелилась? Да что ж ты ее не уняла, Лизанька?

Николай Степанович сердито глянул на дверь, из-за которой выглядывали любопытные дворовые девушки и сказал:

— Во сне унимать нечего. Что приснится, то и смотри. А вот наяву построже бы за ними глядели, чтобы не стояли в дверях, господские разговоры подслушивая.

Спугнутые этими словами, девушки скрылись, и только слышен был быстрый топот их ног, а нянька, ворча, пошла вслед за ними в девичью выговаривать им за непорядок. Меж тем Надежда Сергеевна говорила, раскрасневшись от гнева:

— Подошла бы к подлянке да по щекам бы ее, по щекам!

— Мне так стыдно стало, — сказала Лиза, — что я проснулась.

— Ну еще бы! — воскликнула Надежда Сергеевна. — Лушкину руку целовать!

Потом Надежда Сергеевна рассердилась и на Лизу. Она говорила строго:

— Ну уж, матушка, и сон! Хорош, нечего сказать! Постыдилась бы такие сны видеть!

— Да разве я виновата, маменька! — оправдывалась Лиза. — Ведь я не нарочно.

Николай Степанович внушительно постучал табакеркою по столу и сказал:

— А ты, сударыня, матери не отвечай. Не дело. Наставления родителей выслушивай с покорностью и со вниманием. О чем не надобно думаешь, такие и сны видишь.

Лиза посмотрела на отца опасливо. Постукивая по табакерке с изображением чужого короля, он ворчливо говорил:

— Вот вам нынешнее воспитание! В мое время девицы таких снов не смели видеть. У них благородные были мысли, и сны им снились благопристойные.

Лизе было стыдно, что ее обвиняют в нескромности. Она потупилась и зарделась. Надежда Сергеевна сердито говорила:

— Ты на красных каблучках ходишь, а она голыми пятками пристукивает, так тебе с ней даже и во сне равняться не стать. Все это Елевферкин яд. Давно тебе говорю, Николай Степанович, унять его надобно. У наших хамов ни стыда ни совести нет. Если бы им дать волю, так они бы себя показали. До сей поры Емельку Пугачева, поди, забыть не могут.

Николай Степанович молчал. С поваром Елевферием он собирался поговорить сегодня же утром, но не считал нужным сообщать жене

свои намерения относительно этого предмета. А Лизе было так стыдно, что она собиралась уж было заплакать. Но Надежда Сергеевна решила:

— Надобно пойти с бабушкой посоветоваться, как тут быть. А то что-то повадилась ты, милая, неподобные сны видеть. Пойдем-ка, сударыня, к бабушке.

Надежда Сергеевна и Лиза пошли в бабушкины покои. Лизе страшно стало и немного стыдно, и у нее было такое чувство, словно ее повели наказывать. Николай Степанович сердито ворчал, нюхая табак:

— Пошли к оракулу своему! Ох уж эти мне бабы!

Глава вторая

Бабушка, Елизавета Павловна, сидела в покойном кресле у окна, раскладывала на ломберном столе пасьянс и слушала горбатую шутиху. Та рассказывала бабушке все здешние новости, пересыпая рассказ нелепыми ужимками и глупыми прибаутками. При входе Надежды Сергеевны и Лизы шутиха с подобострастными поклонами выкатилась из комнаты.

Бабушка была уже очень старая, но еще совсем бодрая. Глаза у нее были голубые и весьма приятные. Лицо у бабушки было свежее и почти без морщинок. Из-под кружевного белого чепца с синими бантами видны были седые букли. Одета была бабушка, как всегда, парадно, — хоть сейчас к гостям выходи. На ней был лиловый, — цвета Лизина сна, — шелковый капот. Через правое плечо ее была перекинута старая желтоватая, цвета апельсинной завялой корки, турецкая шаль. У бабушкина кресла стоял костыль. Он помогал ей в прогулках, а также и в исправлении строптивых или ленивых девок.

Бабушка имела свое собственное именье в той же губернии. Знали, что она хочет оставить его Лизе, хотя у нее были и другие внуки и внучки. Николай Степанович говаривал:

— Не велик кусок, а все же Лизаньке пригодится.

Поэтому за бабушкою здесь ухаживали и очень слушались ее.

Лиза, войдя к бабушке, присела очень низко, придерживая юбочку тоненькими пальчиками опущенных и разведенных рук. Бабушка ласково потрепала ее по щеке. Надежда Сергеевна рассказала бабушке, в чем дело. Лизе пришлось повторить свой рассказ. Лиза чинно стояла перед бабушкою и говорила о своем сне, точно урок строгому учителю отвечала. Бабушка выслушала рассказ очень внимательно, не выразила никакого удивления и сказала тоном женщины, привыкшей к тому, что к ее словам прислушиваются:

— Знаю, от чего эти сны, — от Елевферкиных сказов. Елевферку давно пора пробрать хорошенечко. Лушке строго сказать, чтобы не смела барышне сниться. Не уймется, — наказать построже. А тебя, сударыня...

Бабушка внимательно, с неопределенным выражением, не то усмешки, не то угрозы, посмотрела на Лизу и помолчала. Лизино сердце забилось. Бабушка пожевала сухими, малинового цвета губами и сказала Лизе:

— Ты, ветреница, книжки читаешь, я слышала. Отец научил, старый вольнодумец. Вышивала бы лучше бисером или синелью. От книжек сны глупые. Вышивай, — слышишь?

— Слушаю, бабушка, — робко сказала Лиза, — я и то вышиваю в пяльцах.

— Вышиваешь, да не кончаешь, — сказала бабушка. — Кажется, уж скоро полгода будет, как начала подушку вышивать, а всего еще полвеночка роз вышито. Ты не думай, — ведь я все знаю, что у вас там делается. Ну идите себе с Богом, устала я с вами.

Ушли и мать, и дочь, обе немного смущенные, как всегда после визита к бабушке.

Между тем как Надежда Сергеевна и Лиза ходили к бабушке, Николай Степанович занялся делом, к управлению относящимся, или, точнее говоря, к отправлению правосудия. Лизин сон напомнил ему вчерашнее донесение бурмистра Титыча о происшествии соблазни-

тельном и неожиданном. Старый повар Елевферий, трудами и способностями которого господа были отменно довольны, уже давно замечаем бывал в пристрастии к чтению. Хотя читал он книги церковные и душеспасительные, преимущественно Евангелие и Четьи-Минеи, но все-таки Николай Степанович глядел на это чтение неодобрительно. Не раз, призвав повара к себе, Николай Степанович выговаривал ему:

— Эй, Елевферий, смотри, не доведет тебя до добра твое пристрастие к чтению. Я и больше тебя разума имею, как господин прирожденный, да и то книг не читаю, кроме иногда книг Вольтеровых, — на что всякие книги надобны? А ты — отродье хамово, и разум у тебя худой, хоть руки у тебя и золотые. Читаемое тобою ты можешь понять превратно, отчего и сделается в тебе повреждение. Тогда куда же ты пригодишься, сам подумай! Господам поврежденный повар опасен. А на другую работу ни на какую ты уж и не способен.

Выждав минуту, когда барин остановится понюхать табаку, Елевферий говорил:

— Позвольте доложить, барин, что я пустых книг не читаю, а читаю токмо то, что к спасению души относится, ища, как угодити Богу паче человек.

Николай Степанович покачивал головою и говорил:

— А ты знаешь, кто Библию прочтет всю насквозь, от доски до доски, тот с ума сойдет? Слышал ли ты это?

Елевферий понятливо усмехался и говорил:

— Я тоже с пониманием читаю, барин. Апокалипс я и не читаю, не нашей мудрости требует эта книга. А Евангелия чтение пресладостно, и преполезно, и простецам понятно, потому что и Сам Господь наш Иисус Христос проповедовал простому люду, неученым рыбарям, и ловцами человеков поставил их.

— Смотри, Елевферий, — говорил барин, — говорю с тобою сегодня добром, жалеючи тебя за то, что дело свое гораздо разумеешь, — эй, говорю, не предавайся сим высокоумным упражнениям. На то есть ученые люди; попы в церкви тебе все прочтут и пропоют, что надобно, да еще и ладаном надымят. А тебе это ни к чему.

Понюхав табаку и помолчав, Николай Степанович говорил внушительно:

— Иди себе, Елевферий, да помни, — не послушаешь словца, так отведаешь дубца. Я — хозяин ласковый, угостить сумею так, что прибавки не попросишь.

Елевферий шел к себе, книги прятал, а сам свирепо напивался. Николай Степанович, узнав об этом, спокойно говорил:

— Пусть лучше иногда выпьет человек, чем книги читать. Водка — слабость, простому русскому человеку весьма свойственная. Да и я до крайности не допущу и пресеку во благовремении. Пристрастие же к чтению — от высокоумия и гордости, а гордость — грех смертный. Сей бес, однажды в человека вошедший, изгоняется нелегко.

Некоторое время после бариновых увещаний не слышно бывало, чтобы Елевферий читал. Потом опять принимался он за прежнее и опять бывал увещаем. Но вот вчера вечером бурмистр Титыч доложил Николаю Степановичу, что к Елевферию ходят дворовые люди и девки, а он им читает Евангелие и объясняет, будто бы на том свете первые будут последними.

— Ну, это еще на том свете будет, — сказал Николай Степанович. — Однако скажи, чтобы к нему ходить не смели, да и ему строго прикажи не читать другим и не учить никого. Не его ума дело. Впрочем, я сам завтра утром все это разберу.

Зная хорошо верность и преданность своих холопов и будучи вполне уверен в действительности тех средств, коими располагает помещик для обуздания своеволия своих подданных, Николай Степанович не был обеспокоен Титычевым донесением, а к утру чуть было и не позабыл о нем. Быть может, так бы и прошло на этот раз, — Николай Степанович встал сегодня в хорошем расположении и не склонен был судить и наказывать. Но утренний Лизин рассказ о ее сне заставил его думать, что Елевфериевы речи мутят дворню. И он велел позвать к себе Елевферия. Думал: «Видно, Лизаньке девки шепнули, чего ей не надобно было слушать, она, ложась спать, думала об этом, вот ей и приснилась эта белиберда, от которой пришла она не в малое расстройство».

Скоро перед Николаем Степановичем стоял повар Елевферий, высокий, красивый, благообразный старик. Только красный нос портил его лицо, — повар Елевферий любил выпить, разделяя страсть, обуревающую в России многих «умственных» людей. Борода его была старательно пробрита, а бакенбарды были холеные, седые, пушистые. Представ перед барином, Елевферий степенно поклонился ему в пояс, коснувшись рукою пола. Николай Степанович строго спросил его:

— Ты что же это, Елевферий, моих людей мутить вздумал? Чему это ты их учишь, скажи, сделай милость!

Елевферий поклонился барину в ноги движением степенным, словно свершая значительной важности обряд, и, поднявшись, чинно сказал:

— От Священного Писания изъясняю.

— А кто тебя поставил изъяснять? — строго спросил Николай Степанович. — Ты — повар, так и пеки пироги. Не учась, в попы не ставят, так-то вот, любезный. А тебя всяческим риторикам да философиям кто учил?

Елевферий степенно отвечал:

— Как есть у меня свое понимание...

— А ты помолчи, — прервал его Николай Степанович. — Понимание у тебя дурное, и изъяснять ты никому ничего не можешь. Слепой слепого поведет, оба в яму ввалятся, только и всего прибытку. Ну вот скажи мне, к примеру, что есть писано строфокомил?

Задавши этот вопрос, Николай Степанович с торжествующим видом посмотрел на Елевферия, будучи почему-то уверен, что Елевферий этого слова объяснить не сумеет. Но, к изумлению и досаде Николая Степановича, Елевферий принялся обнаруживать свое понимание.

— Строфокомил, сиречь строфус, — объяснял Елевферий, — кур пустыни, ростом ужасен, нравом кроток, пером курчав, телом тяжел и посему летать не может, а бежит по пескам втрикраты быстрее ветра, вопя гласом велиим. Дает перо для украшения рыцарских шлемов, но без великой хитрости иман быть не может, ибо, скрыв голову под крыло, становится незрим.

— То-то вот, — наставительно сказал Николай Степанович, — без великой хитрости не токма что строфокомила, сиречь строуса, не поймаешь, но и прочих дел никак не сообразишь. А ты в какие рассуждения втяпался? Кто мы, благорожденные, и кто вы, холопы наши? Ты это понимаешь ли, кур кухонный? Ростом и ты ужасен, и волосом пушист, а есть ты сущий хам и остолоп, телепень ты этакий несосветимый! Ты что там толкуешь? Мы, господа, на том свете будем позади, а вы, рабье племя, вперед пойдете? Так, что ли, по-твоему?

Елевферий опустил глаза, вздохнул и степенно молвил:

— Есть на земле ваша господская над нами воля, а только что действительно обещано в Писании, что в царствии Божием несть слуга, ни господин.

Николай Степанович покраснел от гнева. Нервически постукивая табакеркою по круглому столику красного дерева, у окна стоящему, он сказал:

— Ты что ж, рыцарь слоеный, на коня сядешь, а я тебе стремя держать буду? Ты в шлафроке на диване развалишься, а я тебе трубку подавать стану?

Елевферий, не поднимая глаз, смиренно, но упрямо сказал:

— Здесь, на этом свете, есть ваша господская воля, а там, по грехам нашим и по великой милости Божией, воздастся коемуждо по делом его.

Николай Степанович встал, пылая гневом.

— Я тебе покажу коемуждо! Я тебе воздам! Позвать Титыча! — крикнул он голосом, слышным во всей усадьбе.

И уже барское правосудие готово было совершиться. Уже казачки и девки вихрем помчались во все стороны разыскивать Титыча. Но в это самое время, как волна встречного вихря, вслед за вошедшими в столовую Надеждою Сергеевною и Лизою, вбежала запыхавшаяся, расторопная девка Степанида, крича:

— Барыня, едут! Гости едут, гости, от Заозерья!

— Что кричишь, оглашенная! — прикрикнула на нее Надежда Сергеевна. — Не можешь доложить спокойно? Может быть, еще и не к нам едут.

А сама засуетилась. Пошла в гостиную к зеркалу и тревожно оглядывала себя с головы до ног, нет ли какой неисправности в туалете. И уже слышен стал звон бубенчиков, все приближающийся.

Глава третья

Николай Степанович быстро прошелся по всему дому, покрикивая на слуг:

— Ну вы, засони! Везде непорядки!

Но так как на самом-то деле везде все было в отменном порядке и к принятию гостей весьма готово, то Николаю Степановичу делать было нечего. Он, опять забывши об Елевферии, пришел в гостиную. Здесь уже Надежда Сергеевна сидела на диване с каким-то рукодельем в руках, опираясь локтем на вышитую подушку, меж тем как у окна Лиза, тонкими пальчиками отодвинув край кисейного занавеса, а левою рукою трепетно держась за один из стволов бронзового канделябра, стоявшего на маленьком овальном столике, выглядывала на дорогу, торопясь узнать верно, кто едет. Николай Степанович взглянул на Лизу и сказал, посмеиваясь:

— Видать сразу, что Львицын молодой едет.

Лиза покраснела и бросила на отца стыдливый, умоляющий взгляд. Отец погрозил ей пальцем, засмеялся и сказал:

— Все вижу, плутовка быстроглазая. От меня и под землею не скроешься.

Лиза засмеялась и убежала. Николай Степанович подмигнул жене и сказал:

— Пошла наша Лизанька прихорашиваться.

— Дело девичье, — улыбаясь, отвечала Надежда Сергеевна.

— Львицын и есть, — сказал Николай Степанович, всмотревшись в подъезжавший к воротам усадьбы экипаж. — Почтенных родителей сынок, — дай Бог им Царство Небесное, — и ведет себя скромненько, а все что-то странное в нем есть. Служить нигде не служит и не хочет служить, хозяйством своим не занимается, ездит с места

на место, смотрит, где лучше. Чужие края хвалит, а наши порядки ему не нравятся.

— Вот женится, — сказала Надежда Сергеевна, — привяжется к месту, остепенится.

«А кто же привяжет молодого человека к месту? Никто, как наша Лизанька», — думала Надежда Сергеевна.

Пока Лиза, принаряжаясь, старалась успокоить свое волнение, прошло немало времени. В гостиной ее родители беседовали со своим гостем, молодым Алексеем Павловичем Львицыным, соседом их по имению. Алексей, вынув из бокового кармана своего серого фрака письмо, сказал:

— С вашего позволения, я прочту вам несколько строк из сего письма. Из них вы изволите усмотреть, почему чужие края меня привлекают и почему в глазах европейца самое имя России есть синонима варварства.

— Однако, — возразил Николай Степанович, — эти самые варвары освободили сих пресловутых европейцев от несносного деспотизма Наполеонова.

— Чем других спасать, — сказал Алексей, — «не лучше ль на себя оборотиться?» Вот пишет мне из Петербурга мой дядюшка...

— Его превосходительство Григорий Алексеевич? — спросил почтительно Николай Степанович и, получив утвердительный ответ, осведомился о здоровье его превосходительства, его супруги и его детей.

Отвечая поспешно и невнимательно на эти вопросы, Алексей вертел в руках дядино письмо, горя нетерпением скорее прочесть занимавшее его место из этого письма. Наконец, получив к тому возможность, он начал:

— Так вот что пишет мне дядюшка: «Расскажу тебе прекуриозное происшествие, приключившееся здесь недавно. Некая молодая и красивая собою девица Амалия К... — фамилию позвольте умолчать, — сказал при этом Алексей и продолжал чтение: — Проживала у старшей своей сестры, которая имела любезного и нередко рев-

новала его к сестре. Однажды сия чета, воспользовавшись хорошим днем, отлучилась из квартиры погулять; в отсутствие их и Амалия ушла к своей тетке. Добрая женщина отлично знала, что житье молодой ее племянницы у старшей сестры не блистательное, что она исполняет часто обязанности служанки и живет с нею потому лишь, что некуда деваться. При прощании она дала ей сорок копеек, которые Амалия завернула в один из углов платка. Возвратясь домой, старшая К. не нашла ночного капота и придралась к сестре; та ударилась в слезы. Понадобилось ей вытереть глаза; доставая из кармана платок, она выронила подаренные теткою монеты. Эти несчастные деньги были причиною, что старшая К. обвинила младшую в краже капота, который она будто бы продала за сорок копеек. Напрасно последняя ссылалась на тетку; это ей на суде не послужило в пользу, так как тетки в столице не оказалось: она отправилась на богомолье во внутренние губернии. Заподозренная в краже, Амалия не знала ни того, откуда она родом, ни к какому состоянию принадлежит по рождению, почему уголовная палата и присудила ее к наказанию розгами. После исполнения над Амалиею наказания в управу благочиния присланы были документы, удостоверявшие дворянское происхождение Амалии; к тому же времени вернулась с богомолья тетка, которая подтвердила ее показание. Несчастная Амалия покорилась своей участи и не искала за бесчестье, но чиновники палаты, движимые состраданием к молодой и красивой особе, пострадавшей из-за ревности сестры, сложились и вручили ей сто пятьдесят рублей».

Слушая чтение, Надежда Сергеевна с соболезнованием покачивала головою и восклицала:

— Ах, бедная Амалия! Ах, несчастная!

Николай Степанович внушительно сказал:

— Поторопились судьи напрасно. Жаль бедную девушку, — такого стыда деньгами не искупишь. Впрочем, нет худа без добра, — девица получила хорошее приданое. Я чаю, что и женишок ей скоро найдется, если она точно столь хороша собою, — из тех же чиновников, пожалуй, кто-нибудь.

В это время в гостиную вошла наконец Лиза. Алексей встал со своего места, учтиво кланяясь ей. Лиза, взглянув на его длинные, до плеч, волнистые русые волосы, на его небрежно, но красиво повязанный галстук, вспыхнула, и сердце ее забилось. Пролепетав невнятно слова привета, она скромно села рядом с матерью на стуле под портретом одного из ее предков, воинственного полковника с величавою осанкою. Томный взор Алексея, слегка презрительный и насмешливый, оживился, когда в комнату вошла Лиза. Продолжая начатый разговор, но уже не в силах будучи отвести взора от белого кисейного Лизина платья, он сказал:

— Чувствующему и размышляющему человеку ненавистны эти проклятые потемки, в которых держат нас.

Его разговоры всегда несколько удивляли соседей, и те выводы, которые он делал из частных явлений, казались им преувеличенными.

Николай Степанович спросил:

— Но кто же нас держит? Да и какие у нас потемки? Россия имеет людей весьма просвещенных.

Алексей возразил:

— Просвещенный человек, истинный гражданин и сын отечества, питает ненависть к деспотизму. А мы, скитающиеся по сей обширной и безвыходной пустыне, к сему деспотизму так привыкли, что уже и не возмущаемся им.

Бросив при этом нежный и томный взгляд на Лизу, Алексей сказал:

— Намерен я вскорости поехать в Германию.

— Батюшка, Алексей Павлович, да зачем так далеко вам ездить? — спросила Надежда Сергеевна. — Разве же у нас худо? Я бы с этими немцами и дня не прожила, — говорят не по-нашему и едят не по-нашему, — легко ли к чужим порядкам привыкать?

Лиза покраснела и досадливо нахмурилась. Алексей отвечал:

— Там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается. Там Добродетель освещается невечерним светом Прав-

ды и народы прислушиваются к голосу философов и поэтов. Там хочу я упражняться в добродетели и в науках.

— Дело семинаристов, — возразил Николай Степанович. — Дворянские занятия — военная служба, охота, имение управить. Об этом в Лизанькином песеннике я вычитал очень хороший стишок.

Николай Степанович понюхал табаку и с чувством прочитал наизусть:

Деревенское житье —
Счастье непорочно.
Упражнение мое
Мне с друзьями прочно.
Время с пользой провожу,
Дальних бед не видя,
Все забавы нахожу,
Ближних не обидя.

Алексей возразил:

— Вы, Николай Степанович, как почитатель великого Вольтера и как человек глубокого ума, не можете не видеть, что в сей стране слепых господствуют кривые.

Улыбаясь тонко, польщенный словами Алексея, Николай Степанович сказал:

— Кривые-то, государь мой, все же лучше видят, чем вовсе слепые.

Обед подан был рано, по-деревенски. Ровно в два часа распахнулась дверь из гостиной в столовую, и молодой курносый лакей в кафтане горохового цвета с бронзовыми пуговицами выкрикнул:

— Кушать подано.

— Милости просим, — сказал Николай Степанович, вставая со своего кресла, — чем Бог послал.

Пошли обедать. Обед прошел в обычных незначительных разговорах, в которых иногда принимали участие и несколько обедавших за тем же столом небогатых дворян и дворянок, живших в барском доме и во флигелях в Ворожбинине. Из этих гостей некоторые приезжали на несколько недель и потом уезжали к другим своим знакомым, чтобы по истечении времени появиться здесь снова; другие же остава-

лись на целые годы. Обращаясь к одному из таких приживальщиков, седенькому, плешивому старичку во фраке, с длинным носом и с резною табакеркою, Николай Степанович спросил, усмехаясь с таким видом, как бы обещая гостю забавный ответ:

— Скажите, Петр Евсеевич, как супруга ваша поживает? Все ли в добром здоровье?

— Что ей делается! — отвечал Петр Евсеевич, махнув рукою и сморщившись, как бы при воспоминании о неприятном. — Живет у матери своей. Меня ведь насильно с нею обвенчали.

За столом кое-кто засмеялся, другие слушали как давно известное. Алексей смотрел на говорящего с изумлением и ждал объяснения его странных слов.

— Да как же так? — возразил Николай Степанович. — Ведь священник спрашивал же вас: «Имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видиши?»

— Да, — говорил Петр Евсеевич, — теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали; да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уж поздно, не воротишь. Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!

Над старичком смеялись, но видно было, что рассказ этот здесь уже привычен. Алексей не стал спрашивать о причинах этого венчания, боясь, чтобы при Лизе не зашел разговор о предметах, которые могли бы оскорбить ее скромность. Меж тем обед приблизился к концу. Николай Степанович встал, поклонился гостям и сказал:

— Сыто не сыто, а за обед почтите. Чем Бог послал.

Глава четвертая

Николай Степанович и Надежда Сергеевна, извинившись перед гостем, пошли после обеда отдыхать. Лиза и Алексей гуляли в саду. Вешний день был тих и ясен. Таяли тучки в вешней синеве. Лиза повела Алексея во фруктовый сад, а потом через просторный двор, почти весь заросший высокою травою, в блюденую, еще не старую

еловую рощу. Там Лиза показала Алексею находящийся посреди рощи четырехугольный, продолговатый, неглубокий пруд.

— Смотрите, Алексис, — сказала при этом Лиза, — какая здесь прозрачная вода.

И точно, песчаное дно пруда и плавающие в нем рыбы были ясно видны.

— Вода здесь так же прозрачна и ясна, — сказал Алексей, — как ясна и прозрачна ваша, Лиза, невинная душа, в которой я вижу, мне кажется, все ваши непорочные чувства.

Лиза слегка зарделась, потупилась и принялась рассказывать Алексею, как зимою здесь катаются с горки и как она летом удит здесь рыбу. Она сказала с простодушною гордостью:

— Кроме меня папенька никому не позволяет здесь ловить рыбу.

Вернувшись в сад, Лиза обратилась к Алексею с невинным выражением и спросила:

— Скажите, Алексис, за что я так люблю березку? Кажется, нет в ней ничего особенного, а ее вид всегда меня радует и запах ее листочков по весне.

— Береза мила нашему сердцу, — отвечал Алексей, — потому, что это — наше национальное северное растение, к которому привыкли мы с детства. Как жителя пышного юга веселят его гордые пальмы, так нас веселит наша скромная родная березка.

— А вы знаете, я и дождик люблю, — сказала Лиза. — Летний дождик очень веселый.

Алексей, волнуясь необычайно, заговорил:

— Лиза, я вижу, что вы всегда говорите со мною доверчиво и чистосердечно. Я вижу, что мои посещения не противны вам.

— Да, Алексис, — сказала Лиза, — я бываю очень рада, когда вы к нам приезжаете.

— Откройте мне ваше сердце, — говорил Алексей, — будьте совершенно доверчивы со мною. Ваши милые глаза сияют, когда вы встречаете меня, и улыбки на ваших очаровательных устах выдают тогда радость и волнение. По этим признакам могу ли я заключить, что я любим? Новая заря моей жизни пылает ярко, но не обманчиво

ли? Взгляни, Лиза, на эти растущие рядом два цветка, — они сильнее благоухают оттого, что они вместе. Я люблю тебя, Лиза, ты это знаешь, ты не можешь этого не знать.

Раскрасневшаяся Лиза потупилась и молчала. Алексей продолжал страстно и нежно:

— Елизавета Николаевна, вы с первого взгляда завладели моим сердцем, и если бы я осмелился предложить вам мое преданное и верное сердце, а также и руку, то что бы вы мне ответили на это?

Лиза, едва сдерживая волнение, сказала:

— Очень благодарю вас, Алексей Павлович, за ваши чувства и за честь, мне вами оказываемую, но я не завишу от себя, у меня есть папенька и маменька, и я должна прежде просить их разрешения.

Алексей, радостно улыбаясь, сказал:

— О, я только хотел прежде знать ваше согласие, Лиза, а тогда, конечно, буду и у них просить вашей руки. Но вы-то сами что скажете мне на мое предложение, от чистого и верного сердца исходящее?

Лиза тихо шепнула задрожавшими вдруг губами, нежными, как уста весенней зари утренней:

— Я согласна.

При этих словах вся она вспыхнула, и слезы показались на ее глазах. И от этого она стала вдвое очаровательнее. Алексей нежно целовал Лизину руку и шептал голосом, полным волнения и любви:

— В этот сладостный час земля и небо исчезли перед нами. Благодарю, небесное создание, тысячу раз благодарю.

Об руку с Лизою Алексей вошел в дом.

— Мы должны немедленно открыться твоим родителям, — сказал он. — Как сожалею я, что мои возлюбленные родители не дожили до этого блаженного дня! Как бы радовались они моему блаженству!

Узнав от казачка, что Николай Степанович только что проснулся и требовал квасу, но из опочивальни еще не выходил, Алексей прошел в гостиную ждать его. Лиза же, смущенная и радостная, пошла было к себе, но, услышав шаги отца, вышедшего из спальни в шлафроке и мягких сафьянных бабушах, она поспешила к матери. Застав

Надежду Сергеевну только что вставшею с постели, бросилась Лиза к ней на грудь, вскрикнула:

— Ах, маменька, он меня любит!

И залилась слезами. Мать радостно говорила, гладя ее по голове:

— Ну и слава Богу! слава Богу!

Меж тем в гостиной Алексей просил у Николая Степановича Лизиной руки. Николай Степанович, выслушав слова, которые не были для него неожиданными, сказал:

— Я очень рад за Лизаньку, и лучшего мужа я ей не желаю. Но в этом предмете решение принадлежит ей самой, — надобно ее спросить.

— Я уже спрашивал, — сказал Алексей, — Елизавета Николаевна согласна.

Николай Степанович, запахивая халат, встал и сказал:

— Если дочь моя избрала вас, то и я также избираю и вручаю ее вам, сделайте ее счастье.

Он хотел быть спокойным и важным, но прослезился. Дрожащим голосом сказал он:

— Надобно спросить и у матери.

Он крикнул:

— Эй, кто там! Пригласить сюда барыню!

А за дверьми уже толпились, таясь и с жадным любопытством прислушиваясь, дворовые девушки. Надежда Сергеевна вышла с заплаканными глазами, но с веселым лицом. Вывела с собою упирающуюся, стыдящуюся Лизу, которая смеялась и плакала в одно и то же время. Помолились все вместе перед образом. Алексея и Лизу родители благословили.

Вечером в своей спальне Лиза разговаривала со своими горничными девушками. Лушка раздевала барышню, а Степанида пришла рассказывать новости, что за день в усадьбе и на селе случилось, что по соседству слышно. Рассказала, как перепугались деревенские девки сегодня поутру, повстречав лешачиху.

— Что за лешачиха? — спросила Лиза. — И почему они так перепугались?

Степанида объяснила барышне, что лешачиха ходит голая и живет о край болота. Ростом она с самое высокое дерево, волосы у нее косматые, серые, а лица вовсе не видно. Лиза засмеялась и сказала:

— Какие глупости! Это все — суеверие, никаких леших и лешачих на свете нет, и бояться их нечего. Девкам старая береза спросонок за лешачиху показалась.

— Не знаю, барышня, — сказала Степанида, — что мне сказали, то я и передаю. Сама не видела, врать не стану, а девки на селе болтают.

Потом Степанида рассказала Лизе и про случай с Елевферием, как барин с ним утром разговаривал.

— Барин хотели его наказать, — говорила словоохотливая Степанида, — да для сегодняшней радости помиловали. Мудрит выше головы наш Елевферий. На том свете что еще будет, про то нам неизвестно, а на этом свете надобно господам угождать. Будешь господам хорош, и тебе будет хорошо, а иначе не прогневайся, — сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.

Лиза благосклонно улыбнулась ей, а Лушка, всегда соперничавшая с нею из-за расположения юной своей госпожи, сказала ей с насмешливою ужимкою:

— А сама небось к Елевферию ходила, сказы его слушала. Почитай, Елевферушка, растолкуй, Елевферушка, сами-то мы, вишь, глупые.

Степанида покраснела и при всей своей речистости не знала, что сказать. Наконец пробормотала смущенно:

— Экая ты язва, Лушка!

Лиза нахмурила брови, — всю родню свела, — и приказала им обеим замолчать. Потом, вспомнив, как ей приснилась нынче Лушка, Лиза засмеялась и сказала:

— Смотри, Лушка, ты мне опять сегодня не вздумай присниться, — маменьке пожалуюсь.

В Лушкиной памяти еще свежо было полученное ею сегодня от барыни наставление. Она отвечала:

— Да уж будьте спокойны, барышня, спите себе с Богом.

Степанида же злорадно усмехалась.

Едва только девушки ушли, Лиза встала с постели, села к окну и долго мечтала, глядя на ясные полуночные звезды.

Из-за ближнего леса медленно взошел багровый полумесяц и напомнил Лизе прочтенные ею недавно стихи, которые понравились ей чрезвычайно:

Луг сделан для овец,
Для луга чисты воды,
Луна для всей природы,
Любовь для всех сердец.

Эти слова вызвали слезы на Лизины глаза, и сердце ее было размягчено умилением и радостью. Вообразив, как счастлива будет она с Алексеем, она спокойно отошла ко сну. В эту ночь Лизины сны были чувствительны и благопристойны. Ей снились милые девушки-пастушки и любезные юноши-пастушки, чрезвычайно чисто вымытые и необычайно тонко чувствующие. Потом приснились ей палаты царя Афрона, про которого сказывала ей сказки старая нянька. Сама Лиза была Елена Прекрасная, а милый ее Алексис-царевич сидел рядом с нею и глядел на нее нежно, благополучно окончив все свои подвиги при помощи Серого волка, который мирно щипал травку на лужайке. Проснулась Лиза на заре, нежно-веселая.

— Что, Лизанька, Лушку нынче во сне видела? — спросила ее утром Надежда Сергеевна.

— Нет, маменька, — весело отвечала Лиза.

Николай Степанович, ласково поглядев на нее, засмеялся и сказал:

— Знаю, знаю, черноглазая плутовка, кто тебе снился: Алексис-царевич прекрасный всю ночь во сне грезился.

Лиза покраснела и воскликнула чистосердечно:

— Ах, папенька, как же это вы сумели отгадать мой сон!

Чему ее родители немало смеялись.

Алексей теперь уже бывал в доме как признанный жених. Редкий день не приезжал он в Ворожбинино. Расстояние меж их усадьбами

было всего две версты, но пешком ходить нельзя, — кто же в гости пешком ходит! Это хорошо только для крестьян. Впрочем, Лиза иногда, тайком от родителей, бегала росистым утром через поля к мостику через ручеек на границе их владений. Она знала, что Алексей любил прогуливаться там рано утром и, дойдя до этого ручейка, предавался мечтаниям меланхолическим. Краткие встречи с замиранием сердца, как они были сладостны Алексею и Лизе! И кому из двух сладостнее, никто не решил бы. Здесь они вместе ощутили так много разнообразных чувствований! Иногда, не довольствуясь этими встречами и краткими, но не менее оттого нежными беседами, они обменивались письмами, которые прятали они под большим камнем у этого мостика.

Глава пятая

Был вечер. В пахучей траве стрекотал кузнечик. Солнце склонялось к западу, и длинные тени деревьев в саду смешались вместе. Лиза в садовой беседке читала книжку. Это был чувствительный роман о горестях Адольфа и Амалии, родители которых противились их счастию. На Лизиных глазах были слезы. Сентиментальная поэзия, уже вышедшая из моды в столицах, еще волновала тогда сердца провинциальных барышень.

Алексей подошел тихо и стал перед Лизою. Она подняла на него глаза. Он спросил нежно:

— Милая Лиза, о чем эти слезы на ваших глазах?

Лиза воскликнула, протягивая ему раскрытую книгу:

— Ах, несчастная Амалия! Ах, злополучный Адольф!

И при этих словах Лиза вдруг залилась слезами. Алексей воскликнул с умилением:

— Ангел Лиза!

В чувствительной беседе влюбленные не замечали, как проходило время. Меж тем солнце скрылось за далекою чертою горизонта. Меланхолические звуки, донесшиеся от сельской колокольни, возвестили наступление позднего часа. В вечернем сумраке близко проле-

тела большая черная птица, шелестя крыльями. С полей повеяло прохладою. Невнятный крик донесся издали, из глубины леса, напомнив причудливые и устрашающие образы, созданные народным суеверием. Лиза, ощутив невольный страх, вздрогнула и доверчиво прижалась к Алексею.

Развернутая ею книга лежала в стороне, на столике, сделанном из цельного куска старого дерева, поваленного в позапрошлом году сильною бурею, причинившей в окружности немало бед и потому памятной. Бабочка села на книжку, ночная летунья, белая с черным. Крылышки бабочки слабо вздрагивали, и усики ее шевелились, и мнилось, что на ней почиет исходящее из книги очарование красных вымыслов. Алексей смотрел на бабочку, и казалось в эту минуту, что он забыл все на свете и самую даже свою любовь. Немного обиженная его невниманием, Лиза тихонько тронула локоть его руки и спросила голосом, в котором нежность преобладала над укором:

— О чем вы так глубоко задумались, милый Алексис?

Алексей вздохнул глубоко, как бы возвращаясь к действительности, пожал Лизину руку и отвечал:

— Я воображал бессмертие!

Зашумели мягко ветки влажных от росы вечерней кустарников, послышались на песке дорожек звуки быстро бегущих ног, — усердная Степанида искала барышню. Представ внезапно перед Лизою, запыхавшаяся, она сказала:

— Барыня беспокоятся, что сыро, приказали идти в дом.

Лиза не без сожаления оставила это место чувствительных мечтаний. В столовой уже накрыт был ужин. Надежда Сергеевна беспокоилась, а Николай Степанович уговаривал ее, повторяя, что Лизанькино здоровье крепкое и от вечерней прогулки в саду вреда ей быть никак не может.

После отъезда Алексея Надежда Сергеевна выговаривала дочери:

— Хоть Алексей Павлович тебе и жених, а все-таки статочное ли дело до ночи с молодым человеком в саду прогуливаться! Добрые люди осудят, да и отец, сколь он к тебе ни милостив, может прогневаться.

Скворцы тучами налетали на вишни. Дребезжанье деревянной трещотки в руках дворового мальчишки разгоняло птиц, столь же робких, как и вороватых. Алексей застал Лизу в саду. Она носила на руках собачку, чего Алексей ранее никогда не примечал. Лиза не очень любила собак, а сегодня на нее вдруг каприз нашел, она подхватила маменькину болонку и побежала с нею в сад, где забавилась с нею, осыпая ее ласками и нежными словами. Увидев Алексея, Лиза заговорила:

— Смотрите, Алексис, какая милая собачка! Погладьте ее, ничего, она не укусит. Какая у нее мягкая шерстка!

Но Алексей не обнаруживал никакого желания приласкать лаявшую на него злую собачонку, которая к тому же показалась ему довольно противною. Когда Лиза поднесла к нему болонку, он отвернулся с приметным неудовольствием. Казалось ему, что, возясь с этою собачонкою, Лиза теряет то нежное очарование, которое влекло его к Лизе, и от этого душе его было нестерпимо больно. Лиза посмотрела на него с удивлением и спросила:

— Что с вами, Алексис? Чем вы так расстроены?

Ее простодушие чуждалось мысли, что в ее поступках что-нибудь может не понравиться ее милому. И потому она удивилась еще более, когда услышала от Алексея эти слова:

— Я вас очень прошу, милая Лиза, не носить собачку на руках.

Лиза нахмурилась, так что черные брови ее сошлись.

— Почему же мне не носить ее, — спросила она, — ежели мне это нравится?

Алексей повторил свою просьбу:

— Сделайте мне приятное, милая Лиза, и отпустите собачку. Вам это непристойно.

— Да зачем же мне ее отпускать! — возразила Лиза. — Ведь я же не делаю ей больно. Я ласкаю ее.

— Неприятно смотреть, — сказал Алексей, — когда девица вашего возраста возится с собаками. Это — неженственно и более идет охотнику, чем благовоспитанной барышне.

— Папенька и маменька мне этого не запрещают, — с немалою досадою сказала Лиза.

— Но если я вас прошу, Лиза? — настаивал Алексей.

Лиза не отвечала и опять занялась собачкою. Алексей повторил:

— Милая Лиза, оставьте ее. Я вас очень прошу об этом.

Лиза не слушалась. Упрямый чертенок завозился в ее сердце. Она сказала с упорством:

— Я люблю эту собачку, и вы, Алексис, должны полюбить ее, если меня любите.

— Не может быть, — сказал Алексей, — чтобы ваше расположение внезапное к этой собачке было столь сильно, чтобы вы не могли ее оставить, когда вас об этом просят. Поверьте, что этот вид весьма не идет к вам и весьма меня огорчает.

Лизины щеки ярко пылали от гнева, досады и упрямства. Она спросила с насмешкою:

— Разве это — грех?

Алексей, еще не теряя надежды убедить упрямую, говорил ей:

— Кого любишь, того и слушаешь во всем с удовольствием, хотя не всегда бываешь одинаково расположен. Носить собаку на руках — не грех. Но это — неженственно.

Долго еще Алексей уговаривал Лизу бросить собаку, но она не обращала никакого внимания на все его убеждения. Наконец он воскликнул с огорчением:

— Лиза, ты не уважаешь моею просьбою! Мои слова для тебя ничто!

Алексею было досадно, что Лиза не хочет уступить ему. Но в душе своей он пытался оправдать Лизу.

«Ее непослушание есть только ветреность без всякого намерения», — думал он.

Он сказал ей наставительно:

— Ты относишься к моим словам небрежно и без всякого внимания. Но жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком.

— Я не нуждаюсь в уроках, — упрямо ответила Лиза.

— Я не ожидал найти в тебе такого своенравия! — печально сказал Алексей. — Не хотеть пожертвовать таким вздорным удовольствием!

Лиза с обидою в голосе сказала:

— Вот вы какой! Вы ни в чем не хотите дать мне воли! Что же будет, когда я стану вашею женою? Вы будете жестоким тираном.

— Нет, Лиза, я не хочу быть вашим тираном, — с великим огорчением сказал Алексей. — Я полагаю мое высшее счастие в вашей благосклонности, Лиза, — могу ли я при этом быть вашим тираном?

Лиза гладила собачонку и шептала ей нежные слова. Алексей вертел в руках алый цветок шиповника и говорил:

— Всякий твой недостаток, Лиза, удивляет меня потому, что я ценю тебя отменно много.

— Вам ничто не нравится, — сказала Лиза, — вы только немцев хвалите.

— Не скрою, Лиза, — сказал Алексей, — ты сегодня произвела надо мною неприятное впечатление.

Лиза отвечала пылко:

— А вы хотели произвести надо мною неприятное тиранство. Ни папенька, ни маменька так со мною не обходятся. Я не привыкла к тому, чтобы меня обижали.

Стараясь казаться спокойным, но с трудом сдерживая проявления своей досады и огорчения своего, Алексей сказал:

— Я вижу, Лиза, что сегодня ты находишься в дурном расположении духа, и потому мне лучше удалиться. Надеюсь, что ты сама оценишь свой поступок, когда захочешь подумать о нем внимательно и спокойно.

Лиза на это ничего ему не ответила. Алексей холодно простился с нею и уехал, думая, что ее надобно проучить холодностью и что она тогда одумается и раскается. Лиза же, оставшись одна, скинула с колен собачонку, крикнула:

— Пошла прочь, противная!

И залилась слезами.

Меж тем погода внезапно испортилась. В стекла бил сильный дождь, стучали ветки березок. Лизе было скучно и грустно. Ее знобило. Она грустно думала о деспотизме мужчин и о грустной доле женщины, которая всю жизнь должна покоряться, сначала родителям, потом мужу.

Ночью однообразно кричал перепел, нагоняя на Лизу тоску и страх. Всю эту ночь Лизе снились неприятные, огорчительные сны. Один особенно досадливо вспоминался ей потом. Лизе опять приснилась Лушка, и на этот раз уже словно более прежнего утвердившаяся в своем непристойном озорстве. Она сидела на раззолоченном кресле, одетая в богатые уборы, важничала необычайно и приказывала строго:

— Лизавета, красная краса, черная коса, возьми мою тявку-собачку, веди ее погулять, да смотри, гляди за нею в оба, чтобы с нее шерстиночки не упало, а не то я отдам тебя моим драбантам, они тебя невежливо поучат.

А тявка-собачка злая-презлая, и глаз у нее не видно из белой пушистой шерстки, а зубки беленькие да острые. Так и норовит, как бы укусить Лизу.

Глава шестая

Тревожные сны заставляли неоднократно Лизу вскакивать с постели. Лушка и Степанида, спавшие близко, прибегали к ней не раз. Наконец под утро они разбудили няньку и сказали ей, что барышня почивает неспокойно. Было уже светло. Лиза уже не могла заснуть. Но она чувствовала себя совсем нехорошо. Голова болела, не хотелось вставать, не манила в сад опять после дождя наставшая хорошая погода, не радовали птичьи щебеты и цветочные ароматы.

Ворчливо выговаривая девушкам, что они худо смотрят за барышнею, пришла к Лизе старая нянька и спросила и ее ласково:

— Что с тобою, Лизанька? Да никак ты занедужилась, моя ласточка?

Лиза отвечала ей скучным голосом:

— Ничего, нянечка, это пройдет. Я полежу немного и потом тотчас встану. Няня, ты ничего не говори маменьке, чтобы ее попусту не расстраивать.

Няня забеспокоилась. Она проворно вышла из Лизиной спальни и через несколько минут вернулась, держа в морщинистых руках, от

старости и от усердия дрожащих, чашку еще дымящегося напитка. Это был только что заваренный ею липовый цвет, средство, по общему мнению, отменно помогающее от простуды. Няня, заботливо наклонясь над Лизою, говорила:

— Выкушай, Лизанька, пропотеешь, и все как рукою снимет. Верно, простудилась как-нибудь. Вчера вечером сыренько было.

Лиза отказывалась было, не желая ничего ни есть, ни пить, но нянька настояла на своем и заставила-таки ее выпить горячее и довольно вкусное питье. Потом она укутала Лизу тщательно и ушла, тихонько ступая на цыпочках, в девичью, где опять стала выговаривать Лушке и Степаниде за недосмотр. Лиза полежала в постели еще часа три и почувствовала себя немного лучше. Она встала и сошла к утреннему чаю грустная и бледная. За чаем Надежда Сергеевна спросила ее:

— Что, Лизанька, как почивала? Сказывали мне девки, что беспокойно почивала, вскидываться изволила. Правда ли?

— Опять мне Лушка приснилась, — сказала Лиза, хмуря брови.

Надежда Сергеевна гневно покраснела и сказала:

— Рассказывай, сударыня, твой сон. Я чаю, опять пустяки видела.

Лиза рассказала. Надежда Сергеевна приказала позвать Лушку. Когда Лушка пришла. Надежда Сергеевна гневно крикнула на нее:

— Лушка, ты что ж это повадилась каждую ночь барышне сниться? Белены объелась, бесстыдная? Думаешь, что на тебя и управы не найдется?

Помня, что от поклона голова не отвалится, Лушка повалилась барыне в ноги. А вставши, она сказала, не обнаруживая никаких признаков страха и раскаяния, как вовсе невинная:

— Помилуйте, матушка барыня, но только я тому делу не причинна. Хоть что хотите со мной делайте, а только я ни в чем не виновата.

— Ты дерзить! — в изумлении закричала Надежда Сергеевна.

— Дерзить я не согласна, — говорила Лушка, — а только и в уме у меня того не было, чтобы сниться барышне. Да нешто я училась, чтобы кому сниться? Да у нас и в роду никого не было, кто бы такие дела знал.

Степанида, стоя у дверей и радуясь тому, что соперница ее попала в беду, шипела тихо:

— Яд-девка! Как только господа терпят! Да я бы на месте господ такого ей жару задала, — небось перестала бы барышне сниться!

— А ты, подлиза, помолчи, — сказала Надежда Сергеевна. — Без тебя знают, что делать надобно. Уж не взыщи, Лушка, — раз простила, другой не прощу.

И обещанное было совершено, — Лушку наказали. Николай Степанович поспорил было с женою, говоря, что Лушку наказывать не за что, но Надежда Сергеевна решительно заявила ему, что в его дела она не вступается, а в девичьей — ее власть, что разбаловать девок никак нельзя, сладу с ними не будет и что Лизанькино здоровье для нее всего дороже.

Лиза думала, что Лушке так и надобно, но все-таки было ей как-то неловко. Порою думала Лиза: «Из-за меня Лушку наказали, а, может быть, она и не виновата вовсе». Чувствительной Лизиной душе мысль эта была тягостна. Весь день этот прошел невесело. Лиза несколько раз заходила в девичью, которая расположена была близко от господских покоев, рядом с залою, чтобы девки не баловались. Лиза ходила туда посмотреть, как искусные мастерицы, кружевницы и вышивальщицы работают над ее приданым за пяльцами, за шитьем, за вязаньем. Но и это сегодня мало забавило ее. Она ждала Алексея, но тщетно, — Алексей в тот день не приехал. Лиза вечером пошла в сад к той скамейке над прудом, где вчера встретил ее Алексей, и поплакала немало. После дождя цветы были особенно благоуханны, и все вокруг было свежо и прекрасно. Но красота природы не утешала грустную Лизу. Воспоминания о вчерашней ссоре с Алексеем разрывали ее сердце, и она горько думала: «Ах, зачем я не послушалась Алексиса!»

Уже Лизе казалось, что счастие ее навеки погибло. Она дала себе твердое обещание, если только Алексей приедет, смирить перед ним свою гордость и уверить его, что вперед она собачку на руках никогда носить не станет.

Алексей приехал на другой день. О собачке он не напоминал, да и Лиза не заводила об этом речи. Мир восстановился сам собою, и ми-

лые были больше обычного внимательны и нежны друг к другу. Лиза нашла случай показать Алексею, что она рада исполнять его желания. День кончился бы так же приятно, как и многие иные дни, в которые милые бывали вместе, если бы одна случайность не нарушила вдруг их согласия.

Прогуливались к вечеру в саду все вместе. На повороте одной дорожки встретили бегущую из фруктового сада Лушку. Она несла корзину с только что собранною земляникою. С разбега она не успела вовремя свернуть с дороги и едва не задела за локоть Алексея, слегка вздрогнувшего от неожиданности при виде внезапно появившейся перед ним дворовой девушки. Надежда Сергеевна посмотрела на Лушку строго и сказала ей, не повышая голоса, но внушительно:

— Ты, валанда глупая, чего под ноги суешься? Или уже забыла вчерашнее наказание?

Лушка застыдилась и, закрыв глаза рукавом сорочки, шмыгнула в сторону. Приметив, что Лиза при этом сильно покраснела, Алексей наклонился к ней и спросил ее тихо:

— Не знаете ли вы, Лиза, за что наказывали вчера эту усердную девушку?

Лиза отошла с Алексеем в сторону от родителей и с чистосердечною откровенностью рассказала Алексею о вчерашнем сне своем и о том, как за этот сон пострадала Лушка. Выслушав этот рассказ, Алексей опечалился. Он выпустил из своих рук Лизину руку и воскликнул, обращаясь к голубеющему над ними простору невозмутимо-ясных небес:

— О бесчеловечное обращение! Доколе Ты, Господи, терпишь это унижение образа и подобия Твоего в рабском зраке? Увидим ли мы народ освобожденный и рабство падшее? Просвещенная свобода, взойдет ли над отечеством нашим твоя прекрасная заря?

Лиза не понимала причин его неудовольствия. Нежным голосом сказала она:

— Алексис, неужели ты думаешь, что я сама захотела увидеть ее во сне? Ей уже говорили, чтобы она мне не снилась. Непослушных детей наказывают, а для помещика крепостные как дети. Ведь и меня

бы папенька и маменька не похвалили, вздумай я их не слушаться. И притом я не жаловалась на нее. Маменька приказала мне рассказать мой сон, я повиновалась, в чем же я виновата перед вами, скажите, Алексис?

Едва выслушав ее оправдания и не стараясь вникнуть в смысл ее простосердечного лепета, Алексей обратил к ней огорченное лицо и сказал с большою силою убеждения:

— Знайте, Лиза, — бессмертная душа человека живет и в сих подвластных родителям вашим людях, несчастных не по причине своей вины, а по неравенству, самими людьми учрежденному.

Лиза возразила ему:

— Сам Бог создал мир так, что в нем одни — господа, а другие — рабы. И в писании сказано: «Несть власть, аще не от Бога, всякая же душа властем предержащим да повинуется».

— Пошлюсь на самого батюшку твоего, Лиза, — сказал Алексей. — Как почитатель великого Вольтера, он скажет тебе, конечно, что из рук матери природы все люди выходят равными.

Алексей и Лиза подошли к Николаю Степановичу и объяснили ему предмет своего спора. Он, выслушав их внимательно, сказал им:

— Точно, природа создала людей равными, и все мы, господа и рабы, от одного и того же древнего Адама происходим. Но различие способностей и занятий повело к учреждению разных состояний. Всяк, в своей семье и в обществе себе равных имея обращение, приемлет нравы и понятия, его состоянию свойственные, и все люди от родителей своих с молоком матери всасывают свойства их. От самых младых ногтей каждый к своему состоянию приобыкает. Как яблоки родятся на яблоне, а не на рябине и не на осине, так и в людях повелось, что от дворян родятся благородные, а от хамов — подлые.

Понюхав табаку, Николай Степанович прибавил, с видом наставительным обращаясь к Алексею:

— Что же касается книг Вольтеровых, почитателем коего быть не стыжуся, то сказать вам могу, любезнейший будущий зятек мой, что хотя в них много содержится преострого и поистине куриозного, но все ж таки всего без рассуждения принять отнюдь не можно. И Воль-

теров острый разум затмевался иногда тучами ложных и суетных предрассуждений. Поживите с мое, государь мой, тогда сами увидите, что с этим народом без грозы обойтись никак нельзя, для их же пользы, которой сами они не понимают. Сама государыня-матушка, покойная императрица, премудрая Екатерина Великая, сия северная Семирамис, хотя и быть изволила в переписке с сим преславным отшельником фернейским, однако когда супруга ее бывшего фаворита вздумала похваляться с дерзостью, что я, дескать, от самой государыни муженька отбила, то повелела, сказывают, с этою особою поступить так же, как вчера поступлено было с Лушкою, и повеленное, сказывают, исполнено было неленостно.

Алексей, сильно покраснев от негодования, воскликнул с пылом:

— Сей способ наказания унижает человека весьма и употребляем над людьми быть не должен.

— А пусть человек не превозносится, — возразил Николай Степанович, с благосклонною улыбкою глядя на пылкость молодого человека, которая казалась ему следствием его незнания людей и обстоятельств.

И на этот раз опять милые расстались весьма холодно.

Глава седьмая

Однажды, приехав в Ворожбинино перед обедом, Алексей застал Лизу идущею в девичью, куда и его повела она за собою. Это была комната, расположенная рядом с залою, просторная, но освещенная только двумя окнами, находящимися в более узкой ее стене. Десятка два крепостных девиц сидели там довольно тесно, склоняясь над работою. Шилось и вышивалось Лизино приданое, — работа, начатая уже давно и с которою теперь, по обстоятельствам, весьма спешили. Одна лишь из девушек ничего не делала и, стоя у окна, говорила что-то сидящей рядом своей подруге. Когда Алексей и Лиза вошли, она замолчала. Алексей подумал сначала, что она приставлена надзирать за работою других девушек, — но для этой важной обязанности она

была очевидно слишком молода. Взор ее, обращенный на вошедших, показался Алексею странным. Глаза ее были очень красны. Лиза спросила ее:

— Что, Марфушка, зачем ты здесь?

— Пришла, барышня, с подружками побыть, — отвечала Марфушка.

— Ты им мешаешь работать своими разговорами, — сказала Лиза, — иди себе.

Марфушка вышла странно колеблющимися шагами, придерживаясь за стены. Лиза сказала, обратившись к Алексею:

— Такая досада, — Марфушка ослепла. В глаза ей сор попал, и она теперь едва видит, как сквозь тонкое ситечко. Ходит, на людей натыкается и вышивать не может. А самая искусная у нас была вышивальщица. И такая усердная, — ночей не досыпала. Другие девки давно уж носом клюют, а она знай себе шьет.

Алексей всмотрелся, и ему показалось, что у всех здешних вышивальщиц и кружевниц глаза покраснели и слезятся. Он прошел между их станками. Работа была мелкая и трудная, свету падало немного, а точность рисунка и тонов доказывала, что сидящие здесь девки не даром ели хлеб свой, видно, смоченный в обилии их слезами. Вышедши из девичьей вместе с Лизою, Алексей сказал ей:

— Я вижу, что эти девушки работают всякий день слишком долго, что вредит их зрению. Можно бы и не так торопить с этою работою. Разве необходимо, чтобы непременно все было готово к дню нашей свадьбы?

Лиза отвечала с неудовольствием:

— Я не хочу войти в твой дом как какая-нибудь бесприданница.

— Из-за пустого тщеславия, Лиза, — сказал Алексей, — ты допускаешь, что служанки твои слепнут над чрезмерною работою. Ты не хочешь быть для них госпожою милостивою.

Лиза возразила с живостью:

— Марфушка не от работы ослепла, а от ветру, который нанес ей сору в глаза. У нас на селе есть девка слепая, Аннушка, дочь Мирона кузнеца, — что ж, ведь она и не вышивала, да ослепла.

— Посмотри на твоих кружевниц, Лиза, — сказал Алексей, — у них у всех глаза красные.

— Вот кончат мое приданое, — возражала Лиза, — тогда не будет спешной работы, а теперь пусть немного потрудятся для меня. Разве я уж и не стою того, чтобы для меня поработали? Зато у меня будут вещи, которым всякая хозяйка позавидует. Лучше наших вышивальщиц и кружевниц во всей губернии не найти.

— Нет, Лиза, — сказал Алексей, — я не хочу, чтобы в мой дом вошли вещи, над которыми теряли зрение эти несчастные. Человеколюбие запрещает мне участвовать в этом.

Лиза чувствовала, что Алексей огорчен сильно, и знала, что работу крепостных искусниц можно облегчить. Но самолюбие мешало ей признаться в том, что Алексей прав, и она продолжала спорить:

— Она не оттого ослепла, что много работала, а оттого, что ей сор в глаза попал. Она это сама говорит. Притом же ведь наши хамы для нас и созданы. Ведь ее будут кормить всю жизнь, хоть бы она ничего не работала. Какой нам прибыток от слепой?

— Человек создан Богом для иных, возвышенных целей, — сказал Алексей, — а не для наших пустых удовольствий.

— По-вашему, я — пустая и жестокая, — сказала Лиза с огорчением. — Для вас Марфушка дороже меня.

Так мало-помалу наговорили они друг другу много неприятных и укоризненных слов. Наконец Лиза оставила Алексея и ушла в другую комнату. Расстались они в открытой ссоре, даже не простившись друг с другом. Когда Алексей стал прощаться со стариками, Надежда Сергеевна, не видя Лизы в гостиной, кликнула:

— Лизанька, где ты?

— Я здесь, маменька, — отозвалась Лиза из смежной комнаты.

— Лизанька, да что ж ты к жениху не выйдешь? — говорила Надежда Сергеевна. — Простилась бы, — Алексей Павлович собрался ехать.

Лиза ответила, не показываясь:

— Ему Марфушка меня дороже, пусть он с нею прощается.

— Елизавета Николаевна не уважает моими просьбами, — сказал Алексей. — Я не заслужил ее доверия.

Николай Степанович, посмеиваясь, говорил:

— Милые бранятся, только тешатся. То-то молодо-зелено.

Алексей сухо раскланялся и уехал домой. Родители стали было выговаривать Лизе, но, узнавши в чем дело, приняли ее сторону. Алексей же, едучи домой, думал о Лизе: «Как я обманулся в этой девушке! Она казалась мне ангелом небесным, а на самом деле она — пустая девушка с холодным сердцем».

Долго думал он дома, что ему делать. В его сердце боролись любовь к Лизе, не способная погаснуть, и пламенная ненависть к деспотизму. Наконец он решился подавить свою любовь и расстаться с Лизою. Дорого стоило ему это решение. Целую ночь он не мог заснуть и ходил по кабинету, обуреваемый борьбою разнообразных чувств и помышлений. Наконец уже утром, в состоянии, близком к отчаянию, он сел к столу и написал Лизе письмо, в котором изъяснил ей, что вследствие разности их понятий он не осмеливается принять на себя имя ее супруга и потому с душевным прискорбием возвращает ей обручальное кольцо, желая ей совершенного счастия с другим.

Отправив это письмо, Алексей почувствовал, что сердце его разбито и что никого никогда уже он не полюбит. В глубине души еще лелеял он слабую надежду, что все как-нибудь обойдется, что Лиза сознает свою неправоту и кольца не примет. Но вскоре полученный им от Лизы холодный ответ с приложением ее кольца погрузил его в глубокое отчаяние. Алексей в тот же день быстро собрался и выехал в Петербург, чтобы там хлопотать о заграничном паспорте. Скоро дошли вести, что он уехал в Германию.

Лизины родители не знали меры своему гневу на Алексея. Спохватившись, что напрасно дали они согласие человеку со свободными мыслями, понадеявшись на его позднейшее исправление, они говорили:

— Вот и упражнялся в науках! Вот и ездил по чужим краям! Науки-то эти да поездки чужедальние до добра не доведут.

Лиза была неутешна. Долго плакала она по ночам. Но днем крепилась, не показывала своей скорби, — из гордости. Даже притворялась веселою. На утешения матери она отвечала:

— Маменька, я о нем так же мало думаю, как о прошлогоднем снеге.

Николай Степанович говаривал дочери:

— Лизанька, не беспокойся об этом нимало, держись Панглосовой системы, — все, что ни делается, все к лучшему. Женишка мы тебе найдем на славу.

И отец и мать сильно гневались на девок, невольных виновниц разрыва. Хотели было даже наказать Марфушку, зачем совалась, куда ее не звали, да Лиза на этот раз упросила не наказывать.

— Ее сам Бог наказал, маменька, — говорила она.

В памяти ее повторялись Алексеевы слова, и в сердце, хотя и гонимое непобедимым упрямством, таилось еще неясное сознание виновности. Надежда Сергеевна при этих словах дочери прослезилась и сказала:

— У нашей Лизаньки золотое сердечко.

Долю вышивальщиц и кружевниц Лиза решила облегчить, сколько можно. Она часто приходила в девичью и думала: «Чем же им здесь худо? Сидят в тепле и в покое, работа не тяжелая, не то что жать в поле рожь. Что же еще надобно сделать для них, чтобы стать милостивою госпожою?»

Но не знала этого Лиза.

Один за другим являлись в Ворожбинино женихи по-прежнему, потому что уж очень завидною невестою была Лиза. Но Лиза отвергала всех женихов. И не то чтобы сразу, — не хотелось ей показать, что она все еще тужит об Алексее, и она думала, что если найдется человек, которого она полюбит, то она за него и выйдет. При каждом новом предложении Лиза попросит дать ей время на размышление до завтрашнего дня, ночью поплачет, вспоминая Алексея, а утром скажет:

— Папенька и маменька, я не хочу идти за него замуж.

Родители примутся ее уговаривать, сначала с ласкою, потом построже: женихи все сватались совершенно хорошие и подходящие по всему, — мелкопоместные или пожилые и соваться пока не смели. Лиза ударится в слезы, и тогда отец и мать отходят от нее, говоря:

— Полно, Лизанька, не плачь. Мы с тебя воли не снимаем. Только смотри, невеста разборчивая, засидишься в девках, придется тогда идти за первого, кто посватается, за какого-нибудь колченогого капитан-исправника.

Часто Лизины мысли обращались к Алексею. Она сравнивала его со всеми другими молодыми людьми в окружности, и он представлялся ей всех умнее, добрее, благороднее, красивее. Родители два раза возили ее по зимам в Москву, где у них были родственники, питая надежду там выдать Лизу замуж. Но и московские блестящие женихи не снискали расположения Лизы, неутешной в своей тайной печали.

Так прошли два года. Любовь к Алексею не умирала в Лизином сердце, и Лиза все это время жила как во сне. В начале третьего года, осенью, умер Николай Степанович, простудившись на охоте. Вскоре затем, потужив и поболев немного, умерла и Надежда Сергеевна. Бабушка Елизавета Павловна скончалась еще раньше, вскоре после ссоры Лизы с Алексеем. Лиза осталась одна, окруженная преданною дворнею и привыкшими к ней и к дому приживальщиками и приживалками.

Глава восьмая

Лизе шел уже двадцатый год, и она сама стала бодро, хотя пока и неумело, править всем хозяйством. Заботы ее направлены были к тому, чтобы стать госпожою благожелательною и милостивою, поддерживая, однако, порядок и благосостояние имения своего на пристойном уровне.

Приехал было назначенный дворянскою опекою к Лизе попечителем ее дядя по матери, отставной капитан Калаганов, и расположился управлять имением. Он тотчас взял начальственный тон и заговорил с Лизою, как с субалтерном своей роты. Но не удалось бравому капитану здесь водвориться, и пробыл он здесь воистину калифом на час.

Капитан Калаганов был пьяница, кутила, картежник и мот. Его маленькая деревушка, очень запущенная, лежала в соседнем уезде. Крестьян своих Калаганов утеснял и разорял обременительными и вздорными распоряжениями своими. Отношения его с Лизиными родителями никогда не были близкими по причине непорядочного образа жизни, которому предавался бравый капитан по выходе в отставку. Согнав угрозою власти и улещиваниями изрядное количество пригожих девок в дворню, предавался он с ними пьянству и непотребству. Не однажды видели его катающимся по реке на лодке в обществе голых девушек, из которых многие сидели, из стыда опустив головы и отвращая лица от идущих по берегу. Ослушаться же Калаганова, однако, не смели, страшась жестокого наказания.

Приехав в Ворожбинино и увидев много пригожих дворовых и сенных девушек, капитан исполнился радостью и уже предвкушал блаженство. Вечером, за обильным ужином, уже он заговорил с Лизою о том, что для рассеяния скорби надлежит ей поехать временно в какую-нибудь из двух других ее деревень и жить там. Он говорил:

— Здесь все напоминает тебе, Лизета, о твоих покойных родителях, а девушке в твоем возрасте не следует предаваться меланхолии. Я провожу тебя, друг мой, в Ремницы и устрою там, а сам опять буду сюда, твое добро стеречь и прибытки тебе делать.

Лиза отвечала ему почтительно, но с твердостью:

— Простите меня, дяденька, но этого дома, где скончались мои дорогие родители, и того места, где почивают их священные для меня останки, я не оставлю.

Калаганов стукнул по столу стаканом и сказал грозным голосом, сердито глядя на перепуганную Лизу:

— Ты еще молода, сударыня, чтобы со старшими спорить. Я — твой дядя и попечитель, и ты будешь делать все то, что я тебе прикажу, без всяких разговоров.

Лиза, быстро оправясь от внезапного испуга, усмехнулась и сказала:

— Я, дяденька, буду оказывать вам должное повиновение, но только я и при покойнике папеньке делала то, что мне самой хотелось. При-

кажите мне услужить вам в чем-нибудь, я это сделаю охотно, а из этого моего дому выехать ни за что не хочу.

Капитан побагровел от гнева и сказал еще более грозно:

— Больно ты бойка, Лизавета Николаевна, да мы и не таких норовистых объезжали. Иди-ка, сударыня, спать, да свечу не жечь понапрасну. У вас тут, сказывали мне, Вольтерами пахнет, а я Вольтерова духа недолюбливаю.

Лиза послушно встала из-за стола и, пожелав дяде спокойной ночи, удалилась. Раздевшись, она тотчас погасила свечу и попыталась заснуть, дабы показать свое послушание в пределах должного. Но сон бежал от ее глаз, разнообразные мысли и чувствования волновали ее ум, и она долго ворочалась с боку на бок, пока необычайное смятение и крики в доме не заставили ее в испуге вскочить с постели. Кое-как накинув на себя утренний капот и попавшуюся под руку мантилью, выбежала трепещущая Лиза в прихожую, чтобы узнать, что случилось и не горит ли, Боже упаси, где-нибудь в обширном ее доме. Случилось же вот что.

По уходе Лизы капитан еще долго сидел в столовой, сначала в обществе двух старичков, потом один, осушил не одну бутылку вина, совещаясь и размышляя о том, какими мерами принудить Лизу к повиновению. Решив завтра же, добром или неволею, увезти Лизу, да и не в ее Ремницы, а в свою деревню, где за нею лучше присмотрят, он взял свечу и направился в кабинет Николая Степановича, где была приготовлена ему постель. По дороге заблагорассудил он взять с собою какую-нибудь девушку, чтобы осчастливить ее своим вниманием. Войдя в каморку под лестницею, где спала одна из девушек, он разбудил ее и, не столько словами, сколько знаками изъяснив ей свои намерения, стал понуждать ее оставить свою постель и следовать за ним. Но так как покойный Николай Степанович смотрел на своих подвластных только как на людей, дарованных ему судьбою для работы и службы, и непотребству с ними никогда, даже и в молодые свои годы, не предавался, то и не привыкли здешние девушки к такому вниманию со стороны господ. Потому и разбуженная капитаном девушка оказала решительное противодействие всем настояниям его.

Когда же капитан перешел в настойчивое наступление, девушка отчаянно завизжала, укусила капитанову руку, выбежала с громкими криками в прихожую и таким образом всполошила весь дом. Капитан же, ослепленный вином и страстью, не догадывался оставить ее и, уцепясь за ее сорочку, пытался зажать ей рот или унять ее грозными окриками.

Лиза, прибежав на этот шум, увидела прихожую, наполненную полуодетыми людьми, державшими свечи и фонари и в недоумении жавшимися к стенам, и посередине нападавшего капитана и отбивавшуюся от него с громкими криками девушку. Увидя вошедшую барышню, девушка бросилась к ее ногам и, обливая их слезами и осыпая поцелуями, молила о защите, причем Лиза имела случай вспомнить, что, выбежавши опрометью сюда, она даже туфель надеть не успела. Лиза обратилась к капитану Калаганову с вопросом:

— Что это значит, дяденька? От какого насилия ищет Палаша защиты у моих ног? Разве одно пребывание мое в этом доме уже не служит для всех достаточною защитою?

Капитан, приосанясь и покручивая длинные усы, хотя и с немалым трудом держась на ногах, сказал запинаясь:

— Эта тварь, того, покушалась, да, покушалась на мою жизнь, а я ее, того, за косы.

Палаша завопила с отчаянием:

— Напраслина, матушка барышня, звездочка наша ясная, напраслина. Я спала себе смирнехонько, ничего не знала, а барин пришли ко мне в каморку и стали охальничать.

Но и без этих уверений ложь капитановых слов была столь очевидна, что некоторые смешливые девки едва удерживали веселость, зажимая рты и унимая друг дружку.

— Этого не могло быть, — сказала Лиза, — Палашка у меня девка смирная и покушаться на вас ей не за что. Идите-ка лучше спать, а утром увидим. Утро вечера мудренее. Лушка, дай барину свечку, видишь, его-то погасла.

Капитан, ворча сердито и пожимая плечами, удалился, не имея уже того воинственного вида, который отличал сегодня все его слова и поступки.

Наутро Лиза, пригласив капитана в гостиную, объявила ему, что такого поведения в своем доме она не потерпит, что в попечителе она нимало не нуждается и управит своим имением сама, и заключила свою речь просьбою, чтобы капитан уехал в тот же день восвояси. Капитан принял грозный вид и стал ссылаться на свои права. Но Лиза сказала ему твердо:

— Жалуйтесь на меня кому хотите, а я своего решения переменить не могу, да и не хочу. Я и сама имею основание к жалобам. Вечером вы приказывали мне ехать прочь из моего дома, ночью хотели обидеть мою крепостную, — обижайте меня, если хотите, а моих подданных я никому в обиду не дам.

Тогда капитан переменил обхождение и пытался извинить происшедшее ошибкою и тем, что, выпив вчера на новоселье много вина, ошибся дверью и, думая, что попал к себе, хотел удалить со своей постели дерзкую девку. Но Лиза не вняла его уверениям, повторила настойчиво свое решение и, давши на сборы сроку до после обеда, ушла к себе, оставив бравого капитана растерянным и недоумевающим. Приказав людям строго, чтобы капитану непременно готовы были тотчас после обеда лошади, Лиза заперлась в своей спальне и, под предлогом нездоровья, к обеду в столовую не выходила. Капитан так и принужден был уехать, не повидавшись со своею племянницею. Жаловаться на Лизу он не осмелился, чтобы не подвергать себя пущему конфузу.

И вот Лиза принялась сама управлять своим имением. Бодрая и деятельная, она была с раннего утра на ногах. Лиза скоро увидела, что имение изрядно запущено. В последние годы отец думал мало о хозяйстве, мать тоже не все могла доглядеть. Лизе пришлось немало употребить забот и трудов, пока имение не было приведено в должное устройство. Тогда, дав точные наставления бурмистру и вотчинной конторе, Лиза занялась преимущественно домашним и дворовым хозяйством и девичьею. Непрестанно думая о том, что надлежит делать и знать помещице, чтобы стать госпожою милостивою, она придумала сама работать с девками, в свободное же от работы время пела с ними песни, водила хороводы. Лиза

хотела узнать, как живут, что чувствуют все эти хамы и хамки. Девки радовались ее ласковому обхождению, старые же мужики, покачивая головами, говорили:

— Непорядок.

Бурмистр Степан Титыч так осмелел, что в глаза Лизе говорил:

— Непорядок, барышня.

— Чем же непорядок, Титыч? — спрашивала Лиза, не думая сердиться на смелые слова.

— А тем и непорядок, — говорил Титыч, — что девка должна знать свое место, а господа — свое.

Лиза только посмеялась его словам и продолжала свои чудачества, — так называли это соседские помещики, которым Лизино поведение сильно не нравилось. Ни на кого не обращала внимания Лиза, показала все свое своеволие. Мало-помалу Лиза и одеваться стала, как ее крепостные девушки. Казалось ей, что, перенявши их одежду, она лучше поймет их душу. Сидя с ними в девичьей, Лиза принялась вышивать большое покрывало, — цветы по белому шелку цветными шелками, очень сложный и красивый узор. Какая-то не вполне еще ясная ей самой мысль заставила ее начать эту работу.

Так прошло еще три года. Каждый день работа, в праздник молитва. Зимою за вышиваньем, а летом иногда и в поле с серпом в руках. Лиза говорила:

— Пусть мои дворовые девки жнут барское поле, — барщинным бабам будет легче.

Толку от работы непривычных дворовых девушек было мало, и девушкам это не очень-то нравилось, да с барышнею не заспоришь, — характерная барышня. Она же и сама пример подавала. Загорела Лиза и лицом на крестьянку стала похожа.

Опять сватались к ней многие, и опять всем отказывала Лиза. Как и прежде, отказывала не сразу. Всмотрится, подумает, всю ночь промечтает, сравнивая нового искателя ее руки с Алексеем, — и наутро откажет. А многим хотелось прибрать к рукам Лизино имение, теперь благоустроенное и дающее хороший доход.

Глава девятая

В околотке твердили, что Лиза дурит, что поведением своим внушает она вольные мысли крепостным и является, таким образом, противницею своей братии, дворян. Поговаривали о необходимости учредить над нею опеку. Капитан Калаганов приободрился, полагая, что опекуном назначат его. Сам предводитель дворянства приезжал к Лизе. Это был почтенный старик, служивший когда-то в войсках под командою Суворова и Кутузова. Лиза встретила его приветливо. После учтивой светской беседы предводитель заговорил о Лизиных поступках.

— Смущение производите, сударыня, — говорил он строго. — Крестьяне поощряются к самовольству, а дворяне ропщут.

Лиза отвечала спокойно:

— Я управляю моим имением, как умею, с Божиею помощью и по силе принадлежащей мне, как наследственной помещице, власти.

— Нехорошо, сударыня, — говорил предводитель, — то, что вы с хамами обращаетесь запанибрата, как говорится.

— Эти хамы даны мне Богом, — отвечала Лиза. — Я за них перед Богом в ответе. Потому я хочу быть милостивою госпожою, тем более что крестьяне разоренные и дворовые, непосильным трудом угнетенные, помещику прибытка не дают.

Предводитель строго нахмурил брови и спросил:

— Да в низость-то зачем же вам, благорожденной госпоже, опускаться, милостивая государыня моя?

Хитрила Лиза, говорила смиренно:

— Помещику надобно в точности знать свое хозяйство. Я не хочу, чтобы меня бурмистр да приказчик обманывали, — хочу все в хозяйстве знать, во все сама вникаю. Какой же кому от этого вред? Разве обязана я разоряться, доверившись людям и ни во что не вникая?

Так и уехал ни с чем почтенный старичок. Он не знал, что делать ему с Лизою, доводы которой он никак не мог опровергнуть. Рассказывая друзьям своим об этом свидании, он говорил:

— Вот оно, нынешнее-то воспитание. Возил папенька ее в Москву, — то-то много хорошего набралась там девица. И не сговоришь с нею, — я ей слово, она мне десять.

Лизу оставили пока в покое. А Лиза томилась, ждала, искала чего-то. Она ходила по полям и по рощицам, вспоминая незабвенные встречи и беседы. Ждала чего-то, — уж не новой ли радостной встречи? Думала Лиза: «Ведь я теперь совсем не такая, как тогда, не та пустая и капризная девушка, какою знал меня Алексис».

Иногда Лиза думала с боязливою надеждою: «Неужели Алексис не вернется?»

И опять думала: «Я его недостойна».

Однажды в начале мая месяца посетил Лизу один из ее соседей по имению, полковник Андрей Петрович Приклонский, человек еще молодой, красивый и ловкий, приехавший в свое имение в отпуск из Петербурга, где он служил в одном из гвардейских полков. Лиза взволновалась этим посещением чрезвычайно и оттого показалась Приклонскому весьма провинциальною, но премилою барышнею.

«Он мог видеть Алексиса! Он мог разговаривать с Алексисом!» — думала Лиза, и от этой мысли кровь быстрее обращалась в ее сердце и с тяжким биением восходила до лилейного чела.

Не решаясь завести речь с полковником об Алексее, чтобы внезапным изменением голоса не выдать невзначай своей сердечной тайны, с нетерпением ожидала Лиза, когда Приклонский сам заговорит об Алексее. Полковник, недавно овдовевший, — жена его умерла от неудачных родов, — не прочь был бы жениться вторично. Лиза, которую он помнил еще резвым ребенком, приглянулась ему, отменный порядок и убранство в доме показывали, что имение дает изрядный доход, и все это располагало его к мыслям приятным. Он бы решился даже, извиняя себя крайним недостатком времени, которое он может провести в отпуску, теперь же сделать Лизе предложение. Но молва о том, что Лиза всем искателям ее руки отказывает, удерживала его от излишней поспешности. Самолюбие столичного жителя слишком сильно пострадало бы от такого афронта, нанесенного ему деревенскою барышнею. И потому полковник искусными подхо-

дами старался расположить к себе молодую хозяйку, тщательно примечая, какое впечатление производит он над нею. Он долго и с большим чувством говорил о покойных Лизиных родителях, которых знал он, когда еще Лиза ходила в обшитых кружевами длинных панталончиках. Потом распространился он об удовольствиях и приятностях светской жизни в столице. Лиза неоднократно наводила его на разговор об том или ином уроженце их губернии, уехавшем в столицу искать счастия и чинов. Полковник же от картин жизни светской готов уже был уклониться к описанию разных случаев из недавно оконченной кампании. И тогда уже наконец Лиза прямо спросила его, не встречал ли он где-нибудь Алексея Львицына.

— Как же! — отвечал полковник, и мужественное лицо его озарилось выражением приятных воспоминаний. — Приводилось встречать прошлую зиму не однажды и вести беседы о всяких материях с немалою пользою для ума и для сердца.

Лиза, тщетно стараясь скрывать свое волнение, спросила, женат ли он и на ком. Полковник, зорко, хотя и неприметно для Лизы, всматриваясь в нее и оценивая опытным взором вдруг вспыхнувший на щеках ее румянец и влажное мерцание черных глаз, думал, что вопросы эти, может быть, и неспроста. Усмехаясь внутренне над простосердечием бедной девушки, он отвечал ей учтиво:

— Нет, Елизавета Николаевна, еще Алексей Павлович не женат, да, кажется, вряд ли и собирается жениться. Барышни на него засматриваются; многие девицы и дамы нашего круга восторгаются его умом и всею его особою и говорят, что ему равного не встречали во всю свою жизнь. Но он всегда погружен в меланхолию, как бы тая в душе нежную страсть к неведомой никому деве или мечтая о сказочной Царь-Девице.

При этих словах Лиза смутилась, покраснела, опустила глаза. Ей казалось, что тайна сердца ее известна всем. Собравшись наконец с духом и кое-как преодолев волнение свое, она спросила полковника:

— А вы, Андрей Петрович, скоро ли едете в Петербург?

Мелодичный голос ее при этом заметно дрожал и от этого казался еще более чувствительным.

— Уже на будущей неделе, — сказал полковник с неопределенным выражением не то удовольствия, не то сожаления.

Хотя и привыкший к своему полку, к своим товарищам, к светским отношениям и к утехам военного честолюбия, он находил большую приятность и в деревне, на родине своей. Сожаление его могло относиться и к тому, что приглянувшаяся ему девица, казалось, думает о другом более нежно, чем думают о знакомом, о деревенском соседе или даже о друге детства. Лиза спросила:

— Отчего же так скоро вы от нас уезжаете?

— Призывает служба царская, — отвечал полковник. — А по мне, я бы с превеликим удовольствием остался долго в этих местах, где протекало мое мирное детство, где безмятежно играл я с братьями и сверстниками моими.

Взор закаленного в боях вояки блеснул слезою, и уже готовился полковник предаться умилительным воспоминаниям, — но нежный голос Лизин прервал идиллическое течение его мыслей. Лиза говорила:

— Можете ли вы, Андрей Петрович, исполнить то, о чем я буду вас просить?

— Все, что в моих силах, исполню с превеликим удовольствием, — отвечал полковник.

Лиза помолчала немного и с сильно бьющимся сердцем сказала:

— Передайте, пожалуйста, как-нибудь при встрече господину Львицыну, что я вышиваю покрывало разноцветными шелками и что я надеюсь невдолге окончить его.

Полковник молча и внимательно слушал ее. Лиза продолжала:

— Пожалуйста, не забудьте передать это ему от меня, — мне чрезвычайно надобно, чтобы он знал об этом. Очень красивый и трудный узор, — я сама его выбирала и сама вышиваю.

Лиза обратила к полковнику взор свой с нежно-молящим выражением. Полковник был немало удивлен настоятельностью просьбы о таком, казалось ему, незначительном предмете. Однако, тронутый умоляющим взором Лизы и притом имея большую привычку не только к опасностям бранным, но и к неожиданным прихотям красавиц, он, не показывая своего удивления ничуть, сказал учтиво:

— Будьте уверены, Елизавета Николаевна, что я передам это непременно, точно и с отменным моим удовольствием.

Не спрашивая Лизу ни о чем, он тотчас встал и откланялся. Хотя и досадно было ему думать, что эта прелестная девица не будет его невестою, но он не показал нисколько своего неудовольствия и огорчения. Распространяться о предмете ее просьбы, — казалось ему, — было бы с его стороны нескромностью по отношению к молодой хозяйке, уже и без того смущенной.

Когда Приклонский уехал, Лиза вышла на дорогу, в блюденую рощу, поднялась в беседку-миловиду, из которой открывался далекий вид, и долго смотрела вслед за уносящеюся быстро коляскою, пока облака пыли не сокрыли ее совершенно. Неопределенные думы и мечтания теснились в ее душе. Тонкий крик жаворонка в лазури ясной точно звал ее куда-то ввысь, но ах! где же вы, крылья, на которых мчаться бы высоко над землею!

Вечером в тот день Лиза с восковою свечкою, поставленною в жестяном коробке, пошла на речку в сопровождении девок, несших за нею огонь. На берегу реки Лиза своими руками затеплила свечку и, став на колени на мелкий песок берега, пустила коробок на воду. Поплыл огонек вниз по речке, мелькая и колыхаясь. Девки с не меньшим волнением следили за ним, как и их госпожа. Когда огонек, не погаснув, скрылся за поворотом реки, девки зарадовались и закричали все вместе. А Лиза пошатнулась, и в глазах у нее потемнело. Радостная возвращалась она домой, и даже то не тревожило ее, что перед глазами ее, — следствие усердной работы над вышиванием, — плывут фиолетовые и желтые пятна, заслоняя предметы.

Глава десятая

Еще усерднее с того дня стала Лиза вышивать свое покрывало, очень сложный и трудный рисунок которого доставлял ей много забот и требовал напряженного внимания, ни на минуту не ослабевающего. Чтобы соблюсти точность в частях и гармонию в целом, надобно

было тщательно подбирать тончайшие оттенки шелков. Вот когда поняла Лиза, чего стоит подневольная работа вышивальщиц, как ноет спина, как бывают натружены глаза. Уже много-много недель прошло с того утра, когда Лиза начала эту работу, а еще весьма изрядный кусок оставался.

Однажды в июне месяце сказали ей девушки, что в Заозерье ждут барина. Они говорили:

— Сказывают, недолго пробудет.

— Говорят, опять в чужие края, на теплые воды собирается.

И не знали угодливые девки, как надобно говорить о соседнем барине, заозерском помещике, с почтением ли или так, как о господском враге.

Никто не мог бы описать того волнения, с которым выслушала Лиза эту весть. Одна мысль господствовала в ней над смятением чувств и дум разнообразных: «Он приедет, а моя работа еще не кончена. И уедет опять невесть куда, и уже, может быть, навсегда, так не увидав плодов моего великого усердия».

Лиза торопилась кончать свою работу. Она сидела ночи напролет, спала совсем мало. И вот теперь сама она узнала, как тает мир в натруженных глазах.

Кончила она вышивание однажды под утро. Никого не было при ней, все домашние спали, и только свечи, тускло мерцающие в мутно-палевых лучах рассвета, были свидетельницами тихой радости ее, когда она закрепила последнюю шелковинку. И эта шелковинка была вишнево-алого цвета, совсем такого же, как и маленькая капля крови, выступившая на нежном Лизином пальчике, уколотом на последнем стежке заторопившеюся иглою. Спина у Лизы болела, в глазах было багряно и туманно, голова кружилась. Спала Лиза тревожно и недолго и встала, когда еще солнце было невысоко. День казался ей темным, и все предметы плавали в лилово-багряном тумане. Она чувствовала большую слабость, и ей казалось, что она скоро умрет, но ей не жаль было жизни, потому что труд ее был кончен.

В этот день Лиза, первая из соседей, узнала о том, что Алексей приехал. Прибыл он в свою вотчину после полудня, и еще не успело

солнце опуститься низко, как уже Лиза узнала об его приезде. Лушка, сердце которой в то время было покорено молодым заозерским садовником, прибежала к Лизе запыхавшись и сказала:

— Барышня, молодой барин Львицын, сказывают, сейчас приехал. Да как постарел! Да как подурнел!

Больно забилось Лизино сердце. Она села на стул и, растерянно глядя на изумленную Лушку, повторяла:

— Молчи, глупая, молчи!

Немного оправившись от первого приступа волнения, рожденного неожиданностью, поспешила Лиза к только что оконченному ею вышитому покрывалу. Она приказала развернуть его во всю длину, чтобы еще раз обозреть его перед отправлением к Алексею. Столпившиеся вкруг нее девушки ахали и восхищались вышивкою, приговаривая:

— Да и хорошо же вышиванье-то!

— Ну уж и искусница барышня-то наша!

— Вот-то уж золотые ручки у барышни нашей!

Сама же Лиза смотрела на работу, плохо различая отменно красивый узор. Очаровательные оттенки красок смешивались в ее глазах в одно пестрое, переливно мелькающее пятно. Сложив при помощи девок покрывало по длине вдвое, Лиза бережно свернула его в несколько оборотов, завернула его в чистое, тонкое полотно и осторожно завязала шелковым шнуром, чтобы в сохранном виде отправить его к Алексею. К этому подарку присоединила она мед из своих ульев и своими руками срезанные ею цветы из сада и из теплиц. Кончив эти заботы, она села за маменькин стол красного дерева с бронзовыми полосками писать Алексею письмо.

Руки ее дрожали, когда она начертывала эти строки, колеблясь между желанием излить свои чувства и страхом показаться смешною или навязчивою. К душевному волнению и нерешительности присоединилось еще и то, что слезы текли из ее натруженных глаз, застя свет заходящего солнца, буквы прыгали, и строки мешались. При этом не одно из перьев, мастерски очиненных для барышни в конторе молодым грамотеем Тихоном, сломала она и не один лист аглицкой поч-

товой бумаги, испачканный чернилами, разорвала, прежде чем письмо было готово. Притом и на тонких пальчиках Лизиных осталось несколько чернильных пятен, от чего, впрочем, не стали они менее красивыми. Лиза писала:

Милый Алексис!

Я услышала, что Вы приехали в Заозерье, и минувшие дни предстали вдруг предо мною, как смутный, но сладостный сон. Не сердитесь на то, что я пишу к Вам.

В память былой дружбы нашей примите от меня этот непышный дар, покрывало, над которым блуждали мои бедные руки, мои усталые глаза, мои печальные мечты. Примите и вспомните ту, которая Вас никогда не могла забыть. Также взгляните благосклонно на цветы, срезанные мною, и да будет Вам сладок мед, произведение скромного хозяйства моего.

Я буду очень рада, если Вы приедете пообедать со мною и взглянуть на то, как живу я, горестно осиротевшая, так внезапно потерявшая любимых родителей. О том, как мне это было больно, нечего и говорить.

Впрочем, если неприятны Вам воспоминания о днях, для меня незабвенных, то прошу я Вас не стеснять себя просьбою моею. Я же воспоминания о Вас навсегда замкну в сердце моем, не имеющем иных радостей, кроме воспоминаний.

От всего сердца желающая Вам счастия,

Лиза Ворожбинина

С одним из наиболее расторопных и толковых слуг своих послала Лиза это письмо и дары свои соседу как привет новоприезжему. Сама вышла на заднее крыльцо смотреть, как запрягали в тележку серую гладкую лошадку. Сама смотрела внимательно, хорошо ли уложены ее дары, не мнутся ли, не сохнут ли цветы, не льется ли мед, не трется ли, не гнется ли покрывало. И так как глаза ее были как бы в тумане, то все дары свои тщательно перетрогала она руками, пальцы которых были исколоты ее прилежною иглою. Когда наконец тележка, гремя окованными железом колесами и подпрыгивая на камешках дороги, покатилась со двора, Лиза побежала за ворота, как резвое дитя, и закричала вдогонку:

— Смотри, Дмитрий, довези все в сохранности, да письма не потеряй.

На что черноусый Дмитрий, кумир всех деревенских девок, только покрутил головою и помахал кнутом, от чего лошадка побежала еще

бойчее. В одну минуту в надвигающихся сумерках убегающие очертания тележки, седока и лошади слились в отуманенных Лизиных глазах в один серый мреющий ком. Лиза почувствовала, что глазам ее больно. Внезапно уставшая и плачущая, возвратилась она домой и стала ходить из комнаты в комнату, нигде не находя себе места и нетерпеливо поджидая возвращения Дмитрия. Нетерпение ее возрастало с каждою минутою, и при наступлении темноты ночной была уже она как сама не своя. Старая нянька пыталась утешить ее. Говорила:

— О чем слезы ронишь, Лизанька? Холост, не женат вернулся, — видно, тебя не забыл.

— Ах, забыл! Ах, забыл! — ломая руки, повторяла Лиза. — Вон из глаз, вон из памяти.

Что же делал меж тем Алексей?

Прожив два года в Германии, он вернулся в Россию и поселился в Петербурге. Состояние позволяло ему не поступать на государственную службу, где пришлось бы ему, несомненно, действовать не всегда согласно с его убеждениями и склонностями. Он жил свободно, то предаваясь светскому рассеянию, то вдруг затворяясь от самых близких друзей и погружаясь в свои книги и бумаги. Знакомые считали его отчасти чудаком, но извиняли это за его отменную со всеми любезность, а также и по причине тех небольших одолжений и услуг, которые человек со средствами всегда может оказывать своим приятелям и которые Алексей оказывал им весьма охотно.

Во все эти годы образ Лизы всегда владычествовал над душою Алексея. Порою доходили до него кое-какие вести о Лизе, — так, знал он, что она отказывает всем искателям ее руки. Много раз порывался Алексей поехать в свою деревню, чтобы иметь возможность еще раз взглянуть на милое лицо. Но что-то удерживало его. Недавно Алексей на обеде у одних своих знакомых, проводящих лето на Каменном Острове, встретил полковника Приклонского. Здесь от полковника Алексей услышал переданные ему со светскою легкостью слова Лизы о будто бы вышиваемом ею покрывале. В словах этих почудилась Алексею

злая насмешка над ним. Казалось ему, что Лиза не без дурного намерения просила передать ему известие относительно предмета, подобного тому, из-за которого они рассорились: конечно, думал он, Лиза хочет показать ему, что словам его не придает значения и что по-прежнему ее крепостные девушки тратят зрение над вышивками.

Потом, уже дома, размышляя об этом, он вспомнил, что полковник говорил ему, будто Лиза вышивает покрывало собственными руками. Но сообразив, что и сам он иногда заставал Лизу за пяльцами, причем вышиваемый ею узор мало подвигался к окончанию, он объяснил себе эти слова тем, что Лиза, для рассеяния скуки, приходит иногда в девичью и делает несколько небрежных стежков, едва ли украшению общего способствующих, несравнимо же большую часть работы делают девушки. Таким образом укрепился он в дурном мнении о Лизе. Но — странная непоследовательность влюбленных! — именно это решило его намерение ехать в Заозерье. Впрочем, надобно сказать, что Алексей не думал определенно о свидании с Лизою. Не только в разговорах с друзьями, но и перед самим собою поездку свою Алексей объяснял тем, что надобно же ему посмотреть свое имение и проверить, управляется ли оно хорошо и не чинятся ли крестьянам и дворовым обиды и утеснения.

Дороги были то хороши, то плохи. Ямщики, поощряемые щедрыми подачками на чай, везли быстро. Станционные смотрители были по большей части внимательны к проезжему, изысканная одежда которого и тонкость манер заставляли предполагать в нем особу высшего общества. Дорожные встречи и беседы на местах ночлегов бывали нередко занятными. Словом, Алексей довольно быстро и не без приятности доехал до своего имения. Вид с детства знакомых мест оживил в Алексее все его прежние чувствования, мечтания, ожидания и надежды, и сердце его забилось, когда он с вершины ближнего холма увидел крест над сельским храмом в Ворожбинине, куда он ходил еще ребенком.

Все в доме застал Алексей в полном порядке и потому не видел себя вынужденным немедленно вникать в дела хозяйства. А потому пришедших к нему с докладами отправил он, сказав:

— Позову на днях, когда отдохну с дороги.

Глава одиннадцатая

Лето стояло такое же очаровательное, как и в тот памятный год. Когда стемнело и над изумрудною зеленью лугов поднялся белый туман, в котором разливался неясный, млечный свет только что взошедшей луны, Алексей вышел из дому и долго ходил один над ручейком, отделяющим его владения от полей ворожбининских. Взоры его обращены были в ту сторону, где пережил он столько разнообразных чувствований, радостных и печальных.

Во время этой его прогулки приехал в господскую усадьбу в Заозерье Дмитрий с дарами своей барышни. В приятельской беседе с дворовыми заозерскими, не отходя, однако, от тележки с дарами, провел он более часа. Наконец, когда барин вернулся с прогулки, Дмитрий был допущен в барский дом, передал в собственные руки Алексея дары и письмо и, стоя почтительно, ждал, будет ли ответ. Приняв дары и подаривши Дмитрию серебряный рубль на водку, Алексей приказал ему ждать ответа и удалился в свой кабинет прочесть Лизино письмо и написать ответ.

Долго сидел Алексей, предаваясь грустным размышлениям. Наконец, решив, что полученное им письмо продиктовано притворством и тщеславным намерением увидеть у своих ног отвергнувшего ее некогда поклонника, он почувствовал в душе своей ожесточение и написал:

Милостивая Государыня,
Елизавета Николаевна!

Я глубоко признателен Вам за подарок Ваш, верное свидетельство отменного умения Вашего управлять вещами и людьми. Располагая уехать отсюда вскоре, не знаю, буду ли иметь возможность воспользоваться любезным приглашением Вашим, за которое приношу Вам мою нижайшую благодарность.

Впрочем, имею честь быть с истинным почтением покорнейший слуга Ваш,

А. Львицын

С трудом, при свечах, прочитавши холодный ответ Алексея, Лиза долго плакала навзрыд. Сон не приходил к ней, и она бы так и не ложилась в постель, если бы Лушка и Степанида, по приказу старой

няньки, не отвели ее в спальню, где, почти бесчувственную от жестокой печали, раздели и уложили ее. Но весь ночной отдых ее состоял лишь в том, что она в тягостном полузабытьи то одною, то другою стороною вверх переворачивала подушку, беспрестанно увлажняемую слезами.

Утром встала она рано и пошла к ручью, разделявшему ее владения от Заозерья. Теплилась в сердце ее слабая надежда на то, что, быть может, встретит она Алексея и скажет ему, хотя бы и в последний раз, про свою любовь. Утро взошло прохладное, росистое и многоцветное, но Лиза мало что различала, словно очертания и цвета предметов скрадывались от ее взора падением великого дождя. Лизе казалось, что мир зыблется в ее глазах. Лизины глаза краснели, — от ветра, веющего ей навстречу? от пролитых в изобилии слез? от усталости? Образ ослепшей Марфушки стал в ее воображении. Сердце ее сжалось. Лиза думала печально: «Ослепну и я. Ну что ж! Разве мы не видим лучше глазами души, чем глазами тела?»

Вот и мостик, перекинутый через пограничный ручеек. Здесь столько раз встречались Лиза и Алексей! Не однажды, опираясь на тонкие перила моста, из молодых березок срубленные, прислушивались они к мелодичному журчанию водных струй, перебегающих с камешка на камешек по неровному, извилистому руслу, окруженному живописными холмами и осененному раскидистыми деревьями. Лиза быстро пробежала по мостику и ступила на землю, принадлежащую ее милому. Она стояла там, объятая неизъяснимым волнением, не смея идти вперед, не решаясь вернуться. Вдруг ее испугал раздавшийся где-то незнакомый мужской голос, выкрикивавший слова, разобрать которые за отдалением было невозможно. Лиза поспешно побежала обратно. На другой стороне она остановилась, чувствуя здесь себя спокойнее.

«Здесь я у себя, — подумала она, — но и там, глупая, чего же мне бояться!»

Лиза села на большой обомшалый камень, издавна лежавший невдалеке от входа на мост. Она думала: «Неужели Алексис не придет сюда в этот ранний час, в который некогда мы с ним на этом месте встречались?»

Долго сидела она в ожидании, наконец решила, что уже, видно, Алексей не придет. Она, вздохнув печально, уже собиралась уходить. Туманным взором окинула она окрестность и уже оперлась о камень рукою, чтобы встать, как вдруг услышала она невнятный шорох в кустах и вслед затем шаги на спускающейся к ручью дорожке. Не смея ни на что надеяться, Лиза подняла глаза.

Через мост тихо шел, погруженный в глубокую задумчивость, Алексей. Он вспоминал минувшее и не думал в ту минуту, что переходит через границу владений своих и готовится ступить на землю, которой нога его не касалась уже пять лет. Взор его невнимательно скользнул по простому одеянию Лизы. Алексей принял ее почему-то за одну из поповен ближнего села. Поклонясь ей приветливо, он уже готовился пройти мимо, когда знакомый голос, проникший до глубины его души, внезапно остановил его и заставил всмотреться в сидевшую на камне девушку. Лиза узнала его, — ах! глазами души более, чем глазами тела. Разве не различила бы она и в глубокой ночи его походки!

Лиза встала и поспешно пошла навстречу Алексею. Сердце ее сильно билось. Перед нею плыл багряный туман, сквозь который только лицо Алексея различала она, только на одно это лицо хотела она смотреть. Алексей глядел на нее с изумлением и с невольною нежностью. Вместо легкомысленной, веселой шалуньи и своевольницы, какою помнил он Лизу и какою он еще вчера воображал ее, рассматривая ее подарки, стояла теперь перед ним, с глазами, полными слез, стройная, печальная девушка, лицо которой было неизъяснимо трогательно и прекрасно. Они стояли друг против друга и обменивались первыми словами принужденного разговора. Поблагодарив Лизу за вчерашнее подарки, Алексей сказал печально:

— Вышивание превосходно, и весьма лестен, но не утешен мне сей ваш, Елизавета Николаевна, насмешливый подарок.

— Но неужели думаете вы, Алексис, — спросила Лиза, — что я в насмешку послала вам эту работу?

Она с трудом удерживала готовые уже пролиться слезы. Алексей говорил:

— Вышивали его, бессомненно, отменно искусные мастерицы, лучшие из тех, коими вотчина ваша на всю округу издавна славится.

Лиза, улыбнувшись сквозь слез, от чего стала вдвое милее, отвечала:

— Вышивала одна, изрядно усердная, да уж не знаю, сколь искусная.

— И все так же несчастные девушки слепнут над работою? — внезапно вспыхнув, спросил Алексей.

Лиза воскликнула горестно:

— Я сама вышивала! Все покрывало своими руками вышила.

И она заплакала наконец. С удивлением воскликнул Алексей:

— Не может быть! Сколько же лет надобно было над ним сидеть! Лиза, что вы говорите!

Лиза плакала и говорила:

— Взгляните, Алексис, на мои пальцы, они исколоты иглою.

Прямо в глаза Алексею посмотрела Лиза и голосом ангельской кротости сказала:

— Взгляните на мои глаза, они красны от работы и еще более от многих слез, от бессонных ночей, в труде и в печали проведенных мною.

Алексей всмотрелся. Слезы подступили к его глазам. Он осыпал Лизины руки поцелуями. Нежность, любовь, сожаление, раскаяние, радость, — все эти разнородные чувства одновременно возникали и сплетались в его душе. Обняв Лизу нежно, он говорил:

— Ангел Лиза! Ты страдаешь! Ты, мое бесценное сокровище!

Лиза, прижимаясь головою к его груди, отвечала ему:

— Меня тревожила только мысль быть вами окончательно позабытою. Я все слова, все речи ваши сложила в своем сердце и жила единственно только для того, чтобы стать достойною вас. Ныне уже я не та, что была прежде; тогда я глядела на все как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Ныне свет меркнет в моих глазах, и я умереть готова, но глаза души моей открыты для невечернего света Правды, и душа моя радостна, потому что я знаю, — вы простите мне мою детскую злость и все мое бедное неразумие.

Сердце ее трепетало от радости и от печали. Она так плакала, точно вся душа ее растворялась в слезах. И с ее слезами чувствительный Алексей смешал свои, столь же горестные, сколь и сладостные ему слезы. Примирение было равно радостно для обоих.

Через две недели в храме села Ворожбинина, перед тем самым алтарем, пред которым еще детские возносились их молитвы к престолу Всевышнего, перед которым молились, причащались, венчались и были отпеваемы родители их и предки, повенчались Алексей и Лиза, дав друг другу обет верности, неизменной до гроба. Так, претерпев испытания, как некогда Гризельда, достигла Лиза счастья, которым наслаждалась безмятежно до конца своих дней, имев утешение на склоне жизни рассказывать эту историю в назидание своим внукам и правнукам.

В первое время боялись, что Лиза ослепнет. Но неложно говорится, что счастие есть наилучший врачеватель всех недугов телесных и душевных. Глаза Лизины скоро отдохнули, довольно ясное зрение вернулось к ним, хотя уже дальние предметы она различала не столь хорошо, как раньше.

Острие меча

I

Екатерина Сергеевна Старградская почему-то вспомнила в это безмятежно-тихое утро, что меньше, чем через четыре месяца, она будет праздновать свою серебряную свадьбу. Вспомнила всю свою жизнь и удивилась.

Стоя перед зеркалом, она долго смотрела на свое отражение. Ни одного седого волоска, ни одной морщинки, — лицо молодой женщины. И в душе своей чувствовала она то же дыхание молодости и надежд. Правда, она вышла замуж очень молодою, — но все-таки, — четверть века!

Как странно! Все эти годы казалось ей, что настоящая жизнь еще впереди. Все вокруг изменялось, — муж подвигался по служебной лестнице, отличился в японской войне, уж давно произведен в генерал-лейтенанты и командует большою воинскою частью вблизи западной границы. Дети, все четверо, сын и три дочери, строго и просто воспитанные, благополучно выросли, и сын уже два года офицер. Старшая дочь замужем, и у нее недавно родился славный мальчуган, весь в бабушку, как уверяли все в доме.

«Бабушка!» — с улыбкою подумала про себя Екатерина Сергеевна.

Чувствуя себя молодою и сильною, сладко и робко прислушиваясь к трепетной боли сладких надежд, все тою же тоскою щемящих сердце, как и четверть века назад, она с обычною милою ласкою обошла весь дом, — заботливая хозяйка, жена и мать, — поговорила с мужем, чутко заметила, что он чем-то озабочен, нежно

отметила в душе его ласковость и вышла в сад. И в душе ее было тревожное ожидание.

Она знала, что сейчас придет Павел Дмитриевич Буравов, ее старый друг, и что разговор с ним опять обвеет ее грустью, мечтами и надеждами. Сидела в беседке над высоким берегом реки и смотрела на домики городской окраины, на реку, такую спокойную, точно и не текла в ней вода, и на поля за рекою.

Дом Старградских, купленный давно, еще когда дети были маленькими, стоял на краю города; перед домом — площадь, церковь, за домом — большой сад, где ярко освещенные солнцем лужайки чередовались с местами глубокой тени. В саду слышны были голоса молодежи, а здесь, в беседке, было тихо-тихо, как бывает только в тех уютных уголках, где мечты сплетаются с воспоминаниями и где, мечтая и вспоминая, не знаешь, окончена ли вся жизнь или вот-вот сейчас начнется новая.

На песчаной дорожке послышались знакомые шаги, знакомый голос негромко назвал ее имя. Сердце Екатерины Сергеевны сильно забилось. Но голос ее был молодо звучен, когда она говорила первые слова привета.

И вот он сидит перед нею. Беседа их тиха, и кажется, что тишина и печаль сторожат мир этого места. На его рукаве креп, — месяц назад умерла его жена. Густые волосы его слегка тронуты проседью. Он немного старше Екатерины Сергеевны, но, когда он смотрит на нее, кажется, что он так же молод. Голос его, ясный и отчетливый, — славный голос опытного учителя, — звучит молодо и взволнованно.

Они сидят, смотрят нежно друг на друга и говорят, как вчера, как третьего дня, как почти каждый день в последние две недели. Говорят о себе, о своей странной жизни, о своей полузадушенной, но вечно живой любви, о своих робких надеждах.

II

Осторожно и нежно глядя на Буравова, Екатерина Сергеевна говорила:

— Я все думаю, Павел Дмитриевич, о вашей жене... покойной жене. Так странно звучит слово «покойная», когда думаешь о Софье Дани-

ловне. Она была такая живая, такая веселая, такая радующаяся земной жизни.

— Да, — сказал Буравов тихо и задумчиво, — это было так неожиданно!

— И так грустно! — сказала Екатерина Сергеевна.

В ее памяти встало лицо покойницы во время ее недолгой болезни и потом в гробу. Все то же легкомысленное, веселое лицо, и только черные, крутые брови слегка приподняты, и словно отблеск удивления лежал на застывшей улыбке. Екатерина Сергеевна внимательно смотрела на Буравова. Ей хотелось разгадать, был ли он потрясен смертью жены, с которою и он, как она со своим мужем, прожил почти четверть века, — Буравов венчался ровно за месяц до ее свадьбы. Но светло, почти радостно было его лицо. Да, ведь он любил не жену, он любил другую.

Он говорил медленно, следя глазами бегущие по далеким полям тени туч:

— Смерть — дивный феномен. Великое чувство освобождения и печали.

Екатерина Сергеевна покачала головою.

— Освобождение, да, — сказала она, — но печаль! Для этого не надо смерти. Печаль здесь.

Буравов взял ее руку, пожал осторожно и сказал:

— Вы знаете, я ее не любил. Был увлечен короткое время. Но не любил. Не ее любил.

— Она это знала? — спросила Екатерина Сергеевна.

— Она так поспешно и жадно жила, — отвечал Буравов, — что едва ли замечала многое. А я все эти долгие годы...

Щеки Екатерины Сергеевны вспыхнули. Она торопливо сказала:

— Да, я знаю. Вы любили меня!

Так полнозвучны и многозвучны были эти слова! Боль воспоминаний, радость, упрек, надежда, — все слилось в этом взволнованном возгласе. И так зажглись глаза, как зажигаются они только у очень молодых, если не годами, то душою.

Буравов поднес ее руку к своим губам. Говорил:

— Все эти годы такое горькое сознание роковой ошибки! Я любил только вас.

— И однако, — с легким вздохом сказала Екатерина Сергеевна, — женою вашею была она, а не я. Вы скажете, что и я... Да, я не осталась девою четверть века ждать жениха, который мне изменил, ждать и надеяться, что он ко мне вернется!

— Моя вина так велика! — сказал он. — Вина и ошибка! Это была какая-то угарная, мимолетная страсть, и она так быстро развеялась, и я понял, что люблю только вас. Но уже было поздно. Вы уже были замужем. Если бы вы знали, как я страдал, вы бы меня простили.

— Друг мой, — говорила Екатерина Сергеевна, и слезы были в звуке ее голоса, — я вас давно простила. Но у меня уже взрослые дети! Я привыкла к моей печали, и мне так легко здесь.

— А я! — воскликнул Буравов. — Нет, я не мог привыкнуть. И теперь, когда я свободен, я с прежнею любовью, с прежнею страстью зову вас. Придите ко мне, верните свою свободу, будьте счастливы со мною.

— Вы свободны, — повторила Екатерина Сергеевна, — а я нет. И уж я как будто боюсь перемен. Мне здесь так покойно, как в последнем убежище. Мои цепи стали привычными условиями моего существования.

— Если бы вы не надели этих цепей, — сказал Буравов, — я вернулся бы к вам скоро. Ах, зачем вы тогда так поторопились!

Улыбаясь странно и нежно, Екатерина Сергеевна говорила:

— Простите меня, друг мой. Я была тогда так одинока, так несчастна. А он, мой муж, он — прямой, простой, честный человек. И за все эти годы он совсем не изменился душой, и теперь, корпусный командир, он такой же славный и милый, как тогда, когда он был скромным субалтерн-офицером. И тогда он был так нежен со мною! Я думаю, он догадывался о том, что я переживала. Но никогда, никогда он меня ничем не обидел. Он всегда был истинным рыцарем. И как мне было горько, что, целуя его, я носила в душе иной образ!

Она плакала. Буравов целовал ее руки, заглядывал в ее опечаленные глаза и говорил:

— Но вы меня все еще любите?

— Вы это знаете, — тихо сказала Екатерина Сергеевна. — Да, я вас люблю. Теперь мне уже легко сказать это слово. Скажу вам откровенно, друг мой, я долго ждала и надеялась, и мне казалось, что на голове моей — венец надежды, милый, благоуханный, но перевитый терниями.

Очень взволнованный, Буравов заговорил страстно:

— Вы должны уйти со мною, потому что мы любим друг друга. Идите за мною, умоляю вас, милая Катя!

Чувствуя, как сладкою мукою болит ее сердце, Екатерина Сергеевна воскликнула:

— Отчего вы не говорили мне этого раньше?

— Вы правы, когда упрекаете меня в этом, — отвечал Буравов. — Я бесконечно виноват. Я знаю, — я был малодушен, я не умел разбить моих цепей, я колебался, боялся чего-то. Не за себя, — за вас.

Улыбаясь сквозь слезы, думала она: «Боялся за меня, — но чего же?»

Вспомнилась жена Буравова, бойкая, веселая, легкомысленная красавица. Она была ревнива? Может быть. Даже не то что ревнива, а уж очень неожиданна во всех своих поступках, ни добрая, ни злая, взбалмошная, непоследовательная, избалованная своим богатством, женщина с душою ребенка. Да, она, пожалуй, способна была бы облить серною кислотою свою соперницу.

Неужели он этого боялся?

«Но и слепая, я любила бы его. Или он боялся моего безобразия? Нет, — думала она опять, — он не разлюбил бы меня и обезображенную».

Буравов говорил:

— Любовь должна была торжествовать надо всем. Но, может быть, для нашей любви нужны были долгие годы внешнего разъединения. Душа человека, подобно некоей Гризельде, должна быть покорною до конца. Но теперь, когда годы очистили мою душу, и когда ваша душа так много страдала, теперь мы будем сильны, будем счастливы! Неужели для нас невозможно счастие! Позднее, но тем более сладкое.

«Уйти от мужа! — со страхом думала Екатерина Сергеевна. — Так опечалить его! Быть счастливою для себя!»

Ей казалось, что если она уйдет от мужа, то дети осудят ее. Они так любят отца! С какими глазами скажет она им:

— Я ухожу от вашего отца!

Кощунственным казалось ей перед детьми порвать связь, завязавшуюся, когда их еще не было на свете, разрушить то, на чем построена вся их жизнь. Каким ударом это будет для них, каким крушением всего их мира!

Еще старшие дочери, может быть, поймут и не осудят. А младшая, Раиса, странная девушка, сотканная из противоположностей, такая веселая и такая молитвенная, такая кроткая и такая иногда вдруг гневная, нежная и откровенная, — как она взглянет на мать, что ей скажет?

Бесконечно слабою чувствовала себя Екатерина Сергеевна в эти минуты и только могла плакать.

Но неужели надо отказаться от своего счастья? Как это жестоко!

— Друг мой! — воскликнула она, — сердце мое разрывается. Но как я его оставлю?

— Вы ему уже не нужны, — хмуро сказал Буравов.

— Кто это может знать! — возражала она. — Кто знает, кому как бывает больно, когда рвутся эти нити! Ведь их сплетала вся наша с ним жизнь!

— Может быть, его утешит Мари Дюбуа, — сказал Буравов, насмешливо улыбаясь.

Екатерина Сергеевна улыбнулась. Молоденькая француженка Мари, сестра инженера, служащего на одной из здешних фабрик, несколько раз приносила цветы генералу Старградскому. Да, она смотрела на него влюбленными глазами. Генерал был очень красив и представителен в своем гусарском мундире. Но Екатерина Сергеевна твердо знала, что ни наивная Мари, и никакая другая женщина на свете не займет ее места в верном, рыцарском сердце ее мужа. Ей опять вспомнились бесчисленные черты его ласковости, доброты, спокойной и уверенной любви.

Нет, Мари его не утешит.

III

В доме и в саду всегда было шумно, весело и молодо. Старшая, замужняя дочь, Александра, со своим мужем, капитаном Ельцовым, жила здесь же: дом был просторен и поместителен. Около двух младших, Людмилы и Раисы, всегда толпилась молодежь, или влюбленная, или просто веселая. И потому сад, дремотный и задумчивый в своих уютных убежищах, почти всегда звучал где-нибудь шумом, смехом, веселостью, беззаботностью и светил всеми озарениями молодости.

В последние дни Александра была несколько обеспокоена выражением какой-то сосредоточенной серьезности, которую она подмечала на лицах отца и мужа. Ее беспокойство усиливалось, когда она вспоминала, как неделю тому назад, за утренним чаем, младшая сестра, Раиса, сказала:

— А мне сегодня ночью снилось, что скоро будет война.

Все засмеялись: ничто в эти ясные летние дни не предвещало близости войны. Даже отец улыбнулся и сказал:

— Нет, Раисочка, все штатские предсказатели обещают европейскую войну только в 1915 году, а этот год, Бог даст, переживем спокойно.

Над Раисиными снами все в доме посмеивались. Одна Александра знала странное свойство этих снов, — они нередко сбывались.

И вот теперь Александра старалась почаще быть с мужем.

Они шли вдвоем по тенистой дорожке сада и говорили о второй сестре, Людмиле, и об инженере Шпруделе, который явно ухаживал за Людмилою. Ельцов говорил:

— Нет, что ты там ни говори, а не нравится мне этот заграничный инженер, этот ваш благовоспитанный Шпрудель.

Александра, может быть, из сочувствия к роману сестры Людмилы, считала нужным заступаться за Шпруделя, хотя он и ей самой не нравился. Она говорила не совсем уверенно:

— Он очень милый. Такая возвышенная, нежная душа! Любит стихи, природу, музыку. Так хорошо знает Шиллера, даже в русских переводах! Так хорошо изучил русский язык!

— А мне он не нравится и не нравится, — говорил Ельцов. — Не могу тебе сказать, как мне досадно, что Людмила любит эту ходячую цитату. Мне иногда хочется ударить его. Особенно когда он из Шиллера декламирует.

Александра, сдержанно улыбаясь, сказала:

— Что ты говоришь, Володя! Как можно!

— И твой отец его не любит, — сказал Ельцов.

Это было очень значительным аргументом. Отец редко высказывал свои мнения и не давил никого своею волею, но его слова, мнения, взгляды очень замечались и ценились детьми.

Как всегда бывает у замужней сестры по отношению к младшей, Александре хотелось, чтобы и Людмила устроила свою судьбу. Поэтому ее очень огорчала холодность отца к Шпруделю. Утешая себя и Людмилу, она думала, что отец еще мало знает Шпруделя и только потому так холоден к нему.

— Как бы то ни было, — говорил Ельцов, — советую тебе быть с ним осторожнее и не болтать лишнего.

Александра внимательно посмотрела на мужа. Хотела сказать что-то. Но в это время подошел к ним младший брат, веселый, простодушный подпоручик, Сережа. Он спросил:

— Это вы про кого? Про Шпруделя? Гейнрих — премилый малый, я его очень люблю. Ей-Богу, хоть он и немчура.

Ельцов сказал сдержанно:

— Да, он умеет вкрадываться в доверие к людям. Но меня-то он не обманет.

IV

Гейнрих Шпрудель, запасной лейтенант германской армии, служил инженером на одном из здешних заводов. Жил он в этом городе уже года два. Он был молодой, высокий, голубоглазый немец. Легко знакомился с людьми. Особенно много знакомых было у него в военной среде. Так как он был иностранец, то его очень охотно принимали во

всяком обществе. Никому не казались странными ни его расспросы о разных делах, военных и гражданских, ни его любовь к прогулкам.

Он был влюблен во вторую дочь генерала Старградского, Людмилу. Изо всех здешних барышень эта спокойная, уравновешенная девица казалась ему наиболее подходящею к идеалу той скромной и степенной женщины, которая, «дом украшая изяществом строя, не знает покоя». И хотя она была русская, но он думал, что в Германии она станет такою же хорошею женою, матерью и хозяйкою, словно в Германии и выросла.

Сидя с нею на скамейке перед цветочною куртиною, он говорил:

— Мне очень горько, что твой отец меня не любит.

Людмила отвечала со своим обычным спокойствием:

— Папа вообще очень сдержанный человек.

— Со мною он особенно холоден, — говорил Шпрудель. — Он слишком патриот. Хотя мы ему еще и не открыли нашей любви, но он догадывается. Ему досадно, что дочь боевого русского генерала любит немца.

— Папа узнает тебя поближе, — уверяла Людмила, — и поймет тебя.

— Я боюсь, — сказал Шпрудедь, — что он будет настаивать...

Людмила слегка покраснела и сказала:

— Я люблю тебя, и никто мне не помешает. Я уверена, что папа не будет ставить мне препятствий. Но если бы даже... — нет, ничто на свете не разлучит меня с тобою.

Она прижалась к его плечу, и сквозная тень листвы покрыла ее разнеженное лицо веселыми солнышками.

V

Раиса и Уэллер, высокий, сильный и очень спокойный молодой красивый англичанин, вдвоем играли в теннис. Уэллер выиграл несколько раз подряд. Раиса бросила ракетку на песок.

— Довольно, — сказала она, — я устала.

Она села на скамью перед площадкою. Продолжая начатый еще до игры разговор, она сказала с выражением кроткого упрека:

— Вы ни во что, ни во что не верите.

— Это не совсем так, Раиса, — возразил Уэллер. — Я верую, как должно верить. Но в предвещательные сны...

— Мои сны всегда сбывались, — сказала Раиса.

В ее словах была такая кроткая уверенность, что Уэллер невольно улыбнулся. Он сказал:

— Сбывались, конечно, Раиса, но кроме тех, которые не сбывались.

Раиса тихо покачала головою и сказала:

— Мне ужасно досадно на себя, что я вам рассказала мой вчерашний сон. Еще хорошо, что я не сказала вам, на кого был похож светлый воин моего сна.

— А на кого? — спросил Уэллер. — Скажите, Раиса, прошу вас.

Раиса молчала и счастливыми глазами всматривалась в кусты жасмина за теннис-гроундом. Уэллер, улыбаясь, сказал:

— Надеюсь, он не на меня был похож?

Раиса покраснела очень и отвернулась. Уэллер понял, что угадал. Ему стало радостно, но в то же время он упрекал себя, зачем он своими словами заставил Раису так покраснеть.

Раиса сказала тихо, и слезы слышались в ее голосе:

— Я рассказываю, а вы смеетесь.

Уэллер смутился.

— Простите, Раиса, — сказал он, — я улыбался не потому, что хотел смеяться над вами. Я улыбался своим мыслям и воспоминаниям. Смеяться над вами я не могу, потому что я люблю вас.

Он смотрел на нее разнеженными глазами. И правда, в эту минуту вспомнились ему милые и смелые девушки его далекой родины, вспомнились его ласковые сестры с такою же кроткою уверенностью таких же синих глаз. Они были так же набожны, как Раиса, и так же любили читать благочестивые книги. И были такие же веселые, кроткие и порою неожиданно вспыльчивые, как Раиса.

— Люблю, — повторил он тихо.

Раиса повернула к нему раскрасневшееся лицо. Посмотрела на него, счастливо улыбаясь, как смотрят на солнце, — радостно и трудно. Сказала застенчиво:

— Нет, нет, не говорите мне об этом. Вы все от рассудка. А я молюсь и знаю, что моя молитва услышана.

— Хорошо, Раиса, вы — счастливая, — говорил Уэллер. — И вы напрасно думаете, что я не верю правде ваших слов. Но ведь сон ваш можно растолковать как угодно. Ну скажите, что предвещает тот сон, который вы мне рассказали.

— Что-то страшное, — сказала Раиса.

— А что именно? — продолжал спрашивать Уэллер.

Раиса застенчиво улыбнулась и сказала:

— Не знаю. Я спрошу сегодня у Никандра, — он так все понимает.

Уэллер досадливо пожал плечами. Он уж видел несколько раз у Раисы странника Никандра и не мог понять, что милая и чуткая Раиса находила привлекательного в этом простом, полуграмотном мужике. Ему не хотелось спорить с Раисою, но все-таки он не мог удержаться от того, чтобы не сказать:

— Как всегда, Раиса, вы увлекаетесь. Ваш Никандр — лукавый, хитрый, но совершенно невежественный человек.

Раиса с упреком посмотрела на него. Что значит невежественный? Разве для святости нужны книжные знания и научения профессоров? Разве Бог не открывается простым людям и детям? Какая гордость человеческого ума! В этом мире, где все сияет и радуется простодушно, и небеса развертывают свой синеющий покров над широкою далью долин, всегда думать о бедной человеческой науке!

— Вы — рационалист, — сказала Раиса, — и я вас не люблю.

— Не ошибаетесь ли вы, Раиса? — улыбаясь, спросил Уэллер.

— Нет, не ошибаюсь.

И, увидев подходящих к ним Людмилу и Шпруделя, она сказала:

— Вот, спросите Людмилу или Шпруделя, они нам тоже скажут, что вы — рационалист.

Людмила, улыбаясь, спросила:

— Раиса, ты опять на него нападаешь?

А Шпрудель принял сторону Раисы. Он говорил:

— Конечно, Ричард, вы — рационалист. Вы слишком привязаны к земным ценностям, и для вас трудно следить за крылатыми мечтами и за высокими духовными устремлениями Раисы. Туда, «высоко над бездной пространств и времен», вы не последуете за Раисою.

— Не ошибаетесь ли вы, Гейнрих! — флегматично повторил Уэллер.

— Думаю, что нет, — говорил Шпрудель. — Вы способны дремать, когда Раиса играет или поет.

Но это уж показалось Раисе несправедливым. Она живо сказала:

— Нет, он слушает внимательно.

Шпрудель, увлекаясь своим красноречием, продолжал:

— На одно и то же явление вы и Раиса реагируете совершенно различно. Одни и те же ворота ведут вас к законам, Раису к вольной природе. Вы — отвлеченный мыслитель, и о таких, как вы, Шиллер справедливо сказал, что они весьма часто имеют холодное сердце.

Раиса засмеялась и сказала:

— Слышите, бедный Уэллер, у вас холодное сердце.

А Шпрудель, как поставленный на рельсы, катил дальше, и самый голос его приобретал все более машинный оттенок. Он говорил:

— Потому что они расчленяют впечатления, которые способны тронуть душу только в целом. Но вы на меня не сердитесь. Вы — славный малый и отличный товарищ.

Уэллер саркастически усмехнулся, поклонился и сказал:

— Благодарю. Прикажете ответить вам тем же?

В тоне его голоса было что-то неуловимо-дерзкое, так что Шпрудель досадливо поморщился. Людмиле показалось, что молодые люди готовы поссориться. Она торопливо сказала:

— Юноши, не ссорьтесь! Шпрудель, не нападайте на Уэллера.

Шпрудель вспомнил соответствующую, как ему казалось, случаю цитату из Шиллера:

— «Даже из рук недостойных истина действует сильно».

Цветы позднего лета благоухали так нежно и тонко, и так безоблачна была безбрежная лазурь, только что омытая недавно прошед-

шим дождем, и так свежо и молодо зеленел весь сад, что Раисе и самые высокие слова казались грузными и неуклюжими, когда они падали из уст Шпруделя. Она вздохнула и подумала: «Бедная Людмила!»

Уэллер пожал плечами и холодно спросил:

— Уверены ли вы, Гейнрих, что устами вашими говорит истина?

Шпрудель продолжал цитировать:

— «Истины оба мы ищем, — сказал Шиллер, — ее ты ищешь в природе, я ищу в сердце, и верь, что мы оба ее найдем».

Сергей подошел и слушал с улыбкою.

— Опять из Шиллера? — тихо спросил он Раису.

Раиса молча кивнула головою. Сергей весело сказал Шпруделю:

— Он — ужасный колбасник, ваш Шиллер.

Шпрудель очень обиделся за Шиллера, но вспомнил из него же убийственную цитату:

— «Есть люди, которые потому бранят граций, что никогда не были ими обласканы».

Сергей засмеялся.

— Ну, это антимония на постном масле. Сестры, мама вас зовет зачем-то.

VI

Шпрудель и Уэллер остались вдвоем. Шпрудель чувствовал себя уязвленным. Ему хотелось сказать Уэллеру что-нибудь неприятное. Он сказал:

— Друг мой, мне жаль вас.

— Тронут, — отвечал Уэллер.

— Вы любите Раису, — говорил Шпрудель. — Но она ответит вам, как возлюбленная рыцаря Тогенбурга: «Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть, но любовию иною не могу любить».

Уэллер сделал ледяно-холодное лицо и сказал:

— Друг мой, позвольте мне сказать вам пару дружеских слов.

— Пожалуйста, — сказал Шпрудель, зло усмехаясь.

— Я — очень спокойный человек, — говорил Уэллер. — Но есть вещи, которых я не люблю.

Шпрудель насмешливо засмеялся.

— Как и всякий. Вы не открыли мне ничего нового.

— И не собираюсь, — отвечал Уэллер. — Но видите ли, есть случаи, когда бокс вразумительнее слов.

— Ого! — воскликнул Шпрудель в недоумении.

Неизвестно, чем бы кончился разговор молодых людей, но, к счастью, в это время возвратились сестры.

Александра сказала:

— Ну что же, молодые люди, гулять? Идем или едем?

Раиса со счастливою улыбкою смотрела на небо. Бездонные просторы небес всегда манили к себе ее взоры. Все, что совершалось на небе, она замечала раньше других сестер. Даже ночью занавески в ее спальне не задергивались, чтобы она могла и лежа в постели видеть звезды, вечные, чистые, всегда утешающие.

И теперь она воскликнула:

— Смотрите, радуга!

Шпрудель решил, что ссориться не стоит и несвоевременно. Интереснее отправиться на прогулку. Он сказал:

— Дождя сегодня больше не будет. «Не человечьими руками жемчужный, разноцветный мост из вод построен над водами!»

Раиса взглянула на него и вздохнула. Жемчужный мост показался ей пошатнувшимся, когда говорил Шпрудель.

VII

Стоя над высоким берегом реки и мечтательно глядя в далекие поля, Шпрудель говорил Людмиле:

— Мне хочется пройти к старой мельнице, к Орлицам. Здесь везде такие просторы, так много земли. У иного русского помещика больше земли, чем у баварского короля. У Орлиц цветущие луга, и я «пойду,

волнуемый мечтами, в луга, где зеркальный поток, чтоб для тебя между цветами сорвать прелестнейший цветок».

— Но ведь там болото? — сказала Людмила.

— Ну что ж! — сказал Шпрудель. — Не найдем дороги, вернемся. А может быть, найдется мост, где «катятся волны внизу, повозки вверху, и любезно мастер возможность дал также и мне перейти».

— Не знаю, — отвечала Людмила. — Мы только раз туда ездили, уже давно, и я не помню дороги.

Шпрудель вздохнул, нежно пожал руку Людмиле и патетически воскликнул:

— Ах, Людмила, мой нежный друг! Если бы я не любил тебя, я любил бы одну природу! «Если б в мире вдруг людей не стало, то считал бы я живыми скалы». Но недолго мне гулять в этих прекрасных местах.

— Почему, Гейнрих? — тревожно спросила Людмила.

Неопределенные выражения сменялись на лице Шпруделя. Он отвернулся от Людмилы и говорил тихо и отрывочно:

— Я получил печальное известие. Мой отец болен. Зовет домой. Торопит. Боится, что умрет, не успевши увидеть меня. И я должен спешить.

Людмила слегка побледнела. Спросила:

— Но ты вернешься, Гейнрих?

Шпрудель нежно обнял ее за плечи, привлек к себе и говорил:

— Если бы я был послан в пучину морскую за кубком золотым, и тогда бы я к тебе вернулся, Людмила. А ты, Людмила? «Людмила моя все еще меня любит? У меня то же сердце, что вчера; а у тебя?»

Он в самом деле любил Людмилу и был взволнован необходимостью разлуки. Но его постоянные цитаты из Шиллера и постоянно приподнятый тон делали звук его речей неверным. Людмила, очарованная голубоглазым тевтоном, не замечала этого. Слезы были у нее на глазах, когда она говорила:

— Ты знаешь, как я тебя люблю.

— «Любовь есть лестница, по которой мы восходим к богоподобию», — опять процитировал Шпрудель.

— Я боюсь этой разлуки, — говорила Людмила.

Шпрудель сейчас же вспомнил утешающую цитату:

— «Кто может разорвать союз двух сердец? разъединить тоны одного аккорда?» Для моей любви нет Леты.

VIII

Совершенно неожиданно для многих развертывались грозные события. Австрия послала ультиматум Сербии, и стало известно, что Россия принимает живейшее участие в судьбе слабого славянского государства.

После обеда получены были газеты с очень тревожными известиями. Поднялись шумные, взволнованные разговоры. Генерал Старградский спокойно сказал:

— Мы заступимся за Сербию.

Молодой француз Дюбуа, брат той юной Мари, о которой утром говорил Буравов, восклицал с волнением:

— И будет великая война, и моя бедная Франция... Но мы исполним наш долг, чего бы нам это ни стоило!

Один только Шпрудель был совершенно спокоен. Он с насмешливою улыбкою спросил:

— Да разве Сербия — вассал России, чтобы вы за нее заступались? Германия этого не позволит.

Он сказал это таким высокомерным тоном, что все посмотрели на него с удивлением. Сергей засмеялся.

— Ну, — сказал он, — как же это вы не позволите?

Шпрудель очень высокомерно и красноречиво доказывал, что Германия имеет достаточно сил, чтобы заступиться за свою союзницу и вести победоносную войну на два фронта.

Ельцов тихо сказал Александре:

— Замечательный тон у этого господина!

Александра отвечала ему так же тихо:

— Я никогда еще не видела его таким запальчивым. Из-под оболочки скромного инженера выглядывает мундир прусского лейтенанта.

— Хорошо, если только лейтенанта, — сердито проворчал Ельцов.

Старградский спокойно отвечал Шпруделю:

— Нет, господин Шпрудель, мы не дадим Сербию в обиду. Мы не одни, и пришел час расплаты по старым счетам. На этот раз мы не уступим.

Екатерина Сергеевна тревожно спросила:

— Но если будет война, тебя пошлют?

Старградский улыбнулся.

— Надеюсь, Катя, что не оставят дома.

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула Екатерина Сергеевна и заплакала.

IX

Людмила, очень взволнованная, тронула Шпруделя за плечо и тихо шепнула ему:

— Гейнрих, пойдем в сад, мне надо сказать тебе кое-что.

Она быстро вышла на балкон. Шпрудель пошел за нею. Людмила быстро шла в дальний угол сада, к пруду. Когда уже за деревьями не слышно было голосов и шума в доме, она остановилась на берегу пруда, положила обе руки на плечо Шпруделя и, глядя прямо в его глаза, спросила:

— Гейнрих, ты поступишь в армию, ты будешь воевать против России?

Шпрудель глянул в сторону и уклончиво отвечал:

— Будем надеяться, что до войны дело не дойдет.

Людмила заплакала.

— Гейнрих, — говорила она, — если ты меня любишь, останься. Подумай, — сердце мое, сердце мое!..

Шпрудель пожал плечами. Лицо его приняло высокомерное выражение. Он сказал холодно:

— Я — германец. Я должен.

Людмила плакала и говорила:

— Я ведь ничего у тебя не прошу, только останься. Не хочешь? Но ведь я тебя люблю. Люблю, но я все-таки русская. Моему народу, моей России не изменю, скорее любовь к тебе вырву из сердца, хотя бы и вместе с жизнью.

— Людмила, — торжественно сказал Шпрудель, — что бы ни случилось, в каком бы положении я ни был, я не сделаю ничего, что было бы недостойно твоей любви ко мне и моей чести.

X

Через несколько дней началась мобилизация, и вслед за тем Германия объявила нам войну. В доме стало суетливо и неспокойно. Ельцов и Сергей уехали со своим полком в первые же дни, а скоро после них и генерал собрался уезжать. Грозный смысл событий тонул в хлопотах о вещах, о чемоданах. Время от времени в комнаты входила няня, очень старая, останавливалась на пороге, подпирала голову рукою, смотрела на генерала с соболезнованием, вздыхала, покачивала головою и уходила. Разговоры велись по большей части в тревожном темпе, и многие слова и действия казались иногда беспричинными. Один генерал Старградский спокойно курил папиросу за папиросою, то задумывался, то спокойно говорил. Все распоряжения перед отъездом он быстро сделал и ждал назначенного для отправления часа.

Стоял ясный, солнечный день в конце лета. Из открытых окон по временам слышались звуки военной музыки, приветственные крики, пение. Чувствовалось, что на улице бодрое, спокойное и трезвое настроение.

Дочери старались быть чаще с отцом; в их глазах было тревожно-ласковое выражение.

Екатерина Сергеевна повторяла:

— Такой ужас эта война! Наш милый мальчик...

Привычным жестом она прикладывала платок к глазам. Видно было, что она плачет уже не первый раз, и на лицах ее дочерей уже

появлялось каждый раз выражение очень сдержанное, похожее на выражение привычной скуки.

Раиса очень тихо сказала:

— Не надобно плакать, мама.

Старградский знал, что эти слезы — признак только внешней слабости и что его жена — твердая, славная женщина. Мягко улыбаясь, он говорил:

— Наш мальчик уехал веселый. Да и он ли один? Молодежь вся так хорошо и бодро настроена. Не только студенты, даже мальчики рвутся на войну. Даже девочки мечтают о том, чтобы поступить в сестры милосердия. У Марьи Петровны сыновья всюду бегают, просятся, чтобы их взяли если не в солдаты, так хоть в санитары, а сколько им лет?

Людмила сказала:

— Все-таки они не так уж молоды. Старшему уже девятнадцать, Миша годом только моложе.

— А наш Сережа уже второй год офицером, — говорил Старградский. — Даже Уэллер и Дюбуа просятся к нам в добровольцы.

— Их возьмут? — тревожно спросила Раиса.

— Возьмут, я думаю. Отчего же не взять! Союзники.

Раиса сказала, краснея:

— Вот сон в руку. Я так и знала.

— Здесь так беспокойно и тревожно, — говорила Екатерина Сергеевна. — Близка граница. Я думаю, Николай, что нам лучше уехать отсюда в Москву.

— Конечно, уезжайте, — сказал Старградский. — И чем скорее, тем лучше. Война — как война. Ни за что нельзя поручиться.

Уже не первый раз поднимался разговор об отъезде. Екатерина Сергеевна думала, что в такой близости к театру войны не следует жить семейству, из которого уехали все мужчины. Но дочерям это ее решение не совсем нравилось. Особенно хотелось остаться Раисе. Она говорила:

— Когда мимо нашего дома будут проходить солдаты, я стану раздавать им цветы из нашего сада и табак.

Людмила, слегка усмехаясь, возражала:

— Твои цветочки, Раиса, солдатам не нужны.

Как и многим русским интеллигентным людям, Людмиле казалось, что простому русскому народу доступны только простые и грубые удовольствия. Она была очень удивлена, что запретили продажу водки, и говорила иногда:

— Вот подождите, бунт будет, мужики водки потребуют.

Цветы в руках мужика — это казалось ей одною из наглядных несообразностей. Но Раиса видела на станции воинские вагоны, украшенные зеленью и цветами. Цветики лазоревые в солдатских руках казались ей необычайно-трогательными.

Иногда и Александра говорила:

— Я, мама, не уеду. Я останусь с Раисою.

— Ну и глупо, — возражала Екатерина Сергеевна. — Что здесь вам делать? Все говорят, что надо уезжать. И Павел Дмитриевич говорит то же. Поймите, близка граница. Впрочем, вы с Раисою всегда наперекор, и всегда у вас чудачества.

Раиса убеждающим голосом говорила:

— Мама, отец Григорий остается же. И здесь так много бедных, без работы.

— Тебе отец Григорий дороже матери. Ты бы еще на странника Никандра...

Напоминание о Никандре было неприятно Раисе. Как только начались тревожные дни в городе, Никандр ушел. Няня, никогда не любившая Никандра, говорила Раисе:

— Никандра твой говорит: «Я, — говорит, — немецкого духа не терплю». Живо собрался, пошел. Уж больше двух недель его здесь никто не видел. Лукавый он, твой Никандра.

— Зачем ты так, няня? Грешно, — с укором говорила Раиса.

— Спроси своего англичанина Личарду, он тебе то же скажет.

— Так он — англичанин. Он не может понять. А ты, няня, русская, тебе грешно.

Няня досадливо махала рукою и отходила.

Повторяя свою любимую мечту, Александра говорила:

— В нашем доме можно устроить лазарет хоть на десять раненых. Хоть на легкораненых. Чем ближе к полю битвы, тем лучше. И здесь я все же ближе к моему Володе.

— А если сюда придут немцы? — говорила мать.

Александра спокойно отвечала:

— Будет то же, что в Бельгии. Страшно подумать. Но что же делать!

Раиса плакала и говорила:

— Немцы вытопчут мои цветники сапогами. Они любят разрушать. И Уэллер говорит, что они грубые. А Уэллер никогда ни о ком не говорит худо.

— Немцы не тронут твоих цветов, — отвечала Людмила. — Разве ты забыла, как Гейнрих любит цветы? Нет, я не верю рассказам о германских жестокостях. Радимова вернулась, ей ничего не сделали.

Александра сказала спокойно:

— По-разному было, Людмила. Никто не думает, что все немцы сразу стали зверьми.

Разговоры о германских жестокостях были особенно тягостны для Людмилы. Ведь она же была влюблена в одного из германцев! К той общей влюбленности в германское, в их философию, науку, культуру, в весь строй их жизни, к этой влюбленности, владеющей многими из нас, в душе Людмилы присоединялось особое, личное, глубокое чувство, та роковая привязанность, которая сильнее не только голоса рассудка, но и темной силы расовых разделений.

Людмила говорила:

— Люди — братья. И если брат должен идти на брата, так зачем же ненужные жестокости?

Александра напоминала ей:

— Однако больных из больниц они выбрасывали. Разве ты не помнишь этого ужасного рассказа о женщине, у которой солдаты срывали при обыске повязки с лица? Ведь эта несчастная умерла. Она доверчиво поехала к ним лечиться, и они...

Людмила чувствовала в своем сердце острие меча. Неужели это все правда? Она плакала и говорила:

— Это ужасно, если правда! Такое злодейство.

Александра обнимала и тихо утешала ее. Раиса, больно и кротко негодуя на эту темную силу, зажегшую столько злобы в сердцах наших врагов, говорила:

— Нет, лучше я раздам мои цветы нашим солдатам.

Но матери страшно было и думать, что дочери останутся в том городе, куда могут прийти враги. Она говорила:

— Если ты думаешь, что немцы твои цветы вытопчут, так подумай, Раиса, что они с тобою сделают?

— О, я умею стрелять! — отвечала Раиса.

— Так ведь и тебя расстреляют!

— Пусть, но раньше я убью не одного врага.

А Александра говорила все о своем:

— Раненых, может быть, тогда и успеем вывезти. Ведь мы же устроим на легкораненых.

Раиса вторила ей:

— Мы с Сашею будем ходить за ними. Ты знаешь, папа, что мы этому учились.

Наконец Старградский решительно разочаровал ее.

— Раненых к вам не положат. Для этого есть полевые лазареты. Или отправят куда-нибудь подальше, из района действующей армии.

Но Александре все-таки не хотелось уезжать. Дети, жены запасных, всем им надо помочь. У нас не крепость, думала она, никому в тягость мы не будем, а помочь проходящим войскам чем-нибудь сможем. Зачем же делать так, чтобы наши войска шли точно в пустыне? Но мать досадливо отмахивалась от всех ее рассуждений и говорила:

— Ну, с тобою не сговоришь. Не знаю, в кого ты такая спорщица. Как только ваш папа уедет, я начну укладываться. И тебе, Саша, я не позволю здесь оставаться. Ты должна подумать о своем ребенке. Оставаться здесь с ним — это чистое безумие.

Раиса спрашивала:

— А мне, мамочка, можно остаться? У отца Григория я бы могла...

— Ну а тебе, Раиса, и тем более, — строго отвечала Екатерина Сергеевна.

XI

Людмила пришла в кабинет к отцу — поговорить. Сестры любили эти разговоры с отцом.

Старградский говорил:

— Ну вот наконец и нам пришла очередь выступить на дело. Я очень рад. Я так понимаю настроение Сережи. И я горжусь тем, что Сережа пошел на войну, как на праздник. Мне только жаль, что ваша мама так печально настроена. Правда, матери всегда плачут, отпуская детей на войну. Но вы, дочки, поддерживайте в ней бодрость духа.

— Папа, когда брат идет на брата, нечему радоваться, — тихо сказала Людмила.

— Нет, Людмила, не брат на брата, — мирные народы защищаются от тевтонского насилия. Смотри, как спокойны Александра и Раиса. А ведь у Александры муж на передовых позициях, а Раиса беспокоится за Уэллера.

Людмила посмотрела на отца с удивлением.

— Почему за Уэллера? Он влюблен в Раису, а она к нему совсем равнодушна.

— Ты ошибаешься, Людмила.

— Раиса и Уэллер такие разные. Они постоянно спорят и ссорятся.

— Даст Бог, всю жизнь проспорят, до старости будут ссориться и мириться. А с немцами у нас мира все равно не будет и не может быть. Не теперь, так после воевать с немцами все равно пришлось бы.

— Их милитаризм — это одно, а их культура очень высокая, — сказала Людмила, повторяя нашу общую ошибку.

Ведь многим из нас казалось в эти дни, что милитаризм — явление, случайное для современной Германии.

Старградский спокойно возразил:

— Высокая культура отшлифовала их, но только шлифовка эта ничего не меняет в их духовной сущности, очень грубой.

— Папа, нам еще многому от них надобно учиться.

— Учиться никогда и никому не мешает. Еще Петр Великий сказал: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Только учиться нам не у немцев.

Людмиле, как и многим из нас, казалось, что учиться чему-нибудь можно только у западных европейцев. Она сказала:

— Не у странников же и не у старцев, как наша блажная Раиса!

Очень рассудительная, она всегда свысока относилась к простодушной и молитвенной Раисе.

Старградский отвечал:

— У народа многому можно учиться. А немцы... Вот они смотрят на нас как на варваров, а детей своих бьют.

— Папа, ты несправедлив; ты не любишь немцев.

— И они нас не любят.

Людмила очень покраснела. Ей уже давно хотелось сказать отцу о своей любви к Шпруделю. Странная для нее самой нерешительность сковывала ее. Теперь, когда Шпрудель уехал, ей особенно тяжело было скрывать от отца. Сегодня она шла к отцу с тем, чтобы наконец сказать об этом. Смущаясь и робея, как девочка, она сказала:

— Ты, папа, не знаешь... Я тебе не говорила, не решалась, но ты, может быть...

Отец улыбнулся.

— Все знаю. Но что делать! Я даже знаю, что он называет тебя прекраснейшим экземпляром блондинки. Цитирует это прозвище из какой-то Шиллеровой пьесы.

— Мой Гейнрих, — начала было Людмила.

Отец говорил:

— Он — храбрый малый. Но слишком самоуверенный. Он знает, что ты его любишь и уже смотрит на тебя как на свою. Чем бы ни кончилась война, он без всяких колебаний придет за тобою.

— Он такой умный, чувствительный, — говорила Людмила. — Так любит искусство, природу.

Старградский смотрел на нее с сожалением. Он думал, что эта любовь еще немало причинит Людмиле несчастий. Он сказал:

— Вот ты его любишь, а на поле битвы он может встретиться с твоим братом.

— Папа, это ужасно! — воскликнула Людмила, бледнея. — Если бы ты знал, как мне тяжело! Но что же мне делать! Я люблю его. Враг моей родины, — но мне он дороже воздуха, которым я дышу.

— И ты не можешь вырвать этой любви из своего сердца?

— Нет, отец. Я отдала ему свою любовь, и это навеки.

— А то, что он сражается против нас?

— Папа, это — такой ужас! Я чувствую себя так, как будто у моей души глаза выжжены и вокруг меня такой мрак! Но ведь кончится же эта война!

— Все на свете кончается.

— Когда будет мир, когда все это ужасное, жестокое забудется, ты не будешь противиться тому, чтобы я вышла за Гейнриха?

Старградский пожал плечами.

— Это уж твое дело. Если тебе так надо...

Людмила говорила страстно:

— Разве все люди — не один род, великий, царящий над землею? Разве все мы — не братья и не сестры? Разве мы должны разделяться и ненавидеть, как звери разных пород? Наши дети одинаково любили бы и Россию, и Германию.

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — отвечал Старградский.

— Перекуют же мечи на плуги, разве ты этому не веришь?

— Пока немцы будут искать новых рынков для своей промышленности, они нам мира не дадут.

— Разве наши лучшие ожидания — только праздные мечты? И разве наши учителя и поэты говорили нам неправду, повторяя высокие слова о человечестве, о братстве всех людей?

— «Небо ясно, под небом места много всем». Но только каждое место под солнцем должно быть освящено. Родина там, где мы молимся, любим и страдаем, а не там, где коптят небо трубы наших фабрик.

XII

Вошли Екатерина Сергеевна и Александра. Старградский внимательно посмотрел на жену.

— Катя, ты опять плакала?

Она смущенно улыбнулась. Все эти дни такая тоска томила ее и такою преступною казалась ей ее любовь к Буравову! Она говорила:

— Николай, ради Бога, береги себя. У тебя уже есть все, чего может пожелать человек твоего возраста. В твоем чине нет никакой надобности стремиться под неприятельские выстрелы.

— Не беспокойся, Катя. Что Бог даст, то и будет. С моим чином и в кусты прятаться тоже не полагается. Каждый из моих подчиненных должен видеть во мне живой пример. Ну а ты, Саша, не боишься за мужа?

Александра вспыхнула. Глаза ее заблестели.

— Боюсь, боюсь. Вся душа моя — страх и тревога. Но если его убьют... Нет, я не буду плакать.

И вдруг заплакала.

— Нет, нет, папа, не смотри, — это минутная слабость.

Заплакала и Людмила. Говорила:

— У нас у всех есть за кого бояться. И у Раисы есть за кого молиться, для кого ждать чуда. И хуже всех мне, — душа моя разрывается и томится смертельно.

Как это часто бывает, слезы успокоили Александру. Вытирая глаза платком и уже улыбаясь тому высокому чувству, которое трепетало в ее сердце, она говорила:

— Я знаю, наши победят. Да и как им не победить! Ведь мы все так верим, так надеемся! Россия отдала всю свою душу своей армии, — как же ей не победить! Но я знаю, для победы нужны жертвы. Надо же кому-нибудь умирать и кому-нибудь носить траур.

— Не надо говорить о трауре! — вскрикнула Людмила. — Боже мой, Боже мой, брат на брата!

Томимая жутким беспокойством, Екатерина Сергеевна так же бесцельно вышла, как и вошла. Людмила поспешно ушла вслед за нею.

XIII

На улице проходили солдаты. Слышны были звуки музыки, голоса мальчишек, широкий, веселый говор взрослых. Где-то хлопали двери. Чувствовалось, что все в доме приникли к окнам или вышли на улицу, — смотреть на солдат. Александра стояла у окна, прямая, неподвижная, как олицетворение строгой сосредоточенной печали и гордости, — истинная жена доблестного воина.

Старградский с тихою улыбкою смотрел на нее. Слова великого поэта напевно бились в его душе, и он говорил вполголоса:

Есть упоение в бою,
И мрачной бездны на краю...
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Александра вслушалась в эти торжественные, мудрые и страшные слова. Словно острие меча вонзилось в ее грудь, — такая мука смертная! Но вспомнила все заветы милого и сурового детства, — сердце, сердце мое, мужайся!

С неизъяснимым выражением высокой печали и высокого счастья она сказала, словам высокого поэта отвечая его же словами:

— Да, он, может быть, счастлив. А оставшиеся, — им «кудри наклонять и плакать».

— Не только плакать, но и гордиться, — сказал отец.

— Да, отец, я знаю. И рассказывать детям о доблести отцов. Слагать легенды.

Но она знала, что доблестная жизнь сама будет творить легенды.

XIV

Музыка на короткое время смолкла. Далекий благовест звучал мирно и торжественно под этим ясным, вечным небом. Неотвратимый, как поступь грядущего, был слышен мерный солдатский шаг. На улице Раиса разговаривала с солдатами. Она в своем саду нарвала громадную охапку цветов и раздавала их солдатам. Заодно захватила и несколько коробок отцовских папирос, нагрузив ими смешливую горничную Дашу. Солдатики на ходу украшали цветами свои зеленовато-серые рубахи, а иные втыкали стебли цветов в дула ружей. Раиса, раздав все цветы, принялась раздавать папиросы. Брали радостно, только иные говорили:

— Махорки бы нам, барышня. У нее вкус крепче.

— Махорка — всем табакам табак.

Раиса смущенно отвечала:

— А махорки-то у меня и нет. Только папиросы.

— Спасибо и за папироски. Выкурим за ваше здоровье, — говорили солдаты.

Проходили, переговариваясь:

— Генеральская дочка, нашего корпусного.

— Ладная барышня.

— Шустрая!

— Спасибо, милая.

Голоса их тонули в удаляющихся звуках музыки и пения. Александра отошла от окна и молча смотрела на отца.

XV

— Саша, — говорил Старградский, — пока мы одни, я хочу тебе сказать то, чего я еще никому не говорил. Именно тебе хочу сказать: ты не только самая старшая из сестер, но и самая разумная.

Александра опустилась на колени у его ног и прижалась головою к его коленям.

Он говорил:

— Саша, твоя мать меня не любит. Не любит потому, что любит другого.

Он говорил это спокойно и просто, но Александра поняла, что ему очень трудно было это сказать.

— Я слишком поздно узнал это. Еще когда она была моею невестою, она уже любила другого. Их любовь была взаимная, — с тяжелым спокойствием говорил отец.

— А вышла за тебя?

— Да, вышла за меня. В вас, женщинах, много непонятного, странного. Впрочем, еще раньше нашего замужества он женился на другой. Может быть, потому...

Александра подняла раскрасневшееся лицо.

— Папа, ты говоришь про Буравова?

— Да, Александра, про Буравова, — отвечал отец.

По тону его слов и по выражению его лица было ясно, что ему трудно назвать это имя. В голосе слышалась едва уловимая нотка презрительности. Александра сказала:

— Папа, я сама догадывалась. Но как же это могло случиться? Если он ее любил, зачем же он женился на другой.

Отец отвечал, глядя спокойно и печально перед собою:

— Для меня это и до сих пор не совсем понятно. Какая-то странная история.

Александра прошла взад и вперед по кабинету, думая о том, что сказал ей отец и что для нее уже давно было подозреваемою и страшною тайною родного дома. Хмуря брови, она сказала:

— Его жена богатая?

— Да, — отвечал отец. — Но не думаю, что он женился на покойной Софье Даниловне только из-за денег. Не думаю, чтобы он был способен действовать по недостойным мотивам.

Александра сказала задумчиво:

— Да, его все уважают. Но почему же он это сделал?

— Не тем будь помянута покойница, — говорил Старградский, — она умела вскружить голову всякому, а ваша мать всегда была тихая

и сдержанная. Может быть, мстя ему, она вышла за меня. Но она всегда была верна мне. Она всеми силами души заставляла себя жить и чувствовать, как любящая нежно и преданно. Она сумела сделать мою жизнь очень счастливою.

Александра вспоминала, год за годом, всю жизнь свою в родном доме. Им, детям, всегда казалось, что в их доме — счастье и радость. И так были странны иногда тихие дуновения печали! Бог весть откуда они приходили. Теперь Александра понимала, что мать радовала всех, но душа ее была обвеяна печалью. Она всегда знала, что по-настоящему Буравов любит только ее, и он знал, что она его не разлюбила.

Александра вспоминала те мелкие признаки, по которым она угадывала эту любовь. Она сказала:

— Да, когда Буравов к нам приходит, я никогда не могу отделаться от какого-то странного чувства неловкости.

— А твои сестры замечали? — спросил отец.

— Людмила нет, — отвечала Александра. — Она слишком рассудительна для того, чтобы догадываться. А Раиса еще давно сказала мне: «Мама любит Буравова». Так прямо, без предисловий. Как всегда, со своею обычною манерою. Тогда я еще не поверила этому. Подумала, что опять дурит наша блаженная Раиса. Потом-то я поняла, что она очень чуткая, наша странная Раисочка.

— Ее странники и старцы иногда меня беспокоят, — сказал отец. — Но я уверен, что это пройдет. Останется только правда исканий, правда веры. Все минется, одна правда останется. Так во всем, Саша. И в эту войну мы идем добывать правду. Потому я и рад этой войне. Она развяжет многие узлы. И в нашей жизни. Теперь у него умерла жена. Если меня убьют...

Александра сказала со страхом:

— Нет, папа, так развязывать никакие узлы не надобно. Ты должен для нас...

— Ты не думай, Саша, — говорил отец, — что я буду искать смерти. Не о себе думать в бою приходится. Да и было бы смешно, если бы я, как запальчивый мальчик... Но ведь и война будет такая, какой еще не видел мир. Война на истребление.

— Нет, этому нельзя поверить. Неужели Гейнрих Шпрудель, который так долго жил в России, захочет истреблять русских?

— Да ведь и Шпрудель придет к нам не с букетом фиалок. Может быть, томик Шиллера и будет в его походной сумке, рядом с фляжкою коньяку. А ты знаешь, как был похоронен Шиллер? В общем склепе положили его. А потом, когда захотели положить его рядом с Гёте, взяли чьи-то кости, может быть, и не Шиллера.

XVI

Тихо вошла Людмила и остановилась около дверей, вслушиваясь в разговор.

— Нельзя же за безумие немногих винить весь народ, — сказала она.

Отец отвечал:

— Весь народ это терпит и одобряет. И во время войны они будут все вместе.

— Вот ты увидишь, папа, их писатели, художники, ученые будут протестовать против этой войны.

Александра сурово спросила:

— Ты сказала отцу, что любишь Шпруделя?

— Отец это знает, — робко сказала Людмила.

Александра смотрела на нее с удивлением и страхом. В эти дни всеобщего единодушия быть не вместе со своим народом, любить врага своей родины, — это казалось прямодушной Александре чудовищным. Щеки ее ярко зардели, когда она говорила сестре слова гневного упрека:

— И в эти дни ты можешь любить человека, который сражается против твоего брата?

— Саша, не упрекай меня, — плача, говорила Людмила. — Спроси свое сердце, — если любишь, то ведь это навеки, этого нельзя победить.

Но сердце Александры говорило ей совсем другое. Она гневно спрашивала:

— Если ты будешь знать, что он убивает русских, ты будешь его любить?

— Его послали, его отечество требует, чтобы он воевал, он обязан, — смущенно говорила Людмила.

— На его руках будет русская кровь, — и ты будешь его целовать? — воскликнула Александра.

— Милая, сестра моя, ты терзаешь меня. Что я могу? Разве я счастья для себя хочу? Его могут убить. Но если он останется жив, то ведь будет же мир, забудется же это!

— Не знаю, Людмила, что будет. Но теперь, когда мы знаем о них...

— Да мы ничего верного не знаем. Но клянусь тебе, никто здесь не услышит о моей любви к нему, и если когда-нибудь мне придется сделать выбор между любовью к милому моему и любовью к родине, я буду помнить, что я — русская, я не опозорю имени моего отца, и хотя бы сердце мое разорвалось от горя, я буду верна, верна моей милой России.

Рыдая, она стала на колени перед отцом. Старградский обнял ее и говорил, гладя ее волосы:

— Людмила, я был уверен, что ты это скажешь. Дай Бог, чтобы тебе не пришлось делать этого выбора и чтобы все мы после войны могли со спокойною душою протянуть руку бывшему врагу. Успокойся же, Людмила, не плачь.

Александра все-таки не понимала того, как может Людмила не разлюбить. Но кроткая жалость проникла в ее сердце. Она подняла Людмилу, обняла ее и, утешая, говорила:

— Милая, бедная сестра! Мы будем вместе в эти тяжелые дни, как-нибудь перетерпим нашу маленькую личную скорбь. Не будем думать о себе, о своих огорчениях, — только о том станем заботиться, чтобы и свои силы приложить к общему делу, слиться с народом в его великом подвиге, — и нам будет легко и радостно.

XVII

В гостиной у Екатерины Сергеевны сидела начальница местной женской гимназии, Берта Францевна Нахтигаль, ужас и кошмар простодушной Раисы. Обрусевшая немка, она была хорошо принята во многих здешних семействах, но непонятно было, что находили приятного в ее беседах: они сплошь состояли из неумеренного восхваления всего германского и самого резкого порицания всего русского. Впрочем, многие из нас именно это и любят.

Нахтигаль говорила генералу, только что вошедшему в гостиную вместе со старшими дочерьми:

— Я слышала, и вы, генерал, тоже едете на войну?

— Да, Берта Францевна, еду.

— Ай-ай, как нехорошо, такая война! Я говорила вчера с пастором Фрейланд, и он мне тоже говорил: «Ай-ай, как нехорошо, такая война!» И еще он мне говорил: «Берта Францевна, я вам скажу по секрету, — у нас в Берлине сошли с ума!» Он так говорил потому, что немцы — очень культурный народ и не хотят воевать.

Тоскливо предчувствуя хвалебную Германии речь, Раиса быстро, почти мимовольно, сказала:

— Я каждый день молю Бога, чтобы сербы взяли Вену, а русские — Берлин. Но неужели немцы возьмут Париж?

Поджав сухие губы, Нахтигаль строго взглянула совиными глазами на Раису и затянула жалобным голосом:

— Если Берлин возьмут и такой хороший город пострадает и будет разрушен бомбами, это будет очень жаль.

И Александре, обычно сдержанной, на этот раз захотелось спорить с самодовольною немкою. Злое чувство закипело в ней, когда она сказала голосом, более резким, чем бы она сама хотела:

— Никто не станет разрушать Берлина, хотя это и очень неприятный город, тяжелый, безвкусный.

Екатерина Сергеевна укоризненно посмотрела на дочь.

— О, Берлин — лучший город в свете! — уверенно сказала Нахтигаль.

— Ну можно ли его сравнить с милым Парижем! — воскликнула Александра.

Екатерина Сергеевна хотела было унять дочерей, но имя Парижа навеяло на нее много сладостных воспоминаний. Она сказала:

— Ах, кто же сравнивает! Париж, конечно, единственный город. Вы меня извините, Берта Францевна, но Париж вне всяких сравнений.

Щеки Нахтигаль покрылись кирпично-красными пятнами. Она заговорила, волнуясь:

— Я не могу с вами согласиться, Екатерина Сергеевна. Париж — неопрятный город. Там по улицам везде бумажки валяются. Там везде ужасный разврат. Берлин гораздо лучше, чище, наряднее. Если вы хотите за границей купить на ваши деньги что-нибудь дешево, модно и хорошо, то вы можете сделать это только в Берлине, где вы найдете такой магазин, как Вертгейм? (Она сказала по-берлински Вертайм.)

— У меня такое впечатление, — сказала Раиса, — что в Берлине дома довольно хорошие, а одеты берлинки очень странно, совсем безвкусно.

Нахтигаль говорила сердито:

— Я не понимаю, как можно не восхищаться таким городом, как Берлин! После этого вы можете сказать, что и Бисмарк не был очень великий человек!

Раиса, вся раскрасневшись, сказала запальчиво:

— Бисмарк был грубый и жестокий. Только в нем хоть то хорошо было, что он России боялся.

Екатерина Сергеевна посмотрела на нее с укором. Нахтигаль пришла в ярость и закричала:

— О, пфуй, пфуй! Так говорить о таком великом человеке, как Бисмарк! Бисмарк не мог бояться, он никого не боялся, это был железный человек, но он делал политику и не хотел ссориться со всеми.

XVIII

Нахтигаль так увлеклась своим яростным криком, что только тогда заметила вошедшего Буравова, когда хозяйка обратилась к нему

со словами привета. Нахтигаль смущенно замолчала. Буравов был один из немногих русских, к которым она чувствовала уважение, может быть, за то, что он довольно долго жил, в свои учебные годы, в Германии и имел там немало друзей среди ученых и литераторов. Нахтигаль старалась теперь говорить особенно любезно с Буравовым. Но все же видно было, что она очень рассержена.

Александра внимательно смотрела на родителей и на Буравова. Ей хотелось проверить кое-что. Да, как всегда, при виде Буравова мать стала особенно оживленною и словно помолодевшею, а у отца стали грустными глаза, правда, только на одну минуту; потом они опять приняли обычное спокойное и мужественное выражение.

Нахтигаль, любезно улыбаясь Буравову, говорила:

— Павел Дмитриевич, вы — такой милый человек, скажите ваше мнение об этой ужасной войне.

Буравов поглядел на нее с сочувствием, пожал ее руку и сказал утешающим голосом:

— Берта Францевна, вы взволнованы? Я так понимаю, — надеюсь, здесь все понимают ваши чувства. Но Россия воюет не с германским народом, а с тем милитаризмом, который так вреден для самой Германии.

Нахтигаль казалось, что можно было бы в более определенной форме выразить сочувствие Германии. Но она не решалась спорить с Буравовым и повторяла нерешительно:

— О да, такая война, такая ужасная война!

— Вот, Павел Дмитриевич, мама хочет уехать, а мы не хотим, — сказала Раиса.

Екатерина Сергеевна поглядела на него вопросительно, и он, отвечая на ее взгляд, сказал:

— Конечно, уезжайте. И я непременно уеду при первой же возможности. Если я еще здесь, так только потому, что не достал билета. На вокзале ужас что творится! Все торопятся уехать во внутренние губернии. Но уж я решил ехать на автомобиле.

— Счастливец! — с завистливым вздохом сказала Екатерина Сергеевна.

Она уже знала, что за автомобиль берут очень дорого, и не хотела тратить таких денег: содержание семьи и так стоило много, и от генеральского жалованья мало что оставалось.

— Если хотите, — сказал Буравов, — я и вас возьму с собою.

Екатерина Сергеевна нерешительно взглянула на мужа.

— Спасибо, Павел Дмитриевич, — просто и спокойно сказал Старградский.

Александра почувствовала, что ей хочется плакать. Она поспешно подошла к окну.

Екатерина Сергеевна, глядя на Буравова вдруг заблестевшими глазами, говорила:

— Ах, я так буду вам благодарна!

Раиса грустно подумала, что опустеет этот милый город и в саду не слышно будет милых голосов. И что же будет? Придут враги — разрушать и жечь.

Нахтигаль неприятным голосом старой, придирчивой гувернантки говорила:

— Я не понимаю, зачем уезжать! Немцы — такой культурный народ, они ничего худого никому не сделают.

— Однако на Бельгию напали и ведут себя там, как гунны, — сказала Раиса.

Нахтигаль глядела на нее со злостью, и глаза ее горели по-змеиному, когда она говорила:

— Это есть политика, и мы тут ничего не можем понимать. И особенно молоденькие девушки ничего не могут понимать в политике. Это не дело женщин — заниматься политикой. Женщина должна знать только церковь, кухню и детей, — и этого с нее довольно во всю ее жизнь!

Расходилась сердитая немка и стучала по столу кулаком.

— Так думают в Германии, — отвечала Раиса. — У нас, в России, думают иначе.

— Раиса, не спорь, — строго сказала мать.

Раиса замолчала. Меж тем Буравов рассказывал генералу про свой автомобиль.

— Конечно, плохенький, но до Москвы как-нибудь доберемся. Просили полторы тысячи, чтобы только довезти до Москвы. Я предпочел купить его. Заплатил семь тысяч. Зато он мне и в Москве будет служить.

— Мама, — тоскливо спросила Раиса, — так ты непременно хочешь ехать?

— Конечно, поеду.

Буравов подробно и красиво, с настоящим ораторским подъемом, стал доказывать, что в такое время надо объединиться и что для этого надо быть ближе к центру.

— Здесь, — говорил он, — мы никому не можем принести никакой пользы в этой сумятице. Здесь совершенно достаточно местных сил. Мы будем гораздо полезнее во внутренних губерниях, где можно организовать помощь семействам запасных. Вообще, в эти тяжелые дни общество должно сплотиться.

Старградский слушал его со спокойным, слегка грустным вниманием.

— О да, вы, конечно, совершенно правы, — говорила Екатерина Сергеевна. — И я с вами совершенно согласна.

«Как всегда!» — печально подумала Александра.

XIX

Стали собираться городские знакомые проводить генерала на поезд. Были здесь Уэллер и Дюбуа с сестрою. В гостиной стало шумно, здесь и там вспыхивали разговоры, как всегда в таких случаях, отрывочные и беспокойные.

За окном опять слышны были музыка и пение.

Мари, с цветами в руках, подошла к генералу и смотрела него влюбленными глазами.

Старградский, улыбаясь ей ласково, как дочери, смотрел на ее раскрасневшееся лицо и говорил:

— Милая Мари, вы опять балуете меня...

С трепетною ласковостью Мари говорила:

— О, пусть эти цветы будут с вами в вагоне. Я донесу их до вагона. Можно?

— Спасибо, милая Мари!

Раиса откровенно-влюбленными глазами глядела на Уэллера и спрашивала:

— Отчего же вы и Дюбуа не на службе? Ведь сегодня не праздник.

У нее еще была надежда, что слух неверен и что Уэллер не идет в добровольцы. И в то же время она знала, что ей будет очень горько, если окажется, что Уэллер и не думал поступать в русскую армию.

Ужасом и счастьем затрепетало ее сердце, когда она услышала радостные слова Уэллера:

— Я пришел проститься. Сегодня уезжаю, в одном поезде с вашим отцом.

Улыбаясь сквозь слезы, Раиса говорила:

— Вот уж этого я от вас не ожидала! Вы — такой рационалист и вдруг поступаете, как экспансивный русский студент.

— Так это правда? — спросила, подойдя к ним, Александра.

— Да, — сказал Уэллер, — меня и Дюбуа взяли добровольцами. Я так счастлив! Не все считать чужие деньги.

— Я думала, вы — такой спокойный и расчетливый, — улыбаясь, говорила Александра.

— Расчетливый потому, что коммерсант? — спросил Уэллер. — Да, я — коммерсант по призванию, стало быть, любитель риска. А война — наивысший риск. И, прежде всего, я — англичанин, и потому люблю спорт, борьбу и не бегу опасностей.

Мимолетная тень пробежала по лицу Раисы. Александра поняла, что смутило ее в словах молодого англичанина, и спросила нарочно, чтобы дать ему возможность объяснить свою мысль:

— Только потому и пошли на войну?

Уэллер усмехнулся.

— Потому я решился. А захотел я потому, что это — война за правое дело, великая, святая война. А вы, Раиса, что мне скажете сегодня?

Раиса положила руку на его рукав и говорила ему нежно:

— Пойдемте, милый Ричард, помолимтесь вместе, и я вас благословлю. Если вы не захотите меня огорчить, вы будете носить образок, который я вам дам.

Вслушавшись в разговор молодежи, Буравов сказал с укором:

— Раиса, зачем эта экзальтация? Вы даже забываете, что он иного племени и иных взглядов.

Он был уверен, что Уэллер чувствует себя неловко и не захочет молиться вместе с Раисою, и ему хотелось спасти молодого англичанина от этой неловкости. Но Екатерина Сергеевна сказала ему тихо:

— Оставьте ее, Павел Дмитриевич.

— Я рад, что Раиса хочет за меня помолиться, — сказал Уэллер. — И ваш образок, Раиса, будет всегда со мною.

— И я всегда буду душою с вами, Ричард, — радостно говорила Раиса, уводя Уэллера к себе наверх.

XX

Людмила тихо спросила Александру:

— Неужели она его любит?

— Да, любит, — сказала Александра.

Дюбуа весело, ни к кому особенно не обращаясь, говорил:

— Мы с Уэллером в один полк. Я очень рад. Ричард — славный товарищ.

— Мне страшно за моего брата, но я горжусь им, — говорила Мари. — И я так рада, что он будет служить под начальством генерала!

Как всегда при упоминании о генерале, глаза ее заблестели.

— А вы, Мари, куда отправляетесь? — спросила Александра.

— Я поеду в Москву. Мне там обещали взять меня в сестры милосердия. Генерал был так добр, похлопотал за меня. Может быть, меня отправят в полевой лазарет.

Людмила тихо сказала Александре:

— Бедная! Она даже не может скрыть, что влюблена в папу.

XXI

Старградский, взглянув на часы, тихо сказал жене:

— Катя, на минутку пойдем ко мне.

Когда дверь его кабинета затворилась за ними, Екатерина Сергеевна порывисто бросилась к мужу.

— Храни тебя Господь! Сохрани тебя Бог! — повторяла она.

Она крестила его дрожащими руками, обнимала, плакала.

Старградский спокойно сказал:

— Послушай, Катя, мы с тобою не дети. Все может случиться на войне.

Екатерина Сергеевна, прижимаясь к нему, чувствовала, как больно острие меча пронзает ее душу. Мечта любви казалась ей преступною мечтою, когда она обнимала этого человека, которого никогда не любила и который идет туда, откуда не все возвращаются. Она повторяла в смертной истоме и тоске:

— Бог тебя спасет, сохранит!

— Если я не вернусь... — начал Старградский.

— Не надо, не надо! Ты вернешься! — восклицала она.

— Дай Бог. Ну а все-таки на всякий случай скажу тебе, — прости за солдатскую откровенность, — долго траура не носи. Ты еще молода, живи для себя, для того, кого полюбишь. Кого любишь.

— Зачем ты это говоришь? — тоскливо спрашивала Екатерина Сергеевна.

Старградский спокойно говорил:

— Разве ты не хочешь слышать слово правды? Вот в этом несчастье нашей жизни, что мы таим что-то друг от друга.

«Он все знает!» — думала Екатерина Сергеевна и плакала, плакала горько.

Тихо сказала она:

— Иногда счастье в этом.

Так, точно она хотела оправдать перед ним молчание всей своей жизни, то, что не сказала ему о своей любви к другому.

— Для меня, не для тебя счастие, — отвечал он.

Екатерина Сергеевна горестно воскликнула:

— Да в чем же правда? В мечте бездейственной или в деятельной жизни?

И больно, и сладко ей было думать, что в эту минуту она отрекается от мечты всей своей жизни.

Старградский спокойно сказал:

— Правда в том, чего хочет сердце.

Он приоткрыл дверь и сказал не громко, но так, что звучный голос его покрыл всю сумятицу разговоров и движений в гостиной:

— Девочки, подите ко мне.

Вошли Александра и Людмила.

— А где же Раиса? — спросил генерал.

— Она сейчас придет, — отвечала Александра. — Она молится с Уэллером. Дюбуа пошел за нею. Он очень милый и услужливый.

Старградский посмотрел на дочерей внимательно и сказал:

— Не оставляйте мать, девочки.

— Папа, будь спокоен, мы будем с нею, — сказала Людмила.

— Поддерживайте ее, — говорил отец.

— Папа, ради Бога, береги себя, — отвечала Людмила.

Старградский сказал, улыбаясь:

— Помнишь, кто писал «я к пулям не хожу, а ты запрети им ко мне летать»?

В это время, поспешная и легкая, в кабинет вбежала Раиса.

— Папа, береги мой образок, — он спасет тебя.

— Спасибо, Раиса, твой образок всегда со мною. Ну а ты, самая умная, что скажешь мне?

Александра покраснела, стала перед отцом на колени, поцеловала его руку и сказала:

— Что смею сказать? Ты сам знаешь. Я буду за тебя молиться.

— И я, папа, — сказала Раиса.

По ее лицу текли радостные слезы, и, когда она рядом с Александрою склонила свои колени перед отцом, она казалась легкою, белою и почти бестелесною. И такою светлою, что невольная зависть вошла в сердце Людмилы.

Старградский говорил Раисе:

— Знаю, милая, что ты будешь за всех за нас молиться.

XXII

Вечером в тот же день Буравов сидел в гостиной у Екатерины Сергеевны. Сестер не было дома. Они ненадолго ушли куда-то.

Слова незначительного разговора перемежались минутами взволнованного молчания. В большом волнении они смотрели друг на друга. Наконец Буравов тихо сказал:

— Катя, наконец я буду с тобою долгие дни. Прости, но я рад.

Екатерина Сергеевна смотрела на него испуганными глазами. Шептала:

— Сердце мое, сердце мое! Как оно бьется!

Буравов целовал ее руки и говорил:

— Оно хочет счастия, оно ждет радости.

— Счастия, радости! — повторяла Екатерина Сергеевна.

Какие слова! Точно из старой, забытой сказки! Теперь, в эти великие, грозные дни, слова о личном счастии, о маленькой, уютной радости! Какая боль! Неужели он не знает, что теперь не надо говорить об этом? Или он, такой умный, такой мудрый, знает лучше?

Он повторял:

— Мы будем вместе, мы будем счастливы.

Как можно этому поверить? Словно испытуя свою душу, Екатерина Сергеевна тихо говорила:

— Нет, нет! Он будет сражаться, он будет в смертельной опасности, — как я могу в эти дни думать о счастии!

Буравов тихо покачал головою. О эти женщины! Они всегда умеют создавать неожиданные препятствия. Он с ласковым укором говорил:

— Разве мужу твоему надо, чтобы мы сами отбросили от себя сладкие минуты счастия?

Звякнул в передней колокольчик. Послышались голоса девушек. Екатерина Сергеевна пугливо смотрела на дверь. Буравов встал и задумчиво ходил по комнате.

XXIII

Вошла Раиса. Она была в беспокойном, нервном настроении и казалась слишком веселою. Шаловливо сказала она Буравову:

— Не думайте, что я поеду с вами.

— А как же? — спросил Буравов.

— Спрячусь в погреб, и вы меня не найдете.

— Как же не найду, если вы сами сказали, что спрячетесь в погреб?

— Да, но я ведь не сказала, в какой погреб. А потом — к отцу Григорию.

Мать смотрела на Раису, укоризненно покачивая головою. Буравов сказал досадливо и наставительно:

— Блаженная Раиса! Не разберешь, шутите вы или говорите серьезно. А разве можно шутить в такие значительные дни? Теперь надо работать.

— И молиться, — тихо сказала Раиса.

XXIV

Через день выехали. Автомобиль, купленный Буравовым, оказался поместительным и сильным. Но ехали не так скоро, как бы хотелось. Дороги были очень плохи. Недаром потом немцы жаловались, что русские пять лет, готовясь к войне, портили дороги. Не раз приходилось останавливаться для починок. Трудно было доставать бензин. Быстрой езде мешало и то, что дороги были загромождены обозами и людьми. С пограничных местностей бежали обыватели, напуганные разговорами о германских жестокостях, а немало было и таких, которые и сами испытали все ужасы тевтонского нашествия. Бедные люди, среди которых было много евреев, тащили кое-какой, спешно захваченный скарб, кто на телегах, кто на тележках, тачках, кто на своих собственных спинах. Шли и ехали испуганные, плачущие люди, кое-как одетые, и плачущим гвалтом их стонали и теснота дорог, и околодорожные просторы неубранных полей.

Сколько рассказов наслушались! Самых невероятных и ужасных. Сколько разных людей видели!

Останавливались то в харчевнях, то в гостиницах, то на вокзалах, то просто в чьем-нибудь гостеприимном доме. На каждой остановке приходилось раздавать деньги и пищу голодным детям с ужасными, жалкими и жадными глазами.

Везде где проезжали, было тревожное настроение. Граница была близка, и везде ходили слухи, что русская армия, повторяя двенадцатый год, отступит в глубину страны, чтобы приготовить врагу гибель. Счастливыми считались те, кто мог бежать далеко, далеко, дальше черты оседлости. Но не всем было дано и это жалкое счастье.

Наконец в маленьком уездном городке застряли основательно, дня на три: автомобиль надо было чинить. А отъехали едва верст шестьдесят. Поместились, очень тесно, в гостинице, но почти все время проводили то на улицах города, то в буфете вокзала.

Иногда расспрашивали, иногда пассивно слушали отрывки тревожных разговоров. На вокзале говорили про разрушение немцами пограничного русского города.

— Провокаторский выстрел!

— Просто с перепугу сами своих жарили, за русских приняли.

— И разрушили почти весь город.

— Ну, на это только немцы способны.

События уже сделали людей доверчивыми к страшным слухам.

Буравов озабоченно повторял:

— Что вы поделаете с этим народом! Этот ужасный, угрюмый человек говорит, что раньше, как завтра, автомобиль не будет готов.

Екатерина Сергеевна кротко улыбалась и говорила:

— Ну что ж делать, подождем!

Какая-то старуха, по виду торговка, утешала плачущую девушку, очень красивую и очень испуганную:

— Не плачь, не плачь, милая. Отца не вернешь, конечно. Горе, конечно, Господи, да уж что убиваться-то! Бог их накажет, немцев проклятых.

Сестры смотрели на нее и на молодую красавицу испуганными глазами. Она исчезла с дочерью в каком-то темном углу.

Передавались страшные рассказы. Не разобрать иногда было, наяву ли это или кошмарный сон. Но, несмотря на усталость, сестры чувствовали себя очень бодрыми. Их поддерживало нервное возбуждение, да и сказывалось суровое, спартанское воспитание, которое получили они в родительском доме.

Екатерине Сергеевне иногда казалось, что целые годы прошли с тех пор, как ее Сережа ушел на войну. А посчитает дни, — и месяца еще нет. Особенно удручало то, что со времени отъезда нельзя было получить никакой вести ни от Сережи, ни от Ельцова. Утешали себя мыслью, что письма будут в Москве.

XXV

Обедали в буфете вокзала. За соседним столиком сидел плотный господин германской наружности. У него был очень веселый и гордый вид. Буравов встречал его, — это был технолог Мюллендорф; он уже давно жил в России, работая на каком-то заводе.

Вслушавшись в разговор Буравова со Старградскими, он сказал очень уверенно:

— Наши скоро придут в Москву.

Все поглядели на него с удивлением. Он не казался пьяным. Александра спросила:

— Кто это ваши?

— Германская армия, — отвечал Мюллендорф. — Я говорю, что очень скоро наши войска войдут в Москву.

Раиса засмеялась.

— Пленными? Так их и дальше Москвы отправят.

— Раиса, не дразни его, — тихо сказала Людмила.

Ей казалось вполне естественным, что в начавшейся войне германцы победят. Слова этого господина поэтому не казались ей ни смешными, ни дерзкими.

Екатерина Сергеевна тихо спросила Буравова:

— Кто этот странный господин?

Буравов рассказал ей, что знал о Мюллендорфе. А тот, отвечая Раисе, говорил:

— Нет, не пленными, а победителями. Наши уже пришли в Брюссель. Сначала возьмут Париж, усмирят французов, и потом сюда.

— Париж! О милый город! — воскликнула Раиса. — Нет человека на земле, который не заплачет о Париже. Москва, Париж, Лондон — вот настоящие великие города.

— У нас очень хорошее войско, — хвастался Мюллендорф, — и пушки очень хорошие. Наши цеппелины летят вверху и несут с собою смерть и разрушение.

— Пушки у вас, может быть, и не хуже наших, а только солдаты у вас поплоше, — отвечала Раиса.

Мюллендорф покраснел и надулся.

— Немцы никого не боятся, — сказал он.

— Кроме казаков, — со смехом сказала Раиса.

Мюллендорф смутился.

— О, ваши казаки!

Подумав немного, он продолжал уже не так уверенно:

— Нет, немцы и казаков не боятся. Наш кайзер Вильгельм — великий человек.

Раиса, всплеснув руками, обратилась к Буравову:

— Неужели они все такие? Фрау Нахтигаль, этот господин, — все поют одно и то же и петушатся нестерпимо.

Буравов сухим тоном начал говорить ей что-то весьма несомненное о превосходстве германской культуры. Екатерина Сергеевна говорила Мюллендорфу:

— Россия и с Наполеоном справилась, справится, Бог даст, и с Вильгельмом.

Мюллендорф презрительно засмеялся.

— Наш Вильгельм выше Наполеона.

Раиса, не дослушав Буравова, вскрикнула:

— О, что он говорит! Вильгельм выше Наполеона? Разве только ростом. А вы слышали, какие варварства были совершены германцами в Бельгии! Ваши солдаты истязали женщин и детей, воевали с безоружными...

Мюллендорф кивал головою, словно слышал что-то очень приятное и верное.

— Да, — сказал он внушительно, — это — проявление силы, себя сознающей. Никто не смеет становиться поперек дороги нашей армии.

Взволнованная и раскрасневшаяся, Раиса говорила:

— Нет, ваши войска совершают нечестивое дело. Недаром великодушные англичане вооружились против Германии.

— Наши их разобьют, — хвастливо сказал Мюллендорф.

— Не рано ли хвалиться? — сказала Александра. — Предсказаний таких вы бы лучше не делали.

— Почему же, позволяю себе вас спросить?

— Потому что вы в русском городе и говорите с русскими людьми.

Раиса, краснея и волнуясь, говорила:

— Жребий войны в руках Божиих. Мы, русские, верим, что не в силе Бог, а в правде. Только благочестивые владеют миром. Дело наше правое, мы сильны, мы хотим победить и победим.

Голос ее звенел, и глаза блестели.

Мюллендорф сердито отошел. Буравов принялся упрекать Раису, зачем было оскорблять немецкие чувства этого человека.

Раиса не знала, чувствовать ли себя виноватою. Она робко сказала:

— Он наши русские чувства оскорблял.

Но к Буравову присоединилась, как всегда в таких случаях, Людмила. Она доказывала, что Мюллендорф — иностранец и что к нему надо быть снисходительным. Посыпались на Раисину голову неумные речи умных людей.

Раиса наивно спрашивала:

— А они, культурные немцы, отчего же были так жестоки с русскими путешественниками и больными?

Буравов наставительно объяснял, что если кто-нибудь делает худо, то это не значит, что и мы должны поступать худо. И вдруг, к его удивлению, Екатерина Сергеевна заступилась за Раису. Она сказала:

— Вы, Павел Дмитриевич, правы, как всегда. Но иногда мне хочется поступать худо. И теперь, когда у меня муж и сын на войне, я не хочу слушать дерзкие речи зазнавшегося германца.

Буравов хотел было развить свой принципиальный взгляд на дело, но в зале поднялась сумятица. Кому-то показалось, что где-то стреляют. Слышны были взволнованные крики:

— Смотрите, дым, — горит что-то?

— Уж не наш ли город?

— Нет, это далеко.

Все бросились посмотреть, что там делается. Как всегда, когда еще не было очевидной опасности, любопытство в толпе брало верх над страхом.

XXVI

Как только Буравов и Екатерина Сергеевна оставались вдвоем, где бы это ни было — в гостинице, в буфете вокзала, на городских улицах — они опять начинали говорить о том же. И теперь, когда в опустелом буфете только анемичная девица дремала за буфетною стойкою, Буравов тихо говорил, ласково сжимая руки Екатерины Сергеевны:

— Катя, в эти трудные минуты не мучь меня больше. Я знаю, ты меня любишь.

Она отвечала:

— Люблю! Милый, люблю! Всю жизнь любила только тебя. Но подумай, — он, мой муж, где-нибудь, может быть, близко, может быть, далеко, стоит под угрозою смерти, и в эти минуты как же я стану стремиться к счастью, думать о любви! Да ведь это было бы кощунством! Довольно и того, что я послушалась вас, друг мой, и уехала.

— Но ведь что же иное? — спросил Буравов. — Не оставаться же в городе, ждать неведомо чего!

— Теперь только о том и думаю, — говорила она, — добраться до Москвы и работать, работать. И ждать вестей о муже, о сыне. И не будем говорить об этом, прошу вас, друг мой, очень прошу!

Отчаяние и мольба были в ее голосе.

Буравов говорил:

— Мы будем работать вместе. Я не буду вам говорить о том, что вас раздражает.

— Не раздражает — мучит, — с отчаянием говорила Екатерина Сергеевна. — Подумайте, мой Сережа, а здесь я, — ах, Боже мой, Боже мой!

— Я буду надеяться, буду ждать, — сказал он.

Екатерина Сергеевна, плача, говорила:

— Может быть, нам лучше было бы в Москве расстаться, не видеться.

— Ради Бога, — в ужасе восклицал Буравов, — умоляю вас, не лишайте меня последнего утешения хотя иногда видеть вас! Клянусь вам, я не буду мучить вас.

— Да, друг мой, не будем говорить об этом.

Прошли долгие две-три минуты тягостного для обоих молчания. Обоим казалось, что жизнь разбита навсегда.

Наконец Буравов овладел собою. Он заговорил почти спокойным голосом:

— Пусть будет так, как вы хотите. Но теперь я бы хотел обратить ваше внимание на Раису. Ее шовинизм, ее возбудимость, — все это для нее самой очень вредно. Вы должны были бы повлиять на нее в этом отношении.

— Напрасно, друг мой, вы так часто ее останавливаете, — с кротким упрямством отвечала Екатерина Сергеевна. — Она откровенная, но вовсе не злая.

Буравов сказал с удивлением:

— Это ново! Вы за нее заступаетесь!

— Оставьте ее, — говорила Екатерина Сергеевна, — она ничего дурного никому не скажет и не сделает. Она простая и прямодушная, и изо всех наших детей она больше всех похожа на отца. Оставьте ее.

— Как вам угодно, — холодно сказал Буравов.

Он не привык к тому, чтобы его советы отклонялись.

XXVII

Вернулись сестры, взволнованные и тревожные. Александра чутко вгляделась в лицо матери и Буравова. Острою жалостью наполнилось ее сердце. Она подошла к Буравову и сказала тихо:

— Мама очень беспокоится о Сереже. Я знаю, о чем вы говорили с нею.

Буравов посмотрел на нее холодно и недовольно.

— Саша, я вас не понимаю.

Но, не смущаясь его холодным тоном, Александра говорила:

— Простите, Павел Дмитриевич, мешаться в это мне не следует, но все же, прошу вас, не волнуйте ее.

— Право, это меня удивляет, — пожимая плечами, говорил Буравов.

— Простите, — сказала Александра, поспешно отходя.

Екатерина Сергеевна, целуя Раису, тихо говорила ей:

— Милая Раиса, если бы ты знала, какая пустота в душе моей!

— Мама, молись и надейся, — отвечала Раиса.

— Так жутко ждать! — жаловалась Екатерина Сергеевна.

Сестры в городе наслушались новых рассказов. Людмиле казались эти рассказы совершенно невероятными. Другие две с нею не спорили, но рассказам верили.

Привезли в город по железной дороге от позиций вместе с ранеными убитого русского полковника. В городе рассказывали, что пленный офицер выхватил из кармана револьвер, когда на него не смотрели, и выстрелил в спину русскому полковнику. Убил наповал, и солдаты за это подняли его на штыки.

Не верила Людмила этим рассказам, но они заставляли ее горько плакать.

XXVIII

В эту ночь Раисе снились тревожные, страшные сны. Они казались ей вещими. Ведь и прежде, перед всеми значительными

событиями ее жизни, ее навещали сны, которые потом странно сбывались, иногда со всеми мелкими подробностями. И даже это были не совсем сны, — в жуткие, томные минуты полубодрствования-полубреда, когда душа бывала взволнована каким-нибудь впечатлением и когда эта взволнованность в долгой и страстной молитве объединяла всю Раисину душу в одно страстное устремление, перед нею вставали отчетливо далекие, иногда не виданные ею раньше места, проходили знаемые и неведомые люди, звучала их речь. И долго потом эти видения и слова жили в душе Раисы. Иногда она рассказывала их домашним — не всегда. Заметив, что эти видения сбываются, она со страхом и слезами записывала их. Этот странный дневник хранила она бережно. Сначала сбываемость этих видений пугала ее, — не от врага ли рода человеческого они? Но отец Григорий и странник Никандр успокоили ее.

И вот, среди других видений, три особенно запомнились ей. Предстал пред нею ясный день на поле битвы. Место казалось знакомым, — поля и холмы северо-восточной Франции. На одном из холмов — несколько тяжелых орудий. Вдали виднелся нерусский город. Кто-то тихо, но внятно сказал Раисе:

— Это — Реймс.

Высокий прусский генерал смотрел в бинокль и говорил:

— Я вижу там что-то высокое. Оттуда они могут наблюдать за передвижением наших войск.

Толстый полковник, по-видимому баварец, отвечал:

— Это — собор, ваше превосходительство.

У генерала было надменное, сухое и злое лицо, и когда он, опустив бинокль, смотрел на баварца, его глаза казались острыми и неподвижными глазами хищной птицы. Лицо толстого баварца было красное и добродушное.

Генерал сухо кинул приказ:

— Расстрелять.

В полковнике заговорили католические чувства. Он почтительно сказал генералу:

— Древний католический собор, знаменитый своею архитектурою и очень почитаемый. Его начали строить семьсот два года тому назад. С ним связано много исторических воспоминаний.

— Вздор! Сентиментальность! — злобно закричал тощий генерал. — Я вам говорю, это что-то высокое опасно для нас. Снести.

— Будет исполнено, — отвечал полковник.

Загрохотали пушки. Все потемнело в Раисиных глазах. Опять перед нею явился тесный номер гостиницы и тихо спящая на поставленной рядом кровати Александра. В полумгле исходящей ночи видна была открытая дверь в комнату, где спали мать и Людмила. Раиса тихо встала с постели и опустилась на колени перед образом, перед зажженною ею с вечера лампадою. Вдруг сердце ее забилось и замерло, в глазах потемнело. Она закрыла лицо руками, приникла к полу, и опять иное видение предстало перед нею.

Над полем битвы низко неслись облака. Грохотали вдали пушки. Лежали раненые и убитые, русские и германцы. Слышались стоны раненых, бред умирающих. Через поле пробегали пруссаки. Их голоса звучали глухо, как закутанные дымом. Молодой, высокий лейтенант, лица которого сквозь застилавший поле легкий туман еще не видела Раиса, говорил:

— Тут много раненых русских.

Голос его звучал знакомо, и от этого стало страшно Раисе.

Другой лейтенант, с точными и отчетливыми движениями, отчетливо и картаво говорил, щеголеватыми движениями крутя усы:

— В плен не надо брать! Возиться с ними некогда.

Вытянувшись в струнку перед офицерами, толстый солдат с тупым лицом произнес так громко, точно говорил с глухими:

— Господин лейтенант, вон лежит раненый русский офицер.

Опять раздался знакомый голос первого лейтенанта:

— Докончить!

И еще страшнее был этот знакомый голос потому, что он кричал на солдата каким-то звериным зыком и этим утяжелял и без того страшный смысл приказания. Солдат отчетливо, как неживой, повернулся к раненому русскому офицеру и с тупым и радостным ли-

цом вонзил штык в его грудь. Раненый русский офицер со стоном умер.

Раиса почувствовала в сердце своем острие меча и застонала. Она узнала убитого, — близко, близко перед ее глазами было мертвое лицо ее брата Сергея. И убийцу узнала, — лейтенант этот был Гейнрих Шпрудель. Он подошел к убитому, нагнулся над ним, — и сердце Раисы замерло от страха и отвращения. И уже она знала, что услышит сейчас кощунственную цитату из Шиллера.

Шпрудель говорил:

— Ах, черт возьми! Не всякому дается счастье прикончить брата своей невесты.

Отвратительно вульгарно и грубо звучал его голос. Его товарищ картаво говорил:

— Да, это редкая удача.

— К счастью, — сказал Шпрудель, — русская девушка об этом не узнает. Да, «теперь святого нет уж боле». Холодный долг господствует над пламенною любовью.

Туман сгустился и рассеялся. Другое поле было перед глазами Раисы. Близ опушки темного леса, на кочковатой земле, заросшей спутанною, примятою травою, лежало несколько убитых и раненых. Среди них Раиса узнала Ельцова.

Ельцов приподнялся на локте, осмотрелся и окликнул по-немецки лежащего недалеко пруссака:

— Господин лейтенант!

Раненый немец проворчал сердито:

— О, черт возьми! Моя нога!

— Мы с вами товарищи по несчастью, — сказал Ельцов.

Пруссак скосил на него злые глаза и ворчал сквозь зубы:

— Не товарищи, а враги.

— Покурить бы, — сказал Ельцов. — Какая уж там вражда!

Пруссак с бешенством крикнул:

— Проклятый русский, вот тебе! Заткни свою глотку!

Он с трудом приподнялся на локте и выстрелил из револьвера в Ельцова. Выстрел был меток. Ельцов успел только вскрикнуть:

— О Господи! Господи!

И умер. Злой пруссак, падая в усталости, шептал:

— Вот это — настоящая война: когда уходят здоровые, сражаются раненые.

Стало темно, и холодное острие меча горело в Раисином сердце.

Александра услышала тихий стон. Она подошла тихонько к лежавшей на полу Раисе и тронула ее за плечо.

— Что, Раиса? — тихо шепнула она.

Раиса медленно поднялась. Сердце ее, пронзенное острием меча, трепетало. Раиса знала, что не заснет. Этот сон, думала она, только Александре сказать.

— Выйдем в коридор, — тихо сказала она.

Надела юбку и блузу и вышла из номера. Горел ночник, в окне в конце коридора мглистый был полусвет. Заспанная баба стояла над лестницей, собираясь мыть пол. Ряд белых дверей молчал тревожно. Раиса повернулась к вышедшей за нею Александре и почувствовала вдруг, что тревожная тишина коридора душит ее слова.

— Выйдем отсюда, — сказала она.

Прямо перед их дверью была дверь на лестницу, ведущую во двор. Александра и Раиса вышли во двор и на улицу.

Предутренний ветер свежо и влажно обвеивал их непокрытые головы. Предутренняя резкая прохлада и влажные от ранней росы камни мостовой сурово и нежно ласкали их ноги.

Сестры сели на скамью бульвара. И Раиса рассказала Александре свой сон, — про Реймс, про Сергея. Но про Ельцова еще не посмела сказать ей теперь.

XXIX

И утром автомобиль все еще не был готов. Опять тоскливо ходили по городу, встречая толпы беглецов из разоренных мест, раздавая голодным кое-какие деньги и хлеб. Несколько раз приходили на станцию, завтракать, обедать и, главное, узнавать новости.

Уже привычным становился этот буфетный зал со столиками, чемоданами, узлами, весь этот шум, смятение, множество незнакомых лиц, то радостные, то тревожные голоса.

Разнесся слух, что подходит поезд с пленными. Говорили, что целая дивизия сдалась. Другие говорили, что батальон или что два полка. Уже знали, что среди солдат славян много и что они совсем как наши, а офицеры сидят злые-презлые. Говорили, что один офицер в санитара стрелял и убил. Тот будто бы подошел к нему на поле после битвы, нагнулся, а пруссак в него прямо в упор выстрелил.

— Вот звери! — восклицали простодушные слушатели.

Спрашивали:

— Что ему будет?

Другие, с видом знающих, отвечали:

— Известно что, — расстреляют.

XXX

Поезд пришел, и в самом деле привезли пленных пруссаков, пять офицеров и сотни полторы рядовых. Зоркая Александра, идя по платформе, увидела в окне одного вагона надменное лицо пленного офицера. Он быстро отвернулся, но она была уверена, что это — Шпрудель, и вернулась в зал. Лицо Раисы было бледное и испуганное, словно и она знала об этом. Александра отвела ее в сторону и зашептала:

— Можешь представить, я видела Гейнриха. Думаю, что не ошиблась. Он взят в плен.

— Саша, милая, не говори об этом Людмиле, — просила Раиса. — Пойми, Саша, им лучше не встречаться. Если я даже говорю неправду, то все же теперь, после всех этих ужасов...

Александра сразу поверила в Раисин сон и тоже думала, что было бы лучше, если бы Людмила не видела Шпруделя. Она быстро глянула туда, где осталась за столиком Людмила, — хотела под каким-нибудь предлогом увести ее в город. Но Людмилы там уже не было. Сестры тревожно переглянулись.

— Надо ее поискать, — сказала Александра.

Обежали всю станцию, — нигде Людмилы не нашли. Вдруг Раиса вскрикнула:

— Саша, смотри, они уже встретились!

В кабинет начальника станции входил Шпрудель, сопровождаемый двумя солдатами с ружьями. За ним шла Людмила и с нею молодой поручик, сопровождавший пленных. Он говорил Людмиле:

— Только на пять минут. Я беру на себя большую ответственность. Только имя вашего доблестного отца заставляет меня исполнить ваше желание.

Людмила и Александра вошли за ними. Дверь захлопнулась. Шпрудель холодно поклонился им. С выражением необычайной надменности он сказал поручику:

— Напрасно вы берете на себя эту ответственность. Заметьте, что я не давал вам слова.

Поручик спокойно ответил:

— Ну, убежать вам не удастся. Здесь солдаты.

И отошел к окну. Людмила обнимала Шпруделя и говорила:

— Гейнрих, как я рада, что ты не ранен!

— Я в отчаянии, — сухим, неприятным тоном говорил Шпрудель, — что мне пришлось встретиться с тобою в такой обстановке. Но, когда я тебе расскажу, ты увидишь, что у нас не было никакой возможности пробиться. Мы все же исполнили свой долг и сделали то, что нам было поручено.

Этот тон и эти слова раздражали Раису. Она подошла к Шпруделю и спросила:

— Шпрудель, что вы сделали с Сережею?

Людмила вздрогнула и с испугом глядела на Раису. Александра тянула ее за рукав и шептала:

— Раиса, молчи!

Шпрудель холодно и надменно глянул на Раису и сказал:

— Я не видел вашего брата, Раиса.

— Вы его убили! — кричала Раиса.

— Странное обвинение! — пожимая плечами, говорил Шпрудель. — Я сам готов был отдать свою жизнь. Дочь воина, вы имеете странное представление о войне.

Людмила заплакала. Говорила:

— Милый, не слушай ее. Эта война — такое несчастие! Мы все потеряли головы.

Шпрудель отворачивался от горящего взора Раисы. Он вспоминал рассказы о Раисиных снах, — в России он привык на все обращать внимание, — и теперь его самоуверенность колебалась холодным ужасом. Он думал, что эта взбалмошная девушка, пожалуй, и в самом деле ясновидящая. Ведь никто же не мог рассказать ей того, что случилось с ним третьего дня. Даже и его совесть была смущена воспоминанием о смерти Сергея, того славного юноши, который любил его, как любил всех, с кем встречался. Он бормотал, пожимая плечами:

— Но все же — такие слова! «Голова должна воспитать сердце».

XXXI

На платформе слышались чьи-то крики и рыдания. Поручик подошел к двери и пропустил Екатерину Сергеевну и старуху с плачущею дочерью, которых сестры заметили еще вчера. Девушка, рыдая, кричала:

— Он! Это он!

— Кто он? — спросила Александра.

— Он, этот прусский офицер, приказал расстрелять моего отца!

— Сумасшедшая! — презрительно сказал Шпрудель.

Старуха старалась успокоить девушку.

— Пойдем, пойдем, милая! — говорила она.

Заметив, что Александра и Раиса смотрят на них с участием, она говорила им полушепотом:

— Немцы обижали ее, ну конечно, старик заступился, ударил немца, ну конечно, его и расстреляли. Что делать, война, мы это понимаем, ну а она все плачет.

— Этот самый офицер? — спросила Александра.

Старуха, плача, говорила:

— Этот, не этот, что тут, — старика убили, не вернешь. Торговлишка была, все сожгли, разграбили, как сами живы остались, не знаю. Что на нас, только то и осталось. И уж как только выбраться удалось, не пойму. Конечно, здесь отдохнули немного, ну а вот девушка все плачет. Пойдем, пойдем, милая, — говорила она девушке.

Раиса спросила Шпруделя:

— Отчего же вы не скажете, правду ли говорит эта девушка?

— Я не обязан отвечать на нелепые вопросы, — со злостью сказал Шпрудель.

Людмила с ужасом смотрела на девушку, которая в отчаянии ломала руки и выкрикивала бессвязные слова. Раиса подошла к поручику.

— Уведите его. На нем слишком много русской крови, — сказала она.

Шпрудель задрожал от злости и закричал:

— О баранья голова! Только русские могут быть так бестолковы. «Дух мужчины — разрушенье, дышит силой роковой». Прощай, Людмила, — до лучших времен.

Людмила с ужасом смотрела на него. Он поцеловал ее руку, она коснулась губами его лба. Поручик подошел к ним.

— Простите, — сказал он Раисе.

Шпруделя увели. Людмила подошла к Раисе и глядела на нее глазами, полными слез.

— Раиса, безумная Раиса, что ты ему говорила? Неужели все это правда? Что же мне, умереть?

Раиса обнимала и утешала ее нежными словами.

XXXII

Меж тем Екатерина Сергеевна разговорилась с молодым поручиком. Оказалось, что он бывал прошлою зимою в их доме. Он с восторгом говорил о военной деятельности генерала Старградского и о той

популярности, которою уже окружено его имя. Екатерина Сергеевна молодо краснела от гордости. Она спросила:

— Вам с пленными, должно быть, много хлопот? Неприятная обязанность.

Поручик махнул рукою и сказал:

— Да уж и не говорите! Жалуются, что их посадили в вагон третьего класса! Так шумели. А во второй или первый класс посадить не было никакой возможности! Вагонов нет, надо раненых офицеров поместить. Так теперь они требуют себе шампанского! Мы, говорят, офицеры, нам полагается. Можете представить!

— Дайте им пива, — улыбаясь сказала Екатерина Сергеевна.

— Нет, им подали чай. Вина и пива они не получат.

Видно было, что молодой человек очень раздражен заносчивостью пруссаков. Раиса, вслушавшись в разговор, спросила:

— Вы слышали, что здесь говорила эта девушка? Ее отца убили за то, что он за нее заступился. Это ужасно! И если преступник в ваших руках...

— Да, ее спросят, — сказал поручик. — Только ее мать едва ли признает офицера. Вы знаете, русские слишком мягкосердечны. Они предпочитают прощать.

Раиса склонила голову. Вдруг ей стало стыдно, что она с такою нетерпимостью говорила со Шпруделем. Она подумала: «Да, может быть, так и надо. Бог рассудит».

XXXIII

Кое-как добрались наконец до Москвы. Москва была полна заботами о раненых, — и Старградские, все четверо, и Буравов пристроились немедленно в попечительства и лазареты. Дни их были наполнены тяжелою, хлопотливою деятельностью.

Скоро пришло известие о том, что Ельцов и Сережа убиты в одном и том же сражении. Как описать чувства матери, жены, сестер? Их высокую скорбь, их святые слезы почтим благоговейным молчани-

ем. В скорби своей и в слезах они были не одиноки. Труд развлекал и почти утешал их.

И еще было им утешение — быстро возраставшая воинская слава генерала Старградского. Он был неутомим и бесстрашен. Вражеские авиаторы не однажды выслеживали его, не раз были пробиты осколками снарядов стенки его везде успевавшего автомобиля, но Бог хранил его во всех опасностях. Солдаты почитали его за храбрость и любили за его простоту, доступность и неустанное попечение о их нуждах. Они слепо верили ему и знали, что имя его неразлучно с победою.

Александру утешал ее сын. Он был еще очень мал, но она думала, что вырастит его сильным и мужественным человеком. Раиса, видя, что она довольно спокойна, решилась рассказать ей конец своего сна.

Тяжелее всех было Людмиле. Она узнала, где Шпрудель, писала ему, получила несколько писем. Письма его были напыщенно-нежны и почему-то больно ранили ее душу.

С сестрами и с матерью Людмила никогда не говорила о Шпруделе. Когда мать заговаривала о нем, Людмила багряно краснела, молчала, или заговаривала о другом, или под каким-нибудь предлогом выходила из комнаты.

Мать думала, что Людмиле тяжело говорить о Шпруделе. Он сражался против нашего войска, и Людмила все-таки любила его. Какою печалью должно было томиться ее сердце!

Потом она стала внимательнее присматриваться к Людмиле. Какая-то значительная перемена совершилась в этой девушке. Ее суждения уже не были так уверенны и решительны. Совершенно несвойственная ей раньше мягкость была разлита в ее словах и движениях. И особенно две черты удивляли и радовали мать: Людмила сдружилась с Раисою, с которою прежде обращалась несколько свысока; и, может быть, в связи с этою дружбою Людмила начала читать книги о религиозных вопросах и стала почти так же набожна, как и молитвенная Раиса. И уже не улыбалась ее заботам о лампадках перед образами.

XXXIV

Однажды вечером мать и Александра остались дома одни. Александра сидела у себя, смотрела на портрет мужа и плакала.

Мать стукнула в ее дверь.

— Саша, можно посидеть с тобою?

— Пожалуйста, милая мама.

Мать села рядом с нею и гладила ее по голове. Александра тихо говорила:

— Милого моего убили. Но, впрочем, зачем же я это говорю! Я хочу быть со всеми, радоваться и печалиться с моим народом вместе. В душе моей не только печаль, но и гордость.

— Саша, у тебя есть ребенок, — сказала мать.

Александра улыбнулась сквозь слезы, и лицо у нее просветлело. Она сказала:

— Я буду говорить ему об его отце. И когда он спросит, как отец был убит, неужели слова ненависти будут в этом рассказе!

— Он убит в бою. Кого же ненавидеть? — со строгою ласковостью спросила мать. — Или ты веришь Раисиным снам?

— Вещий сон, — говорила Александра. — Знаю, что нелепо верить снам, но Раисину сну верю. И подумай, мама, какой ужас в том, что это сделал Гейнрих Шпрудель! Какая тяжесть на сердце у бедной Людмилы!

Екатерина Сергеевна сказала со страхом:

— Ужасно! Но это — неправда.

— Спросить бы его самого, — говорила Александра, — да не ответит. Слушай, мама, я тебе признаюсь. Может быть, это глупо, но я писала Шпруделю, спрашивала его, что он знает о смерти нашего Сергея. Он мне ничего не ответил.

— Может быть, письмо не дошло? — сказала мать.

— Не знаю. Нет, спросить бы его лицом к лицу. И знаешь, мама, мы его скоро увидим. Раиса сказала мне.

— Опять вещий сон?

— Она предчувствует, что мы увидим скоро и Шпруделя, и Уэллера. Но ты подумай, мама, Людмила стала так нежна с Раисою! Поду-

май, Людмила и Раиса, — «огонь и лед, вода и пламень не столь различны меж собой!» Значит, есть какая-то внутренняя убедительность в Раисином сне.

— Нет, нет, Александра, не говори так. Этого не может быть, — со страхом сказала мать.

— Мама, ты могла бы сказать, что этого не было. Но что этого не могло быть, — о нет! Мы знаем, что они добивали раненых, даже своих тяжелораненых.

Екатерина Сергеевна печально говорила:

— О Боже мой, что делает война! Неужели еще долго не заживут эти раны, не успокоится эта злость? Неужели опять вспыхнет вражда между племенами?

— Не думай, мама, — сказала Александра, — что в душе моей ненависть. Верь, что в отчаянии моем есть великий свет. Во мне — душа простой русской женщины, и я чувствую в себе силу прощать. Нас много осиротелых, во многих семьях носят траур, но я верю, что эти безмерные жертвы не напрасны. В душе моей отчаяние, но и светлая надежда.

— Милая, милая! Благослови тебя Господь! — плача говорила мать.

XXXV

И этот вещий Раисин сон начал сбываться. Однажды утром, когда мать и три дочери сидели за завтраком, они были удивлены неожиданным посещением Шпруделя.

Он был худ и зелен. Глаза его горели беспокойно. Былая самоуверенность сменилась суетливостью и беспокойною говорливостью.

Он рассказывал о том, как ему удалось добиться отпуска в Москву.

— Этот ужасный захолустный город, где нас держали, доводил меня до бешенства. Я долго добивался, чтобы мне разрешили сюда приехать, — наконец позволили. Дали в провожатые славного русско-

го пехотинца и разрешили пробыть здесь четыре дня для устройства своих дел. «О, как прекрасен день, когда солдат вновь наконец вернуться может к жизни, в среду людей!» Надеюсь, Людмила, ты сказала твоим родителям, что я тебя люблю? Я затем и приехал, чтобы выяснить наконец отношение твоей семьи к нашей любви.

Людмила опустила глаза. Лицо ее было холодно и печально. Словно думая о чем-то другом, она спросила:

— После войны ты опять будешь служить в России?

— Нет, с меня довольно, — высокомерно отвечал Шпрудель. — Ты поедешь со мною в Германию. «Если боги счастливы любовью, то и мы любовью равны богам. Счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены».

Людмила, очень бледная, подняла глаза на Шпруделя и сказала тихо:

— Гейнрих, я не могу ехать с тобою в Германию.

— Почему ты не можешь? — с удивлением спросил Шпрудель.

Людмила опять опустила глаза. Едва слышен был ее голос:

— Гейнрих, разве ты думаешь, что между нами ничто не стоит?

С раздражающею механичностью Шпрудель бросил свою очередную цитату:

— «Быть на земле сопутницей супруга есть жребий женщины».

Не было такого случая в жизни, на который Шпрудель не нашел бы подходящей цитаты у Шиллера.

Раиса, вдруг зардевшись багряно, спросила высоко звенящим голосом:

— Гейнрих, вы нам еще не рассказали о смерти Сергея. В ваших письмах не было об этом ни слова.

Шпрудель пожал плечами. Глаза его забегали по сторонам, словно избегая Раисиных глаз. Он опустил голову и сказал притворно печальным голосом:

— Не могу сказать вам, как мне его было жаль. «Ах, он слишком молод для могилы!»

— При вас его убили? — спрашивала Раиса.

Шпрудель глухим голосом отвечал:

— Солдат штыком. Да, я видел. Я не мог остановить.

— Но он уже лежал? — спросила Раиса, пристально глядя на Шпруделя.

Шпрудель сам себе дивился, не понимая, какая сила заставляет его говорить. Ведь гораздо спокойнее было бы сказать, что он ничего не знает о смерти Сергея. Но уж раз проговорился, трудно было остановиться. Он говорил, словно против воли:

— Да, он уже был ранен.

Людмила сказала упавшим голосом:

— Оставь, Раиса. Что же он мог? Жестокости войны не от него. Он только исполнял свой долг.

— Но и у тебя есть долг, — настойчиво сказала Раиса.

Людмила бросила на нее быстрый взгляд и улыбнулась.

— Я это знаю. Я этого не забуду.

— «Сердцу высокому и самый тяжелый долг покажется нетрудным», — процитировал Шпрудель.

Раиса гневно говорила:

— О, не это — долг воина, чтобы добивать раненых.

Шпрудель смотрел на нее угрюмо и злобно. Александра заговорила осторожно:

— Простите, Гейнрих, но ведь вы можете успокоить нас одним словом. Можете ли вы сказать, что не по вашему приказу убит Сережа? Вы не ответили мне на этот вопрос, когда я вам писала. Но ведь мое письмо вы получили?

Шпрудель угрюмо молчал. Александра продолжала спрашивать:

— Был ли хоть один случай, что вы приказывали добить раненых?

— Странный вопрос! — угрюмо и презрительно говорил Шпрудель. — Я исполнял мой воинский долг. «Нравственный долг должен быть нарушен, чтобы уступить место долгу более высокому и более широкому». Дружба склоняется перед любовью к родине.

Людмила поднялась с места и в ужасе, вся дрожа, смотрела на Шпруделя.

— Так это — правда? Вы убили? — воскликнула она.

Шпрудель говорил напыщенным тоном:

— Иногда убивают из милосердия, чтобы прекратить страдания. «Смерть страшна для тебя? Ты хочешь быть вечно бессмертным? В целом живи: ты умрешь, целое ж все будет жить».

— Гейнрих! — плача и ломая руки, говорила Людмила. — Ты говоришь так холодно. И то, что ты говоришь, так ужасно! Подумай, Гейнрих, мы говорим с тобою о том, что очень значительно в нашей жизни. Ты сражался против моей родины, но за это никто из нас тебя не упрекнет, — тебя послали. Но вот мы спрашиваем тебя о том, как умер Сергей, — и вместо простого и ясного ответа мы слышим от тебя уклончивые речи. Подумай, о чем мы тебя спрашиваем? Кто ты, — воин или убийца? Ты должен отвечать! Ты мог встретиться на поле битвы с нашим братом и убить его, — это было бы для нас большое горе, но в этом не было бы твоей вины. Но правда ли, что Сергей был убит после боя?

— Не я его убил, — угрюмо сказал Шпрудель.

— Ты не должен, ты не смеешь так говорить! — закричала Людмила. — Зачем ты сюда пришел? Ты пришел за мною, — и ты должен мне отвечать, когда я тебя спрашиваю о смерти моего брата.

— Я его не убивал, — был холодный ответ.

— Ты не говоришь, ты не смеешь говорить правды. Кровь брата моего на твоей совести.

— Людмила, твой брат убит не мною.

— Довольно. Я — русская. Я останусь здесь. Я не буду вашею женою.

Мать порывисто обняла ее.

— Так, Людмила, хорошо! Отец будет рад.

Шпрудель встал со своего кресла и надменно выпрямился.

— Вы отказываете побежденному? И в такой резкой форме? А я верил, что «женские души отзывчиво-юны» и «светлая надежда у меня цвела в душе»!

Людмила смотрела на него мрачно горящими глазами и говорила:

— Я думала, что вы — рыцарь. Я ошиблась. Прощайте.

Надменное лицо Шпруделя побагровело и стало злым. Теряя самообладание, он закричал:

— Нет, я так не уйду! Никто не смет сказать, что германец — не рыцарь. Вы должны взять ваши слова назад. Я вас заставлю!

Словно зараженная его бешенством, Раиса почувствовала в себе один из тех припадков раздражения, за которые потом так осуждала себя и в которых так горько каялась, простаивая часами на коленях перед образом. Она закричала, наступая на Шпруделя и топая ногами:

— Вы могли бы вызвать на дуэль нашего брата или Ельцова, — но они убиты. Они убиты, но если хотите, я умею стрелять.

Александра обняла Раису и отвела ее в сторону. Невольно улыбаясь забавному выражению гнева на кротком Раисином лице, она сказала ей:

— Раиса, что скажет старец Никандр?

Шпрудель говорил презрительно:

— Если бы передо мною был мужчина, то я и жизни не пожалел бы, чтобы выиграть ставку. Но это было бы смешно — драться с женщинами!

Раиса, не помня себя, вырывалась из рук Александры и кричала:

— Если бы вы меня убили, я была бы не первая женщина, убитая германскими войсками.

— Оставь, Раиса, — строго сказала Людмила. — Это — мое дело. Господин Шпрудель, вы сказали, что заставите меня взять мои слова обратно. Как же вы это сделаете? Я их обратно не беру. Мне жаль, что я ошиблась, но я все же скажу, — вы, может быть, очень храбры, сильны, воинственны, но вы не доблестны, вы не рыцари. Вы разрушали соборы и библиотеки, вы убивали женщин и детей. Мне жаль, что я говорю это вам, безоружному. Но вот рядом с вами в ящике стола два револьвера...

Мать вскрикнула в ужасе:

— Людмила, ради Бога!

Раиса неистовым движением оттолкнула Александру и бросилась к столу.

— Нет, Людмила, — кричала она, — один из этих револьверов — мне: ты его слишком любила, ты промахнешься.

Она порывисто выдвинула ящик стола, достала два револьвера и один из них протянула Шпруделю. Шпрудель презрительно засмеялся.

— Благочестивая Раиса, ни в вас, ни в себя я не буду стрелять. Я должен жить для Германии. Прощайте.

Он поспешно ушел. Раиса заплакала и упала на колени перед матерью.

XXXVI

Людмила плакала. Александра подошла к ней и тихо утешала ее. Она говорила:

— Мы можем плакать. Наши слезы нас не обессилят. Наше горе превратится в радость. Мы будем жить, работать, надеяться. Если не для себя, то для других, для многих.

— Милые дочери, — сказала мать, — я завидую вашему горю. Мой избыток счастья...

Она не кончила и заплакала. Раиса подняла голову и, все еще стоя на коленях, смотрела на мать. Ее голос звучал нежно и повелительно, когда она говорила:

— Мама, ты будешь верна.

Екатерина Сергеевна грустно улыбнулась.

— Дитя мое, ты хочешь, чтобы я повторила слова пушкинской Татьяны: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Да уж не знаю, буду ли я хорошею актрисою для этой роли?

Все с тою же настоятельностью говорила Раиса:

— Отец скоро придет к нам. Что же тогда ты, мама? Развяжешь или свяжешь?

Мать повторила тихо и задумчиво:

— «И буду век ему верна!»

Тоскуя и плача, говорила она:

— Сердце мое! Сердце мое! Воскресни, печаль моя светлая!

Раиса утешала ее:

— Сердце твое бьется в надежде воскресения! В эти дни над нашими головами зажигаются венцы великих надежд.

XXXVII

В этот день утром Екатерина Сергеевна получила письмо от Буравова. Знакомый почерк на конверте взволновал ее необычайно: ведь они встречались каждый день или где-нибудь на работе, или он приходил к обеду или вечером, — зачем же письмо? Значит, что-то необычное.

Он писал, что ему необходимо поговорить с нею окончательно, что неопределенное положение тяготит его. С трогательным красноречием он напоминал ей первые дни их юной любви, умолял вернуться к нему и покончить навсегда с уже ни на что не нужною ложью жизни. Он просил назначить ему время, когда они могли бы поговорить наедине.

И вот вечером они сидели вдвоем и говорили, — все о том же, о безнадежном. Свет электрической лампочки под малиновым колпаком оставлял гостиную в полумраке, озаряя только узкий круг у дивана и их бледные, трепетные руки. Угли в камине слабо тлели, вея легким жаром на их лица.

— Нет, — сказала она, — как же я оставлю тот дом, который мы с ним вместе создавали? Война окончится победою, он вернется гордый и радостный, — и что же его встретит? Нанести ему такой удар в его торжественный день! Отравить радость победителя!

— Но ты его не любишь! — сказал он.

Самые сокровенные глубины своей души пытала она, — что в ней? Любовь? Отвращение? Привычка? Равнодушие? И верное сердце говорило ей, что ее с мужем соединила не мечта любви, а непобедимая любовь к жизни. Эту жизнь они создали, как умели, она ли ее разрушит? Мечта любви, что же она? Им, соединенным жизнью, надо быть вместе, до гроба быть вместе!

Томя и тревожа, но не побеждая, звучали в ее душе слова ее старого друга. Любовь, любовь, подавленная когда-то, отчего же ты теперь не восстанешь и не победишь?

Он говорил настойчиво и трогательно:

— Катя, я спрашиваю тебя в последний раз. Подумай, в последний раз в нашей жизни. С кем ты хочешь быть, с ним или со мною?

И уже как будто «то в высшем решено совете, то воля Неба», — не думая, почти не слыша себя, не зная, что скажет, как покорная иной воле, она сказала:

— С ним.

И так решителен был звук ее голоса, что Буравов почувствовал вдруг все бессилие свое. Любовь, любовь, как можешь ты перейти в такое жалкое бессилие?

Но все еще не веря печальной правде, он спросил:

— Ты твердо решила?

И она отвечала:

— Твердо решила. Прости, милый, милый, — иначе я не могу.

Буравов молча сжал ее руку и смотрел ей в глаза. Она заплакала. Он тихо поцеловал ее, — в последний раз, поцелуем нежным, но холодным и безрадостным, — и ушел.

XXXVIII

Раиса была обрадована, — и второе ее предчувствие сбылось. Уэллер, легко раненный в руку, был привезен в Москву. Старградские решили взять его из лазарета к себе, и Раиса поехала за ним.

Уэллер был все такой же спокойный и сдержанный. Но блеск его глаз выдавал Раисе, что он рад и счастлив. Они сидели в быстро мчавшемся автомобиле, говорили о чем попало и улыбались друг другу. Когда уже автомобиль останавливался перед подъездом, Уэллер тихо и быстро спросил:

— Что вы теперь мне скажете, Раиса?

Раиса вспыхнула и ответила так же тихо и торопливо:

— Теперь да. Теперь вы нам не чужой.

Уэллер крепко сжал ее руку.

— И я смею сказать: ты — моя?

— Твоя, завоеванная тобою.

— Мы пойдем, помолимся вместе?

— Да, помолимся, — улыбаясь, отвечала Раиса.

XXXIX

Через два дня после первого посещения Шпруделя он появился вторично. Кончая обед, сидели в столовой, когда горничная сказала, что пришел господин Шпрудель. Людмила побледнела, Раиса вскрикнула:

— Опять!

Уэллер начал было:

— Позвольте мне...

Но Екатерина Сергеевна сказала горничной:

— Просите в гостиную.

Когда горничная вышла, Александра спокойно сказала:

— Конечно, надо его принять. Но это будет последний раз.

Шпрудель, еще более худой и зеленый, вошел в гостиную. Там никого еще не было. За закрытою дверью слышны были голоса. Шпрудель подошел к столу, стоявшему у окна, тихо выдвинул ящик, вынул револьвер и спрятал его в карман. Потом он стал ходить по комнате. Ждать ему пришлось недолго, — дверь открылась, вышли сестры и мать, и Шпрудель был очень удивлен, когда увидел за ними высокую и флегматичную фигуру Уэллера с левою рукою на черной перевязке.

Шпрудель церемонно поклонился всем и, не садясь на указанное ему кресло, заговорил:

— Понимаю всю неловкость моего возвращения после того, что здесь было. Но я люблю вас, Людмила, и мне тяжело расстаться с вами так. Вы меня спрашивали, я пытался уклониться от ответа. Я подумал и решил рассказать вам. Слушайте и судите сами. Вечером после битвы я проходил, исполняя возложенное на меня поручение, по проселочной дороге. Со мною было несколько солдат. По

сторонам дороги было много убитых. Наши санитары убирали раненых. Вдруг мы услышали револьверный выстрел, и мимо уха моего прожужжала пуля.

Все это Шпрудель рассказывал сухим и монотонным голосом, словно отвечая заученный урок. Впечатление неправды и неискренности его слов было так велико, что Людмила чувствовала, как ее щеки горят от стыда.

Меж тем Раиса тихо подошла к столу, выдвинула ящик, — так, одного из двух револьверов нет. Она шепнула Уэллеру:

— Ричард, не спускай с него глаз, — у него в кармане револьвер.

Уэллер молча кивнул головою.

Шпрудель продолжал свой лживый рассказ:

— Стрелял раненый русский. Мои солдаты были возмущены предательским выстрелом. Один из них бросился к стрелявшему. Я крикнул: «Стой!» Но усердный солдат уже окончил свое дело, и когда я подошел, он вынимал свой штык из тела убитого. Я наклонился и к великому ужасу моему узнал вашего брата. Я был потрясен до глубины моей души. Все это совершилось так быстро.

— И это был Сергей? — спросила Людмила. — И он стрелял в вас? Раненый, лежа на земле, он выстрелил вам в спину?

— Да, — отвечал Шпрудель, — я же вам говорю.

— Вы лжете! — закричала Александра.

Людмила подошла к Шпруделю. Глаза ее горели ненавистью и презрением, когда она говорила:

— О нашем брате, с которым мы вместе выросли, чистую душу которого мы так знаем, вы говорите нам эту ложь! О господин лейтенант, до этой минуты в моем сердце было еще сожаление о невозвратном, теперь я вас презираю. Вы — подлый и жестокий!

Лицо Шпруделя исказилось отвратительною гримасою злости. Он закричал неистовым голосом:

— Так умри же, мечтательная дура!

Выхватил из кармана револьвер и выстрелил в Людмилу, целя ей в грудь. Но Раиса и Уэллер вовремя бросились к нему. Уэллер ударил его здоровою рукою по руке, и пуля ударилась в пол. Револьвер выпал

из рук Шпруделя. Раиса быстро нагнулась и подняла револьвер. Уэллер крепко держал Шпруделя за руку, но Шпрудель и не думал сопротивляться. Он стоял, опустив голову, и мрачно озирался исподлобья.

Уэллер сказал:

— Екатерина Сергеевна, надо послать девушку за людьми.

Горничная прибежала на звук выстрела и с испуганным лицом стояла в дверях.

Раиса сказала решительно:

— Нет, мама, никого не надо звать. Этот человек сделал все злое, что мог. Теперь он как змея, лишенная жала.

— Да, отпустите его, — презрительно сказала Людмила.

Уэллер выпустил руку Шпруделя. Шпрудель поднял голову и смотрел на всех злобно и недоверчиво.

— Какое странное великодушие! — хриплым голосом бормотал он. — Я хотел вас убить, отчего же вы не тащите меня в суд?

Екатерина Сергеевна подошла к нему и сказала:

— Моя дочь вас прощает. Прощайте, господин Шпрудель.

Шпрудель злобно усмехнулся, тяжелым взором окинул всех и медленно вышел.

— Ну вот и кончилось! Ну вот и кончилось! — повторяла бледная Людмила, смеясь и плача.

СЛЕПАЯ БАБОЧКА

Рассказы

Жена умного человека

I

Когда Николаю Ивановичу Складневу исполнилось тридцать лет, он нашел, что ему чего-то недостает. Обдумавши внимательно свое положение холостого человека, получающего достаточное и на двоих жалованье, он решил, что ему пора жениться. И с того часа, как решение было им принято, он в разговорах со своими знакомыми развивал эту мысль со свойственною ему убедительностью. Недаром же он был учитель, — он любил и умел поговорить, преимущественно на умные темы.

Складневу казалось, что он красив и умен. В этом убеждало его зеркало. Немножко кривое, но все же недурно отражало интеллигентное лицо и пряди темно-русых волос на чрезвычайно умном лбу.

Его приятель, чиновник контрольной палаты, Никодим Матвеевич Сетьюловский, говаривал ему басом:

— Ты, Колюхан, человек головной, мозговик, лоб-человек. Я любчеловек, наш управляющий лов-человек, а ты, брат Колюхан, лобчеловек.

Складнев поправлял очки, смотрел самодовольно и говорил:

— Ума в себе я не отрицаю. Ложною скромностью не заражен и против очевидности спорить не стану, — не нахожу нужным. Но в определении основной черты моего характера, ты, дружище Никовеич, ошибаешься. Если бы я был таков, я бы не ходил с тобою в такие места.

Такие места — какой-нибудь трактирчик, чистая половина.

Складнев говорил:

— Я — человек увлекающийся. Теперь я учитель, а в будущем году, может быть, я в Адис-Абебе на розовых слонов охотиться стану. Ты меня, Никовеич, еще не знаешь.

Сетьюловский улыбался, облизывал толстым и красным из-за красных и толстых губ языком сероватую на черных густых усах пивную пену и говорил упрямо:

— Нет, Колюханчик, ты рассудочно натаскиваешь на себя увлечения. Ты — дипломат, хитрюга, проныра, лобовик. Тебе прямая дорога в министры заграничных финансов.

Сетьюловский не верил Складневу, а дамы иногда верили. Иные простодушные с восхищением смотрели на него, когда он говорил:

— Я, знаете, не люблю этой вашей пресной жизни. Мне бы охотником в прериях быть.

А у самого типично интеллигентный вид как бы еще обострялся при этих словах.

Теперь к этим мечтам о прериях он вдруг прибавлял слова:

— Мне надо жениться.

— За чем же дело стало? — спрашивали его.

— Ну, это, знаете ли, не так-то просто.

Поправит очки и смотрит. На очках оправа стальная, но он смотрит так важно, что очки кажутся золотыми.

И принимался долго и подробно рассказывать, какая нужна ему невеста.

— Я сам — человек увлекающийся, стало быть, мне нужна невеста рассудительная и спокойная, которая могла бы удерживать меня от излишних увлечений.

II

Долго присматривал невесту Складнев. За несколькими начинал ухаживать и отменял. Все чего-нибудь недоставало. Катя Сорванцова — смешлива, Лена Билкина — плаксива, Зоя Изызбина — болтлива, Маня Башенная — молчалива.

Наконец на вечере у директора гимназии познакомился Складнев с новою учительницею, Валентиною Петровною. У нее было круглое лицо, серые добродушные глаза и очень мягкая улыбка. Складневу она понравилась, и он решился присмотреться к ней, какова-то из нее обещает быть жена.

И вот, присматриваясь, обнаружил он в ней многие симпатичные ему черты. Оказалось, что ей нравятся те же книги, как и ему. Что она не любит кинематографа. Что она очень хорошо катается на коньках. Что она весьма недурно играет на фортепьяно. Что у нее приятный голос. Что она любит петь малороссийские песни.

Количество симпатичных черт увеличивалось. Несимпатичных не замечалось. Сомнительная была только одна, — когда Складнев начинал говорить длинно и красноречиво, Валентина Петровна иногда взглядывала на него с недоумением, потом опускала глаза и слегка усмехалась. Из-за этого Складнев однажды имел даже объяснение с Валентиною Петровною.

— Чем я навлек вашу насмешку? — иронически спросил он.

Валентина Петровна смутилась, покраснела, отвела глаза в сторону.

— Как вы могли это подумать, Николай Иванович? — сказала она. — Я и не думаю над вами смеяться.

Складнев говорил:

— Я уже не первый раз замечаю, что когда я начинаю развивать какую-нибудь мысль, более или менее меня интересующую, или пытаюсь возможно более убедительными доводами обосновать какое-нибудь положение, то вы начинаете улыбаться. Так как я считаю вас особою в высшей степени дельною и симпатичною, то я не могу оставить без внимания такого вашего отношения ко мне и потому счел нужным объясниться и прямо поставить вам вопрос, что же именно усматриваете вы смешного в моих словах. Сам для себя ответить на этот вопрос я не сумею, потому что, откинув в сторону ложную скромность, я не усматриваю в моих рассуждениях ничего глупого и смешного. Но человеку свойственно заблуждаться, и со стороны вообще лучше видно, а потому я и решаюсь предложить этот вопрос вам в надежде, что вы разрешите мое недоумение.

Валентина Петровна несколько раз пыталась прервать речь Николая Ивановича, но он говорил безостановочно, как заведенный, и уже наконец Валентине Петровне стало казаться, что он никогда не кончит. Ей опять захотелось смеяться, и она с трудом удерживалась от улыбки. К счастью, Складнев наконец замолчал, и тогда Валентина Петровна принялась доказывать, что она улыбается без всякого злого умысла и без желания над кем-нибудь смеяться, а только потому, что она чувствует себя весело и приятно. Складнев не совсем поверил ее словам, но решил, что обижаться не стоит и что улыбка Валентины Петровны, хотя и неуместная, показывает только ее малую привычку к серьезным и умным разговорам.

Составив свое мнение о Валентине Петровне, — достаточно умна, достаточно красива, достаточно спокойна, годится, пожалуй, быть его женою, — Складнев стал проверять свое мнение мнением других. Он систематически осведомлялся, как относятся к ней ее сослуживцы, начальство, ученицы, родители учениц, знакомые, общество вообще, прислуга. Ну что же, все хорошо отзывались, — милая, веселая, простая, любезная, хорошая учительница, славный товарищ, превосходный человек. Все любят.

Закончив круг своих наблюдений и справок, Складнев почувствовал даже некоторую гордость, — вот как приятно обстоит дело с его невестою. И наконец признался в любви ей, впрочем, сначала не ей самой, а своему приятелю Сетьюловскому. Сидя в трактирчике за пивом, он обстоятельно рассказал ему историю своего знакомства с Валентиною Петровною, подробно изложил результаты своих собственных наблюдений, собранные о ней справки и закончил решительным выводом:

— Мы с нею пара.

Сетьюловский недоверчиво покачал головою и спросил:

— Почему?

— По контрасту, — объяснил Складнев. — Я — увлекающийся человек, она — рассудительная. Я наклонен к расточительности, она бережлива.

Сетьюловский возражал:

— Нет, вы друг к другу не подходите. Ты ее заешь своею рефлексиею, раздавишь своею рассудительностью, заговоришь своими речами. Она с тобою не будет счастлива.

— Ну уж об этом я позабочусь, — самодовольно сказал Складнев. — А теперь нам пора уходить. Никовеич, сегодня, кажется, твоя очередь платить.

— Нет, увлекающийся человек, наклонный к расточительности, — насмешливо говорил Сетьюловский, — я прошлый раз платил, теперь плати ты.

Складаев не спорил, потому что знал, что Сетьюловский говорит правду. Но ему было досадно, что не удалась его маленькая хитрость и что ему не придется сберечь несколько гривенников, которые могли бы пригодиться в его бюджете ввиду предстоящих свадебных расходов.

III

Складнев стал ухаживать за Валентиною Петровною. Он делал все, что полагается в этих случаях, все, что он знал об этом из книг и из собственных наблюдений. Валентина Петровна относилась к своему ухаживателю с робким недоумением. Ее друзья уже поздравляли ее с одержанною над сердцем Складнева победою. Они находили, что это для нее очень хорошая партия. А сама Валентина Петровна не знала, что и думать. Она не могла понять, нравится ли ей Складнев или нет. Все его хвалили, отзывались о нем с уважением и с сочувствием, и она не могла сказать против него ничего, но ей как-то неловко было думать, что он в нее влюблен. Но если не влюблен, так зачем же ухаживает?

Наконец однажды Складнев пришел к ней с решительным намерением. При первых же его словах Валентина Петровна почувствовала такой испуг, что у нее задрожали ноги. Они заплакала и заговорила сбивчиво:

— Благодарю вас, я не ожидала, извините, это так внезапно, позвольте мне подумать до завтра, я теперь не могу.

Складнев пожал плечами и сказал, стараясь скрыть свое неудовольствие:

— Я не понимаю, о чем тут думать. Мы так подходим друг к другу, что даже странно было бы сомневаться относительно нашей супружеской жизни. Но я понимаю ваше волнение, я готов идти навстречу вашим желаниям, отложить до завтра решение этого вопроса, а теперь удаляюсь.

Едва захлопнулась за Складневым выходная дверь, как Валентина Петровна бросилась к своему столу и торопливо, дрожащими руками, разбрызгивая чернила по бумаге, написала Складневу письмо, решительный отказ. Ее ноги еще дрожали и сердце усиленно билось, когда она позвала молоденькую Кушу, прислуживавшую ей дочь ее квартирной хозяйки, и отдала ей письмо со строгим наказом идти сейчас же, отдать письмо в собственные руки Складнева, сказать, что ответа не надо, и немедленно идти домой. В неизъяснимом волнении провела она полчаса, не находя себе места, и успокоилась только тогда, когда Куша вернулась и рассказала, что отдала письмо самому Николаю Ивановичу. Тогда Валентина Петровна, припоминая все случившееся сейчас, удивилась и своим слезам, и своему испугу. Ничего же не было страшного или обидного, — посватался, что ж такое!

IV

Ни с чем нельзя сравнить то чрезвычайное удивление, с которым прочитал Складнев письмо Валентины Петровны. Он хотел было идти к Валентине Петровне немедленно, чтобы объясниться и уговорить ее не отказываться от своего счастья, но, обдумав положение, решил отложить это до завтра.

На другой день он опять пришел к Валентине Петровне. Она почему-то была готова к его посещению и разговаривала с ним очень спокойно. Складнев убеждал ее долго и красноречиво, но Валентина Петровна стояла на своем. Складнев ушел ни с чем.

Несколько дней он чувствовал себя выбитым из колеи. Не знал, что делать. Искать другую невесту? Но ни одна из знакомых девушек не казалась ему в такой же мере подходящею для него невестою, как Валентина Петровна. Он пытался завязывать новые знакомства, но нигде не находил ничего подходящего. Очевидно было для него, что Валентина Петровна должна стать его женою. Он возложил надежду на время и понемногу опять начал ухаживать за Валентиною Петровною.

Ровно через три месяца он повторил свое предложение. Первый раз это было зимою, теперь весна, другой сезон, другие должны быть настроения. Все должно быть по-другому, и потому Складнев сделал свое предложение в уединенной аллее городского сада, в беседке, из которой открывался очаровательный вид на реку и на поля за рекою. Но и на этот раз Валентина Петровна ему отказала.

Для Складнева утешительно было то, что теперь Валентина Петровна не плакала и не пугалась, а говорила спокойно. Складнев решился не терять надежды.

Прошло еще три месяца, опять было шестнадцатое число, как и те два раза, но уже было знойное лето, и Складнев с Валентиною Петровною сидели на опушке леса, на большом стволе поваленной бурею старой березы. Другой сезон, другая обстановка, другие настроения, — и речи должны быть другие. В третий раз Складнев придумывал новую форму брачного предложения. Теперь бодрые, оптимистические ноты звучали в его голосе, — но и это не покорило Валентину Петровну. Она была весела, и уже даже не смущалась, и говорила спокойно:

— Николай Иванович, вы — очень милый человек, и я вас сердечно уважаю, но почему же вы думаете, что я должна быть вашею женою? В городе есть барышни, которые в вас влюблены.

— Кто же, например? — с любопытством спросил Складнев.

— Я вам скажу это, — отвечала Валентина Петровна, — но не теперь. Теперь вы только ведь из любопытства это спрашиваете. Но разве вы сами не замечаете, кто на вас засматривается?

Валентина Петровна взглянула на свои маленькие часики и воскликнула:

— Однако как мы с вами здесь загулялись! Пора домой.

Она поспешно вышла на дорогу, Складнев шел за нею, и ему было досадно, что разговор кончается так странно, прозаично, без всякого волнения.

Валентина Петровна, придя домой, призадумалась. Несколько дней она ходила задумчива, неопределенные мечтанія разнеживали ее, а по ночам ей снились тревожные сны. Потом как-то случайно она вспомнила, что предложения Складнева повторялись ровно через три месяца, — в январе, в апреле, в июле. Вспомнила, что даже в одно и то же число каждого месяца. Перебрала три будущих месяца, — август, сентябрь, октябрь, — и засмеялась про себя, подумав, что, наверное, шестнадцатого октября Складнев придет в четвертый раз, осенью.

«Но я ни за что за него не выйду», — решила Валентина Петровна и на этом успокоилась. Перестала думать о Складневе. И в эти три месяца Складнев мало утомлял ее своими ухаживаниями. Решил поразить ее воображение своею холодною сдержанностью.

V

Но вот и октябрь. Погода ненастная, дождливая. На улицах грязно и мокро, в домах уныло. Больше сплетен и злословия, чем во всякое другое время, и кажется, что никто никого не любит. Кажется, что никого и не за что любить.

Валентина Петровна чувствовала себя какою-то неприютною и оброшенною. В городе знали, что Складнев уже несколько раз сватался к ней, — Складнев не делал из этого секрета, рассудив, что ему выгоднее представить дело в своем собственном освещении, чем ждать, как осветит этот случай Валентина Петровна, если вздумает рассказывать о нем. И все в городе сочувствовали Складневу и не одобряли поведения Валентины Петровны. Ее друзья даже посмеивались над нею, называли ее разборчивою невестою. И очень советовали не отвергать Складнева, — уж такой хороший человек! Особенно по ны-

нешним временам, когда люди так неохотно женятся, когда девицам так часто приходится так и не найти случая выйти замуж. Но Валентина Петровна на все убеждения отвечала:

— Не вижу никакой надобности выходить замуж. И особенно за Складнева.

— Да ведь хороший человек!

— Хороший, не спорю.

— Так в чем же дело?

— Да не хочу.

Ближайший друг Валентины Петровны, маленькая, веселая учительница, Катя Лакатина, говорила:

— Ну это, матушка, каприз. Он по тебе сохнет, можно сказать, а ты капризничаешь. Надо же быть милосердною и сжалиться над его страданиями.

Катя смеялась, — но она всегда и надо всем смеялась. Смеялась не от насмешливости, а от веселости и от большого запаса сочувствия к людям.

Вот настало и шестнадцатое октября, и Складнев четвертый раз пришел к Валентине Петровне все с тем же. И это был самый серый и дождливый день, каких еще ни одного не было в ту осень. И никогда в жизни еще не было Валентине Петровне так тоскливо, как в этот день. Вся ее жизнь представлялась ей в мрачных красках. Родные, казалось ей, забыли ее, друзья приходят к ней только для того, чтобы весело поболтать за чашкою чая, — а в трудные минуты жизни не поможет никто. Все любят ее, потому что любить так просто и легко, так выгодно и приятно и так всеми похваляется, но ведь эта выражаемая ласковыми словами любовь никого ни к чему не обязывает. Можно быть всеми любимым и умереть с голоду на улицах милого, приятного города, где живут такие ласковые и приветливые люди. Все любят, и никто не подойдет близко-близко, как свой.

Вернувшись из гимназии домой, Валентина Петровна не занялась тетрадками учениц, как всегда. Она села к окну и принялась глядеть на улицу. Ни о чем не думала и даже не знала, что ждет кого-то.

И он пришел. Когда она увидела на улице его зонтик, пальто и калоши, все новое и очень хорошее, ей стало не то смешно, не то стыдно чего-то.

Завершая круг сезонов, полилась плавная, убедительная речь, поосеннему журчащая. Валентина Петровна даже и не слушала. Она думала о своей жизни, и мысли в ее голове складывались тоскливые. Наконец, прервавши Складнева на полуслове, она тихо сказала ему:

— Я согласна, Николай Иванович.

Складнев поморщился; он не любил, чтобы его перебивали. Но сейчас же решил, что сердиться не надо. Надо радоваться, — цель его достигнута. И он с самодовольствием подумал, что человек умный и с характером добьется того, что захочет.

Вечером Валентина Петровна долго думала о том, что ожидает ее в новой жизни. Поплакала немало. Но как же ей быть? Страшила возможность одинокой жизни. И свадьба была как выход в жизнь полную, спокойную, уверенную. Томило сознание недолжного в том, что она согласилась, — ведь она же не любит этого человека. Но что же, что же ей делать?

VI

Ну вот и повенчались. Стали жить вместе. Как-то странно переломилась жизнь Валентины Петровны. Сидя за обеденным столом против своего мужа и слушая его нескончаемые разговоры, она не могла отделаться от странного ощущения, что все это — не настоящее, что это — только пока и что жизнь начнется когда-то потом. Но никакой жизни настоящей так и не начиналось. Были бесконечные разговоры, чрезвычайно умные, необыкновенно интеллигентные и тошные, ах какие тошные!

Все чаще и чаще с боязливым недоумением смотрела Валентина Петровна на своего мужа. Все холоднее и печальнее становились ее глаза. И Складнев уже начинал быть недоволен странною молчаливостью жены.

Но вот она забеременела. Складнев решил, что ее странности объясняются этим и успокоился.

Валентину Петровну совсем не радовало это пробуждение в ней новой жизни. Ей как-то холодно было думать о том, что у нее будет сын от этого умного, милого, разговорчивого человека. И она стала совсем тихая и очень спокойная, — так, как будто ей было все равно. А муж по-прежнему изводил ее своими рассуждениями. Всякий случай из жизни рождал в нем неодолимую потребность к словоизвержению. Всякое вновь входящее в жизнь обстоятельство ему надо было подвергать продолжительным обсуждениям.

Незадолго перед родами возник вопрос о том, где рожать.

— А разве не дома? — с удивлением спросила Валентина Петровна.

— Дома негигиенично, — отвечал Складнев.

И он долго и подробно объяснял жене, почему дома негигиенично и как хорошо рожать в специально приспособленных для этого заведениях. Это он связывал с общим вопросом об изменениях жизни, которые созданы успехами наук и техники, а также все возрастающею сложностью потребностей и средств к удовлетворению этих потребностей.

Валентина Петровна сначала спорила с ним. Потом скоро споры эти утомили ее. Ей стало все равно.

«Все равно, — думала она иногда, — хоть бы совсем не жить. Все равно!»

Когда таким образом вопрос был решен принципиально, как любил выражаться Складнев, приступили к обсуждению того, какое именно родовспомогательное заведение выбрать. Валентине Петровне было все равно, — если не дома, так хоть у самого черта. Но Складнев не мог отнестись легкомысленно к такому важному вопросу. Сидя перед слушавшей его с закрытыми глазами Валентиною Петровною, он подробно и обстоятельно разбирал достоинства и недостатки всех известных в том городе учреждений этого рода.

— Ах, да мне совершенно все равно! — сказала Валентина Петровна. — Куда ты хочешь, туда я и поеду.

— Как же можно так относиться! — возражал Складнев. — Для правильных и легких родов весьма существенное значение имеет, помимо объективных данных, а весьма возможно, и не менее их, самочувствие роженицы. Стало быть, мы должны позаботиться не только о том, чтобы лечебница была хороша сама по себе, но и чтобы она тебе нравилась. Поэтому ты не можешь относиться безучастно к такому важному делу, как выбор лечебницы.

Валентина Петровна уж и не спорила, но все-таки относилась безучастно. Складнев пожимал плечами и говорил жене со сдержанным упреком:

— Я не понимаю тебя. Конечно, если тебя это затрудняет, я мог бы и сам выбрать лечебницу, но как же нам быть, если она тебе не понравится! Правда, я приму в соображение твои вкусы и привычки, насколько я их успел узнать в такое короткое время, — но я не могу ручаться, что что-нибудь не покажется тебе неудобным. Если я тебе представляю подробные данные о всех порядочных лечебницах, то мне совершенно непонятно, почему ты не хочешь сделать между ними выбора и слагаешь эту тяжелую ответственность всецело на одного меня.

— Мне все равно, — уныло повторяла Валентина Петровна, — вези меня куда хочешь.

Складнев опять пожимал плечами, разводил руками, показывал все умеренные знаки удивления, но не повышал голоса и не делал ничего некорректного. Валентина Петровна смотрела на него и вспоминала, что он всегда сдержан и вежлив, никогда ни на кого не кричит, не стукнет рукою, не хлопнет дверью, — ни при каких обстоятельствах не позволит себе выйти из себя. Серая, шершавая, липкая скука обволакивала душу молодой женщины. Она смотрела в окно и молчала.

Наконец Складнев выбрал родильный приют доктора Асланбека. В городе этот приют очень хвалили. Это стоило не дешево, но Складнев решил, что в важных обстоятельствах жизни не стоит жалеть денег.

VII

Случилось то, что случается иногда и дома, и в специальных лечебницах. Валентина Петровна родила благополучно, новорожденный оказался крепким и здоровым мальчиком, и слабое подобие радости в первый раз за этот год отразилось на лице Валентины Петровны. Она чувствовала себя хорошо, но на третий день к вечеру температура внезапно поднялась, и через двое суток Валентина Петровна умерла.

Складнев был очень удивлен, — так неожиданно после таких благополучных родов! Он разговаривал с врачами и все добивался узнать, отчего именно умерла его жена, были ли какие-нибудь недостатки и оплошности ухода за больною? иная ли была причина? Никто ничего положительного сказать ему не мог. Говорили только, что это случается при наилучших условиях и при самом тщательном уходе, что есть какой-то процент, в который и попала Валентина Петровна.

Кончилась одна жизнь, началась другая. Жену надо было хоронить, ребенка воспитывать. Но как же его воспитывать?

— Я этого не знаю, — говорил Складнев, — я не привык к детям, ребенок будет мне мешать.

И решил отдать ребенка на воспитание, даже не взял его из лечебницы.

— Куда же мне с ним возиться! — говорил он доктору Асланбеку. — Вы доктор, знаете, как это делается, я на вас вполне полагаюсь. Ребенка надо отдать в надежные руки, в приличную и порядочную семью, — надеюсь, что мне не придется платить за это слишком дорого.

Ребенка устроил, для жены купил хорошее место на кладбище при местном монастыре. Оказалось, что у Валентины Петровны было много друзей в городе. Многие шли за гробом, много людей было на кладбище. Над могилою Валентины Петровны говорили речи, — популярный в городе адвокат как представитель родителей учениц Валентины Петровны и учитель словесности, ее сослуживец. И тот и другой

в своих речах с большим сочувствием говорили о неутешном горе ее мужа. Сочувствие Складневу понравилось, но слова о неутешности показались ему неуместными. Какой-то укол самолюбию был в них. Он думал, что такие слова была бы уместны только в том случае, если бы умер он, а Валентина Петровна осталась. Неутешная вдова — понятно, неутешный вдовец — странно. Еще если бы они долго прожили вместе и он был бы стар и слаб, то в крайнем случае можно было бы принять эти слова. Теперь же это казалось Складневу цветами красноречия.

Девочки принесли много цветов. Они тоже смотрели на Складнева с сочувствием и с сожалением. Да и все, кто был на кладбище, сочувствовали Складневу и очень жалели его, — и эта атмосфера всеобщих сожалений все более и более раздражала Складнева.

Могилу засыпали, наскоро крест поставили, могильный холм исчез под многоцветною россыпью цветов. Стали расходиться. Друзья и знакомые окружили Складнева и стали его утешать. Складнев сказал:

— Я вам очень благодарен, господа, но поверьте, что я не нуждаюсь в утешениях. Конечно, я считаю, что мой брак с Валентиною Петровною был очень удачен, и мы оба чувствовали себя очень хорошо, но отсюда до трагической неутешности — дистанция огромного размера.

Толпа вокруг Складнева начала редеть. Складнев, не замечая этого, продолжал разглагольствовать:

— Конечно, я очень жалею о той роковой случайности, которая унесла в могилу эту молодую жизнь и эту богато одаренную натуру. Не сомневаюсь, что если бы она осталась жива, то моя жизнь с нею в будущем была бы во всех отношениях приятна. Но в настоящий момент, считая своим долгом всегда быть искренним в выражении своих чувств, я должен сказать, что в применении к моему настоящему душевному состоянию выражение «неутешное горе» представляется мне чрезмерным преувеличением. Мы не так долго жили вместе с Валентиною Петровною, и потому я еще не успел настолько привыкнуть к ней, чтобы разрыв связанных с нею ассоциаций мог причинять мне значительные душевные страдания.

При этих его словах и те, кто еще оставался около него, отвернулись, заговорили громко, стали расходиться. Складнев досадливо по-

жимал плечами, — он не привык, чтобы его не дослушивали. Сетюловский взял его под руку и повел к выходу.

Жена адвоката Вереснева проводила его удивленными глазами и сказала стоявшему рядом с нею доктору Асланбеку:

— Я не знала, что он такой.

— Какой такой? — жизнерадостно улыбаясь, спросил Асланбек.

— Такой тупой, — сказала Вереснева.

— Ну зачем так резко! — возразил подошедший к ним адвокат Вереснев. — Не тупой, а просто уж слишком интеллигентный человек. Все разбираться во всем привык.

Отрава

I

Волнуясь сдержанно и прилично, Скрынин ходил взад и вперед по застекленной и уже утром жаркой веранде. Его волнение выражалось только в пожимании узких плеч, в иронических усмешках бледноватых губ, в преувеличенной томности негромкого голоса.

Елена сердитыми глазами смотрела на мужа и прижималась к спинке углового плетеного диванчика, словно ей было холодно. Ее темно-синие глаза казались почти черными, и брови были так нахмурены, что казались, и без того густые, вдвое гуще.

Они ссорились, как часто это бывало в последние два года. Повод к ссоре был ничтожен, и через пять минут неприятного разговора уже оба позабыли, из-за чего это началось. Муж был, как всегда, безукоризненно и отвратительно прав. Елена, по обыкновению, капризничала, и все слова ее были жалкими и неумными.

Скрынин спросил, уже не первый сегодня раз:

— Я не понимаю, чего же ты, Елена, наконец, хочешь!

Иронический взгляд, пожимание плеч вкривь, так, что левое плечо становилось гораздо выше, презрительно-томный голос, — все, что

уже давно почти до бешенства раздражало молодую женщину. Она судорожно уцепилась пальцами за локотники диванчика, так что они протяжно заскрипели.

С тихою злобою, едва удерживаясь от крика, Елена говорила:

— Что я хочу? О, вопрос очень умный, как все, что вы говорите.

— Не вижу никакой прелести в том, чтобы говорить глупости, — возразил Скрынин.

— По-вашему, я в этом вижу прелесть, — говорила Елена. — Ну да, я — глупая, глупая. Чего я хочу? От вас, от себя, от жизни, — чего хочу? Как же я могу это знать!

— Кто же другой за тебя это может знать? — иронически спросил Скрынин.

— Тот, кто спрашивает, — решительно отвечала Елена.

И глаза ее гневно засверкали, когда она говорила:

— Тот, кому я отдала зачем-то мою жизнь, какие-то права на меня. Даром отдала, чтобы он ничего не знал обо мне. А я что ж! мечусь, как слепая бабочка. И что будет со мною, не знаю. Обколачиваюсь об тебя, как о каменный столб.

— Благодарю за лестное сравнение! — иронически кривя губы, сказал Скрынин. — Чрезвычайно образный способ выражения! Похожа на бабочку, нечего сказать!

Он окинул жену презрительным взором: едва одетая, растрепанная. Как вскочила с постели, кое-как набросила что-то на себя, кое-как подколола шпильками волосы, так и вышла сидеть сюда, где всякий, вошедший в сад, может увидеть ее. «Очень опустилась за последнее время, — думал Скрынин. — Совсем за собою не следит».

Скрынин прежде говорил об этом Елене. Теперь же он старался и не замечать всего этого беспорядка, чтобы не возникло лишних неприятностей. Доволен был уже и тем, что при гостях и в людях Елена подтягивалась.

Елена знала, что в эту минуту думает о ней муж. Презрительно и злобно смотрела на него. Он весь был в белой фланели, точь-в-точь одет, как на рисунке летнего выпуска английского журнала мужских мод.

Елена говорила:

— Не могу понять, где у меня были глаза, когда я выходила за вас замуж. Вы не живой человек, вы — ходящая и рассуждающая машина, вы — какой-то отвлеченный, надуманный кем-то интеллигент. Душно мне с вами, воздуху для моей души не хватает.

Елена засмеялась хрупким, слишком звонким смехом. Сделала над собою усилие, чтобы не смеяться и продолжала:

— Все почему-то на память стихи приходят:

Душно в Киеве, как в скрыне.
Только киснет кровь...

И вдруг вскочила и закричала истерически:

— Вы, Николай Константинович, дождетесь того, что я вас убью, отравлю, зарежу!

И бросилась бежать в сад, порывистым толчком распахнув стеклянную дверь. Скрынин, пожимая плечьми, смотрел вслед за нею. На его желтое лицо легло кислое выражение, и от крыльев горбатого носа к углам тонкогубого рта протянулись вялые складки. Но, не давая себе времени распускаться в ненужных размышлениях, он деловито взглянул на карманные часы, позвонил, распорядился, чтобы приготовили экипаж, и пошел в свой кабинет собирать бумаги для поездки в город.

II

Елена добежала по хрупко-песочным дорожкам до ограды сада. С разбегу оперлась руками и грудью о невысокую изгородь. Испуганными, зоркими глазами смотрела на редкие, убывающие под солнцем радужки росинок на скошенном лугу и на деревья недалекого леса, мглисто-синеватого. Сердце билось быстро, в голове настойчиво повторялись все одни и те же самоукорные мысли: «Зачем я это ему сказала? Надобно было молчать, в себе таить, носить мысль, как ребенка. Теперь он, пожалуй, вздумает беречься, и я ничего не смогу сделать. Да, еще и Пасходин может проболтаться. Ах, зачем, зачем я ему это сказала!»

Наконец Елена решилась поправить дело, — пошла мириться с мужем. Шла тихонько, улыбаясь солнцу, радовалась левкоям благоуханным и бездыханно-ярким макам и думала: «Достаточно сказать ему несколько ласковых слов, и он мне поверит. Себе поверит, не мне. До сих пор воображает, что неотразим, — и пусть воображает».

III

Скрынин уже готов был ехать в город, — в этом году у него и летом были в городе какие-то очень интересные дела, — когда в его кабинет вошла Елена. Скрынин посмотрел на нее с удивлением, — он уже приготовился к тому, что придется уехать, не повидавшись с женою.

У Елены было нежное и виноватое выражение лица, и потому она казалась теперь невинною и молодою, как до свадьбы. Скрынин обрадовался, — он не любил ссор, — и лицо его озарилось улыбкою, почти не кислою.

Елена подошла к нему близко, положила на его узкое, костлявое плечо тонкую загорелую руку, глянула прямо в его темные большие глаза с фиолетовыми подглазниками своими невинно-синими глазами и голосом рассудительного ребенка заговорила:

— Николай, не дуйся, пожалуйста.

— Но я и не дуюсь, — возразил было Скрынин.

Но Елена тотчас же перебила его:

— Пожалуйста, не спорь. Нельзя постоянно спорить. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ты сам всегда начинаешь первый...

— Елена, это ты начинаешь.

— Пожалуйста, не спорь. Ты доводишь меня до того, что я сама не помню, что говорю. Пожалуйста, ты не вздумай, что я серьезно хочу тебя убивать.

— Да я и не думаю.

— Нет, ты скажи, неужели ты считаешь меня способною на это?

Скрынин отвечал смущенно:

— Ну что ты, Елена! Конечно, я этого не думаю. И не имею никаких оснований для этого.

— Как никаких! — возразила Елена, хмурясь. — А мои собственные слова?

— Елена, — сказал Скрынин, — ты в последнее время раздражаешься по пустякам.

— О, пустяки!

— У тебя нервы в самом ужасном и невозможном состоянии. Тебе необходимо серьезно лечиться, положительно необходимо.

Как все люди без темперамента, Скрынин наибольшую убедительность речи полагал в механическом повторении слов.

Елена опустила глаза. Лицо ее приняло упрямое выражение. Она безнадежно сказала:

— Ну что же мне лечиться! Это бесполезно. Хоть бы один ребенок у меня был. Тогда бы у меня и нервы были в порядке. Ты сам это знаешь.

Скрынин пожал плечами и заторопился уезжать. Елена опять стала нежною и ласковою и сказала:

— Не будем ссориться. Нет и нет, и не надо. Меньше забот.

Когда Скрынин сел в коляску и лошади пошли с места легкою, спорою рысью, Елена стояла у калитки в саду и темными от ненависти глазами смотрела на уносящуюся плавно в дымно-синеватом облаке пыли коляску.

IV

Так Елена ненавидела мужа, того самого человека, в которого молодою девушкою страстно влюбилась, которого любила нежно и преданно и с которым благополучно прожила несколько лет. Причин для ненависти не было, — так думали все близкие, вся многочисленная родня его и ее. Брак был счастлив, — так думали все знакомые.

Одно разве, что детей не было. В первые годы замужества Елена и не хотела иметь детей, — это мешает выездам и светским

утомительным удовольствиям. Потом ей захотелось детей, — хоть одного ребенка. Уже ей показалось, что это очень забавно и занятно и дает в свете какую-то особенную значительность. Но дети не рождались.

Наконец уже Елена начала думать, что Скрынин на то и рожден, чтобы стать последним в своем роде. Черты сухой душевной бесплодности все яснее для Елены обнаруживались в нем. Он казался ей похожим на смоковницу, не давшую плода вовремя и за то иссохшую.

Ревновать его Елене не приходилось. Он был одинаков со всеми знакомыми дамами и девушками. Никаких других причин к неудовольствию она тоже не могла бы назвать.

Скрынин дома был мил, нежен и корректен, в людях был со всеми вежлив, внимателен и корректен, в службе и в деловых отношениях был отлично поставлен, удачлив и корректен. Не за эту же всегдашнюю и неизменную корректность ненавидеть человека!

А между тем именно эта корректность, эта сдержанность превосходно воспитанного человека и была тем свойством, на котором сосредоточились Еленины ненавидящие чувства. Стоило ей закрыть глаза и представить себе Скрынина во всей его блистательной безукоризненности, — в его всегда безукоризненном костюме с его безупречными манерами, с его бесспорною всегда и во всем правотою, — и тотчас ненависть начинала больно и жутко сжимать ее сердце, болью чисто телесною отзываясь в нем.

Как отчетливо научилась она представлять себе Скрынина! Белизна фланели на его летнем костюме, матовость светло-серой обуви, ровный лоск двух одинаковых полушарий гладкой прически по обе стороны диаметрального пробора, бриллиантин подкрученных кверху усов, аккуратная лопаточка черной бородки, непомерно-точная гармония галстука всему прочему, лоснящийся крюк элегантной тросточки на прямоугольном сгибе локтя, — о постылое, постылое!

Глаза бы не видели этой томности движений, этой матовости горбоносого лица, этой усталой ласковости взгляда! Уши бы не слышали этих томных, упадающих интонаций, этой легкой, вкрадчивой походки! Чтобы не быть на него похожей, хотелось делать резкие движе-

ния, румянить щеки, смотреть жестоко, говорить громко, ходить, стуча каблуками, шаркая подошвами, одеваться кое-как, назло ему! Чтобы ничто в ней ему не нравилось, чтобы все раздражало, чтобы и он чувствовал эти бешеные укусы злобы. Пусть ненавидит, пусть теряет голову от ненависти, пусть убьет!

Лучше не жить! Ей или ему, — лучше не жить. И пусть другой всю жизнь радуется, что освободился, — если только после такой ненависти можно радоваться.

Такая ненависть! Убила бы, убила бы! Увидеть бы труп, сделанный ею из этого человека, — о, как забилось бы тогда ее сердце!

Мечта о смерти мужа целый год томила Елену, как мечта об избавлении от тягостного кошмара. Все сильнее день ото дня злоба давит грудь, — сбросить бы, сбросить бы эту тяжелую ношу! Так облегченно вздохнет грудь, истомленная тесными сжатиями голодной злобы!

V

С настойчивостью маньяка Елена целый год придумывала средства достать сильнодействующий яд. Револьвер у нее был издавна, — подарок в девические годы одного мрачно настроенного родственника. Он всегда хранился Еленою в полной боевой готовности. Но к этому способу убийства Елена не хотела прибегать. Ей было тошно думать о том, что ее посадят на жесткую скамью подсудимых, что кто-нибудь из бывавших в их доме товарищей прокурора станет говорить о ней дерзкие слова и что мужики-присяжные, вздыхая и сопя в душной, неприятно пахнущей зале, будут смотреть на нее, как на злую бабу, которая убила мужа из шалой ярости. Разве все эти люди могут понять то, что творится в Елениной душе!

Достать яд, — вот что стало Елениною мечтою. Она долго уговаривала знакомого милого врача, доктора Заражайского.

— Револьвер у меня уже есть, — говорила она, — а вы, доктор, дайте мне яд.

Заражайский удивлялся и спрашивал:

— Зачем это вам понадобилось, милая Елена Алексеевна? Ваш Николай Константинович ни за кем, как будто, не ухаживает, стало быть, разлучницы у вас нет. Кого же вы травить собираетесь?

— Это мне надо для себя, доктор, — говорила Елена, — ведь я же вам говорю, для себя.

Заражайский посмеивался, поглаживал густую черную бороду и говорил:

— Не смею этому верить, дражайшая Елена Алексеевна, — хоть убейте, не смею верить. Жизнь вам очаровательно улыбается, дом у вас — полная чаша, как говорится, муж вас на руках носит... От такой жизни, как показывает статистика, обыкновенно не травятся.

— Счастье может пройти, — говорила Елена, — я его не переживу, моего счастья. Как же мне тогда быть? Прикажете мне под трамвай броситься? Но ведь это ужасно больно!

— У вас есть револьвер, — ответил доктор, — чик! И готово.

— Но я боюсь стрелять, — возражала Елена. — Если неудачно выстрелить, это тоже будет довольно безрадостная история. Только яд верно действует.

— Ну, это зависит от дозы.

— Вы мне укажете дозу, дорогой доктор. Я вас умоляю, милый, добрый доктор, — дайте мне яду на черный день. Я спрячу его и буду хранить, и у меня будет та радость, что всегда, в любой момент, если жизнь станет для меня нестерпимою, я смогу легко и спокойно уйти из нее.

Как Бога, молила усмехавшегося Заражайского, плакала горько, на коленях перед ним стояла. Наконец Заражайский согласился. В самом начале этого лета, накануне отъезда на дачу, Заражайский принес в маленьком стеклянном флакончике белый порошок.

Елена, усиливаясь казаться совершенно спокойною, рассматривала странный подарок. Пробка притерта, тонким пузырем затянута, толстою ниткою по пузырю перевязана, на этикете череп изображен и надпись «яд» крупными буквами. Флакончик вставлен в картонный футлярчик, и на футлярчике надпись: «Хранить в сухом месте». Все очень серьезно.

Хотя они были одни, Скрынина не было дома, но все-таки Заражайский говорил тихо, озираясь боязливо по сторонам:

— Ну вот, Елена Алексеевна, принес вам опасную игрушку, взял грех на душу. Целую семью отравить можно. Смотрите, милая барынька, не подведите вы меня. Вот принес, старый дурак, а у самого душа не на месте. Вот уж истинно говорится, что женщина сильнее черта. Нет, вы не смейтесь, это так. Где черт не может соблазнить человека, туда он шлет очаровательную даму, и дело в шляпе.

Елена слушала и становилась все тревожнее. В суетливых движениях Заражайского и в его торопливом полушепоте Елена чувствовала какое-то лукавство. Она решила в самом скором времени проверить Заражайского, — отравить его ядом дачную дворовую собаку.

Проснувшись рано утром от необыкновенного ощущения тишины и свежести за уже открытым горничною окном, Елена принялась за флакончик. Долго билась с притертою пробкою. Кое-как открыла. Взяла большую щепотку белого порошка, закатала его в хлебный шарик, и, проходя мимо Полкановой будки, дала Полкану шарик. Почувствовав на своей руке влажное и горячее прикосновение Полканова языка, Елена поспешно пошла из ворот усадьбы. Долго гуляла она в парке, почти одна, — настоящий дачник, гуляющий и ухаживающий, в этот час еще спит.

Вернулась домой, заглянула к Полкану, — Полкан хоть бы что. И завтра, и послезавтра Елена ходила к нему наведываться, — здоровехонек.

Елена долго плакала от бессильной злости и от досады.

VI

Наконец уже в середине лета Елене удалось добыть то, что ей так долго мечталось.

На одной из соседских дач одиноко жил молодой, но уже унылый пессимист. Он был литератор, считал себя гениальным и терзался тем, что люди не замечали его гениальности. Неудовлетворенное самолюбие диктовало ему не очень складные, но очень сердитые кри-

тические статьи. Разговаривая со знакомыми дамами, унылый литератор намекал недвусмысленно, что на днях лишит себя жизни.

— Я всегда имею наготове яд, — говорил он.

Милые, доверчивые дамы ахали и умоляли его остаться в живых. Эти нежные дамские уговоры были главною прелестью жизни унылого литератора.

Фамилия его была Пасходин, а в мыслях Елениных он носил длинный титул «Тоска и скука». Долго Елена не обращала на него никакого внимания. Но как-то раз, встретясь в парке, они разговорились.

Пасходин заговорил о самоубийстве. По жестким интонациям его голоса и по змеиному блеску тяжело уставленных глаз Елена догадалась, что у Пасходина есть настоящий яд. Сладострастие опасности почуяла она в словах Пасходина. Тогда она преодолела свое отвращение к унылому литератору и принялась спасать его.

Каждый день с утра начиналась та же скучная канитель уговоров.

— Вы — такой молодой, такой талантливый. Жизнь ваша так нужна для общества и для искусства. Вы так красивы, так достойны любви. Наконец, я не хочу, — слышите ли? — не хочу, чтобы вы умирали. Умирать теперь, когда вся жизнь перед вами, — что за безумие! Отдайте мне ваш яд, я его выброшу.

Утром, днем, вечером. Чтобы выслушивать все эти очаровательные уговоры, Пасходин каждый день приходил к Скрыниным завтракать или обедать, играть в теннис или читать новый роман.

Сохранить свою жизнь он кое-как согласился. Но отдать яд! Долго отнекивался Пасходин. Наконец, Елена осторожно сказала:

— Если вы потеряли ваш яд, то я очень рада.

Пасходин вспыхнул. Она ему не верит! И на следующий же день он принес яд. Видно было, что его захватило желание показать яд и позабавиться более сильною степенью страха и сочувствия. Может быть, он и не хотел отдавать яд. Да Елена почти вырвала флакончик у него из рук и унесла к себе в спальню. Пасходин устремился за нею, но она перед самым его носом захлопнула дверь и задвинула задвижку. Когда через несколько минут она вышла к Пасходину, у нее было веселое, оживленное лицо.

VII

Вот у Елены в руках яд. Опять такой же красивый флакончик и такой же сахарно-белый порошок. Может быть, опять обман? Ну что же, испытать не трудно.

На этот раз быстрая судьба Полкана доказала действительность яда. Прислуга дивилась, кому понадобилось отравить Полкана. Несколько ночей провели тревожных, ожидая нашествия грабителей. Поторопились завести нового сторожевого пса. О Полкане потужили да и позабыли. Дольше всех память о Полкане горька была Елене.

Бедный, невинный Полкан, раб и друг преданный и верный, всю свою собачью душу влагавший в служение властям кормящим! О противные люди! Вам нельзя верить на слово, вас надобно постоянно проверять.

VIII

На другой же день Пасходин пришел к Елене и принялся клянчить. Уставя в Елену тяжелый взгляд («Точно Грушницкий», — подумала Елена). Пасходин заговорил патетическим тоном:

— Елена Алексеевна, отдайте мне мой яд! Я не хотел отдавать вам мой яд. Вы воспользовались минутою моей слабости и вырвали у меня из рук мой яд. Это недостойно интеллигентной женщины. Если бы вы были мужчиною, я бы сказал вам, что вы поступили нечестно. Отдайте мне мой яд! Я не могу жить без моего яда.

Елена сначала слушала молча, потом засмеялась, посмотрела на Пасходина прищуренными глазами и сказала:

— Неужели вы будете глотать эту мерзость?

Пасходин пожал широкими, тупыми плечами, точно от холода поежился и молвил томным голосом, противно похожим в эту минуту на голос Скрынина:

— Отдайте мне мой яд!

— Что это вы все одни и те же слова повторяете! — сказала Елена. — И что вам яд? Ведь это же ужасно неэстетично! — глотать какой-то порошок, точно соль или сахар. Я думала, что это делается как-нибудь красивее. Порошок прилипает к губам, к языку, — противно.

— Я не буду глотать мой яд, — отвечал Пасходин, — у него противный вкус. Я растворю его в каком-нибудь вине, в мадере или в токайском, — лечебное токайское, шесть рублей за бутылку, — я выпью чашу яда. Отдайте мне мой яд!

— Я не могу этого сделать, — сухо сказала Елена, — я выбросила ваш яд.

Пасходин побледнел.

— Куда? куда вы его бросили? — с боязливою тоскою спрашивал он.

— В реку, — сказала Елена. — Ходила гулять и выбросила.

И она засмеялась громко и неудержимо, забавляясь испугом Пасходина.

— Что вы сделали! — воскликнул он. — Вы отравили всю воду. Теперь мы все умрем.

С того дня целую неделю Пасходин пил только минеральную воду и ничего не ел, кроме привезенной из города разной сухомятки.

Зато Елена теперь узнала, как следует употреблять яд. Надобно растворить его в вине. И надобно сделать это так, чтобы ей самой не пришлось пить этого вина и чтобы никто другой, кроме Скрынина, его не выпил. И вот оказалось, что это не так-то легко устроить.

Дома Скрынин пил мало вина; пил то же вино, что и Елена. Пил иногда перед обедом немного водки, но не каждый день, а по настроению и больше при гостях, так что водка могла попасть кому-нибудь другому. Притом же, если отравить целый графин, зная наперед, что чужих в тот день не будет, то потом трудно вылить быстро оставшееся в графине, когда в яде уже не будет надобности и когда придется уничтожать улики. Если растворить яд в небольшом количестве водки, на дне графина, то водка, пожалуй, помутнеет и даст осадок.

Елена ждала случая. Сегодняшняя ссора с мужем и внезапно вырвавшаяся у нее угроза, казалось ей, заставляют ее быть особенно осторожною.

IX

В тот самый день, когда Елена утром ссорилась с мужем, потом она в яростно-знойный час послеполуденный сидела в лесу на высоком, кустарниками поросшем берегу быстрой речки. Елена уже с самого начала лета облюбовала это место, верстах в трех от дачи. Сюда никто из дачников не ходил. Сюда и быстроногие мальчишки, деревенские и дачные, почти никогда не забредали, — место было далекое и ни для кого не приманное, даже для маленьких босоногих шалунов, которые, впрочем, только кажутся быстрыми и подвижными, а на самом деле точно вросли в родную землю невидимыми корешками.

Скоро стало милым для Елены это место, эта очарованно-дикая чаща. Так милым стало, что иногда Елена думала: «Должно быть, это неспроста. Наверное, здесь случится со мною что-нибудь значительное. Счастливое? доброе? — не знаю. Вернее, не доброе и не злое, — что-нибудь стихийное и настоящее, более подлинное, чем вся моя всегдашняя жизнь».

Часто уйдет сюда Елена и сидит часа два, три, мечтая невинно и страстно по-девически и опять ощущая в себе непорочную, таинственно-жесткую душу девочки.

Река мчит пенистые волны, плеща их о прибрежные камни. Прохлада поднимается от реки, болтливой, но все же тихой. А в лесу сладкий дух и легкий и вечная дремота жизни без сознания. Над рекою воздух прозрачен и струист, в лесу мглисто и нежно-зелено. И все во всем так очаровательно-невинно.

Успокоение легкое и забвенное, разымчивый хмель покоя, — вот чем сладостно было это место для Елены. Но сегодня Елена и здесь не почувствовала обычного лесного успокоения. Чары лесные сегодня стали необычайно тревожны. Внятная злость щемила Еленино сердце, — та странная степень злобы, которая похожа на голод.

Охватив колени руками, Елена сидела на мшистом берегу, покачиваясь взад и вперед. Глаза ее были темны. Она смотрела на деревья за рекой и, не видя ни одного из них, шептала злым голосом:

— Отравлю! Отравлю!

Странное дело, — злоба обыкновенно искажает человеческие лица и даже красивое лицо делает безобразным, отвратительным. Елена же и злая была очень красива в этот день, хотя особенною красотою никогда не отличалась. Все — и дикий блеск ее темно-синих, почти черных глаз, и яркий румянец смугло загорелых щек, и ее резко заломленные, стройные, голые руки, и красивый покрой одежды немного небрежной, все в Елене восхитило бы всякого, кто бы ее здесь увидел. Восхитило бы даже самого закоснелого хулигана.

В этот несчастный день как раз нашелся хулиган полюбоваться одичалою красотою Елены.

X

Какой-то чуждый природе звук вывел Елену из ее задумчивости. В то же время она почувствовала на себе чей-то противно-клейкий взгляд. Елена вздрогнула и обернулась.

Недалеко от нее, выдвинувшись из-за куста, стоял молодой человек в грязной и изорванной одежде, сам очень грязный, до черноты загорелый и почему-то очень веселый. Елена не успела испугаться и с любопытством всматривалась в молодого оборванца. Даже с некоторым удивлением отметила для себя, что ничего страшного нет. Очень красивый парень, гораздо красивее всех тех городских молодых людей, с которыми была знакома Елена: у тех ее знакомых были или вялые мускулы, или тупые лица. А с этого хоть статую лепить — дневного, ликующего бога. На губах его зажглась улыбка, солнечно-радостная, и казалось, что от нее должно пахнуть розами. За улыбкою сверкали зверино-белые зубы.

Елена подумала: «Вот бы его одеть как следует и с ним поиграть в теннис».

Елене стало весело.

Парень подошел к ней медленно, улыбаясь так же все широко, — совсем близко подошел и остановился у ее ног, топча редкий мох гро-

мадными, темными, как первозданная земля, ступнями. И не розами от него запахло, — потом и луком. Но и это не было Елене противно.

Елена, улыбаясь, спросила оборванца:

— Что тебе надо? Что ты тут стоишь?

Парень захохотал, поискал слова.

— Шельма! Сахарная! — сказал он наконец.

Елена нахмурилась, строго посмотрела на него, сказала:

— Да не для тебя.

— Захочу, и для меня будешь, тварь белосахарная, — отвечал оборванец.

Он задышал часто и порывисто. Елена вскочила на ноги, и в ту же минуту оборванец накинулся на нее, левою рукою обхватил спину, а правою толкал в плечо, стараясь повалить ее. Елена отбивалась и кричала что-то. Оборванец, хрипя и дыша тяжело, говорил ей:

— Кричи, кричи, стерьва, никто не услышит.

И вдруг закричал жалобно и тонко:

— Да не кочевряжься, размилашечка! Разве я тебе не человек? Ай ты не баба?

Сквозь страх и остервенение борьбы смех протиснулся в Еленину душу и с ним дикая, звериная радость торжествующего тела. Елена вдруг почувствовала сладкое, томительное безволие. Она опустила руки, упала на мох, отдалась на волю безумного случая, точно в реку головою вперед бросилась.

Красивое, зверино-знойное лицо склонилось над Еленою. Глаза ее отразились в черной бездонности чужих, близких глаз. Резкий запах дурманящим облаком обвил ее. В сладостной, жуткой истоме Елена схватила голыми руками грязную, жесткую шею молодого босяка.

— Милый, милый! — шептала она.

XI

Когда страсть погасла в нем и в ней, они сидели рядом на земле и разговаривали. Как будто были близки друг другу. Елена жаловалась

на постылого мужа, босяк на то, что от деревни отбился, а в городе работы найти не может. Елена говорила нежно-звенящим голосом, называла босяка множеством нежно-звенящих имен и ласково гладила его по жестким взъерошенным волосам, — а он говорил хриплым сильным голосом, пересыпал свои слова непристойною бранью и называл Елену странными кличками, то размилашка, то стерьва; только эти две клички употреблял. Так как слово «стерьва» он выговаривал с мягким знаком после «р», то оно, очевидно, казалось ему очень любезным и совершенно пригодным для выражения нежных чувств.

Елена сказала:

— Мне пора идти домой. Но я не хочу так с тобой расстаться. Я для тебя что-нибудь сделаю, помогу тебе пристроиться. Ты приди сюда завтра в это же время. Я принесу тебе денег и вообще подумаю, что можно для тебя устроить.

Парень усмехнулся широко. Спросил:

— А ты не врешь? Не обманываешь?

— Зачем же мне тебя обманывать! — возразила Елена.

— Зубы заговариваешь, чтобы я тебя отпустил, — объяснил парень. — Боишься, что придушу. Одежонку оберу, продам-пропью.

Елена засмеялась.

— Не пугай, — сказала она, — я тебя не боюсь, ничуть. Ты — не зверь, душить меня тебе не за что. Одежонки на мне немного, сам видишь, и продать ее тебе негде, сразу попадешься.

— Чего не продать! — сказал парень. — Продать всегда можно.

— А водки я тебе сама завтра принесу, — продолжала Елена. — Ты мне нравишься. Ты — молодой, красивый. Я непременно хочу вывести тебя в люди. Непременно приходи сюда завтра.

Парень развалился на траве.

— Ладно, уж приду, — важно сказал он. — Только ты смотри, стерьва, не вздумай сюда людей привести. Меня не сцапаешь, я хитер, а сама получишь ножом в брюхо.

Елена опять засмеялась.

— Уж больно ты грозен! — сказала она.

— Вот и грозен! — куражась, говорил парень. — Нашему брату с бабой валандаться нечего, придушил, да и дело с концом. Ну что, отпустить аль душить?

— Отпусти, миленький, — сказала Елена, целуя парня.

— Проси милости, стерьва! — закричал босяк. — В ноги кланяйся!

Елена покорно и неторопливо поклонилась в ноги босяку и повторила:

— Отпусти, миленький. И на одежонку не зарься, грош тебе за нее дадут, я завтра принесу гораздо больше.

Босяк заставил Елену еще несколько раз кланяться ему в ноги, дал ей целовать свою грубую грязную руку, — Елена все это делала покорно, и это ощущение рабской покорности нравилось ей.

Наконец босяк сказал:

— Ну ладно, так и быть, помилую. Иди, а завтра водки принеси побольше. Не придешь, на дне моря найду.

Елена еще раз, уже по своей воле, поклонилась в ноги босяку и сказала:

— Спасибо, миленький, что отпустил, на одежонку мою не позарился. Так завтра не забудь прийти.

Потом поцеловала его в губы и пошла от него прочь. Отойдя несколько шагов, остановилась, обернулась и крикнула:

— Миленький, хороший бы из тебя старец вышел.

Засмеялась и побежала. Парень хохотал и выкрикивал грубые слова.

XII

Вечером сквозь тюлевые занавески Елениной спальни процеживался желтовато-розовый свет. В озарении этого успокоенного света, напоминающего о том, что в этот час уже «ангелы-хранители беседуют с детьми», Елена всыпала пасходинский яд в бутылку с принесенною ею водкою. Елена смотрела, как медленно таяли в синевато-прозрачной жидкости тонкие кристаллики яда. Легкий загар ее лица казался нежным в лучах успокоенного света. На лице ее лежала такая задумчивая, кроткая заботливость, точно это была нежная мать, приготовляющая вкусный напиток для любимого ребенка.

Елена вспомнила, как босяк в лесу называл ее стервью. Она улыбалась, точно вспоминала изысканно-светский комплимент молодого дипломата. И думала она: «Ну разве же я и в самом деле не стерьва? На каторгу бы меня! Или на эшафот, под нож гильотины, — отрубили бы мне голову, чтобы вся моя кровь хлынула на землю! Да не узнают люди, ничего не узнают».

Когда истаял последний кристаллик яда, Елену вдруг потянуло выпить этот отравленный напиток. Она поднесла горлышко бутылки к губам и стала медленно приподнимать ее дно. Но едва только слащавая, жгучая жидкость смочила Еленины губы, Елене стало противно и страшно. Она поставила бутылку на стол и стала прислушиваться к своим ощущениям.

Горло ее сжималось, ноздри трепетали от противного запаха, ноги дрожали. Если бы не стул близко, Елена упала бы на пол.

Она сидела, прижимаясь к спинке стула, смотрела прямо перед собою напуганными глазами и думала, что уже отравилась и что сейчас умрет.

Но это неприятное ощущение судороги в горле скоро прошло. Только еще сердце долго продолжало биться быстро и неровно.

XIII

На другой день после завтрака Елена собралась на свою обычную уединенную прогулку. Она повязала голову красным шелковым платочком и, поглядевшись в зеркало, нашла, что это к ней очень идет. И точно, в платочке она была чрезвычайно мила. В руки Елена взяла плетеную корзинку с дужкою и с прикрепленною веревочками крышкою. В этой корзине еще с вечера были припрятаны Еленою жареная курица в бумажке, сверток с пятком маленьких свежепросольных огурцов и бутылка отравленной водки. Еще раз кинув на себя взгляд в зеркало, Елена улыбнулась своему отражению и отправилась в лес.

Скрынина в тот день с утра не было дома, — все дела, и все неотложные! А Пасходин в последнее время не приходил ни к завтраку,

ни к обеду: Елена перестала уговаривать его не убивать себя, и уже он стал думать, что у нее дурной характер и холодная душа. Никто не мешал сегодня Елене. И по дороге не встретился ей никто надоедливый и привязчивый, кто бы мог вздумать провожать ее. Впрочем, по той дороге, которою ходила в лес Елена, дачники не прогуливались.

Такой же был опять ясный день, как и вчера. И душа Елены была спокойна. Ни о муже, ни о босяке Елена почти совсем не вспоминала. Почему-то вставали в ее памяти картины из милого детства.

Когда Елена подходила к своему любимому месту в лесу, какое-то невнятное движение в кустах заставило ее чутко насторожиться. Чувствовалось, что кто-то там таится, ждет, подстерегает. Но страх, охвативший Елену, был только мгновенным. Она догадалась, что это — ее вчерашний друг, что он сам боится ее предательства и что никого другого здесь нет.

Елена крикнула громко и весело:

— Ау, миленький, где ты? Выходи, я одна.

Несколько минут продолжалось осторожное молчание. Наконец, убедившись, что Елена никого с собою не привела, босяк вышел из-за кустов. Такой же веселый, как вчера. Он хохотал и хрипло говорил, беспрестанно ввертывая скверные словечки:

— Притрепалась, стерьва. Не надула, размилашечка. Ишь ты! Ай меня полюбила, стерьва? Ну и баба!

— Как не полюбить, миленький! — весело говорила Елена. — Вот я сама притрепалась, и водочки тебе принесла, и курицу.

Босяк захохотал от удовольствия, выкрикнул несколько чрезвычайно крепких слов и так сильно шлепнул со всего размаху ладонью Елену по спине, что она ахнула и упала.

— Эх ты, размилашка, от пинка валишься! — крикнул босяк, нагибаясь к Елене.

Она не ушиблась, — оперлась локтями в мягкую землю. Корзина выпала из ее рук, но ничто из корзинки не вывалилось, — крышка ходила туго.

Оборванец повернул Елену за плечи лицом вверх и облапил ее. И опять, счастливая насилием, Елена затрепетала в объятиях молодого оборванца.

XIV

Оборванец отошел и стоял в стороне, искоса поглядывая на Елену. Она села и дрожащими пальцами поправляла прическу.

— Ну, где ж водка? — сипло спросил босяк. — Принесла, так подавай.

— Сейчас дам, — сказала Елена. — Вот, возьми.

Открыла корзинку, достала бутылку, протянула ее босяку. Тот радостно пошел было к Елене, но вдруг остановился, нахмурился, решился покуражиться. Лицо его приняло надменное выражение, и он закричал визгливо и сипло.

— Стерьва, порядка не понимаешь! В ноги кланяйся, проси умильно: государь мой, удал добрый молодец, прими винцо казенное от рабы твоей, изволь, сударь, выкушать на доброе здоровьице.

Елена встала, улыбаясь, и сказала:

— Миленький, как же я кланяться стану, коли у меня бутылка в руках? Ты бы бутылку сперва взял.

— Давай, — с деловитым видом сказал босяк. — Ну, кланяйся.

Елена поклонилась ему в ноги, проговорила, стоя на коленях, подсказанные ей слова, еще раз поклонилась и, не поднимаясь с колен, смотрела на босяка. Он проворно и ловко вытащил грязными пальцами пробку из бутылки. Нюхнул, и опять блаженная улыбка засияла на его губах, и лицо его стало детски ласковым. Он говорил:

— Эх, хорошо! Догадалась, что принести, стерьва полоротая! Уважила. Ну что на коленках стоишь? Покланялась, и будет. На, выпей.

Он поднес бутылку к Елениным губам. Елена упала на землю и захохотала. Она лежала на спине, раскрасневшаяся, и смотрела не отрываясь на босяка.

— Ну чего ржешь? — спросил он. — Что-то ты уж больно весела. Не колочена живешь, набалована, размилашка.

— Я не пью водки, глупый, — говорила Елена, вытирая на глазах слезинки, выступившие от смеха. — На что мне водка? Я и так живу веселая.

— Не пьешь? — недоверчиво сказал босяк. — Ну и дура. Да ты хоть пригубь.

Елена вспомнила вчерашние ощущения. Сказала.

— Да я бы пригубила, коли велишь, только, боюсь, голова болеть будет.

Босяк подумал и решил:

— Ну не хочет, и не надо. Кума пеша, куму легче. Не пьешь, мне больше останется. Чем закусить-то? Огурчика свежепросольного не захватила?

Елена села, поправила волосы. Потом достала со дна корзины сверток с огурцами. Посмотрела на босяка. Его солнечная улыбка ужалила ее жалостью, мгновенною и острою. Она сказала негромко:

— И ты бы, милый, лучше не пил водки.

— Для чего не пить? — спросил босяк. — На то она и водка, чтоб ее пить. Водки не пить, так это что ж и будет! Не жизнь, а купорос.

— Водка — яд, — усмехаясь, тихо говорила Елена.

Босяк захохотал.

— Ну, от такого яда не окочуришься, — весело сказал он. — Только все внутренности проспиртуешь, так что и смерть не возьмет.

— А все-таки лучше не пей, — повторила Елена. — Сначала съешь чего-нибудь.

Елена вынула из корзины курицу и принялась развертывать ее.

— Вот дура баба! — крикнул босяк. — Сама принесла, да сама, — не пей. Стерьва!

— Вот съешь курицы, — говорила Елена.

Парень поднес бутылку к губам, запрокинул голову и жадными глотками отпил сразу почти половину бутылки.

— Ух, славно обожгло! — пробормотал он. — Крепкая водка, правильная!

Елена глянула снизу на его лицо. Оно быстро наливалось кровью. Глаза расширились очень. Выражение блаженного удивления на его лице быстро переходило в гримасу недоумения и злобы. И уже не солнечная улыбка, — страшная судорога перекашивала губы.

Елена опустила глаза. Достала из корзины салфетку, ножи, вилки. Удивилась, заметив, что пальцы ее дрожат.

Босяк резко вскрикнул:

— Что? Дьявол!

Елена взглянула него. Багрово-красное лицо, перекошенное болью и страхом, было свирепо и жалко, и нельзя было долго смотреть на него. Хватаясь за живот и охая, парень сел на траву. Бормотал невнятно:

— Ты, стерьва, что за водку мне дала? Где ты такую водку брала?

Елена отвечала напряженно-спокойным голосом:

— Говорила тебе, не пей, сначала съешь чего-нибудь. На пустой желудок да сразу полбутылки выпил. Конечно, и почувствовал себя нехорошо.

Парень покачивался в лад ее словам. Вдруг новая спазма боли резко схватила его. Он закричал хрипло ревущим голосом:

— Подсыпала, стерьва! Говори, чего ты мне подсыпала.

Лицо оборванца покрывалося синеватою, мертвенною бледностью, резко и под слоями грязи и загара. Капли пота, такие крупные, каких Елена еще никогда не видала, липко выступали на его низком под взмокшими плоскими черными прядями волос лбу и медленно ползли на взъерошенные брови.

Быстро слабея, парень повалился животом на землю. Он весь судорожно сотрясался, то визгливо скулил, то невнятно бормотал нелепую ругань.

XV

Елена прислонилась к стволу березы и замерла в напряженном молчании. Пальцы отведенных немного назад рук судорожно постукивали по коре дерева у самой земли.

Вдруг, подхваченный пароксизмом злобы и отчаяния, парень, как подброшенный быстрым толчком снизу, взметнулся на ноги и бросился на Елену, визгливо крича:

— Стерьва, отравила!.. Задушу!..

Голос его звучал мертво и пусто, как бы не из груди выходя, а рождаясь на губах. Елена вскочила, схватила вилку, коротко и резко вскрикнула:

— Не подходи!

И бросилась бежать, делая быстрые, неожиданные повороты между деревьями. Она думала: «Если догонит, — всажу вилку в горло или в живот. Не догонит. А и догонит, не хватит у него сил задушить».

Страха в ее душе не было, — только почти спортивное желание уйти от преследующего, выиграть и в этой игре. Ее сердце ускоряло свое биение нисколько не сильнее, чем на теннисе-гроунде в короткой, но энергичной погоне за трудно и коварно брошенным мячом, летящим стремительно и низко.

Но этот живой, грузный мяч не долетел до подставленной для него строгой стальной ракетки. Парень запутался в широких ветвях шершавой ели, ослабел и тяжело свалился на землю. Он повернулся страшным, зелено-черным лицом кверху и лежал, то судорожно вскидываясь, то падая. Казалось, что его руки и ноги двигаются отдельно от туловища, несогласованно с ним.

XVI

Елена подошла к нему, остановилась у ног и с диким любопытством смотрела на его корчи. Лицо его принимало все более грязно-зеленый цвет. Глаза стекленели. Резкие судороги сотрясали все тело, и движения его были похожи на движения картонного паяца, которого подергивает за веревочку каждый мимо идущий на веселом маскараде.

— Стерьва! Мерси, размилашка! Собаке собачья... Потрафила, стерьва! Один конец. Шабаш. Поцелуй, стерьва. Значит, я прощаю. Доволен. Поцелуй, простись.

Елена стала на колени, нагнулась, но вдруг странная мысль заставила ее опять выпрямиться.

— Я стану целовать его, а он откусит мне нос.

Елена всмотрелась, — в тусклых, едва живых глазах парня, слабо мерцал отблеск какой-то злой мысли.

Парень хрипел:

— Целуй, стерьва. Травить умела, умей проститься.

Елена склонилась к нему, пружинно сгибая в локтях упертые в землю руки и готовая каждую секунду отпрянуть. Она быстро поцеловала парня в губы, и в тот же миг зубы его судорожно лязгнули. Укусить он не успел, — лицо Елены было уже далеко. Он забился руками, ногами, задергался всем телом. Только хриплый, прерывающий рев вылетал из его горла. Глаза смотрели, мертвые, уже не видя.

Елена пугливо проводила руками по лицу, нет ли крови. Думала, что, может быть, он успел укусить ее, и только в первый момент она не чувствует боли. Но крови не было, и боль не приходила. Елена успокоилась. Подумала: «Сейчас это кончится».

Она села поодаль, боком к умирающему, охватила колена руками, смотрела на деревья за рекою, прислушивалась, ждала. Изредка бросала короткий взгляд в ту сторону, где лежал он.

XVII

Минуты шли за минутами, но это не кончалось. Парень корчился в судорогах, хрипел, вращал мертвыми глазами, и уже лицо его приняло цвет истлевших почти до черноты, но все еще зеленых листьев, — но все еще был жив.

Елена тоскливо огляделась кругом. Лес был тих, как всегда. Только слышался веселый, гулко-звучный плеск воды на камнях в быстрой речке. Даже ветер не разводил широкого гула в далеких лесных вершинах от опушки.

На версту кругом нигде не было живой души, — но как пришел этот, чтобы погибнуть, так мог прийти и другой, чтобы погибла Елена. Елена подумала, что пора кончать? Но как? Она быстро взвесила

несколько возможностей и остановилась на одной. И тотчас же начала действовать.

Елена подошла к лежащей на земле корзине. Рядом с корзиною на земле валялась еще не развернутая салфетка. Елена подняла салфетку, расправила ее, подошла к парню. Рассчитала точно все свои движения. Потом Елена быстро опустилась коленями на грудь умирающего, накинула салфетку на его лицо, надавила ее пальцами обеих рук на его рот и ноздри и налегла всею тяжестью тела на свои умертвляющие руки.

Когда Елена почувствовала, что под руками ее только труп, голова ее закружилась. Елена тяжело свалилась на землю рядом с трупом. В полузабытьи пролежала она с полчаса, и ее нежная, слегка загорелая рука лежала на грязных лохмотьях, и кончик ее легкой, красивой ноги прикасался к черной, громадной ступне умерщвленного.

Сквозь полуопущенные ресницы увидела она, как из-за деревьев на берегу вышел Пасходин. Сердце ее замерло от ужаса. Бежать! Но руки и ноги не двигались, тело не повиновалось бешеным усилиям ее воли. Таиться, — может быть, не увидит.

Но в эту минуту глаза Пасходина устремились на Елену и с обычным тупым упорством приковались к ней. Не спуская с нее тяжелого взора, он подошел к ней и сказал своим обычным, деревянным и в то же время слащавым голосом:

— Еще раз обращаюсь к вам, Елена Алексеевна, как к интеллигентной женщине.

Елена с ужасом подумала, что сейчас Пасходин увидит труп и что он уже видит ее слишком высоко открытые ноги. Она попыталась повернуться в сторону от трупа, чтобы встать и увести его подальше. Но как она не напрягала все свои силы, она не могла сделать ни малейшего движения, — словно, кто-то злой и проказливый перерезал провод от ее воли к ее нервам.

А Пасходин упрямо повторял:

— Отдайте мне мой яд.

«Кошмар!» — подумала Елена.

И от мысли ей вдруг стало радостно. Но все же проснуться, проснуться!

Бессильна была скованная воля, бессильно лежало оцепенелое тело.

И вот Пасходин отвел свои глаза от нее и увидел труп. Он заговорил плачущим голосом:

— Этому мальчику вы отдали мой яд! Зачем вы отдали этому мальчику мой яд?

Странно хныкая, он повернулся и стал уходить. Елена подумала: «Скажет людям».

И страх снова охватил ее. Внезапно выйдя из своего тягостного оцепенения, она вскочила, огляделась вокруг, — где же Пасходин? Но никого нигде вблизи не было, не слышно было ничьих шагов. Елена с облегчением вздохнула, — кошмар, только кошмар! И кто же, как не Пасходин с его тяжелым, тупым взглядом, способен быть явлением кошмара?

XVIII

Однако надобно прибрать. Елена схватила бело мерцавшую на темных мхах бутылку, — водка почти вся вытекла, впиталась в землю. Елена швырнула бутылку в реку. Легкий всплеск донесся. Все остальное быстро посовала в корзинку, — салфетку дома сжечь, курицу, огурцы где-нибудь в лесу забросить в дикие заплетения кустарников.

Потом забота самая тяжелая, — убрать труп. Елена потащила его к реке, волоком по земле. Очень тяжело было, труп словно прилипал к земле, и даже на склоне берега цеплялся за кусты, за корни. И противно было смотреть близко в лицо трупа, волоча его под мышки. А за ноги тащить было еще труднее.

Несколько раз Елена садилась на землю отдохнуть и плакала от усталости и от страха. Ей казалось, что больше часа прошло, пока ее ноги не ступили на мокрый песок береговой, смешанный с вязкою глиною.

Еще одно отчаянное усилие, — и голова трупа окунулась затылком в воду. Тогда Елена проворно разделась, вошла в воду и потащила за собою труп. Ногам было жестко от прибрежных камней, остро и больно вдавливавшихся в кожу, — но зато труп все легчал. Вот уже он покатился по камням, поворачиваясь с боку на бок, — вот повлекся быстрым течением по речному дну, — вот скрылся из глаз. Елена оделась, поднялась наверх, захватила корзинку и пошла домой.

XVIII

Вечером за ужином Елена смотрела на Скрынина влюбленными глазами. Все в нем казалось ей чрезвычайно изысканным, элегантным. Самая томность и вялость его имели для нее теперь очаровательную прелесть.

Ночью Елена пришла к мужу, как уже давно не приходила. Она была с ним так нежна и обнимала его с такою страстностью, как это бывало только в первые дни их увенчанной любви.

И потому Скрынин нисколько не удивился, когда узнал в свое время, что Елена беременна. В свое время с гордостью отца он взял на руки новорожденного, который потом рос красивым, сильным и веселым мальчиком.

Дитя, которое никогда не узнает о своем безымянном отце.

Самый сильный

Все с раздражением и ненавистью говорили о только что вернувшемся домой из деловой поездки в Америку Алексее Павловиче Ронине. Это был молодой, красивый человек, владелец большого торгово-промышленного предприятия. В этом богатом приморском городе он вращался в лучшем обществе, и маменьки взрослых барышень мечтали о нем как о завидном женихе. А теперь, когда Ронин, спас-

шийся с тонувшего в океане парохода, вернулся жив и невредим, все в городе вдруг стали презирать его за его возмутительный поступок.

Маленькое общество, собравшееся в ясный день ранней осени в красивой гостиной Елены Моисеевны Климентович, все еще молодой жены популярного местного адвоката, было настроено так же враждебно к Ронину.

Доктор Полонный, черноокий кумир здешних дам и усердный в последнее время поклонник Елены Моисеевны, говорил, делая плавные жесты:

— Мне всегда он был как-то подозрителен. И вот, оказывается, предчувствие меня не обманывало. Вот именно в трагических случаях, перед лицом смерти, познается истинная природа человека.

— Но что он, собственно, сделал ужасного? — спросил седоусый инженер Макаренко. — Спасал свою жизнь? Что же тут подлого? Может быть, многие из нас на его месте поступили бы не лучше.

Но все напали на старого Макаренко.

— Как что сделал? — кипятилась Мери Дугинская, очаровательная дама, младшая сестра хозяйки. — Пользуясь своею силою, он отталкивал женщин и детей и один из первых бросился в спасательную лодку! И вы хотите его оправдывать! Дети и женщины многие погибли, а он спасся. Это ужасно!

И все, кроме Макаренко и одной девушки, почтенные господа и милые дамы, согласным, хотя и нестройным хором дюжины голосов, восклицали:

— Возмутительно!

— Низко!

— Омерзительно!

Доктор Полонный авторитетно сказал:

— Никто после этого не подаст ему руки!

И все согласились с ним, — все, кроме Макаренко. Хитро улыбаясь, Макаренко крутил седые длинные усы и насмешливо посматривал на разгорячившихся собеседников. И еще молчала красавица Катя, молодая девушка, хозяйкина дочь. Она стояла у широкого окна, не принимала участия в разговоре и смотрела на пламенно-цветущие ро-

зовые кусты в саду и на мерно вскипающие за садом и за пляжем широкие морские волны.

Макаренко спросил ее:

— А вы что скажете, Катерина Львовна?

И, подмигнув хозяйке, сказал вполголоса:

— Как время-то идет! Выросла девочка, уж и неловко называть ее Катею.

Хозяйка, не отвечая, стала смотреть на дочь, и на лице ее было так много любезности, — к гостю, — и ласки, — к дочери, — словно она усиленно старалась скрыть, что слова Макаренко ей не понравились.

Катя медленно отвернулась от окна и сказала неторопливо, глубоким и звучным голосом:

— Я думаю, Ронин и сам понимает свое положение и вряд ли станет показываться в нашем обществе. Ему лучше уехать отсюда.

— Не будет показываться, вы думаете? — спросил Макаренко. — Ну а если кто-нибудь его пригласит?

Катя молча пожала плечами и опять отвернулась к окну. Ее молчаливость никого не удивила: она пользовалась репутациею девицы спокойной и неболтливой. Но зато многие подумали, что обращение Макаренко к Кате очень бестактно: всем было известно, что Ронин ухаживал за Катею и что в этом доме он был хорошо принят. И потому поспешно заговорили о другом.

Прошло несколько минут, и уже забыли о Ронине. И вдруг впечатление разорвавшейся бомбы произвели тихие слова появившегося в дверях лакея:

— Алексей Павлович Ронин.

Катя вздрогнула и совсем близко приникла к окну. Доктор Полонный проворчал:

— Ну и наглец!

Дамы и мужчины переглядывались и пожимали плечами. Елена Моисеевна побледнела и не знала, что сказать. Ее муж, великолепно выхоленный и вскормленный человек, беспокойно задвигался в своем кресле. Прошло полминуты неловкого молчания, и вдруг

Климентович, как будто сообразив что-то, торопливо и смущенно сказал лакею:

— Просить.

Все посмотрели на него с удивлением. Даже Катя на миг показала гостям раскрасневшееся лицо, быстро глянула на отца и усмехнулась не то насмешливо, не то смущенно.

Когда лакей скрылся за синею портьерою, Елена Моисеевна воскликнула:

— Лев Маркович, зачем ты велел его принять! Никто здесь не хочет быть с ним вместе.

— Ну и мы это ему покажем, — все так же смущенно говорил Климентович.

Его великолепная, рослая фигура словно уменьшалась и сжималась, и он смотрел куда-то мимо людей, словно произнося речь во враждебно настроенном собрании.

Макаренко говорил, хитро посмеиваясь:

— Нельзя не принять, уж раз что сами приглашали.

Елена Моисеевна воскликнула с деланным ужасом:

— Лев Маркович, что я слышу? Неужели это правда?

— Душа моя, — оправдывался Климентович, — я встретился с ним в парке, совершенно неожиданно. Он сам ко мне подошел, и я так растерялся от неожиданности...

— Ну довольно, он идет, — сказала Елена Моисеевна.

Все настороженно замолчали. Было жуткое ожидание скандала, и под притворно равнодушными лицами гостей закипало злорадство.

Катя еще раз глянула на гостей и тихонько рассмеялась, заглушая смех приложенным к губам платком.

В гостиную вошел Алексей Ронин, молодой, красивый человек, с тою свободою и легкостью движений, которыми отличаются преданные спорту люди. Быстро глянув решительными, упоенно-наглыми глазами на всех собравшихся здесь, он неторопливо подошел к Елене Моисеевне, поцеловал ее руку и заговорил спокойно и уверенно, как будто ничего особенного в его жизни не произошло, — заговорил те легкие и простые фразы, которые не сочиняются заранее, при-

ходят в голову сами собою и так же легко потом забываются, оставляя за собою впечатление приятной беседы.

С тем же спокойствием, с тою же уверенностью обратился он потом и к другим. Как бы следуя примеру хозяйки, все отвечали на его привет с обычною светскою любезностью.

Ронин подошел к Кате. Она холодно поклонилась ему, едва на миг оторвавшись от созерцания широкого морского простора.

— Любуетесь морем? — тихо спросил Ронин.

Гости, разговаривая между собою, исподтишка наблюдали за ними.

Катя молчала. Ронин говорил:

— Я понимаю, почему вам нравится смотреть на эти волны. Волны лучше людей.

Катя вопросительно глянула на него.

— Они равнодушны, — продолжал Ронин, — им все равно, но они никогда не изменяют своему закону, своей воле и не могут изменить. Их непреклонность так прекраснее людской неискренности.

Катя засмеялась. Смех ее звучал хрупко и нервно. И вдруг стало заметно, что она очень взволнована. Преодолевая волнение, задерживая дыхание в поднявшейся груди, Катя сказала:

— Что ж, скажите вот этим людям, что вы думаете о них и о волнах. Это им будет интересно.

— Слушаю, — сказал Ронин, наклоняя голову.

Он обернулся к Елене Моисеевне. Заметив, что он хочет говорить, все замолчали, и у всех в глазах было жадное и нетерпеливое любопытство. Ронин сказал громко:

— Екатерина Львовна выразила желание, чтобы я рассказал о том, как мне удалось спастись при этом ужасном кораблекрушении. Когда-нибудь я это исполню подробно и точно. А теперь ужасы этой ночи так еще живы в моей душе, что я не могу рассказывать связно.

Доктор Полонный угрюмо проворчал что-то. Ронин повернулся к нему, и казалось, что его нагло-спокойный взор закупорил во рту очаровательного доктора все те слова, которые он собирался сказать. Ронин продолжал, гипнотизируя доктора прозрачно-ясными, словно пустыми глазами:

— Я хорошо знаю, что многие меня осуждают. Но скажу одно, — я увидел в эти страшные часы такие картины людского озверения...

Катя перебила его:

— Героизма, хотите вы сказать! — пылко воскликнула она.

Ронин на мгновение потупил глаза. Было жуткое молчание, и почти слышно стало, как расклеиваются уста освобожденного от тягости упорного взора доктора. Но не успели расклеиться. Ронин тихо заговорил:

— Героизма! Да, если хотите, были и трогательные примеры героизма. Герои погибали, спасая слабых и робких. Да, это было, если вы хотите это знать. И вот потому, что были погибающие герои и спасающаяся дрянь, никому ни на что на свете не нужная, вот потому я почувствовал такое презрение к этим спасающимся, что решил...

— Не быть героем? — прервала его вопросом Катя.

Ее щеки багряно пылали. Ронин усмехнулся, быстро глянул на нее упоенно-наглыми глазами и решительно сказал:

— Да, не быть героем.

И у него был такой вид, словно он принял вызов на бой и уверен в победе.

Катя обвела глазами всех бывших в комнате. Сквозь застилавший ее глаза багровый туман она видела знакомые лица, — и все они теперь смотрели на Ронина с внезапным сочувствием. Смотрели почти угодливо. В поднявшемся смутном гуле голосов, звучавших льстиво, не послышалось ни одного негодующего крика.

Катя различала отдельные фразы:

— Помилуйте, перед ним вся жизнь...

— Молодой, богатый...

— Погибать из-за чего?..

Сам доктор Полонный потерял свою самоуверенность, забыл свою угрюмость, и его наконец расклеившиеся губы сложились в липкую, благожелательную улыбку.

Тихо-тихо, вся дрожа от злости, сказала Катя, — так тихо, что только Ронин мог ее слышать:

— Вы знаете, что сделали выбор между героизмом и подлостью.

И в эту минуту она любила себя, потому что голос ее не дрожал, глаза были гневны и темны, и она знала, что она прекрасна, как лицо воплощенной в красоту совести.

Но не смутился Ронин. Так же тихо, как она, отвечал он ей:

— Я — смелый человек. Я сделал выбор, который даст мне долгую и счастливую жизнь. И никто не посмеет повторить мне то, что вы сказали.

Катя быстро отвернулась от него, вышла на террасу, сошла в сад. За нею звучали оживленные голоса.

Катя знала, — Ронин сумеет победить общество, которое вздумало было его презирать. Покорить не теми глупыми и подлыми словами, которые сумеет придумать и сумеет сказать, а просто тем, что он богат, молод и самоуверен до наглости.

Но чего же стоят эти люди и как с ними жить?

Катя, томимая горькими мыслями, долго ходила по песочным аллейкам. Уже она не чувствовала себя победительницею. Упоенно-дерзкий взгляд Ронина словно еще тяготел на ее ресницах, застя от нее шарлаховые, пунцовые и карминные очарования роз.

Прошло с полчаса. Заслышав за решеткою сада скрип колес по песку тихой Липовой улицы, Катя поднялась по четырем ступенькам в беседку у решетки. Из этой беседки видна была улица. Вывернувшись из-за угла от подъезда, пара великолепных вороных плавно несла коляску. В коляске сидел Ронин.

Вдруг мысль о том, что он может уехать и никогда не вернуться, пронизала Катино сердце. Не думая, что делает, Катя крикнула:

— Остановитесь!

Ронин улыбнулся почти нежно, приподнял шляпу и что-то сказал кучеру. Коляска остановилась. Ронин вышел из нее и подошел к забору. Катя сказала:

— Войдите в сад. Вот здесь, направо, калитка.

Ронин крикнул кучеру:

— Поезжай домой, — я пройдусь.

И вошел в сад. Катя ждала его, стоя у калитки. Брови ее хмурились, но на лице ее не было прежнего решительного и враждебного выражения.

— Ну что, как там обошлось? — спросила она деловитым тоном.

— Очень мило, — отвечал Ронин, улыбаясь слегка насмешливо, — меня так ласкали и утешали, как будто бы я спас целую сотню утопавших.

— А вы спасли только одного, — неопределенным тоном сказала Катя.

— Да, но зато этот спасенный был я сам, — сказал Ронин.

— И вы это очень цените? — спросила Катя.

— Да, — сказал Ронин, — как же мне не ценить этого! Ведь жизнь выше всего, не правда ли, Катя? Мы должны любить жизнь, не правда ли, Катя? Любить жизнь, ценить ее блага, стремиться к счастью, не правда ли, Катя?

— Достойную жизнь, — сказала Катя, — только достойную жизнь надо любить.

— О Катя! — воскликнул Ронин, — простите, что я вас так называю, но вы знаете, что я вас люблю.

Катя приложила руки к своим пылающим щекам.

— Называйте меня, как хотите, — сказала она, — я достаточно молода для того, чтобы и чужие люди иногда забывали, что я уже не девочка.

Чуть-чуть усмехнувшись на слово «чужие», Ронин продолжал:

— Вы говорите, Катя, — достойная жизнь! С детским идеализмом вы мечтаете о жизни, полной подвигов.

— А разве нет такой жизни? — спросила Катя, — Разве мы не слышим о подвигах?

Ронин пожал плечами.

— Конечно, — сказал он, — но что же делать, если не каждый способен быть героем! Да и никто не обязан быть героем. Мы живем, как умеем, берем жизнь, как она есть, а не как она должна быть. Если нет нам достойной жизни, разве и эта жизнь, такая, как есть, не хороша? Солнце греет всех одинаково, и прекраснейшие розы благоухают не для того, кто их достоин, а для того, кто может их купить.

— Не надо, не надо так говорить! — воскликнула Катя.

— Почему не надо? — спросил Ронин.

— Разве эти слова не обжигают вам губы? — ответила Катя вопросом и пристально посмотрела на Ронина.

— Послушайте, Катя, — тоном ласкового убеждения заговорил Ронин, — вот я спас свою жизнь, сумел спасти, — Катя, как вы думаете, если бы вы были со мною, сумел ли бы я спасти и вас?

Катя засмеялась и промолчала.

Ронин говорил нежно и страстно, и глаза его потемнели и приняли повелительное выражение:

— Катя, любите меня, любите. Катя, хотите разделить мою судьбу, мою жизнь, все, что я имею?

Катя постояла с минуту молча, с опущенными глазами. Потом сказала:

— Я люблю вас, вы это знаете, и потому мне было так больно в эти дни. Я думала, что никогда больше вас не увижу. Может быть, так было бы лучше. Но вот мы встретились. Люди не отвернулись от вас.

— Как же бы они посмели отвернуться! — воскликнул Ронин. — Разве они сами — герои? Где же их самоотверженные поступки? Это все — сытые люди, Катя. Они любят жизнь, они «к ее минутным благам прикованы привычкой и средой».

— Да, — сказала Катя, — вы — самый сильный из тех, кого я знаю. Я люблю вас опять. Если вы не боитесь, что к моей любви будет примешиваться и другое чувство, хорошо, я буду вашею женою.

— Я знаю, о каком чувстве вы говорите, — сказал Ронин, — но, милая Катя, мы все более или менее презираем себя и других, презираем потому, что вся наша жизнь слагается из ряда поступков ничтожных и порою нехороших. И по улице не пройдешь без того, чтобы одежда не запылилась, а уж душа наша, что о ней и говорить!

Он смотрел на Катю нагло-веселыми глазами, любуясь тем, как нежно румянятся ее щеки. Потом вдруг он привлек ее к себе и поцеловал прямо в губы.

Катя не сопротивлялась. Она знала, что это не опасно для ее платья и для ее прически. И точно, Ронин тотчас же отпустил Катю, распрощался с нею корректно и ушел.

Катя опять поднялась в беседку и долго смотрела, как он неторопливо шел по улице, спокойный и элегантный. Потом она вернулась в гостиную. Там было теперь только трое, — отец, мать и Мери Дугинская.

Катя, отодвинув синюю портьеру, остановилась в дверях и спокойно сказала:

— Папа, мама, тетя Мери, Ронин сделал мне предложение, я дала согласие.

Все радостно засмеялись. Мери Дугинская воскликнула:

— Но послушайте, как она спокойно говорит это! Точно ее пригласили на тур вальса!

— Она у нас невозмутимая, — сказал отец, опять по-прежнему великолепный и веселый.

Все были рады. Папа, мама, тетя Мери целовали и поздравляли Катю. Катя казалась невозмутимо-счастливою.

А вечером, оставшись одна, Катя долго плакала. Она думала, что любит Ронина, но и презирает его. Как же ей всю жизнь прожить с этим человеком?

Не лучше ли убить себя?

У Кати был маленький, очень красивый револьвер, всегда заряженный, — ее самый большой секрет от родителей. В эту ночь Катя не раз вынимала хорошенькую стальную игрушку. Она даже прикладывала холодное дуло то к виску, то к тому неширокому месту на груди, под которым тогда усиленно начинало колотиться испуганное сердце.

Прикосновение холодной стали к горячему телу каждый раз было тупое и жесткое. Каждый раз Кате было страшно сделать то маленькое движение пальцами, которое вызовет смертельный выстрел.

Когда под утро, подойдя к окну, Катя увидела розоватый налет зари на вскипающей пене волн, она почувствовала всем своим ослабевшим от бессонницы телом, что не умрет и не откажется от счастья с Рониным. То слабое презрение к самой себе, которое почувствовала Катя, потонуло в остром и радостном чувстве любви к своей жизни и к ее благополучию и довольству.

«Расталкивая тех, кто послабее, там, в ужасную ночь, он выбился к жизни. Ну что же, — думала Катя, — вот люди перестанvт его осуждать. Люди думают, что их жизнь — борьба за существование. Сильные побеждают, будет и он всегда победителем».

Засыпая, Катя упрямо думала: «Ну и пусть, пусть буду презирать и его, и себя, — и все-таки буду счастлива».

Катя осталась жить, — не для того, чтобы жить достойною и прекрасною жизнью, сливая свою волю и свою жизнь с волею и с жизнью множеств, а только для того, чтобы выйти замуж за богатого, молодого, красивого, любимого ею человека и вместе с ним наслаждаться радостями себялюбивого существования, наслаждаться всем, что можно купить за деньги.

Грубая, жестокая жизнь еще раз торжествовала свою победу над очаровательною мечтою о высоком подвиге.

Крутильда и семь других

В это ясное апрельское утро Стакан Иванович проснулся, как всегда, под гудящее пение жены своей Крутильды. Занавески уже были отдернуты, в спальне было светло, и из открытой фортки веяло холодом, и слышен был шум голосов на дворе.

Низким контральто, не то чтобы приятным, но привычным Стакану, Крутильда пела за его спиною, — он лежал у стены на правом боку, спиною к Крутильде. Давно знакомые слова на привычный мотив слушал Стакан не без удовольствия. Крутильда пела:

Любви неодолима сила.
Противиться кто смеет ей?
Она Стакана превратила
В прекраснейшего из мужей.

Улыбка озаряла помятое сном и пятью десятками жизни, но все же счастливое лицо Стакана. Не поворачиваясь к Крутильде и даже

пока еще не открывая глаз, Стакан Иванович запел ответный куплет. Голос у него был резкий тенорок, Стакан часто фальшивил, высокие ноты брал тончайшим фальцетом, — но едва он запел все те же, сотни раз повторенные слова, на смуглом Крутильдином лице показалась улыбка. Крутильда легла поудобнее, подложила под голову полные, крепкие руки, смотрела в розетку потолка почти немигающими, темно-серыми, крупными глазами и слушала. Стакан пел:

Любви непобедима сила.
Противиться не думай ей.
Она меня преобразила
В счастливейшего из мужей.

И повернулся на спину, чтобы вместе с Крутильдою пропеть, — она:

Стакан прекраснейший из всех мужей.

А он:

Да, — я счастливейший из всех мужей.

После краткой паузы запела опять Крутильда:

Любви непобеднма сила,
Она капризнее всего,
Она служанку превратила
В царицу дома твоего.

И опять, отвечая ей, запел восторженно и громко теперь уже совсем проснувшийся Стакан:

Любви неодолима сила,
И прихотливее всего.
Она Крутильду превратила
В царицу сердца моего.

И потом опять запели вместе, — она:

Да, я — царица дома твоего.

А он:

Да, ты — царица сердца моего.

Это пение было как бы призывным сигналом. Едва замолкли, замерев на высоких нотах, последние звуки любовного дуэта, как тотчас же в дверь постучались.

— Войдите, — крикнула Крутильда голосом громким и веселым.

Явилась горничная, молодая, веселая девушка с необыкновенно правильно-круглым лицом, румяная, чуть-чуть курносенькая, чуть-чуть веснушчатая, по прозвищу Сыр-Дарья.

Она сказала, остановясь у дверей:

— Стакан Иванович, Крутильда Малофеевна, с добрым утром. Сегодня третий день праздника.

— Знаю, знаю, — отвечала Крутильда.

Стакан, как всегда, забывая значение этого дня, проворчал:

— Ну так что ж?

Сыр-Дарья пояснила:

— Званы нонче к обеду семь других. Как всегда, на третий день.

Крутильда весело улыбалась. Стакан нахмурился. Крутильдина затея — раз в год собирать семь других — никогда ему не нравилась, хоть он и подчинялся этому без спора. Иногда он думал сердито: «Хоть бы их ветром каким сдунуло, хоть бы к черту в пекло».

Но ни одна из семи других не умирала, не уезжала в другой город. Какое-то странное чувство заставляло их каждый год принимать приглашение счастливой соперницы и приезжать на ее пир.

Стакан Иванович сказал сурово:

— Сыр-Дарья, удались, сейчас я восстану от сна.

Сыр-Дарья удалилась. Крутильда же, все еще лежа на спине и глядя на розетку потолка, спросила, как всегда:

— А вот еще есть слово «имманентный», — что значит?

Каждое утро Крутильда узнавала от Стакана значение еще одного ученого слова.

В пять часов вечера семь других собрались, но Стакан еще их не видел. Он сидел один в своем кабинете, строгом и чинном, как и подобает быть кабинету солидного адвоката в квартире, за которую платится три тысячи в год.

Стакан уже был во фраке, но ему не хотелось выходить к этим милым гостьям, притворно-веселым, но в душе опечаленным. Когда-то, в прежние годы, каждой из них по очереди Крутильда открывала двери этой квартиры и потом никого не впускала, оберегая тайну нежного свидания. И была тогда Крутильда молодою, стройною девушкою в белом переднике и в белом чепчике. А вот теперь она — хозяйка в этом доме, и уже не она помогает гостям снимать их верхнюю одежду, а другая, нехитрая Сыр-Дарья, которая никогда не мечтала о том, чтобы сделаться дамою, ездить на Ривьеру и разговаривать с американскими банкирами на английском языке.

Лихорадочно-веселые голоса милых гостий проникали за тяжелые портьеры на дверях Стаканова кабинета, — и эти голоса смущали и тревожили его. Гостиная была рядом с кабинетом, и семь других сидели там.

Приоткрылась дверь, Стакан глянул, среди складок колыхающейся портьеры стала бледная, очень красивая дама в белом платье. В ее руке был букет белых роз.

— Мария! — радостно сказал Стакан.

Он пошел к ней навстречу и долго целовал ее руки.

— Я принесла вам цветы, — сказала она, — я знаю, вы любите белые розы.

— Я их любил, когда вы меня любили, — отвечал Стакан.

— Я и теперь вас люблю, милый, — сказала она, — хотя вы изменили мне. Конечно, Крутильда очень красива.

— Вы гораздо красивее Крутильды! — воскликнул Стакан. — Вы — прекрасны, и я опять люблю вас.

Мария засмеялась невесело.

— Однако, — сказала она, — вы не скажете Крутильде, чтобы она ушла, не позовете меня.

Стакан задумался. Он вспомнил сладкие минуты, проведенные им с Мариею. Ласковая и прекрасная, — но теперь ее красота казалась ему почему-то слишком успокоенною, слишком законченною. Когда он первый раз пожелал близости с Крутильдой? Она мыла пол в буфетной комнате, где не было паркета, а он стоял и смотрел на ее слишком высоко открытые ноги, смотрел на игру сильных мускулов под эластичною, порозовевшею от холода кожею. Она выпрямилась, поглядела на него улыбаясь, спросила:

— Вам вина? Сейчас подам.

Стакан уже забыл, зачем пришел в буфетную, и обрадовался Крутильдиной находчивости. Она подала ему вино, и грудь ее тяжко дышала, и улыбающееся лицо раскраснелось. Красива ли она была? Не очень, так себе, миловидная, но во всей Крутильде не было тогда ни одного успокоенного местечка, и вся она была живая и сильная, и нельзя было не захотеть быть с нею. Но он тогда ничего не сказал ей, взял вино и ушел. А Крутильда через минуту принесла ему стакан, хлеб и сыр, — все так же растрепанная, розовая, улыбчивая. Пришла, поставила на стол перед диваном поднос и ушла, оставив за собою незабываемое впечатление силы и воли.

Стакан задумался так глубоко, что и не заметил, как Мария ушла. Когда он поднял глаза, перед ним стояла уже другая, Елена, веселая, милая дама. И она принесла цветы, и говорила весело и ласково, напоминая минувшие встречи, когда было так весело, молодо и нежно.

И она была красивее и веселее Крутильды. Но опять вспомнил Стакан, как он стоял в коридоре и слушал заразительно-веселый Крутильдин смех.

«С кем она?» — подумал он тогда.

Оказалось, что Крутильда одна и хохочет-заливается, читая маленькие рассказы Чехова, — те, в которых еще так много молодости и веселости.

И опять не заметил Стакан, как ушла Елена. И одна за другою приходили в его кабинет его прежние возлюбленные, все семь перебывали, и каждая принесла ему подарочек: веселая Елена — алые розы, умная Лариса — свою новую книгу о народных домах, заботливая Наталья — электрическую грелку для красного вина, добрая Татьяна — десять тысяч папирос для того лазарета, где Стакан был попечителем, насмешливая Вера — попугая, который кричал:

— Стак-кан, поцелуй Крут-тильду!

Элегантная Раиса принесла полсотни галстуков, один необыкновеннее другого, и некоторые из них столь экстравагантные, что на них и смотреть нельзя было без восторга.

Каждая что-нибудь подарила, сказала какое-нибудь ласковое слово, напомнила о милом, невозвратном прошлом, каждая дала понять, что она лучше Крутильды, — и все они были и на самом деле очень хороши, вполне превосходны. Но каждое посещение милых прелестниц погружало Стакана опять в воспоминания о первых Крутильдиных очарованиях. Не такая умная, как Лариса, но зато какая гибкость и восприимчивость, какая жажда узнавать! Не такая заботливая, как Наталья, и даже как будто совсем легкомысленная, — но, однако, все вовремя и в меру. Не такая добрая, как Татьяна, — но уж если поможет кому, то основательно. Не такая насмешливая, как Вера, но уж если скажет про кого словечко, то удачнее и смешнее никто не придумает. Далеко не такая элегантная, как Раиса, — где уж ей, дочери пьяного сапожника! — но что ни наденет и как ни повернется, все к лицу, и к месту, и ко времени.

И когда все перебывали, еще несколько минут сидел Стакан, вспоминал и улыбался.

Вошла принарядившаяся для гостей и праздника горничная Сыр-Дарья сказать, что обед подан. Был забавен Стакану белый чепчик над ее слишком круглым лицом. И вслед за нею, не успел еще Стакан подняться с кресла, вошла Крутильда, и он услышал ее низкий, как будто бы слегка хриплый, голос:

— Хорош хозяин! Дамы два часа сидят в гостиной, а он один в кабинете. Да что я! Не один, — то одна, то другая к тебе шмыгали. Все

побывали? Цветы-то Сыр-Дарья в вазы поставила? Да уж вижу, хороши, хороши подарки. Потом покажешь, теперь идти пора.

И уже по тому, что она так непрерывно говорила, и по тому, как гудел напряженно ее голос, и по тому, как напрягались мускулы на ее обнаженных руках, заметно было, что она вся дрожит и взволнована, — и тем взволнована, что вот он видел своих возлюбленных, всех, кого она сама знала, — о других она и не спрашивала, — поговорил с каждою наедине и сравнивал ее с каждою, — и тем взволнована, что в ней нет и никогда не будет уверенности и успокоенности, а всегда чуткая настороженность хотящей и ожидающей женщины. Останется ли он с он с нею, или увлечется опять одною из семи, или, взволнованный этим смотром прелестей, потянется к иной любви и найдет другую, а ее бросит, — она не знала и не хотела знать, и вся она была тревога и желание.

И потому, ощущая всю силу этой взволнованности и тревоги, Стакан почувствовал, что он любит только Крутильду и никакую другую женщину никогда не любил и не полюбит. От сознания неразрывности этой связи ему стало вдруг и весело, и страшно.

За обедом, окруженный восемью нарядными, красивыми и веселыми женщинами, Стакан чувствовал себя очень хорошо.

«Крутильда — хитрая, — думал он, — сумела всех собрать, и все к ней пришли, и уже как будто совсем забыли про те полтинники и рубли, которые когда-то совали в ее руку, когда она открывала перед ними дверь на лестницу».

А как чувствовала себя Крутильда? Раскрасневшаяся очень, такая взволнованная, что казалось иногда подурневшею и поглупевшею, она все время словно шла по самому краю бездны. Ей надо было опять и опять победить всех этих красавиц, и порой ей становилось страшно, — ведь каждая из них чем-нибудь лучше ее. Но великое напряжение воли и силы держало ее все время на высоте, и приступы страха все время сменялись радостною уверенностью в том, что в сердце человека побеждает ее верная сила.

Под конец обеда и Стакан почувствовал возрастающее волнение. Предчувствие хоровода, которым каждый год кончался этот вечер,

было опять неприятно ему, и опять он думал: «Напрасно Крутильда затеяла это».

И опять, как всегда, ему казалось, что семь других не встанут, не закружатся, только засмеются.

После обеда перешли в гостиную. Разговоры затихали, всем стало как-то неловко и жутко. Упала минута молчания, и вдруг Крутильда запела:

Любви непобедима сила,
Любовь господствует над всем.
В любви служанка победила
Всех дам прекраснейших, всех семь.

Дамы молчали и сидели слегка побледневшие. Крутильда обвела их круг блестящими, настойчивыми глазами, встала и взяла за руки двух ближайших справа и слева. Встали и они. И одна по одной поднялись все восемь, сцепясь руками, — и Стакан оказался в середине. И они все закружились и запели:

Любви неодолима сила.
Любви сопротивляться грех.
Мы все прекрасны, — победила,
Однако же, Крутильда всех.

Они кружились все быстрее и быстрее, на Стакана веяло ароматами их духов, складки их одежды иногда задевали его, все ближе и ближе к нему проносились они, голова его томно кружилась, сердце билось больно и сладко, и наконец он потерял сознание.

Как сквозь сон слышал он испуганные голоса дам.

— Ничего, ничего, сейчас это пройдет, — говорила Крутильда.

С трудом он приподнялся со своего кресла, — и уже все было как в тумане. Полусознательно говорил что-то, целовал чьи-то руки. Гостьи прощались и уходили, потом Крутильда куда-то его повела, чем-то его поила, послала за чем-то в аптеку Сыр-Дарью. Потом опять стало тихо и темно.

Когда Стакан совсем очнулся, он лежал на диване в кабинете. Перед ним стояла на коленях Крутильда, раздетая, в одной рубашке. Лицо ее было опять мило и румяно, и голые руки ее тянулась к нему, и грудь поднималась так напряженно, так страстно.

— Милая, милая! — шептал Стакан. — Желанная моя, родная, единственная, навсегда моя!

И привлек ее к себе, и обнял порывисто и торопливо, словно еще не веря своему безмерному счастию, своей радости, непомерной. Воистину родная, та, которой всегда жаждала душа!

Мышеловка

I

Это — рассказ о старом поэте, который поставил в своей комнате мышеловку.

Старый, конечно, относительно. В России люди рано переходят в разряд старых. Восемьдесят лет, возраст, когда нормальный человек, кушающий болгарскую простоквашу и отрезавший себе половину кишок, чувствует себя едва только вступившим в полное обладание душевными и телесными силами, — этот возраст у нас уже кажется глубокою старостью, и мы говорим:

— Пора, пора старым косточкам на покой.

Моему поэту, Сергею Григорьевичу Ланину, далеко еще было до этого возраста, но уже в волосах его виднелось немало серебристых нитей, и в углах глаз притаились мелкие морщинки.

Денег у Сергея Григорьевича всегда водилось мало, потому что мало кому нравились его скромные, томные, нежные стихи. В них не было ни экзотических мотивов, ни слишком повседневных, ни технических терминов, вообще ничего резкого, задевающего внимания. Это была поэзия интимная. Кому же она нужна!

И мало кто покупал книжки стихов Сергея Ланина. Потому он был беден.

Но из тех небольших денег, которые у него были, значительную часть он тратил на покупку книг. И вот книг у него накопилось много. Так много, что его небольшая, о трех крохотных комнатах квартира в седьмом этаже, на дворе громадного дома на одной из столичных невидных улиц, была загромождена этими грузными конденсаторами пыли. Книги стояли и лежали в шкапах, на открытых полках, на диванах, на стульях и просто на полу. Многие были еще даже не разрезаны: купить книгу легче, чем прочесть ее.

В часы вечернего досуга Сергей Григорьевич брал из кучи книг одну постарше, садился с нею, читал и дремал. Иногда и засыпал над книгою, тут же, в кресле. Надоедливый шорох осторожной мышки не беспокоил его, — крепок был золотой сон, навеянный светлыми грезами искусства.

Но вот однажды, разбирая на полу груду книг, увидел Сергей Григорьевич, что переплет одной из книг попорчен, — подгрызен чьими-то острыми зубами. Сергей Григорьевич понюхал книгу, — и с очаровательным для книголюбца запахом старого переплета, клея, слежавшихся листов смешался противный, стремительно-хитрый, тепловатый, подпольный запах грызуна.

Старый поэт опечалился.

С тех пор он стал внимательно прислушиваться к шорохам и мягкой топотне мышьих ног. Заслышав приход непрошеных гостей, он принимался стучать о пол палкою, — нарочно для этого купил толстую, суковатую трость.

Сначала мыши пугались внезапного сердитого стука и разбегались. Потом привыкли. Неутомимая грызня их день и ночь томила поэта. И уже стал думать поэт о том, что надобно бы ему переменить квартиру.

Но думать об этом неприятно и скучно было поэту. Он так привык подходить вот именно к этому окну и смотреть на закате вот именно на эти серовато-розовые в мглистом тумане кровли.

II

Вечером, когда поэт только что зажжет лампу, иногда приходила к нему Анночка Алеева, — его поклонница, барышня, служившая в какой-то технической конторе. Поэт любил ее за то, что она любила его стихи и многие знала на память. Поэтому ему радостно было смотреть на ее не очень красивое лицо, на ее слабо розовеющие щеки, худенькие, с милыми ямочками, и на скромную прическу темно-русых волос. Ему радостны были ее нечастые посещения, и для нее он покупал барзак и шафрановый ранет.

С каждым днем он любил ее все нежнее. О своей любви сказать ей он не решался, — он стар, она молода и, может быть, любит другого или полюбит. Но ему было тоскливо думать, что когда-нибудь она перестанет ходить к нему, потому что полюбит молодого. Досадливо думал, что это будет какой-нибудь пошляк, чиновник или конторщик.

Однажды вечером Анночка спросила поэта:

— Что вас беспокоит нынче, Сергей Григорьевич?

Поэт не удивился. Он уже знал, что Анночка — чуткий и внимательный человек. Он сказал:

— Анночка, ты угадала.

— Отчего же вы мне не скажете? — с нежным упреком сказала Аня. — Может быть, я могла бы что-нибудь сделать.

Поэт улыбнулся.

— Милая Анночка, — сказал он, — если бы ты была чародейною царицею, которой подвластны те, кто живут с нами! Если бы ты знала слова заклинаний!

Анночка уже давно привыкла к способу выражений Сергея Григорьевича. Этот наивный способ говорить даже восхищал ее. Впрочем, и все, что было связано с поэтом, приводило ее в восторг. Анночка, сама того не замечая, мало-помалу влюбилась в поэта.

Она легко поняла его и теперь. Прислушавшись к легкому шороху в углу за грудою книг, она сказала:

— Ну вот, я знаю, что вас беспокоит. Эти мыши, которые там скребутся? Да, правда?

— Правда, Анночка, — сказал поэт. — Ты — умная и всегда угадываешь все сразу.

— Я принесу вам мышеловку, — сказала Анночка. — А теперь позвольте хоть немножко похозяйничать в ваших книгах, привести их в порядок.

— Ну, это лишнее!

Сергей Григорьевич боялся, что Анночка куда-нибудь засунет нужные ему теперь книги. Но он не умел спорить, Анночка принялась за уборку комнаты.

III

На другой день мышеловка была принесена и поставлена в углу за книгами. Поэт простодушно радовался и благодарил Аню. Он говорил:

— Одну за одною, мы их всех переловим.

В этот вечер сидели долго поэт и Анночка. Он выпил весь барзак, она рассказала, — в который раз? — всю свою жизнь, и как ей скучно служить в конторе, где каждый день одно и то же. И поплакала, а он утешал ее. Его глаза сияли такою участливою ласкою, что для Анночки он вовсе не казался старым.

Прощаясь, Сергей Григорьевич нежно обнял Анночку и поцеловал в щеку и в губы, и Анночка задрожала, прижимаясь к нему. Он погладил ее по мягким, густым волосам и в тесной передней помог ей надеть ее старенькое осеннее пальто. Заспанная Маша, заслышав голоса, вышла из кухни и заперла дверь за Анночкою.

Поэт еще посидел, помечтал. Прислушиваясь к падению осеннего дождя, он думал, что Анночка милая и что было бы радостно, если бы она его полюбила. Он не знал, что Анночка уже давно любила его.

IV

На другое утро Сергей Григорьевич проснулся поздно. Когда он пил чай, Маша радостно сказала ему:

— Ну уж и попалась крысища, — громадная! Как только в мышеловку влезла.

— Что же вы с нею сделали, Маша? — спросил поэт.

— Известно что, — кипятком обварила и на помойку выбросила.

Поэт вздрогнул. Какая жестокость! Он сказал досадливо:

— Что вы, Маша! Как это можно! Зачем же так мучить!

— Вот, — сказала Маша смеясь, — чего их жалеть!

Веселая улыбка разлилась на ее веснушчатом лице, и она с восторгом рассказывала:

— Визжала как ребенок! Ей-Богу! Вот-то смеху было! Я ее поливаю из крана, а она лапками умывается и визжит, визжит. Вся кожа пузырями пошла.

— Перестаньте, Маша! — сердито сказал Сергей Григорьевич. — Как вам не стыдно говорить такие гадости! И делать!

Он встал из-за стола, не допив чаю, и быстро ушел в кабинет. Он ходил по тесной комнате быстрыми шагами из угла к углу, и ему было тошно и страшно. Он старался не думать об ошпаренной крысе, но воображение настойчиво ставило перед ним все тот же образ, создавая недосказанные Машею подробности.

...В тусклом полусвете осеннего пасмурного утра в кухне Маша поставила самовар на плиту, краном к себе, на пол ведро подставила под краном, чтобы в него кипяток стекал, и поливает кипятком мышеловку, наклоняя ее так, чтобы мордочка пойманного зверька была кверху и чтобы кипяток лился прямо в эти маленькие, блестящие глаза...

Невольное содрогание пробегало по всему телу старого поэта, точно его самого обливали кипятком, и в ушах настойчиво дребезжал призрак крысьего предсмертного визга.

Сергей Григорьевич метался по комнате, натыкаясь на углы стола и шкапа, ушибаясь и почти не чувствуя ушибов. Эта тесная комната

с одним окном, за которым серело тоскливое, бесконечным дождем плачущее небо, казалась ему большою мышеловкою, в которую попался он, бедный поэт. Вот придет сейчас дебелая, грубая баба, ошпарит его кипящими струями и измученный, изуродованный труп его выбросит в смрадную яму.

И чья же вина? Не он ли сам — злой, беспощадный? Не он ли сам захотел, чтобы умирало то, что жило не им и не от него? Не он ли сам поставил эту мышеловку?

V

Целый день томился бедный поэт злыми, мучительными, противными представлениями. Когда настал вечер, он нетерпеливо ждал прихода Анночки.

«Но ведь она была вчера и третьего дня, — наконец припомнил он, — сегодня, пожалуй, и не придет».

И от этой мысли ему стало страшно. Сходить за нею? Но еще разойдешься с нею, она не станет ждать, уйдет. Послать Машу? Но с Машею ему не хотелось говорить, — он сегодня ненавидел ее и за весь день не сказал ей ни одного слова.

Наконец, когда уже стало поздно и невмочь было ждать, Сергей Григорьевич вдруг решился. Торопливо написал записку и уже вложил ее в конверт, как вдруг в передней звякнул звонок. Он бросился в переднюю. Маша уже отворяла. Он нетерпеливо спросил:

— Кто это?

— Это — я, Анночка.

У нее был веселый голос, и глаза вспыхнули радостью. Она опять у своего поэта! И, словно оправдываясь, заговорила:

— Вот как я зачастила. Это я пришла узнать, как мышеловка работает.

Маша захохотала и принялась рассказывать. Сергей Григорьевич торопливо увел Анночку к себе, и на лице его было мучение.

VI

Опять сидели долго, и тосковали оба, и жаловались друг другу, каждый на свою темную, одинокую долю. И говорил поэт:

— Милая Анночка, я весь день сегодня метался по этой комнате и думал, думал. Не то страшно, Анночка, что есть смерть, есть страдания, — но ужасно то, что мы погибаем, как в мышеловке, одиноко. О безумие одиночества! О Сахара мансард!

Заплакала Анночка, стала на колени перед своим поэтом, положила голову на его колени и, плача горько, сказала:

— Милый, любимый, поэт, в Сахаре есть оазисы, в жизни есть любовь. Вы не знаете, вы не смотрите на меня, я для вас — ничто, жалкая девчонка. Но я люблю, люблю вас. Позвольте мне быть с вами, утешать вас.

VII

Маша подслушивала, улыбалась и думала: «То плакали в три ручья, то целоваться стали. И все из-за крысы поганой! Чудные!»

VIII

Обрадованный поэт вдруг вспомнил, что он не приготовил сегодня ничего для Анночки.

— Анночка, чем же я тебя угощу? Барзак мы выпили вчера, а сегодня я на улицу не выходил, с Машей не разговаривал...

— Из-за крысы? — спросила Анночка, блестя веселыми слезинками на заплаканных и уже смеющихся глазах.

— Ну да. Да и забыл.

— Ничего, ранеты еще остались, — деловым тоном сказала Анночка.

Сказка гробовщиковой дочери

Ничего нет странного в том, что молодой чиновник Леонтий Васильевич Ельницкий влюбился в молодую мещанскую девушку Зою Ильину. Она же была девица образованная и благовоспитанная, кончила гимназию, знала английский язык, читала книги и давала уроки. И, кроме того, была очаровательна. По крайней мере, для Ельницкого.

Он охотно посещал ее и скоро привык к тому, что вначале тягостно действовало на его нервы. Скоро он даже утешился соображением, что как-никак, а все же Гавриил Кириллович Ильин, Зоин отец, был первым в этом городе мастером своего дела.

Гавриил Кириллович говорил:

— Дело мое не какое-нибудь эфемерное. Это вам не поэзия с географией. Без моего товара ни один человек не обойдется. И притом же дело мое совершенно чистое. Гроб не пахнет, и воздух от него в квартире крепкий и здоровый.

Зоя часто сидела в складочной комнате, где хранились заготовленные на всякий случай гробы. Одетая пестро и нарядно, — у отца много оставалось атласа, парчи и глазета, — и даже со вкусом, Зоя часто звала туда и своего друга.

— Пойдемте в складочную, Леонтий Васильевич, — говорила она, — там тепло и сухо, и там хочется говорить сказки. Там каждая доска пахнет вымыслом.

Они шли в складочную. Там Зоя рассказывала Леонтию Васильевичу вычитанные из книг истории и сказки, очень сильно изменяя и дополняя их своими вымыслами. Ельницкий сначала неловко поеживался и хмуро посматривал кругом, а потом принимался развивать перед Зоею свои взгляды.

Порою Зоин отец приходил сюда, за делом или просто так, послушать их разговоры. Если за делом, Зоя и Ельницкий уходили в другие комнаты. Если просто так, они продолжали разговаривать, а он слушал, поглаживая седые длинные усы и весело сверкая синими, как

у дочери, все еще молодыми глазами. Кто всмотрится внимательно в эти глаза, тому понятно станет, что они многое видели и многое привыкли замечать.

Старик и сам сказал однажды Ельницкому, когда они сидели все трое в складочной:

— Я все вижу, я все знаю. Конечно, мелкотою мне, по моей популярности, заниматься не приходится, но что касается почтенных жителей нашего города, я знаю срок каждому и размер. Как только умер, у меня все готово. Конечно, для видимости прикинешь мерочку, но только, скажу с интимною откровенностью, мог бы и не беспокоить покойника. Только поставить прибор по желанию родственников.

Леонтий Васильевич недоверчиво усмехался, а старик продолжал:

— Видите, здесь сложены гробы разных размеров; длина, ширина, все к кому-нибудь пригнано. Глаз у меня наметанный, а мерка у меня живая.

Зоя слегка покраснела и улыбалась, а Леонтий Васильевич спросил:

— Какая мерка?

Старик объяснил охотно:

— Зою мою вожу, в церковь, на гулянье, в театр. Станет рядом с кем надо, а уж мне и видно, какая разница в росте, в ширине. На один сантиметр не ошибусь. Конечно, людей в городе много, есть и совпадения в размерах, и на иную домовину у меня по несколько кандидатов. Списочки веду.

Леонтий Васильевич вспомнил, как на днях Зоя подошла и стала рядом с ним и старик смотрел на них внимательно. Холодок пробежал по его спине. Он укоризненно посмотрел на Зою. Она отвернулась и легким движением гибкой руки показала на один из гробов.

— Вот мой размер, — оказала она равнодушно.

— А вам не жутко? — спросил Ельницкий.

— Я ведь здесь выросла, — спокойно ответила она.

Когда Ельницкий уходил в тот вечер домой, ему казалось, что он никогда не перешагнет порога складочной. Но на другой же день Зоя

опять повела его туда, и он послушно пошел за нею. Невеселыми глазами он окинул ряд гробов и спросил, стараясь говорить шутливо:

— Который же тут по моему размеру?

И с досадою услышал, как дрогнул его голос. Зоя спокойно улыбнулась и сказала:

— Срок настанет еще не скоро.

Сказала так уверенно, как будто бы знала. И звук ее слов внес удивительное успокоение в душу молодого человека. А Зоя ласково погладила края своего гроба и сказала:

— И в этот ляжет кто-нибудь другой, не я. Мне почти жаль, — я к нему привыкла, я запомнила узор его досок.

Все отчетливее с каждым днем понимал Ельницкий, что любит Зою. Он был уверен, что и она любит его. Их встречи были часты и радостны, их разговоры — доверчивы и ясны. Они иногда говорили друг другу «ты», почти не замечая этого. Но о любви своей еще молчали. Что-то удерживало Ельницкого. А Зоя спокойно ждала, терпеливая и уверенная, точно и в самом деле знающая все сроки.

Однажды Ельницкий спросил ее:

— Зоя, ты — мечтательница. Но в этой мрачной обстановке можно ли мечтать о любви?

Зоя посмотрела на него внимательно и нежно, и голос ее был сладок и звонок, когда она говорила:

— На могилах цветут розы, над гробами возникает любовь. Мать земля сырая любит нас и тогда, когда мы цветем, и тогда, когда мы отцветаем. Она радуется и славит Бога каждый раз, когда рождается человек.

В середине декабря однажды Ельницкий пришел к Зое вечером. Горели лампы, было тихо. Он прошел в складочную. Зои было не видно. Он проходил мимо гробов, чтобы сесть у печки, погреться, подождать, — в передней ему сказали, что Зоя дома. Взор его, дотоле невнимательный, вдруг остановился на одном гробу, стоявшем на скамейке: там он увидел Зою, вздрогнул и остановился.

Девушка спала, лежа прямо на досках; ее голова покоилась на сложенных руках; губы нежно улыбались, и дыхание было безмятежно-ровное.

Ельницкий тихо позвал:

— Зоя!

Девушка открыла глаза.

— А, это — ты, — сказала она, приподнимаясь. — Сегодня я очень устала. А если очень устанешь, то всего слаще отдыхать на голых досках.

— Выходи, — сказал он хмуро.

Взял ее за плечи и потянул к себе. Она легко и ловко спрыгнула на пол.

— Я чуть не упала, — сказала она. — Ты так сильно меня потянул. Или вы все такие жестокие?

— Жестокие? Почему? — с удивлением спросил Ельницкий.

— У людей все так, — говорила Зоя, — во всем проявляется жестокость, только по-разному, посильнее, послабее. Удар кинжалом в сердце или в глаз, укус, поцелуй, — разные звенья одной цепи. Ты читал сегодня о том, что они сделали с сестрою милосердия?

— Что? Нет, я не читал, — сказал Ельницкий.

Зоя взяла развернутый лист газеты «Речь». Показала ему.

— Читай, вот здесь.

Он прочел. Крикнул внезапно охваченный гневом:

— Какие мерзавцы!

Зоя говорила:

— Ты только представь себе весь ужас ее муки! В холодную ночь стоит нагая, привязанная к дереву. На нее светят фонарями, десяток молодых, сильных парней, хохочут и бросают в нее ножи. Потеха длится долго, кровь течет по телу, нож торчит в ее глазу, — подумай, представь себе это! Теперь скажи мне, — может быть, это — неправда или непроверенный, преувеличенный слух? Тогда как смеет газета печатать об этом? Или это — правда? Тогда отчего весь мир не содрогнется, не восстанет, не уничтожит злое племя?

— Так нельзя рассуждать, Зоя, — возразил Ельницкий, — это — злодеи, преступники, которые могут быть в каждой стране.

Зоя покачала головою.

— Если это может быть в каждой стране, если так надругаться над сестрою может француз и англичанин, так ведь это — такой ужас, от которого можно с ума сойти или проклясть все человечество. Я знаю, люди прочтут это так же, как они читают о всяком преступлении. Кое-кто немножко поволнуется. Но всем все равно. Пока нас не тронули, нам все равно. Мы все — жестокие звери.

Ельницкий почувствовал, что мысли его разбегаются, так много можно было бы спорить против этих нелепых и несправедливых слов, но ему не хотелось почему-то говорить.

Зоя посмотрела на него и засмеялась невесело.

— Вижу, ты не согласен со мною. Вот слушай, я расскажу тебе сказку из этой книги. Читал эту книжку?

Ельницкий взял с некрашеного березового столика у печки книгу в белой обложке с зелено-золотым рисунком и прочел ее титул: «Тути-Намэ. Сказки попугая. Москва. Кн-ство К.Ф. Некрасова».

— Не читал.

Зоя, переиначивая, как всегда, прочитанную сказку, говорила неторопливым и ровным голосом:

— Один добрый и богатый купец в Багдаде, по имени Халис, роздал все свое имущество дервишам, бедным и сиротам. У него не было детей, куда беречь деньги! Но, видишь ли, когда делаешь что-нибудь, то легко увлечься чрезмерно. Он все роздал, понимаешь, буквально все, так что у него остался только дом с голыми стенами, и нечего есть, и не на что купить пищи. И он подумал: ну что ж, дом продам, деньги раздам, сам как-нибудь проживу, — одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И уже он условился с другим купцом, что тот завтра принесет деньги, а Халис передаст ему дом. Тот купец был жадный, он видел, что Халис торопится кончить это дело, он и воспользовался случаем неправо обогатиться и предложил Халису гораздо меньше денег, чем сколько стоил дом. Ну, Халис торговаться не стал. Но вот он ночью увидел во сне человека, одетого в блестя-

щие одежды. Очень испугался, думает, — пришел за моею душою. А потом успокоился, подумал опять, — ну что ж, на земле я ничего не оставляю. Но светозарный муж узнал его мысли и сказал ему: «Не хочет Бог твоей смерти и твоей нищеты. Ты останешься в этом доме, и у тебя будет жена, и она родит тебе сыновей и дочерей. Слушай, — завтра я приду к тебе, принявший облик брамина. Ты ударь меня палкою по голове, и я рассыплюсь золотом». Так он говорил, и Халис запомнил все его слова. Но ты подумай, друг мой, — надо нанести удар, чтобы обрести свое сокровище. Какой верный образ нашей злобы и жестокости!

Зоя замолчала. Потом сказала тихо:

— Не стоит, пожалуй, досказывать сказку. Ты сам догадаешься, что все так и случилось. Добрый был награжден, жадный наказан.

Но, увлекаясь рассказом, продолжала:

— Спросишь, как был наказан жадный? А вот как. Наутро пришел купец с деньгами, — поторопился прийти пораньше, чтобы кто-нибудь другой не дал больше. А следом за ним вошел в дом Халиса брамин. Он был одет в желтый шелк, лицо у него было сморщенное и желтое, из-под желтой парчовой шапки видны были редкие пряди золотистых волос, и руки его были желты, и весь он был словно сбит из золота. И сказал он Халису: «Халис, прогони этого купца, он дает тебе мало денег». Халис сказал: «Мы условились с этим человеком, и я должен принять его деньги и отдать ему дом». Но брамин стал между Халисом и жадным купцом и мешал им приступить к расчету. Тогда Халис вспомнил свой сон, схватил палку и закричал: «Уйди отсюда, или я тебя поколочу». Ведь он был человек добрый, и рука его не поднималась ударить человека без предупреждения. Но брамин не уходил и настаивал на своем. Тогда Халис ударил брамина по голове. Брамин заблестел, голова его зазвенела, он осел и вдруг рассыпался громадною кучею золотых монет. Халис отсчитал девяносто девять монет, отдал их жадному купцу и сказал: «Теперь ты и сам видишь, что я должен поступить так, как мне приказывало это золото, пришедшее ко мне во образе брамина. Возьми эти деньги и никому не говори о том, что ты здесь видел». Купец сказал: «Хоро-

шо, я откажусь от нашей сделки за эти девяносто девять монет, но в придачу дай мне твою палку». Халис согласился. Он знал, что не в палке сила. А жадный купец вздумал, что в этой палке заключена чудесная сила и что стоит ударить ею любого брамина, и тот рассыплется золотом. Пошел жадный купец домой и послал своих слуг ко всем браминам того города, которых он знал, звать их на пир в тот же вечер. Брамины пришли, и купец дал им много вина. Когда они упились, он затеял с ними ссору, схватил Халисову палку и принялся бить их по головам. Крови пролилось немало, а золота не было ни одной монеты. Брамины подняли страшный крик, сбежалось много народу, купца взяли под стражу и утром привели к судье. Судья спросил: «За что ты бил браминов?» Купец отвечал: «Халис научил меня этому». И рассказал, что видел у Халиса. Послали за Халисом, и судья сказал: «Слушай, что показывает на тебя этот человек». Халис выслушал рассказ купца и сказал судье: «Господин, спроси у соседей моих, кто видел брамина, вошедшего в мой дом, и спроси у браминов, не исчез ли кто-нибудь из них, кого ищут и не находят». И никто не видел брамина, вошедшего в дом Халиса, и не было среди браминов никого пропавшего, кого искали и не находили. И велел судья бить купца палками, все золото его взяли и раздали обиженным браминам.

Зоя замолчала. Ельницкий сказал:

— Каждый день, Зоя, ты рассказываешь мне сказки. А самая лучшая сказка знаешь какая?

— Знаю, — сказала Зоя, — та, которую мы делаем из своей жизни.

— Зоя, — спросил он, — ты любишь меня?

— Не знаю, — сказала Зоя, — ведь ты еще не ударил меня ни разу ни по голове, ни по сердцу, чтобы я стала твоим сокровищем, золотом твоей жизни.

Она смеялась и смотрела на него дерзким, вызывающим взглядом.

— Как же я могу тебя ударить? — спросил он смущенно.

— Никакого клада не возьмешь просто, — отвечала Зоя.

Она стояла перед Ельницким, дразня его все тою же дерзкою усмешкою и настойчивым взором потемневших, злых глаз.

— Как же можно бить тебя? — спросил Ельницкий. — Ты слабее меня.

Он чувствовал, что голова его кружится и сердце замирает. Злое наваждение овладевало им. Зоя засмеялась. Неприятно-резок был ее смех.

— О! — воскликнула она, — я вовсе не такая беззащитная. Видишь, нож на столе лежит. Он острый, и конец его тонок. Он легко войдет в твое сердце, если ты оплошаешь.

Она побледнела, губы ее задрожали, и рука потянулась к ножу.

— Злая ведьма! — закричал Ельницкий.

Точно движимый чужою волею, он ударил Зою по щеке. Удар был неожиданно силен и звонок, и под своею рукою почувствовал Ельницкий зной вдруг вспыхнувшей нежной девичьей щеки. Зоя покачнулась, метнулась в сторону. Ельницкий ужаснулся тому, что случилось.

«Что я сделал? Я ударил любимую девушку! Какой позор!» — коротко подумал он.

Зоя вдруг пронзительно закричала, схватила нож и бросилась на Ельницкого. Лицо ее было искажено бешеною злобою, синие глаза казались слитыми в малые круги нестерпимо острыми молниями. С ужасом и восторгом глянул на нее Ельницкий, — никогда не была так прекрасна Зоя, как в эту гневную минуту. Он схватил одною рукою кисть ее правой руки, в которой сверкал нож, — едва успел схватить и отвести вниз, — конец ножа уже разрезал его одежду и остро царапнул кожу на груди, — другая его рука тяжело легла на ее плечо и шею. Она бешено рвалась в его руках, налегая всем телом на его грудь. Вдруг он почувствовал боль в левой ноге, вскрикнул и упал, увлекая за собою Зою. Он ушибся головою о край скамьи и, теряя сознание, услышал над собою отчаянный Зоин вопль.

Когда он очнулся, он лежал в гостиной на диване. Зоя стояла перед ним на коленях, плакала и целовала его руки. Старик смотрел насмешливо и говорил:

— Пустяки, две легонькие царапины. До свадьбы заживет.

Ельницкий вспомнил, что именно этими словами в детстве утешала его старая няня. Он засмеялся.

— Зоя, — сказал он, — ты — мое сокровище. Когда же ты доскажешь мне твою сказку?

— Зоя — сказочница, — отвечал за нее старик, — своим детям она наскажет сказок.

— Своему сыну Зоя расскажет, — тихо говорил Ельницкий, — как его отец пошел на войну. Видишь, Зоя, я догадался, — жаль, немного поздно, — как тебя надо ударить, — по сердцу, — уйти от тебя, уйти, чтобы наносить удары и побеждать.

— Ты ко мне вернешься, — со странною уверенностью сказала Зоя.

— Не знаю, Зоя, — отвечал он, — да и не все ли равно!

Старый гробовщик покачивал головою и говорил:

— Еще не скоро, дети, настанет ваш срок уйти в тесные дома.

Голос крови

I

Алексей торопился поскорее уехать из Косоура в Юрьев Лог. Косоур не понравился Алексею, хотя это был его родной город. А может быть, именно потому и не понравился, по несходству с детскими воспоминаниями. Эти воспоминания казали Косоур очаровательным, — но ведь то были воспоминания первых шести лет его жизни. Ровно двадцать лет Алексей не был в этих местах.

Нелепым показался Косоур. На вокзале ошалелые, бестолковые носильщики, — вокзал темный и грязный, — от вокзала до города надобно ехать несколько верст на извозчике. Река Косоурка плескала на заболоченный берег грязную малярийную воду. Обыватели имели сонный и тупой вид, и казалось, что все их духовные интересы сводились к игре в преферанс. Город с населением около ста тысяч имел только одну газетку, да и ту местные жители презирали.

Встречаясь с косоурцами, Алексей спрашивал их:

— Отчего вы такие? Почему у вас так сонно?

Обыватели угрюмо отвечали:

— Губернатор у нас нехорош, ничего не разрешает.

Алексей думал, что беда не в одном губернаторе. Он говорил:

— Сами вы очень равнодушны.

Ему отвечали:

— Мы очень даже неравнодушны, а только что ходу нам нет.

Алексей был рад, когда, покончив с делами и с более необходимыми визитами, выехал в свое имение, Юрьев Лог, верстах в сорока от этого гиблого города, где тоже с детства не был.

Подъезжая к имению, вспоминал. Было привычное в странном, такое привычное, что надолго умертвило охоту спрашивать: «Почему?» — охоту, теперь опять зажигавшуюся. А странно было то, почему после смерти отца целых двадцать лет мать и сама не хотела ехать ни в Косоур, ни в Юрьев Лог, ни Алексея туда не пускала.

Алексей вспоминал отца, — живое воспоминание *шестилетнего* мальчика амальгамировалось с долгим любующимся наглядением на его портреты, несколько фотографий и один живописный. Это был очень красивый человек с обворожительными манерами, с обаятельною улыбкою и с такою необычайною силою ласковых глаз, что не послушаться его казалось невозможным.

Умер он неожиданно и случайно. Он был превосходный наездник, а в тот несчастливый день лошадь сбросила его, и он разбил голову о придорожный камень.

«Один из таких камней», — с волнением думал Алексей, глядя на остроребрый выбеленный известью кубик с красною цифрою, что-то кому-то понятное знаменующий.

Сначала Алексей думал, что мама потому не хочет ехать в Юрьев Лог, что эти кубики у края дороги напомнят ей ужасное. Потом, по каким-то намекам и умолчаниям, он стал догадываться, что главная причина не в этом. Сначала он спрашивал у матери, в чем дело, почему не едут в Юрьев Лог, но скоро понял, что спрашивать не надобно и бесполезно.

В прошлом году мать умерла. За неделю до смерти она сказала Алексею:

— Ты соберись как-нибудь в Юрьев Лог. Что ж тебе! Там все хорошо. Анна Дмитриевна — очень хозяйственная женщина. Настоящая экономка, хоть из простых крестьянок. Танюшка пока учится на курсах, ты ей стипендии не прекращай, да и потом об ней позаботься, — она ведь на нашем попечении выросла.

Анна Дмитриевна, хозяйничавшая в Юрьевом Логе, и дочь Танюшка были для Алексея мифические существа. Танюшка училась в Москве, Алексей кончил петербургский университет. Он видел Танюшку раза два мельком в гостинице «Метрополь» в Москве, — она приходила благодарить его мать за стипендию в гимназии и на курсах; да у матери видел ее фотографические снимки. Впечатление осталось такое: ничего себе, недуренькая девушка, только смешно, не к лицу причесанная и очень застенчивая.

II

Когда коляска, подъезжая к старому каменному двухэтажному дому, медленно катилась по березовой аллее, Алексей увидел выходившую с боковой дорожки к цветочной круглой куртине перед домом стройную девушку в белой блузке и в перетянутой широким поясом короткой синей юбке. Лицо загорелое и веселое, черные волосы заплетены в косу, голова не покрыта.

Девушка остановилась и смотрела на подъезжавшую коляску. На ее лице двигалась, от веток дерева, под которым она стояла, рябая тень с дрожащими солнышками, из которых два трепетали на самой улыбке румяных губ, а одно играло с веком правого глаза, порою сбегало чуть пониже и золотило край чуть щурящегося тогда зрачка. Сильный свет милого на живом теле солнца лежал на ее облитых золотистым загаром ногах.

Алексей глянул на ее лицо. Оно показалось ему незнакомым, но похожим на чье-то другое лицо. Алексей подумал почему-то, что

это и есть курсистка Танюшка, та самая дочь вдовы-экономки, которой он продолжал выдавать стипендию. Алексей приподнял шляпу. По тому легкому и веселому спокойствию, с которым девушка ответила на его поклон, он уверился, что это и в самом деле Танюшка.

Девушка звонко кричала, сзывая кого-то, да и сама проворно побежала к крыльцу за коляскою. Она остановилась на нижней ступеньке крыльца и, улыбаясь, смотрела, как ахающие и восклицающие работницы вынимали из коляски и стаскивали с козел Алексеевы чемоданы.

— Татьяна Петровна? — бросил Алексей, выходя из коляски.

Девушка засмеялась и сказала Алексею:

— Танюшка.

И ударение сделала на «ю».

Алексею стало весело и просто. Он сказал, пожимая теплую Танюшкину руку, приятную на ощупь, как всегда бывает приятна для осязания загорелая кожа не искаженных грубою работою рук, не загрубелая, но все же не вялая, как у малокровных дам:

— Здравствуйте, Танечка.

— С приездом, — говорила Танюшка. — Мама на хуторе. Я уж сказала, за нею побежали. А пока пойдемте, я вас провожу, для вас приготовлены комнаты.

Алексей всматривался в Танюшку. Нет смешной не к лицу прически, нет неприятной фотографической нарочитости выражения.

— Какая глупая фотография! — сказал Алексей.

И, что редко бывает, сказал то самое, что и думал. Танюшка, слегка задержавшись на пороге дома, спросила:

— Почему глупая?

— Да как же не глупая! — оживленно говорил Алексей, — я видел недавно вашу фотографическую карточку, а сейчас едва узнал, скорее догадался, что это — вы. Сходство очень внешнее, совсем не передает впечатления.

И теперь уже Алексею совсем не хотелось словами фотографировать свою мысль, — слова так же огрубят ее, как фотография огруб-

ляет черты милого лица. Словами приблизительными по необходимости он сказал бы ей, если бы захотел говорить:

— Судя по этому снимку, я думал, что ты — смазливенькая, смешная простушка, а вот увидел тебя лицом к лицу и вижу, что ты очаровательна.

И сказал бы так, потому что уже был влюблен в Танюшку. И даже почти уже знал это.

Танюшка сказала:

— Ну конечно, что же фотография может!

Пошла впереди Алексея по комнатам нижнего этажа, где была гулкая прохлада и, призадумавшись, спросила:

— А как вам больше нравится?

Посмотрела искоса на Алексея, пощипывая перед своей блузы, и казалось, что ждет ответа с волнующим ее вниманием.

Алексей, не задумываясь, сказал:

— Теперь лучше.

— Да? почему?

Алексею нравилась та свобода, с которою Танюшка говорила это темное для него слово «почему». Он сказал:

— Там какая-то неверность, нет жизни. Там вы не та, совсем не та, другая какая-то.

— Может быть, это потому, — сказала Танюшка, — что тогда я была одета, как барышня-курсистка, и притворялась городскою барышнею, а здесь я босая и простая, крестьяночка, как и по паспорту значусь дочь крестьянина Косоурской губернии.

Алексей думал: «Милая, настоящая крестьяночка с душою приветливой царицы, истинная госпожа и повелительница».

— А вот и ваши покои, — сказала Танюшка.

Она показала Алексею гостиную, кабинет, спальню. Говорила:

— Все сама прибирала, за всем присмотрела, вам будет удобно.

— Спасибо, милая Танечка.

— У вас в гостиной и в кабинете вчера сама и полы помыла, — весело говорила Танюшка.

— Милая Танечка, зачем же! — воскликнул смущенный Алексей.

— Не поверила нашим бабам, — сказала Танюшка, — неловкие они у нас. Еще разроняли бы, побили бы вещицы хорошенькие. Одно слово — косоурские.

— Но мне, право, совестно, — говорил Алексей, поглядывая на Танюшкины руки, которые совсем не казались руками работницы.

— Ну что там! — бойко возразила Танюшка. — Я ведь летом отдыхаю от зимней учебы, ничего не делаю, живу себе бездельницею.

III

Вечером, разговаривая о делах хозяйственных, которые его, впрочем, мало занимали, с Анною Дмитриевною, Алексей вдруг прервал ее на полуслове и сказал:

— Танюшка-то у вас красавица выросла.

Анна Дмитриевна слегка покраснела и сказала:

— И я молода была не урод.

Гордость слышна была в ее голосе. Анна Дмитриевна еще и теперь была красива, как может быть красива мать двадцатилетней девушки. Но все-таки Танюшка была не совсем на нее похожа. Танюшкина очаровательная, солнечная улыбка напоминала Алексею кого-то, а кого, он не мог припомнить, почему и был так рассеян и невнимателен.

«На кого же она похожа? — настойчиво думал он, перебирая в памяти красивых дам и образы, созданные живописцами и ваятелями. — Не на одного ли из ангелов Бернардино Луини, — очаровательно светлого ангела?»

И все яснее чувствовал Алексей, что любит Танюшку.

«Да ведь я же ее совсем не знаю!» — порою упрекал он себя.

Но знал, что она ему бесконечно мила и дорога и что ее улыбка его не обманет.

IV

У кого-то из русских писателей Алексей читал однажды, что сближение влюбленных шло гигантскими шагами. Это выражение пришло ему на память, когда он с Танюшкою бегал в саду на гигантских шагах.

Оставив лямку, Алексей стоял на песчаной дорожке, смеялся и смотрел на Таню. Она подошла к нему и спросила:

— Вы опять надо мной смеетесь?

— Что вы, Танечка! — воскликнул Алексей, — когда же я над вами смеялся?

А Танюшка стояла перед ним и смеялась. Алексей вдруг притянул ее к себе и поцеловал в губы. Она покраснела очень, стыдливо засмеялась и убежала.

И потом целый день она ходила, как в бреду, улыбалась и напевала, а вечером, ложась спать, вдруг поплакала немножко. Но слезы ее были счастливые, и заснула она с радостною улыбкою.

V

Сладкие слова любви были сказаны опять, уж в который раз от сотворения мира, и все-таки опять новые, нетленные слова!

А ночью, оставшись один, Алексей вдруг вспомнил что-то очень значительное. Сначала неясно вспомнилось, но уже страшно стало. Что это такое? Ведь милый вспомнился образ, — лицо покойного отца, — отчего же страх? И с ним рядом стал другой образ, еще более милый, — очаровательное Танюшкино лицо, — и обаятельная улыбка юных девичьих уст на одно мгновение слилась с обаянием улыбки губ увядающих, но все еще прельстительных.

«Танюшка похожа на отца, — думал Алексей, — что же это значит?»

И вот страх его осмыслялся в определенной мысли: «Неужели она — моя сестра?»

Но он упрямо думал: «Все-таки люблю, люблю, люблю! Моей любви не уступлю темному призраку».

И не мог уснуть. В сад вышел. Подошел к флигельку, где жила Танюшка с матерью. В Танюшкино окно стукнул веткою сирени, — легохонько стукнул, но она услышала, встала с постели, на плечи гарусный платок накинула, окно открыла. Тихо шепнула:

— Что ты стучишься, безумный! Мама услышит.

— Пусть услышит, — трагическим шепотом отвечал Алексей. — Секрета от нее нет.

Танюшка поежилась плечами под платком, глянула на темное небо, где мерцали узоры звезд, и спросила:

— Ну что, гулять в саду хочешь?

Алексей молчал. Не знал, что сказать. Танюшка отошла в глубину комнаты, надела юбку и легко выпрыгнула в окно.

Пошли к реке. Соловья слушали. Говорили что-то. Танюшка смотрела на Алексея влюбленными глазами.

— Любишь? — спросил Алексей.

— Люблю, — тихо отвечала Танюшка, и звук ее голоса словно растаял во влажной темноте ночной.

— Как брата? — опять спрашивал Алексей.

— И еще больше, — отвечала Танюшка.

И спрашивал:

— А не разлюбишь?

И отвечала:

— Не разлюблю никогда.

— Будем вместе навсегда?

— Навсегда вместе.

— А ты меня что не спросишь? — немного помолчав, спросил Алексей.

— Я и так знаю, — отвечала Танюшка.

— Что ты знаешь?

— Ты меня любишь. Любишь, не разлюбишь. Мы всегда будем вместе.

— А если ты?..

— Что? Что если я?

Алексей помолчал и притворно-шутливо сказал:

— Вот и спросила.

Засмеялись оба. Настаивала Танюшка:

— Ну что такое «если я?» Бессовестный, начал и не кончаешь. Дразнишь. Я заплачу.

— Любопытненькая, — говорил Алексей, нежно поглаживая ее по спине.

— Да, вот я любопытненькая. А ты скажи, ненаглядненький.

Алексей, очень волнуясь, заговорил:

— Слушай, Танюшка, мне иногда кажется странное что-то. Ведь вот я тебя до этого лета почти совсем не знал. А теперь так вдруг люблю, так люблю, как что-то дорогое и близкое.

— И я тоже, — тихо сказала Танюшка.

Она смотрела на него, не отрываясь, и его волнение передавалось ей и ускоряло стук ее сердца. Алексей говорил:

— А почему так, Танюшка? Тебе это не странно?

— Что ж странного?

— Вот то, что так вдруг. Не удивляет это тебя?

Танюшка прижалась к Алексею, сказала шутливо, побеждая жуткое непонятное волнение:

— Вот еще придумал. А разве меня не стоит любить? Крестьяночка-босоножка, так и уж полюбить меня странно! О, какой ты строгий стал!

И засмеялась весело, целуя Алексея.

— Нет, ты слушай, Танюшка, — говорил Алексей, — а вдруг вся эта внезапность оттого, что мы близки. Что если ты — моя сестра?

Танюшка призадумалась, потом звонко засмеялась.

— Все-то ты придумываешь! Если бы мы родные были, разве бы я могла в тебя влюбиться? Ах, люблю, люблю тебя, милый мой, ненаглядный!

В кустах над рекою просидели они до зари, тихо разговаривая, нежно и невинно целуясь. И уже не вспоминали об этой Алексеевой затее.

Когда уже легли на землю первые чуткие тени и встрепенулись влажные кустарники, заторопилась Танюшка домой.

VI

Она заснула крепко и счастливо. А утром вспомнила Алексееву догадку ночную и призадумалась над нею. И все утро ходила невеселая, смутная. С Алексеем старалась не встречаться.

Перед обедом Танюшка улучила минуту, осталась наедине с матерью и прямо спросила:

— Мама, скажи мне, я — чья дочь?

Анна Дмитриевна слегка покраснела, чуть принахмурила крутые брови и сказала:

— Нашла что спросить! Моя дочка, рожденная, не подкидыш.

— Это я знаю, мама, — продолжала Танюшка, — а кто мой отец?

Анна Дмитриевна глянула на дочь, глянула в сторону и сказала:

— Муж-покойник, кто же еще?

Потом вспыхнула ярко, рассердилась, крикнула:

— Да что ты мать вздумала допрашивать! Учена больно много, думаешь о себе невесть что. Поди-ка, как с матерью заговорила! Вот как возьму...

Начала, — и не кончила. Танюшка смотрела на нее пристально. Анна Дмитриевна смущенно подошла к окну. Слезы побежали из ее глаз. Танюшка, не двигаясь с места, голосом холодным и звучным говорила:

— Мама, голубушка, ты прости меня, что я спрашиваю, но мне это надобно знать, очень надобно. Ты скажи мне, Алексей — брат мне или нет?

Анна Дмитриевна молчала. Танюшка увидела по ее неловким движениям, что она плачет. Танюшкино сердце упало.

Не стала больше спрашивать, вышла Танюшка в сад, прошла к речке, в кусты, где они с Алексеем нынче ночью сидели, где ей было так хорошо. Села на камешек, смотрела на воду, шептала беззвучно похолодевшими губами:

— Радость, радость моя, что же ты, где же ты?

И плакала долго. Любви несбыточной было жалко.

VII

А в это время Алексей пригласил к себе Анну Дмитриевну и принялся допрашивать ее о том же. Анна Дмитриевна, улыбаясь сквозь слезы, раскрасневшаяся, говорила:

— Только что Танюшка меня пытала, а тут и вы с тем же вопросом. Что уж скрывать, сами видите: Танюшка вся в покойника папеньку вашего.

Стал мрачен Алексей. Поспешно ушел в лес, ходил там долго. Буйное кипение страсти томило и мучило его.

К вечеру, возвращаясь домой, вдруг встретил он у калитки сада Танюшку. Подумал с болью в душе: «Чем я ее утешу? Ах, и зачем она знает!»

Ему стало тяжело. Он подошел к Танюшке, заглянул в ее потупленное, раскрасневшееся лицо и удивился, — где же Танюшкины слезы? где же ее печаль?

Подняла на него глаза Танюшка, улыбнулась светло, сказала:

— Братик миленький.

Охватила его шею руками, поцеловала, — сладкий, невинный поцелуй, как сестра целует милого брата. Клонящееся к закату солнце облило ее щеку таким теплым, таким нежным потоком весело алых и золотых лучей, и так легко легла на Алексеевы плечи стройность Танюшкиных голых рук, и такое сладкое благоухание вдруг обвеяло его, набежав с резвым ветерком от речки, что радостным и светлым по-

казался Алексею весь мир. И где же страстность, только что бушевавшая в нем? Ее нет.

— Милая сестра моя, — спросил Алексей, — я рад, что ты не опечалена, но скажи, — тебе не жаль той, другой любви нашей?

— Я плакала об ней, — отвечала Танюшка, — глупая! И вдруг, точно тихая молния с неба, на меня упала радость. Ведь я нашла в тебе брата!

— А я? — спросил Алексей, не то Танюшку, не то самого себя.

Танюшка засмеялась. Сказала:

— Все-то ты спрашиваешь!

— Других мало спрашивал, — говорил Алексей, — только тебя. Но знаю, знаю сам, — вот увидел тебя здесь, на этих дорожках, и душа моя узнала тебя. Что-то родное влекло меня к тебе, и если бы мы не узнали тайны нашей, то мы всю жизнь были бы влюблены друг в друга, как бывают иногда влюбленные друг в друга и такие схожие между собою муж и жена. И я хотел обладать тобою, и ты хотела быть моею!

Танюшка засмеялась.

— Хотела ли? Спросил бы у меня прежде, чем говорить.

Алексей продолжал:

— Мы тянулись друг к другу, сладко влюбленные, очарованные своею влюбленностью. Но тайна открыта, и влюбленность наша преобразилась в братскую любовь. Как будто бы знание гасит страсть.

Танюшка смотрела на него, нежно улыбаясь.

— Ну вот и объяснил, — сказала она.

И потом заговорила очень тихо:

— А все-таки мне очень горько было сегодня, когда я сидела одна там, в кустах над рекою. Даже плакала. Еще не сразу поняла, какая радость — найти себя, найти брата.

Вслушался Алексей в голоса своей души и понял, что в нем ликует ответная радость, — такое счастье найти сестру! Страстная, плотская любовь его, сгорая, таяла в отрадном пламени глубокого и тихого чувства.

Прачка с длинною косою

I

Сусанна была самая молодая из прачек, работавших в прачечной Мирзоева, у самого берега бухты, где такая фосфорически-зеленая, словно крашенная размытою ярью, вода. И самая красивая. Ни у кого из ее товарок не было такой длинной косы. И никто из них не умел так сладко петь и так звонко смеяться.

Пять прачек стирали белье в лоханках, поставленных на дворе у берега. От улицы двор был отделен невысокою сквозною изгородью, и всякий идущий по улице мог увидеть, как хороша Сусанна, какие у нее стройные и сильные руки, и как румяны ее смуглые щеки, и как в открытых деревянных сандалиях об одном ремешке красивы ее быстрые ноги.

Молодой Георгий шел мимо. К вечеру он каждый раз проходил здесь, останавливался у изгородки и заговаривал с Сусанною и ее подругами.

— Сусанна! — окликнул он молоденькую прачку. — Скоро кончишь?

— А тебе что? — ответила Сусанна.

Засмеялась, резвая, и вдруг почему-то вздрогнула, словно кто-то провел холодною рукою по ее спине от плеча к плечу, засунув костлявые пальцы за широкий ворот белой рубашки. Глянула на Георгия и нахмурилась.

Красив был молодой Георгий и люб Сусанне. А сейчас почему-то ей стало томно и тяжко смотреть на него. Слишком ярки показались ей его губы, и зубы сверкнули, чрезмерно белы и остры, и непомерно-жгуч был огонь его черных глаз.

Смотрела на него Сусанна, и казалось ей, что огненные невидимые струи льются на нее от этих чародейных глаз — струи огня, перемежаемые струями обжигающего холода.

— Не гляди, окаянный! — крикнула она, — что ты на меня холод и жар наводишь!

Прачки засмеялись. А одна из них, постарше и уже с пробивающеюся кое-где сединою в черных волосах, сказала:

— Да уж не лихорадка ли к тебе пристала, Сусанна? Что-то ты бледная такая вдруг стала.

Сусанна ярко покраснела и сказала сердито:

— Пристанет, когда тут остановятся да смотрят. Иди, иди себе, Георгий, мимо, — сегодня вечером мне надо идти к бабушке.

Георгий засмеялся.

— О, сердитая какая ты сегодня, Сусанна! — сказал он. — Как царица.

Прачки засмеялись:

— И правда, как царица.

— Красивая, зато уж и гордая.

— Думает, нет ей равных.

Георгий подмигнул им и сказал Сусанне:

— Сусанна, слушай, — хочешь быть царицей?

Обидно стало Сусанне, потемнело у нее в глазах, голова закружилась, в ушах зашумело. Стиснув зубы, наклонилась она над лоханкою, напрягая мускулы стройных нагих рук, и словно издалека откуда-то доносились до нее голоса и смех.

II

Вечерело и темнее становилось. Зной и холод бичевали дрожащее тело прачки с длинною косою. Все перед глазами ее было как бред. Толстый хозяин ходил по двору, зеленолицый и злой, и голос его звучал, противный, визгливый. Голоса подруг были резки, и лица их казались гнусными и враждебными. Кто-то прозрачный и льдяно-холодный давил порозовевшие подъемы ее ног.

А по улице мимо гремели бубны и литавры, проносились тусклокрасные языки факелов, и шли пестро наряженные люди, — во всю ширину тихой улицы шли, смеялись и пели что-то.

Но что же это? Никого на улице нет. Пригрезилось это Сусанне?

Нет, опять идут, шумят, несут пестрые знамена.

Георгий идет впереди всех. И уже вот он во дворе и стоит перед Сусанною. Где же его рваная куртка? На нем яркий, красный наряд, и на голове его золотая шляпа с красными перьями. Из глаз его льются два пламени, и он говорит:

— Прачка с длинною косою, хочешь быть царицей мира?

— Хочу, — шепчет Сусанна.

Но где же Георгий? И где же остальные? Холодеет вода в лохани, и опять напряжены в спешной работе нагие руки, и покрикивает хозяин:

— Живо, живо. Время не ждет.

Сусанна бледнеет и падает на землю, и подруги с резкими криками окружают ее, опираясь в бока мокрыми руками со сморщенными от стирки пальцами.

III

Опять блеск, шум, великолепие, — и так шумно, и так ярко, что Сусанна едва различает предметы, и голова ее томно кружится.

Она сидит высоко-высоко, — перед нею возвышаются белые, столпообразные колонны, как в храме, — над нею, высоко-высоко, из темнеющего купола спускаясь, горят огни в громадной люстре, как в городском кафедральном соборе. Пахнет сладко и томно, как в храме. Слышно медленное торжественное пение.

«Что же мне делать?» — думает Сусанна.

И странная тоска объемлет ее и сменяется равнодушною скукою. Кажется ей, что она уже нескончаемо долго сидит на своем превысоком троне. Она оглядывает себя — на ней белое, тяжелое платье из шумящего глазета, и на плечах ее тяжелая багряная порфира, — красный бархат и белый мех. На ее ногах — лиловые башмаки. Голову давит что-то тяжелое, — Сусанна догадывается, что на ней корона.

— Дайте мне зеркало, — говорит она тихо.

Но как бы тихо ни говорила царица, слова ее услышат. Две прекрасные девушки в вишнево-алых одеждах, с маками в черных волосах, держат перед нею зеркало, и блестит золотая рама. А из-за стекла смотрит на Сусанну бледное, гордое лицо с гневно горящими глазами. Низко на лоб надвинута соболья шапка, и на ней многоцветно сияющая корона, золотая с самоцветными камнями, похожая на митру старого епископа.

Какая тяжелая! И как блестит! Глазам больно.

И шепчет Сусанна:

— Не надо. Уберите.

Уносят зеркало. И опять ждет чего-то Сусанна.

Что же ей делать? Что делают державные царицы на своих превысоких тронах?

Вот подходят к ней вельможи в раззолоченных одеждах и говорят ей что-то. Слова их сливаются в смутный гул.

И говорит кто-то льстивый, низко перед нею склоняясь:

— Георгия сделать генералом.

Сусанна улыбается. Георгий, который ловит рыбу в море?

— Ну что же, — говорит она, — пусть Георгий будет генералом.

А это что блестит на столе направо? Золотые монеты. Кто-то, похожий на хозяина прачечной, говорит:

— Эти деньги не отдать ли нищим, слепым, хромым, убогим?

— Отдай, — говорит Сусанна.

Слышен визг нищих где-то внизу. Летят вниз золотые монеты. Вельможа, похожий на хозяина прачечной, бросит горсть народу, а другую горсть сунет в свой карман.

Сусанна хочет сказать что-то и не может. Она смотрит в другую сторону и видит на столе длинный, широкий, острый нож.

— Это что?

— Это меч, — говорит ей грозный судья, — казнить злодея.

У грозного судьи страшное лицо, и в руке его бумага. Он подает Сусанне бумагу и говорит низким басом, как дьякон, говорящий эктению:

— Смертный приговор злодею. Подпиши, царица.

И видит Сусанна злодея. Бледный мальчишка в лохмотьях, похожий на воришку, которого недавно поймали на рынке и били. Он смотрит на Сусанну, и глаза его молят и плачут.

Чьи-то ледяные руки под багряницею обшаривают Сусаннины плечи.

— Это — злодей? — спрашивает она.

— Злодей, — страшным голосом отвечает судья.

— И его казнят?

— Голову с плеч.

И уже палач в красной одежде подходит, а злодей падает на колени, дрожит и воет.

Чей опаляющий огонь льется на Сусанну, и откуда? Не золото ли ее короны растопилось? Не самоцветные ли каменья текут по телу яркими пламенами?

Вскакивает Сусанна, вопит неистовым голосом:

— Не хочу быть царицею.

И бросается вниз. Как волна плеснула, — раздалась толпа. Как стекло разбилось, — зазвенели смех и плач.

«Где же я?»

Открыла глаза Сусанна и увидела себя на больничной койке.

IV

Все вокруг бело, тихо, чисто. Сусанна лежит на спине и смотрит на высокий, белый потолок. Потом опускает глаза, видит ряд кроватей, слышит тихий говор. От дверей идет кто-то высокий и смуглый, — Георгий!

Сусанна улыбается и говорит тихонько:

— Ну что, пришел? Думаешь, генералом сделаю?

Звенит ложка о стекло, — девушка в белом балахоне приподнимает Сусанну, поддерживая под подушками голову ее и вливает ей в рот сладковато-горькое лекарство.

Сусанна морщится и говорит:

— Спасибо, сестрица.

Георгий садится на табурет у ее ног, улыбается ей так, что Сусанне вдруг становится радостно, и говорит, подмигивая девушке в белом балахоне:

— Что ж, Сусанна, хочешь быть царицею?

Сестра милосердия наставительно говорит ему:

— А вы ее поменьше спрашивайте да и сами поменьше говорите.

Сусанна улыбается Георгию и говорит девушке:

— Ничего, сестрица.

И потом милому:

— Ну что пристал! Побыла я в царицах, будет с меня, больше не хочу.

— Что так?

— А то. Думаешь, легко быть царицею мира?

— А разве трудно? Пей, ешь, веселись.

— Глупый, ничего не знаешь.

Помолчали. Георгий подвинул табурет поближе, пригнулся к Сусанне, спрашивает:

— А моею царицею хочешь быть?

Сусанне сладко-сладко — и больно-больно. Она закрыла глаза. Слезинка на щеке блеснула и тихо покатилась мимо края нежно улыбнувшихся губ.

Тихо-тихо сказала Сусанна:

— Царицей себе меня ставишь, а держать будешь рабою. Пожалуй, уж и плетку на меня припас.

Георгий вспоминает, как рыжий англичанин здоровался с женою консула. Смуглый красавец берет Сусаннину правую руку в застегнутом у ладони на две пуговки белом тонко-полотняном рукаве и нежно целует эту большую, теперь бледную, но еще с красноватыми, не успевшими отойти от работы пальцами. Говорит:

— На руках носить буду.

Сусанна слушает и улыбается. На душе ее рай, и в сердце поет яркоперая птичка.

Но Сусанна еще слаба. Она закрывает глаза. В ее ушах шум. Ей снится, что это шумит, по камням мутно-белою прядая пеною, горная

речка. Там, где она разлилась пошире, от порожка до порожка, можно перейти на ту сторону. Георгий берет Сусанну на руки и входит с нею в воду.

— А на том берегу что? — спрашивает его Сусанна.

— Увидишь, — отвечает он.

Голос его звучит бодро, — голос сильного мужа. Вода мчится быстро и бьется о его сильные, нагие ноги. Сусанна знает, что не одолеет его волна, что он выйдет с нею на берег. Но ей все-таки страшно, и тихо-тихо спрашивает она, к его уху наклоняясь:

— Что там, жизнь или смерть?

— Узнаешь, — отвечает он.

Нежный и суровый, милый друг.

Улыбается Сусанна и засыпает крепко. Девушка в белом балахоне говорит Георгию:

— Пусть спит. Еще слаба. Завтра придете, больше поговорите.

Солнышко

Молодая мать работала усердно и радостно и улыбалась. Четким почерком покрывались листы бумаги. Поджидала сына. Вот сейчас придет из гимназии светлый отрок, солнечный ее сын, Богом ей данный, зачатый в минуту великого счастья, упоения и восторга.

Они только двое. Она ушла от мужа года два тому назад. Почему, он понять не мог. Расспрашивал обстоятельно, прежде чем отпустить, — точный, внимательный был чиновник.

— Разлюбила меня? — спрашивал он.

Она пожимала плечьми, улыбалась.

— Не знаю, — говорила спокойным, чуть не скучающим голосом, — уж и любила ли когда-нибудь.

— Полюбила другого?

— Нет, никого у меня нет.

Он взволнованно ходил по комнате. Хотел сделать жене патетическую сцену, но сцены не выходило. И чувствовал в глубине души, что ему все равно, но что это ужасно неприлично.

— Ты подумала, что будут говорить?

— Подумала, — кротко отвечала она. — Да что думать, я твердо решилась.

Ходил, пожимал плечьми. Соображал что-то о деньгах.

— Если у тебя никого нет, то я не понимаю, чем ты будешь жить. Я не могу жить на два дома.

— Буду работать. Не беспокойся, ничего зазорного не сделаю, твоего имени срамить не стану. Займусь работою вполне приличною. Я для этого достаточно знаю.

И ушла от мужа, взяла и сына с собою. Сына, конечно, ни за что бы мужу не оставила. Ведь из-за сына и от мужа ушла.

Что больше вырастал мальчик, то яснее становилось для нее, да и для посторонних, их разительное несходство. Матери даже больно было видеть своего сына, ясное свое солнышко, рядом с этим чужим, холодным, ровным человеком? Ее солнышко, — и этот начальник отделения!

И вот теперь они одни.

Мать посмотрела на свои маленькие часики, — скоро придет ее солнышко, — вложила лист рукописи в английский лексикон и подошла к камину подбросить дров.

Пылали сухие поленья, тая и распадаясь на яркие уголья. Знойною теплотою веяло от широкого устья камина. Не зажигая лампы, она сидела в качалке, грея бледные руки, успокоенные на коленях. И размечталась, опять унеслась мечтою к далекому, к невозвратному, к тому единственному, благостному мигу. Единственная, сладостная встреча!

И не знала она, что это было, любовь или внезапное вдохновение, наитие силы, движущей мирами и сердцами. Был ясный день, и волны морские торжественно и звучно бились о пустынный берег. В прибрежной роще они были вдвоем, она и он, неведомый, первый раз увиденный и сразу взявший ее душу и поднявший ее выше звезд. Забылся мир, померкло солнце, и голос волн казался непостижимо далеким, — и только его слова, его дивная речь о том, о чем ни от кого другого она не слышала. Глубокие, быть может, соблазнительные слова о человеке.

К вечеру, прощаясь с нею, сказал ей неведомый возлюбленный:

— Я уйду от тебя навсегда, и ты меня больше не увидишь.

— Кто же ты? — спросила она.

Лицо его было, как ясный лик восходящей зари, когда он говорил:

— Я тот, кто приходит только однажды.

— Каким же именем мне называть тебя, когда я буду о тебе молиться?

И он отвечал:

— Я с тобою всегда буду, и всякая твоя мысль будет молитва, и всякая твоя молитва будет обо мне.

— Что же со мною будет? — спросила она.

И он отвечал:

— Ты родишь сына, и в нем узнаешь меня, и он будет тебе солнцем и жизнью.

Где-то недалеко послышались людские голоса и людской смех за деревьями; слышно было, что кто-то идет лесом к берегу. Тогда неведомый возлюбленный поцеловал ее поцелуем долгим и пламенным и быстро пошел от нее прочь. И скоро скрылся за деревьями, а она вернулась в свой скучный дом. И на будущую весну родила сына. Вот он идет! Вот стал на пороге.

— Жизнь моя! Солнышко мое!

Словно еще ярче стало яркое пылание в камине. Не успела подняться ему навстречу, — уже он обнимает и целует мать.

— Греешься, мамочка? Пусти и меня погреться. На дворе мороз ух какой!

Смотрит на маму пытливым взором, — и покраснела мама опять.

— Ты сегодня румяная, мамочка.

— Солнышко мое, оттого, что ты со мною.

А в ушах ее все звенит его вчерашний вопрос. Неужели опять спросит?

Первый раз спросил ее вскоре после того, как она ушла с ним от мужа. Долго рассматривал карточки в альбоме, потом неожиданно спросил:

— Мама, кто мой отец?

Так неожиданно было услышать от двенадцатилетнего мальчика этот вопрос, что ее в жар бросило. Засмеялась принужденно, обратила в шутку. Мальчик покраснел, замолчал. И вот почти два года не говорил об отце.

А вчера опять неожиданно:

— Мама, я думаю, что твой муж мне не отец.

Мать зарделась.

— Солнышко мое, что ты говоришь!

— Зачем же ты ушла от него?

— Солнышко, разве нам так не лучше?

— Лучше, мамочка, но ведь это же и доказывает...

Но мать остановила его.

— Не будем сегодня говорить об этом.

Сын замолчал. А она вечером, ночью, утром все думала, сказать ли мальчику правду или промолчать. И не знала, как быть.

Неужели сегодня он опять заговорит о том же?

И он начал:

— Мама, у тебя лицо прекрасное и чистое, как у святой, и никто не скажет о тебе худо. Ты — тихая и кроткая, как ангел воплощенный.

— Солнышко мое, не хвали меня, — остановила она сына.

Он упрямо сдвинул брови и продолжал:

— А под этою ангельскою личиною ты что таишь, мама? Я хочу знать.

— Солнышко, ты опять о том же.

— Да, мамочка, о том же.

— Но я же тебе сказала вчера, что не хочу говорить.

Он сидел у ее ног на скамеечке и смотрел на рассыпающиеся угли, на веяние жаркого пламени над ними.

Мальчик задумчиво сказал:

— Точно красные бесенята скачут. Злое дело гибели и разрушения творят, — а мы греемся. Я иногда думаю, и мне как-то странно становится, мамочка: если бы не было зла, этой раскаленности огненной, может быть, и счастья нашего не было бы.

Вспоминая слова, сказанные ей тогда неведомым ее возлюбленным, тихо сказала взволнованная мать:

— Зло добру служит, и демоны поклоняются Всевышнему.

Мальчик поднял на нее глаза, и лицо его пламенело, и глаза сверкали. И она почувствовала, как будто острые мечи пронзили ее сердце. А сын говорил:

— Молчат о святыне, молчат и о позоре. А ты о чем молчишь?

— Кто дал тебе право спрашивать? — строго сказала мать.

— Я чувствую в душе моей силу очень большую. Откуда она, — добрая или злая? Отчего мне так радостно жить и не страшно зла и гибели? Отчего я хочу сделать так много-много, хоть бы за это пришлось мне идти на мучения, на смерть? Откуда мне это?

Мать молчала. Он встал перед нею, взял ее руку движением быстрым, словно повелительным, и сказал с великою силою:

— Если не хочешь сказать, кто мой отец, скажи мне, кто ты сама — мать или блудница?

Она порывисто вскочила со своего места, схватила сына за плечи, крикнула:

— Мальчишка, что ты говоришь! Ну хорошо, хорошо!

И повела было его к дверям. Но посредине комнаты остановилась, всмотрелась в лицо сына, — оно было спокойно и почти радостно, и глаза его смотрели на все зорко и пытливо, словно видели в глубине ее души ее сладостную и страшную тайну.

Она заплакала и засмеялась, обняла сына и шепнула радостно:

— Солнышко мое, я тебе все расскажу, ты поймешь меня.

Самый темный день

Самый темный день северной зимы клонился к вечеру, и на улицах и в магазинах громадного города уже зажглись веселые огни, когда молодая девушка, Маргарита Полуянова, торопливо поднявшись по трем ступенькам с улицы, вошла в банкирскую контору «Клопшток, Ленц и К°». Худенькая, высокая и бледная, она все так же, как и на

улице, торопливо шла мимо загороженных деревянною решеткою касс и конторок с разными над ними надписями, — шла в самый дальний угол конторы, где на белом картоне, прибитом сбоку к двойной, солидной, как все здесь, конторке, видна была громадная черная цифра «13», а на матовом стекле черная надпись говорила: «Залог, выкуп и перезалог».

Здесь Маргарита остановилась. Она вытащила из кармана старенькой короткой жакетки коричневый кошелек с расхлябанною застежкою и достала оттуда квитанцию. Молодые люди за конторкою были чем-то озабоченно заняты, и прошло минуты две или три, прежде чем один из них подошел к Маргарите. Она стояла боком к решетке, опираясь локтем на ее широкий верх, от нечего делать осматривала хорошо уже знакомую ей обстановку конторы и думала о чем-то тревожно и смутно.

Все вещи, которые она видела, были не новы, но очень прочны и очень солидны, и потертость их как бы особенно указывала на солидность давно существующей фирмы, имеющей хорошее имя, обширный круг клиентов и делающей превосходные операции, преимущественно по продаже и покупке процентных бумаг и по онкольным счетам. Характер всей обстановки выражал золотую середину между щеголеватою новизною недавно возникших предприятий, в долголетнем существовании которых еще никто не уверен, и убогою, поддельною роскошью предприятий, явно для посвященных клонящихся к упадку. Здесь дело говорило само за себя, и потому не надо было прельщать случайных и неопытных клиентов рыночным великолепием столярного и арматурного модернизма или дешевым лаком нарочной новинки.

Было очень светло, — много над кассами и над конторками висело ярко горящих ламп. Но это не было мертвенно-щегольское электричество: старый, добрый газ, зажигаемый какими-то старыми, хитрыми приспособлениями, давал свет теплый, веселый, успокоенно-домашний.

Служащие, все больше немцы, одеты были запросто, в пиджачках. Но у всех у них был упитанный вид, и, глядя на них, каждый

почему-то вспоминал хорошее мюнхенское или пильзенское пиво, добрые немецкие сосиски с жареною капустою, сосновые фуфайки доктора Егера, гимнастику по Мюллеру, раскатистый гул шаров на кегельбане и прочее все такое же гигиеничное и благополучное.

Мальчики в серых курточках имели тоже домашний и довольный вид. Когда кто-нибудь из-за решетки возглашал громко:

— Мальчик! — один из серых, белолицых и чистеньких мальчуганов шел на зов быстро и охотно и потом отправлялся, куда посылали, хотя и без угорелой торопливости лавочного задерганного мальчишки, но очень скоро и опять с таким видом, точно это ему самому нравится. На лицах у них было выражение усердия и еще выражение такое, что вот ужо, после закрытия конторы, можно будет и пошалить, и это будет весело, а теперь пока не стоит.

Клиенты банкирского дома «Клопшток, Ленц и К°» тоже все были спокойные господа и дамы, хорошо, иногда богато одетые, и только одна Маргарита выделялась своим потертым, старым костюмом, и ее черная невысокая барашковая шапка раструбом кверху придавала ей какой-то странный здесь и жалкий вид. Но так как все здесь было спокойно, просто и деловито, то и Маргарита чувствовала себя здесь удобно и не стеснялась.

Ждала терпеливо. Прислушивалась к беспорядочной толчее своих мыслей, надежд, мечтаний.

Молодой человек, сидевший за ближайшею к Маргарите конторкою, кончил наконец свои вычисления и подошел к Маргарите. Она взглянула на его лицо, и он показался ей таким розовым и гладким, точно его сейчас только старательно и любовно облизала самая ласковая корова. Он спросил ее с безграничною, деловою любезностью:

— Вам еще не делают?

— Нет еще, — сказала Маргарита. — Пожалуйста, перезаложить.

Она протянула молодому гладкому человеку синюю квитанцию. Словно торопясь заодно и сразу сказать ему все о своем деле, она спросила его:

— А страховать когда надо?

Гладкий молодой человек внимательно осмотрел синюю квитанцию — собственно, только для аккуратности, так как и при беглом взгляде на запись синего листка он уже видел, что речь идет о заложенном в конторе выигрышном билете первого займа, тираж которого будет через несколько дней, — и потом сказал Маргарите:

— Страховать теперь же надо.

— Пожалуйста, — сказала опять Маргарита.

И по ее бледному лицу было видно, что ей жалко тех семи с полтиною, которые надо отдать за страховку, и досадно, что нельзя отложить этого расхода на несколько дней, когда, может быть, удастся получить где-нибудь еще сколько-нибудь денег.

— На сколько месяцев желаете перезаложить? — спросил гладкий молодой человек.

— На один месяц, — сказала Маргарита.

Да, конечно, только на один месяц. Ведь может случиться, что именно на этот билет выпадет один из главных выигрышей.

Гладкий молодой человек с озабоченною деловою торопливостью вернулся к своей конторке и занялся делом о перезалоге Маргаритина билета. А Маргарита села на плетеный стул близ приятно раскаленной печи и погрузилась в сладостные мечтания.

Странные, глупые мечты все о том же, — о выигрыше в двести тысяч. Стоит только этому счастью пасть на их билет, — и почему же нет! — все в их серой, тусклой жизни изменится, и озарится тусклая, скудная жизнь блеском золотых радуг, и все, что было несносным томлением, скукою и стыдом, преобразится вдруг в праздничное ликование радости, счастья, веселости и смеха.

Ах, эта серая, тусклая жизнь! Как она истомила, измаяла! Как мало она дарила! Как скудно берегла свои надежды, как торопилась отнимать всякую мгновенную и случайную радость.

Как-то не то чтобы вспомнилась, а вдруг почувствовалась остро и больно вся обстановка их жизни, такой непохожей на эту мирную любезно-деловую обстановку банкирской конторы, где считают деньги, выплачивают деньги, принимают деньги, большие и малые деньги

одинаково, с обыкновенным, не жадным и не злым вниманием. Както вдруг вдвинулось в Маргаритино сознание все то, домашнее.

Громадный каменный дом, на который взглянешь — и сразу становится скучно и томно, и дивишься, как могут люди жить в таком сером, грязном, скучном остроге. Преувеличенно-грубые дворники у ворот и на дворе. Ненужная неряшливость на этом дворе, уныние каких-то ржавых, безграмотных вывесок. Лестница, точно нарочно, чтобы дразнить и мучить, смрадная, темная и скользкая. И так долго поднимаешься в ее нескончаемом смраде до пятого этажа. Дергаешь медную ручку звонка, — и она погнутая и поломанная.

Звякнет звонок за дверью. Шаги за нею. Утомленно-ласковые глаза домашних.

— Ну что?

Ах, что сказать!

— Ну ничего, все благополучно. Была там-то, видела то-то.

Квартира с рыночною, дешевою мебелью, к которой привыкли и которая потому мила. Ах, все такое привычное, — и это смрадное томление на лестнице, и это чадное томление из кухни, где ворчит на что-то глупая, грязная и злая кухарка, и это тихое томление дома, в защите стен, всегда унылых, в бедном уюте домашнего очага!

Ряд милых, утомленно-бледных лиц, и на каждом напряженное выражение бодрости, словно говорящее:

— Ничего, что ж, жить можно.

Или еще:

— Сыты, одеты, обуты, — чего же больше?

Чего же больше!

Мать, — у нее молодое лицо, седые волосы, бодрая улыбка, усталые глаза. Шутливая жалоба:

— Нынче и рождаются мало...

Мама — акушерка: практики почему-то меньше, чем в прежние годы. Шутит:

— Скоро совсем рождать перестанут.

Когда же позвонятся и войдет озабоченный чей-то муж, торопя, она оживится, соберется живо, захватит свой большой чер-

ный саквояж с набором акушерских инструментов и исчезает со словами:

— Ну, детки, я в поход. Уж вы тут сами как знаете, без меня справляйтесь.

Мама уходит с преувеличенной бодростью, отчетливо постукивая по стертым ступенькам лестницы сбитыми набок каблуками сильно поношенных башмаков.

Старшая сестра, Евгения, замечает скептически:

— Судя по лицу и вообще по внешнему виду этого господина, больше двадцати пяти, много тридцати рублей не дадут. А заставят ходить все десять дней по два раза. А капризов сколько у таких женщин, какими бывают жены у этих людей!

Евгения служит в торгово-промышленной конторе братьев Луцкер. Занимает она там положение маленькое и подчиненное, так что ей дают много работы и мало денег и заставляют высиживать много часов. Но так как она видит много людей разных положений и состояний, то она считает себя большим знатоком человеческой души и потому очень любит делать заключения о людях по их внешнему виду и по их манерам. Она безошибочно определяет, что человек, приходивший сейчас за их матерью, служит приказчиком в галантерейном магазине и получает не более восьмидесяти рублей в месяц жалованья.

Маргарита бледно улыбается и отвечает Евгении:

— Мама умеет с ними ладить. Может быть, и больше дадут.

— Жди! — с обычным своим скептицизмом отвечает Евгения и опять погружается в чтение взятой из библиотеки по пятому разряду истрепанной книжки, — какого-то переводного романа.

Братья, — гимназисты, Константин и Иннокентий, проводивши маму до нижней площадки, весело топоча сапогами, вбегают с громким смехом и после короткой возни вдруг стихают, точно смущенные чем-то, словно окунувшиеся в тяжелые волны уныпости и томления, и садятся за уроки. Они прилежны и учатся с остервенением, чтобы поскорее добраться до дипломов, работы и денег, которых здесь всегда не хватает не только на разные скучные необходимости, но даже на сладкое, веселое и смешное.

Константин вздыхает и говорит, ни к кому не обращаясь:

— Из маминой получки обязательно чтобы халвы купили.

— Давно уж халвы не было, — с таким же вздохом говорит Иннокентий и, подумав немного, продолжает:

— Вот аэроплан я видел на днях. Вот бы нам купить.

Евгения отрывается от чтения и сурово говорит:

— Размечтались! Лучше у матери попросите на сапоги Константину, когда будут деньги, а то у него скоро сапоги каши запросят.

— Сапоги, сапогами, — уныло говорит Константин и умолкает, не кончив.

Тяжелое облако уныния окутывает всех. Мальчики уныло наклонились над своими учебниками, и лица у них такие же бледные, тощие, постные, скучные, как у обеих сестер. Евгения читает, опираясь локтями на стол и уткнувшись лбом в ладони скрещенных пальцами рук.

Маргарита подходит к стене, где висит портрет третьей сестры, Екатерины. Она весною умерла от чахотки. Маргарита думает, что скоро и у нее разовьется, как говорит Евгения, чахотка. Припоминает ее же слова: «На почве переутомления и хронического недоедания». Маргаритины губы слабо улыбаются, а по ее плечам и спине пробегает холодок внезапного ужаса.

Нет, этого не может быть. Их билет выиграет.

И Маргарита быстрым усилием воображения и испуганной воли направляет свое внимание к привычным ее мечтанию картинам иной, светлой, радостной, счастливой жизни.

Южное море, которое она видела только на картинке, плещется у ее ног. Волны его теплы, и цвет их — цвет лазури. И лазурное небо безоблачно смеется весело смеющимся волнам и нежно-хрупкому песку на морском берегу. Все насквозь светло и лазурно, — и где же вы, унылые тени бессилия и тоски? Все насквозь светло и лазурно: и море, и небо, и воздух, веющий сладкими ароматами цветов, которые так прекрасны и у которых такие благоуханные имена. Маргарита не знает их имен, но знает, верит, что обольстительный звук этих имен соответствует очарованию их легких венчиков и их опьяняющего, погружающего душу в сладостное самозабвение запаха.

Она идет домой по светлому, нежному под ногами песку аллей, где растут дивные растения, которые она видела только на картинках. Так легко идти, точно незримая сила несет ее по воздуху. Так сладко дышать, — точно это эдемский воздух вливается в ее грудь; воздух радостного, навеки обрадованного края. Этот легкий, благоуханный воздух пропитан щебетаниями забавно-красивых птичек, таких милых, каких Маргарита видела только на картинках.

Перед нею мраморные колонны и мраморные ступени лестницы, ведущей в ее дом. Он дивно прекрасен, как один из тех домов, которые она видела только на картинках. И мраморные статуи на широких площадках мраморной лестницы прекрасны, — гораздо красивее тех статуй, которые Маргарита видела в Русском музее. И как им не быть прекрасными! Не тяжелая атмосфера душного, музейного уныния, — их обвеял радостный воздух бестревожного, беспечального бытия.

К ней навстречу идут мама, и сестра, и братья. Одежды их изысканно-прекрасны, одежды, подобные которым Маргарита видела только на картинках. И как они, ее милые, преобразились в этом благоуханном раю исполненных надежд! Как светлы их лица, как розовы их щеки, как блестят их глаза, какие улыбки цветут на их заалевшихся устах, как широко и вольно дышат их груди. Где унылая бледность их лиц, где бессильная тоска их потупленных взоров, где скорбная усмешка безрадостных губ? Ах, все это уныло давно растаяло, давно забыто. Радостные звучат голоса милых, — и Маргарита улыбается им и спрашивает вдруг:

— А где же Катя?

И темнеют вдруг лица ее милых, и говорит кто-то из них:

— Кати нет. Катя умерла. Разве ты забыла, что Катя умерла?

— Катя умерла, — шепчет Маргарита.

Ах, скучный день опять отяготел над нею, и опять веселый газ в ярких лампах дразнит ее своею ненужною ясностью, своею беспощадною веселостью.

Молодой гладкий человек сделал все, что надо. Он говорит Маргарите из-за решетки:

— Сударыня, вам готово.

Маргарита подходит к решетке и берет из рук молодого гладкого человека синенький тонкий листочек, на котором написано, что надо заплатить в кассу одиннадцать рублей с копейками. Гладкий молодой человек говорит:

— В кассу и обратно.

Маргарита торопливо идет в кассу платить деньги. Мальчик зачем-то скользит мимо нее куда-то по серым матам конторы, — пожилой, полный немец с веселым лицом и солидною лысиною на голове разговаривает с дамою в дорогих мехах и в меховой громадной шляпе, — какой-то толстяк неспешно поднимается по лестнице вверх, в отделение аккредитивов и переводов за границу, — решетки, кассы, конторки, газ, — все это прочное, солидное, незыблемое говорит ей беззвучным, но внятным языком всесильных, над человеком вечно господствующих вещей, что все неизменно, навсегда предопределено, — что нет на свете неожиданных радостей, — что на их долю никогда не выпадет крупного выигрыша, — что каждому из них навеки суждено томиться, изнывая за скучным и скудным трудом.

Маргаритино лицо вяло и бледно, и ее плоская грудь, кажется, совсем не дышит, когда она подходит к полукруглому в тяжелой частой решетке окошечку кассы и протягивает плотному, седому кассиру ордер об уплате. Опять роется в кошельке и послушно исполняет главную обязанность клиента банкирской конторы «Клопшток, Ленц и К°», — платит деньги, сосчитанные и проведенные по книгам конторы.

Заплатила. Стукнул штемпелем «уплачено». Маргарита идет обратно. Гладкий молодой человек возвращает ей квитанцию, и на оборотной стороне квитанции, в конце длинного ряда отметок о перезалоге, Маргарита видит новую, сегодняшнюю отметку. Маргарита думает, что это не последняя отметка, и ей опять становится холодно, томно и скучно.

Маргарита вышла на улицу. Уже везде были огни, и громадные шары на верхах чугунных некрасивых столбов светились ярко, мертво и нагло. И все на улице было смешением ярких пятен света и провалов в тьму, смешением шумной, наглой нарядности и убогой нищеты. И все было сковано мертвым, злым морозом.

Злой мороз пробирался сквозь плохую Маргаритину одежонку, жался к ее худенькому, длинному и тощему телу и заставлял ее идти все быстрее и быстрее. Было странное несоответствие между ее легкой, точно радующейся походкою и ее неподвижно-унылым, безрадостным лицом.

Вдруг улыбка счастливой надежды мелькнула на Магаритиных губах. Знакомое лицо из толпы стало перед нею, — молодой человек в меховом пальто с барашковым воротником.

— Михаил Александрович! — радостно воскликнула Маргарита. — Вы нас совсем забыли.

Михаил Александрович Сюргучев, казалось, был смущен неожиданною встречею. Его рука в серой мягкой перчатке потянулась к котелку, потом он стащил перчатку, пожал Маргаритину руку и говорил сконфуженно:

— Вот все собираюсь к вам, да все некогда, не собраться. Как здоровье вашей маменьки? Как вы поживаете, Маргарита Константиновна?

Его рыжеватые усики топорщились над неровно вздрагивающею верхнею губою, и непонятно было, отчего это вздрагивает так его губа, от холода или от смущения. Его серо-стальные глаза бегали, и он весь как-то пригнулся, и даже уши его каким-то заячьим движением прижались к причесанным гладко-гладко волосам.

И смущение его передалось Маргарите. Лицо ее опять поблекло, и она тусклым голосом сказала:

— Ничего, благодарю вас. Вам не по дороге? Пройдемте немного.

Робкая, почти безнадежная мольба засветилась на минуту в ее синих, покорных глазах. Конечно, только затем, чтобы сейчас же потухнуть.

Михаил Александрович бормотал:

— Простите, сейчас не могу, тороплюсь. У меня тут дело есть очень спешное, так уж я побегу. До свидания, Маргарита Константиновна. Почтение вашей матушке. Поклон Евгении Константиновне.

Он торопливо совал Маргарите свою быстро покрасневшую на морозе без перчатки руку.

— Заходите, — коротко и робко сказала Маргарита.

Точно боялась почему-то сказать лишнее слово. Задержала его руку.

— Непременно, непременно, как же, сочту долгом, как только выдастся свободный часок.

И Михаил Александрович вырвал почти грубым движением свою руку из бледных, тонких Маргаритиных пальцев и помчался трясущеюся виноватою походкою, исчезая в толпе.

Маргарита постояла на углу улицы, глядя ему вслед, и пошла дальше. И опять лицо ее стало как бледная маска безнадежного уныния.

Тусклые мысли пробегали в ее голове. Вспомнила, как был у них последний раз Михаил Александрович. Говорил ей любезности и так смотрел на нее, как смотрят влюбленные, нежным, похожим на страстный поцелуй взором.

Прощаясь, долго и нежно целовал ее руку. А когда он ушел, Константин сказал досадливо:

— Съел всю халву начисто.

Смеялись тогда и ласково глядели на Маргариту.

О скудная, жадная жизнь! Всякую мгновенно мелькнувшую надежду торопишься ты отнять и опозорить. Глупое сердце жаждет обманов и утешений, — глупое сердце, замолчи! Радости для тебя не будет, — и не придет влюбленный, не выпадет на билет главный выигрыш, — и все всегда будет так, как было, безнадежно, тускло, темно, словно зачарованное навеки очарованием уныния, бессилия и печали.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

ФЕДОР СОЛОГУБ. «ДАР МУДРЫХ ПЧЕЛ»

Трагедия в пяти действиях («Золотое руно»)

Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба. Законченность, тяжелое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов и золотые маски, найденные на таинственных трупах в гробницах микенских, золото — хранящее в себе едкую память о судьбе Атридов. Золото подобает мертвым.

И кажется, что поэт говорит пришлецу, зачарованному зрелищем богатств, раскрытых пред ним: «Милый гость, познай истину, одну из многих, открываемых за завесами восторга силою, обличающей противоречие мира, — Иронией, — познай эту истину: мертвое вино и мертвые яства на моем столе».

Его речи как цветы на берегах Леты: цветы вечные, нерождающие, и мертвый аромат их — вечное забвение.

Кому, как не Сологубу, знать тайны области невозвратного, тайны царства Аидова, скрытого тремя стенами, тремя черными завесами мрака?

Печальные места, лишенные ясного неба и светлой дали. Там все туманно и мглисто, все кажется плоским и неподвижным, точно является тенью на экране. Там воды Леты шумят: «Забвение, забвение, в наших волнах пейте вечное забвение. Сладчайшие имена тонут в моих шумных волнах; сладчайшее забудется или вожделеннейший погрузится образ в забвение, забвение, вечное забвение».

Но мудрая змея говорит: «Нет забвения».

В эту область, «озаренную безрадостными созвездиями неподвижных молний, рождаемых вечным трением янтарных смол», нисходят скорбные тени героев, погибших «за бедный призрак красоты, за изменчивую земную личину небесной очаровательницы».

Весь туманный и еле зримый сидит на престоле Аид, и рядом с ним тоскует на троне Персефона весеннею скорбью земли («Или и вечность не истощает ваших мирообъемлющих печалей, бессмертные боги»).

Далекий вопль Прометея грозит богам светлого Олимпа: «Расторгну оковы, и ты погибнешь, неправедный».

А змея говорит: «Боги трепещут, но смеются».

Персефона тоскует по золотым стрелам солнца, по золотом мече жизни: «Все к нам приходят, как домой приходят все. Приходят все неволею». Эхо повторяет: «неволею...», но тихий шелест камышей, как отзвук-эхо, говорит: «волею...»

Темной иронией, «обличающей противоречия мира», звучат эти чередующиеся речи. Двусмысленные и вещие слова слышатся в ответ на вопли Персефоны.

«Только мертвые приходят к нам»...

— Придет и *Он*, — говорит змея.

«От нас никто не найдет дороги»...

— Восстанет... воскреснет... — шелестят камыши.

Нет забвения Лику. Нет забвения любви. Любовь нарушит законы смерти, смертью смерть победит. Текучие образы жизни, расплывающиеся в смертной мгле, не исчезают. Преходящий и тающий лик жизни вечен в любви.

«Вздыхая о златокудром метателе стрел и его золотых, светлою мудростью напоенных пчелах, ты, великая царица, забыла тающий от огня дар мудрых пчел — воск. Как воск, тают личины, Персефона, видишь ли ты Лик?» — говорит весенней владычице подземного царства Протесилай, погибший у Трои первым из героев ахейских. В сердце его лик Лаодамии, которому нет забвения.

Лаодамия на земле тоскует по убитом. Тогда Афродита, приняв образ ее рабыни Ниссы, приказывает юноше Лисиппу отдать Лаодамии искусно им вылепленное восковое изображении Протесилая и, сбрасывая с себя личину старой служанки, говорит ему: «Я любовь. Я роковая. Я Афродита-Мойра. Безрадостно и пустынно томился древний Хаос, и не было ничего в мире явлений, и вечные тосковали матери в довременной своей могиле, скованные ледяным сном. Но в холодном сердце Хаоса, которому дают мудрецы имя Логоса, возникла Я. И умирая, умер бессильный, истлела безумно искаженная личина, и проснулись вечные, и зажглись неисчислимые молнии изволений и устремлений. И все, что было в творчестве божеском и человеческом, все из моего возникло святого лона, все мною рождено, все во мне только дышит, все устремляется мною и ко мне. Только я! Люби меня, милый юноша, в каждом земном прельщении открывай мои черты, в каждом очаровании сладостной жизни узнавай мой зов. Люби меня!»

В образе пчелиных сот скрыт прообраз жизни: восковые личины преходящих форм исполнены вещим медом духа.

Символ этот был близок мистическому духу Греции. Порфирий в своем трактате «Пещера нимф», представляющем мистический комментарий к нескольким строкам «Одиссеи», описывающим грот нимф на Итаке, дает такие толкования символу меда.

Теологи пользовались медом для разнообразных символов, так как мед сочетает в себе разные силы. Он очищает и сохраняет. Посвящаемым в Леонтинские мистерии льют на руки не воду, а мед, внушая им при этом хранить свои руки чистыми от всякого преступления и бесстыдства.

Мед предпочтен воде, так как вода враждебна огню. Мед очищает язык от лжи. Мед вызывает опьянение страстью, в нем скрыта тайна объятий и зарождений. Луна в тех фазах, когда она покровительствует зачатиям, называется пчелой.

Возлияния подземным богам производятся медом. Отсюда противоположение меда как символа смерти и желчи как символа жизни (страсть несет смерть душе, а горечь призывает ее к жизни). Наконец, те души, что готовятся к воплощению, называются пчелами.

Воск — хранилище меда, является символом пластической материи, из которой строится физическое тело. Поэтому в античной и средневековой магии так называемые «порчи» — envoutements — производились при посредстве воскового изображения того лица, против которого было обращено заклинание. Логика черной магии учила воздействовать на дух посредством того лика, в который он заключен. Форма являлась путем к сущности. Воск считался наиболее подходящим материалом для изготовления этого подобия лика. И то, что совершалось над восковым изображением, испытывал тот, чей лик был похищен, в своем физическом теле.

Поэтому, вручая Лаодамии восковое изображение Протесилая, Афродита говорит: «Для всех воск, а для тебя утешительный дар — твой Протесилай. Долгие ночи он будет твой, и насладишься ласками и негой. И с воском в блаженном восторге забвения истает твое тело. Мирами владеющая, первая из верховных Мойр, тебя, Лаодамия, обрекла я на великий восторг любви, побеждающий смерть. Сожгу тебя, сожгу в блаженном пламени восторга и любви. И непорочная Психея придет в объятия небесного жениха».

— В мире мертвых, в царстве Аида — Протесилай, — говорит Лаодамия.

«В царстве Аида только тень Протесилая, — а он, светлокудрый, правит путь в небесах»..

Трагедия продолжает развиваться одновременно на земле — в царстве ликов, и в подземном мире — царстве теней. Лаодамия тоскует над восковой статуей. Подруги ее устраивают около нее ночное радение — очистительные обряды. Сад

наполнен плачущими женами. Их неистовые движения разрывают ткани одежды. Мелькают все чаще обнаженные тела. Объятья и поцелуи перемежаются с ударами ветвей, которыми они хлещут друг друга в нарастающем экстазе.

Свирельные вопли Лаодамии, сопровождаемые далекими отзвуками флейты и кимвал, доносятся сверху в царство Аида и с непреодолимою властью призывают Протесилая. Слышны заклинания Лаодамии: «Заклинаю воском — даром мудрых пчел — вас, невидимые боги, дайте мне Протесилая моего. Один час — приветить, второй час — насладиться, третий час — расстаться: только три часа. О Персефона, ты помнишь златокудрого бога, ты знаешь, чья сила в тающем воске! Я смешаю вино и мед в глубокой чаше из воска и пришлю тебе с моим Протесилаем». Три часа дарованы Персефоной Протесилаю. Гермес вводит его в пустынный сад, который только что еще оглашался кликами менад:

— Дверь не замкнута. Но тебе не переступить порога, если тебя не впустит Лаодамия. Стучись. Проси приюта.

Наступает самое жуткое место трагедии. Лаодамия, склоненная перед восковым изображением, оживленным ее любовью, узнает за дверями голос Протесилая, и ужас охватывает ее.

— Уйди, обманчивый призрак. Не пугай меня. Мой Протесилай со мною. Из воска я воздвигла его, в него перелила свою душу и сочетала с душой Протесилая. Ночной, неведомый, сокройся. Из воска возлюбленный мой.

Но заклинание, раз произнесенное, имеет силу неотвратную.

— Ласки ты расточаешь моему идолу, — говорит Протесилай, — так много любви и вожделения вложено в этот воск, что не мог я и во владениях Аида не почувствовать твоих ласк.

— Не смею ослушаться. Боюсь открыть двери. Темно. Холодно. Одежды чьи-то. Разбросали. Ушли нагие. Мы звали? Чаровали? Докликались, дозвались, и он пришел.

— Из сырой земли возник я. Из области покоя и неподвижных снов пришел я к тебе в страну вечного сгорания.

С воплем бросается Лаодамия к Протесилаю и уводит его к себе. Утром Акаст — отец Лаодамии, который хочет выдать ее замуж — видит сквозь дверь ее в объятиях ночного гостя. Отуманенным призраком выходит к нему Протесилай. Происходит диалог между жизнью и тенью, между имеющим лик и утратившим его.

— Из Аидова царства вышел я...

— Так ты мертвец... До брака взял ее и после смерти хочешь владеть ею, ненасытный.

— Неразрывными узами любви связана она со мной. Долгие ночи сгорала она, как воск.

— Противны богам и нечестивы речи твои. Лаодамия невеста Протагора. Ты же пленник Аида. Твои возвращения не нужны людям и страшны им.

— Разве неведома тебе власть отживших?

— Жизнь-то, говорят, посильнее; вот ты умер, а мы делаем что хотим и не спрашиваем, любо ли тебе это. Тень и останется тенью. И уже легким призраком ты стоишь, и уже с туманом слились одежды твои, и сквозь тебя мерцают очертания деревьев. Филаке нужен царь, а Лаодамии муж. Тебе-то что: никакой ныне не имеешь нужды — тебе бы только обниматься с милой на досуге, — а нам, живым, нужно думать о доме и о городе.

Протесилай исчезает, сливаясь с резкими дневными тенями. Три часа прошли. Акаст приказывает сломать и сжечь восковое изображение Протесилая. И в то время, как воск тает в огне, Лаодамия умирает. Она сама несет Персефоне глубокую восковую чашу, полную вином и медом, — себя. Хор поет: «Слава тебе, Афродита! Над смертью торжествуешь ты, небесная, и в пламенном дыхании твоем тает земная жизнь, как воск!

Светлою завесой от Востока закрывается сцена. Завеса чистая и белая — ясная смерть».

Мертвенным классическим совершенством веет и от замысла, и от строгой простоты этой трагедии. Как послушный, гибкий воск, гнется русская речь под руками ваятеля. Это законченность священной чаши, из которой подобает производить возлияние только подземным богам На лице самого поэта надета золотая маска.

ЕВГЕНИЙ АНИЧКОВ

СИМВОЛИЗМ «ЗАЛОЖНИКОВ ЖИЗНИ» ФЕДОРА СОЛОГУБА

Странная мысль отожествить первую апокрифическую жену Адама, Лилит, с ненасытной мечтой — Дульцинеей!

В прологе к «Победе смерти» являлась Дульцинея в образе простой девушки Альдонсы и напрасно требовала, чтобы ее увенчали король и поэт. Не достигла. Тогда зачаровала она и короля, и поэта, и королеву Ортруду вместе с влюбленным в нее пажом, усыпила их и заставила смотреть на представление, где дочь ее Альгиста ворвалась хитростью в чертог короля Хлодевега, отстранив его законную жену Берту, родившую чахлого Карла.

Правда, тут та же неудача. «Опять зрелище остается зрелищем и не становится мистерией». Еще раз не удался замысел мечты-Дульцинеи: король вернулся к своей законной жене, прогнал Альгисту, хотя и научился ее любить. И вновь та же самая кара — закаменеть должны король и королева, но голос издали провозглашает, что мечта когда-нибудь да победит: «Увенчают красоту и низвергнут безобразие». Прост и понятен символический смысл этих образов. Это романтический призыв к мечте, хотя и разбиваемой косной жизнью, но вновь и вновь возрождающейся для воплощений и подвигов, для новой борьбы с каменеющей косностью. Прекрасной Дульцинее приходится влачить недостойное существование девушки Альдонсы, хитрить, быть отверженной; увы, такова правда, и отсюда пессимистический горький смысл символов: «Смертью побеждаешь любовь, — любовь и смерть — одно». Романтики признают, что символ прекрасен.

Но вот теперь оказывается, что романтическая Дульцинея — не что иное, как апокрифическая жена Адама — Лилит. Она первая жена человека. Как это так? Когда Дульцинея или дочь ее Альгиста врывается в события жизни, ей суждено становиться незаконной женой, не женой, а любовницей; она должна заставить короля расстаться с законной своей супругой ради нее. Тут, конечно, сходство с Лилит: Адам, полюбив Лилит, в сущности, заранее изменил Еве. Ведь постояннная-то его жена — Ева и, стало быть, с Лилит было лишь похождение, временное, незаконное увлечение. Это так. Но неужели Лилит — мечта, художество, романтика? Почему так? Неужели любовь Евы — такое же моральное падение, как любовь короля к изменяющей ему с пажом супруге? Какой он разрушительный для супружеской верности, — этот странный символизм! Не ладно что-то. Беспокойно. Робеют умы положительные и традиционные.

И недоумевала публика, глядевшая зачарованными глазами на словно сказочную, совсем новую сцену Александринского театра, на которой эти кудесники, Головин и Мейерхольд, водворили «Заложников жизни». Все там было по-другому и понебывалому, а та мораль, которую всегда прежде всего воспринимает от всякого художественного произведения публика, показалась самой рискованной. Дульцинея-Лилит исполнила такую обязанность, что упаси Боже! Полюбили друг друга мальчик и девочка, до того полюбили, что, когда их родители запретили им стать женихом и невестой, даже хотели отравиться. Но после обошлось, и мальчик стал студентом, окончил курс, занялся весьма успешно делами в качестве строителя, нажил капитал и построил себе превосходный дом; а девочка в это время стала красавицей, вышла замуж за нелюбимого человека, потому что он был богат, и превосходно жила на радость родителям. Так в течение всех актов были мальчик и девочка «заложниками жизни»; они все готовились жить. Сама жизнь была для них

впереди и начнется, лишь когда опустится занавес. Жизнь эта будет состоять в том, что они наконец сойдутся. Они победили. Теперь кончилось заложничество. Ничто не мешает их счастью. Катя бросит мужа и детей и придет в богатый, для нее построенный дом. Вот молодцы, вот практики жизни. Только чуть грустью веет от их последних слов о предстоящем счастье.

Какая же тут Дульцинея, при чем она? Она, однако, пригодилась. Под видом первой апокрифической жены Адама, воплотившейся в эксцентрическую художницу-декадентку Лилит, Дульцинея будет все годы заложничества утешать героя пьесы своими легкими плясками. Когда же явится возможность Михаилу и Кате наконец сойтись, Лилит грустно уйдет — так и было условлено — и тогда-то зрители узнают, что Лилит и Дульцинея — то же самое.

Новый замысел, таким образом, перевернул и поставил вверх дном все, что мы до сих пор знали о Дульцинее-Альдонсе. Слившись с Лилит, ни к какому увенчанию красоты, побеждающей смертью жизнь, Дульцинея сразу же и немедленно не стремится. Она делает свое дело, вовсе не разрушающее жизнь, а работает ей же на пользу. Она склонилась перед жизнью и перед жизненной любовью, постоянной и законной. В тех сценах, когда Лилит целует загорелые ножки бегающей босиком Кати, и после, когда Катя возвращается к Михаилу уже нарядной дамой, опять становится перед ней на колени, такой скромной, покорной и покладистой стала Дульцинея. Ничего не осталось от гордости ее в прологе к «Победе смерти», когда она говорила о королеве Ортруде: «Это — Альдонса! Глаза ее тусклы, и голос чрезмерно звонок»; дочь ее рабыня, Альгиста, не насмехается больше над законной королевой Бертой: «Красавица! Смотри, король, какой у нее большой рот! Какая она рябая! И одна у нее нога длиннее другой!» Теперь красавицей предстала перед нами противница Лилит-Дульцинеи — Катя. Прекрасна Катя, и прекрасна жизнь. Законная единственная любовь восславлена, потому что она настоящая. Счастливы и живы для живой и настоящей жизни будут Михаил и Катя в великолепном, построенном для любви и счастья доме. «Заложники жизни» одержали победу и перестали быть жалкими и несчастными.

Новую пьесу можно было бы назвать «Победой жизни», если бы не мешала рискованная мораль Михаила и Кати, пошедших такими путями к своему счастью, по каким заблудиться, загубить себя, а не шествовать гордо надлежит совести

Всякая строгость, однако, пусть в меру. Если бы повстречались и полюбили Михаил и Катя друг друга впервые уже в зрелом возрасте, когда он стал известным строителем, а она замужней женщиной, мы бы не кинули в них камня. Мы нашли бы и уход Лилит естественным. Рвет любовь оковы, которые не по ней. Чудовищными кажутся в «Заложниках жизни» преднамеренность, расчет; за-

чем их прежняя любовь? Зачем Михаил и Катя изменили своей прежней любви, нарушили ее права с расчетом, и кто же помогал? Мечта-Лилит. Романтизм послужил холодному расчету и в годы борьбы и заложничества. Тут главное, тут самое трудное в новом замысле — и вот это надо понять. Осмыслить надо вот этот символ, чтобы проникнуть в мысль драмы. Автор говорит нам теперь уже не то, что раньше, совсем все по-другому. Не зовет он в мир романтических грез, совсем не требует, чтобы презирали мы жизненный успех и реальность самой жизни. Ради этого-то и должны Михаил и Катя заставить себя поступить почти цинично. Им было предписано их создателем совершить дурное для того, чтобы после дурных поступков и дурно проведенной жизни они победили и тогда восторжествовала единая, постоянная, чуть ли не святая любовь.

И спрашивается, что же теперь осуждено: романтизм, мечта или, напротив, жизнь, действительность? Ни то ни другое. В этой математически стройной, до сухости методической пьесе сказано простое и давным-давно знакомое: *победа жизни не бывает без компромиссов.*

Нет хуже критики, как та, которая высказывает моральное осуждение героям, а через их голову и автору. К чему морализировать? Перед нами ведь не настоящие люди. Смешно тянуть их к мировому и сказать о них: не пущу их за порог своего дома, того и гляди недосчитаешься серебряных ложек. Образ остается образом. Катя и Михаил победили в жизни, потому что пошли на компромисс: не только они не отравились, когда полудетьми были Ромео и Джульеттой, но и дальше поступали, как требовала жизнь самыми пошлыми своими требованиями; они совсем не герои. Жалкие, человеческие, слишком человеческие Адам и Ева! Мечтают Адам и Ева, когда молоды и грезятся им подвиги. Рвутся на части их сердечки, если разбиваются мечты невинной молодости, и тогда-то возникает трагическая проблема: где победа, в смерти или в жизни? Первое решение благородно, похвально; надо склониться перед ними. А второе? Обернитесь на себя самих. Мы все, оставшиеся в живых, мы все многогрешные, не — герои, не — мученики, мы все, достигшие в жизни теплого угла и еды досыта! Мы все сознательно или бессознательно сказали себе: *да победит жизнь.* Да, так мы сказали в большом и малом и этим самым признали себя не героями.

Поистине Дульцинея была нашей Лилит, как раз такой же непризнанной, такой же живущей под постоянной угрозой, что мы прогоним ее, как только Катя-Ева-Альдонса, т е. живая жизнь постучит в наши двери. И поистине с молодых лет были мы обручены с Катей-Евой-Альдонсой.

Мы только привыкли скрывать наши хитрости. Хитрая выходит на люди царицей балов, прекрасной княгиней Татьяной и говорит Онегину: «Но я другому отдана и

буду век ему верна». Шумно аплодируем мы этим словам и в националистическом экстазе восклицаем: вот настоящая русская женщина. Хитрит и Онегин, когда боится полюбить Татьяну деревенской барышней, а после, бросившись перед ней на колени, когда она на высоте красоты и знатности, уверяет, что лишь теперь по-настоящему полюбил ее. Онегину хотелось победить жизнь, а не быть раздавленным ею там, в глуши, в поместье отцов, с молодой женой, которая рано расплывется и не достигнет тех своих совершенств, какие могут пышно расцвесть, потому они уже есть в зародыше. Люди жизни, все без исключения — вопрос только в степени — поступают дурно, и тут их главное отличие от людей великой мечты, от героев, от людей прекрасной смерти и неподвижной вечности. Что жизнь и мораль разошлись, это старая скучная истина. Все ее знают. Никто против нее не спорит. Однако, когда она до такой степени ошеломила Шопенгауера, что он стал зачитываться древней индийской мудростью, толковавшей о нирване, и объявил себя пессимистом, с ним вовсе не согласились, стали возражать, объявили пессимизм болезнью, и... evviva la vita nuova! *

Дурно поступают во всех сценах Михаил и Катя с самого того момента, когда Катя не захотела отравиться, и публика совсем не рада тому, что там, за кулисами, когда упадет уже занавес, они будут счастливы. Публика не полюбила, не пожалела, не одобрила самих заложников жизни и, если аплодировала, то только «Заложникам жизни» Сологуба. Не полюбила, не пожалела, не одобрила публика и Лилит, потому что — так решила публика — она ломака, босоножка и декадентка. И я не хочу защищать ни Михаила, ни Катю, ни даже Лилит. Я хочу так же, как и публика на первом представлении, одобрить только Сологуба. Ему легко было бы сделать так, чтобы понравились Михаил, Катя — и особенно Лилит, а он этого не сделал. За это я его хвалю. Мечту превосходно было бы назвать вовсе не Лилит, не делать ее босоножкой и декаденткой, а, например, Антигоной, Беатриче, Прекрасной Дамой.

Как хорошо было бы, если бы Михаил сначала любил именно такую великую мечту, так подходят молодости прекрасные мечты, а после, заблудший и павший, увлекся Катей, нажил бы от нее «стилизованных детей», построил стилизованный дом, сам стал стильным, а в конце пьесы... бросил и дом, и жену, Катю, раскаялся в своем падении и, увидев вновь Антигону-Беатриче-Прекрасную Даму, склонился перед ней, прося о пощаде и любви. И ответила бы гордо Антигона-Беатриче-Прекрасная Дама:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

* Да здравствует новая жизнь! (*um*)

Поделом ему.

Очень хорошо сделал Сологуб, что, сказавши: жизнь дурна, жалки Адам и Ева, сказавши: декадентка Лилит — ваша Дульцинея, — ломака, она босоножка, но все-таки она мечта великая и необходимая, руководящая жизнью, уже усталая, хотя и неустанная, — тем не менее закончил победой жизни, единственно сущей нашей повелительницы, прекрасной, но грешной с головы до пят.

АНАСТАСИЯ ЧЕБОТАРЕВСКАЯ

«ТВОРИМОЕ» ТВОРЧЕСТВО

> При первом появлении новых форм красоты* публика приходит в такое негодование и так теряется, что всегда объявляет два нелепых приговора: один — что произведение искусства совершенно непонятно, другой — что оно совершенно безнравственно.
>
> *Оскар Уайльд*

Ну да, он «одержимый».

Маниак, садист, болезненный, изуродованный талант с психопатическим уклоном.

Ненормальный, «декадент».

Все эти милые словца осели у меня в памяти после просмотра ансамбля критических заметок и рецензий о произведениях Федора Сологуба.

Кажется, ни одна отрасль искусства не находится у нас в таком состоянии «декаданса», как критика. Ведь «критиком» в России может сделаться решительно всякий. От жрецов этого искусства не требуется ни знаний, ни таланта, ни того минимума профессионально-технических сведений, без которых на Западе не обойдется ни один рабочий-ремесленник. Пером критика владеет у нас с одинаковой развязностью всякий — начиная с недоучившегося гимназиста...

Хоть бы экзамен какой заставляли сдавать гг. критиков, право!

Читая литературные «обзоры», в особенности провинциальных критиков, прежде всего поражаешься их неизменно обывательским отношением к делу. Если г. критик — лицо административно высланное, то в своей критике любого предмета он танцует только от печки «классового самосознания».

* Разрядка везде моя.

Сообразно этому и гг. авторы получают от него ту или другую отметку за поведение... виноват, за «мировоззрение»... И уж, конечно, автор, «обличающий», например, «дворянское разложение», — не получит от него худого балла или прозвания «порнографа», какие бы он мерзости ни описывал... Если г. обозреватель — представляет собой главу семейства, то пуще всего он блюдет «священные устои нравственности» и т.д., и т.д. В последнее же время появился еще совсем новый тип критиков, которых Н. Чужак, в одном из своих «Литературных обозрений», остроумно назвал «добровольными сыщиками». Они берут на себя — часто неблагодарную роль — наблюдать за «эволюцией» писателя вплоть до корректурных опечаток...

А уж судить, читать в сердцах, копаться в личном и частном — все горазды...

«Безнравственность, — говорит один современный ученый, — рисуется филистеру не иначе, как в сопровождении уложения о наказаниях. И сколько в самом деле подозрительных свойств обнаруживали великие люди в этом отношении! Сколько поводов для обвинения их в постыдной неблагодарности, жестокости, развращенности!»

Конечно, можно было бы, с известными оговорками, принять (хотя бы к обсуждению) все эти положения, если бы за ними скрывалось серьезное намерение объяснить что-либо читателю, связать концы с концами своих добровольческих утверждений...

Однако что могут «объяснить» читающей публике наборы следующих слов: психопат, маниак, ненормальный, — эпитеты, которыми одно время огромное большинство наших критиков величало всю «новую» литературу — да и одну ли ее? Не все ли Великие и Гении прошлого столетия были выброшены за борт «нормальности» прислужником от психопатологии, г. Максом Нордау? Одержимыми и маниаками, по обывательской терминологии, не являлись ли все новаторы и искатели, основатели учений и религий? Не приветствовалась ли приспешниками буржуазной науки как огромная радость болезнь мозга, случайно поразившая великого философа конца прошлого столетия? Не тюремное ли заключение надломило утонченную натуру эстета и поэта «конца века» — преступление, вызвавшее — увы! — запоздалую краску стыда на лице омещанившейся Европы? И еще, и еще, примеры сатанинского злорадства, торжествующего бюргерства, — конечно, здравомыслящего, конечно, официально «нормального». Но умаляют ли эти мракобесные приговоры хоть на одну йоту величие таланта, обаяние Гения? Где границы «дозволенного»? Чей критериум? И кто судьи? Стоя теперь перед произведениями колоссов Возрождения, смеем ли мы судить или приплетать к оценке их творчества

поступки и характеры, далеко не безупречные с нормативно-обывательской точки суждения наших современных Катонов?

Признаюсь, у меня не было самостоятельного намерения писать статью о творчестве Ф. Сологуба. Задача эта являлась мне трудом сложным и непосильным. Но, прочитав вышеупомянутые критики и произведения этого в высшей степени выдержанного и последовательного в своих философских построениях автора, мне захотелось связать в один узел тонкие, скользкие нити его блестящего творческого клубка. Оговариваюсь. По необходимости мне придется касаться только тех из произведений Сологуба, которые характеризуют о с н о в н ы е предпосылки философской стороны его т е о р е т и ч е с к о г о творчества. Ни о стиле, ни об языке, ни о манере письма — в которых Сологуб достиг такого — и, кажется, уже общепризнанного мастерства, — равно как и о многих благоуханных строках и стихах, не имеющих непосредственного отношения к предмету моей статьи, — я говорить не буду. То же самое и относительно садизма, мазохизма, — предоставляю эту область, в которой считаю себя не компетентным, всецело суду критиков буренинского толка. Мы уже видели Федора Сологуба в их более или менее художественном изображении. Посмотрим на него как на поэта-мыслителя.

Самая яркая, самая отчетливая нить в плетении сологубовского творчества, проникающая все его стихи и прозу, — это н е п р и я т и е, о т р и ц а н и е мира в его настоящем, непреображенном аспекте. Длинная вереница его действующих лиц — невинные отроки, прекрасные девушки, старцы и дети, — все проходят через земное бытие, решительно отвергая его, говоря ему категорическое «н е т».

Условия, события, самые процессы жизни кажутся ему, любителю тишины, уединения, мягких, серых тонов в природе, неритмичными, хаотичными, чаще докучными, редко красивыми. «Все было как всегда, равнодушно, красиво в общем, однообразно в подробностях и невесело». Уже в первом романе Сологуба «Тяжелые сны» пессимистически настроенный Логин боится взять «случайно» доставшееся ему счастье, мотивируя тем, что «везде так много печали, страданий», и уже находясь на «вершине» блаженства, восклицает: «Какое счастье! И какая п е ч а л ь!» Даже дети, эти «сосуды Божии», к наивной простоте которых Сологуб умеет подойти так близко и так интимно, рано задумываются у него над тяготой жизни. Подло жить здесь, на этой проклятой земле. Человек человеку здесь — волк. И «ничего нет здесь истинного, — только мгновенные тени населяют этот изменчивый, быстро исчезающий в безбрежном забвении мир» («Жало смерти»).

Начиная с людей («быть с людьми — какое бремя!») и кончая ненавистным ему светилом, которое Сологуб называет «неистово пламенеющим Драко-

ном», — все отвергается, ничто в этом мире не приемлется им. Слишком несовершенно устройство мира, людей, самого тела их. «Построить жизнь по идеалам добра и красоты! С этими людьми и с этим телом! Невозможно!» — думает прекрасная девушка, решаясь на самоубийство. «Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть. И как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что лежит на пороке и зле. Надо обречь его на жизнь и себя вместе с ним» («Красота»). Эту же мысль высказывает раньше в «Тяжелых снах» Логин: «Стоит лишь доказать, что смысла в жизни нет, и она сделается невозможной».

Логический вывод из такого в корне отрицающего мир взгляда напрашивается сам собой... «Надо обречь мир на казнь и себя вместе с ним», — неустанно твердили нам великие пессимисты всех времен и народов. В стройной системе мироотрицания встречаем мы эту мысль целиком у Шопенгауэра, у Гартмана, отчасти у Ницше и снова — настойчиво и безусловно у Сологуба. Последнему тем более нетрудно возлюбить эту систему мироотрицания, так как смерть неизменно рисуется им во образе тихой, милой спутницы, гораздо более близкой и родной нам, чем «дебелая бабища» — Жизнь. Она-то и есть злая разлучница, эта неумолимая Жизнь, а вовсе не верная, милая Смерть, не обманывающая («придет с высоких гор, я жду, я знаю — не обманет»), освобождающая, соединяющая и примиряющая... «Нет на земле подруги более верной»... «И если страшно людям имя смерти, то не знают они, что она-то и есть истинная и вечная, навеки неизменная жизнь. Иной образ бытия обещает она — и не обманет. Уж она-то не обманет. Сладостно мечтать о ней, подруге верной, далекой, но всегда близкой»... («Жало смерти»). «Или надо уйти из жизни, чтобы узнать правду? Но как и что узнают отшедшие от жизни? Но что бы там ни было, как хорошо, что есть она, смерть-освободительница!» («Земле земное»).

На эту тему, кроме всего прочего, Сологубом написана целая «Книга разлук», где обманчивая Жизнь разлучает чистых сердцем малых сих («Они были дети»), растаптывает их ни в чем не повинные детские души («В толпе»), зажигает «голодный блеск» во взгляда истерзанного ею же ее пасынка. Но «милой, тихой» Смерти не боится у Сологуба никто; даже дети, которых одних он называет «живыми» среди этого постылого мира, гибнут у него сознательно, легко, почти радостно. «А что страшного? Захлебнуться недолго, и живо очутишься на том свете» («Жало смерти»). Едва ли не самым убедительным и характерно развивающим пессимистическую теорию автора является рассказ «Утешение» — из книги «Жало смерти». Кухаркину сыну, Мите, случайно видевшему мгновенную смерть упавшей из окна Раечки, грезится, является во сне — да и во сне ли только? — говоря языком автора («явь или сон — и где границы») девочка с золо-

тистыми волосиками, разбившая о докучную мостовую свою невинную детскую головку. Светлая, преображенная, с розами в руках, она зовет его, и он идет к ней — кстати уж и освободиться от всей земной тяготы и печали. Смерть кажется ему так же, как и разбившейся девочке, «светлыми вратами на дорогу, пламенеющую розами», и это ли не исход, не спасение от враждебной неизбежности неумолимого мира? («Иначе, — думал Митя о Раечке, — была бы горничной, помадилась и косила бы хитрые глаза»).

В рассказе «Красота», — где мимоходом нельзя не отметить необычайного соответствия между формой и содержанием, прекрасная, смелая Елена, решив казнить себя вместе с несовершенным и вследствие этого отвергаемым ею миром, медленно и сильно вонзила себе в грудь золоченый кинжал, — и тихо умерла.

В «Баранчике» двое детей приносят себя в жертву Великой очистительной Литургии, и ангел возносит невинные души их к светлым райским вратам. То же в рассказе «Жало смерти»... И во множестве других подобных... Между прочим, в вещах Сологуба, напечатанных после написания мною этой статьи, понятие Смерти — синонима ухода из Жизни от невыносимой дебелой Бабищи — часто подменяется понятием Мечты, — тоже освобождающей дух от грубых лап Жизни. Таким образом, Смерть не нужно принимать у Сологуба так буквально, чтобы считать его ответственным за все самоубийства, как нам приходилось неоднократно слышать.

Основной мотив пессимистического отрицания тесно связан в творчестве Сологуба с другим мотивом, не менее важным и существенным для уяснения всей системы его мировоззрения. Я говорю здесь об элементе творимого, которым самостоятельно и всецело проникнуты многие, пожалуй, лучшие произведения Сологуба («Навьи чары», «Дар мудрых пчел», «Победа смерти», «Царица поцелуев», «Обруч», «Опечаленная невеста» и др.). Сам автор дает нам ключ к уяснению этой теории в следующих словах: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, над тобой, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном».

На первый взгляд нас поражает здесь совмещение двух, по-видимому, несовместных начал: одного отвергающего, другого утверждающего, — разрушающего и созидающего, — столь противоположных и исключающих друг друга по существу. Что, казалось бы, общего между «казнью мира» и ликующим изображением прекрасного в природе, «тела, молодости, веселости, воды и света», в сверкающих обилием ярких, светлых тонов «Навьих чарах»? Между мраком

передоновщины и язычеством Людмилы из «Мелкого беса», поклоняющейся «нагому телу, ярким одеждам, духам, цветам»? Какой фантастический мост нужно перекинуть из «докучного мира обычности», чтобы смертное око наше различило «неясные очертания жизни творимой и несбыточной?» И, однако, мост или, вернее, врата к нему, существуют в стройном построении сологубовского миропонимания. Постараюсь изложить, как я это себе представляю.

Прекрасное, красота, — не в узкоэстетическом, а в широко раздвинутом понятии социальной гармонии, — с которою должен оперировать истинный художник, до сих пор было доступно пониманию немногих исключительных натур (Елена в «Красоте», Елисавета в «Навьих чарах»). Одинокие, разъединенные и, как следствие этого, слабые — они не в состоянии преобразовать мир по волнующему их, пока еще интимному плану и гибнут сами — часто от одного нечистого взгляда, случайно упавшего на прекрасные, обнаженные тела их... «Мы, люди, — говорит Елисавета, — будем всегда на земле слабы, бедны, одиноки, — но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо, — и в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу».

Эти немногие, но много обещающие слова открывают нам необъятные горизонты, огромные перспективы новой заманчивой жизни... Новая земля... новое небо, — постараемся найти среди их «туманных очертаний» обещанный нам мост или светлые к нему врата.

Если автор «творимой легенды» не ставит последнего знака на «всемирном костре», то, может быть, еще мыслим какой-нибудь компромисс, какой-то неведомый нам прыжок из Царства Необходимости в Царство Свободы. Но что это за компромисс, что это за дьявольски головоломный прыжок, — вот вопросы, разрешения которых мы должны добиться.

Для того чтобы впоследствии не пришлось нам возвращаться назад, — да и заодно уж, чтобы читатель не имел повода обвинить нас в произвольности пущенного нами в оборот термина, — укажем здесь на произведения Сологуба, где ярко выражены характерные черты «творимого».

Невыразимо трогателен совсем маленький рассказ «Обруч». Бедняк старик встретил однажды утром ребенка с матерью, забавлявшегося катанием обруча. Преследуемый светлым видением — прообразом какой-то неведомой ему, благостной жизни, бедняк стал мечтать о создании подобной забавы. Дико стыдясь своих лохмотьев, пряча от людей сотворенную им мечту, он приходит по утрам в лес катать старый, грязный обруч... В одно холодное утро старик простудился, слег и умер... Но на больничной койке его «утешали вос-

поминания, — и он был ребенком, и смеялся, и бегал по свежей траве, под сумрачными деревьями, и за ним смотрела милая мама».

В «Двух Готиках» один из мальчиков мечтает: «Как хорошо, что есть и н а я жизнь, ночная, дивная, похожая на сказку, другая, кроме этой дневной, грубой, солнечной. Как хорошо, что можно переселиться в другое тело, раздвоить свою душу, иметь свою тайну». И как ему жаль, как безвозвратно жаль своих творимых снов, когда обнаруживается грубая реальность. «Как жаль ночного, несбыточного сна! Ночной, милой жизни, и Селениты, и всего, чего нет и не было».

Холодным и враждебным кажется мир маленькому Сереже, стремящемуся «к звездам», — в рассказе того же названия, — мечтающему об их таинственном и мудром бытии. «Торопливо и радостно» бросается он, «оттолкнувшись ладонями от темной земли, к ясным звездам».

В сумерках жизни незаметно, почти бессознательно для самих себя увлекаются сын, а за ним и мать, игрой в «тени». «Грезы их ясны, — радость безнадежно-печальна, и дико-радостна их печаль».

Очень ярко выражен элемент «творимого» в стихотворениях, обращаемых Сологубом к излюбленной им «Родине», принимаемой им целиком — с ее убожествами, тоскою, бледными красками, серыми полутонами...

Милее нет на свете края,
О Русь, о родина моя!

Среди болот, в бессилье хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса.

Эта любовь к серым, лишенным внешнего блеска тонам, которые Ищущий сам наделяет близкой, родной ему красотой, — наперекор обычному, общепринятому, — составляет один из лейтмотивов сологубовской поэзии. По его словам:

Сиянье на вершине,
Садов цветущих ряд
В прославленной долине
Его не веселят.
Поляну он находит,
Лишенную красы,
И там в мечтах проводит
Безмолвные часы.

Известна нелюбовь его — вероятно, вследствие тех же мотивов — к Солнцу, олицетворяемому им в Змие, жестоком и коварном:

Один парить он хочет
В эфире голубом,
И злые стрелы точит,
И мечет зло кругом.

Устами Елисаветы он предсказывает грядущее исчезновение злого светила. «Оно погаснет, — оно погаснет, неправедное светило, и в глубине земных переходов люди, освобожденные от опаляющего Змия и от убивающего холода, вознесут новую, мудрую жизнь».

Очень характерно для «творимого» стихотворение, по наивной простоте своей напоминающее примитив:

В бедной хате в Назарете
Обитал ребенок Бог...

«творивший» из кусков глины «крылатых голубей». Заключительные его строфы:

О Божественная Сила,
И ко мне сходила ты,
И душе моей дарила
Окрыленные мечты.

Созидающему в «часы раздумья» поэт советует:

Оставь селенья, иди далеко
Или с о з д а й пустынный край.
И там безмолвно и одиноко
Живи, мечтай и умирай.

Здесь уместно сделать оговорку, во избежание возможного смешения понятий т в о р и м о г о и сотворенного, творческого. Под первым мы разумеем потенциальную власть воли творящего над вещами, глиной, из которой он т в о р и т образы, идеи, самую ж и з н ь, под вторым — обычное комбинирование авторского материала.

В «творимом» безусловно соучаствуют элементы мистического и фантастического. Без них невообразим полет, размах мечты. «В жизни должно быть

невозможное», — восклицает автор уже в «Тяжелых снах». «В нашем мире, — цитирует Сологуб московский философский журнал, — не может быть устранено все неясное». И дальше — в «Навьих чарах»: «Кто знает, сколько темного кроется за ясною улыбкою, из какой тьмы возникло цветение, внезапно обрадовавшее взор обманчивою красотою, красотою неверных земных переживаний». «Да, мы любим утопии, — сознается герой «Навьих чар». — Читаем Уэльса. Самая жизнь, которую мы теперь творим, представляется сочетанием элементов реального бытия с элементами фантастического и утопического».

Наряду с отрицанием мира в его настоящем аспекте мы находим у Сологуба и утверждение мира как такового чрез посредство «Я» — солипсическая теория, тесно связанная со всей философской концепцией автора*. «Я» — утверждает весь мир в самом себе:

Я — Бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.

Поскольку это удается Личности, постольку она принимает, утверждает мир. Вне «Я» — нет мира, нет ничего, не созданного им:

Я — все во всем, и нет Иного,
Во мне родник живого дня.
Во тьме томления земного
Я — верный путь.
Люби Меня.

Разделяя во многом воззрения кантианцев, Сологуб также обусловливает бессмертное, вечное существование «Я», — то, что в религии называется будущею жизнью, — у Платона и Шопенгауэра — вечными идеями, у Ницше — вечным возвращением и т.д. На этот счет мы находим у Сологуба указания в предисловии к «Пламенному кругу»: «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений...» И далее: «Разве земная жизнь Моя не чудо? Жизнь такая раздробленная и такая единая. Ибо

---

* Подробное развитие этой теории см. в «Литургии Мне» и статье Сологуба — в «Золотом руне» № 2 за 1907 г. и в X томе сочин. изд. «Шиповник». — Примечание автора.

все и во всем Я, и только Я». Это то самое единое и самоцельное «Я», с которым мы встречаемся в «Критике практического разума» и в воззрениях безвременно погибшего молодого философа Отто Вейнингера, у которого «Я» является единовременно и единым, и всем. «У сознавшего себя человека, — говорит Вейнингер, — ярко сознание бессмертия, неумирания своего «Я». На этом беспрерывном сосуществовании «Я» Сологуб полагает мистическую основу будущей социальной религии.

Я бросил вызов небесам,
Но мне светила возвестили,
Что я природу создал сам.

Личность, «Я», стоит в центре мирового процесса. Только поместившись в этом центре, можно назвать себя «Я», таковым.

Я создал небеса и землю
И снова ясный мир создам.

Вульгарный эгоизм, конечно, не имеет места в излагаемой системе миросозерцания; только «Я», ответственное за весь мировой процесс, может по праву заявить: аз есмь. Весьма с этим схожи постулаты кантовской логики: «Я обязан отчетом только перед самим собой»... «Долг человека — смысл вселенной»... Относительно мировой центральности философы Возрождения думают приблизительно то же: «Вся природа заключена в известные пределы: но ты, человек, один на земле, предпишешь себе свой закон. Поставленный в середине мира, ты, сам свободный, придашь себе вид какой желаешь» (Пико Мирандоло). В центральном «Я» находится точка равновесия мировых начал добра и зла, принятие и утверждение абсолютного «да» и абсолютного «нет». Безусловно свободным «Я» может быть только при наличности равновесия всех мировых влияний, уравновешивающих любовь — ненавистью, веру — скептицизмом, наслаждение — страданием и т.д. Отсюда понятны экстатичность боли, мук и всех земных терзаний, воспеваемых поэтом.

Есть соответствие во всем,
Не тщетно простираем руки,
В ответ на счастье и на муки
И смех, и слезы мы найдем.

Еще в «Тяжелых снах» героиня находит «восторг в страданиях». В «Навьих чарах» Триродов объясняет ужаснувшей наших филистеров Алкиной: «Боль ужасна, но без нее скучна безоблачность жизни».

Вследствие этого уравновешенное «Я» движется только по законам внутреннего побуждения, — творчество его абсолютно свободно. То же и у Вейнингера: «Человек есть все, и потому он средоточие всех законов, и оттого он абсолютно свободен». Освобождение от закона Необходимости достигается уравновешивающим влиянием другого могущественного закона — Свободы. Человек, поставивший себя в центре мирового процесса, будет жить по законам творимой им воли, а не по законам исторической необходимости... Поэтому власть его над вещами беспредельна:

Околдовал я всю природу,
И оковал я каждый миг.
Какую страшную свободу
Я, чародействуя, постиг.

В этом последнем — отличие «Я», различие двух эпох: до Меня и после Меня.

Изложив, насколько мы сумели, в постепенном ходе их развития теории философского мировоззрения Сологуба:

I) пессимистическую, отвергающую мир в его настоящем аспекте; II) утверждающую мир, творимый личным «Я»; III) солипсическую — теорию «Я» как центра мироздания, — служащую основой и вместе с тем посредницей между двумя названными, на первый взгляд, противоречащими друг другу положениями, остается нам связать все воедино, отправляясь от той точки, где мы остановились, уклонившись по необходимости в сторону. Задачей нашей остается раскрыть пред читателем возможность перехода, светлых врат к новому миру, новой жизни, о которых в минуту откровенности проговорился кто-то из персонажей «Навьих чар». В предисловии к «Пламенному кругу» — автор восклицает: «Хочу, чтобы интимное стало всемирным». Думается, что здесь и хранится ключ к этим искомым Вратам, — здесь надо его искать и найти. Дело, очевидно, в том, чтобы то интимное, личное, которое до сих пор составляло удел некоторых «отмеченных», стало всемирным и общим. Красота должна сделаться достоянием толпы, — выйти из храмов и хранилищ на открытые, всем доступные площади и пространства. Это и осуществится в грядущем преображенном социальном строе, о котором пока еще мечтают Триродовы, Елисаветы, Елены, говоря: «Осуществим утопию...» — «Увенчать

красоту и низвергнуть безобразие». — «Отринуть обычное, — и к невозможному устремиться» («Победа смерти»).

Как совершится переход к этому счастливому и вольному бытию, — где нет владык и рабов, где легок и сладок воздух свободы, — обещанному нам автором «Победы смерти»? Сологуб предполагает — и против этого, конечно, можно многое и многое возразить, — что Врата, ведущие к этому преображенному миру, суть врата Смерти.

Но для всех — одна кончина,
Все различно — все едино.

Вследствие этого было бы крайне ошибочно считать Смерть у Сологуба пустяком, «Сквознячком», как выразился один из наших критиков, — самоцелью... Она нужна нам прежде всего для выявления социальной красоты всех этих жертв, радостно и сознательно кладущих свои юные жизни на алтарь Великой освободительной Литургии. Потому нам и не жаль праведников с золотистыми душами, падающих, подобно агнцам пасхальным, у подножия жертвенного Алтаря. Жизнью своей, — в ее настоящем, непреображенном виде, они, может, сделают меньше, чем искупительной смертью. Отдельных смертей мало, — нужны еще великие социальные кровопролития, великие революционные* жертвоприношения, — все для той же цели — выявления социальной красоты жертвенной Смерти. И в самом деле: что может быть прекраснее Трагичного, — величественнее Христовой Смерти? Инстинктом художника автор подсказывает нам мировую красоту жертвенной Печали. Прекрасна и светла смерть мальчика Симы в рассказе на тему 9 января; прекрасна и легка сознательная смерть Гриши в «Рождественском мальчике», — его добровольный уход в «новый мир, чрез дверь темную, но верную»... Так же социально красива смерть отрока Лина, восставшего на убийство человека, и мученическая кончина прекрасной Альгисты с невинным младенцем в трагедии «Победа смерти». Все эти жертвы — переход, — тот «мост», по которому у Ницше придет в будущий преображенный мир грядущий сверхчеловек.

Из всего вышесказанного следует: задача настоящего момента — сделать интимное — поэта, художника, реформатора — общим, всемирным, доступным всем и каждому, заполнить бездну, отделяющую инициатора от толпы, актера от

* Слово «революция» употребляется автором только в смысле социального, но отнюдь не буржуазного переворота.

зрителя, творца от «черни»*. Это должно совершиться во всех областях творчества: здесь и последовательницы Дункан, и Театр единой воли, и Царица поцелуев — Мафальда, не стыдящаяся всем отдавать свое тело, на улице, на площади, куда должны прийти все, — званые и незваные, поэт и чернь.

Каков будет этот «преображенный» мир, упоминание о котором все чаще и настойчивее звучит в последних произведениях Сологуба? Будет ли то «безгрешная и ясная» звезда Маир или «далекая, прекрасная» земля Ойле, о которых мечтает поэт:

А я меж звезд найду дорогу
К иной стране, к моей Ойле.

Намеки, правда отрывочные и туманные, на это преображенное будущее, звенят между музыкой строк еще не законченной симфонии «Навьих чар»... В описании триродовской колонии и его дома, где «живут ужас и восторг», можно найти кое-какие указания на реформы воспитания, одежды и других сторон внешнего жизненного уклада. «Одежда должна защищать, а не закрывать...» — «Усыпить зверя и разбудить человека, — вот для чего должна служить нагота». — «Мы идем из города в лес, — от зверя, от одичания в городах. Надо убить зверя, — убить его». Убедительно звучит: «Мы совлекли обувь с ног и к родной приникли земле. И совлекли одежду, и к родным приникли стихиям, и нашли в себе человека, — только человека, — не грубого зверя, не расчетливого горожанина, а только плотью и любовью живущего человека».

Будем же надеяться, что автор «Навьих чар» не замедлит показать нам этого преображенного человека во весь его гигантский рост...

МИХАИЛ КУЗМИН

СУМЕРЕЧНАЯ ДУЛЬЦИНЕЯ

Щедрое и замечательно ровное на протяжении времени творчество Сологуба протекает не под всеобъемлющим солнцем, не под звездною пылью Млечного Пути, а под созвездием редко расставленных нескольких излюбленных, гипнотизирующих тем. Они вызываются и маниакальностью влюбленного. Подобный же не-

* См. предисловие к «Пламенному кругу», ст Сологуба «Театр единой воли» и ст «Мечта Дон Кихота» в «Зол руне», 1908 г и статьи X тома — Примеч автора

многострунный, но полнозвучный колдовской инструмент был в руках Байрона и Лермонтова, Тютчева и Верлена. Руководящими мотивами у Сологуба являются:

1) Альдонса и Дульцинея,

2) творимая легенда,

3) борьба с драконом солнцем.

Все три темы тесно связаны одна с другой, вытекают одна из другой.

Жизнь — потная девка Альдонса, пахнущая чесноком и навозом, — волею и мечтою художника преображается в идеальную, сладчайшую Дульцинею; творится прекрасная легенда, более реальная, чем действительность. Слишком ясное, злое и трезвое солнце всегда враждебно преображению, которому милы дымы, туманы и фимиамы. Эти положения настойчиво повторяются, калейдоскопически видоизменяясь в поэзии Ф. Сологуба.

Поэзия, художественная проза и театр — три области, завоеванные этим наиболее чистым представителем у нас символизма. Впрочем, теперь мало кого может интересовать, символист ли Сологуб, когда он просто Сологуб, один из задушевнейших и подлиннейших поэтов. Принадлежность к школе нужна для самооправдания пушечного мяса или для партийных выступлений. Время сражений и побед для символизма давно прошло, и Сологуб остался чистым и независимым поэтом. Книги его стихов не резко отличаются одна от другой, за исключением фабулистических баллад (вроде «Нюренбергского палача»), одно стихотворение близко станет к другому. Редкое впечатление однородности, слитности, органичности. И это общее прежде всего нас пленяет, как в широкой реке мы любуемся плавным течением массы, а не отдельными всплесками, белыми барашками волн. Если допустимы аналогии, поэзию Сологуба можно сравнить не с музыкой, не с человеческими чертами, а с пейзажем. Важные и меланхолические дали, туманные холмы, спящие воды, фиолетовые сумерки как на полотнах Пуссена. И в них тихо дышит какое-то властное большое сердце. Это дыхание не ослабевает и так ровно, что мы сами не замечаем, как изменяется поэт, как от борьбы против солнца, солентического самоутверждения, почти неприятия мира мы спокойно доплываем до «Очарования земли». Несмотря на то что книга написана почти сплошь в одной форме (триолеты), она так неутомительна, полна и насыщенна, голос поэта стал настолько благословляющим — что невольно просится слово «чудо». Поэт так постепенно чертил свои магические круги, что мы, завороженные, и не заметили, куда он нас завел, в какую чудесную и благостную страну. Но верность туманам осталась:

Какая нежная интимность, —
Туман, приникнувший к земле!

На этих сумеречных высотах поэт и пребывает, созерцая преображенную Дульцинею.

В романах и рассказах Сологуб имеет дело с не очищенной еще Альдонсой. В нем просыпается сатирический бытописатель, идущий по линии Гоголя. И бессмертный роман «Мелкий бес» дает нам не только типы, но характер типов — «передоновщину», которая может стать рядом с карамазовщиною и «Мертвыми душами». Но Альдонса житейской прозы не так послушна волшебной флейте, она строптива и упряма. Великолепные картины мелкой, пошлой мещанской жизни плохо поддаются преображению, так что, когда в прозе Сологуба являет лик свой Дульцинея, царящая в его стихах, часто выходит отвлеченность и устаревшее декадентство. Впрочем, положительные явления и тоска всегда выходят хуже, из спокойной и счастливой жизни никак не выкроишь не только драмы, но и комедии. В сатирических сказочках Сологуб выработал особый стиль лаконического памфлетиста, свойственный только ему.

В период Театра В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской новая тогда литература вступила в живое и тесное сношение с театральным миром. Может быть, именно этому театру и Вс.Э. Мейерхольду мы обязаны театром Блока, Ремизова и Сологуба. Но пьесы Сологуба («Победа смерти» и «Паж Жеан и Ванька ключнию») поставлены были уже позднее Ф.Ф. Комиссаржевским. Большим событием в искусстве и смелостью со стороны В.А. Теляковского, Мейерхольда и Головина была постановка в Александринском театре пьесы Сологуба «Заложники жизни». Как работа Мейерхольда эта постановка была из средних (особенно «дульцинейные» места), но брешь в репертуаре Александрийского театра была сделана. Упомяну о постановке в Московской студии «Узора из роз», шуточной пьесы «Ночные пляски» и, насколько я знаю, не поставленной еще трагедии «Дар мудрых пчел», одном из лучших произведений Сологуба.

Как безукоризненный переводчик Сологуб работал над вещами, очень близкими ему по духу, вроде поэзии Верлена, драм Клейста и неоромантической пьесы Штукена «Рыцарь Гован».

Органически ведя свою, независимую и одинокую линию, Сологуб достиг уже светлых и благостных высот, откуда открываются совершенно новые пути жизни и искусства. До них доходят люди большого творческого духа и сердца живого, не очерствевшего среди испытаний и страданий.

Личное свое почитание и любовь шлю туда, не зная, дойдет ли мой голос до тех волшебных вершин.



ПРИМЕЧАНИЯ

Пьесы «Победа смерти», «Дар мудрых пчел», «Любви», «Ванька ключник и паж Жеан», «Ночные пляски» публикуются по изд.: *Сологуб Ф.* Собрание сочинений. Т. 8. СПб.: Шиповник, 1910 в последовательности, избранной автором.

Мистерии

Литургия Мне

Весы. 1907. № 2. Отд. изд.: М., 1907. Печ. по этому изд.

С. 7. *Литургия* — главное христианское богослужение, на котором совершается таинство причащения (евхаристия), а также отпущение грехов кающимся.

Мистерия — жанр драматических представлений из священной истории. Возник в XI в. под влиянием тайных религиозных церемоний, воспроизводившихся древними греками в форме сценических действ. Первые мистерии записаны в эпоху Раннего Ренессанса (XV в.). Русские мистерии появились при царе Алексее Михайловиче (XVII в.) в виде школьных драм.

Посвящаю моей сестре. — Сестре Ольге Кузьминичне Тетерниковой (1865—1907) посвящены также роман «Тяжелые сны» (в разгар работы Сологуба над третьей его редакцией она скончалась от чахотки), трагедия «Победа смерти», стихотворения «Не один я в тесной келье» (1907), «Годы идут, но утрата...» (1920) и др. «Вы не можете знать, как велика моя потеря, как мне тяжело и пустынно, — писал Сологуб вскоре после утраты друга и помощницы. — С сестрою была связана вся моя жизнь, и теперь я словно весь рассыпался и взвеялся в воздухе. Как-то мне дико, что умер не я» (цит. по изд.: Неизданный Федор Сологуб. Под ред. М.М. Павловой и А.В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 234).

С. 7. *Тимпан* — древний музыкальный инструмент наподобие литавр, барабана или бубна.

С. 29. *...Мой диамантовый закон.* — Т.е. крепкий, как диамант (алмаз), которым писаны на двух каменных плитах скрижали Божьего Завета (Закона): на первой — четыре заповеди любви к Богу, на второй — шесть заповедей любви к ближнему.

Томление к иным бытиям

Факелы. 1908. № 3.

Драматические произведения

Победа смерти

Сб. «Факелы». СПб.: Изд. Д.К. Тихомирова, 1908. «Победа смерти» вызвала большой резонанс в критике, умноженный появлением пьесы в 1907 г. на сцене петербургского Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской (на Офицерской) в постановке В.Э. Мейерхольда. Символистской трагедии Сологуба и премьерному спектаклю посвятили рецензии и статьи А. Воротников и Г. Чулков в журнале «Золотое руно» (1907. № 11/12 и 1909. № 11/12), А. Измайлов в газ. «Русское слово» (1907. № 258), М. Репнин в газ. «Слово» (1907. № 304), Ю. Беляев в газ. «Новое время» (1907. № 11372), В. Азов и Н. Тэффи в газ. «Речь» (1907. № 264 и 1908. № 2), Homo Novus (псевдоним А.Р. Кугеля) в газ. «Русь» (1907. № 299) и др. Постановкой «Победы смерти» в 1917 г. открылся Новый театр Б.С. Неволина в Москве.

С. 41. *Королева Ортруда* — героиня одноименной части романа Сологуба «Творимая легенда» (см. т. 4).

Дульцинея, именуемая Альдонсою. — См. примеч. в т. 3 на с. 727. Поэтическое воображение Дон Кихота, героя великого романа Сервантеса, превратило деревенскую простушку Альдонсу Лоренсо в благородную красавицу Дульсинею Тобосскую, ставшую предметом поклонения Рыцаря Печального Образа. Этот образ стал символом для поэтов-романтиков, в том числе русских символистов.

С. 54. *Сенешаль* — главный управляющий королевским двором (во франкском государстве).

С. 71. *Карл I Великий* (742—814) — король франков и император римский, сын Пипина Короткого и королевы Берты.

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920) — путешественник, исследователь Центральной Азии и Сибири.

Дар мудрых пчел

Золотое руно. СПб. 1908. № 2, 3. Трагедия написана в 1906 г. для петербургского Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской (на Офицерской), но спектакль был запрещен цензурой. В.Э. Мейерхольд в планах сезона 1907—1908 гг. намеревался использовать в этой постановке метод «круглого театра» с размещением зрителей на сцене, что вызвало категорическое возражение цензоров. Публикацию Сологуб сопроводил пояснением «От автора».

С. **73.** *Фаддей Францевич Зелинский* (1859—1944) — филолог, поэт-переводчик, интерпретатор и популяризатор античной культуры; автор известных научно-популярных книг «Из жизни идей» (т. 1, 1905; очерк «Античная Ленора» вошел во 2-е изд. СПб., 1908. С. 199—229), «Древний мир и мы» (т. 2; 1903), «Соперники христианства» (т. 3; 1907), «Возрожденцы» (т. 4; Пг., 1922) и др.

«Ленора» — баллада немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера (1747—1794), известная в России в переводе В.А. Жуковского (1831). Сюжет баллады в основном совпадает с античным мифом о Лаодамии и Протесилае, который был использован Иннокентием Федоровичем Анненским (1855—1909) в трагедии «Лаодамия» и позже (в 1913 г.) Валерием Яковлевичем Брюсовым (1873—1924) в трагедии «Протесилай умерший» (см. подробно в статье: *Страшкова О.К.* Три интерпретации мифа // Брюсовские чтения 1980 года. Ереван, 1983. С. 77—90). Сологуб взял за основу трагедии одну из версий мифа. Протесилай через несколько дней после женитьбы на Лаодамии уходит на Троянскую войну. Он возглавлял морской поход ахейского ополчения на 40 кораблях. У берегов Трои предводитель узнал о предсказании жреца Калханта: кто первым ступит на берег троянцев, тот погибнет. Протесилай пренебрег роковым предостережением и был убит Гектором. Лаодамия, узнав о гибели страстно любимого супруга, изготовила его восковую статую и каждую ночь брала ее в свою постель. Отец потребовал сжечь статую. Лаодамия исполняет волю отца, но вслед за восковой фигурой мужа бросается в костер и сама.

Лета — река забвения в подземном царстве Аиде.

С. **74.** *Харон* — в греческой мифологии перевозчик мертвых в подземном царстве.

С. **75.** *...о сладком, буйном восстании Диониса.* — «Дионис славится как Лиэй («освободитель»), он освобождает людей от мирских забот, снимает с них путы размеренного быта, рвет оковы, которыми пытаются опутать его враги...» (Мифологический словарь. М., 1990. С. 189).

С. 75. *Менады* («безумствующие») — в греческой мифологии спутницы Диониса, бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. Первоисточник мифа — трагедия Еврипида «Вакханки». Полуобнаженные, украшенные виноградными листьями, подпоясанные задушенными змеями, менады сопровождают бога, сокрушая все на его пути, зазывая всех женщин служить Дионису.

С. 78. *...полей, взлелеянных моею тоскующею матерью.* — Персефона была дочерью богини земледелия и плодородия Деметры и Зевса. В поисках дочери, похищенной Аидом, Деметра блуждала из страны в страну; она стала символом вечно тоскующей матери.

...гиметского сладкого меда... — Гиметт — гора близ Афин, славившаяся пасеками, которые поставляли на рынки лучший в Древней Греции мед.

...в славных боях за прекрасную Елену. — Имеется в виду Троянская война, разгоревшаяся из-за похищения Елены, жены спартанского царя Менелая. Этим событиям посвящена поэма Гомера «Илиада».

С. 79. *О безумное своеволие Айсы!* — У Сологуба Айса — богиня случайности, изменчивости мира.

Над богами царящая Ананке... — В греческой мифологии Ананке (Ананка) — божество необходимости, неизбежности; она же мать мойр (у римлян — парки), вершительниц человеческой судьбы.

С. 90. *...знаешь ты про смерть Ифигении...* — В греческой мифологии Ифигения — дочь предводителя греческого войска во время Троянской войны Агамемнона и Клитемнестры, принесенная в жертву по требованию богини Артемиды. Однако в последний момент богиня укрыла Ифигению облаком и унесла с собой в Тавриду, заменив ее на жертвеннике ланью. Этот миф лег в основу трагедий Эсхила, Еврипида, Софокла и др.

С. 94. *Хаос* — в представлении античных философов, зияющее, разверстое мировое пространство, из которого рождается все сущее на земле.

Логос (греч. понятие, мысль, разум) — в древнегреческой философии (у Гераклита и др.) всеобщая закономерность, духовное первоначало, мировой разум.

Любви

Перевал. 1907. № 8—9.

С. 134. *...благоразумны, как гоголевский Шиллер...* — Шиллер — персонаж повести Гоголя «Невский проспект» (1835).

Ванька ключник и паж Жеан

Пб.: Новые мысли. 1908. № 1; Театр и искусство. 1909. Вторая редакция (1912) названа «Всегдашние шашни». Публикация в т. 8 собр. соч. сопровождается пояснением «От автора». Пьеса была поставлена Н.Н. Евреиновым в петербургском Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской (на Офицерской) в сезон 1908/1909 гг., а осенью 1914 г. (вместе с «Ночными плясками») вошла в репертуар московского Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, учрежденного Ф.Ф. Комиссаржевским и В.Г. Сахновским.

С. **145.** *...во дрокушке был у матушки...* — Т.е. баловнем, неженкой, любимчиком.

...во люби был у батюшки. — Люб, люба — друг, подруга, милый (В.И. Даль).

С. **147.** *Дай ему туза...* — Туз — удар кулаком (В.И. Даль).

С. **153.** *Закукорки* (закукры) — спина.

С. **157.** *Крин* — лилия; также колодец на водяной жиле (отсюда «криница») (В.И. Даль).

Ночные пляски

Русская мысль. 1908. № 12. Публикация в т. 8 собр. соч. сопровождается пояснением «От автора». Драматическая сказка Сологуба впервые поставлена в петербургском Литейном театре 9 марта 1909 г. Н.Н. Евреиновым. Позже пьеса появилась на московских сценах: в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской (1914) и Театре К.Н. Незлобина. «Веселые солнечные тона декораций, и прямо прекрасные костюмы, и безукоризненная мимика всех исполнителей — все это представляло на редкость приятное зрелище», — восторгался рецензент «Театральной газеты» Б. Савинич (1915. № 40).

С. **205.** *Антиномия* — противоречие между двумя взаимоисключающими положениями, одинаково убедительно доказуемыми логическим путем.

Антимония — здесь: чепуха. Разводить антимонии — заниматься пустой болтовней.

С. **206.** *Выхожу один я на дорогу...* — Начальные строки стихотворения М.Ю. Лермонтова без названия (1841).

С. **217.** *Тьмы низких истин им дороже их возвышающий обман.* — Измененная цитата из стихотворения Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина: «...мне дороже нас возвышающий обман».

Заложники жизни

Шиповник. 1912. № 18. Печ. по этому изд. Написана в 1910 г. Впервые поставлена на сцене петербургского Александринского театра 6 ноября 1912 г. В.Э. Мейерхольдом. Имя Лилит, неспроста данное одной из героинь, подсказывает читателям, что исток драмы следует видеть в известном мифическом предании. Бог, сотворив Адама, сделал ему из глины жену Лилит, которая потребовала равноправия с мужем. Встретив возражение Адама, гордая Лилит улетела. В средневековой литературной традиции первая жена Адама предстает в облике соблазнительницы, женщины неземной красоты.

Появление пьесы в печати и на сцене вызвало новые споры о символистском новаторстве и традиции, о художественном своеобразии драматургии Сологуба. Прийти на премьеру посчитали необходимым и сторонники модернизма, и реалисты-«староверы». В сезон 1912/13 гг. спектакль был показан 24 раза. В полемике, длившейся около года, участвовали: С. Адрианов (Заметки о театре // Вестник Европы. 1912. Кн. 12), Е. Аничков (Символизм «Заложников жизни» Сологуба // Заветы. 1912. № 8; см. Приложения в нашем изд.), Антон Крайний [З. Гиппиус] (Иринушка и Ф. Сологуб // Русская мысль. 1912. № 12), Ф. Батюшков (В походе против драмы // Современный мир. 1912. № 12), М. Слобожанин (Из современных переживаний // Журнал для всех. 1913. № 1), А. Чеботаревская (Чья победа? // Новая жизнь. 1913. № 1), Albus [А. Елачич] (Двуликий пессимизм // Северные записки. 1913. № 1), П. Ярцев (Драматический театр // Ежегодник газеты «Речь» на 1913 г.), а также С. Ауслендер, Е. Зноско-Боровский, С. Кречетов (Соколов), М. Кузмин, Л. Гуревич, М. Неведомский (Миклашевский) и др. «Некая свежесть чувствовалась в ней на сцене, — писал о пьесе Ярцев, — пробивались вещи, которые нравились неизвестно почему. Если рассуждать, как много рассуждают об этой пьесе, то от нее мало что оставалось. Но если читать ее или смотреть, то нечто открывалось в ней и становилось для всех несомненным».

Любовь над безднами

Шиповник. 1913. № 22. Печ. по этому изд. Отд. изд. — Пб.: Театр и искусство, 1914 (в соавторстве с А.Н. Чеботаревской).

С. **318.** *...как Орфей к Евридике, чтобы вывести вас из этого неживого мира.* — Орфей — в греческой мифологии поэт, певец и музыкант, завораживавший своей игрой на лире не только людей, но и богов. Он женится на нимфе Эвридике, которая неожиданно умирает от укуса змеи. Орфей отправляется за

нею в царство мертвых. Здесь Аид, покоренный игрой музыканта, позволяет ему забрать Эвридику на землю, но с условием, что тот не взглянет на нее до тех пор, пока не войдет в свой дом. Орфей не удержался — взглянул на супругу раньше, и Эвридика вновь оказывается в преисподней.

С. **325.** ...*Мечтали выпить бокал Моэта...* — Моэт — марка шампанского.

С. **326.** *Оффенбах* Жак (наст. имя и фам. Якоб Эбершт; 1819—1890) — французский композитор, один из основоположников классической оперетты.

Амфитрион — греческий царь, муж Алкмены, к которой, принявши его облик, обманом проник Зевс. В комедии Мольера «Амфитрион» на этот сюжет есть слова: «...Тот истинный Амфитрион, // Кто приглашает нас к обеду». Отсюда нарицательное «амфитрион» — гостеприимный хозяин.

Мечта победительница

Пг.: Былое (Библиотека театра и искусства), 1912 (в соавторстве с А.Н. Чеботаревской). Печ. по этому изд.

С. **359.** *Навзикая* — в греческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя, персонаж поэмы Гомера «Одиссея». Красавица царевна привела Одиссея, потерпевшего кораблекрушение и выброшенного на берег, в дом своего отца.

С. **368.** ...*«рассудку вопреки, наперекор стихиям».* — Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. III, явл. 22).

С. **373.** ...*«как сорок тысяч братьев любить не могут».* — Слова Гамлета у гроба Офелии (Шекспир. Гамлет. Акт V, сц. 1).

С. **388.** ...*Матисса или Сарьяна я не повешу в своей квартире.* — Анри Матисс (1869—1954) — французский живописец, график, один из лидеров фовизма. Мартирос Сергеевич Сарьян (1880—1972) — армянский живописец; для его пейзажей характерна декоративно-обобщенная манера.

С. **394.** *«Презренной прозой говоря»...* — цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин» (1825).

Повести

Барышня Лиза

Сирин. Сб. 3. СПб., 1914. Печ. по этому изд.

С. **399.** *Над вымыслом слезами обольюсь...* — Из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...»; 1830) А.С. Пушкина.

С. **408.** *Четьи Минеи* (греч. menaîos — месячный; четьи — чтения — читаемый, предназначенный для чтения) — сборник житий, сказаний и поучений, расположенный по дням каждого месяца на год.

...ловцами человеков поставил их. — Образ из Библии; в Евангелии от Матфея (гл. 4, ст. 19) Иисус Христос, обращаясь к братьям-рыболовам Симону и Андрею, говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Здесь выражение «идите за Мною» означает ученичество, а быть «ловцами человеков» — значит стать духовными пастырями, апостолами веры.

С. **433.** *...Екатерина Великая, сия северная Семирамис...* — Императрицу Екатерину II многие поэты сравнивали с мифической царицей Семирамидой (Semiramis), построившей г. Вавилон с его висячими садами, одним из семи чудес древнего мира.

...в переписке с сим преславным отшельником фернейским... — Имеется в виду французский писатель, философ, историк Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778), переписывавшийся с русской императрицей. Ферне — имение Вольтера на границе Франции и Швейцарии, где он поселился в 1758 г.

Острие меча

Сб. «Лукоморье. Военные рассказы». Пг.: Лукоморье, 1915. Печ. по этому изд.

С. **463.** *Душа человека, подобно некоей Гризельде, должна быть покорною до конца.* — Гризельда — «вернейшая из жен», которой посвятила одноименное стихотворение З.Н. Гиппиус (см. ее «Собрание стихов. 1889—1903». СПб., 1904, подаренное Сологубу). В основе стихотворения — одноименная стихотворная сказка французского писателя Шарля Перро (1628—1703) из его сборника «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). Героиня — кроткая и преданная жена принца, смиренно воспринявшая унизительные испытания своей супружеской верности. Этот сюжет использован также в драме «Гризельда» (1837) австрийского писателя Фридриха Гальма (1806—1871). Пьеса в 1840 г. была впервые поставлена на петербургской сцене в переработке Платона Григорьевича Ободовского (1803—1864).

С. **465.** *Шиллер* Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805) — поэт, драматург, теоретик искусства, историк; основоположник немецкой классической литературы.

С. **468.** *Теннис-гроунд* — теннисная площадка.

С. **473.** *Тевтон* — представитель древнегерманского племени; рыцарь тевтонского ордена крестоносцев.

С. **474.** *Для моей любви нет Леты.* — Т.е. нет забвения (Лета — река забвения в царстве мертвых).

С. **485.** *Есть упоение в бою...* — Неточная цитата из «маленькой трагедии» Пушкина «Пир во время чумы» (1830). У Пушкина:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

*

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

...*«кудри наклонять и плакать».* — Цитата из «маленькой трагедии» Пушкина «Каменный гость».

С. **492.** *Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815—1898) — первый рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.

С. **504.** *Вильгельм* II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и прусский король в 1888—1918 гг.

С. **520.** ...*«огонь и лед, вода и пламень не столь различны меж собой!»* — Неточная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». У Пушкина: «...волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень...»

С. **525.** *«Но я другому отдана и буду век ему верна».* — Неточная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». У Пушкина: «Но я другому отдана; // Я буду век ему верна».

С. **531.** ...*«то в высшем решено совете, то воля Неба»...* — Неточная цитата из «Евгения Онегина». У Пушкина: «То в вышнем суждено совете... // То воля неба: я твоя...»

Слепая бабочка. Рассказы

Все рассказы сборника печ. по изд.: Сологуб Ф. Слепая бабочка. М: Московское книгоиздательство, 1918. См.: Неизд. Сологуб, С. 244.

Жена умного человека

Заветы. 1914. №2.

Отрава

С. **549.** *«Душно в Киеве как в скрыне...»* — Неточная цитата из баллады А.К. Толстого «Илья Муромец». У Толстого: «Душно в Киеве, что в скрине...» Скрин, скрыня — укладка, сундук, ларец (В.И. Даль).

С. **557.** *Грушницкий* — персонаж романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Крутильда и семь других

С. **586.** *Имманентный* — признак, внутренне присущий предмету, явлению, процессу.

...ездить на Ривьеру... — Ривьера — средиземноморское побережье (Лазурный берег), славящееся курортами и зонами отдыха (Канн, Ницца, Ментона и др. во Франции; Сан-Ремо, Портофино, Рапалло и др. в Италии).

Мышеловка

С. **593.** *Ранет*, ранетки — сорт зимостойких яблок.

Сказка гробовщиковой дочери

С. **598.** *Глазет* — шелковая ткань с золотым или серебряным утком.

С. **601.** *«Речь»* — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в 1906—1917 гг. в Петербурге.

С. **602.** *...«Тути-Намэ. Сказки попугая...»* — В названии неточность; надо: «Книга попугая» Зия ад-Дина Нахшаби. М., 1915.

Голос крови

Газ. «День». 1913. 25 дек. № 350.

С. **611.** *Бернардино Луини* (1475—1593) — итальянский живописец, представитель миланской школы Леонардо да Винчи.

Прачка с длинною косою

С. **620.** *Порфира* — пурпурная бархатная мантия, торжественное облачение царей.

С. **621.** *Митра* — головной убор, жалуемый в награду представителям белого духовенства; носится при полном облачении.

Самый темный день

С. **635.** *Русский музей* в Петербурге — один из крупнейших художественных музеев русского искусства. Учрежден в 1895 г. (до 1917 г. официально назывался Русский музей императора Александра III).

Максимилиан Волошин

Федор Сологуб. «Дар мудрых пчел»

Газета «Русь». 1907. 14 июня. № 152. Автор — поэт, критик, художник, переводчик Максимилиан Александрович Волошин (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877—1932). Статья вошла в сборник «О Федоре Сологубе: Критика. Статьи и заметки». Сост. Ан. Н. Чеботаревская. СПб., 1911. Печ. по изд.: *Волошин М.* Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С.434—437. «Я думаю, что это одна из лучших моих статей, так как я писал ее с большой любовью и считаю Вашу трагедию одним из прекраснейших произведений нашего времени», — писал Сологубу Волошин 8 мая 1907 г. (*Купченко В.П.* М.А. Волошин и Ф. Сологуб. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С.157—158).

С. **643.** *Порфирий* (ок. 233 — ок. 304) — греческий философ; большая часть его сочинений утеряна. «О пещере нимф» — см. в новом переводе А.А. Тахо-Годи: Вопросы классической филологии. Вып. 6. М., 1976.

С. **644.** *Менады* — см. примеч. к с. 75 («Дар мудрых пчел»).

Евгений Аничков

Символизм «Заложников жизни» Федора Сологуба

Новая жизнь. 1912. № 12. Печ. по этому изд. Автор — критик, историк литературы, прозаик Евгений Васильевич Аничков (1866—1937); с 1920 г. профессор Белградского университета.

Анастасия Чеботаревская

«Творимое» творчество

Золотое руно. 1908. № 11/12. Печ. по изд.: О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. СПб., 1911. Составитель этого сборника — жена Сологуба (с 1908 г.) Анастасия Николаевна Чеботаревская (1877—1921), критик, прозаик, драматург и переводчица М. Метерлинка, О. Мирбо, Г. де Мопассана, Стендаля и др. 23 сентября 1921 г. Чеботаревская в приступе психастении бросилась в р. Ждановку (не в Неву, как утверждают многие мемуаристы) и погибла. «Анастасия Николаевна, — писал Сологуб 21 декабря 1921 г. литературоведу А.Г. Горнфельду, — дала мне все то счастие, которое может дать самоотверженно верная жена и беззаветно преданный друг... Мы были с нею более близки, чем бывают люди в браке. Вся моя литературная и общественная работа объята ее сотрудничеством и влиянием. В ней для меня было всегда живое воплощение моей собственной художественной и житейской совести, и я принимал ее советы как неизменно верное указание того пути, который я сам себе раз навсегда начертал. Ее нервы были истощены... Одним из последних тяжелых ударов для нее была смерть А.А. Блока». «Потом он опять жил, — пишет о Сологубе О.Д. Форш в автобиографическом романе «Сумасшедший корабль», — потому что он был поэт, и стихи к нему шли. Но стихи свои читал он несколько иначе, чем при ней, когда объезжали вместе Север, Юг и Волгу и «пленяли сердца». Он больше пленять не хотел, он с покорностью своему музыкальному, особому дару давал в нем публичный стихотворный отчет, уже ничего для себя не желая. Входил он к людям сразу суровый, отвыкший. От внутренней боли был ядовит и взыскателен» (Л., 1988. С. 96).

С. **651.** *Н. Чужак* — Николай Федорович Чужак (наст. фам. Насимович; 1876—1937), критик, публицист. В 1922 г. в Москве вошел в группу Леф (Левый фронт искусств), руководимую Маяковским, и представлял в ней так называемое «производственное крыло».

Макс Нордау (наст. фам. Зидфельд; 1849—1923) — немецкий прозаик и драматург; в скандально известной книге «Вырождение» (1892) подверг критике с точки зрения психиатрии многие популярные в то время произведения европейской литературы.

С. **652.** *...суждения наших современных Катонов.* — Катон Старший (Марк Порций Цензорий; 234—149 до н.э.) — римский политический деятель, обретший известность как суровый цензор (отсюда — Цензорий); автор многих сочинений, в их числе: «Земледелие» (издано в серии «Лит. памятники». М.;

Л., 1950), «Катоновские дистихи» — ошибочно приписываемый Катону сборник нравоучительных высказываний «в духе Катона Старшего», переиздававшийся вплоть до нового времени.

С. **653.** *...встречаем мы эту мысль целиком у Шопенгауэра, у Гартмана, отчасти у Ницше...* — Названы немецкие философы: Артур Шопенгауэр (1788—1860), автор известного труда «Мир как воля и представление»; Эдуард Гартман (1842—1906), считавший основой всего сущего абсолютное бессознательное духовное начало, мировую волю, и Фридрих Ницше (1844—1900), автор произведений в новаторском жанре философско-поэтической прозы, воспевающих культ сильной личности, сверхчеловека.

С. **656.** *...к излюбленной им «Родине»...* — Цикл стихотворений «Гимны Родине» впервые был опубликован в журнале «Новый путь». 1904. № 3 (каждое стихотворение в нем называлось: «Гимн первый», «Гимн второй», «Гимн третий»). Цикл вошел в сборник «Родине. Стихи, книга пятая». СПб., 1906.

С. **658.** *...с о л и п с и ч е с к а я теория...* — Солипсизм (от лат. solus — единственный и ipse — сам) — философия крайнего эгоизма, эгоцентризма.

Кантианцы — последователи учения немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804), автора книг «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Эстетическое творчество Кант представлял как свободную игру и отличал его от познания, которое не свободно, а подчиняется законам.

...у Ницше — вечным возвращением... — Учение о «повторяющихся земных жизнях», о «многообразном прохождении через поток миров» составляет сердцевину книги философско-поэтических афоризмов Ницше «Так говорил Заратустра» (1883), которой был увлечен и Сологуб, и другие вожди русского литературного модерна. «Основная концепция этого произведения, — утверждает философ, — мысль о вечном возвращении». Заратустра (иран. Заратуштра, греч. Зороастр) — пророк и реформатор древнеиранской религии зороастризма, живший между X и первой половиной VI в. до н.э. Образ древнего мыслителя, проповедовавшего учение о нескончаемом борении добра и зла, понадобился Ницше, чтобы выразить его устами свой идеал воспитания сверхчеловека. Развивая «мысль о вечном возвращении», философ-поэт «языком дифирамба» далее рисует величественный портрет мудреца Заратустры: «...применительно к нему вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты. Данте

в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, *управляющий миром* дух, рок, — поэты Веды суть только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков Заратустры; но все это есть еще минимум и не дает никакого понятия о той дистанции, о том *лазурном* одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы; я строю хребет из все более священных гор». Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: и совокупно не были бы они в состоянии произнести хотя одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше *мог*, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из *единого* источника. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано *кем-либо* из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии сверкают в не разгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. — А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! — Здесь в каждом мгновении преодолевается человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, — в бесконечной дали лежит здесь все, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкионическом начале, о легких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всем, что вообще типично для типа Заратустры, никогда еще никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шири пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя *наивысшим проявлением всего сущего*; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного» (*Ницше Ф.* Ecce Homo. Как становятся сами собою. В кн.: Сочинения: В 2-х т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 749—750).

С. **658.** *...в предисловии к «Пламенному кругу»...* — Имеется в виду предисловие к лучшему сборнику стихов Сологуба, вышедшему в 1908 г. и вызвавшему восторженные рецензии.

С. **659.** *...в воззрениях безвременно погибшего молодого философа Отто Вейнингера...* — Немецкий философ Отто Вейнингер (1880—1903) покончил с собой сразу же после выхода своего труда «Пол и характер», переведенного на многие языки и вызвавшего длительную полемику.

Пико Мирандоло — Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494), итальянский философ-гуманист эпохи Возрождения; автор книги «900 тезисов» и введения к ней «Речь о достоинстве человека».

С. **661.** *...подобно агнцам пасхальным...* — В ветхозаветной (еврейской) Пасхе (от древнеевр. песах — прохождение) существовала традиция приносить пасхальную жертву Господу в виде агнца (годовалой овцы или козы). Свою последнюю Пасху Иисус Христос свершил во время Тайной вечери по ветхозаветному обряду: на трапезе было мясо агнца с горькими травами. Но Иисус ввел и новшество — преломление хлеба (Таинство Евхаристии, или Причащения). В Евангелии от Матфея (гл. 26, ст. 26) сказано: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: ядите; сие есть Тело Мое», т.е. Иисус символически говорит здесь о том, что Он — жертва искупления, агнец заклания. Пасха у христиан — самый древний и самый большой праздник в честь воскресения распятого Иисуса Христа.

...в рассказе на тему 9 января... — Имеется в виду рассказ «Ёлкич» из сборника «Дни печали».

...«мост», по которому у Ницше придет в будущий мир грядущий сверхчеловек. — «Человек, — говорит Заратустра в книге Ницше, — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он п е р е х о д и г и б е л ь — я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо они идут по мосту <...> Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, — я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется с в е р х ч е л о в е к» (*Ницше Ф.* Соч.: В 2-х т. Т. 2. С. 9—13).

С. **662.** *...Царица поцелуев — Мафальда...* — Из рассказа Сологуба «Царица поцелуев».

С. **662.** *...«безгрешная и ясная» звезда Маир или «далекая, прекрасная» земля Ойле...* — Художнической фантазией Сологуба созданы «земля Ойле» с ее «рекой Лигой», путеводно озаряемые «звездой Маир». Писатель воспел их в романе «Творимая легенда» (ч. 3 «Дым и пепел») и в стихотворном цикле «Звезда Маир», высоко оцененном Блоком.

В описании триродовской колонии... — Герой романа «Творимая легенда», учитель Георгий Сергеевич Триродов, мечтатель и поэт, основал учебную колонию (она описывается на многих страницах ч. I «Капли крови»). В статье приводятся цитаты из этой части.

Михаил Кузмин

Сумеречная Дульцинея

Еженедельник академических театров «Театр». Пг. 1924. № 3 (16). 15 января. Автор — поэт, прозаик, критик, драматург, переводчик, композитор Михаил Алексеевич Кузмин (1872—1936). Печ. по изд.: *Кузмин М.* Эссеистика. Критика. М.: Аграф, 2000.

С. **663.** *Верлен* Поль (1844—1896) — поэт-лирик, вождь французских символистов, стихи которого Сологуб перевел на русский язык одним из первых (СПб. Факелы. 1908). «Переводы Сологуба из Верлена — это осуществленное чудо», — написал, рецензируя книгу, М.А. Волошин (газета «Русь». 1907. 22 декабря).

Альдонса и Дульцинея — см. примеч. к «Победе смерти».

Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец и рисовальщик, представитель классицизма в искусстве XVII века.

Солентический (от фр. soleil — солнце) — солнечный.

«Очарования земли» — сборник стихотворений Сологуба (т. 17 в собр. соч. издательства «Сирин»; 1913).

С. **664.** *В период Театра В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской...* — Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской переселился в помещение на Офицерской, 39 в 1906 г. Режиссером сюда был приглашен В.Э. Мейерхольд.

Комиссаржевский Федор Федорович (1882—1954) — театральный деятель, режиссер; брат В.Ф. Комиссаржевской, создавший осенью 1914 г. в Москве Драматический театр ее имени.

С. **664.** *Теляковский* Владимир Аркадьевич (1860 или 1861—1924) — театральный деятель; в 1901–1917 гг. директор Императорских театров, автор книги «Воспоминания» (1924, 1965).

Головин Александр Яковлевич (1863—1930) — живописец, график, театральный художник, оформлявший спектакли в Большом театре.

Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий поэт, прозаик, драматург.

...неоромантической пьесы Штукена «Рыцарь Гован». — Эдуард Штукен (1856—1936) — немецкий драматург-неоромантик, автор пьес «Рыцарь Ланваль», «Рыцарь Говен» и др., ставившихся на сценах российских театров.

СОДЕРЖАНИЕ

МИСТЕРИИ	5	—
Литургия Мне	7	667
Томление к иным бытиям	31	668
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ	39	—
Победа смерти. *Трагедия*	40	668
Дар мудрых пчел. *Трагедия*	73	669
Любви. *Драма*	130	670
Ванька ключник и паж Жеан. *Драма*	144	671
Ночные пляски. *Драматическая сказка*	192	671
Заложники жизни. *Драма*	222	672
Любовь над безднами. *Драма*	306	672
Мечта победительница. *Драма*	360	673
ПОВЕСТИ	401	—
Барышня Лиза	402	673
Острие меча	463	674
СЛЕПАЯ БАБОЧКА. *Рассказы*	535	676
Жена умного человека	537	676
Отрава	551	676
Самый сильный	577	—
Крутильда и семь других	587	676
Мышеловка	595	676
Сказка гробовщиковой дочери	602	676
Голос крови	610	676
Прачка с длинною косою	622	677
Солнышко	628	—
Самый темный день	632	677

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ .... 645 —

Максимилиан Волошин. Федор Сологуб «Дар мудрых пчел» 645 677
Евгений Аничков. Символизм «Заложников жизни» Федора Сологуба . 649 677
Анастасия Чеботаревская. «Творимое» творчество 654 678
Михаил Кузмин. «Сумеречная Дульцинея» 656 682

ПРИМЕЧАНИЯ .... 667 —

Сологуб Ф.
С 60 Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. Литургия Мне: Мистерии. Драмы. Повести. Рассказы / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: НПК «Интелвак», 2002. — 688 с.

ISBN 5-93264-036-7 (т. 5)

Пятый том Собрания сочнинений Федора Сологуба включает в себя мистерии, драмы и трагедии, а также повести «Барышня Лиза», «Острие меча» и книгу рассказов «Слепая бабочка». Большинство произведений издается в наши дни впервые.

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Сологуб Федор
(Тетерников Федор Кузьмич)

Собрание сочинений
в шести томах
Том 5

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 28.03 2002 Формат 60×84/16 Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс. Печать офсетная Усл -печ. л. 39,99 Уч -изд л 39,6
Тираж 3000 экз. Заказ № 1400.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail iv@deltacom ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122


ISBN 5-93264-036-7
9 785932 640364 >